



МЫСЛИТЕЛИ XX ВЕКА



ЭММАНЮЭЛЬ МУНЬЕ

МАНИФЕСТ ПЕРСОНАЛИЗМА

ЭММАНИЮЭЛЬ МУНЬЕ

МАНИФЕСТ ПЕРСОНАЛИЗМА



МЫСЛИТЕЛИ XX ВЕКА

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
"РЕСПУБЛИКА"
1999

ББК 87.3
М90

Перевод с французского
И. С. Вдовиной и В. М. Володина

Общая редакция перевода
и вступительная статья
И. С. Вдовиной

М90 **Мунье Э.**
Манифест персонализма: Пер. с фр. / Вступит. ст. И. С. Вдовиной. — М.: Республика, 1999. — 559 с. — (Мыслители XX века).
ISBN 5—250—02694—X

Издание включает важнейшие произведения Э. Мунье (1905—1950), основоположника и главного теоретика французского персонализма. Созданные в драматический период истории Франции они ярко передают колорит времени. В них развиты основные темы персоналистской философии: духовный мир личности, межчеловеческое общение, свобода и необходимость, вера и знание, выбор и ответственность. С позиций личного существования рассматриваются также проблемы социальной революции, государства, власти, демократии, национальных отношений. Главной же темой остается положение личности в современном мире, смысл ее жизни и деятельности. Большинство произведений, вошедших в издание, впервые публикуется в переводе на русский язык.

Для читателей, интересующихся историей современной философии, проблемами культуры.

ББК 87.3

ISBN 5—250—02694—X

© Издательство "Республика", 1999

ЛИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В октябре 1932 года в Париже вышел в свет первый номер журнала "Эспри" ("Esprit" — "Дух"), основателем которого был двадцатисемилетний французский философ Эмманюэль Мунье (1905—1950), католик по вероисповеданию. Вокруг журнала объединилась молодая интеллигенция — философы, публицисты, писатели, литературные и художественные критики самых разных ориентаций, озабоченные судьбой современного человека и цивилизации, переживавших глубокий экономический, политический и духовный кризис.

Рождение "Эспри" свидетельствовало о появлении на философской арене нового течения — французского персонализма, которому вместе с феноменологией, экзистенциализмом и неотомизмом предстояло составить целую эпоху в интеллектуальной жизни Франции первой половины XX века. Центральной проблемой философии персонализма стал вопрос об универсальном развитии человека, о личности, что, собственно, и дало название этому течению (от лат. *persona* — личность). Имя Эмманюэля Мунье, основоположника и ведущего теоретика французского персонализма, прочно вошло в число наиболее влиятельных фигур в философии нашего столетия.

Э. Мунье — автор работ "Персоналистская и общностная революция" (1935), "От собственности капиталистической к собственности человеческой" (1936), "Манифест персонализма" (1936), "Персонализм и христианство" (1939), "Трактат о характере" (1946), "Введение в экзистенциализм" (1946), "Персонализм" (1949, русский перевод — 1992), "Надежда отчаявшихся" (1953, русский перевод — 1995) и др. В 1961—1963 годах в Париже вышло четырехтомное собрание сочинений Мунье (*Emmanuel Mounier. Oeuvres*), куда включены все его основные труды.

Французский персонализм создавался прежде всего как вариант социального христианства левой ориентации. В годы его формирования внимание его сторонников сосредоточивалось на злободневных событиях первой трети XX века: итоги первой мировой войны, Октябрьская революция в России и социалистические революции в Германии и Венгрии, экономический кризис капитализма 1929—1932 годов, наступление фашизма в Германии. В напряженной атмосфере 30-х годов руководимый Мунье "Эспри" звал верующих и атеистов к совместной деятельности на стороне прогрессивных сил, против того, что угрожало человечеству и его культуре, и прежде всего против фашизма. Идея вовлеченного в современность существования людей стала главенствующей в персоналистской философии, призывающей человека к осмысленному, творческому, гуманистическому выполнению своей миссии на Земле.

Мунье и его соратники — Ж. Лакруа, М. Недонсель, Г. Мадинье, П. Фресс, П. Рикёр и др. — признали равное право на существование различных мировоззрений, в том числе и атеистического. "Эспри" создавался как журнал, поддерживающий плюрализм мнений и оценок, объединяя вокруг себя людей различных вероисповеданий и неверующих с целью выработки всецивилизационного миропонимания. Основатель персонализма надеялся на то, что его журнал будет способствовать созданию нового поколения людей, занимающих ответственную позицию в мире, готовых осуществлять личный выбор и вести общественно значимую деятельность независимо от их мировоззренческой точки зрения и отношения к религии, профессиональных занятий и классовой принадлежности.

Основу всей проблематики персонализма во Франции составляет вопрос о "кризисе человека", который сторонники этого течения пытаются осмыслить как следствие общего кризиса современной цивилизации. По утверждению Ф. Дюмона, причиной, вызвавшей к жизни концепцию персонализма, была "порочность самой истории"¹. Сам основоположник "личностной философии" писал: "Наш журнал основан группой молодых людей, осознавших свою ответственность за нищету, царящую в мире, решивших уничтожить утвердившийся беспорядок и построить новое общество, основанное на действенном примате духовных ценностей"².

"Кризис человека" Мунье понимал прежде всего как кризис деятельных способностей индивида, вызванный его участием в капиталистическом производстве, и как упадок духовности, явившийся следствием буржуазного образа жизни и дехристианизации народных масс. Вместе с тем Мунье и его соратники были озабочены тем, что произошло слияние христианства с "буржуазным беспорядком". В одном из первых номеров "Эспри" Э. Мунье и Ж. Маритен, в последующем ведущий теоретик неотолизма, в 30-е годы стоявший у истоков персонализма, объявляли о намерении сторонников последнего отделить христианство от буржуазного мира, "вырвать Евангелие из рук буржуазии". Теоретики персонализма ставили задачу разработать новую концепцию христианства, которая могла бы стать духовной опорой людей в преобразовании буржуазной цивилизации на гуманистических основах.

В связи с отмеченными тенденциями французского персонализма в первые годы существования "Эспри" возникла угроза его осуждения со стороны Ватикана, не признавшего столь далеко идущего "экуменизма" Мунье и его единомышленников. Недовольство Рима вызывали и требования философов-персоналистов отделить христианство от "утвердившегося беспорядка" (капитализма), и персоналистская концепция "вовлечения", и "скромность" самой веры сторонников "личностной философии".

Создавая персонализм как философское учение, Мунье намеревался обновить христианскую концепцию человека путем ассимиляции наиболее влиятельных в современном ему мире философских антропологических позиций, и прежде всего экзистенциализма и марксизма. Ответ на вопрос о качествах и свойствах личности философы-персоналисты искали у Сократа и Цицерона, Декарта и Лейбница, Канта, Паскаля, Мальбранша, Руссо, Фихте, Прудона, Шелера, Бергсона, Пеги, Бердяева, Достоевского, Л. Толстого, Маркса, Ленина.

Зарождение понятия личности Мунье связывает с христианством, которое, как он отмечает, первым заговорило о множественности человеческих

¹ Dumont F. Science de l'homme: de Mounier aux tâches d'aujourd'hui / Esprit, 1983, № 1. P. 121.

² Mounier E. Pourquoi "Esprit"? / Esprit, 1932, № 1. Le tract spécial.

душ и призвало каждую из них внутренне приобщиться к божественному. "Глубинный смысл человеческого существования состоит... в том, чтобы переменить "тайну своей души", чтобы принять в нее Царство Божие и воплотить его на земле"¹. Идея о воплощении Царства Божия на Земле стала программной в философии французского персонализма. В этом плане "личностная философия" идет в русле августиновской антропологии, которую Мунье воспринял как призыв к "возвеличению земной жизни". Отказавшись от радикального противопоставления града Божия и града земного, Мунье, вслед за Ш. Пеги, переинтерпретировал соотношение священного и мирского следующим образом: духовный порядок — это не метафизический принцип, отделяющий человека от его земного удела; он — динамическая сила, проявляющая себя в человеческом обществе. Град Божий и град земной навеки переплелись друг с другом и различаются только по своей направленности. Таким образом, в отличие от традиционного христианства, нацеливавшего человека главным образом на созерцательную жизнь, Мунье и его соратники сделали акцент на жизни активной, придав идее о воплощении божественных ценностей на земле вполне конкретный вид.

В поисках сущности человека Мунье обращается к практической стороне его жизнедеятельности и пытается определить роль труда в его жизни, пользуясь понятием "вовлечение". В этом сказывается определенное влияние марксизма, который первоначально воспринимался Мунье и его единомышленниками сквозь призму взглядов Н. А. Бердяева. В первом номере "Эспри" Бердяев опубликовал статью "Правда и ложь коммунизма", которую Мунье сразу отметил как весьма содержательную. К наиболее значимым "истинам" коммунизма русский мыслитель относил критику буржуазного общества, его пороков и противоречий, развенчание эксплуатации человека человеком, призыв к изменению социального порядка, угнетающего индивида, стремление придать мышлению и деятельности людей универсальный характер.

Несмотря на сильное влияние идей Бердяева, Мунье был не согласен с тем, как русский философ трактовал проблему объективации. Бердяев не верил в возможность самореализации человека во внешнем мире; для него конфликт между материей и духом, имманентным и трансцендентным был абсолютным, а потому неразрешимым: "дух есть революционное начало, материя же есть начало реакционное", "дух есть свобода и революция, материя же есть необходимость и реакция"². Мунье и его единомышленники диалектически понимали взаимодействие духа и материи и в нем видели главное условие для самоосуществления человека как личности. В работе "Персоналистская и общностная революция" Мунье пишет о трех основных измерениях личности: призвании, воплощении и объединении, где акцент делается на "воплощении в труде".

Труд для Мунье есть прежде всего творчество, в процессе которого человек выступает законодательным, целеполагающим существом ("труд осуществляется ради творчества"); создавая тот или иной продукт, человек не только выражает себя, но и определенным образом завершает себя ("труд есть средство завершения человека как личности") и конституирует собственное Я ("труд возвращает индивида к самому себе"); в труде человек осуществляет себя не только как существо мыслящее и действующее, но и как чувственное, эмоциональное ("труд сопровождается радостью"); дисциплина

¹ Наст. изд. С. 464.

² Бердяев Н. А. Самопознание. Опыт философской автобиографии. М., 1991. С. 85, 135.

труда, его конкретный порядок и строгая определенность организуют человека, давая ему чувство уверенности и вселяя веру в самого себя. Одним из наиболее существенных моментов трудовой деятельности, считает Мунье, является опыт человеческой самоотверженности: человек, творчески осуществляя себя в труде, отрекается от самого себя и делает это не столько ради производимого им продукта, сколько ради другого человека, которому он посвящает свой труд. Таким образом, труд выступает изначальным условием подлинно человеческого общения и инструментом воспитания: дух товарищества и любви, господствующий в процессе совместного труда, — вот та основа, на которой создается истинно человеческое, личностное сообщество.

Признавая влияние марксизма на формирование идей персонализма о "вовлеченном" существовании, Мунье вместе с тем стремится, по его словам, включить марксистский гуманизм в более широкую перспективу, считая, что он игнорирует внутреннюю жизнь человека, его индивидуальное и коллективное предназначение. Основное, что отличает персоналистскую концепцию деятельности от марксистской, — это попытка связать труд с целостным самопроявлением личности, осуществляющей себя в качестве субъекта не только производственной деятельности, но и деятельности нравственной, эстетической, религиозной, в терминологии персоналистов — духовной. Как пишет Ж. Лакруа, "трудиться — значит делать себя, создавать произведения — значит совершенствовать себя и совершенствовать мир"¹, что возможно лишь при условии, если человек соотносит свою деятельность с божественной, трансцендентной перспективой.

Отсюда вытекает персоналистская критика идеологии экономизма, к которой в конечном итоге сторонники "личностной философии" относят и марксизм. Философы-персоналисты считают примат экономики не реальным отношением, а буржуазной и антиреволюционной верой. "Именно поэтому, — пишет Мунье, — мы отбросили иллюзию революции, которая касалась бы только социальных структур, и говорим о личной революции в душе революционеров"².

Слово "революция", бывшее в 30-х годах символом борьбы за "светлое будущее", получает в персонализме своеобразную трактовку. Мунье уверен, что коренное преобразование жизни людей невозможно без их общих усилий и прежде всего без их духовного возрождения, без духовной революции. При этом он считает, что любые экономические и социальные перемены, идущие сверху и осуществляемые небольшой кучкой людей, не в состоянии привести к слому изжившую себя систему; они непременно завершатся только перераспределением богатств. По его убеждению, революция должна быть одновременно и духовной, и экономической: "...духовная революция будет экономической или ее не будет. Экономическая революция будет духовной или она не будет революцией"³.

Задача превращения труда в подлинно человеческую активность решалась Мунье и его соратниками в постоянном споре с буржуазной цивилизацией. Основоположник персонализма подверг критике капиталистическое общество, исходя из положения в нем отдельного человека: он разоблачал капиталистическое производство, превратившее индивида в своего бессознательно действующего агента и лишившее его саморазвития; он подчеркивал антигуманную сущность капиталистического потребления, показывая, что оно все более становится безудержным стремлением к комфорту, препятствуя духовному развитию

¹ Lacroix J. *Personne et amour*. P., 1955. P. 94—95.

² Мунье Э. Что такое персонализм? М., 1994. С. 15.

³ Там же.

личности и превращая ее в носителя стандартов буржуазного общества; наконец, Мунье отвергал сам тип буржуазной личности, по его мнению, индивидуалистической, утратившей способность к самосовершенствованию.

Душа, духовный мир личности, личностное Я человека — другая, наряду с "вовлечением", главенствующая тема французского персонализма, обращаясь к которой его сторонники сближаются с экзистенциализмом (разумеется, религиозным, главным представителем которого является Габриель Марсель) и феноменологией. Личностное Я человека является для Мунье и философов-персоналистов "первичной реальностью", предпосылкой и действительностью исторического творчества. Личность есть центр переориентации объективного универсума, писал Мунье, понимая под этим, что тот, кто достиг уровня личностного существования, является субъектом созидания собственно человеческой реальности. Преобразование действительности из нечеловеческой в собственно человеческую происходит во внутреннем мире личности; ядром духовного мира человека является сознание, но не оно определяет личность и личностное творчество. Мунье, подчеркивая несомненное значение сознательного выбора личности, вместе с тем утверждает, что "сознательное поведение является лишь частью целостного Я, а наилучшими из наших поступков оказываются как раз те, в необходимости которых мы менее всего уверены"; творчество как преодоление данного "достигается за пределами сознания и деятельности"¹.

В персоналистской концепции внутреннего мира личности большое значение придается проблеме бессознательного; именно бессознательная деятельность обеспечивает связь человека с целостным миром — дочеловеческим и сверхчеловеческим — и открывает особые связи между Я и не-Я. Мунье говорит о "разомкнутости" человека: он открыт некой реальности, более обширной, чем мир, в котором протекает его сознательная жизнь, реальность, с одной стороны, предшествующей человеку, с другой — превосходящей его. Именно бессознательное позволяет человеку общаться с этой реальностью: через бессознательное человек соединяется с той частью самого себя, которая превосходит его собственное сознание.

Высоко оценивая психоанализ З. Фрейда, который своей концепцией бессознательного переориентировал познание человека, расширив границы его внутреннего мира за счет введения инстанций бессознательного и сверхсознательного, Мунье тем не менее подвергает критике фрейдизм как вариант механистического детерминизма. Особое возражение вызывает у него фрейдовское стремление свести высшие проявления человеческого духа — мораль, искусство, религию — к модификациям внутренних влечений, тождественных инстинктивной бессознательной деятельности, в результате чего человеческое бытие трактуется как "сплошная животность" и собственно личностные характеристики сводятся к безличностному; ведущим моментом человеческого бытия в психоанализе выступает "укрывшийся в бессознательном принцип удовольствия"².

В центре внимания Мунье не механически действующее бессознательное, а творческое бессознательное, при изучении которого он пользуется идеей интенциональности Э. Гуссерля, вместе с тем подвергая ее и решительной критике, и существенной переработке. Его основное возражение направлено против узкого, преимущественно рационалистического, понимания пробле-

¹ Mounier E. *Traité du caractère / Oeuvres*. V. 2. P. 526, 415.

² *Ibid.* P. 133.

мы интенциональности — последняя трактовалась основоположником феноменологии исключительно как направленность сознания вовне на предмет; в учении Э. Гуссерля Мунье видит всего лишь философию познания, где человек отождествляется с реальностью, а не преодолевает ее.

Не устраивает Мунье и трактовка идеи интенциональности атеистическими экзистенциалистами (прежде всего Ж. П. Сартром), поскольку, как он считает, в экзистенциализме человеческая субъективность герметически закрыта. И хотя Сартр отвергал всякую мысль о замкнутости сознания, подчеркивая его нацеленность вовне, основоположник персонализма отмечает бессодержательность экзистенциалистских понятий интенциональности и трансценденции, с помощью которых описывается движение "бесцельного бытия": в атеистическом экзистенциализме вне человека нет ничего, что превосходило бы его бытие по значимости и масштабу. В итоге, считает Мунье, и в феноменологии, и в экзистенциализме человеческое бытие — это страстное желание индивида жить любой ценой, даже ценой попрания тех ценностей, которые придают смысл его существованию. Мунье разделяет здесь точку зрения христианских экзистенциалистов Г. Марселя и К. Ясперса, в чьих учениях его привлекает стремление не только понять человека из него самого, но и связать его внутренний мир с неким надличным, абсолютным, то есть божественным, бытием.

Пытаясь описать понятие божественной трансценденции, Мунье ссылается (как и в случае с личностью) на ее принципиальную неопределимость. Вполне достоверно можно утверждать только следующее: понятие божественной трансценденции, или Бога, содержит в себе указание на некоторый предел человеческих возможностей, где, с одной стороны, обнаруживается конец человеческого мира и становятся немислимыми все человеческие представления и масштабы, а с другой — именно в силу этого сам человеческий мир приобретает смысл.

Согласно Мунье, понятие трансценденции характеризует не сознание человека, а его субъективность, духовный мир личности. Область духа предстает в персонализме как та часть субъективности, где человеческое существование понимается с позиций добра и зла, блага и греха и т. п.; дух есть и самосознание человека. Дух в персонализме — это особая смыслоложившая сфера человеческого опыта, первичная по отношению к предметно-конкретному самоосуществлению человека, сфера "сверхсознательная и сверхвременная". Духу от природы свойственно трансцендировать, и его специфической чертой является открытость не внешнему миру, а некоему высшему бытию. К постижению этого бытия человек приходит в моменты потрясения, откровения, что сродни акту озарения, открывающему, по словам Мунье, мир в его глубинной реальности и соединяющему человека за пределами сознания с тотальным целым.

Очевидно, что в персонализме Мунье чрезвычайно важное значение приобретает вопрос о самосознании личности: коль скоро основания человеческой жизни коренятся в духовном мире личности, соотношенном с божественной трансценденцией, и нет никаких иных способов их постижения, кроме личного откровения, то именно на личность ложится ответственность за их обнаружение. Как пишет П. Рикёр, причина, побуждающая человека к творчеству новых ценностей, находится вне мира, она трансцендентна миру, но, чтобы сделать ее действующей причиной, человек должен отождествить себя с ней и тем самым придать причине характер должностования, а себя сделать проводником новых ценностей в мир¹.

¹ Ricoeur P. Meurt le personnalisme, revient la personne / Esprit, 1983, № 1.

Одной из существеннейших для французского персонализма является тема межличностного общения, которая была заявлена Мунье в его программном труде — "Персоналистская и общностная революция", где понятия "персонализм" и "личностная общность" употреблялись как тождественные. А в книге "Что такое персонализм?" он писал, что истинным призванием человека является не господство над природой, не наслаждение полнотой жизни, а постоянно расширяющееся общение сознаний, достижение всеобщего взаимопонимания людей.

Чувство человеческой общности Мунье относит к фундаментальным характеристикам личности, ее первичному опыту. "Первичный опыт личности — это опыт "другой" личности"¹; Ты, а в нем и Мы предшествуют личности или, точнее, сопровождают Я на всем его жизненном пути. Обретая внутреннюю жизнь, личность предстает нацеленной на мир и устремленной к другим личностям; идя по пути универсализации, она соединяется с ними, поскольку "другой" ("другие") не только не ограничивает ее, но обуславливает ее существование и восхождение. "Личность существует только в своем устремлении к "другому", познает себя только через "другого" и обретает себя только в "другом"².

Персоналистское сообщество, предназначение которого стало целью "личностной философии", должно основываться на серии своеобразных актов, которым, как считает Мунье, нет никаких аналогов во всем универсуме: умение личности выйти за собственные пределы и открыться "другому", понять его и в поисках взаимного согласия стать на его точку зрения; способность взять на себя судьбу "другого", разделить с ним его тяготы и радости, быть великодушным, не рассчитывая на взаимность, хранить создающую верность "другому" на протяжении всего жизненного пути. Мунье следующим образом формулирует кредо личностного существования: "...Я существую в той мере, в какой я существую для "другого", и в конечном итоге существовать — значит любить. Такова изначальная истина персонализма"³. Под любовью он понимает не природное (сексуальное, родственное) отношение, а отношение сверхприродное, новую форму бытия: она даруется человеку по ту сторону его естества, требуя от него возможно полной самореализации в свободе. Акт любви, по Мунье, это неопровержимое свидетельство существования человека: "Я люблю — значит и существую, и жизнь стоит того, чтобы ее прожить"⁴.

Одной из особенностей философии французского персонализма является то, что его основополагающие понятия — личность, трансценденция, коммуникация и др. — в значительной степени определяются через художественное творчество. Создавая журнал "Эспри", Мунье намеревался содействовать развитию искусства, чтобы через него выражать главные требования "личностной философии". Художник в его концепции выступал проповедником и проводником личностного существования, а произведения искусства считались моделью подлинно личностного самоосуществления.

Значение искусства Мунье видит прежде всего в том, что только ему дано обозначить невыразимую сущность божественной трансценденции. При определении трансценденции индивид прибегает к помощи символического

¹ Наст. изд. С. 479.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 481.

языка, назначение которого состоит в том, чтобы раскрывать связь человека со священным. По мнению Мунье, эта цель наиболее полно реализуется в искусстве, которое, как он считает, "открывает нам мир в его глубинной реальности и каждое отдельное бытие в его связи со всеобщим"¹. Высшим назначением искусства он объявляет проникновение во внутренние бездны человека, в его суверенный мир, где обнаруживается присутствие божественной души и ощущается соседство человеческого с божественным. Особое значение искусства Мунье связывает с той ролью, какую оно играет в обеспечении подлинного общения людей, которое, по мнению философов-персоналистов, осуществляется через художественные произведения. Благодаря восприятию произведений искусства этическое единение сознаний получает эстетическое подтверждение и обоснование. Вместе с тем художественное творчество признается вершиной человеческой деятельности, деятельностью как таковой: в нем человек выступает как свободный целеполагающий субъект, поскольку осуществляет не заранее предустановленную деятельность, как это, например, происходит в труде, а творит новую реальность, постоянно пребывая по ту сторону от повседневной жизни и стремясь соединиться с идеальной сущностью всех вещей; художник "видит мир в Боге и стремится реализовать Бога в подлунном мире"².

Французский персонализм, основоположником которого был Мунье, оказал заметное влияние на философские и социальные учения XX века.

Говоря о значении французского персонализма, хотелось бы отметить то обстоятельство, что личная судьба многих его сторонников являет собой пример ответственного — "вовлеченного" — существования. В годы оккупации Франции большое число корреспондентов и руководящих сотрудников "Эспри" боролись в рядах Сопротивления (А. Ульман, П. Э. Тушар, Э. Юмо, Ж. М. Суту, К. Бурдэ и др.); один из основоположников персонализма полковник французской армии А. Делеаж был убит на войне; П. Л. Ландсберг и Ж. Госсэ погибли в фашистских концлагерях; через гестаповские застенки прошли Ф. Гогель, М. Шастэн, П. А. Симон; Э. Мунье по состоянию здоровья не мог с оружием в руках участвовать в борьбе с фашизмом — проведя несколько месяцев в тюрьме в связи с осуждением и закрытием журнала "Эспри", он до освобождения страны вынужден был скрываться под чужим именем. Из содружества мыслителей, сплоченных вокруг "Эспри", вышли известные философы (Э. Мунье, Ж. Лакруа, П. Рикёр), психологи (П. Фресс), экономисты (Ф. Перу), деятели киноискусства (А. Базен, Р. Леенхардт) и другие видные представители науки и культуры.

Во многом благодаря деятельности философов-персоналистов личностная проблематика привлекла внимание современных философов и социологов, ориентируя их на исследование проблем духовного мира человека. Большая роль принадлежит персонализму в обращении современной мысли к вопросам личностного содержания труда и деятельности вообще, человеческого общения и человеческой общности как наиболее актуальным проблемам современности. Широкую популярность завоевала эстетическая концепция "личностной философии", ратующая за раскрепощение творческого потенциала человека, за его становление как эстетически совершенного субъекта.

Идеи "личностной философии" стимулировали переориентацию официальной доктрины католицизма, вынужденного изыскивать новые формы

¹ Mounier E. *Traité du caractère*. P. 389.

² Nedoncelle M. *Introduction à l'esthétique*. P., 1953. P. 40.

присутствия церкви в мире. Начиная с пасторского послания 1965 года "О церкви в современном мире", в котором речь идет о способах реализации диалога церкви с миром, персоналистские принципы в различных версиях появляются в документах Ватикана (учение о ценности земной жизни и активной вовлеченности человека в мирские дела, о необходимости участия всех людей в совершенствовании общественных отношений, о взаимоотношении божественного и человеческого и т. п.), а учение о человеке и его личностном содержании становится одной из центральных проблем официального католицизма. Принципы католического персонализма лежат в основе теологии и философии мира папы Иоанна Павла II, главной проблемой которых признается трактуемое с позиций персонализма единство личности и человеческой общности. В середине 60-х годов в рамках католического модернизма складываются различные теологические направления, где осмысливаются острые проблемы современности, начало чему было положено французским персонализмом. Уже в самих названиях некоторых "новых теологий" воспроизводятся темы, обсуждение которых в рамках католического мировоззрения началось философами-персоналистами из группы "Эспри": "теология революции", "теология труда", "теология личности", "теология любви".

Персоналистские идеи (наряду с идеями экзистенциализма) в известной мере сыграли роль катализатора в подготовке весенних событий 1968 года во Франции, отдельные лозунги которых буквально повторяли те или иные положения "личностной философии"; наиболее популярные из них — о морально-духовной революции, об интеграции революционной борьбы и художественной деятельности, о личностном межчеловеческом общении и т. п.

Особую актуальность на исходе XX века философское учение французского персонализма приобретает благодаря понятию личности. П. Рикёр считает это понятие более перспективным, чем такие понятия, как сознание, субъект, человеческое Я; именно оно выступает сегодня в качестве основы всемирной гуманистической стратегии, нацеленной на отстаивание и укрепление общечеловеческих ценностей¹.

В последние годы в западной философии все настойчивее обсуждается проблема постсовременности — нового осмысления современности и нового отношения к культурным традициям². В работах, посвященных этой теме, высказывается, в частности, мысль о том, что настало время философского осмысления вопроса о расширении человеческих возможностей, о культивировании человеческого потенциала. Предлагаемая постсовременной тенденцией картина мира тяготеет к "изначально человеческому" слою мировосприятия и миропонимания, в ней усиливается влияние антропологических философских концепций — философии жизни, феноменологии, экзистенциализма, персонализма. Большое место в постсовременных исследованиях отводится проблемам духовной наполненности экономической и социальной деятельности человека, умеренной его чрезмерно растущих потребностей и ориентации на "этику хозяйствования" и "культуру потребления", подвергающих моральной коррекции представления о целях, путях, средствах и методах экономического развития, анализирующих хозяйственную жизнь общества в глобальной перспективе.

Переход к постсовременности предполагает смену ценностей и в культуре: от преимущественно технико-научно-экономических к философско-эс-

¹ Ricoeur P. Meurt le personnalisme, revient la personne / Esprit, 1983, № 1.

² См.: Гулыга А. В. Что такое постсовременность? / Вопросы философии, 1988, № 12.

тетическим в широком смысле слова. Постсовременность объявляется эпохой открытия человеческого Я, осуществляющей переход от эмпирической и объективирующей трактовки личности к ее истолкованию как "трансцендентного ядра" — самотождества, открытого переменам, когда в качестве основного фермента развития и саморазвития человека выступает глубинное, имманентно присущее его душе беспокойство о собственной судьбе. В постсовременных философско-социальных концепциях речь также идет о становлении нового, "персоналистского", этноса, где существует равноправие и равноценность индивидов, социальных групп, человеческих сообществ. Персоналистская парадигма набирает силу в связи и с общим подъемом правового сознания, и с движением в защиту гражданских прав личности, которое ищет философско-мировоззренческого обоснования. Некоторые идеи "личностной философии" прочитываются в проектах альтернативных движений — коммуноторных, антитехнократических и др.

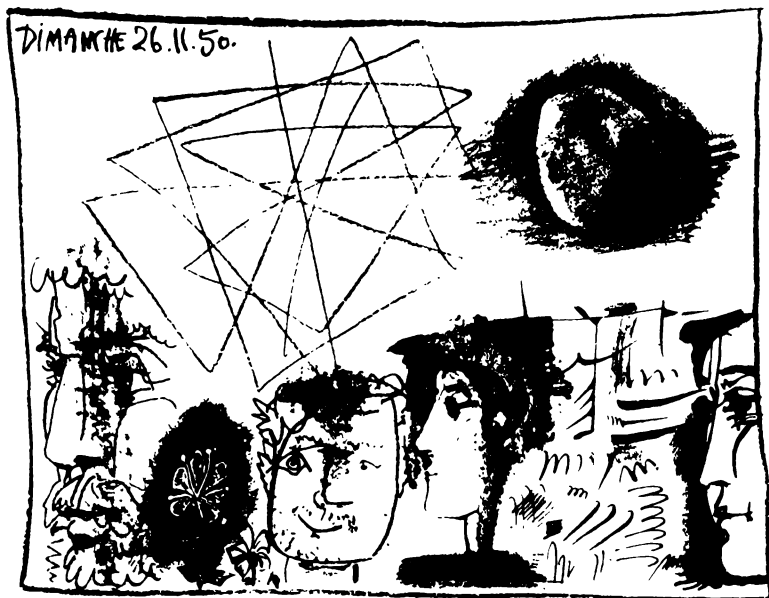
В 80-е годы наблюдается значительное оживление идей персонализма во Франции. Наряду с традиционно существующим (с 1950 г.) "Объединением друзей Эмманюэля Мунье" (президент П. Фресс) создаются новые ассоциации и группы. В движении "За новую жизнь", нацеленном на отыскание новых форм человеческого общежития в современном мире, значительное место принадлежит "секции персонализма" (руководитель Л. Бютон), занимающей ведущее место в пропаганде идей Мунье и его соратников и активизировавшей свою деятельность (издание документов и научных работ: "Персонализм как открытая строительная площадка", 1981; "Личность сегодня", 1987 и др., редактирование материалов по персонализму, издаваемых в журналах движения, участие в национальных симпозиумах, сессиях и т. п.). Главные темы исследований: "Проблема занятости и достоинство личности", "Гуманизация экономики", "Цена жизни", "Тело, личностная жизнь, семья", "Личность и проблемы культуры, религии" и др. С начала 1986 года выходит в свет журнал "Пурсюивр" ("Poursuivre" — "Продолжение") (руководители Бернадетт и Бернар Омон); его цель — "продолжить исследование личностной практики и практики общества в их связи с ценностями персонализма, которые все еще остаются актуальными". В конце 1987 года под руководством Ж. Люроля создается группа "Актуальность персонализма", которая занята исследованиями по следующим проблемам: "Предприятие и сообщество", "Школьное образование и процесс формирования личности", "Личность и психоанализ", "Личность и проблемы биоэтики", "Европа, средства массовой информации и роль личности", "Зарождение новых форм культуры".

Необходимость сегодняшнего возрождения персонализма его сторонники объясняют следующим образом. Этьен Борн: "Как мне представляется, и это поразительно, все серьезнейшие проблемы современности обретают свое значение, только если они трактуются с позиций философии личности". Жан Летавель: "Сегодня необходимо переосмыслить человека с точки зрения тех требований, которые в 40-е годы выдвинул Э. Мунье". Жерар Люроль: "Приоритет личности сегодня велик, как никогда..."¹

И. С. Вдовина

¹ Approches, 1989. Cahier № 64.

ПЕРСОНАЛИСТСКАЯ И ОБЩНОСТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ



ПРЕДИСЛОВИЕ. В ЗАЩИТУ ДЕТСТВА ОДНОГО ВЕКА

Мне хотелось бы, чтобы дружески настроенные к нам читатели не отделяли нижеследующие строки от движения, символизируемого журналом "Эспри", которое вызвало их к жизни и продолжает публиковать свои идеи изо дня в день в течение трех лет. Я сам не смогу отделить то, что эти публикации дали движению, от того, что они от него получили. Стоящая под этими работами подпись отдельного автора почти ни о чем не говорит, ибо определенная часть моего поколения разделяет высказанные здесь позиции.

Считается, что у нашего поколения нет властителей умов. Так ли уж это плохо? Да, мы не получили должного образования, следовательно, мы не станем мудрецами, а наше время не будет классическим. Мы останемся людьми начинающими, несостоявшимися. Мы сделаем множество ошибок и ложных ходов. Лет через сто история предстанет логически ясной и простой и поколения, которые сумеют разрешить наши проблемы (смогут ли они разрешить собственные проблемы — это совсем другое дело), будут смотреть на нас свысока. Но, упиваясь своими успехами, они не смогут познать нашей радости — откровенной и легкой, идущей от осознания того, что мы — дети своего века, знающие, что сами не сможем пожинать плоды начатого нами дела, ни даже завершить его, а в том, что мы создадим собственными руками, нам не удастся найти ни умиротворения, ни спасения.

Эта книга списана с нас самих. Она создавалась по мере того, как мы вели поиски, и отражает нашу слабость, неуверенность, неумение быть логически последовательными и теоретически гибкими одновременно, а может быть, и противоречия, обусловленные нашим переходным возрастом. Даты, стоящие в конце каждой главы, показывают, что книгу эту следует принимать скорее как историю, имеющую продолжение, чем итоговый результат¹. Мы говорим об этом не для самооправдания и не

¹ Вот почему мы оставили почти в неизменном виде каждую из публикаций, какой она появилась в журнале.

из ложной скромности; нами движет обостренное чувство существующего положения дел и понимание непомерности поставленной задачи. Теоретики, независимо от того, занимаются ли они преподавательской деятельностью или критическим анализом, не должны забывать об этом: всякая деятельность, которая сегодня не допускала бы критики, как никогда ранее, оказалась бы лживой. Мы чувствуем, что нам необходимо соблюдать сдержанность даже в отношении тех принципов, в которых мы более всего уверены. Именно со святым красноречием нам предстоит бороться, с самой его сутью. В таком вот положении мы находимся: мы начинаем свой путь в возрасте двадцати — тридцати лет, то есть тогда, когда еще нужно учиться жизни, прежде чем заявить о себе и приступить к действию. В этом наша слабость, но, быть может, это и единственный наш шанс.

Я произношу защитительную речь не в пользу нашей молодости, а молодости как таковой, не имеющей определенного возраста, той молодости, что, побеждая губительную силу привычки, достигается постепенно, с годами. Именно она определяет цену другой молодости и так или иначе объясняет свое порой насильственное вторжение в умиротворенные ряды взрослых людей.

Молодость есть молодость. Пристрастная, резкая, изобретательная, мятежная — так ее порой характеризуют, говоря о специфических чертах. Я совсем не хочу сказать, что подобные горькие добродетели являются последним словом духовности. Но если бы они не шли в атаку против оборонительных сооружений, возведенных зрелым возрастом, то что случилось бы с молодостью? Мы находимся в таком возрасте, когда еще может родиться порыв, способный преодолеть сдержанность и мудрость тридцатилетних, усталость сорокалетних, сонливость пятидесятилетних. Если в этом возрасте формирующийся человек не отрицает все и вся и если не возмущается, если занят только тем, что делает критические замечания и сверх меры заботится о гармонии интеллекта, не выстрадав до глубины души тяготы мира, значит, он, бедняга, несмотря на все прекраснодушие, уже чувствует приближение смерти.

Разумеется, в его откровениях и его протесте есть доля романтики: не должен же он видеть вокруг себя одни лишь гримасы. Когда вы смотрите на лицо страдающей женщины, разве оно кажется вам жалким и безобразным? Почему надо видеть только кичливость, если в вас живет желание рассмотреть то, что скрывается за внешностью и что приводит вас в замешательство? И правда, и ложь одинаково могут строить гримасы, а вы должны суметь разобраться в них. И не считайте зазорным, если ваше излишнее рвение придет в противоречие с хорошими манерами.

Не менее очевидно, что такая молодость бывает неблагодарной и забывчивой, одним словом, легкомысленной. Она, в отличие от вас, не отягощена делами, которые надо оправдывать, товарищами, которых нельзя беспокоить, дружбой, которую нельзя предать, положением, от которого нельзя отказаться, престижем, которому нельзя нанести ущерб, разоблачениями, которые следует отвергать, ролями, от которых

нельзя избавиться. Она не отягощена укоренившимися привычками и не верит в формулировки, придающие законченный вид мышлению и жизни. Она может произносить вольнолюбивые слова, которые нарушают внутреннее спокойствие и расстраивают сложившиеся отношения. Она обнажает ничем не прикрытый лик мира и сдирает позолоту с души, разоблачая напускную вежливость и снисходительность, замешенные на откровенной пошлости. В этом ее сила. Не мешайте ей хотя бы какое-то время, не лишайте ее наивности и великой способности удивляться и мечтать. Не учите ее на примерах истории, не твердите ей о традициях! Может быть, она откроет луну? А пусть и так, но вы-то уже не увидите этого. Молодость счастлива хотя бы оттого, что каждый вечер видит, как луна ведет беседу с крышами домов, в которых живут люди, не забывая при этом и о том, что на улицах по вечерам горят фонари. Может быть, она ошибается? Когда же наконец наши ученые признают за нами право на ошибку, то есть право в поисках истины сражаться в первых рядах, а не паразитировать на истине, сидя в благоустроенных кабинетах вместе с теми, кто уже достиг всего?

Другими словами, когда же они признают, что величие человека как раз и состоит в том, чтобы не порывать до конца со своим детством, с его жаждой приключений, незащищенностью, крайней нетерпимостью, наивностью и бескорытием?

Для ребяческих утех всегда найдется время, а вот детство не вечно, годы проходят, и, чтобы сохранить детство, его надо постоянно отвоевывать. Детство, будь оно благополучным и светлым или тяжелым и горестным, нельзя отбросить, когда черты лица теряют ребячливость. Говорят, что русский народ перескочил через буржуазный возраст, не заплатив ему дани. Наше поколение чувствует себя призванным повторить этот чудный скачок за одну жизнь. Но не всем удастся устоять. Конечно, будет видно, сумеем ли мы сами, по меньшей мере некоторые из нас, устоять перед соблазнами буржуазного духа. Но в конце концов мы только и требуем того, чтобы суждение об этом было вынесено.

Признаем следующее. Молодежь 30-х годов, в частности, плохо воспитана. Фактически ей пришлось говорить совсем не так, как если бы она была благодатью эпохи — я беру это слово в его позитивном и немного религиозном смысле, — а так, как если бы она была своего рода новым социальным классом, отделившимся ото всех остальных и выдвинувшим собственные требования, соответствующие ее положению и интересам.

Когда имеешь дело с классом, то есть с группой людей, замкнувшихся в своем групповом эгоизме, надо каждый раз задаваться вопросом, сами ли они, по собственной воле, поставили себя в такое довольно забавное положение, или же их туда подтолкнули, сами ли они отделились от других людей, или их отделили. Что касается нынешней молодежи, то справедливо было бы признать, что ее обособление оказалось в гораздо большей степени результатом опустошений, причинен-

ных войной*¹, чем следствием ее собственного желания даже тогда, когда она пользовалась полной независимостью.

Было бы не так тяжело, если бы молодежь оказалась в одиночестве, какое испытывают дети в обществе старых людей. Но те, кто удерживал в своих руках бразды правления и были властителями умов, их не назовешь стариками — это были люди конца прошлого века, состарившиеся уже в пору своей юности. Они были всюду, они и теперь всюду, хотя с того времени прошло двадцать лет. Часть тех, кто прошел через войну, присоединилась к ним, ища умиротворения, другие же ныне с нами, но их молодость оказалась запоздалой.

Раскол стал заметным только в 30-х годах. "Беспокойный" возраст мог сбить с толку даже самых проницательных людей, поскольку они могли позволить себе роскошь беспокоиться о своем процветании. Если оставить в стороне лучших из них (а это самые молчаливые), то они, говоря о духовных ценностях на высокопарном литературном языке, искали повод, чтобы совесть их перестала мучиться, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, чтобы она могла укрыться в зачахших цветниках перед лицом требований, зовущих строить новый мир. Власть вернулась из сражений изрядно потрепанной. Именно в этот момент они позволили себе отправиться на отдых и затеять игры между собой. И они наигрались до потери сознания.

Пока они вели свои игры, машина набирала обороты, да так торопилась, что в один прекрасный день взяла и сломалась. Сначала поломка вызвала у этих фальшивых детей панику, а затем наступило гробовое молчание: они не были готовы к такому повороту дел. Марионетки исчезли: где они, те, что блистали на сцене десяток лет назад? Что им делать в эпоху, когда нужны люди дела, а не ярмарочные скоморохи? Пришло новое молодое поколение, несколько прямолинейное, быть может немного грубоватое, неотесанное, но оно познало нужду и от этого его жизнь изменилась.

Процветание может позволить себе неискренность, оно может потворствовать несправедливости. Нищета заставляет человека думать о хлебе насущном и видеть пороки режима во всей их полноте. Испытание нищетой или предчувствие нищеты — вот наше боевое крещение. Израненное тело пролетариата подобно распятому телу Христа, окруженного лицемерами, здесь же радостные торговцы, и покинувшие поле битвы апостолы, и наше безразличие, как ночь на Голгофе, и мы сами, пытающиеся вновь подняться по склону, таща на своих плечах ношу нищеты. Мы ищем еще покровительство, принимая бытие, как оно есть; так вот с каждой колокольни для усмирения своей церкви раздается тревожный звон, возвещающий об отступничестве.

Это еще одна победа детства, свидетельствующая о нашей слабости и малодушии.

Традиция связывает нас с теми из наших старших братьев 20-х годов, которые, используя модные тогда слова, продолжали отважно стремиться к искренности и порядку.

¹Звездочками обозначены отсылки к примечаниям, помещенным в конце книги.
— *Ред.*

Однако они в своих исканиях свернули в сторону, предавшись вычурным мечтаниям, далеким от реального стремления вступить на избранный путь. В целом то же самое произошло и со стремлением к чистоте, та же участь постигла и желание сознательно избрать путь бедности. XIX век — это эпоха овладения богатством. С самого начала он создает свое техническое оснащение — крупную промышленность и свое политическое оружие — революцию, только не народную революцию, а буржуазную. Богатство заглатывает его со всеми его ценностями и классами. Гизо, не поворачивая головы, бросает последний призыв к тем, кто еще не идет по этому пути. Духовным следствием подобного изобилия становится то, что приходит конец безделью, которое прячет собственное бездушие за роскошными декорациями. Начавшаяся война начисто сметает весь этот хлам. Когда великое очищение закончилось, одни стали призывать к духовному разоружению, другие стремились во что бы то ни стало возродить ложные ценности довоенных лет, соглашаясь при этом на полную деморализацию. Но были и те, кто не пошел на это. Они посвятили свою жизнь очищению: искренность, простодушие, чистота перестали быть отдельными явлениями. Это была первая атака против кичливого мира, с почтением относящегося только к внешним декорациям. Художники и литераторы послевоенного времени, понявшие, что подлинное богатство следует искать по ту сторону того, что лежит на поверхности, что бросается в глаза, сумели всем сердцем почувствовать тот беспорядок, против которого мы сражались.

В течение послевоенного десятилетия много говорилось о порядке и путях его обретения. Я отлично понимаю, что кое-кто выражал этим свое стремление к реставрации, восстановлению добрых старых порядков. Другие же думали только о сохранении завоеванных привилегий. Но обратим свой взор опять-таки к наименее шумливым. Посмотрите на упорных и отважных молодых людей Пьера Боста. Прислушайтесь, к чему взывает яростное творчество Арлана. Подумайте, что стоит за взрывом сюрреалистского анархизма*. И скажите мне, разве все они не объединены одной и той же страстной жадой порядка, который был бы порядком более высокого уровня по сравнению с поверженными порядками, который шел бы от самой жизни; скажите мне, разве их стремление разрушать не оказывается тем более неистовым, чем чаще оно терпит поражение: одержимость небытием иногда оказывается ничем не прикрытой мольбой.

Мы стремимся только к тому, чтобы продвинуть дальше процесс обогащения со всеми вытекающими из него последствиями, подогреть стремление к порядку и содействовать осуществлению призвания нашего века. Конечно, нам необходимо усвоить одну очевидную вещь: причиной беспокойства было не только прекрасодушие, но и глубинное зло. Подрываемая им государственная машина давала сбои, и мы должны были взять ответственность на себя, признав собственные ошибки и недостатки и рассмотрев состояние государственных институтов и международное положение в целом. Идя на смену поколению, опьяненному

мечтаниями, расслабленному, самовлюбленному, мы внезапно оказались в одном с ним ряду, но мы должны были думать и действовать более целеустремленно и более результативно, чем оно.

Нищета покинула сцену во всем своем величии. Вот в чем разгадка. Тот, кто не сумел испытать на себе нищету во всей ее неотвратимости и испепеляющем неистовстве, тщетно будет выдвигать против нас возражения и вступать в полемику. Мы уже сказали об этом, предупредили обо всех заблуждениях, обо всех неверных шагах, способных завести в тупик до того, как против нас выдвинули обвинения. Но есть и такие решения, которых мы будем держаться стойко, до конца. Они были сформулированы молниеносно, и все наши последующие шаги прочно связаны с ними:

— Мы вскрыли более глубокие по сравнению с экономическим кризисом внутренние пружины того, что мы назвали установленным беспорядком, дабы не говорить оскорбительно о порядке. Мы беспрепятственно, неотступно будем разоблачать этот беспорядок, укоренившийся не только в институтах и в живущих вокруг нас людях, но и в нас самих.

— Тогда, учитывая масштаб этого беспорядка, его сильные и слабые стороны, мы вынуждены были вступить в спор с теми ценностями, которые сегодня составляют смысл нашей жизни. Всякое решение вызывается душевными муками, и наше — тоже. Не только люди могут служить одновременно и Богу и Дьяволу — очевидную опасность еще можно устранить. Другое дело слова: даже если они считаются подлинными, они могут нести в себе ложь и лицемерие, поскольку живут среди двуличных людей. Мы порвем все отношения с этими людьми и с этими словами, мы будем трудиться над очищением ценностей, которые в нынешней неразберихе признают своими даже те, кто на дух не переносит их.

— Наконец, независимо от всякого морального суждения, мы видим, что полный сил молодой мир задыхается в вековых одеяниях. Кто же сможет разрушить эти мертвые формы, постоянно сдерживающие развитие вечных ценностей, мешающие им оставаться самими собой, заточающие их в тюрьму повседневности, если не те люди, которые стремятся расчистить дорогу перед вечно молодым духом?

Мы вступаем на этот путь с твердым осознанием того, что, следуя по нему, мы никогда не отступим от избранного дела, никогда не дадим отчаянию завладеть нами: для нас дело — важнее успеха, наша надежда — выше каких бы то ни было упований. Взгляните на картину в Брюгге "Мистическое бракосочетание святой Екатерины"* . На полотне запечатлено следующее событие: Бог-Сын надевает кольцо на палец святой, но все присутствующие отворачивают свой взор от них, и именно благодаря этой отстраненности у нас создается потрясающее впечатление присутствия. Ничего лучшего мы не можем сказать в свою защиту тем, кто посчитает нас "непрактичными" людьми.

І. ОТПРАВНЫЕ ЛИНИИ

1. Возродить Возрождение

Революция будет духовной
или ее не будет вовсе.

(Пегу*)

1) По ту сторону кризиса

Мы говорим: первичность духовного — и сразу же ощущаем прилив бодрости. Дух — это дорогое нашему сердцу начало, такое привычное и такое родное. Говоря так, мы тем самым относим себя к порядочным людям. Кто сказал, что мир изначально не имел добрых намерений? Первичность духовного! Как бы ни кричали о катастрофе, наконец-то найдено одно из тех слов, которые несут умиротворение. Земля вновь станет твердой. Все разрешится, как в то мгновение, когда плач огорченного ребенка, его последнее всхлипывание тонут в ласковом объятии наших рук, самой нашей жизни.

Отнюдь нет. Вы услышите вопль, потому что слова эти уже не сотрясают небеса, не отдаются в сердцах. Это вопль непристойный, я знаю, но ведь и сердца тоже такие же, и чистота уже не в состоянии проникнуть в ваши нечистые сердца. Послушайте только тысячи таких голосов, вопиющих в замешательстве. Они взывают к духу, и зов этот конечно же мог бы быть естественным движением душ, но он тревожнее, чем тоска. Он рожден голодом и жаждой, кипением крови и муками сердца: такое вот успокоение мы вам несем.

Всюду тревога и возмущение. Так что же, готовиться к бою, взяв в попутчики отчаяние и страх, сплотившись в священный союз вокруг безликой материи, опошляя самое ценное, что есть у нас, дабы уберечь свою жизнь от самой жизни? Нет. Я призываю к бунту, если только он идет из самых глубин и обладает достаточной силой, чтобы разбить всеобщее безразличие. Но я боюсь, как бы он не захлебнулся в приступах панического гнева: возмущение — это не естественная реакция. Мы не будем мыслить в категориях отчаяния, так как в противном случае мы дважды нарушили бы верность духу.

Нас интересует не биологическое выживание. Со всех сторон мы слышим: новый кризис, новая война... цивилизация... человеческий род... Однако нам надлежит спасти нечто гораздо более важное, чем цивилизацию или жизнь биологического вида. Что может сделать жизнь, когда побеждает несправедливость? Нужно ли мученичество, если справедливое дело восторжествовало? Шум поднят вокруг того, что наши блага оказались под угрозой. Не будем потакать страху человека, который, вздымая руки к небу, не может отделить инстинктивные порывы от чувства растерянности и взывает к помощи духа, как только почует опасность, — так мы обращаемся к помощи костоправа, когда терпение оставляет нас. Мы знаем, что наша жизнь будет полной компромиссов авантюрой. Но мы не боимся ничего — ни бедности, ни одиночества. Мы ратуем за ценности иного рода, чем те, что ублажают наши чувства.

Впрочем, говорить о проблемах духа, ссылаясь на кризис, который мы наблюдаем, значит противоречить самому духу. Инерция жизни и тяжелые условия труда не располагают людей к размышлению. Большинство из них обычно не имеет для этого ни времени, ни средств, ни желания. Надо, чтобы судьба задела их за живое или обрушила на них бурю. Тогда монотонное течение дней нарушится, в нем образуются разрывы и устремившийся в них поток света позволит увидеть проблемы, которых мы ранее не ощущали. Внезапные потрясения заставляют людей заметить неустойчивость равновесия, которое они, находясь в наклонном положении, еще удерживали по инерции, считая его стабильным и нерушимым. Не стоит полагаться на самодовольные эпохи — только кризисы побуждают большинство людей к размышлению. Всегда ли мы будем столь тяжелыми на подъем? Всегда ли нужны ощутимые встряски тела и души, чтобы мы заметили, что вот в этих городах, в головах этих молчаливых людей, живущих в мире уже ничего не выражающих слов и ничего не значащих жестов, — всюду и всегда существует невидимая глазу драма? Кризис? Но как можно не чувствовать себя в состоянии нескончаемого кризиса, когда мир при малейшем усилии, направленном на его улучшение, трещит по швам?

Дух создан для того, чтобы незаметно превращаться в ценности, — ему достаточно обычных слов, выразительной мысли, пейзажей, не указанных ни в каких путеводителях, людей, не вошедших в историю, беспорядков, принимающих видимость порядка. Привычки бывают губительнее внешних обстоятельств. Застарелая тяга к буржуазному спокойствию заставляет нас верить в порядок каждый раз, когда наступает умиротворение. Может быть, мир создан таким образом, что спокойствие в нем всегда означает беспорядок? Я не хочу играть словами или подрывать авторитет понятий с помощью морализирующих эмоций: нам известен напряженный, готовый взорваться покой. Но подлинный покой — это струящаяся вечность. Все другие виды покоя — это скольжение вниз, возвращение в лоно материи, внутренним законом которой является падение, деградация. Именно беспорядок спокойных периодов оказывается наиболее опасным, потому что остается незаметным и наиболее коварным, и, поскольку он замаскирован, — он-то и есть наш кровный враг. Если проблемы еще не вызрели, их бесполезно ставить, и не стоит считать людьми порядка тех, кто увековечивает беспорядок, тогда как явное революционное насилие нередко движет разум вперед.

Так оставим в стороне кризисы и связанное с ними беспокойство. Они — только более живое, более яркое проявление зла. Подлинные проблемы, к которым они могут нас подтолкнуть, лежат по ту сторону. Смятение здесь ни при чем.

2) Отделить духовное от реакционного

Во Франции сильно стремление рассматривать кризис и тревогу как политические категории. Это слишком узкое понимание проблем, однако на нем стоит остановиться, поскольку многие готовы согласиться с этим.

Правые, левые... Надо бы изучить историю данной универсальной бухгалтерии и показать суть широко распространенного мнения, которое насильно заточает все ценности в эту дихотомию. Такие добродетели, как честь, чувство меры, осторожность, находятся справа, по левую сторону стоят ценности отваги и мира. Милосердие пребывает справа вместе с Академией, религией, военным министром, душой, господином Бурже, латынью, либеральной экономикой, нотариусами и семьей. Справедливость находится слева вместе с Пикассо, функционерами, господином Оме*, социальной гигиеной, женским движением, свободой и экспериментальной психологией. Список остается открытым, противоречивым, ибо, в конце концов, если отношения господина Бурже с Академией всем известны, то гораздо менее очевидным является, например, отношение нотариусов к милосердию или же совести к войне, или же господина Оме к тонкостям психологии. Чтобы уйти от этих внутренние присущих ему трудностей, общественное мнение предпочитает превратиться в достаточно расплывчатую общую идею, выступающую под видом исторической закономерности. Эта закономерность, сохраняющая устойчивость, когда все рушится, хорошо известна: *отождествление духовного и реакционного*. Реакционное же оказывается в высшей степени осчастливленным таким благодеянием, ему по душе и вытекающее отсюда утверждение, будто все то, что появляется слева, идет против духа.

И с той и с другой стороны в равной степени было приложено немало усилий, чтобы поддержать эту бессмысленную путаницу.

Правые ухитрились спаять воедино такие ценности: собственность — семья — родина — религия. Под этим следует понимать капиталистическую собственность, семейный эгоизм, национализм и благочестивое лицемерие, служащее для утверждения и первой, и второго, и третьего... Ну а поскольку в анархической собственности усматривается смысл личного достоинства, семья — цитадель — предстает хранительницей дорогих нам идей верности и добродетельности, в агрессивном национализме видят призыв трепетно относиться к почве и своему прошлому, а также героизм, говоря о нем на священном языке жертвоприношения и самопожертвования, в религиозном лицемерии видят свидетельство укорененности Бога в человеческих сердцах, постольку все то, что имеет отношение к гуманизму, стало использоваться для маскировки самой куцей, самой эгоистической, самой нелепой и корыстной метафизики. Опираясь на эту бесценную сокровищницу частных добродетелей, в чем-то чистых и безупречных, в чем-то стыдливых, но в то же время устойчивых, надежных, задевающих за живое, пребывающие во главе этого материализма люди с помощью чудовищных подтасовок рекрутируют в свои ряды и удерживают в них массу верных себе солдат. Кто из нас не знаком с чувством пылкой гордости, которую вызывают торжественные парады и самые что ни на есть простые идеи? Кто из нас не встречал где-нибудь в провинции семью, постоянно живущую в спокойствии, радушии? Именно подобные ценности внушают нам готовность на героический поступок, если этого потребуют события. Именно они говорят о естественности духовной жизни, которая будто бы дана нам испокон веков, но которая не предусмотрела того, что эти живые суще-

ства могут начать цитировать расхожие формулировки из "Эко де Пари", выдавая их за свои сокровенные мысли.

Налево, напротив, перешла большая часть новых сил, все сторонники социального прогресса, почти весь авангард, существующий в литературе и искусстве, и, что важнее всего, трудящиеся массы, почувствовавшие неодолимую тягу к справедливости — бескомпромиссной, не прикрытой никакими словесами. Однако в силу целого ряда причин исторического и психологического порядка, где не последнее место занимает постоянное предательство сыновей духа, здесь оказались и те, кто беспардонно путал духовное и реакционное и боролся с силами, от которых эта путаница была унаследована и которую они продолжали поддерживать. Сюда же перешли и те, кто соединял плодотворные идеи материализма (а для этого требовалось их извратить) с намеренно опошленными выводами спиритуализма (чтобы их не спутали с другими) и городил огород из метафизических пошлостей, заполняющих сердца, достойные лучшей участи.

Таким образом дух, имея собственное местожительство слева, три четверти своей жизни проводит справа. Добрые люди, пребывающие и слева, и справа, устремились к его жилищу, убежденные, как и подобает добрым людям, в том, что жилище — это место, где можно найти домашний уют. Ну а что же другие? Они имели рекламу, торговые фирмы и контроль — они имели дело с деньгами. Все приключения, откровения, надежды, страдания, озарения и будущее — все это находилось в их руках.

Вот каким было положение тех, кто находился посредине. Если прибегнуть к политическому языку, то о нас следовало бы говорить, что мы инстинктивно почувствовали опасность и бессмысленность такого разделения. Опираясь на силу нашего политического чутья, мы должны были употребить все средства, чтобы уничтожить это разделение, чтобы, несмотря на ложь одних и предрассудки других, восстановить дух во всем его подлинном значении.

Я должен сразу сказать, что для меня политическая точка зрения является вторичной. Но считая ее по существу неопределенной, я начинаю именно с нее, поскольку она занимает главенствующее положение во всех спорах и, как представляется, будет самым труднопреодолимым препятствием для нашего движения вперед. Путаница между политическим и духовным ныне распространяется и утверждается с необычной легкостью. Почему так происходит? У лучших людей она, несомненно, утверждается потому, что политика удовлетворяет их стремление непосредственно воздействовать одновременно и на ход событий и на людей, приверженных принципам и той жизни, которую они ведут на словах. Кроме того, быть может, на это работает еще и религиозный миф о народном суверенитете, который обычно, склоняет к поиску откровения в народных движениях и к стремлению возвести на престол политическую психологию как первонауку, заменяющую на этом королевском троне теологию. Однако эта путаница оказывала наибольшее воздействие на нравы и сознание людей и оно возрастало по мере того, как классовые страсти разрывали на куски полотнища, чтобы ими прикрыть свое бесчестье.

Таким образом, первая задача ясна — надо отделить духовное от политического и от той эфемерной ирреальности, которую называют "правыми". Это было необходимо сделать не в угоду нашему предвзятому мнению, а потому что фактически "моральные силы" особенно часто грешили в этом отношении. Такая задача является неблагоприятной, постылой, как и всякая негативная задача. Но об этом надо заявить во всеуслышание, чтобы наконец поставить все точки над *i*, чтобы помочь людям избавиться от путаницы и освободиться от одного из стойких предрассудков. И пусть нас не заставляют повторять это снова и снова. Нам надо сохранить по меньшей мере общую направленность, общую перспективу. Дело, которое от нас требуется, несоизмеримо с этой мелкой работой по предварительной расчистке пути: мы не собираемся по неопытности истратить все силы на прохождение данного этапа или вступить в борьбу — по привычке или в силу недоверия — со всеми теми, кого клеймили как "левых".

Пойдем дальше. Нет никакой связи между целостностью нашего дела и его собственно политическими ориентирами. Политика, конечно, настоятельно необходима, но она вторична. Преследуемая нами конечная цель — это не счастье, комфорт или благосостояние общества, а духовный расцвет человека. И если тем не менее мы говорим о политической стабильности, то отнюдь не потому, что питаем иллюзию, будто она обеспечит человеку спокойную жизнь без риска и страданий. Беспорядок возмущает нас в меньшей степени, чем несправедливость. Мы боремся не с неустроенным обществом, а со злым обществом. Между тем всякий грех связан с духовностью, всякое зло — со свободой. Следовательно, наше политическое действие — это орган нашего духовного действия, а не наоборот. Мы знаем, что у нищеты и порабощения существует предел, переступая который человек уже не может думать о бессмертии. Мы полагаем, что, когда эгоизм, несправедливость и ложь также достигают определенного предела и их уже нельзя преодолеть, об этом надо громко кричать и следует противостоять этому всеми возможными средствами. В таких условиях дух должен взять на себя инициативу, он должен протестовать, звать на борьбу, трудиться над строительством собственного дома. Именно этот работник, этот светоч является первичным по отношению ко всему остальному.

Известна формулировка Сен-Симона: заменить управление людьми управлением вещами*. Если здесь речь идет просто о том, чтобы некоторую долю принуждения перенести с отношений между людьми на отношения между вещами, то мы согласны с этим. Мы согласны, когда таким образом отвергаются словесная путаница и скрытое мошенничество, свойственные парламентским словопрениям, привлекается внимание к той более глубокой по сравнению с политической болтовней (но менее глубокой по сравнению со скрытыми духовными устремлениями) реальности, которая именуется экономической жизнью. Но мы вовсе не согласны, если это означает, что, как нередко учат в школе, управление вещами может осуществляться вне всякого соотношения с пользующимся ими человеком. Не существует технологии потребностей и парящей над ней мистики сообщества. Не существует технологии управления и паря-

щей над ней невидимой религии духа. Духовное управляет политикой и экономикой. Дух должен удерживать инициативу и выдвигать собственные цели, которые диктуются свыше и направлены не на обогащение, а на человека.

3) Лики Иуды

Следовательно, источник происходящих в нас перемен надо искать глубже, причина их — не наши невзгоды и не наше положение в сообществе. Исток этот — в осознании духовного беспорядка каждым из нас. Не имеет особого значения, каким образом возникло это внутреннее убеждение. К одним, обладающим пылким темпераментом, оно приходит без борьбы, другим дается болезненно, как роды, ибо начинать приходится в одиночестве, отказавшись от поддержки близких друзей, которых данная проблема не волнует. Мы требуем, чтобы откровение это достигало уровня доктринального знания, уровня основополагающих идей, где вырисовываются перспективы и складываются причинные отношения. Мы говорим это не из болезненной любви к прочным конструкциям. Но мы хорошо знаем, насколько быстро неуправляемое желание или смутная тяга к справедливости вообще, свойственные мягкосердечным людям, теряют свою чистоту и твердость, превращаясь в обычное раздражение. Только принципы могут быть достаточно устойчивыми и смелыми.

И здесь мы по всему фронту сталкиваемся с марксизмом. Что это за сознание, которое является всего лишь отражением экономической зависимости? Что это за сознание, которое, если не принадлежит всему народу, является классовым, т. е. заведомо ложным. Когда вместе с пролетарской мыслью в мир приходит догматизм, это и есть восстановление духа? А до этого и помимо этого всякая духовная активность является субъективной, не затрагивающей действительность? Здесь даже не лирика, а система биологических мифов, стоящая на службе скрытых инстинктивных порывов. Мышление не является средством воздействия на мир: "рабочие, занятые, например, в мастерских Манчестера и Лиона, не думают, что можно *"чистым мышлением"*, при помощи одних только рассуждений, избавиться от своих хозяев и от своего собственного практического унижения"*.

Подобные идеи имеют широкое хождение и вне марксизма, в сознании большого числа людей. Они верят только в действенность того, что ежеминутно ощущают сами, в то, что непосредственно передается от человека к человеку. Мышление во всем его объеме представляется им некой компенсирующей длительностью, с помощью которой теоретик, не способный вступить в непосредственный контакт с действительностью, обуздывает собственные страсти, искажая диалектику и переворачивая понятия. Для них реальность мира существует скорее в сознании людей, чем в движении машин: она остается также и за пределами их интеллектуальных построений.

Мы защищаем виновного. У большинства людей мышление не является чем-то самостоятельным. Оно продвигается вперед, смешиваясь с массой инстинктов, интересов, коллективных предрассудков, ин-

дивидуальных привычек; когда оно оказывается бессильным руководить ими, они овладевают им, руководят им и заставляют признать собственную виновность. Так они выражают свое почтение к духу — подрывают его авторитет и используют в своих целях. Ссылки на либидо являются здесь наиболее изощренными и наиболее значительными из всех этих надувательств. Нет такой добродетели, которая не подвергалась бы проклятию. Понятие порядка, отражающее естественное стремление к благу, постоянно испытывающее воздействие сил инерции, они отдали на откуп твердолобым и самодовольным людям. Когда речь заходит о строительстве будущего, здесь принято ссылаться на осмотрительность, иными словами, на мужественное благоразумие, дабы прикрыть свою неуверенность и страх. На другом конце этому противостоят энергия и сила, но вскоре выясняется, что для подобных весьма своеобразных борцов защищать дух означает срывать зло на своих собратях. Милосердие принадлежит тому классу, который занят в сфере обслуживания; свобода, инициатива — тем, кто способен вести игру. Продажная пресса тщательно оберегает эту словесную маскировку, полагаясь на наивную доверчивость людей. Весь современный мир живет этим обманом и этими спекуляциями. Слова поджидают вас на перекрестках, подобно вора.

Тогда наиболее незащищенные люди устраняются от мира, в котором каждый человеческий контакт напоминает вам об этом гнусном предательстве. Но их собственное предательство не менее опасно: дух, являющийся самой жизнью, они превращают в убежище и в нем укрываются от жизни.

Одни прекрасно понимают это и принимают решение, но в своей одиссее руководствуются вневременными понятиями и довольствуются тем, что выстраивают их в строгие ряды и именно так реализуют свое решение. Они тешат себя той же самой иллюзией, когда приступают к нерешенным проблемам, руководствуясь готовыми формулировками (таким образом некоторые из них используют догматы своей веры), что отучает их думать. Нередко им удается достичь чего-то большего, чем виртуозное пользование понятиями, и они демонстрируют исключительную отвагу в конструировании доктрин; когда же их вневременные выводы переносятся на брентную землю, они оказываются в растерянности.

Другие по причине собственной деликатности, которая очень быстро превращается в кокетство, отдаются духовной деятельности как роскоши, платой за что становится изоляция; смысл духовной деятельности состоит для них в стремлении к утонченности, изысканности; они презируют труд человека, нужды общества, словом, все то, что составляет удел множества людей с их простодушием, негодованием, фамильярностью и по-своему строгой манерой ставить проблемы. Они чувствуют себя избранными. Они ищут чего-то из ряда вон выходящего, поскольку не способны на великое дело.

Третьи ненавидят нежности, равно как и благоговейное или крикливо-оптимистическое отношение к людям. Испытывая отчаяние, под

давлением жизненных невзгод или оказавшись во власти метафизических убеждений, они впадают в безнадежное отчаяние. Они освобождаются от этого чувства, предаваясь гневу, стеная или твердя о конце света. К ним можно было бы отнести грозные слова Пеги: "Они полагают, что любят Бога, потому что не любят никого". И все-таки слова словами, но о них забывать нельзя. Счастливая суровость в век, не способный на возмущение. Их заблуждение состоит, однако, в том, что они не поднялись до такого уровня, где суровость соприкасается с нежностью; так разум приходит к идее бытия, подвергнув все жесточайшему отрицанию. Они не сумели найти средний путь между мягкотелой снисходительностью и суровым янсенизмом*, предназначенным для простых людей.

Четвертые, напротив, отдают все свои силы развитию внутренней жизни и, взирая на мир как бы изнутри, оценивая его с позиций собственного прекраснодушия, хотят видеть в нем осуществление утопий о земном рае, порожденных их пылким воображением, к которым добавляется идея чистоты — благородная, но абсолютно бездейственная из-за своего внечеловеческого характера. Эти люди оказываются затем в первых рядах тех, кто, осознав все бессилие своих чистых намерений, покидает мрачную действительность и отдается суетным делам, и им недостает мужества побороть собственное прекраснодушие, поскольку оно подогревается этими суетными делами.

Следовательно, материя одерживает победу над духом: одна его часть поработана, другая отступает и, пребывая вдали от земных проблем, ведет несвойственную ей жизнь ссыльного.

Закон, о котором говорит марксизм, это не закон поступательного движения и развития истории, это закон ее противоречивости. Он справедлив, если речь идет о застойных периодах, о предающем свою истину мышлению. Не следует забывать о мысли Маркса о том, что история делается своей отрицательной стороной¹. Нескончаемая деградация лишает духовные творения их субстанции и плотности; привычка тянет их вниз; жажда обладания, мягкотелость и безразличие убивают в нас тягу к духовности. С течением времени эти инерционные силы накапливаются, превращаясь в автоматизм, который принимает вид закона, и мы оказываемся связанными по рукам и ногам материальными причинностями. Они ничего не создают, ничего не изобретают, а только отягощают, сбивают с пути, поражают недугом, извращают жизнь, поддерживают и ужесточают детерминизм там, где начинают спланироваться организованные силы. Они говорят не о порядке, а о препятствиях, встающих на пути к порядку, и о границах порядка. Только дух является причиной всякого порядка, если он инициативен, и всякого беспорядка, если отказывается от инициативы.

Действительно, под влиянием капиталистической индустриализации и в связи с оскудением современного мышления доля материальной

¹ Достаточно хотя бы немного знать тех "спиритуалистов", с которыми сталкивался Маркс, университетское самодовольство младогегельянцев, товарищей его молодости, гнусное двуличие промышленников Манчестера, чтобы понять ту страсть, с какой он реагировал на все это. На этот счет с большой для себя пользой можно прочесть работу: *Cornu A. Les années d'apprentissage de K. Marx. Alcan, 1934.*

причинности в историческом развитии стала значительной. Однако ни случайность, как бы ни была она масштабна, ни мышление, сколь бы ненасытно оно ни было, не диктуют глубинных законов вещей. И если бы мы были бессильны потеснить их, мы судили бы о них с точки зрения законов, которые они несут в себе. И здесь не существует никаких этапов: самые последовательные марксистские революции показали, что они могли прекрасно обойтись без этих этапов. Сегодняшнее положение дел можно оправдать с точки зрения моральной, но не метафизической. Мы верим в вечные истины. Мы внимательно следим за тем, чтобы не спутать их со своими застарелыми привычками, и стремимся ощутить тот климат, в котором они пребывают в каждую отдельную эпоху. Мы верим в тот негасимый и сверкающий всеми оттенками свет, что разливается над временем и пространством. Именно этот свет в каждое мгновение освещает историю. В его отражении первичность материального предстает такой, какова она есть на самом деле, — метафизическим и моральным беспорядком. Марксизм ценен для нас тем, что он предостерегает нас от возможной ошибки. Но нам следует думать и о том, что мы сами внесем в развитие философии. Именно в этом направлении мы и будем работать.

Конечно же в мире существует революционная диалектика. Но она не является или не является исключительно горизонтальной битвой между двумя материальными силами — угнетенными и угнетателями: угнетение укоренено в самом нашем сердце. Угнетение — это разрыв в вертикальном движении духовной жизни человечества, это сама лень духа, возникающая в нем под воздействием чуждых ему внешних сил, которые никогда не ослабят своих объятий. Пронизанный этим светом, марксистский метод ведет нас к истине, которую сам же исказил и лишил действенности. Быть может, он даже спасет нас от словоблудия и безразличия.

4) Акт веры

Когда мы говорим, что дух управляет материей, мы вовсе не впадаем в утопию: дух руководит миром даже тогда, когда он отступает. Если мы говорим о духе, мы говорим именно о духе: дух — это не биологический рефлекс, которым все можно объяснить, не некая гипотетическая структура, не что-то такое, что "происходит-так-как-если-бы", а реальность, которая всецело завладевает нами, но и превосходит нас, которая пронизывает нас насквозь, но и выводит нас за наши собственные пределы.

Кое-кто станет говорить нам о масштабных величинах, покажет их значение, руководствуясь худосочной логикой, удобной своей общедоступностью или покоряющей своим авторитетом, схожим с авторитетом власти, имени, моды, успеха. Но дух предпочитает незаметные пути — негромкие идеи нередко сообщали о главенствующих духовных устремлениях той или иной эпохи. Нам укажут на подозрительное множество философий, известных своими обещаниями или своими негодованиями. Но мы уже успели познать идеи, издавна обитающие на метафизических небесах; казалось бы, они вовсе не способны включиться в то

нисходящее движение от мысли к выражению, от выражения к усвоению, от усвоения к популяризации, которое довольно быстро становится доступным народным массам. Но наступает такой прекрасный миг, когда народные массы перестают понимать мир или уже не хотят этого мира, а идеи, длительное время оставшиеся без дела, вдруг вызывают к жизни целый сонм устремлений, которые еще долго пребывали бы в состоянии застоя, без жизни, упорядоченности, светоносной полноты, которые им как раз и придают эти идеи.

Прежде всего надо набраться смелости и признать, что истина действует уже одним своим присутствием, что идеи одного человека или страдания одного народа могут в гораздо большей степени воздействовать на человечество, чем все реформы вместе взятые. Это убеждение будет источником нашей силы и нашего терпения. Мы говорим это совсем не для того, чтобы оправдать нашу медлительность в борьбе за переделку мира, в отстаивании истины вопреки всяческим препятствиям. Но любое наше достижение на пути к истине подтвердит, что она несет миру благоденствие и без нас.

Хотя творческая работа необходима для установления путей к истине, все же не будем забывать, что эти пути являются всего лишь подступом к ней. Не бывает двух истин: одной — для избранных, другой — для масс. Существуют строгие истины, и они передаются с помощью понятных формулировок. Необходимо разделить две задачи: мыслить глубоко и мыслить поверхностно. Если мы захотим создать учения, которые были бы одновременно и строгими и общедоступными, мы как философы и как люди действия проделаем ненужную работу. Забота о доступности сделает бесполезным наш поиск, а вытекающая из этого идея о преобразовании будет надуманной, безжизненной, бездейственной, чуждой как мышлению, так и человеческой истории: стремясь построить модель действительности, мы своим неумением только навредим ей; безотчетно стремясь принимать решения, мы будем идти к упрощенным формулировкам, которые покажутся бесспорными как нам самим, так и окружающим, поскольку своей прямолинейностью они создадут иллюзию волевого решения, а своей общедоступностью — иллюзию продуманного решения.

Необходимо поддерживать порядок, постоянно обеспечивая ему будущее. Истина не так-то проста, вот почему общие формулировки, которые следуют из нее как основание для деятельности, не должны отрицательно сказываться на наших исканиях, мешать им, уводить в сторону или ослаблять. Духовные потребности людей — это весьма широкие потребности. Предоставляя богатый материал для аналитического мышления, они вместе с тем дают пищу для духовных исканий, приобщая нас к познанию сущностей. Прозорливое учение должно уметь дойти до этих магистральных путей, чтобы богатство его формулировок стало доступным всем простосердечным людям. Сила марксизма состоит в том, что посредством малоубедительной диалектики он нашел такие пути. Толпа не вдумывается в идеи, которые воодушевили бы ее: ей нужны не идеи, а люди, которых следует уважать, учение, которое следует принять на веру. Но именно она вынашивает еще смутную, не облеченную в слова идею, которую затем мыслители, комбинируя фра-

зы, смогут записать. Если они захотят, чтобы идея обрела плоть, ей придется долго брести среди теней, которые отбрасывают силы, извлеченные на свет: только соединив небо и землю, мыслители смогут найти простые слова, которые помогут самому что ни на есть обычному человеку высказать свои мечтания.

Если мы вынашиваем идею дать общую картину происходящего, то необходимо помнить, что духовные силы не действуют автоматически, что существует таинство земного бытия, к которому люди добавляют свои идеи. Можно было бы сказать, что отвага каждого человека зависит от него самого, от его способности быть отважным, и она обычно может претвориться в действия в атмосфере дружелюбия. Ежедневно мы испытываем ее воздействие — приливы и отливы, резкий нажим и нежное прикосновение, и их чередование совершается в нас самих и зависит от нас самих. Увидеть во всем конкретном опыте одну лишь экономическую зависимость — значит сделать только первый шаг на пути познания богатого человеческого опыта.

5) Революционное требование

Многие устали от обилия разного рода учений, и это действует против нас. Видите ли, говорят нам, разве сердца не прогнили до такой же степени, что и умы? В том, что наш мир порочен, конечно же, больше виновата посредственность, чем подлинная страсть, и сегодня, чтобы восстановить любовь, приходится рассчитывать на великодушные людей.

Но разве безразличие не возникает именно тогда, когда любви предлагается пресная похлебка? Наш мир постепенно лишился света чистой истины, конкретного присутствия духа. Но как могли бы пробиться наружу наши взгляды, как могло заставить услышать себя биение нашего сердца, если они окружены плотной завесой обесценившихся слов и чуждых нам привычек? Как могут встретиться они, блуждая в ночи? Мы бессильны что-либо сделать, потому что даже общий план оказался потерянным, а строительные камни нельзя изготовить без плана. Пытаться возродить нашу любовь к миру с помощью уже готовых слов, жестов, привычек, все равно что пытаться высечь искру света из крошечной тьмы. Не стоит полагаться на то, что капля доброй воли и горсть душевной теплоты помогут нам все связать воедино. Истину нельзя восстановить с помощью лжи и отпущения грехов. То, что поражено ложью, можно переплавить только в огне. Всеобщая переоценка наших ценностей должна предшествовать их универсальной реинтеграции в сферу духа. Именно это и означает стать на путь революции.

Есть такие слова, о которых люди не могут думать без страха. Считается, что революция — это красное ослепление, пламень. Нет, революция — это гораздо более глубокое преобразование. Μετανοητε*: измените сердце вашего сердца, очистите мир от скверны.

А вы, восставшие против духа революционеры, убивающие любовь, разрушающие свободу, расторгающие связь честных сердец, опошляющие слова, укрощающие порывы, лишаящие жизнь радости, вы думаете, что ныне достаточно умиловить справедливость, чтобы заткнуть

ей рот и скрыть ваше предательство? Что, разве не может быть никакой другой законной революции, кроме вашей, которая не обращается к насилию только потому, что потакает инстинктам? Разве мы не имеем права неустанно требовать всеобщей справедливости, подобно тому как вы требуете всеобщего наслаждения? Чего стоят все эти затасканные слова: радикалы, революционеры, приличия, чрезмерные обещания, мода? Мы отвергаем все это не из зависти, не ради более высокого благосостояния, которое всегда носит подчиненный характер. Мы отвергаем это не ради диалектических кульбитов, ибо для нас существуют ценности, которые не истощаются с течением времени. Мы отвергаем все это не потому, что поддались внутреннему порыву; если этот порыв не является энтузиазмом и решимостью, рожденными в наших сердцах истиной, которую мы, поддавшись чувству возмущения, смутно угадываем, то я вижу в нем только дань настроению; определенная твердость духа говорит о его постоянной готовности действовать, а не является следствием прочности его структуры или отчаянного героизма, каким его хотят видеть. Мы революционеры в двояком плане, но только во имя духа. Во-первых, мы революционеры, потому что человечество продолжает существовать, потому что жизнь духа — это победа над нашей леностью; мы должны постоянно встряхивать себя, чтобы не дать бдительности притупиться, чтобы быть готовыми к усвоению новых открытий, чтобы не отступить перед распахивающимися перспективами. Во-вторых, мы революционеры 30-х годов: современный мир до такой степени покрылся плесенью, что, для того чтобы дать возможность пробиться новым росткам, нужно сокрушить всю эту изъеденную червями массу. Как уже было сказано, до того, как наступит наше Возрождение, нам потребуются новые средние века.

Революции делаются не силой, а светом. Дух — это владыка жизни. Ему надлежит решать, быть зачинщиком и действовать смело. Он и в самом деле действует сноровисто, стыдясь своей славы; предупреждает об опасности, когда стремятся укротить его порыв, не кичится своими победами, освящает (с запозданием, дабы не ошибиться) успехи, к которым не был причастен. Пусть дух начнет с отступления, с устранения из мирских отношений, с преодоления неуверенности, которую ему навязали под благочестивыми предложениями; пусть разорвет все связи с посредственностью, которая с помощью лесты завоевала его расположение; и только после этого он вправе произнести праведные слова и следовать им. Пусть он сметет с лица земли весь этот помпезный базар, отвергнет тезисы и гипотезы, разрушит теорию и практику, уничтожит гигантскую машину, созданную для одурачивания простаков: вот такие труднейшие задачи стоят перед ним; некоторые видят в этом не уважение к истине, а желание не брать на себя ответственность за действия в настоящем. Как если бы мелкие частицы перестали быть материей, как если бы величие духа не состояло в том, чтобы выносить приговор и воплощать его в жизнь.

Дух конечно же может прийти в движение только под воздействием необходимости, но как только это случается, все вещи приобретают

доселе невиданную статью. Необходимость, сталкиваясь с препятствиями, преодолевает их одно за другим, каждый раз, подобно скупцу, спасая в мире то, что в нем есть лучшего, хотя сам он поработен этим миром. Дух, способный предвидеть, утверждает себя в абсолютном, преодолевая препятствия; сначала он ставит цели, даже если еще ясно не видит их, воздействует на них всеми своими силами. Он смотрит вперед и видит, что должно быть, и делает все, чтобы это обрело жизнь.

Его движение — как мгновенная вспышка, как озарение. Он знает, что сможет двигаться в сторону абсолютного, только постоянно обогащаясь им, преодолевая сопротивление материи, используя средства, которые ему предписывает технология, и учитывая все то, что сиюминутно диктуют ему обстоятельства. Он никогда не путает отвагу с проворством, жестокостью, позерством или умением манипулировать идеями. Но в равной мере он никогда не скрывает свою нерешительность или узость видения, ссылаясь на трудность осуществления идей. Он питает отвращение к безмятежной учтивости, которая уводит от столкновений к удачно найденным формулировкам, в которых растворяются проблемы. Мудрость справедлива. Существует Мудрость, которая всегда права, но только безумие достигает ее. Бывает так, что на деле справедливость справедлива, а на бумаге она предстает обычным логическим умозаключением, потому что одержимым удалось с помощью мифов оградить ее со всех сторон. И даже в словах людей здравомыслящих вы найдете смесь ограниченности, посредственности и скрытой подлости, что представляет собой карикатуру на мудрость.

Кто-то будет упрекать нас за нашу дерзновенную молодость. Другие будут кричать об опасности чрезмерных обещаний. Пусть успокоятся, в мире хватает расчетливых людей, обожающих иметь дело с усредненными величинами, и людей, заинтересованных в том, чтобы их значение было еще меньше. Они представляют массу, силу тяготения, историю: о них конечно же нужно говорить, употребляя сильные слова, поскольку они одни соответствуют их устойчивому положению. Что же касается чрезмерных обещаний, то они говорят о возможностях, которые не могут быть продолжением силы, стоящей на их пути.

Сегодня в этом инертном, безразличном, неподвижном мире святость остается единственной политикой, имеющей ценность, а разум, чтобы стать ее спутником, должен сохранять свою чистоту.

6) Предательство активистов

Переоценка ценностей: отважные друзья говорят нам, что вряд ли стоит заботиться о качестве бытия, когда люди умирают от голода, когда самолеты, эти символы цивилизованности, сбрасывают бомбы на деревни Индокитая.

Дело, однако, заключается в том, что, если бы мы раньше заговорили о качестве бытия, может быть, нам удалось бы предотвратить эти несчастья. Тем не менее перед лицом уловок мысли мы будем внимательны и к такого рода протестам. Цитируют Маркса. Но уже Аристотель писал: вообще-то говоря, лучше заниматься философией, чем зарабатывать деньги, но для того, кто испытывает нужду, лучше зарабаты-

вать деньги. Ужас нашей эпохи заключается в том, что временные проблемы выходят на первый план. Может быть, настанут такие времена, когда созерцание будет не столь тяжелым занятием. Сегодня же условия таковы, что дух не обладает свободой. Он похож на путешественника, который вынужден своими руками и крутить колесо, и смазывать его, когда это нужно. Мир потерпел аварию; только дух может вновь завести машину, и он предаст себя, если остается безучастным к судьбе мира. Вот почему наше желание обязательно перерастает в действие.

Вот почему мы требуем от самых что ни на есть типичных философов, даже тех из нас, кто испытывает острую потребность в уединении, в одиночестве, спуститься на землю, к людям, соединиться с ними, жить среди них. Сила их учения не позволит им расслабиться, бежать от действительности и будет требовать от них участия во всеобщей драме. Ныне, как никогда ранее, мы должны приветствовать эту силу.

И здесь опять-таки в своих практических делах мы не можем вести себя так, как если бы требования духа исходили не от нас самих. Действие — оно плоть от плоти нашего мышления. Действовать не значит трепать нервы, играть бицепсами, демонстрируя их силу. Действовать — значит управлять и создавать новое. Разве имеет человеческий смысл бесплодное действие, когда человек, чтобы избежать давления прошлого и будущего, пускается фантазировать по поводу того, что могло бы быть? Столь же бесчеловечным является тираническое действие, которое сковывает любое волевое решение с помощью застывших формул и таким образом насильно подчиняет его себе. Первое является отклонением от требований свободы, второе — от требований истины. Первое дало нам плеяду резких, вечно куда-то спешащих молодых богов, которые в недавнем прошлом пробегали по жизни, как по светскому салону, наслаждаясь скоротечной игрой света и теней. Второе, поскольку мы берем на себя ответственность за действие, представляет более серьезную опасность. Ты посвящаешь себя чему-то, забывая о собственном характере. И вскоре сталкиваешься с такими явлениями, как плохое настроение, беспокойство, своеволие, тяга к повторяющимся формулировкам; а в итоге упорное самолюбие незаметно вынуждает нас истине предпочесть гордыню, коль скоро мы считаем себя ее проводниками, а в друзьях видеть лишь тех, кто поставляет цифры для наших сводных отчетов. Но Я, то самое Я, от имени которого нам говорить особенно трудно, когда мы вершим великие дела, наносит им первый удар. Собственный инстинкт толкает нас ко лжи: мы уже не способны видеть несправедливость в стане своих приверженцев, как и не способны опознать справедливость за его пределами. Из свидетелей мы превращаемся в пособников, нами овладевает посредственность, мы начинаем грубо обращаться с людьми, искажать мысли, и, как бы по инерции или попустительству амбициям, мы еще не бросаем начатое дело, тащим его за собой, как повозку, взвалив на нее все позорящие нас грехи.

Пора перестать предавать действия, равно как и мысли. Нам надо с самого начала проявить решительность в том, что касается следующих двух принципов.

Первый принцип состоит в том, чтобы говорить и действовать на основе того, какие мы есть сегодня, а не какими мы будем завтра. Самый активный из нас, больше, чем кто бы то ни было другой, постоянно обязан оставаться наедине с собственными мыслями не для того, чтобы потакать собственному самолюбию, а чтобы обнаруживать свои слабости. Мы должны быть всегда на виду и помнить, что притягиваем к себе внимание отнюдь не бестелесных и бессильных существ. Мысль чувствительна ко всякого рода изменениям. Мыслят не при помощи сердца, но, если бы не было атмосферы, благоприятствующей мышлению, нам оставалось бы только и делать, что выяснять отношения. Лишь напряженная внутренняя жизнь способна осветить нашу внешнюю деятельность — действие должно рождаться тогда, когда нет сил дальше молчать. Только при этом условии деятельность будет свободной, и ее постоянство не вступит в противоречие с собственной благотворностью, а благотворность не будет компрометировать постоянство. Деятельность всегда открыта, всегда обновляется, потому что ее источник неисчерпаем. Отдельные моменты моей деятельности больше не удручают меня, не заставляют содрогаться, как если бы на меня действовали внешние силы, деятельность моя питается из чистого источника, она напряжена и свободна одновременно, она соткана из отдельных волевых решений, но она едина, как едина мелодия.

Подчеркнем и второй наш принцип. Наша деятельность, в сущности, имеет своей целью не успех, а свидетельство. Само собою разумеется, здесь мало иметь одни идеи, надо еще верить и любить и всем сердцем стремиться к осуществлению собственных замыслов. Мы стремимся осуществить их не только для себя или непременно только своими собственными силами, а ради них самих и ради тысяч людей, которые еще не потеряли надежду. Но даже если бы мы заранее не были уверены в успехе, то все равно начали бы действовать, потому что молчание стало нестерпимым.

Наш оптимизм состоит не в том, чтобы строить будущее, опираясь на мечту: кто знает, как поведут себя силы добра и зла, что ждать нам от них, на что надеяться? Нет, наш оптимизм обращен не к будущему, мы не думаем об успехе. Успех — это как бы премия. Царство духа находится среди нас, если я захочу, оно тут же возникнет и засверкает, подобно нимбу, вокруг моей головы. Это — моя надежда, моя отвага, улыбка сквозь слезы, луч света в тревожном мире; это одержимость в вере, а не бездеятельное ожидание воображаемого вознаграждения за нынешние неудачи.

С другой стороны, коль скоро мы являемся свидетелями, отчаяние нам так же чуждо, как и утопия. Оно имело некоторую ценность для старшего поколения, мы же полностью отвергаем его. Отчаяние, в конечном итоге, не имеет ничего общего с духовностью, оно может обернуться ненавистью, отступничеством, бегством от жизни. Оно говорит о самодостаточности одиночества, равно как и о самодостаточности богатства. А мы против самодостаточности и самодовольства.

Каждое движение обладает собственными характерными чертами; нашему движению свойственна отвага отчаявшихся людей, но нам не чужды и обычные земные радости. В мире достаточно зла, вот почему

нам необходим героизм, даже если он служит единственно преодолению наших собственных слабостей; в мире достаточно таких событий, которым мы должны посвятить свою любовь, чтобы жить в повседневной радости. Человек служит духу, он всегда ставит перед собой задачи и решает их собственными силами, и этим он богат, так что ему не грозит ни опустошение, ни разорение.

Итак, на первом плане стоят проблемы человека — выбитого из колеи машиной, пребывающего в разладе с самим собой, оторванного от родных мест и всего того, что когда-то служило ему поддержкой, человека, ослабленного изнутри, подверженного опасностям извне. Настало время говорить именно о таком человеке.

Его дух, как никакой другой, тысячами нитей связан с материей и устремлен к неизведанному еще миру духовных реальностей. Его призвание — это не призвание одиночки. Он призван хранить верность следующим трем связанным между собой сообществам: сообществу материи, которое находится под ним и которое он должен осветить божественным светом; сообществу людей, которое находится рядом с ним, через которое должна пройти его любовь, чтобы соединиться со своей судьбой; сфера духа, которая находится над ним и которая вызывает к нему, чтобы вывести его за собственные пределы. Именно в этом его королевском величии, которое свидетельствует от имени целостной жизни, человек по сути своей является социальным существом; по отношению к миру материи — это дружба властелина; по отношению к миру людей — это дружба спутника; но и в том и в другом случае речь идет о дружбе свидетеля, о дружбе верного слуги.

Мы называем материализмом любые попытки человека, как духовного существа, отказаться от одной из этих трех своих миссий. То, что мы говорим о нескольких миссиях человека, вряд ли придется по вкусу некоторым псевдодрузьям духа. Но именно этим наш гуманизм отличается от определенных форм современного гуманизма — он может быть более или менее открытым в зависимости от того, что понимает под метафизикой каждый из нас, как трактует он существующую вне человека и над человеком реальность; наш гуманизм открыт для всех. Человек скован, окружен, подчинен; он является только частью духовной реальности, одним из ее избранных, он не завоевывает дух, он предан духу.

7) Реабилитация материального мира

Непонимание материи — такова первая форма материализма.

Античному человеку никогда не удавалось достичь дружески доверительного отношения с природой. Ее атомы и частицы вели свою игру рядом с ним, отгородившись от него некоей враждебной необходимостью. Вещь, в том смысле, который внушает отвращение современному сознанию, этот странный абсолютизм, вероятно, никогда до такой степени не занимал мысль, общественное мнение, как это было в то время. Разумеется, наряду с ним существовала и мечта, она витала

в облаках, над лесами и морями, но оставалась незаконнорожденной дочерью поэзии и торговли; с ней не связывалась никакая вера и тем более никакая общность; даже благосклонные к ней боги оставались заговорщиками и шпионами в ее владениях.

Христианство, заинтересовав весь мир историей Бога-Сына и Креста, установило дружеские отношения между человеком и природой. Чувственно осязаемый мир излучает свет, который пронизывает сердце человека и поддерживает его жизнь. Он необходим ему, чтобы проявлять свой ум и подниматься к Богу. Он заселен символами и существами, его голос является продолжением голоса Бога-Сына, он дает нам представление о бескрайней исторической реальности, которой мы не в состоянии достичь собственными силами. Художнику — полотну, святому — испытание, философу — победное шествие; чувственный мир — это дорога, это путь, по которому следует дух. На этом пути, конечно же, существуют силы инерции, что-то такое, что оказывает сопротивление, что ведет к беспорядку, но как только человек, ступая на него, обретает духовность, силы эти начинают служить ему: человек, преодолевая препятствия, укрепляет свой дух.

Нужно ли обвинять Декарта в том, что он развел в разные стороны дух и материю? Быть может, он так же, как и Маркс, философскими средствами выразил ошибку, которая была свойственна цивилизации того времени. Стоит ли говорить об этом! Известно, каким образом Декарт отделил материю от духа: он лишил материю возможности откликаться на зов человека, вычеркнул из нее все то, что объединяло ее с человеком, что делало ее человеческим миром, к чему человек мог прикоснуться плотью и сердцем, что он, как искусный ремесленник, мог сделать творением рук своих, воплощением мыслей своих; и эту опустошенную материю он отдал на откуп всемогущей математике. Математику же в материальном мире интересовало только то, что поддавалось исчислению, а также сам хоровод чисел: безжизненный мир чисел, пустынная равнина без глубинных истоков, без времени, без истории, без души. Мир принял вид некоей неизведанной стерильности и незыблемости. Но в нем не было человека, а сам человек находил в нем только отсутствие. Мир оказался расколотым надвое, и неприкаянный дух парил над этим механическим хаосом: внизу — мир-машина, который опирается исключительно на технику, сверху — духовная надстройка, настолько чуждая ему, что она сразу же оказывается бесполезной и излишней.

Однако, освобожденный от груза своего бытия, дух еще обладал доступом к новому миру, если пользовался подсчетом. И вскоре он уже совершал здесь чудеса. На протяжении многих веков его вынуждали постепенно преобразовывать непроницаемый для него мир. И вот наконец луч яркого света пробился сквозь этот мир. Он вызвал к жизни дремлющие силы: родился мир машин. Создатели общих формулировок стали жаловаться на засилие грубого материализма. Но пусть они присмотрятся к этой истонченной, расторопной, более проворной, чем пальцы человека, материи. У человека слишком много духа, чтобы, одалживая его, не отдавать в излишне большом количестве. Мир, в котором царила непроницаемость, с каждым днем приобретал все больше

изящества и сноровки. Всегда ли наши идеи оказываются столь же гибкими, быстрыми, точными? Вот так, принимая все за чистую монету, мы стали слишком доверчивыми. Правда, мы уже не верим в материю с тех пор, как она сумела без особого усилия покорить то, что у нас еще осталось от духа; в этом новом столкновении с ней мы уже не замечаем, что она все больше и больше завладевает нами, чего нельзя сказать о нашем влиянии на нее.

Прежде всего она вторгается в нашу повседневную жизнь. С каждым днем становится все труднее и труднее понять мир, но зато все легче и легче пользоваться им. Он семимильными шагами движется ко всеобъемлющему комфорту. Ну, а материя — она препятствие для него или стимул? Да, где-нибудь в лабораториях. Практически она, некогда бывшая предметом почитания, великой прародительницей волшебников и богов, теперь превратилась в домашнюю прислугу, не обладающую ни собственным достоинством, ни приобретенными добродетелями; материя стала игрушкой в наших руках.

Дело отнюдь не в том, что материальная жизнь становится все более усложненной: что значат несколько машин в доме? А тому, кто управляет заводом или нацией, разве не под силу справиться с более сложными механизмами? Зло не в нашей любви к роскоши, поскольку она, если рассматривать ее как желание, чем-то сродни нашей щедрости, врожденному стремлению к великодушию. Нет. Зло состоит в том, что дух не движется равномерно. Он может опереться на этот рост сил и сделать скачок вперед, но он может и просто израсходовать их, чтобы увеличить материальные блага. Он предпочитает облегченные решения и увязает в комфорте. Некогда сами развлечения: охота, искусство, приключения — требовали, чтобы их добивались. Ныне же их получают в готовом виде: радио, пластинки, спортивные зрелища; словом, развлекающийся человек — это человек, который сидит и смотрит.

Однако его аппетиты растут и он начинает завидовать всему тому, что оказывается выше него. Материальные удобства грозят нам такими психическими явлениями, как равнодушие, способное скомпрометировать от природы спокойных людей, и крайняя раздражительность, подогреваемая постоянным стремлением к разногласиям, порожденным нескончаемыми войнами.

Материальные удобства оказывают воздействие на внутреннюю жизнь духа, заражая ее своими нравами. Позитивизм* возжелал, чтобы наука занималась исключительно количеством, тем, что доступно восприятию и может быть использовано; речь идет не о фундаментальной науке о Вселенной, а о беглом и поверхностном анализе механических сред, необходимым для развития индустрии.

Поскольку человек живет познанием, его душа мельчает от такого узкого видения мира. Он начинает уважительно относиться только к тому, что поддается измерению. Величие — это некоторое число нулей с правой стороны: рента, тираж, цена. К этой перспективе он добавляет время, являющееся сплавом терпения и надежды, и трактует его исключительно как скорость. Ему не терпится ставить рекорды не потому,

что они представляют собою человеческое усилие, напряжение, спрессованное время, а потому, что благодаря им математический ум упивается собственными успехами, подобно тому как статистические данные пятилетки вызывают всеобщий энтузиазм. Материи, которой уже нечего сказать духу, остается только требовать, чтобы он ее посылнее встряхивал, поддерживая в ней нервозность, претендующую на то, что она достигает знания лучше, чем разум. Кино, эта духовная пища толпы, потребляемая ею без какого-либо усилия, если и не опустошает дух, то приучает воображение к мощному визуальному воздействию, притупляя его и делаю бессильным перед лицом жизни, которая не предлагает ни крупных планов, ни эффектных сцен, ни навязчивых объяснений душевных порывов. Для огромного числа тех, кто не загружает свое мышление иначе как с помощью пяти-шести заученных формул, существует только одна усложненность — механическая, оказывающая сильное воздействие на их чувственность. Здесь все немного таинственно, ибо если открыть глаза, то поневоле заметишь, что существует множество элементов: вот почему эти люди охотно полагают, что секрет любой тайны заключается в механической усложненности.

Рядом с этой головокружительной и виртуозной статистикой долговременные ценности кажутся скучными, потому что они требуют отвлеченного подхода, спокойного рассуждения, косвенного постижения. Оставьте эту чехарду чувственных величин, эту нервозность, создающую иллюзию духовной жизни, и попытайтесь по достоинству оценить своеобразный вкус, скромную добродетель, повседневный героизм. Вот видите, вы и не способны воспринимать спасителя мира вне чего-то сенсационного, фантастического, необычного; вас удовлетворит любая нелепость, и только нервный шок вырвет вас из их объятий.

Наконец, поскольку материя — это всего только послушное орудие индустрии, то присущая ей красота, являющаяся самой основой поэзии и жизни, отступает назад; так что остается только одно восхищение — восхищение механической силой; самому неумелому из людей оно даст иллюзию сноровистости, на которую он был бы не способен в мире без рычагов; самому умелому оно даст иллюзию всемогущества.

Этому упрощенному миру нужен был свой язык. Ему нужен был наглядный символ, заменяющий собой число, посредством которого можно было бы одновременно распределять и власть, и благосостояние. Он нашел такой символ — это деньги. Вся материальная жизнь сосредоточилась в деньгах, а затем вообще растворилась в них. Место вещей занял узурпатор и терроризировал их, то давая им волю, то устрашая их. Поскольку вещи пытались вырваться из его объятий, апеллируя к разумному объяснению, которое вновь направляло их к духу, он превратил себя в Бога и навязал им собственный культ. Метафизика и социальное вырождение, материализм и продажность сходятся и перемешиваются в нем. Безликие единицы, не связанные ни с какой совокупностью или системой ценностей, становятся взаимозаменяемыми, а следовательно, и поддающимися купле-продаже. Деньги поглотили человеческую плоть и чувство любви, искусство, промышленность, всю материю. Деньгам, которые стали неуловимыми и безличными, деньгам, поддерживающим анонимные общества, негласно поставляю-

щим оружие для ведения войн, удалось осуществить то, чего не смогли добиться ни власть, ни случай: внедрить в сердце человека старую как мир абсурдную мечту о диком, непреодолимом и ненаказуемом обладании покорной материей, которую, по желанию, можно бесконечно размножать.

Чтобы мы смогли вновь отыскать свой путь в мире материи, ей надо обрести свое место и свою душу. Любые вещи приобретают прочность только благодаря духу: пусть материя прежде всего восстановит с духом тесную связь, которая вернет ей ее внутреннюю жизнь, первоизданную чистоту, слаженное, органическое взаимодействие ее частей. Устраним стоящих между нею и нами посредников, какими являются деньги, числа, наглядные схемы, оставив их только в аналитической науке и промышленном производстве. Усвоим вновь телесный смысл мира, заведем дружбу с вещами. Тогда мы вновь обретем поэзию, а значит, прорвемся к душе, ставшей бесцветной и погрязшей в пошлостях, дадим ей новую пищу.

Но мы обретем нечто большее, чем просто поэзия. Дух устал при-служивать ученым и болтунам. Он жаждет полнокровной жизни, царящий же в определенных кругах разгул телесности является карикатурой на духовное обновление. Если эти люди оказываются на краю пропасти, то только потому, что они растрачивают свой пыл, предназначенный для преобразования материи. Приостановка в самом начале, когда лучи любви уже начали свое благое дело, может завершиться поиском легких путей, а не мистическим откровением: тот, кто не стремится обрести здесь опору для движения вперед, для самоутверждения, покрывается плесенью, становится тяжелым на подъем. Духовное движение не может иметь своей целью одно лишь созерцание материи.

И тем не менее мы целиком увязли в материи. Материя является для нас самой близкой, самой привычной реальностью, она рассказывает нам обо всем, и мы ее первые слушатели. Она прокладывает путь истине и лепит лица людей. Она описывает превратности нашей жизни. Она сопутствует нам во всей нашей жизненной драме. И как только ее роль будет восстановлена, она не даст нам пойти по легким путям, она станет самым серьезным советчиком в нашей жизни, указывающим нам на наши слабости и призывающим к мужеству. Ей, как и мне, свойственна неуверенность, она, как и я, испытывает тяготы жизни, как и я, имеет тенденцию к деградации, на ее лице также появляются старческие морщины, ей, как и мне, грозит внутренняя смерть, если она останавливается в своем развитии. Все человеческое оказывается ограниченным и отягощенным ею, она лишает человека устойчивости, наделяя своими противоречиями и внушая чувство тревоги.

Вот почему духовным смыслом материи являются отнюдь не безмерные притязания или жажда упоения, а нежность. И если она коснулась нас, нам уже нечего бояться ее. Стоит ли ограничивать человеческие притязания и предписывать пределы тайнам природы? Тот, кого не удовлетворяет хижина и обычная телега, потому что он хочет жить так, как живет весь мир, приобретает виллу и шикарный автомобиль; но он

при этом только теряет время — он мог бы обрести душу и прославить этот неустранимый мир. Мы достаточно много говорили об искушениях, порожденных машиной, и показали, что они опасны не столько для нашей жизни, сколько для нашего духа. Но они утратят свою силу, если мы забудем о наслаждении и станем относиться к материи как к тому, что требует развития наших способностей и что обеспечит нас новой работой. Без материи наш духовный порыв растворился бы в мечтаниях или тревоге: материя сдерживает и обуздывает духовный порыв, и вместе с тем именно материи он обязан своей молодостью и быстрым продвижением вперед. Для этого нужно относиться к ней достаточно требовательно.

8) Реабилитация сообщества

Сообщество существует только там, где есть различные его члены. Говорить о том, что возможно их абсолютное единство или абсолютная разобщенность, значило бы совершать непростительную ошибку. Человек, который бежит от материи, и человек, который теряется в материи, похожи друг на друга. Так происходит и в сообществе людей. Каждый растет в нем вверх, влекомый своей свободой, стремится стать личностью, обрести господство; но он призван также совершать и горизонтальное движение, цель которого заключается в самопожертвовании.

История, как представляется, разделила надвое это единое призвание. После двух попыток восстановить их единство в античности и в христианстве, я говорю только о Западе, была предпринята и третья — в эпоху Возрождения возник первый абстрактный гуманизм, в котором господствовала мистика индивида; второй, столь же абстрактный и не менее бесчеловечный гуманизм рождается ныне в СССР, где господствует мистика коллектива. Гигантская битва, развертывающаяся на наших глазах, ведется не ради достижения мира и не за улучшение благосостояния людей. Она ведется против первого Возрождения, которое рушится на глазах, и против второго Возрождения, которое еще находится в стадии подготовки. Трагедия состоит в том, что человек пребывает сразу в обоих сражающихся лагерях, и, когда один из них одерживает верх, человек теряет неотчуждаемую половину самого себя.

Индивидуализм надо оценивать во всей его полноте. Индивидуализм — это не только мораль, но и метафизика полного одиночества, того одиночества, которое остается нам, когда мы теряем истину, мир и сообщество людей.

Одиночество и истина: я мыслю не вместе с другими, я не использую общие формы мышления, не разделяю общую точку зрения — я мыслю, подчиняясь собственным эмоциям, я мыслю вполне конкретно, и это есть мое уникальное и недоступное никому познание.

Одиночество и мир: я живу в мелькании собственных ощущений, в устремлениях моего разума; речь идет исключительно о том, чтобы суметь предстать перед лицом собственной совести, чтобы быть совест-

ливым, искренним, целостным; тем самым метафизическая тревога подменяется заботой, имеющей психологический (а впоследствии и психопатологический) характер. Для меня важно только то, что меня отличает от других, даже если речь идет о притворстве или греховности.

Одиночество и другие люди: можно ли считать подлинным Я того абстрактного индивида, дикого бродягу-одиночку, не имеющего ни прошлого, ни будущего, ни привязанностей, ни собственной плоти, на которого снизошел огонь Троицыного дня и который не знает, что такое чувство общности? Такова суверенная свобода. Именно этот индивид нужен современному миру, он молится на него, поскольку для него не существует никаких привязанностей, поскольку живет он за счет собственной спонтанности. Для него преданность, сопричастность, самопожертвование — всего лишь некоторые пространственные образы, существующие вне его. Оправдывая свой животный эгоизм с помощью моральных уловок, он убедил себя в том, что всякое отношение к другому является гнусным принуждением. В мире мыслителей и моралистов все еще указывают пальцем на неотесанные философские учения, которые вводят в свое мировоззрение некую внешнюю сторону и говорят о взаимодействии отдельных реальностей, огрубляя его до такой степени, что оно уже перестает быть взаимообменом. Все твердят о легкомысленном, замкнувшемся в себе индивиде, который не испытывает нужды в собственной решимости. Он не выносит самого себя, собственную волю и всякую преданность как объективный факт, идея о бескорыстной деятельности не оставляет камня на камне от иллюзии о том, будто он иногда был в состоянии вести вынужденный диалог и тем самым разрывал круг своего безысходного одиночества.

Ловкий эгоизм способен ловко защищаться, отрицая все и вся, он не оставляет никакой иной ценности, кроме ценности грубого самоутверждения; это самоутверждение носит наступательный характер, ибо человек, теряя способность принимать что-либо, теряет и желание что-либо отдавать. Среднего человека западного образца на протяжении четырех веков лепили по модели возрождающегося индивидуализма, то есть по модели метафизики, морали, практики *эгоистического содержания*. Личность перестала быть хранительницей целостности, центром плодотворности и самопожертвования и превратилась в очаг озлобления. Гуманизм? Гуманизм эгоистических притязаний — это всего лишь искусно завуалированный инстинкт силы, его чуть отретушированная копия, получившая распространение в большинстве стран под благожелательной защитой аналитического мышления и римского права.

Не будем, однако, осуждать за это ни аналитическую мысль, которая вовсе не предназначалась для постижения разрозненных явлений, ни понятие права, которое в гораздо меньшей степени является расплывчатым и односторонним, чем понятие эгоистического интереса. Однако под влиянием инстинкта силы они ступили на скользкий путь, на котором вместе с чистотой утратили и всякий контроль над собой. Этот индивидуализм, язык которого, приукрашенный терминами свободы, независимости, терпимости, стал прикрытием для жестокого столкновения противоборствующих сил, необходимо подвергнуть психоаналитическому исследованию. Этот инстинкт присвоил себе все то, что состав-

ляет достоинство личности: алчность выдал за благоразумие, эгоизм — за независимость, мелкособственнический интерес — за умение действовать. Мы окружили собственное Я прочной оградой, укрепив ее колючей проволокой, мы привели в полную боевую готовность наши интересы и притязания, представив их в качестве высших добродетелей, и, чтобы разорвать эту оборону, потребуются исключительные средства: может быть, в один прекрасный день Восток даст нам такие средства и мы содрогнемся перед лицом нашего теперешнего Я.

Надо сокрушить не только этих строптивых индивидов — ведь они наложили отпечаток на всю действительность, имеющую коллективистский характер, сначала разрушив ее, а затем переделав по своим образцам. Под влиянием их самоуправного действия человеческий универсум взорвался и рассыпался на отдельные замкнутые в себе миры: классы, нации, профессиональные и экономические интересы. Границы между ними уже не служат объединению, все их силы направлены на то, чтобы отделить и изолировать их друг от друга. Ведь нас дурачат, когда говорят о человеческом содержании льющейся потоком социальной магмы. В этих потоках отдельный индивид не способен подняться над собой, он осажден своим alter ego, еще более безжалостным, чем он сам, одурманенным не знающей границ коллективистской мифологией. Они не только не ослабляют эгоизм, а укрепляют его, делая его самостоятельным, представляя чем-то священным, как если бы справедливое и несправедливое, увеличивая свое влияние, могли меняться местами.

Таковы те общества, которые создал либерализм, опираясь на вывобожденные им самим силы. Все остальное — это выдумки благодушных юристов, находящихся под воздействием сил, существование которых они не желают признавать. Им представляется, что они, опираясь на идею о взаимобмене свободными волепроявлениями, нашли средство для объединения этих разобщенных существ. Вот уже на протяжении ста лет мы видим, как во Франции законодатели преследуют реальность, стремясь навязать ей свою никчемную идею договора, который годится для чего угодно. Договор является необходимым и достаточным, чтобы утвердить право. Необходимый, достаточный — вот вам ваша безопасность, ваше умиротворение, ваше согласие; теперь я со спокойным сердцем могу сказать безработному, что он взял на себя обязанность кормить на 8 франков в день свое семейство, ниспосланное ему счастливой судьбой, как раз в силу этого свободного трудового договора; и японскому солдату — что он согласился разmozжить голову китайцу в силу свободного общественного договора; и заключенным той внешне улыбочивой женевской тюрьмы, которую когда-то посетил Руссо, — что их цепи являются самым удивительным творением их собственной свободы. Все свободы уравнивают друг друга, но кто взвешивал их, кто обсуждал договор между ростовщиком и мелким торговцем, между трестом и отдельными предпринимателями, между победителем и побежденным, между соответствующими компаниями и мною, пользующимся железной дорогой, телефоном, страхованием? Не мешайте делу, не путайтесь под ногами у сильных мира сего! При таком бездушном и бесконтрольном строе свобода — это воровство! Когда нам говорят, что организация правосудия — это утопия, я сразу вижу торчащие

из-под колпака уши, но если это говорится искренне, то как раз в этом случае и было бы полнейшей утопией верить в то, что люди, предоставленные самим себе, спонтанно не организуют всеобщую резню.

Если отвергать всякое принуждение, то надо идти до конца: зачем подчиняться вот этому жандарму, моему вчерашнему решению, данному мной слову, если я как волевой субъект сегодня протестую против такого рода обязательств. Вот уже на протяжении нескольких лет мы наблюдаем такое парадоксальное явление: профессиональные сторонники свободного договора, сознательного соглашения, признающие относительность любого суждения, понимающие, что все течет и все меняется, оказываются самыми неумолимыми в провозглашении вечности однажды поставленных подписей. Договор между двумя волевыми субъектами, принятый по сугубо формальному признаку, в будущем может оказаться наилучшим орудием в руках тирании, борющейся против справедливости; это внушительная, но совершенно неприемлемая основа для созидания истории. Мы придумали законоведов, но постараемся помнить также и о Людовике Святом, который возвращал врагу незаконно захваченные земли. Для того чтобы спасти Запад, нужно освободить его от его собственных пороков. Необходимо раз и навсегда порвать с формализмом: свобода не создает справедливость, она ей служит.

Значение коллективизма состоит в том, что вот уже в течение длительного времени он ведет борьбу за восстановление утраченной универсальности. Конт, Дюркгейм — их попытки не имели успеха, они не затронули сам механизм. Единение искали вокруг формальных идеалов, которые школа предлагала жизни. Более естественной была работа внутри кооперации и ассоциации, направленная на улучшение нравов. Учитывающая дух времени и предусматривающая конкретных людей, она еще сохраняет у Фурье, Прудона и даже Сен-Симона стремление призвать саму личность к строительству коллективных связей и обеспечить ей в новом обществе условия существования. Маркс вынужден был уничтожить последние привязанности человека, которые содействовали становлению личности, чтобы растворить ее в социальной реальности. Личность — это тот, кто отклоняется от общего пути, кто выпадает из огромной сплоченной массы, называемой социальным классом, каждый член которого представляет собой подвижную взаимозаменяемую частицу, жертвующую собой ради единого целого. Мистика полного слияния внутри имманентного бога, столь близкая предрасположенной к религии русской душе. Но самоотречение, если оно не проникает до его сердца, отнюдь не возвышает человека; и речь должна идти об универсальности, какой бы внутренней энергией она ни обладала, а не об экономических связях, классовой принадлежности и производственных отношениях, подменяющих собой человеческое предназначение.

Мы не питаем иллюзий относительно тех сил, которые ныне борются против коммунизма. Устраните страх, пошлость, интересы денежного мешка, классовую ненависть, разгильдяйство, должностные преступления, лишите покоя окопавшегося в себе индивида и вы сможете определить значение того, что стоит выше простого негодования. Именно

потому, что мы стремимся к истинному пониманию, потому, что мы хотим стать центром оппозиции, не только не имеющей ничего общего с защитой поставленных под угрозу эгоистических интересов, но и готовой открыто выступить против них, мы ожидаем мощного ответного удара. Мы прекрасно понимаем, на что посягаем, — наша деятельность будет направлена как против тех, кто в незначительной степени поражен этим недугом, так и против тех, кем он полностью овладел. Но если мы хотим, чтобы восторжествовала человечность, если мы хотим одержать победу над бесчеловечностью, нам надо пробиться в те сферы, которые лежат по ту сторону всякого эгоистического интереса.

Если для защиты и спасения личности требуется сопротивление, то мы встанем под знамена такого сопротивления. Но сражаясь во имя личности, мы отказываемся сражаться ради той алчной, агрессивной реальности, которая выступает от ее имени. Личность — это не какие-то внутренние притязания, не жажда чего-то неопределенного, не смутное желание самоутверждения. Это — стиль, противостоящий различным влияниям и вместе с тем широко открытый им, это — способность человека быть чутким и гостеприимным. Это — потребность человеческой психики в творчестве и господстве, которая может осуществиться только внутри человеческого сообщества, где всякое творчество вовлекает в свою орбиту всех, а господство является одновременно служением всем. Это — свобода и инициатива, это — начинания, первые шаги к миру, обещание дружбы, самопожертвование. Обрести себя можно, только потеряв себя, обладать можно только тем, что любишь. Но пойдем дальше, до той истины, которая дает нам спасение: обладать можно только тем, что отдаешь. Ни чрезмерные притязания, ни устранение от мира: нам одинаково чужды точки зрения и Востока и Запада. Мы выбираем движение, в котором объединяются усвоение и самоотдача.

Восстановить эту двойственную структуру, очистить сосредоточившуюся в себе личность от греха собственности, открыть перед ней путь, ведущий к торжеству самопожертвования и воскрешению универсальности, — такова, в общих чертах, потребность нашего времени, такова задача философии и человечества завтрашнего дня. Было бы утопичным ожидать, что спонтанное развитие нравственности приведет к решению этой задачи: вот почему мы хотим создать сеть направляющих органов. Но не менее утопичным было бы стремление решить эту задачу путем искусственного соединения людей под бдительным надзором технократов или одного класса, присвоившего себе такое право; в каком-либо начинании дух не является животворной силой, он разъедает его, как болезнь.

В последнее время мы замечаем, как почти повсеместно растет стремление вновь говорить о внутренней жизни конкретного человека. Но какими же узкими оказываются ее перспективы! Люди объединяются с помощью смутного чувства того, что они должны чего-то достичь; что тело человека стало не только бременем для его души, как это показал Бергсон, но и что, вместо того чтобы изменить свои формы в соответствии с новыми потребностями духа, оно стало болезненно увеличивать-

ся, словно раковая опухоль; что на полпути между человеком внутренним и человеком социальным для каждого из нас уготована сбитая с толку искусственная душа, сотканная из абстракций, не имеющих никакого отношения к тому, что мы любим. Искусственный человек¹, индивидуалистический человек, лишенный внутреннего содержания, носитель столь же бессодержательной свободы. Искусственный человек, гражданин без власти, который вместе с властями избирает также и людей, которые будут торговать властью. Искусственный человек, homo oeconomicus капитализма, рука и челюсть, каким изобразил его Пикассо. Искусственный человек, человек, принадлежащий к определенному классу, то есть обладающий определенным набором привычек и условностей, использующий известные выражения, продиктованные невежеством и презрением. Но эти искусственные создания живут, угнетают окружающих и, подчиняясь инерции, ищут удобных путей. Смысл их существования мы сумеем понять лишь тогда, когда по ту сторону их игрищ отыщем всеобщее и естественное предназначение человека.

Итак, мы возвращаемся к центральному пункту: конкретный человек — это человек, отдающий себя. А поскольку великодушие существует лишь в духе, пронизывающем мир и людей, конкретный человек — это человек созерцающий и трудящийся.

Человек создан прежде всего для того, чтобы найти истину мира, а не для того, чтобы благодаря своим способностям покорить материю или, опираясь на нее, обеспечить себе комфорт. За потребностью и рвением в труде всегда стоит жажда созерцания. Труд, это вторжение в мир материи, не имеет своим предназначением одухотворение материи: у человека есть первейшее призвание, труд же — его случайная форма. В труде всегда есть доля принуждения, потому что он является борьбой против сопротивлений, против несовершенного устроенного мира; и тем не менее труд должен быть свободной и радостной деятельностью в самом высоком смысле этого слова, потому что он является проводником духа в мир, его плодотворяющей силой. Впрочем, расширяющееся созерцание человека также является разновидностью материального труда, без которого оно превращается в простое приспособление. Созерцание сообщает любому труду новое достоинство. Поскольку труд является законом духовной и материальной деятельности, то воздействие на природу не может пониматься, как это было у Декарта, в качестве материальной тирании: труд — это одновременно и дружеское общение и нравственное завоевание.

Самоуглубление человека, нахождение им принципов, делающих нас людьми, достигаются им самостоятельно благодаря объединению созерцания и труда. Порочно и бесчеловечно то общество, которое одним отказывает в досуге, необходимом для внутренней жизни, а других ожесточает в неприязни к ремеслу.

Однако поскольку люди, несмотря на все, остаются людьми, они всегда находят свой путь в этой противоречивой истории. При всем ее

¹ Мы предпочитаем говорить "искусственный" вместо "абстрактный". Со вторым термином, как будет видно в дальнейшем, связаны самые нелепые недоразумения.

многообразии, несмотря на наше отношение к ней, она остается тем водным пространством, в котором отражается весь мир. Ученые, поделившие между собой зоны исследования, познают их отраженными в этом мерцающем зеркале. Вот почему мы с такой деликатностью относимся к их частной жизни: мы видим в ней живое выражение наших самых добрых устремлений.

Но и они должны научиться видеть их. Казалось, нам стоило бы испытывать двойной страх — и потому, что мы все различны (это грозит нам одиночеством), и потому, что мы ищем общности (это является причиной нашего беспокойства). Из лени или по легкомыслию, чтобы не быть связанными ни тем ни другим, мы стремимся забыть, беря на себя те или иные роли, копируя уже готовые образцы, передаваемые от поколения к поколению или созданные в соответствии с быстрорастущей модой. Творчество может пробить брешь в однообразном следовании событий. Самоуглубление может до такой степени расстроить жизнь, что восстановить ее удастся только с помощью крайних мер. Нам нужно прежде всего научиться избегать очевидных пошлостей, общепринятых способов чувствования и мышления, на которые нас обрекает школярская наука, легковесных штампов, наводняющих общественное мнение, газеты, коммерческое кино. Мне необходимо бороться против всей собственной жизни, ибо я постоянно порожаю банальности: как только я прикасаюсь к какому-нибудь образу или идее, в них что-то сразу же увядает, начинает клониться вниз, и чем дольше мое воздействие, тем стремительнее их падение.

Так что же, именно о таком завоевании Я идет речь? О гибели всех вещей, становящихся моей собственностью, об анонимном характере всех моих приобретений? — Нет, это всего лишь темная ночь, через которую надо пройти, чтобы достичь новых глубин. Нам не преодолеть легкомыслия, полагаясь на собственные душевные силы, нам не избавить мир от серости, даже если мы найдем в нем что-то исключительное. Ничто не избегает постепенного разложения; с помощью нашего жалкого воображения мы сумеем добиться чего-либо, только идя окольным, непривычным путем. Необходимо изменить сам смысл наших отношений с универсумом, направив животворный луч света на наши богатства, который высветит только один их аспект, говорящий о том, что они предназначены для дароподношения. Безразличие — это самый обычный путь к окостенению: мы сумеем избавиться от безразличия только тогда, когда заставим себя выйти за собственные пределы. Коллективная жизнь при условии ее достаточно глубокого укоренения не является для души казармой, как это нередко пытаются представить. Мы уже говорили, что люди владеют только тем, что отдают. Нам удалось превратить эту собственно человеческую истину в метафизику личности, она в то же время является подлинной метафизикой коллективизма, к которому устремляется наша эпоха; и мы должны всеми силами помогать ему, очищая от всего наносного и направляя по собственно человеческому пути: только тогда нам станет ясно, что любовь разнообразит то, что объединяет, и что только благодаря ей мир приобретает многокрасочность.

Любовь успокаивает, коллектив приводит в волнение. Это происходит тогда, когда игнорируются требования любви и искажаются

требования коллектива. Так или иначе, но и любви, и жизни в коллективе надо учиться, потому что в противном случае, если мы не изгоним окопавшегося в нас индивида, мы погибнем; потому что к этому настойчиво направляет нас сам мир, и в еще большей мере потому, что существует любовь — этот вечный закон, который на протяжении многих веков постепенно утрачивал свое значение. Надо будет всесторонним образом подорвать застарелое зло.

Научимся понимать другого человека. Мы вовсе не против привязанности: среда, в которой царит любовь, воздействуя на наш внутренний мир, задавая ему определенную тональность, укрепляет в нас чувство привязанности; и даже если мы пребываем в одиночестве, она удовлетворяет нашу потребность соучастия и сопричастности. Однако всякая привязанность стремится обособиться, всякий союз — вылиться в эгоизм. Как бы широка ни была наша душа, всегда существуют такие люди, которым не нашлось места в ней. Необходимо что-то отбросить, поставить себя на первое место — да, это так. Но надо также отказаться от ленистого прозябания, выйти из своей скорлупы, вылезти из уютного кресла, нарушить привычный ход вещей. Тогда и наши самые интимные отношения, очищенные от эгоизма, станут более прочными, более определенными, а сами мы окажемся способными откликаться всем людям, с которыми столкнемся, выйдя за пределы своих границ.

Любви достойно все то, что молодо, что набирает силу. Речь идет не просто о динамизме, ставшем расхожей идеей у словоохотливых философов, — речь идет о болезненном опыте. Каждый день мы наблюдаем, как люди, которые совместно защищают дух, путают вечное и набившее оскомину обыденное, как они, словно старики, злобно и дьявольски агрессивно ненавидят все то, что только появляется и несет в себе ростки будущего. Дело в том, что молодость, как и все непривычное нам, вырывает нас из тепличных условий и привычных мест. Ее добродетель состоит не в том, что она способна изменить мир: изменение может быть и отступлением назад, а новое — оно всегда новое. Ее добродетель состоит как раз в том, что она является молодостью, то есть той самой внутренней чистотой, благородством, свежестью и избыточностью, которые наиболее свойственны вещам, только что появившимся на свет. Мы должны быть молодыми и устремленными вперед не потому, что бытие — это движение, а потому, что инертность материального все превращает в мумию и существует только одно средство оставаться чистым, милосердным, свежим и плодотворным — возрождаться все вновь и вновь. Парадокс мира состоит в следующем: самоотречение укрепляет личность, а постоянное обновление спасает вечные богатства. Одно направление, один контур — да, это так, но внутри — путешествие, не знающее границ.

Наконец, необходимо культивировать бедность духа, способную возратить ему тягу к универсальности; она подобна материальной бедности, которая в мире денег носит чрезвычайный характер, учит любви к людям. Откажемся от чрезмерных потребностей, как тех, которые исходят от укрывшихся в нас индивидов, так и тех, которые связаны с религиозными и национальными предрассудками. Возлюбим изобилие, идущее от целостности, а не от отдельных частных. Избавимся

от всех тех побрякушек, которые можно нацепить на себя и добиться уважения окружающих; благодаря всепобеждающей бедности и не знающей границ любви мы вновь вернем неповторимое своеобразие каждой вещи и каждой личности. Без этого наша любовь к ним будет всего лишь простым обожанием. И чем больше мы будем работать над их укреплением, тем в большей степени они будут всеобъемлющими и индивидуальными. Интеллектуальная деятельность, выводящая нас за пределы унифицированной реальности, является наилучшей дорогой, ведущей в царство любви.

Мы должны воспользоваться всеми этими средствами, чтобы у личности выработалась новая привычка — привычка рассматривать все человеческие проблемы с точки зрения блага сообщества, а не с точки зрения индивидуального каприза. Сообщество — это, конечно, не все, но обособленная человеческая личность — это ничто. Коммунизм является философией, говорящей от третьего лица, философией безличного. Но существует две философии, говорящие от первого лица, два способа мыслить и обосновывать само это первое лицо: мы выступаем против философии Я, за философию Мы.

9) Духовный реализм

Присмотревшись внимательнее, мы поймем, что не только люди подобны нам. Наряду с миром людей и миром материи существует третья, еще более интимная социальная связь, та, что делает нас преданными духовной реальности. Эта связь является господствующей только потому, что цель ее — управление нами, нашим сообществом, и достигается она в результате длительной внутренней работы. Кроме того, она является ожиданием и согласием.

Но существует ли отклик на такое ожидание и имеет ли эта внутренняя работа какой-либо выход вовне?

Длительная идеалистическая традиция трактует дух как бесконечную способность создавать реальность и тем самым создавать себя. (Несмотря на предоставляемую ему широту действия, дух понимается как замкнутость.) С точки зрения этой традиции, когда мы говорим об объективной реальности, мы тешим себя иллюзией: мы выносим в будущее наше познание и воображаем его полностью осуществившимся в неподвижном мире, похожем на мир нашего нынешнего сознания, но превращенного в идеал, или в Бога. Это своего рода магический ритуал, с помощью которого мы надеемся застраховать себя от небытия, отвратить от непознаваемого и уберечь от беспокойства, компенсация за те трудности, которые порождает вечно куда-то стремящееся беспокойное мышление. Следовательно, то, что мы называем объектом, не является реальностью, которая манит нас и обогащает, эта реальность создается нашим страхом, нашим стремлением к комфорту, нашим самодовольством, и она в конечном счете встает препятствием перед жизнью духа — свободной и полной приключений. Мысль оказывается

сама себе объектом, она ни с чем не сталкивается, замыкается в собственных временных пределах, словом — является чистой имманентностью. Следовательно, нет истины, как нет и выбора: духу, чтобы быть в согласии с самим собой, достаточно функционировать в соответствии с некоторыми устоявшимися, хотя и гибкими правилами. Перед ним открыты три пути: самоанализ, и в этом случае описательная психология заменяет собой необходимость вынесения суждения; утилитарные поиски, которые из-за неспособности соприкоснуться с реальностью самих существ требуют от них лишь некоторых услуг; а для более требовательных умов — своего рода метафизика интеллектуального приключения, в которой философия обретает наконец свое величие, но тут же приходит в упадок или ставит себя на службу сторонним силам из-за безнадежности, которой сама питается.

Все тот же эгоизм, но облаченный в новые одежды; эгоизм этот, конечно, менее заметен, поскольку речь идет не о разделении телесных существ, а о более или менее целостных реалиях. Однако уже интеллектуальный опыт обнаруживает здесь противоборство, таинство и присутствие. Идеализм сумел подметить их значение, назвав их нашим творением. Как мы привыкли все закрывать на замок! Когда разуму не удастся увидеть что-либо иное, кроме себя самого, то возникает вопрос, не имеем ли мы в данном случае дело с ошибкой более общего характера. Вероятно, причину неспособности разума выходить за собственные пределы следует видеть в абсолютном игнорировании присутствия и любви, свойственных миру людей.

Спасение приходит сверху. Необходимо сделать так, чтобы человек был открыт духу за пределами себя самого — это, по сравнению с морализированием, более правильный путь. Только в этом случае начинает вырисовываться возможность влияния на человека, которое полностью завладело бы им. Нашему миру, страдающему не столько от недостатка разумности, сколько от обилия ничего не значащих и ничего не выражающих слов, потребуется еще ко многому привыкать. Людей придется переучивать постепенно, шаг за шагом, чтобы они пошли по надежному пути. Обозначим некоторые этапы этой перестройки.

Поначалу дух обнаруживает себя как противодействие, как враждебность (нечто подобное иногда происходит с человеческой дружбой): непонимание, растущее как снежный ком, внезапные столкновения, невыясненные отношения, тайная неприязнь. Но это (нечто наносное) идеалистические предрассудки, согласно которым мы живем заточенными в крепость и способны воспринимать окружающий мир только как столкновение. Встреча — это нечто большее, чем столкновение. Восприятие никогда не является делом одного человека: воспринимать — значит познавать вдвоем. Пойдем дальше. Встреча — это не точечный контакт: если бы это было так, идеализм все еще сохранил бы свое значение и с полным основанием считал встречи всего лишь удвоением Я, и, как говорит один из его сторонников, больше других обладающий чувством юмора, г. Брюнсвик, он мог бы видеть в ней столкновение меня с самим собой. Всякая встреча — встреча глубинная, она касается существования. Встреча — это восприятие того, что я называю реальным присутствием существа или существ, это тайна из тайн жизни, это сам гуманизм, и судьба человечества всецело зависит от нее.

И это самое драгоценное, что есть в нашем духовном достоянии, эмпиризм сводит к ощущению контакта, то есть к самому грубому, почти животному ощущению. Для него встреча — это нечто поверхностное, третьестепенное, глухое ко всему тому, что выходит за его рамки. Какая бездуховность! Поэтому-то и следует переучивать людей, вернуть слову "духовность" все его космическое значение, все его целомудрие. Ведь даже в чисто физическом ощущении присутствует коренное различие между точечным контактом и смыслом, какой содержит в себе материя, о чем мы говорили выше. Контакт не может быть предметом искусства, даже те виды искусства, которые наиболее всего преуспели в его описании, все равно порождены движением и формой, а непосредственный контакт, ограниченное осязание всегда останутся чуждыми движению и форме.

Итак, поговорим о духовном начале. Для нас материализм характеризуется разъединением, а дух — объединением. Между тем каков бы ни был его объект — материя, человеческая дружба, духовная реальность, — дух может соединять только на расстоянии. Сразу же откажемся от услуг ограниченного воображения, которое, если речь идет о расстоянии, навязывает сугубо пространственный образ. Чисто материальное расстояние, которое никем не воспринималось бы и было бы заполнено творящим или созерцающим духом, не имеет никакого отношения к расстоянию между двумя существами, это — болезнь, небытие, просочившееся в бытие. Этот разрушенный, опустошенный, обескровленный, лишенный собственного присутствия мир непознаваем, как непознаваемы его части, которые ощущают себя, если только сталкиваются друг с другом; подвижная пустота, внутри которой каждое существо — всего лишь место, где происходит эта сутолока. Духовный мир — нечто совсем иное: это пересекающиеся друг с другом направления, существа, которые общаются друг с другом и между которыми нередко устанавливаются отношения любви и света. Образ непосредственного контакта — это всего лишь образ расстояния, сведенного к минимуму, и он не может дать мне какое-либо представление о том нематериальном отношении, которое для меня остается чудом: я как бы воспаряю над линией контакта и становлюсь способным воспринимать реальное присутствие. Материальный контакт не только не соединяет, он не производит даже встречи. Следовательно, единение осуществляется только на расстоянии, а подлинным расстоянием может быть лишь духовное расстояние.

Это духовное расстояние между существами, пронизанное духовным светом, внутри которого любые вещи взаимно обмениваются друг с другом, используя различные средства, является гарантом одиночества, когда каждый, подобно тянущемуся вверх ростку, направлен вертикально вверх, и единения, которое, не смешивая, соединяет всех сторонников духа в единое универсальное тело. Быть может, духовное расстояние и является главным для понимания мира, и в нем мы можем легко отыскать то, что уже было получено в проделанных анализах: как раз тогда, когда эти расстояния теряют свою напряженность, дух уже не может воздействовать на них и материя приводит в беспорядок этот ослабевший мир; именно благодаря этим расстояниям реальность лич-

ностей сохраняется в реальности универсального сообщества. В этой метафизике сходятся и политика и мораль.

Итак, мы видим всю убогость идеализма. Его самомнение столь же безосновательно, что и смирение эмпиризма. Что может быть чудеснее того приключения, которым оказывается эта неисчерпаемая реальность духа, живущая в сердцах людей и парящая над их головами, которой мы достигаем только посредством символов, слов, прикосновений, в минуты смирения и внезапных потрясений? Люди не верят в него, их сердца и головы не обладают достаточной широтой, чтобы верить в возможность присутствия на расстоянии, к которому нельзя прикоснуться. Вот человеческая истина, а не доказательства, полученные только что или продиктованные Кантом. Эмпиризм требует, чтобы познание осуществлялось посредством чувственного контакта. Идеализм, осознающий иллюзорность этого контакта, который не устраняет расстояния, идет до конца в своих требованиях и удовлетворяется лишь тогда, когда заставляет человека воспринимать мир изнутри: вот такое вот приключение, которое полностью в нашей власти! Все исчезает. Моя жизнь, мое действие, моя мысль, моя спонтанность никогда не создают присутствия. Но и я не могу наличествовать самому себе, если не отдаю себя миру, вот в чем вся драма. Мы обладаем только тем, что отдаем: теперь же, когда мы уже не только затрагиваем движение сердец, но и постигаем движение духа, ведущего спор с бытием, необходимо добавить: мы обладаем лишь тем, чему отдаем себя, мы достигаем обладания, лишь отдавая себя. Вспомним о свидетельстве Ривьера, суровом, как медицинское заключение: при попытке постичь поток своей внутренней жизни, взятой обособленно, не доверяя самому себе, он испытывает горькое, галлюцинирующее ощущение небытия. Патология мыслительной деятельности могла бы многое сказать по поводу этих нормальных форм борьбы: чувство небытия, которое сопровождает всякую замкнувшуюся в себе жизнь, является не чем иным, как осознанием собственной изолированности, собственной духовной несостоятельности.

У духовности, разумеется, есть свои уровни. Их можно было определить, исходя из интенсивности и качества восприятия реальных присутствий. Восприятие, присущее разуму, является наивысшей формой таких восприятий и требует самой чистой любви. Однако здесь мы будем говорить не о восприятии, а о том длительном обучении, через которое должно пройти большинство людей и которое будет успешным лишь при условии, если они подчинятся дисциплине разума и дисциплине милосердия, чтобы, исходя из здравого смысла, без которого нам не обойтись, дойти до первичных проявлений духа.

На самый низкий уровень, хотя уже мы оказываемся в весьма высокой сфере человеческих отношений, надо поставить чувство тайны, которое я назову чувством глубины или чувством основ вещей. Это нечто вроде смутного инстинкта духовности, свидетельствующего о ее наличии, но разум еще не определил ее очертания. Здесь следует опасаться фальсификаций. Речь идет совсем не о той неопределенной романтической любви к таинственному началу, которая ведет ко всякого рода

окультным наукам, философии и поэзии. Такая любовь — это порочный, примитивный инстинкт самодовольства, слагающийся из стремления отделиться от общего, радикальной умственной несостоятельности и ужаса перед замкнутым пространством. Это нечто вроде ожидания чуда, свойственного ребенку. Ни грана духовности нет и в удивлении, вызванном сложными механизмами: они представляют собой скорее упрощение, если сравнивать их со сложностями жизни или идей. Чувство таинства — это отнюдь не любовь к тайне, не жажда откровения, не стремление достичь внутреннего отношения с вещами. Тайна столь же обычна и универсальна, как и поэзия: каждый луч света, каждый жест имеет свою тайну. Тайна — это простота, та простота, что свойственна ребенку в коротеньких штанишках — самый впечатляющий вид величия. Это не заскорузлое невежество, не страх перед дальней дорогой, это — глубина универсума.

Обладать чувством тайны — значит понимать, что любая приостановка как в познании, так и в деятельности идет от материи (лучше сказать, и есть материя, которая, с одной стороны, определяется застойностью, а с другой — разделением, причем оба эти момента взаимосвязаны). Если я достигаю ясной цели, это не значит, что я объясняю вещи в их бытии, в их духовности. Это значит, что я овладеваю вещами как материальными реальностями или обретаю силы для нового скачка вперед. Однако вместе с тем следует сохранить идею ясности: она оказывается полезной в борьбе против всякого рода заблуждений и ложного мистицизма, а кроме того, для теоретиков и практиков. Не будем забывать о том, что она в большинстве случаев является поверхностной идеей. Но от нее и не требуется, чтобы она была глубинной, — она может существовать на самых различных уровнях: ее ясность всегда оказывается упрощением, она всего лишь веха в движении познания. Ограничить мысль не значит исчерпать ее: многие защитники духовности попадают в эту ловушку. Объяснение сложного через простое почти всегда является объяснением, опирающимся на воображение, объяснением механическим, исходящим из отдельных искусственно созданных деталей. Духовное объяснение является, напротив, объяснением простого через сложное, объяснением простого *внутри* сложного, то есть объяснением, опирающимся на самое что ни на есть неясное, таинственное, труднодоступное. Однако объяснение, удовлетворяя наш дух, вновь приводит его в состояние неудовлетворенности. Дистанцированность, являющаяся законом духовного мира, даже в процессе познания превращается в нравственный мир, в котором правилом становится действие и совершенствование субъекта, необходимом для того, чтобы как можно ближе подойти к объекту, зовущему его все вперед. Дистанцированность является осуждением духовного застоя. Именно об этом следует напомнить позитивизму.

Значение тайны заключается не в ее непроницаемости, как нередко полагают, выступая за или против нее, а в том, что она является смутным указанием на существование реальности более богатой по содержанию, чем самые что ни на есть очевидные истины. Ее достоин-

ство — это присущая ей позитивность, присутствие, о котором она возвещает. Она не обладает достаточной определенностью, и в этом ее опасность. Предпочтем поэтому более точно говорить о бытии.

Мы чувствуем, что что-то происходит — это действует тайна. По ту сторону человеческого общества происходят события, которые насковзь пронизывают наши первоначальные впечатления перед лицом бытия. Иногда в течение длительного времени они проскальзывают, не привлекая нашего внимания, монотонной вереницей, как в смутном сновидении. Но случается, что самые незначительные дни заполняются светом и без видимой причины оказываются для нас днями радости. Несколько таких дней становятся главными в нашей судьбе; но об их исключительном значении мы узнаем уже после того, как они ушли. Есть и такие, которые бросаются в обход, а затем кружат вокруг нас, как назойливые мухи, встают перед нами, как непреодолимые препятствия, словно холодные ангелы спускаются на землю вместе с громом и молнией и исчезают, оставляя после себя безмолвные руины.

Кто из людей ощущает это смятение универсума? Их интересует только собственное кружение в мире себе подобных. Они видят в универсуме только призраков, которых сами вызывают к жизни и которые, как представляется, связаны с их собственной природой лишь потому, что являются ее порождением. Но эти призраки существуют и это самое главное, это и есть подлинное событие, нечто необычное, встающее на их пути. Для этих людей буквально *не происходит* ничего. Их считают спокойными, потому что ничто не волнует их, бесстрастными, потому что их чувствительность притуплена, равнодушными, потому что они не способны посвятить себя чему бы то ни было. Чего здесь больше: отсутствия любознательности или непреклонности, безразличия или предрассудков? Есть и другие, которые цепляются ко всему, но ничто глубоко не трогает их; это как раз те самые люди, которые впадают в замешательство, как только подлинное событие вторгается в их жизнь, и, подобно свихнувшемуся старым девам, бегут по дороге, громко крича о своем замешательстве. Существуют и такие, которые с выгодой для себя трактуют события: они придают слишком большое значение некоторым незначительным достижениям, чтобы не расходовать свои силы ни на что другое, или же, разочаровавшись в чем-то, они считают себя отвергнутыми всеми и избегают деятельности, видя в ней источник опасности. Существуют и еще более трусливые: преувеличивая значение происходящего, они теряются, стараются избежать его, подобно тому как быстро и надежно мы уворачиваемся от камня, летящего в нашу сторону; каждое событие буквально подавляет их, предрасполагает к угрызениям совести или заставляет прямо испытывать их. Наконец, сюда следует причислить и неумелых. В том, что касается событий, мы все одинаковы: одному из них, самому неприметному, мы, по причине впечатлительности, приписываем особое значение и опасность, в другом же, которое могло указать нам путь к будущему, мы не видим всей его масштабности: мы слишком поздно сжимаем пальцы, чтобы схватить его. Мы со своими большими и неловкими телами проходим мимо этих чувствительных существ.

Между тем событие, если я способен воспринять его, как раз и является откровением, проливающим свет на все неизведанное, на природу и людей, а в некоторых случаях и на что-то еще более значительное. В событии отражается встреча Универсума с моим универсумом: оно указывает на все то, что внутри меня сопротивляется миру, уведомляет о том, что есть во мне жестокого и эгоистического, иногда оно доходит до того, что заставляет меня произносить странные фразы. Оно, собственно, и является тем, чем я не обладаю, что я не создаю; это — катастрофа, полный провал.

Необходимо было бы также сказать о чувстве взаимообмена, или о событии взаимности. Это событие внезапно пронизывает нас, увлекает за собой, преобразуя нас и заставляя пойти туда, куда мы не были способны идти при выборе собственного пути. И здесь опять откровение Универсума говорит о дароприношении.

Таковы преобразования, которым должно подвергнуться сердце человека; это — сердце его сердца, оно расположено глубже, чем чувство, там, где пребывает любовь; оно готовит человека к восприятию истин, которые откроет ему его разум, к льющемуся на него потоку света. Философия конкретного? Там будет видно. Если это то конкретное, с которым все имеют дело, которое с помощью идей и вещей дает непосредственные ощущения без риска, без завоевания, без расстояния, которое достойно только опустошающего эгоистического обладания, то мы видим в нем только грубую похлебку и отвергаем его. Для нас конкретное — это наличное существование на расстоянии протянутой руки, это взгляд, молчание, целомудрие, присутствие в общем со мной универсуме, присутствие, отделенное от меня и вместе с тем связанное со мною, присутствие, к которому я отношусь с радушием; самое конкретное бытие, самую волнующую жизнь можно обрести, если всеми силами души стремиться к самопожертвованию, а не к варварскому обладанию.

С тех пор как в современном мире индивидуалистические и идеалистические взгляды были навязаны еще не достигшей зрелости духовности, внешняя реальность стала рассматриваться как синоним грубого материального насилия. Этот суровый судебный приговор нуждается в пересмотре. Мы уже видели, что в материи нет реального дистанцирования и ей чужд принцип единения. Единственное расстояние, которое можно мыслить, — это духовное расстояние, оно и является объединяющим, когда на это согласна наша свобода. И если выдуманная внешняя реальность, этот идол воображения, ненавистна духовной жизни, то реальное взаимодействие существ между собой и с познаваемыми ими объектами является первичным духовным требованием, реальностью, которая обеспечивает их взаимоотношения и самопожертвование друг другу.

Но это еще не все. Взаимообмен, который существует в Универсуме, никогда не является равным. Нам известно восходящее движение, которое свойственно присутствию и которое, распространяясь вширь, увлекает нас; мы знаем о нем, потому что требуем искренности ото всех присутствий, с которыми мы сталкиваемся, потому что чувствуем интенсивность некоторых из них благодаря внутреннему движению, которое

они пробуждают в нас, потому что они оказывают сопротивление нашему разуму, потому что они взывают к нам и нашей жизни. Для наших новых приматов общим является то, что они предрасположены к духовной лени, которая вроде бы достигается возвратом к инстинкту; будто человек наделен самодостаточной природой, и вследствие этого приобретенный опыт является чем-то искусственным. Но перед лицом духа сам инстинкт принимает вид чего-то законченного, какого-то чуждого основания, которое может получить права гражданства только благодаря новому употреблению и переплавке, в которую его вовлекает дух.

Таким образом, преобразование человека осуществляется по ту сторону самого человека. Мы сумеем обрести смысл человека только тогда, когда вновь постигнем смысл Универсума. Давайте подумаем, что представляет собою этот универсализм. Никаких глупостей в стиле Лейбница, оставшегося глухим к стенаниям Универсума. Универсум разбит на отдельные фрагменты, он лишен гармонии: так что же, и нам отказаться от целостности и гармонии? Оскорбления, возмущения, ненависть, переходящая в любовь, которые встречаются там, где царствует любовь, оказываются для вас более близкими по духу, чем гармоничные души, которых не трогают горести мира. Универсум — это наша далекая звезда. Мы его почти совсем не знаем, мы только начинаем его познавать и добились здесь некоторых результатов; для нас этот опыт не может быть ничем иным, кроме усилия, идущего из человеческих глубин. Не будем полагаться на то, что сумеем достичь его благодаря какому-нибудь насильственному воздействию: капитализму, латинизму, советизму, той или иной форме цивилизации. Универсум — это одновременно и централизованный иерархический организм, и всеобщее согласие составляющих его частей. Запад защищает структуру, Восток — сопричастность. Надо соединить и то и другое, не путая метафизические категории с категориями политическими. Метафизические понятия организма и иерархии нисколько не связаны с такими политическими реалиями, как классы и угнетение. Классы возникли по причине неупорядоченной свободы, они исчезнут, когда с достаточной силой утвердится иерархия людей и ценностей, основанная на конкретных функциях и преданности людей друг другу при условии их свободного развития в соответствии с собственными призваниями. Дух, внутри которого любая вещь свободна и в то же время прочна, обеспечивает слитность Универсума, потому что его принцип не заключается ни в иерархическом подчинении, ни во внешней силе; принцип этот — сам порыв, увлекающий всех людей и развивающий чувство братства, пришедшее к ним сверху.

Незаметно мы придали духу облик Личности. После того как мы вступаем с ней в живую сопричастность, мы уже не можем говорить о ней сугубо умозрительно. Наш разум вышел за наши пределы, чтобы в телесной полноте бытия черпать пищу, которой он питает наш дух. Вся наша человечность, сопровождающая его с помощью любви, приходит в движение, ощутив многомерное присутствие этой духовной реальности. Теперь уже дух не может предать нас, не может оставить нас. Наша духовная жизнь не имеет никакой другой цели, кроме самого мира

и духа. Мы уже не можем считать мир некоей круговертью эгоизма перед лицом объекта. Мы разобрали шаг за шагом все грехи материализма: мыслить и не жить в соответствии с мышлением, не идти туда, куда оно зовет, было бы чистым кощунством. Действовать совместно с другими людьми — это для нас уже перестает быть чем-то случайным, неким призванием, которое ищет для себя оправдания со стороны влиятельных людей, а становится полнотой нашей мысли и завершением нашей любви. Надо полностью посвятить себя этому. Мы выбрали свой путь, и не отступим назад: это не самонадеянность, поскольку при каждом сделанном шаге будут очевидными как наши слабости, так и наши достижения.

Октябрь 1932 г.

2. Персоналистская революция

Когда мы говорим, что в основе нашего социально-человеческого строя должна находиться личность, одни подозревают, будто мы стыдливо защищаем старый дряхлеющий капитализм, другие — что мы ставим на место капитализма культ фашистского сверхчеловека, третьи — что мы просто используем красивые слова, чтобы препятствовать пробуждению чувства общности, те слова, с помощью которых капитализм оправдывает независимость, ничегонеделание и всякого рода психологические выверты некоторых им самим созданных "счастливчиков". Персонализм действительно может говорить и говорит обо всем этом. Но тут необходимо внести ясность.

Когда мы утверждаем, что личность является в некотором роде абсолютным началом, это еще не значит, что она и есть Абсолют; еще в меньшей степени мы провозглашаем абсолютность юридического индивида, как это делается в *Декларации прав человека**. Сообщество, понимаемое как интеграция личностей в единое целое при сохранении призвания каждой из них, является для нас, как это будет показано ниже, реальностью, то есть ценностью, приблизительно столь же основополагающей, что и личность.

И мы знаем, что ныне сообщество уже стало не менее известным и не менее подверженным опасности, чем личность. Если говорить кратко, то наша мысль состоит в следующем:

1. Личность никогда не может служить в качестве средства ни коллектива, ни другой личности.

2. Не существует безличного духа, безличного события, безличной ценности или безличной судьбы. Безличное — это материя, а любое сообщество является личностью личностей, в противном случае — это всего лишь число или сила, то есть материя¹. Духовное равно личностному.

¹ Вероятно, СССР также начинает отдавать себе отчет в том, что нельзя безнаказанно попирает этот закон сообществ. Таким же образом христианин полагает, что всякое сообщество, вплоть до всеобъемлющего человеческого сообщества, включается в мистическое Тело воплощенной божественной Личности.

3. Следовательно, не считая исключительных обстоятельств, когда зло можно обуздать только силой, всякий строй, который фактически или в правовом порядке рассматривает личности в качестве взаимозаменяемых объектов, насильно объединяет их или принуждает действовать вопреки призванию человека, своеобразному для каждого из них, или же навязывает такое призвание извне посредством тирании или возведенного в закон морализирования, этого источника конформизма и лицемерия, всякий подобный строй подлежит осуждению.

4. Общество, то есть законный социально-юридический и экономический строй, не имеет своей задачей подчинить себе личность или взять на себя ответственность за развитие и осуществление ее призвания; его предназначение — обеспечить личностям прежде всего самостоятельность, защищенность, условия для свободного самопроявления и досуга, что позволит им понять это призвание при полной духовной свободе; помочь им без всякого принуждения, с помощью воспитания, избавиться от всякого рода конформизма и ошибочных ориентаций; с помощью налаженного социально-экономического организма дать им материальные средства, которые, собственно, необходимы для развития этого призвания (за исключением особых случаев героических призваний). Необходимо уточнить, что эта помощь должна оказываться всем без исключения, что она должна быть ненавязчивой (мы оставляем в стороне тот ее аспект, где предусматриваются механизмы материального принуждения, где она может быть связана с возникновением несправедливости, проистекающей из свободы отдельных личностей). Личность сама делает свою судьбу: никто другой, — ни человек, ни коллектив, — не могут ее в этом заменить.

Эти требования не носят исключительно негативного характера. Речь идет не о том, чтобы потребовать от того или иного строя, чтобы он работал на благо каждого человека. Недостаточно устранить очевидную тиранию, о которой речь идет в светской хронике или политическом справочнике, чтобы дать отпор скрытой, незаметной тирании, прикрываемой коллективным энтузиазмом. Этому требованию должна отвечать деятельность социального организма в целом; соответственно одни и те же технические рецепты будут иметь различный смысл в зависимости от того, лежит ли этот принцип в их основе или нет. Для этого необходимо осуществить настоящую перестройку человека; самые лучшие институты могут служить самому худшему, если работающие в них люди не примут такое преобразование в качестве принципа собственной жизни.

Но что такое моя личность?

Личность — не есть индивид. Мы называем индивидом распыление личности и ее удовлетворенность таким потерянным состоянием. Мой индивид — это неопределенный, непостоянный образ, создаваемый многократной сменой различных персонажей, в которые я погружен, внутри которых я распыляюсь и ускользаю от себя. Мой индивид — это неутолимое наслаждение таким распылением, кровосмесительная любовь к моим собственным особенностям, к дорогому мне разбуханию,

которое не интересует никого, кроме меня. Это также паника, которая охватывает меня при малейшей мысли о том, что вдруг я потеряю все это; это зона безопасности и эгоизма, которые возводят разнообразные укрепления вокруг себя, чтобы обеспечить себе недосыгаемость, защитить против возможной любви. Наконец, это изменчивая или вызывающая агрессивность, которой я вооружаю индивида, претенциозность, возведенная в ранг самосознания, юридическое и в то же время метафизическое его освящение, которое на Западе было записано в Декларации прав человека¹ и кодексе Наполеона*.

Материя изолирует, обособляет, вводит в заблуждение. Индивид — это растворение личности в материи. Плеоназм: короче, индивид — это падение личности, это покорение человека материей, которая умеет всюду ставить свое клеймо. Личность, вопреки индивиду, — это завоевание, выбор, самосозидание, самообладание. Она не окапывается внутри себя, она рискует любить. Наконец, личность богата своими связями: с плотью мира и человека, с духовным началом, оживляющим ее, с сообществами, в которых она проявляет себя.

Личность — это отнюдь не мое сознание о ней. Что получаю я при каждом вычете из своего сознания?

Если я немного продвигаюсь вперед, то ко мне приходят образы и я подражаю им, они возникают в соответствии с моим темпераментом или потакая капризу разума, или как моя уловка, как некая неожиданность: я был этими персонажами, и они продолжают жить во мне то ли по инерции, то ли из-за трусости; я считаю, что действительно был этими персонажами, потому что завидую им, подражаю им и, повинувшись моде, сохраняю в себе их черты; это персонажи, которыми я хотел бы быть и которые успокаивают мою совесть уже только потому, что я сам стремился сыграть их образ. То один, то другой из них овладевает мною: и ни один из них мне не чужд, ибо в каждом из них бьется пламя, извлеченное из невидимого огня, который горит и во мне; но каждый из них оберегает, защищает от этого скрытого огня, который как раз и был бы способен пролить свет на все их превращения.

Сбросим с себя маски и посмотрим, что стоит за ними. Вот мои желания, воления, надежды, призывы. Разве я исчерпываюсь ими? Одни из них, весьма привлекательные, возникают из самого моего нутра. Мои надежды, мои воления достаточно скоро предстают передо мной как жесткие и ограниченные системы, направленные против жизни, самопожертвования и любви. Мои действия, с помощью которых я надеюсь наконец овладеть собой, тоже выливаются в пустословие, и те, что мне казались самыми подходящими, становятся наиболее чуждыми мне, как если бы в самый последний момент я действовал по чужой указке².

¹Мы не отвергаем бесспорного позитивного значения Французской революции и осуществленного ею освобождения. Мы только говорим, что в ней радикальное зло оказалось связанным со светоносными результатами.

²Очевидны наши оговорки по поводу высказывания "поступок — это личность", содержащего в себе риск превратить личность в пленника ее же свободно осуществляемых "сиюминутных" волеизъявлений.

Следовательно, все происходит так, как если бы моя личность была невидимым центром, с которым связано все; хорошо ли, плохо ли, но она проявляет себя с помощью знаков как скрыто присутствующий хозяин всех движений моей жизни, который ускользает от моего сознания. Следовательно, тому, кто способен наблюдать только видимые вещи, мы никогда не сможем объяснить, что такое личность, если будем пользоваться обычными словами, ибо они созданы для безличностного общения. Другим личность предстает в качестве живого центра всех их размышлений и открывается им, если они внимательно прислушаются к собственной внутренней жизни.

Если мы назовем персональностью того вечного неудачника, который в каждое мгновение предлагает свои услуги личности, — нечто среднее между индивидом, его различными ролями и тем, что мы смутно ощущаем как личностное призвание, одним словом, ту самую повседневную работу, которую я веду с целью достижения персонализации, то *моя личность не есть моя персональность*. Она лежит по ту сторону всего этого, она — сверхсознательная, сверхвременная, неконституируемая *целостность*, более обширная, чем то, что мы обычно видим, более глубинная, чем те преобразования, которые я пытаюсь осуществить, чтобы достичь ее. Она является живущим во мне *присутствием*.

Тем не менее мы можем описать личность в соответствии с тем, как это присутствие проявляется. Здесь недостаточно представить ее как невидимую точку, которая находится по ту сторону всех ее проявлений. Личность — это не место, занимаемое в пространстве, не область, которую можно очертить и которая добавлялась бы извне к другим областям человека. Личность — это целостный объем человека, согласованность его длины, ширины и глубины, напряжение, существующее между тремя духовными измерениями: тем, что поднимается¹ снизу и воплощается в теле; тем, что направляется вверх и поднимается на уровень универсальности; тем, что идет вширь и приводит к сопричастности. *Призвание, воплощение, сопричастность — вот три измерения личности*.

Моя личность — это пребывающее во мне присутствие и целостность вневременного призвания, которое зовет меня к непрерывному самопревосхождению; опираясь на материю, которая захватывает ее, личность производит остающуюся всегда незавершенной и вновь и вновь возобновляющуюся унификацию элементов, осуществляющих во мне свое движение. Первоочередная миссия любого человека состоит в том, чтобы последовательно раскрывать тот уникальный шифр, которым обозначается его место и его обязанности в универсальном сообществе, и, противостоя материальному распылению, стремиться к объединению собственных сил.

Моя личность воплощенна. Следовательно, она никогда не может полностью избавиться от материальных зависимостей, от тех условий, в которых она пребывает. Более того, она может превосходить себя, только опираясь на материю. Стремление уклониться от этого закона

¹ Духовная, поскольку она восходит.

заранее обрекает ее на поражение: тот, кто хочет быть ангелом, становится грубым животным. Проблема состоит не в том, чтобы отказаться от чувственной жизни, от жизни среди вещей, внутри ограниченных обществ, в гуще событий, а в том, чтобы преобразовать саму жизнь.

Наконец, моя личность обретает себя лишь постольку, поскольку посвящает себя более высокому сообществу, зов которого она услышала и которое объединяет в себе отдельные личности.

Таким образом, тремя главными видами действия при формировании личности являются: размышление (поиски призвания); вовлечение (признание своей воплощенности); самораскрытие (готовность к самопожертвованию и жизни в другом). Как только личность теряет одно из этих движений, она приходит в упадок.

Подлинным злом века является то, что всем нам обычно недостает личностного начала. Но личность постоянно преследуют две болезни: индивидуализм и тирания коллектива. Ныне они достигли пика в своем злодеянии, а их последствия дополняют друг друга, ибо они представляют собой два лика одного и того же зла.

Индивидуализм поставил на место личности юридическую абстракцию, индивида, лишённого привязанностей, окружения, поэзии, индивида, которого всегда можно заменить другим индивидом, индивида, отданного на откуп первым попавшимся силам. Из этого небытия возник капитализм, подчинив все единой мерке — деньгам, заранее уготовив всем единые чувства, идеи, язык, воспитание, казарменное право; и, выступая от имени старых идеалов, он превратил анархию в наихудшую тиранию, которая переплавляет души в анонимную бесцветную и покорную магму.

Индивидуализм провозгласил самодостаточным напыщенного гражданина, отверг таинство, остался глух к духовным призывам. Капитализм возник из этого опустошения, он назвал духовными ценностями вычурности буржуазной морали и идеи, оправдывающие беспорядок. Он окрестил материализмом требование справедливости и гнев обездоленных людей, поверивших в него и пошедших за ним, чтобы затем оказаться отвергнутыми. Погоня за деньгами, за спокойной жизнью. Тип человека (хотя он, презренный, и продолжает сопротивляться), избавленного от всякой страсти, всякой тайны, лишённый смысла бытия и чувства любви, не знающий ни страдания, ни радости, обреченный на счастье и безопасность; внешне он сама вежливость, доброжелательность, добродетельность; а в повседневной жизни — наводящее сончение ежедневной газеты, профессиональная неудовлетворенность, скука воскресных и праздничных дней, разбавляемые слухами, сплетнями, скандалами. Когда мы прибавим сюда реснички в стиле *звезды*, мелкие забавы типа йо-йо, кроссворды и картежные игры, то исчерпаем перечень характеристик духовного мира буржуазной личности.

Что же касается сопричастности, то об этом лучше и не говорить. Борьба начинается уже внутри опустошенного противоречивого индивида, борьба бесчестная, прерываемая хрупкими перемириями, в ходе которой он не способен что-либо любить, даже свои сражения. И кроме того, существует семья, этот змеиный клубок, мрачный белый город,

возведенный на помойке, классовая борьба — та, которая в открытую заявляет о себе, и та, которая не осмеливается прямо назвать себя, — конкуренция, национализм, война, режим, который никогда сам не взрывается, потому что остается неизменным в своем постоянстве.

Когда индивидуализм и капитализм провозглашали себя защитниками личности, ее инициативы и свободы, они были столь же лживы, как и тогда, когда называли себя защитниками собственности. Они защищают слова, чтобы удобнее эксплуатировать вещи. В качестве компенсации они навязывают эти слова, вместе с некоторыми иллюзорными идеями, людям, которые в результате не чувствуют себя ограбленными как раз потому, что оказались ограбленными, они забывают о реальности, связь с которой потеряли, хотя и продолжают считать ее своей. Здесь нет никакой другой возможности, кроме осуществления экспроприации самой экспроприации.

Восстановление смысла личности должно осуществляться одновременно по всем направлениям. Если мы отдадим предпочтение одному из них, мы рискуем совершить еще большее зло.

Недостаточно, чтобы личность обрела только свои "конкретно-телесные" связи. Это, конечно, необходимо, но такое обретение остается все еще внешним, и опасности его следует предвидеть. Губительная двусмысленность вдохновляет крестовый поход, вовлекая в него тысячи людей, чтобы под предлогом борьбы за жизнь свести человека к его окружению, расе, земле, провинции (почему не к близорукости или тактильному ощущению) — ко всему тому, что привычно ему. Личность неделимо является телом и душой, а кто хочет быть ангелом, становится диким зверем. Согласен, мы принимаем эти привычные старые идеи. Но чего, собственно говоря, стоит вмешательство в "плотскую" жизнь? Помощь слабым, гарантии для претенциозных: для всех же это еще и школа смирения и защита против различных форм буржуазного идеализма. Но такое действие ни в коем случае не может стать главенствующим при спасении личности. Нельзя спастись от мертвых всеобщностей (которые ложно именуются "абстракциями") в мире особенного (которое сводится к "конкретному"), это можно сделать, только приобщая личность к живой универсальности, к которой взывает самая скромная вещь, самая скромная любовь. Конкретное: но конкретное — это не то, что находится под рукой, это то, что воспринимается как присутствие и как призыв. Нам скажут еще: вовлечение. Но вовлекаться во что ни попадая — это всего лишь самая низшая ступень вовлечения, и если оставаться на этой ступени, в первую очередь на той ступени, которая обеспечивает легкую жизнь, то возникает опасность фашизма: именно этой идеей пропитана вся его метафизика.

Обновление личности не может осуществляться как усвоение идеалистических идей, как сугубо "внутренняя" работа, не имеющая духовного основания и не знающая границ, способная завести нас в дебри

психологизма. Всякое стремление непосредственно реализовать свою личность наталкивается на "персональность", которую мы определили выше и которая может либо препятствовать, либо содействовать самоопределению и саморазвитию личности. Благодаря своему богатству, весьма существенно отличающемуся от чисто внешней привлекательности индивида, эта персональность свидетельствует о внутреннем прогрессе личности. Но поскольку личность всегда пребывает по ту сторону своих свершений, эта персональность, рассматриваемая в качестве цели и, так сказать, принятая за объект, не представляет собою никакого особого интереса; это хорошо, каждый по-своему, осознает и революционер, жертвующий собой ради правого дела¹, и художник, растворяющийся в своем произведении, и святой, жертвующий собой ради Любви. *Призвание быть личностью, таким образом, не имеет ни малейшего отношения к поиску персональности.* Личность бесконечна, или, по меньшей мере, она выходит за пределы конечного, она создана по образу Бога, как сказал бы верующий. Персональность же всегда претендует на нечто конечное, всегда цепляется за него. В противоположность индивиду, персональность включается в действие, приобретает умение, выражает себя, но и наталкивается на препятствия, сомневается, сдерживает себя, чем-то удовлетворяется, одним словом, персональность способна на самоотречение.

Таким образом, чтобы стать личностью, недостаточно выйти за рамки анонимного скопления индивидов. "Персональность", которой можно придать любой облик и в которую можно влить любую кровь, как и человек, которого можно призвать к действию — активному и напряженному, могут (в силу своей податливости) стать более серьезным препятствием для полной реализации личности.

Вопрос состоит в том, не имеем ли мы здесь два различных пути для выхода за пределы индивидуализма и движения в направлении персонализации, еще не получившей определенного выражения.

Идя по одному из них, можно было бы достичь высот персональности ценой усиления напряжения, "агрессивности", обладания, героизма. Герой стал бы здесь идеалом. Стоицизм. Ницшеанство. Фашизм. Разумеется, между ними существует различие: ницшеанство — это человек-одиночка, а за победой героя в фашистской духовности всегда стоит толпа².

Другой путь мог бы вести к глубинам подлинной личности. Мы не сумеем дать ей название, поскольку мы вообще способны давать личности лишь приблизительные дефиниции, которые тотчас становятся ложными и возвращают нас на первый путь, едва лишь мы захотим дать определение тому, что невыразимо. Опыт, свойственный всякой внутренней жизни, учит нас, что личность обретает себя, только забывая о себе, жертвуя собой; а христианин пойдет до конца и скажет: личность

¹ К сожалению, вместо того чтобы жертвовать ею в пользу того, что ее возвышает, случается под воздействием близких сил, свойственных конформизму, нивелировать ее. Величие и слабость коммунизма, поскольку в нем перемешано и то и другое.

² Формулировки типа: личность — это "поступок", "напряженность", "агрессивность", — и их политические последствия представляются нам самой значительной двусмысленностью позиций "Нового порядка"

обретает себя в самопожертвовании. Внутренняя жизнь отличается крайней парадоксальностью: это место, где радушие оказывается более личностным явлением, чем творчество, где радость обладания — это радость дарения. Какие-то таинственные силы присутствуют здесь. Это тот путь, который находят лишь постольку, поскольку не ищут его, и, какова бы ни была реальность, к которой он выводит, мы знаем, что только этот таинственный и свободный путь в состоянии привести нас к тайнам бытия. В конце этого пути стоит святой, подобно тому как в конце первого пути стоит герой.

Здесь мы не претендуем ни на что другое, кроме обозначения направлений наших поисков. Это, безусловно, запутанный узел проблем: говоря о самоотдаче, самозабвении, мы не можем, по меньшей мере на протяжении длительной части пути, не говорить о напряженности, агрессивности, принуждении как о тех общих явлениях, которые находятся в самом низу, или же слишком рано позволить великодушию обернуться легковесными проявлениями сентиментальности. Тем не менее мы предполагаем, что в известном смысле личность можно найти только окольным путем, достичь ее, не ставя перед собой такой цели, в тех проявлениях реальности, которые превосходят ее. Именно эту мысль выражает верующий, когда говорит, что человек находит себя только в Боге, а христианин добавит — посредством личности, воплощенной в Христе. Так же думают многие нехристиане, которые ныне ищут в реальности огонь, который мог бы выжечь из них эгоизм и довести до самозабвения.

Эта реальность, в которую вписана личность, может питать ее, когда она пребывает в одиночестве, но также и главным образом тогда, когда она включена в сообщество. Новое разочарование ожидает тех, кто считает, что движение к сообществу способно спасти современного человека, особенно если оно начинается с того, что удушает его. Позже будет видно, утверждают они: сначала же надо уничтожить всю эту драгоценную нечисть. Выжечь огнем. А уже потом можно создавать человека.

Я тоже хочу огня, но какого огня? И почему позже? Люди живут сегодня. Сколько их останется по истечении полувекового господства конформизма? Личность может состояться только в сообществе: но это не значит, что она вообще может надеяться на это, укрываясь в анонимной массе, в *оп**. Только сообщество личностей является подлинным сообществом. Все другие сообщества представляют собою лишь формы тирании и анонимности. Таким образом, сама проблема личности ставит нас лицом к лицу с проблемой сообщества и заставляет нас задаться вопросом о том, какая форма сообщества соответствует личности, а какая ей противоречит.

Итак, борьба против индивидуализма, то есть против режима анонимности, раздробленности, эгоизма и войны. Борьба против варварского персонализма и его анархистских или фашистских разновидностей. Поиск сущностного единства между личностью и сообществом в соответствии с ориентирами, которые уже в исходной точке предписывают обе эти особые единицы. Вот линии, по которым идет персоналистская перестройка.

Можно предвидеть вытекающие отсюда последствия. Предстоит работа, которая даст возможность определить характер воспитания, ориентированного на личность как свою основу, и механизмы, которые если и не будут "обеспечивать" ее ход, то во всяком случае предоставят ей шанс осуществиться в будущем, в том органическом мире, где коллективные силы, неустойчивые в своем равновесии, рискуют устранить ее. Надо и в самом деле обязать революционеров ставить подлинные проблемы.

Декабрь 1934 г.

3. Общностная революция

Возрождение считают началом такой революции. Но не в меньшей степени Возрождение явилось точкой, с которой начался разрыв человеческих отношений, то есть началом индивидуалистического декадентства, который тяжким бременем давит на нас вот уже на протяжении четырех веков. В его истоках лежит нечто большее, чем простая претенциозность отдельного человека: личность в упоении раскрывала свои возможности, расшатывая устои зарождавшегося феодального бюрократизма, который стал подавлять духовное начало, как только оно утратило свою инициативу. Однако законодатели и денежные воротилы быстро укротили ее огонь: они создали новый бюрократизм, положили начало новому угнетению человека.

Наконец сегодня — новое восстание, новый бунт. В этом отношении фашизм и коммунизм сходятся. Они представляют собою первый всплеск огромной волны, которая начинает захлестывать всю Европу. Но здесь надо поостеречься и не допустить очередной ошибки: это второе Возрождение является столь же глубоким и, быть может, более значительным, чем первое. Оно, безусловно, подрывает не только индивидуализм: разве мы не знаем о существовании феодальных обществ, еще сохраняющих живучесть в XX веке? Но здесь на помощь пришла история. Началась невероятная суматоха. Люди, уставшие от своих психологических комплексов, измученные тщетными поисками уединения, пытаются осуществить самые отчаянные, быть может, самые безумные демарши, чтобы вновь отыскать путь, ведущий к сообществу. По существу все их намерения и все их усилия в определенной мере являются духовными. Но большинство из них в некоторых своих аспектах остаются также и опасными для духовности, ибо они или останавливаются на слишком низком уровне, или заходят в тупик. Но нельзя осуждать жизненную инициативу за то, что ее поджидают опасности. Вместо того чтобы ворчать по поводу этих усилий, а иногда и предавать анафеме пробуждение духа общности, как это делают многие профессионалы, стоящие на службе буржуазного спиритуализма, мы хотели бы определить свою ответственность перед лицом второго Возрождения.

Выше мы говорили, что необходимо вновь осуществить Возрождение. Его надо совершить в двойном плане, поскольку оно, как таковое, само является двойственным: персоналистским и общностным. Первому

Возрождению не доставало персоналистского возрождения, а возрождение общностное оно вообще игнорировало. Вот почему мы его используем в борьбе против индивидуализма. Осуществить подлинное Возрождение мы сумеем только с помощью общностной революции. Постараемся не упустить его в свою очередь: в противном случае вскоре вновь придут законодатели и буржуа от коллективизма, похожие на законодателей и буржуа от индивидуализма, как и они, паразитирующие на великом деле и столь же вредоносные; к тому же существует вероятность того — если судить по темпам развития нынешних событий и верить пропаганде, — что их работа может растянуться на целые века.

1) Инициатива и сообщество

Это путешествие в глубины истории понадобилось нам для того, чтобы расставить по своим местам внешне незаметные движения, к рассмотрению которых мы сейчас и приступаем.

Велеречивость уже успела наложить свой отпечаток и на общностное дело. Оставим велеречивость для городских площадей и займемся человеческими ситуациями, которые, собственно, и интересуют нас. Мы не будем изучать историю "осознания" сообщества; слишком часто такое осознание питается иллюзиями и совсем необязательно следует за подлинными достижениями в общностной сфере. Мы не дадим обмануть себя видимостью быстрого роста числа общностных механизмов: господин X может иметь большие богатства и не обладать ничем. Если взять только видимую сторону дела, то сообщества еще никогда не были столь многочисленными и столь добротнo определенными на бумаге: супружеская пара, семья, профессия, профсоюз, нация, избирательный список, партии, конфессии, не забудем также Европу, Общество национальной обороны и другие более мелкие объединения, в которых каждый из нас может получить членский билет, помеченный в соответствии с тем, что помимо всего прочего его владелец может поразвлекаться на рыбалке, поиграть в общие идеи, посмотреть на лошадиные бега.

Никогда еще не было так много обществ. Но никогда еще не было так мало сообществ.

По этому поводу можно было бы, наверное, и не сокрушаться, если бы зло шло сверху, если бы анархия была анархией сверхлюдей, беспорядком, царящим среди героических личностей. Но увы!

Быстрый рост числа ассоциаций свидетельствует о слабости их внутренних взаимосвязей. Дух всегда остается единственным и простотой, а зло состоит из бесчисленных усложнений. Одним из самых замечательных интуитивных открытий Бергсона явился закон, говорящий о мгновенном распространении абсурда, который поражает человеческое создание, как только оно утрачивает духовность. В таком случае автоматически добытое богатство решительно стремится прикрыть собой органическое разложение. Вот так и возникают те внушительные организмы, которые все считают устойчивыми, но которые в один прекрасный день рушатся под тяжестью собственной массы.

Если сегодня мы захотим непосредственно изучить разложение того, что мы называем общностным, то вовсе не нищеанский мир станет нам опорой. Это скорее будут общества, не имеющие собственного лица. Но как они могли бы обрести такое лицо? Каждая личность мало-помалу отвергла себя в пользу анонимного мира "оп". Современный мир и есть такой всеобщий упадок, массовое обезличивание. Человек, постоянно пребывая в дремотном состоянии, не способен понять стоящие перед ним собственно человеческие задачи. Все то, что от него требовала непокорная, но столь обожаемая природа, все ее неразгаданные тайны и устремления человек перенес в сферу идеала, и теперь она уже не держит его в постоянном напряжении. Наука обещала ему укротить всех демонов, деньги рассеяли его страх, разрушили время, сделали ненужными его постоянные усилия. По мере того как все новые и новые бойцы получают доступ к плодам процветания, они бросают оружие, отказываются сражаться во имя истины, подчинять себе действительность, пускаются в приключения, принимать волевые решения, словом, отказываются от самих себя. Такое отступничество было зафиксировано с помощью особого безличностного языка: объективность, нейтральность, общие идеи, общее мнение. Особое безразличие господствует там, где мы приходим в противоречие с очевидным. Идеи, действия, характеры лишаются своего содержания и превращаются в своего рода человеческую протоплазму: время от времени какая-нибудь встряска приводит ее в движение, и тогда то, что в каждом из нас еще осталось от совести, воодушевляет нас, но это нисколько не мешает нам продолжать растворяться в мире "оп".

Какого рода внутреннее единение может существовать в подобном хаосе? Растущее внутри целостности единообразие вовсе не стимулирует сближение между ее элементами; здесь существует так называемое "сближение", которое, как говорил Жозеф Прюдом*, осуществляется автоматически, — с помощью транспортных средств и средств массовой информации (или же агентствами специальной информации). Как достичь внутреннего единения между людьми? Особенно если все они похожи один на другого. Больше нет *ближнего*, существуют только *подобные*. Угрюмые пары, бредущие в обнимку, поскольку бездумно усвоили вульгарные привычки. Случайные компании, инстинктивно сплотившиеся под давлением обстоятельства или в соответствии с выполняемыми функциями, а не благодаря общим взглядам или сознательному выбору. Бесцветное, бесформенное скопище читателей "Пари суар", вечно куда-то спешащие толпы людей — обитателей больших городов. Одна лишь незначительная случайность соединяет и разъединяет их. Это — полная деградация человека, не имеющего внутреннего содержания, а потому неспособного на подлинную встречу с себе подобными.

Первый шаг к формированию личности — это осознание анонимности моей жизни. Соответственно первый шаг к формированию сообщества — это осознание безразличия собственной жизни: безразличия по отношению к другим, обособленности от других. Между личностью и сообществом существует неустранимая связь. Анонимный мир "оп" находится ниже порога, который свидетельствует о появлении первых признаков сообщества.

В чистом виде этот мир встречается не так часто. Абсолютное безразличие характерно лишь для состояния безумия: все человеческое погибает в состоянии безразличия. Для появления "другого" требуется реальность иного качества.

На самом низком уровне "другой" является всего лишь отражением меня самого, благосклонным ко мне моим *двойником*. Самоудвоение — это вполне нормальный первичный факт. Человеческие проявления до такой степени пронизаны личностным началом, что каждое из них стремится стать второй личностью; их совокупность образует своего рода живую тень Я, которую оно наблюдает, о которой судит, а иногда и поддерживает; чаще же всего — это игра теней, связанных между собой различными отношениями: таково мое первое общество. В зависимости от той силы, какой наделила их жизнь, они могут сближать меня с людьми, а могут и обособлять от них, способны помогать мне или мешать.

В этой своей реальности теней они, подобно куртизанкам, не чувствуют себя уверенными. Истосковавшись по нормальной жизни, они бродят среди не существующих для меня людей, душу которых мне не удалось открыть. Они растворяются в них. Из-за невнимательности к тому, что происходит вовне, я не замечаю свершившегося подлога. Мне кажется, что я иду к другим людям, на деле же я иду к незнакомцам, в которых живут только мои призраки. Мне кажется, что я интересуюсь другим человеком, жалею его, замаливаю его грехи, а на самом деле я обращаюсь к своему другому Я, оплакиваю его или ободряю. Стоит ли напоминать об известной традиции французских моралистов*, напичканной такого рода нежностями в большей мере, чем это принято считать, о Ларошфуко, которого все выпускники средних школ принимают за старого ворчуна? Таким образом, каждый ищет вовне некоего соответствия тому, что наиболее дорого ему, что является его внутренним достоянием и называет такое соответствие своим другом. Значительная часть тех, кто поступает таким образом, в браке ищут "двойного" удовлетворения: они ищут живое существо, которое будет поддерживать все их суждения, соглашаться со всеми их действиями, оправдывать все их заблуждения, отказываться от собственного Я и не оказывать сопротивления, — это и будет то, что они назовут любовью. Если все происходит именно таким образом, если партнер оказывается слабовольным, то они удовлетворяются этим и хранят ему верность, ну а если один из партнеров проявит больше самостоятельности, если ему захочется чего-то большего, то при первом же столкновении или разговоре он идет прочь. Другие гонятся за теми же иллюзиями, объединяясь в партии. Социальная связь между ними — это желание нравиться.

Удалось ли нам преодолеть собственное безразличие? Ни капельки. Индивид не желает отказываться от своей индивидуальности, придавая ей неоправданно большое значение. Не находя удовлетворения в собственном Я, он начинает жить за счет своего окружения, все больше и больше наделяя его своими чертами, чтобы иметь возможность видеть свое отражение в мире людей, чтобы, благодаря другому человеку, обеспечить себе безопасность, унять свои тревоги, преодолеть собственное одиночество: замаскированный нарциссизм, изобретательный кон-

формизм, все, что угодно, только не подлинная сопричастность. Живя в бескрайнем анонимном мире и являясь обособившейся частью этого мира, индивид может иметь дело только с его отдельными фрагментами и всякого рода фальсификациями, никакие уловки не способны вырвать его из этой беспросветной пустоты.

Но вот наступает такой момент, когда притязания индивида, казалось бы, сходят на нет; это случается тогда, когда масса людей приходит в движение и говорит: *наш брат такой-то*. Мы — пролетарии. Мы — фашисты. Мы — ветераны. Мы — молодежь. Если для сообщества *Мы* становится тем, чем *Я* является для личности, то сообщество постигает себя как живой акт, освобождается от своих иллюзий и утверждает себя в реальности: несомненно, здесь мы имеем дело с первой ступенью сообщества. Мир "*он*" был неопределенным, мир "*наш брат такой-то*" создает свои нравы, привычки, ценности, чувства, даже свои вполне определенные идеалы. Мир "*он*" был довольно расплывчатым; мир "*наш брат такой-то*" обладает собственными границами и энергично утверждает себя в их пределах. Мир "*он*" — это мир покорности и безразличия, мир "*наш брат такой-то*" закален добровольной, а нередко героической и самоотверженной борьбой за общее дело.

Представим себе человека, который внедрился в подобный блок. Он в буквальном смысле живет коллективным возбуждением. Часто это не влечет за собою кардинального изменения его повседневной жизни. Однако характерно то, что сам он полагает, будто целиком посвятил себя общему делу. Случается даже, что самые безумные сразу же приносят свою жизнь в жертву общему делу, но все равно им не удастся изменить ее. Не будем чрезмерно упрощать дело: в качестве примера мы берем крайние формы. Сообщества людей, которые провозглашают себя объединениями по принципу "*наш брат такой-то особенный*", не испытывают сильного коллективистского зуда, в них личности не опьянены идеей совместности, особенно в самом начале пути, когда они, по молодости, восстают против царящей всюду распущенности. Тем не менее они уже по свойственной им природе готовы поддаться гипнозу, им недостает сил противиться обезличиванию.

Возьмите, к примеру, партийца. Он раз и навсегда решил не иметь никаких других мыслей, кроме партийных, другого сознания и воли, кроме партийных. Он повторяет то, чему его учит партия, он оправдывает то, что оправдывает партия, он превращает себя в механизм, исполняющий ее инструкции. Насильственно провозглашенное "*мы*" не зовет его к личной свободе. Но оно помогает ему освободиться от тревог, избежать выбора и многих обязательств благодаря иллюзии коллективного действия. Выгода носит индивидуальный характер, что же касается издержек, они всегда на совести коллектива, подобно тому как это происходит в мире денег: каждый присваивает себе то, что придумали другие, хорошее берет себе ("*мы должны...*"), а ошибки взваливает на плечи других ("*они должны были...*"). Его совесть умиро-

творяется, произведя такие подсчеты, она создает себе зону безопасности, куда не проникают голоса несогласных и их требовательные призывы, которые привели бы ее в смятение, если бы она не держала их в узде.

Таким образом, сообщество на своей элементарной стадии выступает против личности. Индивид, услышавший зов сообщества, лишается спокойствия и умиротворенности. Тогда он стремится, если можно так сказать, стать на собственные ноги. Он идет на компромисс между чем-то великим, к которому он испытывает стремление, и спокойствием, которое он обожает. Его побеспокоили? Ну так что же, он отправляется в путь, но тот, кто ему навязался в попутчики, понесет его вещи. В конце концов, общественный транспорт тоже способен обеспечить комфорт ничуть не хуже того, что обеспечивает личный транспорт, поэтому он позволит себе сделать все, чтобы не брать билет, и, сверх того, в пульмановском вагоне ему будет кому залить свои великие чувства, заставив учащенно биться сердце своего соседа, пустившегося в опасное приключение. Но коллективный отъезд разрушает мир "он" не в большей мере, чем отъезд индивидуальный. Агентство Кука* предлагает посетить пирамиды Хеопса. Агентство Кука предлагает посетить дикие леса. Агентство Кука предлагает посетить Ниагарский водопад. Вот и все, что касается приключений. Вскоре спадает и напряжение, вызванное отправкой. Спонтанные порывы, революционный пыл, как и сама жизнь, питаются только из глубинных истоков, а не пустой волей, не тщедушными потугами. Опьянение не заменяет потребность в таком питании. Оно поддерживает тело во время кризиса, но очень скоро однообразие и постоянная дремотность омертвляют его живую плоть. Поляризованный конформизм все равно остается конформизмом, таким же шатким, как и однородный конформизм. В лесу нередко можно наблюдать, как могучие, гигантские деревья рассыпаются в прах при первом порыве ветра.

Таким образом, сообщество не может возникнуть из совместной жизни спонтанно. Мы показали это на примере общества, представляющего собой *блок*, сколоченный по принципу "мы, наш брат такой-то". Но это подтверждается и примером обществ, имеющих более гибкий, более подвижный характер, таких, как различные *товарищества* или *дружины*. Но давайте оставим в стороне массовые организации с их безликим конформизмом. Обратимся к тем формированиям, в основе которых лежит богатая частная жизнь и которые не слишком многочисленны, так что эта частная жизнь способна воздействовать на каждого из их членов: рабочая бригада, спортивный клуб, солдаты в окопе, молодежное движение, кружок, дачники, класс, экипаж. Здесь все не так уж отдалены друг от друга, в пределах досягаемости находится и руководитель. Цель группы ясна уже тогда, когда она формулируется, люди создают ее сами и чувствуют это. Ее история переживается изо дня в день, здесь не питаются слухами, как это происходит в обществах "наш брат такой-то особенный". Противостояния, взаимообмен, взаимовлияния, разнообразие, уравновешенность, словом, сама жизнь, так хорошо знакомая обособленному индивиду, которую люди с радостью проживают все вместе.

Вот именно! Подобное эмоциональное возбуждение, возникающее благодаря духу общности, легко может породить иллюзию глубокой прочности. Обособление здесь представлялось бы как предательство. Нам кажется, что мы обрели новую жизнь только потому, что порвали с обособленностью. Для многих революционный акт завершается вхождением в группу, приобщением к живой "динамичной" группе. И группы начинают множиться в соответствии с капризами индивидов. В один прекрасный день мы вдруг удивляемся тому, что шум и возбуждение внезапно испаряются, не оставляя после себя никаких следов, и лишь два-три человека будут продолжать жить этим. Вероятно, так происходит потому, что (как ныне нередко случается) путают ажиотаж (болтовню, движение, возбуждение) с реальными сотрудничеством, углубленностью, общностью, одним словом, потому, что динамизм принимается за признак истинности или даже за самую реальность.

Товарищество, дух группы... мы далеки от того, чтобы с порога отвергать такие вещи в общественной жизни. Но все же будем брать их такими, какими они являются на самом деле: они — всего лишь подготовка к тому, чтобы "запустить машину", чтобы порвать с нашими привычками, изобрести другие привычки; это основа для создания определенной атмосферы: лишь при этом условии мы избежим просчетов и нам не придется испытать разочарование.

Все рассуждения приводят нас к одному выводу: невозможно достичь сообщества, игнорируя личность, основать сообщество на чем-либо ином, кроме прочно утвердившихся личностей. *Мы* следует за *Я*, или, точнее, поскольку они не возникают отдельно друг от друга, *Мы* вытекает из *Я*; *Мы* не может предшествовать *Я*. *Мы*, как и собственный фантазм личности — индивид, предшествует личности только по видимости. Свет откуда-то сзади освещает совместное движение *Мы* и *Я* друг к другу, и они отбрасывают одну общую тень: размывание анонимности зависит от того, насколько ослаблены индивиды, насколько непрочны их колеблющиеся изменчивые силуэты; твердость коллективных волей внутри "Мы, наш брат такой-то" стимулирует эти "персональности", судорожно цепляющиеся за свое собственное *Я*, образуя наиболее значительные препятствия на пути развития Личности. Органическое *Мы*, *Мы* как духовная реальность, являющаяся результатом *Я*, возникает не из стирания личностей, а из их осуществления. На собственном опыте мы знаем, что только посредством самоуглубления каждый из нас приобретает способность предчувствовать и желать другого. И если для своего осуществления сообщество требует от каждого из своих членов самопожертвования и самоотверженности, оно тем самым вызывает в них самый что ни на есть личный акт, а не гипнотическое самозабвение.

Постижение личности — это тяжкий труд, который не может осуществляться поточно. Вот почему опыт сообщества — это прежде всего опыт ближнего. Не человека (или же людей, даже ближнего) возлюби, как самого себя, а возлюби *ближнего твоего*, как самого себя, то есть отдайся ему так, как если бы ты при этом осуществлял собственную личность, иначе говоря, отдайся безмерно.

Такова ценность частной жизни: она состоит не в ограниченности, не в алчном устремлении к своим целям, не в рутинном использовании средств, а в том, чтобы стать единственным подлинным испытанием человека, которое позволит ему без всяких мистификаций работать над тем, что так или иначе навязывают ему обстоятельства, чтобы создать несколько сообществ по своему усмотрению и достичь в них своего самозавершения.

Твой ближний. То, что я называю своим *Я*, это всего лишь вместилище более или менее безличных своеобразий, точка их пересечения. *Я* начинаю становиться личностью только тогда, когда ощущаю внутреннее стремление, а затем нахожу принцип единения, когда я беру себя в руки и начинаю действовать в качестве *Я*. *Я* осуществляю себя как личность лишь с того момента, когда я отдаюсь ценностям, которые ведут меня к высотам, намного превосходящим меня самого. Подобно этому групповое *Мы*, "*наш брат особ статья*" является всего лишь вместилищем более или менее безличностных индивидуальностей. Оно начинает становиться общностным *Мы* лишь с того момента, когда каждый из его членов открывает для себя каждого другого члена как личность и начинает относиться к ней как таковой, постигать ее как таковую. *Мы* реализует себя как сообщество лишь с того момента, когда каждая из особенных личностей заботится в первую очередь о том, чтобы помочь всякой другой личности подняться над собой во имя особых ценностей ее собственного призвания, и сама начинает вышаться вместе с каждой из них.

Оно образуется лишь путем движения от ближнего к ближнему, формируется вокруг каждой личности как ядра, которое тут же утрачивает свою прочность и как бы подгнивает, если хотя бы одна из личностей перестанет воздействовать на все сообщество. Таким образом формируется узкое общностное *Мы* из: "*мы двое*", "*мы трое*" и т. д. до бесконечности. Оно формируется как бы рядами: $N + 1$, $(N + 1) + 1$, и т. д., следуя принципу совокупности, который придает плодотворность каждому объединению не как отдельным числам, а посредством суммирования анонимных единиц. В каждой связи ближних универсальность сообщества проявляется плодотворнее, чем в общих идеях, которые определяют разновидности абстрактного соединения. *Я* учусь любви к людям, учась любви к моему другу. В противном случае я постигаю не сообщество, а его количественный состав, то есть то, насколько успешно идет набор в его члены.

Итак, обучение жизни в сообществе — это обучение восприятию ближнего как личности в его отношении к моей личности, что было когда-то удачно названо обучением общению с *Ты*¹.

Речь идет уже не о том, чтобы искать беспричинное удовольствие, предаваться развлечениям в рамках *совместного бытия*, что ведет к утрате собственного *Я*. Чуждые самим себе, безличностные индивиды еще радуются этому совместному бытию либо потому, что нашли друг

¹ Gabriel Marcel. Journal métaphysique.

друга, либо потому, что это позволяет им занять пустые души любопытством, раздражением, мелкими размолвками, отделяющими их друг от друга. Это такое же совместное бытие, как у воскресных парочек, то есть людей, имеющих каждый свои взгляды, присутствующих на скучных обедах в общественных местах, не прилагающих никаких усилий, не совершающих ничего необычного, довольствующихся тем, что есть, имеющих одни и те же рефлексии, одни и те же чувства: они заняты поисками приятелей. Совместное времяпрепровождение может быть и веселым, беседа может вестись с блеском, с остроумием, когда ни одно высказывание не бывает случайным, ни один вызов не остается без ответа. Это уже ловкие игры, заранее продуманное построение отношений с другим, поиск партнера.

Мы этих объединений всегда остается Мы *других*. Каждый в нем отделен от самого себя, а Мы как бы отчуждено от себя. Каждый располагает другим как своего рода вместилищем, находящимся перед ним, из которого он что-то черпает, что-то отбрасывает, внутри которого он ведет свои игры, совершает прогулки. Другой все еще остается для него *третьим лицом*, некоторым *Он*, то есть вещью, которую можно заменить, которая не обладает самооценностью: солдат в строю, налогоплательщик для политика, флиртующая женщина. Это еще слабо сказано, ибо выражение "третье лицо" — это бессмыслица. Слова "третье лицо" не могут относиться к личности. Есть первое лицо, второе лицо и безличное. "Идет дождь", "должно быть, от меня что-то скрывают": неопределенная природа, человеческий тип, не имеющий своего лица (лживое существо, недоверчивый человек, неверный), но все это как бы сквозь призму персоналистской философии, когда я взираю на *себя*, как бы отделившись от своего Я, которое судит и включается в действие, имея перед собой то Я, которое соглашается на это и отвергает себя. Ну а если кто-то ищет противоречия в высших сферах, то напомним, что Третья Личность в Троице — это не грамматическая фигура, а живая субстанциальная связь Первой Личности со Второй, нескончаемое и вместе с тем достигшее совершенства общение.

Другой превращается в элемент сообщества с того момента, когда становится для какой-то другой личности *второй личностью*, то есть когда он желаем ею как первая личность во взаимоотношениях с нею. Я открываю для себя человека, когда он внезапно предстает передо мною как Ты. *Tu quoque, fili**. Враждебные, неизвестные, чужие друг другу люди... и вдруг один из них обретает лицо. *Tu quoque!* В совершенном духовном сообществе этот возглас звучал бы на каждом перекрестке. Третье лицо было бы устранено из него. *Вы*, то есть сообщество, мыслимое коллективным, вне Я, без Я, вряд ли было бы возможным (в нем считалось бы неприемлемым употребление формы *Вы* как выражения вежливости, свидетельствующего о том, что между личностями существует социальное противодействие, что их разделяют присущие им особые черты). Остались бы только Я, Ты и Мы, гармонизирующее бесконечное разнообразие этих Я и Ты и объединяющее их между собой.

Философия третьего лица называется пантеизмом, или философией чистой имманентности. В персоналистском сообществе имманентность

является взаимопроникновением личностей, которые продолжают оставаться *Я* и *Ты*; она всегда предполагает их некоторую разделенность, уединенность, таинственность их сердец. В уникальном случае отношения сотворенной личности к абсолютному *Ты* (Бог — это тоже уникальная отдаленность) называется трансценденцией.

Отношение *Я* к *Ты* — это любовь, благодаря которой моя личность как бы отделяется от себя и начинает жить в "другом", продолжая в то же время быть собою и нести в себе любовь. *Любовь является единством сообщества, подобно тому как призвание является единством личности.* Она не добавляется к сообществу потом как некое излишество, без любви сообщества просто не было бы. Сделаем еще один шаг вперед: без любви и личностям не стать личностями. Чем более чужды мне другие, тем более чужд я самому себе. Все человечество представляет собою огромный заговор любви, в который вовлечен каждый из его членов. Но ему иногда еще недостает заговорщиков.

Не следует путать любовь и подделку под любовь. Любовь — это не согласие, не услужливость, не благосклонность: мы все знакомы с этими полными гармонии отношениями, которые быстро оборачиваются посредственностью. Услужливость — дело индивидов. Любовь стоит выше индивида, она нацелена на личность, вызывая к ней по ту сторону случайных связей и несущественных различий, которые могут быть привлекательными, но век их недолог. Любящий не требует от любимого, чтобы он был его рупором, чтобы он утешал или развлекал его; он требует, чтобы тот, не сравнивая себя ни с кем другим, оставался самим собою и вызывал бы к себе ни с чем не сравнимое чувство любви.

Вся история человеческой сопричастности — это взаимодействие любви и случайности. На низшем уровне я вижу самых обычных игроков с их хоровым пением, которое они принимают за подлинное искусство, с их капризами, значение которых они раздувают до небес. Несколько выше стоят подлинные персональности, не знающие, что такое самоотверженность; они сталкиваются друг с другом, поскольку не способны пойти на уступки и благоговейно лелеют свои индивидуальные качества. Наконец, на самой высокой ступени стоит любовь, победившая случайность. Это — мир Верности. В противоположность дешевым подделкам под нее, Верность не несет с собой гарантий и удобств, не дает ощущения радости и хорошего настроения. Верность — это нескончаемое испытание временем тех двоих, которые решили создать сообщество, это шаг за шагом создаваемое личностное *Мы*, которое материя мгновенно расщепляет на безликие атомы, стремясь направить высвобожденную таким образом энергию на сплочение в анонимное множество. Но Верность постоянно изобретает новые пути. Она не овладевает будущим с помощью насилия. Она является последовательной и добровольной деятельностью, цель которой находится за пределами времени, и ей некогда размениваться по мелочам. Она имеет место только в том мире, который верит в вечное и стремится к совершенству по ту сторону преходящих удовольствий; она сама способна быть только вечной; разрастаться вширь она может, но может ли она отрицать себя, не отрицая тем самым и меня?

Становится очевидным, что, если бы не несовершенства языка, было бы излишним даже говорить о персоналистской *и общностной философии*. Тот, кто ищет себя в одиночку, становится маньяком или сумасшедшим; а тот, кто ищет сообщество вне личностей, сообщество, состоящее только из индивидов или только из "персональностей", находит лишь тиранию и беспорядок. Сообщество не только не нивелирует личность, прививая ей конформизм. Сообщество вообще может возникнуть только при условии разрушения любого конформизма.

Связь личности с сообществом настолько органична, что по поводу подлинных сообществ можно сказать¹: они на самом деле, а не только по внешнему виду являются *коллективными личностями, личностями личностей*. Все, что мы сказали о личности, можно сказать и о сообществе. Сообщество не является суммой индивидов, число которых увеличивается, подобно тому как личность не является суммой живущих внутри нас образов, которые угнетают ее. Точно так же, как основой личности не является ни самодовольство, ни впечатлительность, сообщество не основывается на общих чувствах, стремлениях, достижениях, ни просто на течении совместной жизни, хотя и питается ими; оно не основывается также на совместной воле, осознающей себя как таковую: оно основывается на ценностях, которые превосходят его и которые оно воплощает. Его члены могут только частично осознавать эти ценности, а следовательно, и их глубочайшую реальность: но оно действует как личность даже вопреки им, как и вопреки индивиду приводит к единству его разрозненные, не согласованные друг с другом деяния.

Таким образом, в конечном итоге всякое сообщество стремится стать личностью. В несовершенных обществах эта тенденция существует в искаженном виде; порой они стремятся выдать себя за коллективные индивидуальности, которые создают множество препятствий для подлинных коллективных личностей; порой, совершая незаметный, но опасный поворот, они стремятся стать воплощением одной-единственной индивидуальности в лице одного из его членов, которая наделяется мистическими чертами целого сообщества.

Большое число людей, прожив жизнь, так и не познали, что такое подлинная сопричастность. Среди оставшихся лишь два-три человека осуществляют себя в качестве коллективных личностей. Подлинная любовь, подлинная семья, подлинная дружба до конца дней своих — сколько людей достигают их? Все же остальные принимают за сообщество более или менее безличный конгломерат, именуемый *обществом*.

Никогда не лишним будет сказать, что социальное начало, отделенное таким образом от сообщества, не является духовной ценностью. Точно так же обстоит дело с индивидом или "персональностью". Нередко резкой критике подвергалось то, что между *человеком публичным и человеком частным* существует разрыв. Но в том качестве, в котором они обычно мыслятся, они представляют собою две уродливые разно-

¹ Вместе с Шелером, который в данном случае говорит: *Gesamtperson* (целостная личность).

видности. Частный человек буржуазного образца — это замкнувшаяся в себе индивидуальность, скрытная, нечистоплотная, это частная жизнь, в основе которой лежит не любовь, а отказ уступить другому: частное — это то, к чему заказана дорога другим. Публичный человек создан по той же мерке, это — выставленная напоказ индивидуальность, ей свойственно позерство, она готова идти на обман и компромиссы с теми, кто строит себя по такому же образцу, она стремится избегать беспокойств и не берет на себя никаких обязательств; это человек, слабый по отношению к себе, слабый по отношению к другому, внутренне ограниченный, но имеющий непомерные претензии и, чтобы обладать хоть каким-либо весом, делающий вместе со всеми одни и те же социальные жесты.

Социальное и публичное отличаются от общностного тем, что они все более и более отделяют человека от него самого. Это был мой друг, но вот его заносит куда-то и он отдаляется, не только от меня, но и от других. Однако в нем еще остается какая-то тайна, что-то непостижимое, что-то такое, что я любил в нем, что все время ждет его, пока он носится неизвестно где и без умолку болтает; но вернется ли он обратно?

Подлинные сообщества, напротив, сближают человека с самим собою, вдохновляют и преобразуют его.

Помимо обществ, к которым я принадлежу, существуют еще и *другие*. Все. Человечество.

Не будем строить иллюзий на этот счет. Быть может, лишь тот человек, который достаточно глубоко проник в Бога, испытывает потребность и способен любить всех людей, но опять-таки только в Боге, тех, кого он знает, и тех, кого он не знает, каждого ради него самого, вопреки ему самому. Хватит красноречия. Я не люблю все человечество. Я не тружусь ради человечества. Я люблю всего нескольких людей, но подобный опыт оказывается настолько богат, что благодаря ему я чувствую себя обязанным каждому ближнему, который может повстречаться на моем пути. Это как бы надежда на любовь, вера в ее животворную силу. Со всем остальным я тесно связан телесно: только физическое присутствие приводит в движение человеческое присутствие, но и его не всегда достаточно для этого. Немногие люди обладают чувством человечества, человеколюбис — удел немногих. А сколько людей остаются глухими к нищете и страданиям других: 30 миллионов безработных, землетрясение в Японии, 10 000 погибших — сообщают газеты; но вот проходит пять минут и они уже перебрасываются шуточками с соседом.

Впрочем, чтобы любить реальность, не требуется никакой статистики. Зачем обманывать себя речами? Каким образом Бог сможет обратить внимание на меня среди этих миллиардов людей? — говорила добрая женщина. Мудрость отвечает ей: Бог не считает людей. Вот *та* капля крови, которую я пролил ради *тебя*. У одного отца семейства спросили: "Сколько у вас детей?" Он колеблется, а затем начинает считать на пальцах: "Сколько же: Пьер, Анжела, Жанина, Жан-Филипп, Ален, Мария. Должно быть шесть".

Личность, которую я люблю, — это универсум, но мне не известны все его земли, не все его призывы я слышу. Однако я всюду чувствую

неоспоримую сопричастность, хотя остается множество неизвестных, тайных мест. Достаточно уже того, чтобы мы знали, что в любой момент все может открыться, чтобы не ставить под вопрос первичную сопричастность. То же самое можно сказать и о человеческой сопричастности. Я познаю ее на опыте только вместе со своими близкими или, но уже в более расплывчатом виде, — в несовершенных коллективных личностях: моя профессия, моя страна. Ко всему остальному я просто испытываю доверие.

Я стремлюсь к тому, чтобы не поддаваться магии слов, не надеяться на чей-то радушный протекционизм: чтобы быть человеком, требуется гораздо меньше красноречия и гораздо больше великодушия.

2) Ступени сообщества

В какой-то момент завоевание свободы было жизненной необходимостью, а потом целых пять поколений людей позволяли либерализму ковать свои цепи. Строительство общественной жизни ныне стало настоятельным требованием. Но мы не хотим, чтобы все началось сначала. *Corruptio optimi pessima**.

Я понимаю тех, кто боится пробуждения чувства общности. Нередко они говорят прекрасные вещи, например, что, если бы все люди были святыми, сообщество утвердилось бы само собой. Отсюда делается вывод, что надо работать над совершенствованием каждого человека и что никакой организм не сможет заменить сообщества. Согласен: именно поэтому мы и выступаем против иллюзии революции, которая касалась бы только социальных структур, и говорим о необходимости личностной революции в душах самих революционеров. Но индивидуальный беспорядок сохраняет свой социальный характер и превращает сообщество в тиранию. Человеческое зло имеет двойственный характер, поэтому и бороться с ним нужно в двух направлениях.

Различным связям, которые складываются между индивидами, начиная с аморфных образований и кончая совершенными сообществами, соответствует такое же число социальных форм. Нам остается коротко охарактеризовать их.

О *массах*, или безличностных обществах, хотелось бы говорить только для истории. Когда сообщество полностью разлагается (массы — это скорее продукты его распада, чем его истоки), когда люди оказываются всего лишь единицами некоторой суммы, игрушками в руках конформизма, в результате мы имеем нечто вроде огромного животного, то ласкового, то разъяренного, как и все огромные животные. Инертность любого человеческого сообщества в каждое мгновение грозит ему превращением в массу. Массе, обезличенной как в каждом из своих членов, так и в качестве целого, соответствует строй, которому свойственны и анархия и тирания одновременно, где *господствует анонимность*, самая оскорбительная из всех возможных и наименее поддающаяся исправлению тирания: тем более что вполне определенные

конкретные силы пользуются этой анонимностью, чтобы поставить ее на службу своим грандиозным замыслам. Анархия — это колыбель тирании. Анонимный человек индивидуализма, человек без прошлого, без привязанностей, без семьи, без окружения, без призвания — это математический символ, материал, предназначенный для античеловеческих игр. Стоит задаться вопросом, не является ли точной его реализацией пролетарий XX века, затерявшийся в безликом поработанном человеческом стаде, в больших городах, в жилищах-казармах, в непонятно каких партиях, безжалостно раздавленный административно-экономической машиной капитализма и, сверх того, позволивший себе превратиться в мелкобуржуазную посредственность, вместо того чтобы осознать свое бедственное положение и восстать.

Царство *анонимности* ("on"), где кто-то говорит, кто-то действует и этот "кто-то" не имеет личностных качеств, где царят связанные между собой обезличенность, безответственность, беспорядок и угнетение... Достаточно немного развить эти карикатурные черты, чтобы узнать в них либеральную парламентскую демократию, сохраняющуюся у некоторых западных народов. Мы, демократы, как раз выступаем против этой демократии, поскольку под демократией мы вместе со многими из ее основоположников понимаем строй, который по преимуществу характеризуется личной ответственностью.

На ступень, стоящую непосредственно выше массы, мы помещаем *общества*, образуемые по формуле "наш брат такой-то особенный".

Их ошибочно относят к более раннему периоду. Оставаясь, как и те, что предшествуют им, недифференцированными внутри себя, они, однако, подобно простым клеточным организмам, окружены оболочкой, которая и придает им индивидуальность. Возьмем для примера одно из таких сложившихся обществ, которое образуется "публикой": публикой "Юманите", публикой, принадлежащей к какой-либо конфессии, публикой "Ревю де дё Мوند", публикой полковника де ля Рока или же взбудораженной публикой, поддерживающей фашизм и гитлеризм. По сравнению с безликими массами они имеют то преимущество, что в качестве жизнеутверждающей силы обладают коллективным самосознанием и нередко отличаются взаимной самоотверженностью. Но, как мы уже говорили, конформизм постепенно парализует коллективную волю.

Фашизм поднял общества этого типа на недостижимую высоту. Коллективная воля в них молода, энергична, вот-вот взбунтуется, опьянев от ожиданий. Можно было бы даже сказать, что в противоположность одряхлевшему конформизму клонящихся к упадку обществ здесь конформизм является живым, если бы эта живость время от времени и трагическим образом не поддерживалась террором. Более того, здесь, ко всеобщему удивлению, мы сталкиваемся с тем, что можно было бы назвать личностным потенциалом любого человеческого универсума. Внутри меня он рискует в любой момент породить вторые личности. Он толкает к личности даже те коллективы, которые и не ведают, что она

¹ Например, Шелер. Дюркгейм говорил об обществе, опираясь на принцип подобия, что близко нашему описанию.

такое. Он оставляет свою метку на фашистском коллективе, мистифицируя образ вождя, вокруг которого он сплачивается, он заставляет каждого члена коллектива передать ему право на его персональность. Тогда люди отказываются от всякой инициативы, от собственной воли, чтобы положиться на одного человека, который будет хотеть за них, действовать за них. Когда он скажет "я", они будут считать, что он сказал "мы", и почувствуют себя окрыленными.

Однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что они не должны были бы слагать с себя ответственность. Весьма трудно вообразить себе людей, достаточно далеко ушедших по пути развития персональности, которые легко отказались бы от этого сокровища в пользу кого-то одного из них, того, кто представляет государство, то есть в гораздо меньшей степени, чем они, является человеком. На самом деле это происходит потому, что они были лишены персональности еще раньше. Где зарождается фашизм? На обломках демократий, в тот самый момент, когда обезличивание и анархия становятся такими, что каждый возлагает надежды только на Спасителя, способного взять на себя все острейшие проблемы, всю эту разложившуюся массу и совершить чудо, в то время как сами они не имеют мужества, чтобы выполнять свою повседневную работу. Приход к власти 9 февраля Думерга был, таким образом (даже вопреки его собственным намерениям), характерным проявлением фашизма; речь идет не столько о самом факте его прихода к власти, сколько о психологии среднего француза, принявшего этот факт как само собою разумющийся.

Таким образом, фашизм оказывается в гораздо меньшей степени чуждым декадентским демократиям, чем это принято считать. Уже Платон ощущал родство демагога и тирана. Было бы несправедливым отрицать то, что фашизм стремится преодолеть унаследованный им развал. Но он движется слишком быстро и проходит под человеком, хотя стремился пройти над ним. Обезличенной массе фашизм дает сильного человека, которого лихорадит от предвкушения славы. Хорошо, если бы этот человек был святым, предлагающим каждому свое учение и подающим пример личностного возрождения и самостоятельности. Но он только представляет государство и себя самого и старается всеми силами поддерживать пассивную покорность масс, скрывающуюся за ее лихорадочным возбуждением. Изменилась тактика, но не суть дела.

Общества "наш брат такой-то особенный" могут, если исходить из их намерений, стоять выше жизненных обществ: их объединяет некая еще неясная духовность, а те из них, которые вдохновляются мистикой вождя, косвенно отдают дань уважения личности. Но они стоят ниже жизненных обществ не только по характеру их внутренней организации, но даже и с точки зрения приближения к общностному уровню, ибо жизненное общество требует от своих членов гораздо большей инициативы и подлинного порядка.

Мы будем называть *жизненным обществом*¹ любое общество, внутренняя связь которого образуется только фактом совместного бытия внутри жизненного потока, являющегося одновременно и биологическим и человеческим, который самоорганизуется и устремляется к лучшей жизни. Ценности, которыми оно руководствуется, — это либо удовольствие, спокойствие, благосостояние, счастье; либо — польза, которая, впрочем, в какой-то мере соседствует с удовольствием и управляется им.

В своей самой элементарной форме жизненное общество еще остается неорганизованным, неустойчивым, оно только предвещает совместную жизнь, дает на нее согласие. Десяток молодых людей, находящихся в горах, чувствуют один и тот же ветер в своих волосах, ощущают один и тот же простор, проникаются одним и тем же спокойствием. Находящиеся на трансатлантическом корабле десять немцев узнают друг друга и радуются тому, что в многонациональной толпе составляют именно группу немцев. В семействе, а таких семей сотни, никто не завязывает особо прочных отношений, но члены его имеют общее прошлое, общие привычки, события, формы приспособления к жизни, словом, все необходимое для движения жизненного потока. Родина — это, в сущности, жизненное общество такого же типа, место, и если мы находимся вне его, испытываем чувство ностальгии. У каждого из нас существуют маленькие отчизны, скрывающиеся под формой более обширной родины.

Жизненные общества идут вслед за развитием самой жизни. Они организуются вместе с ее развитием. Государство, предприятие, семья не могут оставаться простыми товариществами. В них происходит распределение функций. Но фундаментальным фактом является то, что они, хотя и индивидуализируют тех, кто в них участвует, все же ни в коей мере не ведут их к персонализации. Никакое общество не является столь совершенным образом внутренне дифференцированным и функционирующим, как животное общество: между тем нам известно, что "индивидуализм сохраняется в нем без сколько-нибудь видимых изменений. Все индивиды ведут себя в нем так, как если бы каждый из них существовал отдельно"². Такого рода взаимная отчужденность членов продолжает существовать и в жизненных обществах, в том числе и в обществе людей. Каждый выполняет какую-то одну функцию, но его всегда может заменить кем-то другим. После недолгого обучения он может с таким же успехом выполнять иную функцию. Таково любое экономическое общество. Таковы восемь супружеских пар из десяти, то есть семьи, которые должны были бы образовывать подлинно духовные сообщества, но остаются всего лишь ассоциациями, или ячейками, экономического характера. Все тот же гипноз, та же фундаментальная распыленность, то же диффузное состояние, свойственные массам, пребывающим в состоянии экстаза, обществу "наш брат такой-то особенный", жизненным обществам, а также любому сообществу, которое не в полной мере

¹ Шелер: *Lebensgemeinschaft*; Дюркгейм: общества в зависимости от разделения общественного труда; Бергсон: закрытые общества, включающие в себя одновременно и общества, которые мы составляем с другими, и жизненные общества.

² *Rabaud*. *Essai sur les sociétés animales / Les origines de la société, à la Renaissance du livre*.

является личностным. Каждый здесь в той или иной степени превращается в ничто перед лицом поставленной перед ним задачи и перед лицом своих компаньонов. Он не терзает себя вопросами ни по поводу этой задачи, ни по поводу этих компаньонов. Они в той или иной мере одинаково воспринимают совместную жизнь, понимают стоящие перед ними задачи, радуются общему согласию; но они, собственно говоря, никогда не встречаются друг с другом как личности. Каждый составляет себе об этом обществе как целом свое весьма неопределенное представление или же мыслит его как волю, твердость, агрессивность, претенциозность, но несколько не стремится вывести из всего этого объективные ценности и увидеть связь, которая соединяла бы его с каждым личностным призванием каждого из членов общества¹. Когда же, не выходя за рамки своего положения, он пытается осмыслить метафизику этого общества, то подразумевает под ней метафизику, которая ответственна за жизненные интересы общества или же его собственные интересы в этом обществе. Он имеет в виду не *метафизику*, а социальную физику, утилитарное назначение общества. Взгляните на буржуа, который стремится найти правовое оправдание своим классовым интересам, на партию, которая уже не имеет права на существование, но порождает все новые и новые мистификации, чтобы увековечить свое существование. Маркс великолепно раскрыл этот процесс и был не прав только в том, что посчитал его универсальным.

Жизненные ценности не свободны от груза материальных ценностей. Всякое жизненное общество стремится стать закрытым, эгоистическим, если оно не вдохновляется идеей подлинно духовного сообщества; оно имеет тенденцию замыкаться в рамках все более мелочной жизни, все более агрессивно добиваться самоутверждения; взлет национализма, распад семей, борьба профсоюзов друг с другом. Все происходит так, как если бы жизнь, после того, как она пустилась в приключение, для которого не была готова, вновь вернулась в свои берега там, где духу, то есть личностному началу, не удалось поддержать ее. Жизнь не способна на универсальность, она способна только на *утверждение* и *завоевание*², которые в свою очередь являются всего лишь агрессивными формами эгоизма.

Следовательно, жизненные общества не приводят нас к человеческим сообществам, хотя они и могут готовить их, если оказываются открытыми навстречу тому, что пребывает по ту сторону от них самих. Здесь мы имеем дело с иллюзией пробуждения чувства общности, которое основывается исключительно на энтузиазме жизненных сил или же на более развитой разумности земного общества, живущего в согласии с природой.

Юристы и философы — особенно в XVIII веке — хотели создать *разумное общество*, которое на сей раз должно было быть специфически человеческим.

Этот идеал заключен между двумя полюсами.

¹ Шелер говорит, что подобное общество связано посредством субъективных, а не объективных аргументов.

² Например, расизм.

С одной стороны, это *общество духовных существ*, в котором ясность безличной мысли (в конечном итоге — строго логический язык) будет обеспечивать согласие между отдельными индивидами и мир между народами. Как если бы мысль вообще могла быть безличной! Как если бы некий искусственный язык, созданный для философов, был в состоянии помочь каждому отдельному человеку в овладении собственными специфическими страстями и в обнаружении объективных ценностей, которые в будущем составят основу его общения с другими людьми!

Но какое сообщество можно было бы создать, идя таким путем? Безличная мысль может быть только тиранической. Слепо веря в непогрешимость своего языка, она нисколько не расположена предоставлять носителям свободы время и средства, которые нужны им для достижения истины. Чистыми догматиками являются люди, создающие железную полицию в угоду своему фанатизму. Универсальное не навязывается личностям, а рождается в ходе их собственных свершений, оно предлагается им. Как только идея, даже если она истинна, становится общей идеей (по критерию количественной всеобщности), она превращается в игру взаимозаменяемых сил, следовательно, чтобы спаять сообщество изнутри, недостаточно чистоты или истинности его идеала, необходимо еще, чтобы он допускал свободу принимать или не принимать его¹. В противном случае на сообщество будут давить груз конформизма, узаконенные жесткость и лицемерие, омертвляющая человека атмосфера, в которой невозможно дышать.

Другие полагают, что такая разумная общностная связь скорее будет обеспечена посредством *договорного правового общества**, в основе которого лежали бы соглашение и ассоциация. Трудно до такой степени лишить мысль ее содержания, чем тогда, когда она навязывается как математический язык без какой-либо возможности поставить его под сомнение. Сам по себе договор нейтрален по отношению к содержанию: он требует от сторон только подписи под соглашениями без подлога, обмана или насилия. Каждый член договорного общества обязуется оказывать такие-то услуги каждому другому его члену, исходя из обоюдной выгоды. Это же относится и к государству: рантье уплачивает налоги, а взамен получает стоки для канализации, полицейских агентов и другие блага того же порядка.

Конечно, настоятельно требовалось понять, что безличный характер договора представляет собою не меньший обман, чем безличный характер мышления. Договоры заключаются между неравными личностями. Рабочий перед лицом работодателя, налогоплательщик перед лицом государства, пассажир перед лицом компании, — все они не образуют ассоциации, один имеет другого в своем распоряжении. Договорное общество вследствие этого стало лживым и лицемерным, прикрывающим постоянную несправедливость видимостью законности. Даже если

¹ Это требование ни в коей мере не является либеральным. Мы вовсе не отрицаем, что долгом государства является, например, распространение всеми имеющимися у него средствами того, что оно считает истинным, или обуздание материальных интересов, направленных против общего блага.

бы равенство сторон было обеспечено, все равно договор не ставил бы двух людей в состояние сопричастности; он порождает два эгоизма, два корыстных интереса, два недоверия, две хитрости и, бряцая оружием, заключает между ними союз.

Таким образом, становится окончательно очевидной невозможность создать сообщество в обход личности, даже если в его основание кладутся так называемые человеческие ценности.

Следовательно, мы оставляем название "*сообщество*" только для одного имеющего смысл для нас сообщества, которое является *персоналистским* и которое можно было бы определить как *личность личностей*. Выше мы рассмотрели его изнутри. Сейчас необходимо рассмотреть условия его социальной реализации.

Сначала неплохо было бы описать его идеальный образ. В совершенном личностном сообществе каждая личность осуществлялась бы во всей целостности ее неисчерпаемого плодоносного призвания, а единство совокупности слагалось из этих особенных преуспеваний. В противоположность тому, что происходит в жизненных обществах, место каждого было бы *незаменимым* и, в сущности, таким, которого требует целое. Только любовь образовывала бы его внутреннюю связь, но ни в коем случае не принуждение, не жизненный или экономический интерес, не навязанный извне институт. Каждая личность, возвышаемая сообществом до уровня высших ценностей, которые реализуют ее, находила бы в общих объективных ценностях тот язык, который связывал бы ее со всеми другими.

Однако такое сообщество, о котором мечтали анархисты, которое воспел Пеги в "*Гармоническом граде*"*, не от мира сего. Христиане верят, что оно живет сопричастностью святых, но сопричастность святых находит в воинствующей церкви только свое начало. Она осуществляет совершенную личность личностей, соединяя все человечество в мистическом Теле Христа посредством участия в самом сообществе Троицы. Для христианина оно должно быть целью и отдаленным примером всякого сообщества. Всякое личностное сообщество является его образом, участвует в нем, правда, не достигая полного совершенства.

Иногда те или иные любовные, семейные, дружеские союзы весьма схожи с этим личностным сообществом. В самые благоприятные мгновения своей истории к нему может приближаться отдельная страна. Но в нашем воплощенном мире эти сообщества крепко связаны с плотью образующих их индивидов и даже с плотью и инерцией выражающих их вовне институтов. Являясь человеческими проявлениями, они склонны постоянно переходить из плоскости личностного сообщества в плоскость договорного общества, жизненного общества или же в плоскость низшего уровня — плоскость "публики", или массы.

История каждого из них совершается как колебание между одной плоскостью и другой в зависимости от его падений и возвышений. Так, например, Франция в V—VI веках представляла собой бесформенное скопление людей, и лишь некоторые из них участвовали в той коллективной личности, которая в то время только и существовала, — церкви;

другие же в большей или меньшей степени входили в состав договорных обществ — в галло-романские магистраты, а большинство (варвары) принадлежало к многочисленным жизненным обществам. Дворянство в XI—XII веках образовало жизненное общество, но очень скоро в XIII веке Филипп Август превратил его в договорное общество, а Людовик Святой посредством крестовых походов включил в коллективную личность церкви. Затем произошло разложение ее, попятное движение, и на какое-то время благодаря Жанне д'Арк сложилась коллективная личность — Франция. Эта личность испытывала разные времена — хорошие и плохие, то подвергалась порабощению, то возрождалась вновь. Рывок, вызванный войной, сменился несколькими годами коррупции, приведшими ее к падению ниже того уровня, которого она была достойна. Тогда наряду с теми, кто стремился вновь обрести духовные ценности и собственную персональность, появились и торговцы оружием; подлинный, естественно-жизненный патриотизм уступил место узурпаторскому патриотизму, который имел своим основанием мифы, ненависть и страх.

Если взять какой-то отдельный момент истории сообщества или того, что внешне походит на таковое, я мог бы выделить все этапы его деградации. Возьмите церковь¹, вашу страну: из-за них ведут спор, с одной стороны, мистика, с другой — политика, как говорил Пеги. А поскольку извне видна только политика, возникает множество недоумений.

Поэтому надо взять в расчет и существующие внутри них иллюзии. Многие общества принимают себя за подлинные персональные сообщества потому, что они хотели бы быть таковыми. Сколько семей являются всего лишь ложными коллективными личностями, в основе которых лежат неприязнь, стремление к зависимости, жизненная привычка или принцип "ты — мне, я — тебе"! Группа друзей, отделение на фронте в один прекрасный день образуют "духовное семейство"², сплывающее вокруг элитарной личности или выдающегося события. А затем возобновляется нормальная жизнь. Люди начинают стесняться своего звездного часа, перестают вспоминать о нем. Друзья вновь становятся просто людьми, живущими во власти своих страстей, страдающими беспамятством. Какое-то время еще продолжает существовать жизненное сообщество, объединяемое привычками, недавними воспоминаниями. Наконец положение меняется, и вокруг новых центров формируются новые сообщества, воспоминания стираются. Кое-кто еще пытается судорожно цепляться за прошлое, хочет сохранить то, что уже ушло, пусть даже ценой обмана, лишь бы не признавать, что время повернуло в другом направлении.

¹ Мы абстрагируемся от ее сверхъестественной реальности, которая не принадлежит к компетенции настоящего исследования и которая в глазах христианина уравнивает все остальное и многое по ту сторону от него.

² Семья, как жизненное общество, не обладает ценностью большей, чем любое другое жизненное образование. Значение семьи состоит в том, чтобы быть духовной ячейкой. Недопустима пропаганда, защищающая ее от имени устаревших форм экономики или сугубо национального интереса (см., например, заявления Муссолини о приросте населения).

Это заблуждение. Необходимо решиться и признать, что коллективные личности умирают точно так же, как и индивидуальные личности. Нам всем, даже если мы молоды, уже приходилось терять как сообщества, так и друзей. Разве только, быть может, они нас будут ждать в вечности.

3) Отношения личности и несовершенных сообществ

В абсолютных, предельных, метафизических ситуациях отношения между личностями и сообществом не являются проблемой. Если предельное духовное сообщество является результатом осуществления особенных личностей, тогда между этими двумя сторонами в чисто духовном плане нет никакой субординации: сообщество — это и *есть* естественная координация личностей.

Но в человеческой действительности не все так просто. Личности стоят выше простых живых индивидов, полностью вовлеченных в материю и заслуживающих уважительного отношения к себе лишь постольку, поскольку они несут в себе возможность стать Личностью, но совсем не потому, что они распыляют и отрицают личность. Эти индивиды сколочены в более или менее жизненные общества: профессии, семьи, отечества и т. п., *частями* которых они являются в качестве индивидов (в то время как о личности никогда нельзя сказать, что она часть какого-то целого)¹. Эти общества, в той или иной мере материализованные, никогда не могут рассматриваться как сообщества чистых личностей.

Таким образом, в отношениях "индивиды — общества" теоретическая гармония, связывающая личность и сообщество, уступает место вновь и вновь повторяющимся конфликтам и разочарованиям. Всякое, даже наилучшее общество, когда-нибудь обманет меня в моем устремлении к личности, а вследствие этого и к сообществу; всякая попытка создания внутренне гармоничного и прочного сообщества окажется тщетной, а стремление к общему благу целостности всегда будет сталкиваться со стремлением к благу каждого из ее членов. Вот почему мне как личности никогда не удастся достичь завершенности ни в одном из экономических или политических обществ, которые имеются в моем распоряжении.

Вместо совершенной *координации*, которая царил бы в мире чистых личностей, где ни одна из них никогда не была бы средней величиной или орудием в руках другой личности или сообщества, положение, которое мы только что описали, зиждется на режиме ущербной *субординации* в отношениях между индивидами и обществами.

Здесь опять возникает затруднение. Если отношения "индивиды — общества" были бы чисто материальными или сугубо жизненными, то речь шла бы об игре сил и борьбе за выживание между отдельными частями. Но эта плоскость является нижним пределом. В столкновениях между индивидами и обществами в какой-то степени всегда участвуют

¹ См. по этому поводу прекрасную работу Ж. Маритена* в: *Du régime temporel et de la liberté*. Desclée de Brouwer. P. 575.

подлинные личности предельного сообщества, вот это-то и есть подлинная драма, ибо с достаточной ясностью никогда не известно, какая именно из двух сторон и до какой степени оказывается вовлеченной в конфликт.

Следовательно, в этой области необходимо, опираясь на наш собственный опыт, усвоить некоего рода практическую мудрость. Вот несколько очевидностей, которые мы для себя добыли. Мы будем рассматривать их как указания, подлежащие осмыслению, поскольку имеется достаточно оснований считать, что проблема эта сложна, даже мучительна, чтобы можно было претендовать на ее разрешение, опираясь на несколько грамматических правил.

Если окончательно осуществление личности и сообщества (христианин сказал бы: достижение личного спасения и формирования сообщества святых) — это одно и то же дело, имеющее две стороны, то тем не менее мне дано¹ осуществлять только мою личность, пусть даже при этом я шел бы против всего света, тогда как для осуществления сообщества я могу внести только свой личный вклад, который останется неэффективным, если другие не сделают того же. Более того, как мы уже говорили, сообщество следует за личностью, оно является результатом, последовательно достигнутой гармонией. Заранее я не знаю, чем оно станет и какой путь приведет к нему; я знаю только, что такой путь открывается при условии, если я устремляюсь к личности. Я не могу хотеть этого сообщества, я могу только стремиться к тому, чтобы быть достойным его.

Когда я выступаю за экономическую и политическую революцию, я борюсь не *ради* сообщества, а (если брать слова в их собственном смысле) *ради* Личности, зная, что это соответственно пойдет и на пользу сообществу. Я полагаю, что, двигаясь в каком-то направлении, X или Y, например, мы избавим личности от нынешнего экономического и политического угнетения, но я хорошо знаю также и то, что автоматически без их собственных усилий (которые только тогда и *могут* возникнуть) нам не прийти к созданию сообщества.

В том, что касается меня самого, моей личной задачи, здесь я обладаю некоторыми очевидностями, но что касается нынешних отношений людей, коллективного начала, конечной гармонии, здесь я пребываю в полном неведении. Я слишком хорошо знаю, что сообщество, которое объединяет в себе все личности, не может для своего утверждения требовать от меня того, чтобы я отверг себя как личность. Каждый конфликт, который может случиться у меня с обществом, я должен оценивать не с позиций живущего во мне индивида, а с точки зрения, которая превышает меня самого и которая вопреки моему самодовольству устремляет меня, как человека особенного, в направлении моего призвания; вот, несомненно, средство, дающее мне наибольшие шансы для продвижения к завершающему сообществу. Вся проблема будет заключаться в том, чтобы решительнейшим образом отличать призывы личности от выкриков индивида.

¹ Мы говорим "дано", а не "возможно": условия крайней нищеты оставляют место для добродетелей лишь исключительного характера.

Сделав эти предварительные замечания и предполагая, что мы в своих разработках гарантированы от неосознанного возврата к индивидуализму, мы должны сформулировать правило, утверждающее, что любое земное общество существует лишь ради блага личностей, их духовного блага, и что земное благо необходимо для их осуществления. Мы категорически утверждаем: государство, экономическое общество стоят на службе отдельных или коллективных личностей, которые спонтанно развиваются на их территории. Не имеет права на законное существование государство, если оно действует против справедливости, даже в одном-единственном случае: Пегги был прав, когда говорил, что в деле Дрейфуса* "само будущее Франции" требовало неукоснительной справедливости по отношению к одному-единственному из его граждан. И это была естественная, а отнюдь не анархическая позиция. Не может быть экономического строя, который обладал бы ценностью сам по себе: экономика должна быть только наилучшим средством предоставления всем людям той меры материальных благ, которая необходима для духовного развития каждого. К чему национальная, семейная, партийная честь, если она утверждается за счет обездоливания личностей?

Таким образом, долг общества перед личностями предстает в категорической форме. Что же касается обязанностей личностей по отношению к обществам, то здесь мы столкнемся с большим количеством ловушек и неопределенностей.

Общества нередко оказываются всего лишь умножением беспорядков, идущих от индивида. Суммируя их, они доводят угнетение до крайней отметки. Человек, который осознал свое человеческое предназначение, всегда должен открыто выступать против этой угрозы.

Тем не менее нередко и они оказываются эффективной подготовкой к сообществу, этапом на пути его становления. Каждое из них обладает здесь своими возможностями: товарищество, семья, партия, родина более или менее открыты для него. А поскольку моя личность вынуждена защищаться против материального угнетения, которым они ему угрожают в силу их непрерывной материализации, мой индивид со своими претензиями и алчностью нередко получает счастливую возможность использовать эту защиту в своих целях. Между тем бесспорно, что мой индивид должен полностью, со всеми своими личными интересами и самой жизнью, приноситься в жертву сообществу, которое может включить в себя общества, поглощающие его. При этом необходимо соблюсти два условия:

1) Чтобы индивид приносился в жертву именно сообществу, как бы ни были несовершенны его требования в данный момент, а не обществам, основанным на материальных интересах, которые признаются таковыми открыто или подспудно. Если речь идет всего лишь о материальных интересах индивида, то это представляло бы опасность для других материальных интересов, затрагивающих личность, в подчинении которой находится индивид. Если же речь идет о жизни индивида, это меняет дело. Мы несколько не возмущаемся, даже, напротив, вос-

торгаемся, если человек умирает во имя своей страны, во имя революционной справедливости. Ведь бывают такие случаи, когда смерть оказывается для него единственным средством ответить на требования его личности, "спасти свою душу" и душу сообщества вместе с ней. Только в каждом конкретном случае надо хорошенько проверить, не умирает ли он ради торговцев оружием или ради кучки авантюристов.

2) Чтобы индивид при этом приносил в жертву только свою индивидуальность, то есть что-то такое, что принадлежит сфере его интересов: его выгоды, удобства, развлечения¹. Мы уже говорили о том, что никогда никакое сообщество не может требовать от личности, чтобы она отрицала самое себя. В противном случае это было бы противоречием в понятиях, ибо сообщества есть не что иное, как завершение личностей.

Практически проблема будет состоять в том, чтобы определить, когда требуемая сообществом жертва перестанет подавлять индивида (что само по себе хорошо, несмотря на его противодействие) и начнет ущемлять личность.

Эти два условия помогают нам увидеть, насколько абсурдна позиция тех социологов, которые в том, что они весьма расплывчато называют конфликтами между "индивидом" и "обществом", постоянно отдают предпочтение "обществу" перед "индивидом" (потому что, как они считают, именно общество дает индивиду бытие) или же в соответствии с тем же принципом поддерживают более широкое общество в ущерб обществу менее широкому.

В своей грубой форме эта позиция представляется нам типичной для определенного материализма, имеющего благие намерения. Она игнорирует труд, который осуществляется внутри личности; тот труд, который, опираясь на социальные отношения, отнюдь не сводится к ним. Согласно этой позиции, добродетели сообщества имманентно присутствуют в каждом обществе и, при прочих равных условиях, автоматически развиваются, если иметь в виду их качества, вслед за расширением рассматриваемых обществ. Как говорил Паскаль, это значит рассматривать человека и общество с точки зрения множества, а не бытия.

Верно, конечно, что универсальность и в пределе интеграция всего человечества составляют сущность сообщества. Следовательно, расширяясь, оно обогащается, но при условии, что остается самим собой. Однако общество (несовершенное), обладающее большей протяженностью, стоит ниже сообщества совершенного или более совершенного, но менее протяженного. Когда под ударами варварского нашествия Рим распался, западное общество нашло для себя убежище на крохотных островках, затерявшихся в этом половодье. Когда та или иная официальная страна открыто предаст какое-нибудь жизненное общество, которое находилось на его попечении, то оно может выбрать другое, более

¹Подчеркнем: свою индивидуальность. Никто не обладает правом приносить в жертву кого бы то ни было, кроме себя самого, — ни членов своей семьи, ни соратников по партии и т. д. (с этой стороны опять-таки наблюдается усложнение различных случаев).

узкое сообщество, и ему будет хранить верность и послушание, что конечно же ослабит принадлежащую стране власть. Даже в периоды нормального развития многие промежуточные коллективы имеют преимущество над целой страной. Существует большое число примеров, когда мой долг по отношению к моему ближнему по праву имеет приоритет над моими обязанностями по отношению к более широким коллективам.

Остается только определить, кто в каждом конкретном случае будет выступать судьей. Указания, которые были нами даны, конечно, могут искажаться в зависимости от индивидуальных суждений, поддаваться всякого рода мистификациям, идущим от инстинкта. Именно поэтому мы особенно остро ощущаем потребность в достаточно самостоятельных, как правило, лучше информированных и более беспристрастных духовных сообществах: международные суды, церкви существуют не для того, чтобы диктовать свои условия, а чтобы просвещать души людей. Они поставили бы барьер на пути не только индивидуального, но и коллективного произвола и защищали бы персоналистское право против права государственного и классовых притязаний различного рода, продолжая проливать свет и на частные вопросы, поскольку они входят в их компетенцию. Конечно, требуется, чтобы эти сообщества не выступали одновременно и как судьи и как заинтересованные стороны вследствие их привязанностей или по причине противоречий с временными обществами.

Наконец, в поисках такого равновесия между личностью и обществами надо считаться со все более возрастающим значением политических и экономических сообществ. В них личность в еще большей степени находится под угрозой. В эпоху семейно-ремесленной экономики человек, который не хотел никакого публичного признания, мог полагаться на самого себя и противостоять сильным мира сего. Власть оплачивала своих наемников и не стремилась вооружать всю нацию ради своих целей. Та же власть, которая завтра станет распространять свои державные права на любого мужчину, любую женщину, любого ребенка, будет одновременно с национальной экономикой распоряжаться и насущным хлебом каждого; она сделается притягательной силой, и следует опасаться того, чтобы завтра обладающие силой авантюристы не попытались установить режим духовного угнетения.

Вот почему мы стремились определить в политическом плане *плюралистическое Государство*, в экономическом плане — *экономику, децентрализованную вплоть до личности*, которые в совокупности с необходимыми объединительными органами были бы в состоянии обеспечить необходимую атмосферу и свободу для спасения личности. Рано или поздно сторонники того или иного блока должны будут признать, что именно в этом и заключается главная проблема нашей эпохи. Мы не выполним миссии, возложенной на наше поколение, если не сумеем решить ее.

Январь 1935 г.

4. Принципы объединения

Кое-кто может посчитать, что только что высказанные позиции стремятся возратить правоту и жизнь старому спиритуализму. Но спиритуализм отдает нафталином. Народ с недоверием относится к нему, и он прав: слишком часто в спиритуализме эксплуатация прикрывалась маской добродетели. Философы сторонятся его, и они тоже правы: спиритуализм слишком часто становился прибежищем для расплывчатых мыслей и посредственных чувств.

Дело в том, что "спиритуализм" в том виде, как его понимали наши предки, знает только один тип объединения, наследовать который мы совсем не собираемся. В самом деле, попробуйте только заговорить об объединении сил, и вы сразу увидите, как вырисовываются два вида реакций. Первый привлечет к вам толпы докучливых людей с пылкими чувствами и смутными идеями, которые даже дышать способны только в общей сумятице. Второй, опасаясь первых, отдалит от вас даже тех, кто мог бы придать объединению прочность. Возможно ли избежать этого двойного недоразумения? Мы полагаем, что да.

В совершенном сообществе сотрудничество было бы всесторонним. Каждый реализовал бы себя, руководствуясь собственными требованиями, последовательно и абсолютно свободно развивал бы свои способности, объединялся бы со всеми другими, опираясь на целостную концепцию мира и человека. Такова собственно религиозная связь.

Именно к такой сопричастности мы и устремляемся. Работа, которую ведем мы и наши оппоненты, то каждый в отдельности, то объединяясь, как братья-враги, имеет смысл лишь в том случае, если мы верим в зов истины, сколь бы неясной она ни казалась нам, и в величие, как конечное примирение, для достижения которого мы прилагаем свои усилия, каким бы далеким оно нам ни представлялось. Не так давно писателям задавали вопрос: "Для кого вы пишете?", а за десять лет до этого вопрос звучал так: "Почему вы пишете?" Некоторые литераторы оказались обескураженными таким поворотом дел. Когда этот вопрос ставится по горячим следам, я знаю, в какое замешательство приходят многие из наших даже самых искренних и пылких реформаторов. "Ради чего вы трудитесь?" Многие ссылаются на драматизм эпохи, потому что увидели в нем средство для собственного жизнеутверждения. Другие — потому, что любят сильные эмоции. Третьи — потому, что от заварушки к заварушке их затягивало в среду, которая, как правило, поглощала их. Ну а наименее способные к сопротивлению плыли по воле волн. Большинство людей просто проводит время: они либо вообще ничего не видят перед собой, либо видят одни слова.

Объединившись перед последним рывком, мы трудимся не ради корысти или удовольствия, не для того, чтобы убить время; мы трудимся, чтобы приблизиться к истине и достичь универсального сообщества, которое не будет пренебрегать ни личностью, ни истиной; мы трудимся, чтобы идти к Богу, даже если многие из нас не знают о существовании Бога. Человек в полной мере является человеком лишь постольку,

поскольку постоянно стремится объединять все свои мысли и действия вокруг одной и той же конечной цели, постоянно работает над приближением этой цели, расширяя и приумножая свою деятельность. Видимость не должна обманывать. Ниже мы скажем об актуальных причинах, которые толкают нас к объединению сил. Они являются весьма настоятельными в тех исторических условиях, в которых мы сегодня живем: они никоим образом не должны привести нас к культу бесхребетного человека и заставить нас в наших мотивациях заменить поиск истины моралью вседозволенности.

Следовательно, объединение сил является ценным лишь в той мере (а нередко мы и на это не обращаем внимание), в какой оно подготавливает высший тип сообщества. Если рассматривать его с точки зрения необходимых для этого численности, упорядоченности, постоянства, терпимости, оно является не чем иным, как необходимостью, наименьшим из всех зол: мы говорим это для тех неустойчивых душ, которых сводят с ума предельные ситуации и которые пьянеют от идеалистических коктейлей. Объединение — это тактика в хорошем смысле этого слова: это такая тактика, которая не поступается основными принципами ради случайных интересов и каждый раз стремится на деле принести максимум добра и минимум зла.

Таким образом, мы понимаем объединение сил совершенно иначе, чем это свойственно либеральной традиции. Самым совершенным для нас остается всеобъемлющее сообщество: мы в самом деле верим в духовную *реальность* и в истину, которая в конечном итоге должна всех нас объединить. Эта истина сложна и неясна, существует множество путей приближения к ней или, если хотите, различных способов двигаться по этим путям; стало быть, ее не следует путать с каким бы то ни было близоруким догматизмом, она требует величайшего уважения к свободе личностей и стремления к ней: и это несколько не уменьшает ее значения как критерия, призыва, живого центра; мы смутно ощущаем ее, стремимся к ней, еще не сделав ни шага, чтобы приблизиться к ней. Напротив, для определенных форм либерализма не существует ни центра, ни призыва, а есть только относительные точки зрения, претерпевающие бесконечную эволюцию. Для них духовная жизнь состоит, в частности, в том, чтобы ничему не отдаваться, никогда не делать выводов, ибо всякий вывод является приостановкой ума. Для них все учения обладают ценностью, лишь бы они были "искренними", и чем больше мы будем сталкивать их друг с другом, смешивать друг с другом, тем больше будем нейтрализовать их тяготение к догматизму. Таким образом, эклектика, отсутствие строго продуманной позиции становится законом сотрудничества.

Не следует недооценивать того, что либерализм предъявил справедливые претензии к коллективному догматизму и тем самым выразил скрытое уважение к истине, которая находится за пределами как обществ, так и индивидов. Но нельзя освободить людей, вырывая из связей, которые крепко держат их; это можно сделать, заставив их

задуматься о собственном предназначении. Их можно привести к свободе, открывая перед ними ту сферу, где они при небольшом усилии с их стороны смогут рассмотреть пути, ведущие к подлинной автономии. Либерализм мог бы претендовать здесь на роль критика, но он уже отказался от нее в силу собственной ограниченности. Как только он возомнил себя самодостаточной концепцией, он придумал невоплощенные "духи", бессодержательные умы, способные понимать все и вся и быть всем, никогда ничему не отдаваясь: это наиболее утонченный продукт буржуазной культуры.

Поскольку мы являемся противниками либеральных идей, мы требуем, чтобы человек целиком включался в действие, и только таким образом можем говорить об объединении сил.

Дело в том, что жизненные ситуации являются более сложными, чем ситуации теоретические.

Исторические суждения и практические проблемы, с которыми мы сталкиваемся, когда хотим соединить теорию и принципы действия, становятся все более и более запутанными по мере того, как наша жизнь отдаляется от той замкнутой экономики, какой она была еще совсем недавно. Все более запутанными становятся пути, ведущие от теоретических принципов к практическим действиям. Неосознанные классовые предрассудки, предрассудки, вытекающие из частных интересов, партийные предрассудки, привычки, иллюзии еще более затемняют пути, по которым следует идти. Дело доходит до того, что мы обычно сталкиваемся с двумя следующими ситуациями: два человека, имеющие общую точку зрения относительно принципов, вовсе не согласны в вопросе о формах их применения; два человека, одинаково предсказывающие те или иные последствия, согласны относительно принципов лишь до определенных пределов, но не более.

Если бы история в своем осуществлении была бы сродни метафизической системе, то, безусловно, следовало бы просто свести вместе людей, которые полностью принимали бы одну и ту же концепцию мира, и сделать так, чтобы их логика имела бы возможность беспрепятственно осуществляться. Но история прокладывает себе дорогу непредвиденным образом. И если мы хотим в ней участвовать (и мы будем тем более внимательны к ней, если верим в ее божественность), то не станем подчинять ее абстрактной логике; стремясь к возрождению, мы будем опираться только на силу своей веры и исходить из реальных исторических условий.

Между тем сегодня история тяжело больна и нам предстоит врачевать ее. Мы полагаем, что с достаточной ясностью определили характер ее заболевания. В том что касается срочных мер и необходимых рецептов, то на деле люди, принадлежащие к всеобъемлющим, но в конечном счете различным, хотя и близким по глубинным аспектам метафизическим учениям, приходят к согласию относительно их выбора. Стоит ли ради расхождения школ позволить больному умереть?

Логики по поводу некоторых из этих учений могут сказать: либо они достигают согласия, имея в виду слова, но не вещи, либо они противоре-

чат самим себе. Я отвечаю им: мы заставляем их иметь дело с реальными вещами и требуем от них доказательств; если они заняты только согласованием слов, то быстро окажутся в противоречии сами с собой; а если они непоследовательны, то зачем же требовать от нас, чтобы мы употребили их во благо, если по вашему же мнению их логика побуждает их ко злу!

— Но послушайте, — будут настаивать они, — все вещи взаимосвязаны, как можете вы прийти к согласию по поводу одной-единственной детали или промежуточных принципов, если вы расходитесь в том, что касается конечных принципов. — Ну да! Еще раз стоит сказать, что, если бы дедуктивная логика управляла людьми, вы были бы сто раз правы. Но наше сознание расплывчато, наши проблемы трудны, наши привычки устойчивы. А слова, в которые облекаются намерения или которые говорят о существующих реалиях, — это сплошные нагромождения и завалы. Как только мы затрагиваем земные проблемы и конкретные способы действия, истина сразу дробится и распыляется. Самые надежные принципы в одном случае являются безупречными, но совершенно недейственными из-за предрассудков и заблуждений, в другом случае они неадекватны, но обладают скрытой возможностью быть плодоносными среди сорняков. Один правильно видит причины, но ложно трактует действие, поскольку не учитывает исторические обстоятельства. Другой держит в своих руках бесценные осколки истины, но не имеет ни малейшего представления о деле в целом. Таково наше положение. Что бы вы ни говорили, вы не сможете сделать его ни более логичным, ни более ясным.

Мы только что вели речь о спасении тяжело больной истории. Это и в самом деле первая причина настоятельно необходимого объединения сил, к которому мы призываем. Когда реальность человека, как мы его до сих пор определяли, до такой степени поставлена под угрозу, когда необходимость возрождения уже столь четко обозначилась, было бы преступлением закрывать эту единственную дверь, ведущую к спасению, отвергать взаимопомощь, требуемую при объединении сил. Но много ли тех, кто спешит войти в эту узкую дверь?

Наша мысль идет дальше этого жизненно необходимого объединения, осуществляемого по сигналу тревоги. Выше мы отмечали, что сплочение рядов представляется нам законным лишь постольку, поскольку оно имеет своей целью истину, а не эклектику. Между тем истина подвергается двоякой опасности: с одной стороны, ей грозит распыление, с другой — разрыв, о чем мы только что говорили.

Кто будет работать над воссозданием целостной истины, если каждый думает только о той части, которой сам владеет? Но даже если одна из сторон полагает, что обладает ключом, подходящим к любой частной истине (а христианин не может думать иначе), то каким образом он сумеет открыть тайну, если не попытается испробовать свой ключ для каждой двери и провести учет своего благосостояния, посетив каждую из этих замкнутых ячеек? Если верно, что сквозь призму истины преломляется свет добра и зла, что она одинаково светит и правым и левым, что самые различные круги рядятся в ее одежду, то только любовь

к этой расчлененной истине, а отнюдь не изнеженный либерализм, нуждается в людях, которые занялись бы собиранием ее кусков, разбросанных в нашем растерзанном мире. Всем формам "тоталитаризма" надлежит показать, что эти кусочки имеют силу только в целостности, в совокупности (правда, собиратели в свое время сами могут стать тоталитаристами); но наряду с творческой работой здесь необходимо решать и более скромную задачу по распашке целины, отбору, очищению, поиску равновесия, сбору откликов, что требует совместных усилий всех держателей частичных истин.

К этим причинам, ведущим их к объединению, следует добавить еще одну, последнюю, которая нам представляется основополагающей. Всеобъемлющая сопричастность, говорили мы, не может пренебрегать ни малейшим оттенком истины и в то же время должна включать в себя позитивные богатства каждой личности и бороться за их спасение. Но очень трудно соблюсти эту двойную верность. Люди не только замыкаются в себе и разделяются по политическим (земным) партиям, но и свои собственные духовные привязанности превращают в духовные партии, которые в свою очередь вводят партийные законы туда, где им нечего делать. Пользуясь словами Пеги, можно сказать, что они переносят любой "мистический" спор в "политическую" плоскость. Они доходят до того, что Маритен справедливо назвал "социологической проекцией" веры. Они превращают ее в одну из своих собственных умственных привычек, а нередко и в предмет своей гордости или каприза, говорят о ней на герметически закрытом, непроницаемом и непроницательном языке. Они, выражаясь словами Бергсона, превращаются в закрытое общество и выдвигают всякого рода требования вместо того, чтобы излучать свет. Окопавшись в этом обществе, они отказываются признавать истину, которая рождается где-то вовне, и даже ее название не упоминают и поэтому тем более рьяно нападают на нее. Они судят о перспективах мира только сквозь призму своего замкнутого мира, в котором находят себе убежище, дабы, прикрываясь требованием чистоты, уберечь себя от свершения любого великодушного поступка. Игнорируя психологию тех, кто пребывает вовне, они рисуют жалкие карикатурные картины бедности и тем прочнее закрывают себе путь к душам и сердцам людей. Мало-помалу они сами каменеют в своей скорлупе: их язык предназначен исключительно для внутреннего употребления, к тому же они говорят на каком-то жаргоне, где много красивых слов и общих, ничего не значащих фраз; они не испытывают жизненность своих идей в столкновениях и спорах. Свойственное им благодушие изнутри разрушает их убежденность, которая становится все более распылчатой по мере того, как она тонет в потоке общих слов.

Несомненно, это самая большая опасность, угрожающая духовным ячейкам изнутри. Разрушить "социологические проекции" истины, а не сами "истины", сталкивая их друг с другом (это современное множественное число является просто абсурдом), обеспечить взаимопонимание, выветривая дух партийности, — это пошло бы на благо самой истины, которая для своего утверждения требует постоянного столкновения мнений.

Нам остается показать, как должна осуществляться эта борьба, коль скоро она отвергает формы деятельности старого либерализма.

Подведем некоторые итоги. Мы выступаем против безумного, чисто внешнего соединения различных мнений. Мы отвергаем также (стоит ли специально об этом говорить?) все "священные союзы", которые, пытаясь замаскировать расхождение мнений, отказываются ставить реальные проблемы и пресекают дебаты среди верующих; мы отвергаем также эфемерные, лишенные оснований соглашения, касающиеся политических реформ или экономических прогнозов.

Мы предлагаем регулируемое и направленное сотрудничество на основе точно определенной метафизической ориентации и строго определенных исторических суждений.

Метафизическая ориентация, задаваемая сверху, освещает наши позиции. Нужно только все время помнить о ней. Мы говорим: первичность духовного. Но:

а) *Духовное не сводится к возвеличению роли жизненных энергий*, т. е. инстинктов, силы, молодости, дисциплины, национального тонуса, спортивных успехов и общественно полезных начинаний. Конечно, подогреваемый ими мир значительно более жизнеспособен, чем лишенный энергии механический мир. Но превращать их в высшие ценности, как это происходит в идеологии фашизма, значит сковывать духовный порыв и направлять его энергию по самому опасному пути.

б) *Дух не сводится к культуре*. Культура, отделенная от внутренней жизни, может превратиться в бессодержательную игру одного духа, не имеющего никаких обязательств и ни к чему не питающего любви. Более того, она становится воплощением интересов одного класса, одной нации, одного исторического периода (существует культура буржуазная, культура 1900 года и т. п.) и поэтому содержит в себе многочисленные пороки.

в) *Дух не сводится к свободе*. Свобода выбирать свою судьбу и средства ее осуществления вопреки всяческому духовному давлению — это фундаментальное завоевание человека, и мы не можем допустить надругания над ней. Но она имеет смысл, если ведет к согласию и обладает ценностью, если только содействует углублению и упрочению этого согласия. Мы равным образом выступаем как против антилиберализма, который хочет подменить этот акт лозунгом, так и против либерализма, для которого важнее всего неопределенность суждений и который защищает свободу, какой не дано осуществиться.

Что же такое для нас духовное?

а) *Шкала ценностей* для нас такова: приоритет жизненного над материальным, ценностей культуры — над жизненными ценностями; однако над всеми этими ценностями господствуют другие, те, которые мы повседневно ощущаем в радости, печали, любви и для выражения которых используем самые обычные слова, придавая им особую силу и значение; мы будем называть их ценностями любви, сердечности, милосердия. Эта шкала для некоторых из нас будет связана с существованием трансцендентного Бога и христианскими ценностями, но это

ни в коем случае не означает, что она, в силу этого обстоятельства, закрыта для других наших товарищей.

Свободный выбор полагается как предварительное условие искреннего согласия с этими ценностями.

б) Эти ценности воплощены в *личностях*, предназначением которых является жизнь в целостном *сообществе*. Тот, кто развивает себя как личность, тем самым подготавливает сообщество. И, напротив, не может быть глубоких и прочных сообществ, кроме сообществ личностей. Современный мир разрушил и то и другое. Претенциозный, эгоистический, формальный, абстрактный индивидуализм предлагает нам лишь карикатуру на личность. Капитализм и тоталитаризм предлагают нам лишь общество, основанное на угнетении и не имеющее никакого отношения к подлинной сопричастности. В противовес этим двум видам предательства по отношению к личности мы должны найти глубокие источники личности и сообщества и установить тот самый *персоналистский и общественный строй*, в котором они будут развиваться друг через друга.

Вот, собственно, то, что можно было бы назвать общими метафизическими принципами нашего сплочения. Идя к ним снизу и воплощая их, мы должны присоединить к ним конкретно-исторические суждения, касающиеся современного мира: об экономическом строе, о строе политическом, о ходе событий, развитии институтов.

Мы считаем, что две позиции четко определены, и эта определенность будет возрастать и в дальнейшем. Значит ли это, что они представляют собою всеобъемлющую систему, какой является религия? Нет, это было бы противоречием в себе. Ни для кого не секрет, что я здесь защищаю позицию христианства и что значительное число людей, объединенных, например, вокруг журнала "Эспри", являются христианами. Между тем христианин не может признавать никакой другой всеобъемлющей метафизики, кроме исповедуемого им христианства. Разве мог бы он прибегнуть к помощи какой-то другой метафизики?

Нет, мы придерживаемся иной точки зрения. Метафизические позиции, исторические суждения, необходимые для нашего сплочения, — это совсем другое, чем ревностно оберегаемая нами система. Эти метафизические позиции не следует рассматривать в качестве какого-то *первичного отличительного признака*, как то, чему каждый сохраняет верность, стыдясь одних своих поступков и не высказываясь по поводу других. Даже для многих из нас они не обладают достаточной силой, существуют сами по себе, потенциально. Они являются как бы образами, которые каждый может видеть с собственной точки зрения (отсюда и связь между ними), но которые не сможет отобразить никакое реально существующее зеркало. Следовательно, метафизические позиции могут нас одинаково ориентировать, но каждый из нас при этом будет ориентироваться на свою звезду и опираться на собственные ресурсы. Что же касается конкретных суждений, они не столь существенно связаны между собой; тем не менее в ходе скромного поиска, подчиненного скорее опыту, чем утопиям, принимаемым некоторыми за духовность, они могут состав-

лять *линию поведения*, которая является вполне определенной, но постоянно развивающейся, аналогичной тем фактическим линиям, которые наука или антропология предлагают вниманию метафизика.

Таково это новое сплочение. По образу гражданского общества, которое мы противопоставляем либеральному и тоталитарным¹ обществам, мы охотно будем называть его, учитывая содержащийся в нем двойкий аспект, *плюралистическим сплочением*.

С одной стороны, оно определяет центр объединения и направления борьбы. Тем самым оно заявляет о том, что неприемлемо с его точки зрения: оно несовместимо с определенными тоталитарными системами, например миром денег, фашистским этатизмом, марксистским материализмом. Впрочем, оно несовместимо и с некоторыми практическими направлениями, принимаемыми отдельными сторонниками тоталитарных концепций, совместимых между собой внутри объединения: например, антикапиталистически настроенный католик найдет в нем свое место, но католик, беспрекословно принимающий капитализм, — если такое вообще возможно — ни за что не найдет его; чуждый релятивизму протестант, являясь антилибералом в определенном выше смысле слова, признает свое родство с ним, но либеральный протестант, если таковой существует, ибо для него как раз и не может быть истины и морали кроме тех, которые создает для себя сам индивид, не найдет с ним ничего общего; веротерпимый агностик, признавая, что его иерархия ценностей остается открытой каждому из тех, кто ее поддерживает, не будет чувствовать себя стесненно в нем в отличие от атеиста или воинствующего материалиста.

Но внутри этих границ и этой ориентации, которые не противоречат целостности позиций отдельного человека, его *законным долгом* станут совместное развитие и обогащение личностных черт и глубинных привязанностей каждого (без ложной стыдливости и скромности), обнаружение всеми доступными средствами общих представлений и их метафизических основ и придание им личностного смысла. Иначе не будет ни встречи, ни единства. Встреча, как и сопричастность, осуществляется только между личностями, которые верят в истину и включаются в нее всем своим сердцем.

Мы полагаем, что дали ответ на вопросы, питаемые двумя видами страха.

Одни говорят нам: союз не может быть прочным, если он не основан на таком учении, которое содержит в себе идею целостного человека и целостной реальности. Между тем у вас мы видим людей, *конечные метафизические позиции* которых не могут в итоге не расходиться. Следовательно, вы, вопреки собственному желанию, соскальзываете на позиции малоэффективного эклектизма и даже возводите этот эклектизм

¹Здесь нельзя допустить путаницы. Только совершенное сообщество имеет право быть всеобъемлющим. Конкретные общества, присваивающие себе это имя, узурпируют право, которое им не принадлежит и соблюдения которого они могут требовать только через насилие.

в систему, которая более утонченно, чем очевидная пристрастность, высвечивает заблуждения. Здесь нет ни грана эклектики, поскольку, с одной стороны, четко определены исходные линии и поскольку, с другой стороны, они требуют, чтобы каждый человек включил их в целостную концепцию универсума. Что же касается последней, то она уже по определению является родственной по меньшей мере другим подобным концепциям в течение некоторого отрезка времени. И если на каком-то этапе нашего пути выяснится, что они стали несовместимыми и препятствуют последующему завершению духовной революции, так что же, значит, сплочение состоялось, значит, оно выполнило свою задачу. Мы с самого начала отметили, что сплочение сил, по определению, должно иметь свое время и свое место.

Другие же, напротив, скажут: вашей миссией является объединение людей доброй воли, которые полностью отвергают мир денег и, оставаясь открытыми ко всему новому, вместе с тем отвергают духовную диктатуру фашизма или коммунизма. Стало быть, вы также определяете, ограничиваете, исключаете, как и в том случае, если кто-то среди вас начинает говорить языком, который не подходит для всех. Вы что, тоже собираетесь создать еще одну заповедную зону? — Увы, да, если мы сами и избежим этого, другие превратят в конформизм то, что есть еще живого в нашем нарождающемся деле. Устремленность к гибели — это закон самой жизни. Но такая же участь уготована и тому, кто не хочет осуществлять выбор, кто стремится ни во что не ввязываться. Мы намереваемся осуществить выбор наилучшим образом, а потому каждый должен внести свою личную лепту. Не будь такой принципиальности, сколько дров мы сможем наломать!

Итак, объединение достигнуто. И что дальше? Поскольку базовые позиции определены, нам остается сравнить их с существующими ныне тоталитарными системами и на их основе разработать тактические позиции, которые явились бы плодом нашего размышления над конкретными историческими условиями, призванными сегодня обеспечить движение духа.

Тот, кто ждет от данного произведения "конкретных решений", то есть вполне обоснованных и всеми разделяемых идей, стимулирующих воображение и дающих предлог для личной безответственности, будет разочарован. Мы не в состоянии познать будущее, его конкретные черты и механизмы их осуществления недоступны нашему воображению. Каждому дню — его труд, его работа. То, во что мы можем целиком включиться уже сегодня, — это провидческое осуждение беспорядка; и если на этом пути и будут остановки, то мы используем их исключительно для того, чтобы лучше осознать руководящие принципы перестройки и проанализировать уже пройденные этапы. В дальнейшем мы будем руководствоваться опытом. Игнорировать постоянно развивающийся опыт значило бы потакать интеллигентскому самолюбию или поддаваться уловкам лени: наша духовность — это присутствие и ответственность.

Июнь 1934 г.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ

1. Духовные псевдоценности фашизма

“Невозможно понять фашизм во множестве его проявлений, то как партийной организации, то как системы воспитания, то как дисциплины, если не брать в расчет его общую концепцию жизни. Эта концепция является спиритуалистической”.

Эти принадлежащие Муссолини¹ слова выражают существо фашистских притязаний по меньшей мере с того времени, когда после предпринятой авантюры сторонники фашизма стали подыскивать себе доказательства собственного благородного происхождения. Они могут считать чем-то недостойным внимания экономические интересы и лигу налогоплательщиков. Но они всегда говорят о своей деятельности как о мистической жизненной реакции против механизмов, отдают предпочтение энергичности и порядку перед бездействием и беспорядком. Молодость, здоровье, воля, единодушие, авторитет, рвение, новый обновленный социальный организм, собственные дома, усердные служащие, воодушевленные толпы: внезапный взрыв всех этих живых сил способен навязать воображению образ воскрешения духа.

Мы провозгласили приоритет духовного и в борьбе за это видим смысл нашего существования; поэтому-то мы понимаем, откуда может появиться опасность. Многие молодые марксисты, стремящиеся скорее подтвердить правоту своих учебников, чем понять свое время, после того как испытали различного рода затруднения, в борьбе с нами сумели найти тяжеловесную тактику, которую им подсказала фашистская риторика. Они посчитали достаточным выдвигание следующей аксиомы: всякое антикапиталистическое движение, которое не является марксистским, по определению является фашистским, и принялись распространять ее со свойственными им тупым самодовольством и поразительной слепотой.

Мы протестовали, заявляя, что нашему движению (как, впрочем, и фашизму) не нашлось места в рамках марксистских прогнозов (да и кто упрекнул бы их в этом?). Нам ответили, что Маркс предвидел появление всех подобных движений и еще многое другое, поскольку он сказал, что при приближении к своему концу капитализм станет призывать себе на помощь все темные силы и что мы из упрямства настаиваем на своих собственных позициях; один особо проникательный товарищ проделал головокружительные кульбиты, дабы дать нам понять, что наилучшим диалектическим доказательством нашего фашизма является именно то, что мы его отвергаем.

Мы не стали бы останавливаться на этом примере партийной недобросовестности, если бы не видели, что она завладевает определенной частью общественного мнения. Совсем недавно один еженедельник под заголовком *“Молодежное движение или фашизм?”* стал публиковать отрывки из подобного рода исследований; вот один из них: “Они начинают с восхваления духовной революции, а заканчивают тем, что ищут спасение в фашизме”. Необходимо, правда, добавить, что некоторые

¹ *Denoël et Steele* (éd.). *Le fascisme*.

молодежные движения, именующие себя нонконформистскими, дают основание для подобных оценок. Мы полагаем, что настало время определенно и решительно покончить с этими происками по меньшей мере по отношению к нам. Мы, как и все те, кто не боится упреков ни в партийном конформизме, ни в групповой амбициозности, ни в доктринальной неповоротливости, хотим, не принимая в расчет несущественные различия, объединить всех тех, кто открыто работает на духовную революцию. Но прочный союз возможен лишь при ясно определенных целях и чистоте используемых средств. Сама забота о единстве требует необходимых различий. Пока мы находимся в отправной точке, необходимо внимательно следить за малейшими отклонениями от намеченного пути — кто знает, куда они выведут нас завтра.

Первым делом необходимо определить, что такое фашизм, и обрисовать его в самых общих чертах, вместо того чтобы довольствоваться тем его сентиментальным образом, который, руководствуясь определенными политическими потребностями, представили на всеобщее обозрение какое-то время тому назад.

Мы не намерены ограничиваться общими замечаниями. Мы вовсе не отрицаем того, что по сравнению с режимами, на смену которым приходит фашизм, он вносит в общество здоровый элемент и повышает его тональность, и это представляет собой значительный источник энергии. Мы осознаем также, что между различными формами фашизма существуют серьезные расхождения. Мы не сомневаемся также в том, что изучение их институтов и их дальнейшей эволюции даст нам много полезного. Но в данном случае речь идет о том, чтобы постичь их сущность, а не описать их разновидности. Итак, что касается экономического, политического и социального планов, мы будем называть фашизмом защитную реакцию,

— которая отвергает либерализм в пользу государственного капитализма, не подвергая фундаментальному пересмотру сами основы капитализма: приоритет прибыли, большая масса денег, власть экономической олигархии (по меньшей мере, такова перспектива);

— которая объединяет рабочее движение под руководством государства, обладающего диктаторской авторитарной властью и распространяющего ее на капитализм в целом, которому фашизм не намерен уступать свои позиции;

— которая, наконец, стремится вызвать подъем в стране, используя животрепещущие лозунги общественного спасения (особенно вначале) и национального величия, хотя и то и другое получает мистическое воплощение в лице одного человека, вождя партии, государства, наделенного тоталитарной властью от имени государства-партии, посредством которой он, опираясь вместе с тем на полицию нравов, осуществляет управление людьми.

Но в еще большей степени мы отвергаем фашизм как собственно человеческий способ действия, и в этом смысле — как наиболее опасное явление, которое когда-либо существовало. Фашизм — это псевдогуманизм, псевдоспиритуализм, заставляющий человека сгибаться под гнетом тирании грубо сколоченной "духовности" и двусмысленных "куль-

тов": расы, нации, государства, воли к власти, анонимной дисциплины, вождя, спортивных успехов, экономических достижений и т. п. В конечном итоге — это новый материализм, если материализм означает повсеместное сведение высшего к низшему и подчинение высшего низшему.

Необходимо, чтобы наши либеральные оптимисты усвоили раз и навсегда следующую истину: нельзя бороться против одной мистики с помощью другой мистики, к тому же более ущербной. Нельзя бороться с наступлением фашизма, слезно клянясь в преданности демократии, прибегая к выборам, не обладающим силой даже для того, чтобы сместить хотя бы одну реальную власть, призывая замкнувшихся в четырех стенах людей к негодованию. Фашизм сегодня распространяется по всему миру. Фашизм в очередной раз зовет погрузиться в дремотное состояние, когда человек теряет способность что-либо ясно видеть, когда мир становится таким мрачным и гнетущим, что только остается взвалить все бремя существования на одного человека, дожидаться очередных призывов и слепо повиноваться им, опьяняясь героическими речами! Но он же зовет и к величию: когда всюду царят беспорядок и разочарование, то тут же начинают требовать чистоты, энергии, величия, порядка.

Наша роль состоит не только в том, чтобы отвергнуть такое прозябание, но и удовлетворить страстное желание величия, которое в случае фашизма ведет в пропасть. Поэтому мы говорим:

Национальному пробуждению — да. Мы воплощенные люди, у нас есть своя родина, нам знаком ее облик, ее опыт, понесенные ею жертвы, а следовательно, мы знаем, какая миссия предуготована ей. Но мы отказываемся признавать ее в абстрактной нации, превращающей свою суверенность в ошетинившуюся крепость, подобно тому как буржуа делает нечто подобное из своей частной жизни и поэтому уже не способен понять, что самым прекрасным лицом является лицо открытое. Мы отказываемся считать родиной полицейское государство, именуемое тоталитарным в том смысле, что оно является "подлинной реальностью индивида" и что для него "все существует только в государстве и ничто человеческое или духовное не существует, а следовательно, и не обладает *изначальной* ценностью вне государства"¹. Мы, французы, отвергаем такое карикатурное изображение миссии Франции. Для нас она — в воскрешении ее древнейшего призвания, состоящего в освобождении и очищении самих основ мира.

Очищению — да. Но мы хотим знать, является ли очищение милостью, которая дается вместе с партийным билетом и отнимается вместе с ним, и не является ли первозданная чистота верностью людей взятым на себя обязательствам, когда они поверили в ту или иную многообещающую программу.

¹ Муссолини.

Молодость, энергия, пробуждение — да. И пусть будет покончено с господством патриархов, мертворожденных идей и благодушия! Взывая к молодости, мы взываем к искренней вере, к простоте сердец, а не к грубости и распушенности, потакающим животным инстинктам, не к опасным детским играм вооруженных школьников.

Порядок, дисциплина, авторитет — да. Мы не менее критично относимся к либеральной демократии, парламентской демократии. *Jam foetet**. Их демократия — это демократия рабов, отпущенных на свободу с опустошенной душой, обделенных хлебом насущным, подчиненных грубой силе денег, доведшей их до бунта. Порабощение — согласны. Но нельзя излечить от неосознаваемого рабства с помощью сознательно избранного рабства. Мистика вождя, которая повсюду стремится вытеснить мистику демократии (учтем это), создается намеренным отступничеством каждого человека от своего человеческого предназначения: инициатива, ответственность, личность — не на службе у универсальных ценностей, которые возвеличивают ее, а в руках одного человека, который получает свободу действовать и использует ее по своему усмотрению — либо потакая собственным слабостям и амбициям, либо возвращая предполагаемую гениальность; и в том и в другом случае он ставит себя выше любых институтов.

Можно ли сказать об этом человеке, что он получил свой мандат в результате плебисцита, а о фашизме, что это подлинная форма демократии? Да, но подобный плебисцит — это плебисцит нищеты, использующий нищету, чтобы дурачить нищету. Самым большим духовным жульничеством современности, безусловно, явилась деятельность агентов-провокаторов духовной революции, которая дала им возможность выдавать себя за людей, пекущихся об общем благе.

Так не побоимся же сказать, что в современных условиях проблемы демократии, проблемы авторитетной власти остаются пока еще неизученными и нерешенными.

Да, сколь бы совершенными ни были институты, от которых исходит власть и которые, собственно, и пользуются доверием, жизнь в них вдыхают только люди. Но эти люди не должны стоять над институтами, быть выше их законов, существовать отдельно от общества и пользоваться особыми благами и привилегиями. Они обязаны стоять на службе общества и пользоваться властью только в силу высшего закона, которому они подчиняются, и органической демократии личностей, которые поддерживают их руководящую роль. Проблема соотношения единичного и множественного стара как мир: единство власти мы находим не в легковесной абстракции правления одного человека, а в органической множественности ответственных людей. Да (и этого не следует скрывать), диктатура необходима всякой революции, в особенности революции духовной, чтобы нейтрализовать силы зла и склонить их на свою сторону. Либерализм является могильщиком свободы. Мы уже не можем довольствоваться иллюзорными свободами или пользоваться отживающими свой век свободами. Но такая диктатура может быть только временной и ограниченной. Она не должна вести к установлению духовной диктатуры одного государства или одной партии, а следова-

тельно, к господству лжи, к духовному вакууму и верховенству ренегатов и льстецов. Наша формула такова: материальная диктатура, контролируемая насколько это необходимо, всеобщая духовная свобода. И если у нового государства есть собственная метафизика, то пусть оно, опираясь на свои идеи и свою веру, вступит в спор со всеми другими государствами.

Да, здесь существует органическая и функциональная иерархия. Но внимание! Мир денег разделил людей на два класса, один — класс эксплуататоров, другой — класс эксплуатируемых, и тот и другой более или менее осознают ту роль, которую им навязывают деньги, иногда вопреки их собственным желаниям. Первым — легкая жизнь, уважение, досуг, культура, руководящие посты. Вторым — подневольный труд, ограниченное образование, наследственная посредственность. Среди первых есть, понятно, такие, кто считает это в порядке вещей. Иногда им случается "желать блага народу", высказываться в пользу более гармоничного или более нравственного строя, но надо быть начеку, когда они лживо выдают себя за "добрых богачей", отличающихся от "богачей злых", и предлагают свои услуги в качестве армии спасения. Скажем сразу: эти люди так и не поняли, что бедность является царственной особой и что духовному человеку чуждо какое бы то ни было обособление. Когда они объявляют себя революционерами, для них важно, чтобы революция оставалась аристократической, и им не удастся избавиться от своей неприязни к нам или убедить нас в своей любви к нам. Во Франции, этой стране древней культуры и высокой нравственности, особенно внимательно надо следить за такими велеречивыми аристократами: фашизм может просочиться именно через них, и это уже происходит, ибо как раз в тот момент, когда ими овладевает самое постыдное чувство неполноценности, у средних классов и остального народа начинает процветать дух угодничества и лести и они готовы принять из рук кандидатов на власть первые попавшиеся знаки отличия низшего чина, которые поднимают их собственное достоинство в их же глазах¹.

Декабрь 1933 г.

¹ В момент своего появления в печати это определение заканчивалось следующими строками:

"Пусть простят нас наши зарубежные друзья. В данное время мы вынуждены продолжать этот начатый со всеми разговор в узком семейном кругу. Мы следим за их усилиями, они сотрудничают с нами. Мы обращаемся к нашим товарищам из "Орду нуво". Как раз в тот момент, когда, как мы полагали, они стремились иначе, чем мы, с помощью иных методов, но в конечном итоге в том же направлении, искать принципы организации новой экономики, они затеяли с Гитлером спокойную беседу с глазу на глаз. И что же они говорят ему? Конечно же чуточку критикуют, как, дескать, вы, великий человек, ухитрились игнорировать многие вещи, которые нам очевидны! Но главным образом они высказывают в его адрес такое пылкое восхищение, что мы, при всей нашей наивности, не смогли не почувствовать его опасность. "В духовных истоках национал-социалистского движения, — читаем мы, — заложены зародыши необходимой и новой революционной позиции" (Bulletin de l'Ordre nouveau, décembre 1933).

Ну и ну! Еще совсем недавно в том же "Бюллетене", где сегодня находит свое выражение излишне застенчивая критика гитлеризма, мы читали следующие жесткие

2. Испытание в коммунизме

С каждым днем характер расслоения определяется все более четко. Представляется, что ныне, независимо от мало чем отличающихся друг от друга режимов, там, где речь идет о философии человека и совместном человеческом бытии, разворачивается сражение непосредственно между тремя силами: собственно коммунизмом, осознанной или полuosознанной буржуазно-капиталистической обороной и позицией, которая в целом формируется вокруг христианских ценностей (ценностей свободы, личного достоинства, справедливости, которых личность требует наряду с другими как необходимого условия для своего утверждения).

Маркс считал, что передовые силы агонирующего буржуазного общества в индивидуальном порядке перейдут на сторону коммунизма, когда настанет время решающих сражений. Господин Рамон Фернандес, принимая недавно, вслед за Андре Жидом, Пьера Юника, от имени необходимости в шутку напомнил об этом пророчестве, сведя тем самым до элементарного экономического следствия то, что могло предстать как блестящее индивидуальное обращение. Для нас не составляет никакого труда согласиться с тем, что эти неопиты, если судить по их намерениям и великодушию, относятся к лучшим людям. Но мы вынуждены вместе с тем отметить, что (и в этом, как я полагаю, я не противоречу Марксу) они принадлежат к числу тех, кто внутри буржуазной идеологии занимал наиболее шаткие позиции. Быть может, именно это обстоятельство объяснит нам их эволюцию, которая на первый взгляд кажется обескураживающей.

слова, вышедшие из-под пера ныне раскаявшегося Дандё ("Преданная революция", *Ordre nouveau*, № 3): "В основе цезаризма заложено мошенничество: единство родины в опасности, вся одеревенелая военная администрация становится на службу диктатуре; голосование, которое должно помогать народу контролировать деятельность своих избранных, превращается в плебисцит, служащий самой надежной опорой для тирана-демагога. Одним словом, государство из служителя превращается в монарха, ибо диктатуру создает не столько диктатор, сколько аппарат, который он всегда использует по назначению и, главным образом, в целях контрреволюции". Между этими двумя убеждениями необходимо сделать выбор!

Сделали ли вы такой выбор, друзья мои? Едва появилось ваше письмо, как "*Фигаро*", "*Тан*", одним словом, салонная газета и газета торговцев оружием, засыпали вас восхвалениями, на которые во времена вашей прекрасной нищеты ни консервативная пресса, ни независимая молодежь не были столь щедры. Один из вас считает, что ему следует опубликовать революционное произведение в еженедельном журнале, который до сих пор публиковал работы избранных академиков, и получает разрешение на такую публикацию (какая осмотрительность!) от директора г. Тардье, известного специалиста в области прогрессивной христианской морали (как говорил Пеги, теологи постоянно на своих местах!). Чувствуете ли вы, какая угроза нависла над вашей честностью? Разве вы не знаете, что для вас уже приготовлены деньги, если вы соблагovolите стать на сторону не слишком жестокой и достаточно аристократической революции? Я знаю, что ни по совести, ни по доброй воле вы не склонны продавать себя. Но дифирамбы в ваш адрес говорят сами за себя.

Дерзайте. Только от вас зависит, чтобы этот призыв не стал последним".

Уточним, что, поскольку здесь мы могли допустить ошибку, эти строки ни в коей мере не ставили целью задеть честь наших товарищей. Что же касается фундаментальных расхождений с ними, то об этом см. первое приложение.

В другом месте мы достаточно много говорили о подлинных духовных ценностях, на которые опирается строительство коммунизма, и вполне определенно критиковали все нелепости пристрастной прессы, поэтому нас вряд ли можно обвинять в излишнем попустительстве. В начале нашего исследования мы хотим также подчеркнуть, что, если побудительные мотивы того или иного учения вызывают наши глубокие симпатии, это вовсе не означает, что мы полностью принимаем само это учение. Когда г. Фернандес провозглашает, что сегодня первой проблемой должна быть проблема нищеты, когда он пишет, что "интеллигент нуждается в рабочем классе для того, чтобы в полной мере познать самого себя", и что "рабочий нуждается в интеллигенте, чтобы постичь самого себя, что между тем и другим существует отношение строгой взаимности", он может не сомневаться, что мы полностью согласны с ним. Все, что следует далее, оказалось бы неверным, если бы мы не начали с подчеркивания этого согласия. Чтобы внести окончательную ясность, мы также заранее даем клятву на верность нищете, заверяя, что мы никогда не станем на сторону ее противников, т. е. в ряды защитников мира денег, даже если бы они написали на своих знаменах наши идеи, как они уже не раз пытались это сделать.

Но тут-то все и начинается. Пользуясь нашим добрым расположением, нас хотят вовлечь в борьбу, которую мы отвергаем как раз из-за своей верности высказанной выше позиции.

На первый взгляд, речь идет о явном, ощутимом противоречии, что, несомненно, впечатляет большое число людей.

Ваше дело, как вы сами утверждаете, говорят нам, заявляя о вере в нашу искренность, — это в первую очередь материальная и духовная нищета, и в особенности нищета пролетариата, потому что ныне она представляет собой кровоточащую рану на теле всего мира. Между тем, и здесь я цитирую г. Фернандеса¹, который только выявляет постулат, неявно присутствующий во всех спорах: "как бы то ни было, а марксизм стал единственным оплотом для угнетенных", так что "всякая критика марксизма автоматически оборачивается аргументом в пользу "правых". Это "как бы то ни было" явилось последней и совсем уж платонической уступкой этого интеллигента собственному внутреннему сопротивлению. Другими словами, коммунизм отождествляется то с исторической необходимостью, то с социальной истиной, то с надеждами народных масс в зависимости от того, что этим хотят сказать. Быть может, без излишней церемонности можно было бы утверждать, что при нынешней расстановке сил коммунизм фактически единственный, кто способен эффективно вести борьбу. Однако либо в силу догматизма, либо по тактическим причинам могут не считать всех тех, кто не разделяет этого догматизма или этой тактики, подлинными и действительными борцами против нищеты.

Для многих такое обвинение мучительно. Мы намеренно избегали говорить о снобизме, который сегодня вполне может паразитировать на

¹ Lettre ouverte à André Gide / Nouvelle Revue française, 1 avril 1934.

самых серьезных человеческих проблемах. Нам глубоко отвратительно, когда вопросы о смерти и нищете стремятся окутать дымовой завесой или утопить, прибегая к интеллигентскому умничанью. Но не всегда снобизм приводит к подобному результату. Сегодня есть такие люди, для которых борьба против нищеты является настоящим духовным требованием, и они начинают сомневаться в собственных намерениях и искренности, когда те, кто является в некотором роде официальными представителями нищеты, обвиняют их в предательстве; вот почему порой непосредственное обращение к идеологии или использование тактических ходов имеют свой глубокий смысл.

Именно в такие моменты необходимо обладать интеллектуальным и духовным хладнокровием, чтобы лучше видеть все вокруг и уметь разбираться в том, что происходит, когда в игру вступают благородные намерения.

И не только это. Следует стремиться к осознанию реальных перспектив исторического развития и их значения, чего сегодня, как правило, недостает всем нам. В марксизме есть много того, что необходимо взять на вооружение. Однако существует два марксизма, один — представляющий собой плодотворный метод исследования проблем совокупного положения человека, и его некоторые идеи созвучны самым глубоким прозрениям Паскаля и христианства; существует также марксизм, являющийся тоталитарной философией, превращающий всякую духовную деятельность в отражение экономических обстоятельств, недооценивающий или отрицающий таинство человеческого бытия; он знает только одну его сторону, ту, что непосредственно связана с материальной жизнью, со средствами существования и сугубо механическими отношениями, которые, вместо того чтобы служить формированию личности, постоянно угрожают ей. Это исторически преходящий коммунизм, нам известны все его сильные стороны, мы понимаем, куда он зовет, с радостью отмечаем все его подлинные достижения. И тем не менее мы вынуждены констатировать, что во всемирной истории и истории самого коммунизма он представляет собой некое отклонение — подверженную тысячам личных, тактических, теоретических влияний диктатуру одной партии, в свою очередь стоящую особняком и внутри великой социалистической традиции. Когда Троцкий оказался за пределами России, когда такие значимые фигуры, как Виктор Серж, Марсель Мартине, отлучаются находящейся у власти фракцией от лагеря подобных приверженцев нищеты, сама история и требования гуманизма вынуждают нас не доверять сегодня духовное богатство человечества этому партийному лагерю. Надо, чтобы этот коммунизм осознал всю опасность собственной затеи, в которую он вовлекает человека, и понял, что на своем пути он оставляет неиспользованной массу возможностей (сошлемся, для примера, на христианство с его мощными ресурсами, учение Прудона и ценности анархизма, революционное профсоюзное движение, корпоративизм и многое другое). Ныне открытое провозглашение себя революционером уже не представляет акта мужества, если не считать некоторые исключительные случаи. Одним из них, и на это мало обращают внимание, является противостояние тенденциям конформизма или сентиментализма, влекущих на сторону социально исчерпавших себя форм рево-

люции. От кого же еще ждать такого мужества, как не от интеллектуалов, пекущихся о благе народа, мышление которых, надо полагать, подверглось в нашу эпоху соответствующей обработке.

Я хорошо знаю, что коммунизм будет вести свою игру более жестко, чем какой бы то ни было сентиментализм. У меня есть все основания предполагать, что я неизбежно окажусь вовлеченным в эту игру, что мне придется выбирать между моей приверженностью делу нищеты и формулировками коммунистической партии.

Может быть, речь идет об исторической необходимости? "*Существуют* два блока. *Надо* выбирать из того, что есть. Третьего не дано". Что, разве сам Маркс выбирал между буржуазным консерватизмом, порожденным контрреволюцией, и легковесным оптимизмом наследников 1789 года? Или он открыл третий путь? Ничто не требует такого решительного и героического вовлечения, как творчество. Да, выбор надо делать, и наш долг вовлеченных людей дает нам право повернуться спиной к существующим партиям лишь в том случае, если мы говорим "да" будущему и если мы, засучив рукава, беремся за дело. Но при таком условии мы избегаем дилеммы. — Пусть будет так. Ну а если столкновение блоков произойдет раньше, чем вызреет наше будущее? Разве это не один из тех моментов, "когда возникает необходимость определить позицию, чтобы спасти свою человеческую честь?" — Мы будем определять свою позицию непрерывно. А об остальном мы уже сказали. Одно несомненно: наш выбор никогда не станет выбором ради денег, ибо мир денег не может не быть злом, даже когда он провозглашает себя защитником добра. Что же касается его противников, то мы будем вместе с ними всякий раз, когда они будут представлять собою меньшее зло по сравнению с миром денег, даже если они будут незначительным образом удовлетворять нас; но само собою разумеется, что может существовать нечто худшее, чем нынешний строй, и если нам грозит такое, то уж пусть лучше делятся теперешние наши страдания и несправедливость, к которым мы остаемся безучастными или против которых протестуем, чем возлагать надежды на новые страдания и несправедливость, которые неотвратимо ждут нас в будущем. Когда это потребует (и если это потребует), народ, существующие партии, сами события укажут нам способ нашего действия.

Кто-то запротестует и скажет, что он присоединяется к коммунизму, хотя и в силу необходимости, но вполне сознательно. Что защищали мы, когда говорили о коммунистической диктатуре? Блага? Мы ими почти не обладаем и в большинстве случаев утверждаем, что другие обладают ими не на законных основаниях. Мы защищали необходимость для каждого человека, подчиненного материальной необходимости, самому строить свою судьбу и самостоятельно избирать линию свободного самопроявления, даже если при этом он идет вопреки мнению власти.

"Мы не утверждаем, — пишет г. Фернандес в работе "Союз во имя истины", излагая перед читателями причины своего сознательного выбора в пользу марксизма, — что в каком-нибудь мире, построенном на

основании кантовского учения или христианских ценностей, либерализм не смог бы осуществить всех своих чудесных обещаний. Мы утверждаем следующее: в реальном мире, в том, в каком мы живем сегодня, в реальных условиях труда и борьбы либерализм не только не осуществляет собственные намерения, но, напротив, своими лицемерными маневрами служит всем тем, кто является противником человеческого достоинства и человеческой свободы". Разве можно не согласиться с этим! Одной из наших постоянных задач является разоблачение иллюзии свободы, которая ныне господствует среди демократов, получает широкое отражение в прессе и в идеологических баталиях, имеет хождение в том самом обществе, где тайно царит тирания денег. Но было бы насмешкой обвинять духовную (а следовательно, и политическую) свободу за посядательства прегрешений, ответственной за которые является только экономическая свобода. Обуздать экономическую свободу — конечно, но целью этого обуздания должна быть духовная и политическая свобода (не будем пугаться тавтологий!): таким представляется нам магистральный путь гуманизма.

Мы говорили, что слабость некоторых интеллектуальных построений буржуазного мышления заставляла одних склоняться в сторону добродетельного коммунизма, других — в сторону жестокого фашизма. (Не таковы ли Моран, Бери, Ромен?) Обладая завидным интеллектуальным здоровьем, г. Фернадес сумел длительное время существовать, питаясь тощей похлебкой рационализма. Не от него ли наследует он известные слабости? Когда он марксистскому прагматизму, признающему действительность идеи, но не истины, противопоставляет в качестве противовеса "внутреннюю удовлетворенность, основанную на представлении", свободное мышление как "повод для личного восхищения и гордости"¹, то сразу же становится понятным, что он легко и с радостью расстается со столь малозначащими преимуществами. Но какое отношение имеет все это к хранимой всеми верности истине? В блистательном рассуждении Фернадес еще раз показывает, что "спиритуализм" частично восходит к буржуазному мышлению, а именно к рационалистическому идеализму, который вместе с таинством реальности отвергает и идею вовлечения в реальность. И все это для того, чтобы отвергнуть не только грехи мышления, но и мышление как таковое?

Именно этого можно опасаться, когда Фернадес извлекает идеологические следствия из своей новой позиции. Рабочий, говорит он, продвигается вперед по пути своего освобождения подобно тому, как мыслитель идет к истине. Он сокрушает своих внешних врагов точно так же, как философ одолевает всех тех, кто хотел бы "подчинить нас какому-нибудь трансцендентному принципу (Богу, нации), который стал бы законом мышления для самого мышления и который навязывал бы свои указания вдохновению". Как видно, еще не закончен подсчет жертвам нового дологического менталитета г. Брюнсвика, который на протяжении двадцати лет мешал большому числу серьезных умов мыслить

¹ Мы приносим извинение за цитирование еще не опубликованного материала: доказательство предназначалось слушателям в ходе дискуссии в "Союзе во имя истины" ("Union pour la vérité").

трансцендентность иначе, чем в качестве пространственного отношения и насилия над имманентностью, тогда как в действительности трансцендентность завершает и поддерживает имманентность. Когда через пару строк г. Фернандес говорит о "схожести интеллигента и рабочего" и поддерживает данную мысль, опасаясь, что это делается за счет включения тяжеловесных и заземленных идей этого последнего (прочь всех спекулянтов) в свободную игру мысли, над которой он еще вчера потешался (патрон — это трансцендентное начало двустороннего социального отношения и т. д. и т. п.). Для меня конечно же сегодня существуют люди, угнетаемые другими людьми, и идеи, угнетаемые другими идеями. Но поостережемся такого строя, который будет подчинять людей одновременно людям и идеям, ибо, следуя марксизму, можно с полным основанием утверждать, что новая идеология в этом пункте соответствует глубинным интересам, а следовательно, и глубинным мыслям пролетариата, что она является собственным выражением его свободы; но для нас она остается идеологией одной партии и одной системы, а следовательно, не может стать внутренним достоянием тех, кто ее отвергает, поддерживаться теми, кто ей подчиняется не иначе, как вследствие конформизма, который под видом добровольного согласия представляет собою самую опасную "трансцендентность" и самую жестокую тиранию. В целом я очень боюсь, как бы "царство свободы" в марксистском самодовлеющем обществе, когда все люди будут подогнаны под образец государственной доктрины, не стало повторением "лицемерного извращения" капиталистической свободы и как бы коммунизм г. Фернандеса не стал похожим на его рационализм, как похожи друг на друга родные братья¹.

Быть может, мне не трудно было бы показать такую связь. Но как это обычно бывает, вопрос заключается в другом: речь идет о том, чтобы установить, имеем ли мы в результате изменения действительно нечто новое, или перед нами то же, что было, слегка изменившее свой внешний вид. Еще более опасно предполагать, что коммунизм как идеология весьма близок буржуазному рационализму.

Остается рассмотреть последнюю претензию коммунизма, не имеющую отношения ни к необходимости, ни к осуждению, а только к тактическим задачам. "Как бы там ни было", а коммунизм на сегодняшний день — единственный, кто способен, если иметь в виду революционный потенциал, довести до конца антикапиталистическую революцию. Следовательно, вы обязаны помогать ему, если хотите не только рассуждать, но и действовать. Когда речь идет о деле, неважно, какими средствами оно будет осуществляться.

Но в том-то и дело, что это важно. Один крайне левый писатель, в равной мере бесстрашный и тогда, когда работает за письменным столом, и тогда, когда выступает с трибуны, недавно сказал мне: "Главное сейчас — это не просто действовать, а осуществлять подлинные действия". В противном случае мы будем иметь плачевные результаты.

¹ Известно, что с того времени этот коммунизм показал себя (или выявил) весьма инакомыслящим. См., в частности: "Mise au point" / *Esprit*, juillet 1934.

Не только средства не существуют отдельно от цели, но и действия по их реализации не существуют отдельно от ситуаций, которые они сами создают. Вот почему достойна всякого осуждения мысль о том, что тактика, понятая как достижение результата любой ценой, может использовать любые средства. Тактика должна выбирать средства, и она может пренебрегать жесткими требованиями логики, потому что чутко реагирует на ход реальных событий; однако управлять духовным она может только в той мере, в какой сама подчиняется ему.

Сейчас мы отказываемся обсуждать данную проблему. Это было бы отступлением перед лицом подлинных трудностей, возможностью уклониться от активного действия с помощью приобретения партийного билета, предательством человека, одним из "тех наиболее горьких из всех бесчестий", согласиться с которыми г. Фернандес отказывается. Впрочем, людям действия надлежало бы просветить нас относительно этой динамики, которая по меньшей мере во Франции имела своим результатом появление руководителей, напичканных ортодоксальными формулировками... Но это совсем другая история, та самая, что удерживает резерв новобранцев от активного действия.

Мы лишь обрисовали в общих чертах одну из наиболее серьезных практических проблем нашего времени. Мы не боимся показаться излишне строгими в своих суждениях; напротив, мы могли бы упрекнуть себя за то, что они могут показаться расплывчатыми и несправедливыми по отношению к движению, о котором мы вели речь, и которое является первым движением, порвавшим (хотя и не в полной мере и дьявольским способом) с миром денег. Нас очень огорчило бы, если бы мы хоть одним словом доставили удовольствие кому-нибудь из тех, кто в такого рода рассуждениях ищет только оправдание своему корыстному противостоянию коммунизму, а в более общем плане — всякому потрясению, угрожающему их инертности и алчности.

Наша позиция, если она правильно понята, должна быть наиболее опасной для ортодоксального коммуниста. Она лишает его возможности вести бездумные дебаты и по привычке использовать глубокие марксистские идеи для прикрытия своих корыстных целей. Дело, быть может, в том, что наша позиция в самом деле как нельзя лучше изобличает его. Мы стремимся показать, что любая маскировка корыстных интересов требует разоблачения и что в конечном счете только религиозные споры оказываются подлинными.

Май 1934 г.

3. Деньги и частная жизнь

Перед нашим взором — бескрайний горизонт и бездонное небо, а руки наши способны прикасаться только к ближайшим объектам, в которых, как в стоячем озере, отражается повседневная жизнь с ее приливами и отливами. Так и внутренняя жизнь, питаясь из божественных истоков и вдохновляясь историей далеких предков, продвигается

вперед, руководствуясь самыми простыми чувствами, которые, достигая нас, не теряют своего тепла, а, распространяясь, наполняются любовью ближних своих: это и есть частная жизнь, нечто вроде атмосферы, внешней оболочки, существующей вокруг внутренней жизни.

Частная жизнь — это не чистая природа, а некое равновесие между действительностью, надеждами, верой и поражением.

Не существует ценности, стоящей над личностью, как не существует жизненно важных забот вне внутренней жизни. Внутренняя жизнь личности — это ее стремление, опираясь на очевидности и деятельность своего обладающего сознанием внешнего Я, соединиться со своим глубинным призванием, с тем не поддающимся определению образом, который она имеет относительно себя самой и который должен служить мерой ее целостной жизни: подчеркнем, однако, что такое устремление — это не только аналитическая работа, но и творческая вовлеченность, руководимая и направляемая волей, которая, в свою очередь, является откликом на внутренний голос.

Такая личная жизнь не может быть обособленной. В своем сердце личность находит любовь; а не обретает ли личность саму себя только тогда, когда теряет себя в любви? Нам скажут: социальный инстинкт, солидарность? Ну нет, речь идет совсем о другом — о чуде, о сопричастности двух личностей. Только благодаря тому, что Я обнаруживает Ты и что вместе они образуют личностное Мы, превосходящее и Ты и Я, нам удастся выяснить, что такое социальная связь; ничто не способно подменить собой этот союз: ни число, ни договор, ни интересы. Два существа любят друг друга, и только благодаря этому глубинному отношению двух личностей создается одна, новая подлинная личность. А если их будет много, сотни тысяч? Они станут подлинным сообществом лишь в том случае, если каждая личность удвоится, если их всегда будет две. Сообщество — это новая личность, которая объединяет две личности посредством их собственных сердец. Это не некое множество. Подлинное сообщество не поддается исчислению. Не может быть иного компетентного взгляда на сообщество, кроме такого, который схватывает каждого его члена в его несводимом своеобразии, а совокупность — как слаженное единство. Общество лишь тогда является прочным, когда стремится к этому образцу. Людей не объединяют ни интересы (партии или профсоюзы, выдвигающие претенциозные требования), ни порывы, горячность, злоба или предрассудки (опять-таки партии, классы и борьба классов), ни то, что их поработает (мистика труда, даже освобожденного, ибо труд можно освободить от всего, кроме него самого). Их можно объединить только посредством их внутренних жизней, которые сами развиваются в направлении к сообществу.

Подобно человеку, имеющему тело, которое отягощает его внутреннюю жизнь (все то, что он не преобразовал посредством своего личного призвания), человеческие сообщества обладают телами, имеющими ничуть не меньшую принудительную силу: это все то, что им не удалось связать личностной любовью. Тогда они по возможности сколачиваются в блоки. Мы уже говорили о механическом соединении внешних черт, образующем массы, будь то массы людей вообще, массы соотечествен-

ников, гуманистов, националистов; в основе их лежат инстинктивные силы, едва подающие признаки жизни, единообразно проявляющие себя, и чем больше их, тем они неуязвимее. Мы также говорили о жизненных обществах, в которых связь является более органической, более осознанной, более чувственной: семья как крепость, профсоюзы, нации; но объединение не является здесь результатом выбора сердец, оно всегда зависит от алчности, агрессивности его членов. Наконец, мы говорили об обществах, возникающих на основе подписанных или подразумеваемых договоров, основанных, как известно, на разуме людей (анонимные компании, финансовые объединения, трудовые соглашения, союзы банков и т. п.).

Частная жизнь поддерживается только внутренней жизнью. Но она уже является социальной жизнью, обратной стороной того, чем каждый из нас располагает, будучи включенным в общественную жизнь. В противоположность внутренней и коллективной жизни она чем-то похожа на тот сложный узел, в котором пересекаются все сосуды, питающие ствол и корни дерева.

Она получает свое дыхание от двух взаимосвязанных полюсов духа: личной жизни и общности, основанной на любви. Чем ближе она к своей душе, тем она сильнее и прекраснее. Она распространяет свое влияние и на тела, которые отдают ей свое тепло. Это следует уже из самого определения, ибо чисто духовные личности не ограничивают свою любовь каким-нибудь одним благом, они в своем естественном движении доходят до всего сообщества, они не испытывают потребности в "частной жизни", или, скорее, именно совокупность личностей становится для них частной жизнью; благодаря каждой отдельной личности взаимобмен внутри совокупности личностей будет всеобъемлющим, хотя и не вполне осозанным, таким, каким он осуществляется между любящими людьми. Тот, кто слишком близко подходит к Богу, уже не имеет ни отца, ни матери.

В противоположность этому, частная жизнь все свои пороки получает от плоти индивидов и обществ; индивиды передают ей свою алчность, пристрастия, ненависть, они превращают ее в крепость и сами замыкаются в ней; общества спускают в нее свои сточные воды и превращают в замкнутое пространство, насильно поддерживаемое частными интересами или безразличием. Чем сильнее закупорено это пространство, тем сильнее оно душит частную жизнь, а через нее и в ней оно душит и внутреннюю жизнь.

Именно здесь в игру вступают деньги. Они лишают человека человечности и заражают его эгоизмом. Они лишают сообщество человеческих отношений и подчиняют его автоматически действующим анонимным силам, которые завладевают правительствами, отчислениями, семьями, любовью, подавляют желания, удушают протесты. Частная жизнь оказывается между молотом и наковальней! Но зло идет глубже, лишая частную жизнь условий существования; деньги пронизывают самое ее сердце, внедряя в него новые человеческие отношения, слепленные по их собственным меркам.

Таких отношений великое множество. Деньги на все налагают свой отпечаток, идя иногда окольными путями: и даже мы сами, те, кто объединяется ныне, чтобы выразить им свою ненависть, невольно оказываемся под их воздействием. Однако у денег есть свои излюбленные типы, и среди них наиболее известные: богач, мелкий буржуа, нищий.

Если исходить из весьма ограниченной шкалы ценностей, то богачи — это вовсе не то небольшое число людей, у которых, как известно, много денег. Психологическая граница между богатством и бедностью начинается вместе с так называемой обеспеченностью, то есть в тот момент, когда беззаботность в пользовании деньгами становится обычным правилом, когда нет необходимости каждый раз оглядываться, задумываться, вести подсчеты перед каждой их тратой, когда знаешь, что можешь не ограничивать свои желания, не сдерживать свои фантазии, что не должен ни перед кем отчитываться и думать о завтрашнем дне. Нетрудно заметить, где начинается бесчеловечность. Человек создан для того, чтобы вести непосредственную борьбу с силами или личностями. Существование и сопротивление; усилие и завоевание; а в результате успеха или неудачи — накопление опыта, но рано или поздно между человеком и опытом вклиниваются деньги, а вместе с ними и беззаботность; вот этот рабочий, эта женщина, этот дипломат, этот депутат, все эти гении ума и средоточия хитрости — стоит ли нападать на них в лоб? Да нет же, достаточно чека, и они твои, и все жизненные проблемы решены. Но кто-то из них сопротивляется, кто-то качает свои права. Увеличь сумму чека, и половина из них покорится и будет благословлять тебя. Случается, что ты сталкиваешься с духовными ценностями и они интересны тебе. Еще чеки, и ты сумеешь навязать свою моду художникам, приручить писателей и сделать их своими придворными; что же касается наук, то ты справишься и с ними, чтобы извлекать из них прибыль.

Богач — это человек, которому ничто не способно оказать сопротивления. Он обладает средствами достаточными, чтобы покорить весь мир. Он не знает, что такое бедность, которая подстерегает нас на каждом шагу, даже когда мы живем "в достатке", и которая может коснуться и его. Никаких затруднений (я имею в виду его частную жизнь, его же предприятие — совсем другое дело: многие мыслят себя богачами в своей частной жизни, а отнюдь не на своем заводе). Никаких контактов с другими людьми. Между богачом и другими людьми всегда стоят деньги, сглаживающие конфликты, искажающие слова и фальсифицирующие поступки. Время от времени происходит какое-нибудь событие, но и события покупаются: покупают здоровье, то есть болезнь и смерть, покупают дружбу и любовь, а вместе с ними и искренность; жизнь богача протекает в деланной атмосфере слащавости, сладострастия, без каких-либо катастроф, если не считать удары слепой судьбы.

Поэтому богач все больше и больше теряет способность узнавать другого. Хуже того, он полагает, будто владеет миром постольку, поскольку устраняет другого из своей жизни. Мы знаем, что его облик и сам стиль его жизни созданы рутинной силой, действующей с заносчивым самодовольством, со слащавой улыбкой и не испытывающей сомнений самоуверенностью; эта сила опирается на существующую

вовне материю, а отнюдь не на подлинное обладание, каковым является даропринижение. Само слово "богатство" свидетельствует об узурпации: оно маскирует не только самих богачей, но и мир, в котором они живут; это нивелирующее, непроницаемое богатство, это примитивные, плоские, подлые психологии, подлые в своих замыслах, подлые перед лицом жизни. На самом деле только бедность знает, что такое роскошь, потому что благодаря ей души обнажают себя перед лицом опыта и предстают друг перед другом в их собственной истинности.

Здесь и зарождается классовый дух. Где пребываешь, там и хорошо чувствуешь себя. Ну и оставайся среди людей, чувствующих себя хорошо, могущих без всякого стеснения обмениваться счастливыми улыбками! С нищетой — ничего общего, она просто игнорируется. Нищета — кварталы, куда не проложены трамвайные рельсы и через которые тоскливо ехать, когда отправляешься за город, нищета забавляет, когда читаешь о ней в романах, именуемых популярными. О нищете полезно помнить, когда хочешь заполучить девицу, избегая скандала среди будущих невест. Нищета, наконец, нужна для того, чтобы найти дополнительных работников для своих машин, когда не имеешь ничего лучшего. Мелкого буржуа презирают, однако он живет на близком расстоянии от основных маршрутов. А с кем же соприкосновение вынужденно? — с поставщиком! Он, словно ртуть, он всегда при галстук. Решительно хорошо быть в своем кругу! Давайте поскорее возведем барьеры счастья вокруг нашего райского сада, сада богачей, так, чтобы все улицы принадлежали им и только они одни ими наслаждались, чтобы вся сельская местность преобразилась и стала рекламой железных дорог, созданных для радости. Уединимся. Будем славить труд, создающий богатства, и разум, создающий технику, но только нам, белоручкам, пусть достанутся командные посты. Чтобы никогда, слышите, никогда не сталкиваться с этой грязной, грубой, развратной, наглой и ничтожной нищетой, создадим себе свои собственные кварталы, собственную культуру, собственные дансинги, собственные церковные приходы, собственные мессы. Превратим все это в хитроумные лабиринты, чтобы даже самый ловкий с другой стороны не смог проникнуть в них (пусть довольствуются нашими улыбочками). Существуют положения и профессии, оклады и зарплаты, и не надо путать их, иначе что же станет с порядком и властью?

Власти (слава Доллару, как говорят роботы Хаксли) со всей бдительностью заботятся об авторитете. Богачи даже танцуют ради дела "Дома Стражей Мира". "Их присутствие, — читаем мы в "Журналь" от 21 июня 1933 года, — имело гораздо более глубокий (отнюдь не фривольный) смысл, который обычно связывают с развлечением, сколь бы целомудренным оно ни было: это трогательно великодушный смысл. Это — демонстрация социальной солидарности: *позитивная, наглядная дань уважения со стороны тех, кто обладает богатством, к тем, кто охраняет их.*

Впечатляющий, чудесный результат этого праздника заставляет усомниться в реальности кризиса".

Вот, оказывается, что на самом деле можно наблюдать в этом сезоне 1933 года, в котором, если верить разбитым горем душам, дела идут

совсем плохо! Это называется "Добродетельное сердце Парижа". Во всем мире существует тридцать миллионов разбитых горем душ, которые стоят в очереди за благотворительной похлебкой, пока богачи танцуют ради них; но, чтобы поставить подпись под этим исключительно глубокомысленным размышлением, нашлось только одно перо. Эта подпись четко прочитывается: мадам Марсель Жан-Шиап.

Находясь позади этого барьера из полиции и вежливости, который отделяет его от живого мира, богач знает лишь один тип человеческих отношений: престижность. Душа не в счет, лишь бы одежда и речи соответствовали кодексу престижности. Все низменные чувства привязаны к этой повозке. Для любви — две части: одна, которая покупается, и другая, которая опять-таки покупается; та, которая покупается для удовольствия и забвения, и та, которая покупается ради уважения, по социальным соображениям: брак, денежный перевод со счета на счет, супружеская честь. Для дружбы: административные советы, тресты, картели, а для интимности — сотоварищи по тайным оргиям. Для семьи: муж, жена и любовник (любовники), если в нем есть нужда (то же самое), в обратном порядке. Семейная честь. Для родины: Шнейдер в "Тан", Луи-Луи Дрейфус в "Энтран", никакой слезливой сентиментальности, надо блюсти священные интересы. Честь нации.

Вот что касается очковтирателя, циника и альфонса.

А еще есть добрый малый. Легкость, с какой все ему удается, потихоньку раздувает его изнутри. Ему даже нет нужды знать, что такое тревоги, борьба, распутство, он блаженно процветает, живя в комфорте. Он — это сама мораль счастья: подтверждением этому является его гибкая походка, спокойная уверенность его жестов. Он — это здоровье, здравый смысл, безопасность, устойчивость, чуточку чести, блистающее ничто... Нет-нет, никаких драм! Он — это наслаждение жизнью. Он — это сама безупречность!

Он живет, не зная ни слез, ни жалости, ни мыслей, ни любви. Он — это симпатичный бедняга. Профессор морали, обучающий наших детей.

В провинции есть также и богатый янсенист. Непоколебимая добродетель, будь то рабочий офис или соседний город. Каменная гордыня, не меньше. Занавески, задернутые на окнах семейств, занавески, задернутые на окнах сердец. А в центре — нотариус со своими четырьмя операциями, которые фиксируют четыре события в жизни: приданое к двадцати годам, наследство двадцать лет спустя, завешание в последнюю минуту жизни, а между ними — торги. Но этот перечень составлен все же чересчур наскоро, что не позволило остановиться на частностях.

Мелкий буржуа не обладает внешними признаками богача и его непринужденностью, но всю свою жизнь он стремится приобрести их. Его ценности — те же ценности богача, только рахитичные, болезненно искривленные завистью. Богач — это не только тот, у кого много денег. Богач — это и мелкий служащий, краснеющий из-за потрепанного костюма, стесняющийся улицы, на которой живет; он лучше отправится искать Золотое руно, чем согласится пересечь площадь с корзинкой

в руках. Богач — это машинистка, которая познала мир благодаря милостям патрона, продавщица, которая продает предметы роскоши и считает себя их частицей, пролетарий, который жадно впитывает откровения банковского служащего, молодой антимилицарист, который втайне мечтает стать младшим лейтенантом запаса.

Над всей частной жизнью богача господствует одна-единственная ценность: престижность. Над всей частной жизнью мелкого буржуа господствует одна-единственная ценность: продвижение, а это, собственно, то же самое. Не сам он, так его сын "должен подняться выше", чтобы "ему жилось легче, чем нам" (сколько любви порой вкладываете вы, родители, в такие высказывания, но речь идет не о вас, а о мелком буржуа или о словах, которые вы заимствуете у него, чтобы выразить свою любовь столь скверным образом). Надо добиваться. А чтобы добиваться, существует единственное средство: экономия. Это не экономия действительно бедных людей. Добиваться чего-либо для бедного человека не имеет никакого смысла; но ведь завтра пойдут дети, начнутся болезни, а от существующего строя нельзя ждать щедрости. Экономия бедняка — это те несколько бережно хранимых су, которые придется истратить в черный день. Нет, экономия мелкого буржуа — это экономия ради обогащения, которое даст возможность приобрести белый воротничок, затем виллу, машину, дом у моря, обеспечит внимание подлинных богачей и, наконец, вхождение в их среду. Вся его жизнь подчинена внутреннему давлению и связана с обожествлением труда, труда, который делает богатым. Тогда с утра до вечера — жадность и еще раз жадность, расчетливость, предусмотрительность, алчность. Никакой жалости, само собою разумеется: "они" сами должны выпутываться на свой страх и риск, "они" сами должны работать, как мы. И никакой фантазии, того самого движения, которое в одно прекрасное утро рождается вместе с радостью в сердце, хорошо знакомой беднякам, и которое при всей своей безотчетности несет с собой красоту, в свою очередь оборачивающуюся добротой. А может ли в этой среде родиться ребенок с ясными глазами и чистыми порывами? Его тут же просветят, ему внушат, что при любом повороте дела, когда красота без труда могла бы появиться благодаря незначительному упорядочению вещей, необходимо, чтобы над его мечтой царил уродство, ибо это необходимо для спасения разумности самого дела.

Когда-то существовал народ, который чувствовал течение времени, ощущал запах земли, любовался окрестностями, знал, что такое родство душ. В кармане у него не было ни гроша. Но он смотрел на людей, на свое ремесло, на события, которые происходили (не на различные факты, а именно на события), на события *его собственные* и на события *других людей*. Он не знал, что творится в мире, он ни на мгновение не покидал окрестностей своего города (или деревни); это был мир маленьких людей, если судить по их состоянию, по размерам занимаемой земли, по знаниям, которыми они обладали. Но этот мир обладал одной общей душой, душой народа, а благодаря этому чаще всего и душой своей религии. С папой римским его связывало что-то более значительное, чем то, что ныне связывает с ним его потомков, хотя из газет они знают

каждое его слово. Его дни по этой причине походили на распятие, на них оттуда шел луч света, у них хватало места, чтобы возводить соборы.

Мелкий буржуа уже не вступает в контакт ни с чем. Ни с крупными предприятиями, как это делает богач. Ни с крупными бедами, как это происходит с нищим. Кусок тротуара, собственная лавочка, касса в лавочке и — мечтай себе, сидя за кассой. Газета? Но газета — это не мир, это кресло, переваривание пищи, сплетни. Добавьте к этому унылое безразличие, царящее дома, досаду, возникающую из зависти и разъедающую замшелое сердце, горестную пустоту проведенных без дела часов, мир, лишенный красок, любви, общения.

В этом месяце рост цен составил 10%.

Нищий — это именно тот, кто очень беден, кто в своей бедности стоит ниже порога бедности, не имея хлеба насущного. Однако он еще соприкасается с миром денег, хотя, казалось бы, целиком избавлен от них. Не только потому, что царство денег превратило его в класс, в свой побочный продукт, но и потому, что он оказался настолько отверженным и свыкшимся со своей отверженностью, что покорно смиряется с собственной участью. Он снимает свою кепчонку при виде богача, готов пойти на всякие унижения ради куска хлеба, он вступает в его легионы, дабы получить рубашку — черную ли, коричневую, — какая ему разница. Он усмиряет себя, но это не христианское смирение перед лицом преображения, оно — покорность перед лицом несправедливости.

Мы говорим не о том, что и так хорошо известно: семья, существованию которой угрожают безработица, лишения, грубость нравов и грубость самой жизни, подавление любых чувств (потому что если не продать то время, что отведено для проявления чувств, не будет хлеба). Теоретически это знают все. Читали в романах. Недостает только собственного опыта. Мы полагаем, что, призывая к присутствию, а не к анализу социальных проблем, мы сумеем многое сделать для тех, кто живет еще замкнутой жизнью. Нижеследующее письмо было доставлено одному из нас мальчиком из команды скаутов. Оно глубоко тронуло его. Он попросил совета. Все имена изменены: таким образом, оно не принадлежит никому, оно является анонимным документом эпохи.

”Люсьен!

Пасылаю тебе несколько слов я уезжаю со своим мужиком на 4 дня я еду в Х. я сабираюсь абьяснить тебе кое-что Мой мужик из Парижа приехал павидать миня и как ты наверняка падумал я вирнулаь с ним, поэтому теперь я была вынуждена ему сказать што я была за мужем за тобой к счастью он махнул рукой, я придпачла бы сказать тебе, што он меня здорово выдрал но в конце концов это тибя не касается, но хочу спросить тебя, не будишь ли ты таким любезным прислать мне три моих фото как можно скарее, так как мой мужик сказал мне што если они не будут дома когда мы вернемся с каникул то он поедит в У., найдет тебя Люсьен в твоих интиресах атправить мне их так как он знает одново человека а не... как на морской службе кагда говорят что бы кавото поиметь а теперь маленький советик скажи своей крали..., што если она не заткнет сваю бальшую глотку, я заткну ее сама, я вместе с ней не лежала в постели но между

шлюхами нету дублеров — знаю, што то другое ибо к счастью для миня у миня есть друзья в У... в аждании палучения маих фото я канчаю, жалая тебе быстро выздавления.

Зетта

я уежжаю в 5 тридцать видишь ли ка дню рождения я палучила красивые часы с браслетом

Так вот люсьен понят пра твою шлюху и ты пришлешь мне фото с разу же в 3., потому што мой мужик хочет штобы я аставалась тама до актября месяца, ты видишь я канчаю, потому што он щитает, што я очень много пишу даже совсем многа, так я оставляю тебя а фото с разу что бы они были тута он только што сказал мине плевать, что я первая паплачу, а потом ты мне плевать, но рас я не хочу, чтобы от маего мужика тебе было плоха потому што ты ничего не стоишь рас у тебя нет 50 сантимов на марку, пашли так дамой, так как у миня есть ишо 1 франк отложеный на случай что бы заплатить за марку”¹.

Итак, теперь у нас есть добрый богатей, буржуазия, этот очаг самопожертвования, и бедняк. Я никого не забыл. Добрый богатей читает эти строки и отрекается от своего класса: пусть бы у него хватило мужества пойти до конца. Скромная буржуазия еще сохраняет жалкие остатки самопожертвования и героизма, она не принадлежит или почти не принадлежит к миру денег, но присмотритесь внимательнее к ее кротости, к ее чуть сникшей святости, энергии, отваге, когда она уютно расположилась у домашних очагов. Кто скажет о викторианском доме, что в нем царит: действующие на нервы очарование и нежность или вопиющая бесчеловечность? Бедняк, у которого ничего нет, хотя он владеет неисчислимыми богатствами жизни и не желает владеть ничем иным.

Но и все те, кто, казалось бы, избавлен от этого, полностью не находятся вне царства денег. Надо поговорить и о них. Разоблачая господство денег, мы, быть может, потревожим кое-кого из этих честных людей. Но почему же они раньше не спохватились? Завтра они уже не смогут думать, действовать, взирать на мир и на свою собственную жизнь со спокойной совестью, как это было с ними до сих пор. Следовательно, что-то наложило свою печать на любовь, дружбу, семейные отношения. Что-то изменилось в самом распорядке дня, и они вдруг почувствовали себя свободными, и их любовь сразу же приобрела второе дыхание: ложь.

Попробуем понять друг друга. Все претендуют на искренность. Невозмутимый в своем спокойствии богач считает, что защищает порядок и цивилизацию. Если же он еще и ”милосерден” и ”добродетелен”, как и вся наша добрая старая буржуазия, он не в состоянии понять наших проклятий. Простой человек верит в экономию и в добродетель трудовой карьеры. Он полагает, что деньги хороши, поскольку они вознаграждают трудолюбивых и не даются лентяям. Он не любит, чтобы ему докучали. Кто еще, кроме драчливых и корыстных людей, станет кричать о растущем зле в этом респектабельном мире, где есть власти, созданные для того, чтобы управлять, правосудие, чтобы вершить суд, пресса, чтобы давать информацию, полиция, чтобы защищать,

¹ Орфография письма сохранена в соответствии с оригиналом. — *Ред.*

и нации, чтобы процветать? Невидимой осью, вокруг которой строится политика его страны, может быть политика коксующихся углей, посредством множества промежуточных влияний, как будет видно из дальнейшего, все его действия оказываются без его ведома включенными в двусмысленные поступки, которые как его, так и любого француза превращают в бессознательного акционера г. Шнейдера; быть может, завтра торговцы храмом потребуют от него, чтобы он отдал свою жизнь для храма, а он все продолжает двигаться вслепую, над ним витает ложь, и все силы политического красноречия забываются о том, чтобы она не иссякала. Существует сотня людей, намеренно нанимающих за плату фабрикантов лжи, псевдодокторов и сторожевых псов, которые быстро включаются в игру и гавкают уже по привычке, как старые дворняги. Эти люди действуют сознательно, греша против Духа Святого. И вот повсюду среди искренних людей разливается тепленькая усыпляющая водица лжи. Это надо получше понять. Они сами не лгут, просто они пронизаны ложью. Они есть сама ложь. Водичка проходит через них и выливается у них изо рта. Сами бы они были возмущены этим. Сказанное нами как раз и вызывает у них возмущение. Но что тут поделаешь? Они окружены обманом, утоплены во лжи; социальная истина, согласие в обществе сотканы из этого обмана. Вы просто так идете по улице, а она, эта ложь, лежит повсюду — на одежде и лицах встречаемых людей, на домах; она идет как разменная монета у каждого прилавка в уличных лавочках. Вам надо бы разорвать все сковывающие вас цепи, изменить вашу улыбку, даже вашу походку. Вы, конечно, выделяетесь среди всех этих людей, у вас есть свой образ. Вы честны, добродетельны, но они ждут от вас сверх этого хороших манер, умильной снисходительности, уважения к установленным приоритетам, правильных суждений об эпохе, короче, всех качеств респектабельного человека. Если вы больше не хотите служить лжи, вам придется изменить свой собственный образ, свои интересы, связи, друзей, расстаться со спокойствием, словом, отказаться от самого себя. Вам придется отказать в доверии миру, который столь ловко устроен, что создает впечатление нормального мира. А это значит, что вам придется отказать в доверии любому из нормальных людей, которых вы встретите нынче утром, любому из нормальных предложений, которые они вам сделают, любой из нормальных улыбок, с которой они воспримут ваши первые протесты. Сумели ли вы оценить все то, что вам предстоит сделать? Осмелитесь ли вы, честные люди, уже завтра взяться за работу? А вы, революционеры, осмелитесь восстать против мифов?

Сентябрь 1933 г.

4. Дневник Эрнеста Нуарфализа, буржуа из Арденн, касательно предшествующих соображений

6 октября

Однажды произошло событие, которое как луч света озарило мою жизнь, этот огонь не гаснет, и 6-го числа каждого месяца я ощущаю его как Прекрасный день. Лучший из лучших.

Итак, в тот вечер я отправился в лес. В кармане — последний роман Гонкура. Мадам Нуарфализ без обиняков сделала мне замечание, что в ее время читали г. Анри Бордо, который не оттягивал карманы, подобно нынешним писателям. Я собирался было ответить ей, что, конечно, было бы лучше, если бы книжонка не оттягивала карманы... Но сегодня я счастлив и добр.

Добр?

Добр? — повторил я дважды про себя. Моя прогулка оказалась испорченной с самого начала из-за глупого беспокойства, которое овладело мною со вчерашнего дня. Какой-то парижанин, приехавший ко мне, чтобы подышать свежим воздухом, отдохнуть и забыть о войне, подсунил мне этот толстый журнал. Широкая желтая полоса: *"Деньги, нищета бедняка, нищета богача"**. "Вы можете оставить у себя этот номер. Для вас здесь нет никакого секрета. Вы сами увидите, это гигант", — и он засмеялся. (Никакого секрета? Что это значит? А почему он не дал мне предыдущий номер? Это надо выяснить.)

Под ногами шелестит опавшая листва, кругом много воды. Тонкие стволы буков с поредевшими листьями тянутся кверху, на них сидят птицы. По мере того как я удаляюсь от них, они превращаются в окутанные туманом колонны. На память приходит один мартовский день, когда рыжеватый свет, поднимавшийся с земли и проходивший сквозь переплетения ветвей, сливался с необычным блеклым дымчато-розовым светом, о котором трудно было сказать, то ли он сам по себе был таким, то ли получал его от огня, стлавшегося по земле. Осень более богата красками. И тем не менее в глубине леса она становится менее торжественной. Она у себя дома, одна, она уже не стремится приукрасить себя, она не так выразительна. Сегодня сырость полностью завладела лесом. Она распространилась повсюду, на все наложила свою печать, как это свойственно ей одной. Вымокшие стволы, словно воском покрыты листья. Резкий запах грибов и мокрой коры. Эта невидимая глазом вода просачивалась за воротник, забиралась в рукава, поднималась по ногам, пронизывала грудь. Настоящий ноябрьский день.

Я уже давно потерял дорогу. Когда я не видел верхушку хребта, то карабкался вверх, чтобы определить свое местоположение. Нищета бедняка, нищета богача — это то, что я читал вчера. Обрывки фраз вертелись в голове, как обычно ребятишки крутятся вокруг дурачка или пьяницы. В такие тревожные мгновения мысль облекается в какие-то детские формы. Нуарфализ — вор, ростовщик, лжец, завистник! Оскорбления летали вокруг моей доброй совести как кинжалы, и я бледнел при каждом их ударе. Эти слова, которые, я считал, относятся к другому, вдруг оказались брошенными мне в лицо. Дерзко. Несправедливо (но почему они мне кажутся скорее дерзкими, чем несправедливыми?).

Приходится трудиться, как никому другому. Покупаешь, продаешь, не обманывая, не обсчитывая. Богатство скапливается постепенно, честным путем. Стараешься, чтобы твои четыре сына пошли еще дальше. Стремись к какому-то достатку, а когда добиваешься его, так что же, это такое же счастье, как и у других! Где же зло? Где же соучастие во лжи? Как это так я соучаствую в господстве денег? И тем не менее

откуда эта тревога, овладевшая мной? Все нормальные люди! Все нормальные предложения! Все нормальные улыбки! А вдруг это правда? Надо будет написать Шардену, Блезё и Фромо.

10 октября

Шарден, он же рабочий-философ. Он познал нищету. Он ненавидит несправедливость беззлобно, но убежденно. Когда он был нищим, все хорошо понимал. Теперь же, когда приближается достаток, он стремится осмыслить свое новое положение. Вот почему мне он кажется хорошим доктором, способным излечить мои терзания. Вот его ответ:

"Карлейль далеко не согласен с этой "уткой". (Конечно, это довод.)

В чем она упрекает социальную, то есть буржуазную, систему, возникшую в начале XX века, если именно не в том, что она не обеспечивает трудовому человеку духовную стабильность и надежду на то, что он всегда будет иметь кусок хлеба? И не сожалеет ли она о феодально-монашеском строе, когда любой человек занимал в нем заранее определенное рабочее место, взамен чего его существование было защищено от невзгод и неуверенности?

Ваш буржуа — это не социальное, а метафизическое существо. Если рассматривать дело таким образом, то, быть может, все это правда, но трудящиеся люди не понимают этого. Буржуа, которого они знают, это человек, без конца удлинняющий их рабочий день и так же без конца стремящийся сократить заработную плату, это тот, на кого они вкалывают; одним словом, буржуа — это тот, кто может лишить их хлеба и крыши над головой. Пролетарии — это танцовщики на натянутой веревке: с одной стороны, спокойствие, уверенность, с другой — нищета, страдание. Вам когда-нибудь приходилось скользить по этой веревке, чтобы требовать от революционеров провести на ней всю жизнь? Люди становятся революционерами не потому, что им по душе эта трудная гимнастика, а потому, что однажды, испытав ее на себе, стремятся избавиться от нее других. Неуверенность — это червь, подтачивающий энергию, а не тонизирующее средство. Революционеры хотят избавиться от нее землю, как этого хотел Карлейль, как этого хотел Пеги, тот самый Пеги, который писал проникновенные, справедливые строки о нищете и о боязни впасть в нее; поэтому рабочих, которые трудятся в поте лица и стараются сэкономить средства для покупки виноградника, сада или дома, никогда не заставят поверить, что они тоже буржуа только потому, что они боятся нищеты и не хотят опять стать нищими после того, как долго валандались в ее грязи.

Вот почему "безопасность". Что же касается "продвижения наверх", то это совсем не обязательно "мелкобуржуазный порок". Все зависит от духовного содержания вдохновляющих их чувств. Неправедливость этих обобщений может вызвать вполне законный гнев. Я как-то говорил об этом с моей женой, она ответила мне: "Мне кажется, что в подобных обобщениях налицо недостаточная гибкость, что совсем не соответствует, на первый взгляд, добропорядочным намерениям". Я очень даже согласен с ней".

В той мере, в какой я жажду умиротворения, я готов согласиться с этим письмом. Но чем больше я задумываюсь над этим, тем больше

умиротворение оставляет меня. Пошлю-ка я это письмо Блезье, пусть он распутает этот клубок.

15 октября

Письмо от Блезье пришло сегодня утром с первой почтой. Стояла ясная холодная погода, когда я открыл почтальону выходящую во двор дверь. Это было письмо, которое следовало читать, шагая по дороге, а не сидя в теплой комнате. Вскоре придется повоевать с ним и с самим собой. И вот я пошел по широкому шоссе в сторону елок и, увидев через десяток шагов лес, разорвал конверт.

”Дорогой друг!

Я, конечно, был прав, когда говорил вам, что существует только один вопрос: сегодня вы обеспокоены тем, чем почему-то не обеспокоились раньше?

Разве я не предвидел реакции Шардена? Она является защитной реакцией, тогда как ваше беспокойство — это начало продвижения к истине. Но и то и другое связано с одними и теми же затруднениями.

Я полностью согласен с Шарденом, а также, говорю это со всей уверенностью, и с той статьей, которую вы мне прислали. В самом деле, я прочитал в этой статье, что нищий, то есть тот, ”кто стоит ниже черты бедности, кто не имеет хлеба насущного”, уже не знает, что такое человеческая жизнь. А бедняк, которого она защищает, это тот, ”у кого нет ничего, хотя он чем-то и обладает, и кто не желает ничего, кроме обладания неисчислимыми богатствами жизни”. Следовательно, он обладает и желает. Он обеспечен хлебом насущным. Ничто, если говорить о самом необходимом для жизни, не вынуждает его ходить по натянутой веревке. Мы согласны с тем, что первой революцией должно быть уничтожение самого пролетарского положения, то есть ликвидация нищеты и *жизненной* необеспеченности. Но статья, как мне кажется, идет гораздо дальше.

Ее автор хотел бы, чтобы люди были избавлены от того постоянного напряжения, которое испытывают даже имеющие скромный достаток, чтобы они были уверены в своем будущем, чтобы в их жизни было больше игры, фантазии и особенно достоинства. Речь идет об экономии, экономии бедняков, которая, с одной стороны, лишает их жизнь красоты, но, с другой стороны, и вносит в нее красоту, поскольку они живут, жертвуя собой и изо дня в день испытывая и укрепляя чувство преданности.

Экономия, которую мы осуждаем, это нечто совсем другое. Это экономия, основанная на недоверии и обогащении. Можно было бы добавить: ”экономия ради богатства”, ради комфорта и престижа и ненависть к щедротам и неожиданностям завтрашнего дня. В этой глупой погоне за прибылью весь ”мелкий буржуа”. ”Метафизическое существо”, — пишет вам Шарден. Надо бы лучше сказать: ”психологическое существо”, или ”существо духовное”.

Понять надо прежде всего следующее: буржуа — это определение не класса, а духа, этот дух уже поразил государственных деятелей и тяжелым бременем лег на народные массы. Пеги, о котором упоминает ваш

друг, написал про это довольно жесткие слова: "Деморализация буржуазного мира в экономической, индустриальной и других сферах, в организации труда и во всякой другой организации, распространяясь все дальше и дальше, поразила и рабочий мир, а стало быть, и все общество". Следовательно, для того, чтобы узнать, коснулось ли это кого-либо, совсем нет надобности проверять уровень его доходов, достаточно изучить его сознание.

Кто не заметил это в основе своей "метафизическое существо", называемое буржуа (утрата смысла бытия, любви, страдания, духа приключенчества и замена ценностей святости ценностями внешнего порядка), тот как раз и хотел определять его в рамках одного класса: патрон (социализм), лавочник (Флобер), обыватель (Монпарнас), человек — функционер (Куртелин) и т. п. ... Единственно здоровой позицией является установление того, каким является бытие буржуа, и отыскание его черт в любом из нас.

Обеспеченность, продвижение наверх — все зависит от духовного содержания этих устремлений, согласен. Но нужно опять-таки напомнить, что Евангелие не вводит никакой предостерегающей меры в притчу о полевой лилии* и что социальное состояние стоит на самом последнем месте в ряду духовных ценностей. Нередко говорят: чтобы быть добродетельным, необходим минимум обеспеченности. Допустим, что для огромного числа людей это в самом деле так. Однако нисколько не мешает тому, что тот, кто умеет смело смотреть в лицо необеспеченности, даже будь она постоянной, оказывается более великим. И надо сразу добавить (даже если это величие — удел очень немногих), что для добродетельной жизни, которая является началом святости, максимум обеспеченности должен располагаться на самой низкой отметке. Что касается продвижения наверх, то я, конечно, могу допускать, что оно является не чем иным, как стремлением завоевать более свободное положение, благодаря которому человек не будет постоянно думать о хлебе насущном и сможет предаваться мечтам и совершать деятельность в подлинно человеческом смысле: но сколько из тех, кто хочет "продвигаться наверх", руководствуются именно таким идеалом и продолжают придерживаться его, когда добиваются разного рода удобств? Разве для огромного большинства и почти для каждого из нас, Нуарфализ, "продвижение наверх" или помощь в этом "своим детям" не означает стремление завоевать определенный престиж или без конца наращивать свой доход? Первое устремление касается глубинного смысла духовной жизни, второе же... Впрочем, М., если мне не изменяет память, сделал такое различие в важном пассаже, взятом в скобки.

Гибкость, сказала супруга нашего друга. Не идет ли речь об изысканности мадам Шарден (с ней я как-то познакомился у вас), о которой в самом деле трудно сказать, гибкость или доброта являются ее самым важным качеством. Мне говорили, что она в течение десяти лет, то есть всю свою молодость, ухаживала за умирающим мужем. Вот как умеют женщины осуществлять на практике метафизику добродетели, не признаваясь в этом, даже если делают это сознательно. Гибкость без силы, — тогда г. Поль Жеральди, или на более низком уровне, — фарфор г. Шардонна? Гибкость и сила взаимосвязаны, они невозможны друг без

друга. Попробуйте определить первую, и вы вынуждены будете прибегнуть к помощи слов, характеризующих вторую, и наоборот. Тогда вы поймете, что негибкость, жестокость, преувеличение рождаются не в ходе политической борьбы, когда все рушится и об этом громко кричат, они свидетельствуют о нежной и внимательной душе. Мы становимся грубыми именно в снисходительности.

Видите ли, дорогой Нуарфализ, драма многих добрых душ — это драма кротости, а кротость нечто великое, снизошедшее с небес. Но Царство Небесное не от мира сего. Жизнь трагична: мы не видим в ней ничего, нет, почти ничего. Оливковый сад* — это Человек (Бог), который захотел передать нам все его плоды, а мы не хотим брать на себя ношу, захотел возлюбить сразу все то, что не находит любви в мире, потому что оно либо безобразно, либо приводит в замешательство, либо просто позабыто. Те, кто не любят, закрывают для себя мир. А те, кто полны любви, но любовь эта излишне деликатна, замыкаются в мире собственной любви. Однако такая любовь не имеет ничего общего с низменной потребностью в пресыщении и самоуспокоении; она жаждет нежной привязанности и безмятежности. Я, конечно, понимаю, что нельзя всю жизнь стоять на краю пропасти, сосредоточив в своем сердце все тревоги мира. Но надо разорвать этот заколдованный круг кротости.

Если, по крайней мере, не брать в расчет святость, то все здесь держится на волоске. Сначала испытывают чувство небытия по отношению к любой вещи и любому человеку. И этот страх жуткий — разве вы не испытываете страх в подобные моменты? — настолько мы привыкли к маленьким хижинам, стоящим в стороне от больших дорог, где царит оптимизм. Но только за их пределами познается подлинная кротость и подлинная радость, которые носят потрясающее имя "надежда": точно так же и истина является *ощутимой* и *непререкаемой* только тогда, когда она прошла через ад своего отрицания. По отношению к этой позиции, на сей раз тесно связанной с жизнью и смертью, где мы видим лишь крайние пределы — верх и низ, абсолютное "да" и непререкаемое "нет", — по отношению к этому великому пространству опыта то, что называют "непримиримостями" и "преувеличениями", является чем-то весьма несущественным. Тем не менее это и есть место сосредоточения нежности. Из этого видно, что человек всегда оказывается хуже, чем обычно считают; но из этого также (а надо бы сказать не "также", а "в то же время"), из той же самой истины вытекает, что он всегда лучше, чем о нем думают. Мы не правы (по отношению к людям или миру), проявляя снисходительность, но мы также не правы, впадая в отчаяние. Правильная позиция — это установление соотношения между крайней нищетой и величием или, по меньшей мере, между крайней нищетой и надеждой. ("Здесь всякий раз стоит возвращаться к Паскалю" — эти пламенные слова произнесите крайне осторожно, господина профессора!)

Вы убедитесь, друг мой, поскольку я упоминаю эти имена, что яansenисты и молинисты** живут не только на полках вашей библиотеки. Кто знает, не являются ли их споры весьма современными: философия тревоги, трактаты об отчаянии, с одной стороны, а с другой — ничем не примечательные пути мелкого буржуа. Я на стороне тех, кто стремится вырваться за пределы этих двух тенденций.

Один высокопоставленный чиновник писал мне недавно: "Когда молодость остается далеко позади, великое счастье видеть, как поднимаются молодые люди, тяготеющие к добру, с еще не угасшим пылом, который в тебе самом если и не угас совсем, то по меньшей мере превратился в нечто постыдное благодаря компромиссам, которым ты посвятил целое сорокалетие своей активной жизни. Я понимаю под "активной жизнью" как раз ту жизнь, против которой вы восстаете с такой смелостью, то есть жизнь честного человека, труженика, совестливого, серьезного и тем не менее устроившегося "внутри лжи", если следовать вашему прекрасному выводу".

Желаю вам всего наилучшего и заверяю вас в искренности моих слов.

Дени Блезё".

Я нахожусь еще под сильным впечатлением от этого письма. Мне стало все яснее. Во мне нарастает чувство уверенности, потому что я отверг спокойную жизнь.

16 октября

Фромо, практичный парень, который благодаря своему высокому положению в военной промышленности хорошо разбирается, когда речь идет о лжи, ответил мне простым перечнем фактов:

"Старик!

Да, надо бороться против огромной лжи, которая началась во времена Феликса Фора и которая сделала возможным то, что Франция оказалась в руках Крёзо*. Извини меня за то, что я сразу же перехожу к известным мне фактам, но они позволили мне для себя решить те проблемы, которые отравляют тебе жизнь. Следуй за мной.

Франции всегда недоставало коксующихся углей, а кокс необходим для выделки стали. Коксующийся уголь находится (и здесь, естественно, ничего не поделаешь!) в Англии, Польше, Вестфалии.

Лет тридцать назад Шнейдер вынужден был пойти на любые расходы, только бы получать кокс из России. Русский Альянс. Русский займ.

К 1910 году партия кронпринца начинает блефовать: мы можем получать кокс из любых углей, в частности из углей Саара. Французские инженеры в Сааре: им показывают кокс из Вестфалии, утверждая, что это саарский кокс. Они заглатывают наживку.

1911 год. Военные отставки. Пуанкаре. Трехгодичная служба в армии.

1914 год. Крёзо вынуждает Россию объявить войну. (Я только резюмирую.)

1917 год. Во Франции больше нет кокса. Польша потеряна. Поиски углей для стали в Бретани. Неудача.

1918 год. Крёзо соглашается на окончание войны.

1919 год. Аннексия Саара, но обман становится очевидным: кокса нет. Польша получила независимость. Военные долги.

1920—1933 годы. У всей Антанты, везде на Балканах, вся сталь поступает от Шнейдера (филиалы и шахты повсюду!).

Военные долги: ни одно французское правительство, даже если бы захотело, не могло бы оплатить их без Шнейдера. Француз, который обвиняет Шнейдера, тем самым снижает кредиты торгового дома "Франция". А правительство должно платить по своим долгам, в противном случае — кризис доверия, банкротство.

Хочешь ты или нет, но ты таким образом оказываешься акционером Шнейдера, и нет ничего невозможного в том, если завтра ты отдашь свою кровь для кого-нибудь из его международных собратьев".

17 октября

Я испробовал метод Блезё и Фромо в один из дней, который я только что провел в городе. Вот что это дало.

Путешествие в привычном для меня вагоне первого класса. Почему первого? В поезде были вагоны третьего класса, прекрасные новые скамейки, покрытые мягкой кожей, которые недавно ввели, во втором классе — старые вагоны, слишком теплое шерстяное покрытие по дереву. Скорость? Если бы я сел в скорый — да. Так что же? Исключительно потому, что мне нужно было выделиться, обозначить свою принадлежность к классу благородного грамотного крестьянства. Это верно.

Прочитал свою газету. Гитлер хочет войны. Надо укреплять Бельгию. Недобросовестность итальянцев. Теперь я знаю, кто расплачивается, но все же мое сердце протрубило сбор. Ложь овладела мной.

Сразу же по прибытии я отправился в банк для совершения трех операций:

получить ренту — соучастие в ростовщичестве;

порекомендовать своему доверенному банкиру подождать еще несколько дней, перед тем как продать бумаги, поскольку акции на резину растут, — соучастие в ростовщичестве;

купить билет национальной лотереи — соучастие в ростовщичестве.

И я замечаю, что моя значительность повышается. Но все же зачем меня полностью окунули в ложь? А эти монеты, которые они мне сдали: они стоят два су, а написано — десять франков. Разве у нас не преследуют фальшивомонетчиков, Рамю?

Спускаясь по парадной лестнице, я встретился с сенатором из С. Со мной было трое друзей, и то, как я приветствовал его, свидетельствовало о скрытой радости, которую доставила мне эта встреча в их присутствии. Престиж.

Тем не менее я немного застеснялся и, чтобы побыстрее унять свою совесть, дал крупную монету оборванцу на углу. Компенсирующее милосердие, призрак милосердия.

До завтрака мне оставалось слоняться около часа. В таких случаях лучше всего пойти на блошинный рынок: он — в двух шагах, бедный анклав в центре делового квартала. Удача: восхитительная подлинная Танагра*, женщина в легкой одежде.

"Сколько?" — "200 франков". Я не поверил ушам своим. Конечно, несчастный тип, который таким образом отделяется от своих воспоминаний. Старые инстинкты взыграли во мне: я еще поторговался при такой невероятной цене и забрал вещицу за 150 франков. И как только я повернулся на каблуках, улыбаясь своей удаче, внутренний голос прокричал мне — ростовщичество!

Я не посмел идти дальше. Я с удивлением поймал себя на том, что убегаю из этого печального квартала, потому что он беден, и только теперь я вдруг заметил, что такое город: бастионы богатства, куда завлекают посетителя, бастионы бедности, которые стараются скрыть, за исключением тех случаев, когда их рисуют с натуры.

С чувством глубокого стыда я возвращался из лесу. Нормальные люди. Нормальные предложения... Я начинаю все ясно понимать.

Октябрь 1933 г.

5. К вопросу о реабилитации художника и искусства¹

Вдохновение является непредсказуемым и беспричинным. Следовательно, нам не дано начертать его пути. Оно не требует особых условий и может довольствоваться тем, что есть. Поэтому мы не считаем, что, стоит лишь улучшить положение художников и искусства, и тут же появятся подлинные шедевры. Но ныне это положение является настолько безнадежным, что требуется очистительная работа. Верно, гений лучше справился бы со своей работой. Ну конечно же! Но для того ли мы живем, чтобы смотреть на небо в ожидании чудес или браться за выполнение только таких задач, которые нам по плечу? Ведь кто-то идет наперекор? Пусть так, но когда человеческое состояние поддерживается лишь ценой героических усилий и обеспечивается только для незаурядных личностей, то игра оказывается заранее проигранной.

Между тем как для пролетария, так и для художника современный мир создает самые невыносимые условия. Он видит и в безработном, и в художнике нечто вроде отбросов, в первом случае — отбросов, оставшихся после механической обработки тела, во втором случае — после механической обработки души. Слишком долго художник, со своей стороны, считал, что может вести двойную игру без противоречий и ущерба для себя: ставить свое искусство на службу миру денег и его кланов и в то же время претендовать на полную независимость, ссылаясь на официальную философию, которую предлагал ему этот мир; он считал, что независимость — это его неотчуждаемое право, которым он обладает, поскольку живет вдохновением, однако постепенно он утрачивал желание общаться с другими людьми.

Сейчас он начинает замечать нелепость своего положения: снобизм осыпал его золотом, из своего денежного мешка, сделал его ремесло престижным лишь для того, чтобы придать блеск своему богатству; однако в мире, помимо денег, есть и другие ценности. По мере того как мир денежного мешка все больше обеспечивал свою собственную власть и свой собственный престиж по отношению к традиционным человечес-

¹ Этот манифест, появившийся в "Эспри" в октябре 1934 г., получил продолжение в ряде предисловий к работам по литературе, архитектуре, музыке, кино, написанных Дени де Ружмоном, Эдмоном Юмо, Пьером Эме Тушаром, Жаном Лабаском, Луи Эмилем Галеем, Морисом Жобером, Валери Жайе. Около полусотни писателей, художников, артистов, директоров театров и т. д. выразили свое желание присоединиться к нему.

ким ценностям, его переставали интересовать повседневные дела, его тянуло к философии, размышляющей о жизни, в которой не оставалось ни малейшего места для художественного творчества и его развития.

Одновременно с этим капиталистические ценности, завоевывающие на свою сторону широкую публику, не предусматривали ни необходимые условия для художественной жизни, ни саму склонность человека к творчеству. Человек создан не для того, чтобы его использовали; он создан для Бога, то есть для такого начала, которое не подлежит использованию. Его участь и его хлеб насущный коренятся в изначальной потребности развивать свою внутреннюю жизнь в сообществе с другими людьми. Жить в мире искусства и мерить все мерой поэзии — такова одна из главнейших задач данной бескорыстной деятельности, что необходимо подчеркнуть в противовес как янсенизму, получившему широкое распространение особенно в некоторых религиозных кругах Франции, так и в противовес натиску утилитаризма. Всякий человек должен участвовать в этой деятельности, уделяя ей значительную часть своей жизни.

Но разве может он делать это сегодня? Экономическое угнетение заставляет большинство людей жить под гнетом забот о хлебе насущном и крыше над головой. Погоня за прибылью, лихорадочное стремление к обогащению не дают возможности думать о людях. Двойная тирания богатства и нищеты, и то и другое, вместе взятые, делают ненужными подлинные человеческие ценности. Нищий уже не думает о преобразовании своей души, своего мира, своей жизни; выскочка довольствуется чисто внешними декорациями, обманчивыми и легкодостижимыми. В то же время мы видим, как изо дня в день все улечучивается и улечучивается та самая свобода, которая необходима для бескорыстного созерцания универсума; исчезает и радость, необходимая для священной игры фантазии. Утилитаризм, схематизм, количественное измерение все больше и больше овладевают нашим сознанием, скрывая от нас красоты нашей повседневной жизни и окружающих нас вещей. Наконец, скупость и жестокость, царящие в мире, потрясенном конкурентной борьбой, способном обеспечить собственное единство лишь как однообразие механизмов угнетения, мало-помалу разрушили общие всем язык, верования, способности, без которых искусство, в сущности своей являющееся общественным, не способно самоутвердиться.

Следовательно, мир денег враждебен искусству в двояком отношении: он отвергает или делает бесплодным художника, он делает бесплодной теряющую к нему интерес публику. Тот, кто остается преданным независимому искусству, почти неизбежно обречен на нищету и одиночество.

Поэтому сегодня художник может быть только мятежником.

Некоторые поняли это и выхолостили из бунтарства все его отрицающие и очистительные возможности. Отдадим в этом отношении должное движению сюрреализма. Его оригинальность, несомненно, оказалась преувеличенной. И все же для послевоенных поколений он сыграл спасительную и в сущности духовную роль, которая периодически выпа-

дает на долю насильственного отрицания: выжечь каленым железом родимые пятна посредственности и конформизма, которые являются злейшими врагами как искусства, так и внутренней жизни человека. Мы бросаем сюрреализму упрек в том, что из-за нехватки дыхания и бескорыстия он не сумел выйти за рамки бунта и анархии, а его сторонникам, отдавшим свою душу Москве, — в том, что они поспешили отдать себя в новое рабство. Но этим мы и ограничиваем свою ссылку на него: с таким противником можно бороться, только соединяясь с ним и превосходя его; между тем проблемы, которые он поставил и которые также стоят перед нами, пока еще не нашли своего разрешения.

Есть и те, кто понял это и уже попытался внести организованность в этот бунт. Но они вытаскивают художника из общего болота порабощения только для того, чтобы погрузить его в другое. Они хотят заставить его, чье призвание состоит в абсолютной свободе по отношению к любой тирании и любым лозунгам, склонить голову не перед новым видением мира и его дисциплиной, а перед политическими формулировками и партийными символами. Стремясь одновременно отдать дань уважения и выдвинуть обвинение, мы выступили за создание *"Ассоциации революционных писателей и художников"* (АРПХ)^{1*}.

Было бы несправедливо недооценивать силы бунтарства и обновления, которые она смогла бы и частично уже сумела привлечь на свою сторону. Но для чего? Чтобы, пробудив их, тут же свести на нет, отдав в услужение новому конформизму? Мы тоже считаем, что художнику удастся спасти свое искусство лишь при условии, что он добровольно порвет с миром денег и его моралью. Но он должен до конца осознать, какие опустошения несет с собой этот мир. Пользуясь принуждением и навязывая свою моду, он сделал все, чтобы народные массы почувствовали себя чуждыми искусству, чтобы повсеместно внедрить мелкобуржуазные вкусы и поставить произведения искусства вне общества. Поэтому стремление уже сегодня, еще до восстановления подлинного сообщества, поставить искусство в зависимость от суждения масс значило бы подчинить его не тому, чем мы в них восхищаемся, а тому, что в них исходит от обуржуазившихся рефлексов. Или же, что еще более опасно, это значило бы подчинить их предвзятости, мелочности, а в конечном счете и пропаганде партий, которые присваивают себе право на представительство политических интересов этих масс и готовы использовать во что бы то ни стало даже то, что использовать в принципе невозможно.

Между тем если искусство и должно служить, то оно должно служить свободно, подобно тому человеку, который создает его по своему образу и подобию, ни на йоту не отклоняясь от собственных путей. Если же человек не умеет одновременно быть свободным и служить, то его надо научить этому, используя другие, отличные от искусства средства, и, если потребуется, заставить его принять условия, при которых все смогут обрести данную свободу. Это будет социально-политическая

¹ С тех пор как были написаны эти строки, "Ассоциация революционных писателей и художников", следуя указаниям из Москвы, в значительной мере отказалась от такого догматизма если не непосредственно в своей деятельности, то, по меньшей мере, в своих заявлениях. Но чего стоит эта беспартийная мудрость, если она слепо повинуется приказам, идущим от одной партии?

революция, в которой нуждается культура, чтобы вновь занять подобающее ей место в мире, вернувшем себе человечность. Хорошо, что художник осознает ее необходимость и работает на нее даже за пределами своего искусства. Соединяясь со страданием, негодованием и надеждами нынешних людей, он несомненно обретет силу, страстность и величие или, как следствие всего этого, мудрость, которую ему никогда не принесет салонное искусство или искусство лакеев. Своего рода варварство, возврат от умозрения к деятельности, от исключительного к обыденному, вторжение в самую ткань жизни, заменяющее размышления над тайной папирусов или восторженный энтузиазм, — все это также несомненные пути к спасению. Речь идет не о правилах, подлежащих усвоению и дальнейшей апробации, а о человеческих эмоциях, которые должны стать внутренним достоянием художника (даже если он станет сопротивляться этому). Они должны пронизывать все его искусство и выходить оттуда, свидетельствуя о его гениальности, отражая его обновленную душу; они должны стать нервом его искусства, вдохновлять и обновлять его свободу, а не маскировать ее с помощью сюжетов, броских фраз, необычных устремлений, которые дают художнику лишь иллюзию обновления, как это происходит с литургией без глубокого религиозного обращения.

Нельзя создавать искусство для пролетариата или для революции, как нельзя создавать его и для буржуазии. Искусство должно создаваться для человека, во имя него и его осуществления, идти дорогой подлинной внутренней свободы, вопреки всему тому, что поработает и унижает его. И если в какой-то момент истории невозможно быть человеком, не становясь революционером, не порывая с классом, который душит человека, не становясь на сторону нищеты (что с необходимостью не значит становиться на сторону партий нищеты), не ведя поиска глубинных ресурсов народной души там, где она еще остается незапятнанной, целомудренной, энергичной, полной неисчерпаемых богатств, которые она хранит в себе, тогда художник должен стремиться занять это более высокое по человеческим меркам положение и в любой момент должен быть достойным его. После этого пусть он отдается своему искусству свободно, и, достигший свободы без самоомнения, без принуждения, не испытывая чуждых влияний, он будет создавать подлинно человеческое искусство, потому что не пожелает, чтобы на него навешивались какие-либо ярлыки. Кажется, что сегодня художник обречен либо на раболепие по отношению к существующему строю, иногда еще плодотворное для него, либо на изоляцию и безоговорочную гибель, которые выпадают на долю независимого художника в этом обществе, либо на поработание, неприемлемое для свободы искусства, которое ему предлагают марксистские революционные ассоциации. Нам кажется, что пришло время защитить художников, восставших против угнетения человеческих и в особенности художественных ценностей и стремящихся самим своим возмущением отстаивать сущностную свободу творчества даже вопреки их навязчивым спасителям.

Таким образом, и в плане искусства мы вновь вынуждены вернуться к нашему общему принципу — одновременному восстановлению персональности и сообщества.

Тем, кто держится за вчерашний день, надо сказать: нет хрустальных дворцов, нет магов! А тем, кто смотрит в завтра: нет коллективного искусства, нет публики.

Есть только личности, которые создают произведения искусства благодаря свободному и в какой-то мере таинственному процессу. Есть личности, которые взирают на произведения искусства, внимают им, усваивают их посредством столь же личностного, но по-иному таинственного процесса (или же такие, кто не взирает, не внимает, не усваивает, и тогда ничто не остается личностным, таинственным; как раз именно такую за редкими исключениями публику сегодня предлагает художнику огромное большинство людей). Между художником и отдельным человеком каждый раз вершится чудо встречи, еще более таинственное и удивительное, чем слияние двух дорог. Необходимым условием осуществления этого чуда не только в исключительных случаях является то, чтобы внутренний мир художника и внутренний мир человека, к которому он взывает, не существовали как две вечно враждующие вселенные, а стремились бы друг к другу, следуя естественным склонностям, ища спонтанной гармонии, надеясь на отклик, что создает жизнь подлинного органического сообщества. Трудиться ради утверждения такого сообщества, борясь с эгоизмом и индивидуализмом, — значит трудиться во имя искусства. Трудиться для развития личности, выводить ее за пределы индивида, с его заскоружными инстинктами и убогими устремлениями, работать ради того, чтобы все бьющие ключом силы и чувства человека влились в художественное произведение, — значит трудиться во имя искусства. Пока художник будет отказываться от движения вперед, к единству собственного Я, которое может совершаться только добровольно, без какого-либо принуждения, требуя порой жертв; пока он не признает, что в мире существуют другие люди и что его спасение зависит от того, сумеет ли он найти неповторимые слова и свободно выразить их, восславляя вновь обретенное сообщество, упадок, против которого мы восстаем, будет набирать скорость.

В мире, где смешались беспорядок и тирания, где сами революционеры, взяв на вооружение системы, слишком часто забывают о необходимости изменять принципы, позиция, которую мы утверждаем, будет служить предметом нападков и справа и слева. Когда мы защищаем права личности, из того и из другого лагеря раздаются крики о либерализме и анархии. Как только мы взываем к формированию сообщества, в котором участвовали бы и сами художники, индивидуализм встает на дыбы и силится доказать, что мы хотим коллективизировать творчество. Но не существует такого противодействия, из которого нельзя было бы извлечь пользы: согласимся с этими противоположными реакциями, примем их как постоянное напоминание о том, что нельзя пренебрегать ни одним из двух полюсов нашей позиции.

Здесь вырисовываются направления и границы необходимого сплочения.

Что касается искусства, то оно ни в коем случае не должно следовать внеэстетической, религиозной, политической, социальной или экономиче-

ческой догме, которая навязывалась бы художнику извне как некая готовая формула искусства.

Мы не хотим также, и это не соответствует нашим целям, создавать новую школу, основанную на особых эстетических правилах. Как показал наш опыт, определенные выше позиции обеспечивают встречи и устойчивые гармоничные отношения между художниками, обладающими различными темпераментами и использующими различную технику.

Тот факт, что они недостаточны, чтобы взрастить гения или даже талант, более чем очевиден. Тем не менее под предлогом полной свободы искусства мы не можем объединять без разбора всех тех, кто отвергает внешне для искусства установки. Если человек поработен, то и искусство не может быть свободным, а ныне человек поработен вдвойне — режимом и своей внутренней неустроенностью. Художники, к которым мы обращаемся, стало быть, смогут сразу же узнать друг друга по общему негативному отношению к духовному беспорядку, царящему в мире денег и индивидуализма, а также и потому, что они согласны с основными направлениями нашего движения.

Мы знаем, художник бывает до того одержим своим искусством, что порой не ощущает творящегося вокруг беспорядка и остается глух к требованиям человека: он целиком погружается в творчество, не думая о его назначении. Такое поведение является следствием беспорядка и крайней обособленности художника. Это вынуждает нас внимательнее присмотреться к подобного рода явлениям. Но все это не может нарушить сплоченности, являющейся нашей главной силой. Каждый, кто вместе с нами свободно изберет для себя путь самоуглубления и самообъединения, непременно придет к тому, что будет все более и более искренне разделять наше видение мира и человека.

Чтобы руководящие принципы нашего движения за духовное обновление могли в свою очередь привести к художественному обновлению, следует найти способ, чтобы перенести их в деятельность и даже в язык художника.

Положение, в которое ставит художника современный мир, очень похоже на его положение гражданина: поразительный контраст между безграничной гордыней, которую в нем раздувают теоретики индивидуализма, и нищенскими условиями, на которые его на деле обрекает мир.

Художник оказывается и гласом тайной вселенной, и гласом людей своего времени. Являясь посредником между этими мирами и никогда полностью не принадлежа ни одному из них, он тем не менее должен стремиться соединиться с каждым из них и соединить их между собой.

Однако стимулированное обществом стремление замкнуться в себе, ведущее к индивидуализму и субъективизму, которое стало предметом специального анализа в философии, отрезало его как от одного, так и от другого сообщества.

Получивший от романтизма посвящение в аристократию божественного происхождения, художник, теша собственное самолюбие, возомнил, что он один, пользуясь абсолютной независимостью, призван

сотворить мир, его форму и содержание, которыми он располагает на правах единственного демиурга. В самом деле, он обладает привилегией на свободное и независимое творчество, которого мы не находим ни в какой другой естественной форме деятельности человека. И тем не менее его творчество не является беспредметным и абсолютно независимым. Игнорируя эту сторону дела, он лишил основания то, чем по праву мог бы гордиться, и пошел по неразумному пути. Он стал мнить себя пророком, получающим вдохновение от живущего внутри него демона. Он не заметил, как, лишая себя усилий по овладению предметом своего искусства, он мало-помалу терял контакт и строгий контроль над ним. Он с легкостью доверился инстинкту, его псевдотаинственности и ложной очевидности. Он утратил понимание телесности мира, его простоты и величия; он потерял дорогу, ведущую к богатствам, которые можно извлечь, лишь обрекая себя на тяжелый, изматывающий труд. Он поверил во всемогущество формы до такой степени, что уже не способен создавать свои произведения иначе как ориентируясь на чувственное восприятие и прибегая с этой целью к чрезмерной декоративности или к нарушению грамматического строя языка. Отвергнув все то, что находится вне его, он оказался в полной зависимости от собственного Я, своих капризов, чудачеств, странностей. За тем, что на первый взгляд кажется иллюзорным, просматривается диктат формы, живописности, выразительности, приобретающих извращенный характер.

Отделяясь от внешнего мира, художник в то же время отделялся и от человека и прежде всего от собственной человечности, которую он считал совершенно чуждой искусству или хотел, чтобы она была таковой; он не заботился более о коммуникации, являющейся самой сутью творчества, которое, как он считает, теряет свое значение только потому, что становится труднодостижимым в мире, все более и более отворачивающемся от искусства.

Отныне нет другого пути к спасению, кроме решительного возврата к следующей позиции.

Мы не можем требовать, чтобы каждый художник относился к внешнему миру так, как относится к нему религиозно настроенный человек, который в любом предмете видит явление Бога, а искусство понимает как своего рода естественную молитву, то есть естественное общение с Богом. Но по меньшей мере он должен преодолеть тесные рамки индивидуализма, чтобы ощутить присутствие универсума, окружающего его и простирающегося далеко-далеко вне его, который не менее, чем его собственный демон, богат тайнами и очевидными вещами. Преодолевая покорную посредственность, которая подчиняет его "субъекту", а также не знающую меру гордыню, которая делает его рабом самого себя, художник, о котором мы говорим, соединяет величие с простотой, неумность своего творческого таланта со смирением перед тем, что приходит к нему извне, а также с требованиями своего ремесла. Он не заблуждается относительно своих инстинктов и знает, что опираться на них можно лишь ценою постоянных жертв и саморазоблачения; последние как раз и являются дорогой к величию, пролегающей через бедность.

Он знает, что такое живущие в нем смятение и противоречия, заставляющие его громко кричать; тем не менее он чужд тому, чтобы преувеличивать значение каждого своего невинного желания, а стремится — и порой для этого приходится отказаться от самого себя — отыскать тот центр, где сходятся и упорядочиваются все его способности, чтобы максимально развить их. Таким образом, он будет все меньше подогревать собственное самомнение и внимательнее прислушиваться к тому, что происходит в нем самом.

Он не станет насильственно отделять в себе человека от художника, даже если, как это нередко случается, он не знает, какие именно дороги ведут к их соединению: он будет стремиться оберегать и развивать в себе все человеческие свойства, которых одних отнюдь не достаточно, чтобы обеспечить доступ к творчеству, но без которых самый яркий, равно как и самый безрассудный гений рискуют сбиться с пути и потерпеть неудачу. Такой художник противостоит всем тем, кто надеется путем простого обновления формы дать жизнь новому художественному миру, и утверждает, что единственно надежным способом обновления является движение к глубинам, к истокам.

Художник, не изменяя своему искусству, должен стремиться всей душой возобновить прерванный диалог с людьми, как можно с большим числом людей. Мы знаем, насколько трудноразрешимой кажется сегодня эта проблема. Большинство людей настолько отделились от искусства и стали (бессознательно) рабами дурного официального вкуса и утилитарного видения мира, что подлинный художник, думается, лишен какой бы то ни было возможности встретиться с широкой публикой; чтобы эта встреча состоялась, он будет вынужден принести себя в жертву посредственности.

Если художнику, чтобы добиться встречи с публикой, остается только предательство, то мы, может быть, и признаем, что ему лучше творить в одиночестве; такой вывод был бы более человечным, ибо посредственность, получая соответствующую пищу, укрепляет в нем свои позиции. Опять-таки остается еще установить, не являются ли деформации человека более поверхностными, чем кажутся, и не находится ли совсем близко в каждом сердце живительный источник милости для того, кто хотел бы найти его: успех некоторых высококачественных фильмов в самых посещаемых кинотеатрах заставляет нас верить в это. Нередко публика оказывается менее способной распознать дурной вкус, чем порадоваться хорошему качеству. Если взять пример искусства, которое она больше всего обожает, то я не думаю, что если по какой-то такой милости хорошие фильмы заполнили бы все киноэкраны, то все кинотеатры тут же опустели бы. Но как бы там ни было и как бы фактически ни судил художник о нынешнем положении дел, мы хотим знать, причиняет ли это ему нетерпимое зло и стремится ли он изменить ситуацию или же он мирится с ней. В первом случае он с нами, во втором — против нас.

Существует два способа примирения с этим.

Во-первых, необходимо согласиться с тем, что условия современного общества превратили публику (различные ее слои и в зависимости от

видов искусства) в кастовую, снобистскую публику; наиболее поражена этим музыка, наименее — кино. Поэтому надо работать *на* это меньшинство, потакать его вкусам, его моде. Послевоенное время является тому замечательным примером: в Париже можно поименно назвать и поставщиков и клиентов. Мы выступаем против всякого искусства, намеренно предназначенного для меньшинства, то есть феодального искусства XX века, салонного искусства, дворцового искусства, искусства часовни. Мы не говорим, что фактически не может существовать искусство с большой буквы, которое хотя бы на время не было обречено на то, что его услышат лишь немногие, либо потому, что публика слишком опошлится, либо потому, что гений изобрел новый язык и еще должен научить ему других, прежде чем люди смогут понимать его. Но фактическое состояние еще не является результатом его свободного волеизъявления, тем не менее он творит мир во имя универсального развития людей. И как бы это парадоксально ни звучало, работать *на* меньшинство в данном случае как раз и значит ставить себя в положение того человека, который работает *на* большинство: это значит ставить творчество в зависимость от внешних закономерностей, вместо того чтобы в самой универсальности произведения искать его универсализующую силу. Об этом здесь необходимо сказать, ибо всякое направление, ориентированное на символизм, какова бы ни была его историческая необходимость, каковы бы ни были возможности, которые оно открывает благодаря своему новаторству, направление, систематически гонящееся за темами, доступными узкому кругу людей и пользующееся необычными формами, диаметрально противоположно нашим целям.

Работать на большое число людей, если понимать это в том же легковесном смысле, — значит опять-таки совершать предательство по отношению к миссии художника. Самые заурядные лакеи существующего строя чаще всего обладают мелкобуржуазными вкусами, сентиментальностью, осмотрительностью, питают жажду к не требующей усилий признательности, гарантированной обеспеченности, испытывают тягу ко всему обыденному, как стражи порядка, облаченные в самые безликие одежды (ужасно видеть на полотне изображение человека, попирающее форму и цвет; разве и без этого мало беспорядка; пусть нам оставят по меньшей мере хоть что-нибудь неизменное и безусловное; например, пространство). Другие отдают себе отчет в том, насколько мелкобуржуазное видение мира, несмотря на свое влияние, остается кастовым, ограниченным, удушающим. Они хотят достичь всеобщего единения людей, но мыслят его в виде масс, которые в начале этого века стали пониматься исторически. Их общей ошибкой, как людей и как художников, является то, что они мыслят человеческие массы только как количество. Между тем этот могучий процесс эмансипации интересует нас отнюдь не количественной стороной, которая является предметом изучения для статистики, а возможностью *для всех*, точнее сказать *для каждого*, полностью стать человеком, то есть в конечном счете — личностью. Когда художник соприкасается с огромными массами людей, ничто не меняется в его диалоге с ними; ему свойственно обращаться к личностям, к одной, к другой, а не к рефлексам или коллективному субъекту; он способен установить между этими личностями подлинное

сообщество, то есть нечто совершенно иное, чем совокупность общих эмоций и общих представлений, и если это случится, то все его призывы получат невиданные доселе отклик и поддержку. В противном случае "искусство масс" останется искусством пропаганды, искусством построения сюжетов и изобретения формул, объединяющим людей с помощью унификации идей и сердец, скажем прямо, легковесным искусством гипноза.

Как бы мы ни лавировали, дабы избежать всякого рода недоразумений, мы вместе с тем твердо заявляем о своей решимости всеми силами работать на отыскание путей достижения того сообщества, которое является гармонией личностей, и мы всей душой желаем возврата той великой эпохи, когда художник будет иметь совсем другие цели и совсем другое окружение, нежели его нынешнее одиночество или мир чуждых ему соседей-индивидов с их мелочными заботами, и сможет уловить то глубинное дыхание, которое устремится к нему со всех краев света.

Кто же мешает ему в этом? Мы выдвигаем обвинение — и все согласятся с нами против как духовного обнищания, так и условий, в которые современный мир и в особенности мир денег поставили сегодня художника и искусство. Этот мир оплачивает и поощряет только производительность. Между тем художественное полотно ни в коей мере не увеличивает техническую вооруженность человечества. Время, которое человек проводит на концерте, оказывается потерянным для оснащения нации оборудованием. Вот таким-то образом современный мир шаг за шагом загнал художника в нищету, а публику поверг в безразличие.

Мы должны поставить на его место такой мир, который (в двояком плане) снова признает художника, а в более общем плане — восстановит ценность созерцания и бескорыстной деятельности.

Тем не менее проблема от этого не становится менее сложной. Многие считают, что спасти художника от неуверенности может только государство, которое субсидировало бы его творчество как своего рода социальную службу высшего порядка. Увы! Мы хорошо знаем, чего стоят официальные декреты в области вкусов и к чему приводят социальные выплаты — тут же возникают раблепный академизм и другие вредные наклонности. Вы, скажут нам, имеете в виду буржуазное государство, которое лишь санкционирует разложение буржуазного мира и его искусства, где все определяет убоженные седины мэтры. Но мы уже знаем, что политическая революция не ведет с необходимостью к прогрессу человека. Фашистское государство отличается тем, что его художественная культура абсолютно бесплодна. Гитлеровское государство разделалось почти со всеми достижениями немецкого народа в области литературы, театра и кино. А советское государство, хотя и дало бесспорный толчок к развитию некоторых отраслей творчества (но опять-таки это сделало не столько государство, сколько мистическое пробуждение русского народа), как известно, всеми силами тормозило их развитие своими пропагандистскими заботами. Даже гибкое, децент-

рализованное государство, которое мы хотим создать, остается опасным из-за своих декретов. Крупные коллективные образования: корпорации, регионы, коммуны, профсоюзы и т. д. — опять-таки остаются "общественными", где однородность, усредненность суждений может быть отражением официальной линии или занять ее место. Конечно, государство не обязательно безрассудно, и можно представить себе обновленное государство, в котором официальные указания выражают известную разумность. Но все же надо будет, чтобы они, если позволительно так сказать, не господствовали на рынке и не душили художника своим покровительством.

Таким образом, представляется, что любая протекция, спущенная художнику сверху, является угрозой для искусства и что проблема в целом должна решаться между художником и его публикой. В таком случае вся тяжесть проблемы переносится на воспитание и организацию художественной публики. В ней прежде всего надо воспитать вкус, а затем дать материальные средства, позволяющие ей заинтересованно относиться к поэтической жизни.

Необходимо осуществить многотрудное дело воспитания. Оно начинается уже в детском саду, в тот момент, когда то, что называют "обучением рисованию", оказывается первым и решающим наступлением академизма на детскую непосредственность. Это тот самый момент, когда школа навсегда убивает поэта и художника, который живет в каждом из нас. Затем все идет своим ходом и в результате мы имеем вечно раздраженного художника, который нередко замыкается в своем одиночестве, куда его толкнуло общество.

В ряду других причин этого бракоразводного процесса между художником и вкусами публики необходимо отметить государственно-капиталистическую централизацию, которая во Франции вынуждает любого художника, который хотел бы надеяться на то, что будет услышан, вести жизнь в соответствии с парижской модой; она отделяет художника от его публики, лишает источников вдохновения, прельщает его красивой, но уж какой-то искусственной жизнью и, что самое главное, отдает его в руки торговцев картинами и придворной публики — кастовой и снобистской. Нужно ли говорить, что для нас децентрализация художественной жизни не означает признания первичной значимости сюжетности или "местечковой живописности": впрочем, так ли уж свободен от заданной сюжетности и формализма художник с Монпарнаса или музыкант-профессионал, как они это считают? Нет, истинный художник повсюду найдет для себя темы творчества: опять-таки необходимо (а именно этого мы и хотим, требуя разгрузить Париж) вырвать его из рук владельцев денег и узкого круга людей и приблизить к публике. Речь идет не о том, чтобы вновь отправить гения в тихую провинцию, а о том, чтобы с его помощью встряхнуть провинцию, сегодня еще мертвую, но обладающую неисчерпаемыми возможностями. Централизация — это тираническое состояние, это нечто среднее между движением к корням и движением к универсальности. Эти оба движения должны слиться в одно и дать потерявшему чувство жизни человеку (в том числе и внутри большого города) конкретные привязанности и чувство универсальности.

Затем необходимо подумать о том, как обеспечить подлинную встречу между публикой и художником, которая ныне почти никогда не происходит иначе, как в искусственно созданных и весьма локализованных местах: музеях, галереях, концертных залах и т. п. Необходимо, чтобы искусство, как это некогда было с церковным искусством, народными танцами, празднествами, вновь оказалось непосредственно включенным в повседневную жизнь каждого человека, будь то на заводе, в деревне, в семейном очаге, в общественном месте. Пусть крестьяне вновь обретут желание проводить празднества с танцами, плясками, представлениями, праздниками урожая, пусть рабочие хотя бы трудиться на красивых заводах и сами создают их, пусть вера избавится от всех религиозно-декадентских глупостей и вновь научится прославлять себя с помощью живописи. И пусть все это вернется не искусственным путем, не по воле нескольких меценатов, чье богатство катится к упадку, а благодаря возможностям наших чувств и самой поэзии. Становится очевидным, что мы, трудясь над обновлением духовного состояния нашей эпохи, непосредственно трудимся ради искусства.

Когда публика полностью пробудится ото сна, художнику уже не придется улаживать прихоть человека, диктующего свой стиль, и человека с огромным кошельком. К его творчеству будут питать интерес все большее и большее число индивидов, а также спонтанно организующихся коллективов, принципиально отличающихся от коллективного администратора, который извне управляет публикой. Именно так некогда требовали своей церкви диоцезы*, чтобы участвовать в ее жизни непосредственно; сегодня любительские объединения, общественные союзы будут диктовать свой спрос на художественное творчество (в такой форме ранее во Франции в ряде случаев осуществлялась поддержка театров или свободной прессы). И хотя их вкусы, должно быть, тоже не всегда безупречны, но по меньшей мере это будет бесспорным прогрессом, поскольку соперничество займет место безразличия.

Чтобы преодолеть апатию, мы, конечно, рассчитываем на необходимое вмешательство государства. Но, по нашему мнению, это должно быть вмешательство юридическое, а не управленческое. В соответствии с предложенным нами порядком взимания налога¹, будет установлен определенный процент взноса каждого человека, предназначенного для культурно-художественных учреждений, процент обязательный, но *выплачиваемый добровольно*. Таким образом, культурно-художественному движению будет обеспечена определенная финансовая поддержка при отсутствии какого-либо давления со стороны, и единственным критерием его распределения станут вкусы публики. Если же эти вкусы окажутся дурными, то только самим творческим деятелям надлежит использовать свое влияние, чтобы исправить их, руководствуясь в этом таким стимулом, как свободное завоевание душ. Быть может, благодаря этому художник, как и любой человек, в один прекрасный день сможет получать от постепенно развивающихся общественных служб все, что ему необходимо для жизни, и ему (ему одному в условиях, когда всюду

¹ E. Mounier. De la propriété capitaliste à la propriété humaine / Oeuvres. V. 1. Paris, 1961.

господствует труд) не придется, как это сегодня часто случается, иметь вторую профессию помимо своей собственной, которая и без того требует от него полной самоотдачи. В остальном же нельзя стремиться к тому, чтобы вовсе уберечь художника от какого бы то ни было риска; он сам должен быть последним среди тех, кто мог бы на такое согласиться.

Мы не строим никаких иллюзий относительно творческой ценности всякого рода манифестов. Одно только художественное произведение будет служить нам доказательством и аргументом. Тем не менее, когда человеческие души подвергаются переделке при полной неразберихе, манифесты могут способствовать сплочению усилий, взывать к мужеству, обуздывать анархию и создавать благоприятную почву для беспрецедентного расцвета творчества.

Впрочем, уже сегодня, когда мы ждем рождения произведений, к созданию которых призываем, может осуществляться одна из так называемых негативных задач всеми теми, кто живет одним днем; такого рода негативные задачи решаются, когда перед проведением основных работ распаивают целинные земли, разрушают лачуги, сносят старые фундаменты.

Необходимо прежде всего изменить нашу привычную критику. Ныне существуют лишь два допустимых способа критики: пристрастная и несправедливая критика самого создателя, которая является для него как бы особым способом самоутверждения и самораскрытия перед лицом художественных произведений, создаваемых другими; суждение компетентного человека, делающего свое дело с полной ответственностью, стремясь вызвать непосредственный контакт художника с публикой и помочь ему в необходимой борьбе против собственной предвзятости и недостатков, против снисходительного отношения к самому себе. Быть может, сюда следовало бы добавить художественную критику, которая создает почву вокруг какого-либо произведения, хотя ее суждения могут быть диаметрально противоположными и, строго говоря, не относиться к критике как таковой. Во всех этих случаях критика должна сама быть произведением искусства только во вторую очередь.

Однако малознающие и некомпетентные люди под видом критики породили быстро разрастающуюся, громоздкую и нудную литературную псевдокритику, основывающуюся на поверхностных впечатлениях, праздных умствованиях, неуклюжих патетических суждениях, претенциозных мнениях и прикрытом недоброжелательстве. Не знающее границ развитие печатного дела дает возможность большому числу людей жить за его счет, и они, лениво прозябая и избегая какой бы то ни было ответственности, создают эту никчемную, но весьма обильную критику. Сотни прихлебателей крутятся вокруг одного и того же блистательного произведения и болтают о нем. Они принадлежат к категории бесполезных посредников: им нет места в храме искусств.

В противоположность этой индивидуалистической, эгоцентрической и пустячной критике мы хотели бы со всей решительностью, избегая снисхождения и болезненного самолюбия, утвердить такое критическое

рассмотрение, в котором участвовал бы каждый человек, не боящийся ни мнений, ни личностей, ни разоблачений, умеющий выражать свои мысли ясно и четко и благодаря силе своего проникновения в глубину изучаемого явления способный услышать призывы, которые в скрытом виде содержатся в глубинах самого критикуемого произведения. Для начала придется многое разрушить и там и сям, ибо мы утонули в потоке посредственных произведений и получаемых ими почестей. Повсюду творческое движение должно прежде всего осознать необходимость некоторых вполне конкретных разрушений и только потом ждать всходов своей деятельности. Принимаясь за эти разрушения, необходимо, по меньшей мере, испытать глубокое всепоглощающее чувство любви, которое гораздо более требовательно, нежели безразличное отпущение грехов. В силу своей неотложности это движение сумеет найти путь к свету.

Надо будет также в ожидании хозяина хотя бы немного навести порядок в самом доме искусства. В той огромной толкотне, которая началась сразу после войны, гениальные дети внесли слишком много путаницы в художественные дела — в живопись, архитектуру, музыку, поэзию (нужно ли добавлять сюда и кино, рискуя быть побитыми за то, что говорим о нем не без колебания и только в скобках?). Стремясь отыскать сущность каждого из них, необходимо на первых порах провести четкие разграничения, чтобы яснее увидеть суть дела, но не упустить из виду их взаимодействия, следуя академическому пристрастию к "жанрам"; все это надо выполнить как предварительную работу, которая ныне представляется самой неотложной. Мы считаем, что она тесно связана с созданием и утверждением общей эстетики, которая одна только способна положить конец путанице, содействующей диктату снобизма, той путанице, заложниками которой мы все оказались.

Выделяя специфические черты каждого из видов искусства, мы не должны забывать о том, что растущая специализация видов искусства и отделение их друг от друга чреваты как путаницей, так и бесконечными раздорами, могут носить искусственный и декадентский характер. Объединяя художников различных видов искусства в единое движение, имеющее гуманистическую направленность, вдохновляя их на создание произведений общечеловеческого содержания, подчиняя архитектора, живописца, музыканта, киноартиста, режиссера одной и той же цели и свободной коллективной дисциплине, мы надеемся многое сделать для их сплочения.

Итак, ныне мы беремся за осуществление ближайших задач, не оставляя без внимания и более отдаленные цели. Быть может, искусство собственными силами и не способно добиться своего спасения, но, занимая в обществе особое положение, оно может оказать неоценимую помощь в грядущем духовном обновлении¹.

Октябрь 1934 г.

¹ Автор приводит список более 40 общественных деятелей и деятелей культуры, выразивших согласие подписаться под этим манифестом. — *Ред.*

6. Антикапитализм

Ныне от крайне правых до крайне левых нет почти никого, кто не хвастал бы своим антикапитализмом. Так приходит мода. В наших глазах "антикапитализм" не оправдывает своего названия, если целью его является всего лишь спасение и восстановление капитализма — капитализма мудрых финансистов, проповедующих возврат от спекулятивного капитализма к капитализму бережливому; если иметь в виду данные корыстные формы, то это — бунт мелкого капитализма ремесленника, патрона, рантье, налогоплательщика против поглощающего его крупного капитализма. Существо здесь остается тем же самым, а величие цели — совсем не на стороне бунтовщиков. Простая семейная ссора.

Нечто подобное представляет собою и "антикапитализм", ставящий целью низвержение капиталистического строя и его хозяев, но не изменение его морали. В сознании этого рода бунтовщиков революция является всего лишь средством для достижения всеобщих комфорта, богатства, обеспеченности и респектабельности. Революционные движения часто обвинялись в том, что они ни на что другое не претендуют. Это явная несправедливость. Тем не менее остается верным то, что такая склонность угрожает им, в ряде случаев связывает их по рукам и ногам и приводит к краху, когда наиболее сильные из них удовлетворяют или усыпляют свои требования (= фашизм).

Наиболее бескорыстные формы известного патернализма не заслуживают таких упреков, но они недооценивают того, что рабочий мир достиг своей зрелости и что добрый папаша уже не может сердиться на своих повзрослевших детишек, а должен помогать им всеми средствами реализовать такое состояние.

Капитализм не падет от осуждения одной только техники (Маркс) или только морали (в таком случае достаточно было бы очищения); он падет при одновременном осуждении и той и другой. Там, где мораль позволяет вообразить капитализм в себе, который в строго определенных условиях уходит от ее предписаний, техника и опыт показывают, что подобный капитализм разрушается сам собой; наконец, существуют технические пороки, которые подлежат осуждению одновременно и как таковые, и по своим человеческим последствиям. С какой бы стороны ни подойти к современному капитализму, в нем, за исключением отдельных технических достижений, не найти ничего, кроме заблуждений и коррупции.

Здесь, как мы полагаем, необходимо было бы остановиться на следующих радикальных принципах. Мы считаем, что, пока критика капитализма не будет руководствоваться такими принципами, в этом плане ничего не сможет произойти.

В первую очередь мы выделяем присущий всякой системе *метафизический принцип либерального оптимизма*; считается, что человеческие свободы, предоставленные самим себе, спонтанным образом утвердят гармонию в обществе. В противоположность этому опыт показал, что

свобода без дисциплины оставляет поле сражения во власти зла, где самые сильные обездоливают и угнетают наиболее слабых.

Таким образом, мы можем поставить в один ряд три принципа, если так можно сказать, социальной морали.

Примат производства. — Не экономика находится на службе у человека, а человек на службе у экономики.

Другими словами, экономика не строится на основе потребления, а последнее — на основе этики жизненно важных человеческих потребностей, наоборот: потребление, а через него и этика потребностей и жизни основываются на бесконечно развивающемся производстве. Экономика превратилась в замкнутую систему со своими собственными правилами игры, и человек вынужден подчинять ей не только способ, но и принцип своей жизни. Вследствие этого для него уже не существует вещей, а есть только товары, не существует потребностей, а есть только рынок, нет больше любимых ценностей, а есть только цены.

Если пойти дальше, то обнаруживаются также:

Примат денег. — Не деньги находятся на службе у экономики и труда, а экономика и труд находятся на службе у денег.

Первой стороной этого отношения является примат капитала над трудом, когда речь идет о заработной плате и о распределении экономической власти; деньги в такой системе являются ключом к командным постам. "Общество капиталов" становится здесь типичной ассоциацией.

Его вторая сторона — это господство спекуляции или игры на деньгах, зло, еще более тяжелое, чем погоня за увеличением производства. Оно превращает экономику в огромную азартную игру, предвидеть экономические и человеческие последствия которой невозможно.

Примат прибыли. — Вследствие этого денежная прибыль является главной движущей силой экономической жизни.

Капиталистическая прибыль является не нормальным вознаграждением за оказанные услуги, а безнравственным барышом, и вот почему. Во-первых, она всегда связана с получением денег без применения собственного труда, которое обеспечивается посредством разнообразных способов производства самих денег. Во-вторых, она строится не на основе потребностей, а на неопределенном принципе. Наконец, когда ей случается подчиняться каким-то законам, она измеряется по меркам буржуазных капиталистических ценностей, таких, как комфорт, социальная престижность, представительность, которые безразличны к собственному благу предприятия и экономики.

Погоня за прибылью, по существу являющаяся чисто механической и лишенной человеческого содержания, исключает или постепенно вытесняет все человеческие ценности: любовь к труду и его продукту, чувство долга по отношению к обществу и человеческому сообществу, поэтический смысл мира, частную жизнь, внутреннюю жизнь, религию.

Капитализм обладает целым набором механизмов, приводящих в движение выявленные выше принципы.

Об одном из них мы уже говорили: это *самовоспроизводство самих денег.*

Капитализм превратил деньги из простого средства обмена в благо, способное к самопроизводству, вследствие чего богатство может произрастать из простого обмена. Таков источник капиталистической прибыли, который, собственно говоря, и образует ростовщический процент, или непланируемую прибыль. Поскольку эта прибыль достигается без приложения собственного труда, без реально оказанной услуги или материального преобразования, она может быть отнесена только на счет собственной игры денег или же (а это вторичная форма ростовщичества) на счет труда другого человека. Следовательно, это настоящий паразитизм, который, как будет видно из дальнейшего, не знает никаких границ.

Ныне ростовщичество использует разнообразные научные достижения, игры, дабы приводить в движение сами деньги, являющиеся их обособленной экономической функцией.

Назовем в этом ряду ссуду под постоянный фиксированный процент, ростовщичество на наличные деньги (шоковое ростовщичество, различные инфляции), рентное ростовщичество (в ущерб социальному капиталу посредством огромного обложения, идущего на выплату ренты), банковское ростовщичество (инфляция кредита, игра на понижение типа Донаго), биржевое ростовщичество (все формы спекуляции с помощью денег или товаров).

Аналогичные обложения труда другого человека осуществляются посредством той части денег, которая сохраняет производительную способность:

изъятия, осуществляемые капиталом из наемного труда посредством низкой заработной платы, возрастающие в десятки раз в период процветания (процветание и рационализация почти целиком обращаются в прибыль капитала) и сохраняющиеся в периоды кризисов посредством дефляции;

внутри капитала изъятия со стороны крупного капитала прибылей и мощностей у мелкого капитала вкладчиков: псевдодемократия анонимных компаний, всесилие меньшинства крупных держателей акций посредством контрольных пакетов акций, множественного голосования, способствующее этому безразличие мелких держателей акций и монополизация их прав и возможных доходов банками в прибылях от финансовых платежей, изъятия административных советов посредством квотирования, участия, трюков с балансами и т. п.;

изъятия общественного богатства посредством инфляции и беспардонных действий посредников (торговое ростовщичество).

Таким образом, через бесконечно возрастающую силу самопроизводства денег постепенно создается огромный аппарат угнетения. Первым этапом его установления явилась монополия на экономику посредством концентрации промышленной мощи в руках немногих людей, которые бесконтрольно заняли в ней все места. Эта концентрация не является неизбежным следствием рационализации: именно концентрация способствовала развитию рационализации и руководила ею, а финансовая централизация внесла в это дело наиболее существенный вклад. Частная собственность и свобода производства оказываются уже только маской управляемой частными интересами экономики, одни издержки и никаких (или почти никаких) выгод от управления экономикой.

Затем получило свое благословение подчинение экономики финансовой силе, официально оставшейся анонимной, безответственной (что лишь усилило ее тиранию) и безразличной ко всему, кроме спекуляции и получаемой от нее прибыли. Промышленная иерархия стала уже только маской для прикрытия власти банков и биржи.

Наконец, сама эта власть подчиняет себе политический организм: представительную и публичную власть (парламентская, административная, полицейская, юридическая и т. д. коррупция); общественное мнение (скрытое управление прессой через субсидии, информационные и рекламные агентства и т. п.). Политическая демократия становится лишь маской, прикрывающей экономическую олигархию.

Результатом этого явилось окостенение социального организма, разделившегося на классы и создавшего свою иерархию, основанную на господстве денег, и формирование античеловеческих социальных типов: богач, мелкий буржуа, пролетарий. А на еще более глубоком уровне — угнетение внутренней личной жизни, подавление всех ее спонтанных проявлений, всех ценностей и всех человеческих богатств, осуществляемое расчетливым денежным мешком. Наконец, невозможность для большинства угнетенных добиться даже просто сносной человеческой жизни, а тем более развития внутренней жизни.

Некапиталистическое общество, каковы бы ни были его механизмы, должно будет исходить из принципов, диаметрально противоположных принципам нынешней экономики. Мы бы охотно назвали пять основополагающих принципов.

1) *Свобода через институциональное принуждение.* — Поскольку человек оказался в какой-то мере коррумпированным, всеобщая материальная свобода, когда она располагает столь мощными финансово-индустриальными средствами, с неизбежностью приводит не к гармонии, а к войне и тирании. Либерализм оказывается утопией. Реализм заключается в том, чтобы поставить эту свободу в определенные рамки, создав институты, которые предупреждали бы подобные устремления. Капитализм защищает инициативу и свободу небольшого числа людей, поработав всех остальных. Мы стоим за всеобщее материальное принуждение, осуществляемое необходимыми для этого институтами в целях обеспечения материальной свободы всем членам общества.

2) *Экономика на службе у человека.* — Функцией экономики является удовлетворение материальных потребностей всех членов общества. На этом ее роль заканчивается, а всякая другая энергия должна находить иное применение, нежели искусственное раздувание этих потребностей. Следовательно, экономическая деятельность подчиняется этике потребностей. Эти последние могут быть двоякого рода: потребности потребления (или наслаждения) и потребности творчества.

Потребности потребления (или наслаждения) должны быть ограничены идеалом простоты жизни, который является условием духовного подъема и ни в чем не противоречит направляемым на развитие творчества обильным затратам. Не материальный комфорт, а духовная жизнь является целью человека и его развития.

Потребность в творчестве не должна знать никакого другого ограничения, кроме фундаментальных требований морали и творческих возможностей личности.

Добавим, что, прежде чем думать о самоограничении в соответствии с требованиями духовной жизни, экономика должна сделать значительные усилия и подвергнуться коренной реорганизации, чтобы обеспечить всем тот минимум благосостояния и обеспеченности, который необходим в большинстве случаев для утверждения духовной жизни.

3) *Примат труда над капиталом.* — В человеческом обществе капитал имеет право на существование лишь постольку, поскольку он происходит из труда и действует с ним заодно; он незаконен, если возникает из той или иной формы ростовщичества или претендует на собственное бесконечное умножение, достигаемое за пределами труда. Во всяком случае он может получать вознаграждение лишь после труда, власть — лишь при подчинении ее труду.

4) *Примат социального служения над прибылью.* — Капиталистическая прибыль, барыш, полученный без затрат труда, должны быть объявлены вне закона. Справедливая прибыль, соответствующая затраченному труду, не может быть устранена из существующего общества. Но забота о ней должна быть с помощью воспитания и создания нужных институтов подчинена другим — в гуманистическом отношении более богатым — интересам и через это — любви к социальному служению в восстановленном сообществе.

5) *Примат личности, развивающейся в органическом сообществе.* — Новый строй должен положить конец анархии и тирании, которые ныне представлены капитализмом, путем создания органических сообществ, включая частную жизнь, публичную жизнь, профессию. Равновесие таких децентрализованных сообществ будет гарантировать их против возврата анархии и в то же время защитит личность — эту первичную ценность — от угнетения со стороны излишне централизованного социального аппарата.

Руководящие механизмы такого сообщества должны создаваться по образу этих новых принципов. "Планирование" социально-экономической организации очевидно вступает в силу лишь после решения множества других задач. Все специалисты в деле социальной организации имеют законное право на существование, решение задачи их распределения зависит от текущего момента, если при этом удовлетворяется ряд требований.

Прежде всего необходимо уничтожить в основе своей самовоспроизводство денег во всех его формах. Для этого требуется как минимум:

постепенно устранить фиксированный постоянный ссудный процент и ренту;

уничтожить спекуляцию и биржи, выполняющие посредническую роль;

коллективно регламентировать распределение кредита (управляемого профессиональными организациями или потребителями, объединившимися в систему "страхование — кредит").

Затем необходимо привести капитал, очищенный таким образом в своих первоисточках, в соответствие с трудом и ответственностью, с одной стороны, и с потребностями — с другой (по меньшей мере с большей их частью, в порядке переходного решения).

Капитал может перейти в руки работников и бывших работников предприятий, например в форме долей пожизненного личного пользования, в то время как терпимые временно нетрудящиеся элементы блокируются в той или иной форме прямо на предприятии (уничтожение анонимных акционерных компаний капиталов) или объединениями потребителей (кооперативизм Жида). В любом случае через производство капитал должен быть поставлен на службу потребностям.

Тогда появится возможность установить промышленную демократию, которая будет не количественно-парламентской, а функционально-органической, где личная ответственность всегда и на всех уровнях будет выступать в качестве противовеса власти. Нет сомнения в том, что рабочий мир не готов к этому частично по вине своих угнетателей, частично по вине своих агитаторов; поэтому вывод может быть только один: необходимо постепенно готовить и вести его к этому. И здесь опять-таки мы должны будем определить социальные механизмы, которые позволят строить с частичной коллективной ответственностью обеспечить приоритет ценностей личного обладания, инициативы и предприимчивости над силами инерции и коллективного конформизма.

Власть, как таковая, будет вырвана из рук экономических олигархий и отдана не государству, а организованным экономическим сообществам (постреволюционным корпорациям¹ и их федерациям, ассоциациям потребителей или сочетаниям тех и других, чтобы нейтрализовать продуктивизм любой ассоциации производителей). Априорным системам при условии коренного уничтожения неконтролируемой индивидуальной капиталистической собственности должна быть противопоставлена плюралистическая организация собственности, интегрирующая в себе живые формы собственности, являющиеся одновременно и личностными, и общностными, то есть те, которые уже возникли или которые еще предстоит создать.

Технические работники смогут тогда поставить управляемую экономику или экономику лучше и более гибко организованную, учитывающую законы потребностей, на место анархической производственной экономики, управляемой прибылью и частным интересом, а также устранить паразитирующих посредников, сводя их роль к минимуму, необходимому для осуществления обмена.

Все эти меры предполагают параллельное осуществление воспитания людей, чтобы вырвать из их сердец и вычеркнуть из социальных механизмов то, что создано в них под влиянием царства денег: корыстолюбие, насилие, мелочность и посредственность, до уровня которых низводится любая духовная жизнь. Это дело можно начать уже сегодня, еще до осуществления социальной реформы.

Июнь 1934 г.

¹ Здесь необходимо уточнение: корпорация при современном строе была бы орудием финансовой власти против свободного профсоюзного движения.

7. Заметки о труде

1. Необходимо отличать *труд* от *деятельности* вообще и особенно от *творчества*, которое, собственно, является наивысшей духовной формой деятельности. Деятельность — это самоосуществление человека, и непрерывное строительство им собственной жизни (включая и его так называемую внутреннюю, или созерцательную, жизнь). Если она свободна и взвешенна, она доставляет удовольствие. Труд — это особенный вид деятельности, естественный, но тяжелый, направленный на создание полезного — материального или нематериального — предмета. Следовательно, строго говоря, труд не представляет собой ни всю жизнь человека, ни самое существенное в ней. Выше труда стоит жизнь души, жизнь разума и жизнь любви. Капиталистический строй, при котором люди тупеют от труда, фордовско-сталинский строй, который, мифифицируя труд, отвращает от него человека и лишает его энтузиазма, представляют собою две формы искажения сущности труда.

2. Противоположностью деятельности является праздность (или пустое времяпрепровождение), противоположностью труда является отдых. Праздность по сути своей противоестественна; между тем ныне она в официальном порядке является одним из элементов античеловеческого строя, выступая в двух ипостасях: каторжный труд — безработица (где так называемые дни отдыха, из-за их бессмысленности, являются всего лишь замаскированными формами безработицы). Подлинный отдых — это бьющая ключом активность, более существенная для человека, чем труд (чтобы не сказать более нормальная в тех условиях, естественно, в которые он поставлен).

3. Труду присущ элемент принудительности. (Труд — это не игра.) Христиане усматривают первопричину этого в наказании за первородный грех. Непосредственный анализ показывает, что это вытекает из того, что: а) труд всегда оказывается навязанным (вынужденные призвания, социальные принуждения или просто жизненная необходимость сама по себе); б) труд вызывает усталость, которая возрастает по мере увеличения продолжительности затрачиваемого усилия; в) труду свойствен определенный автоматизм, а следовательно, и монотонность, которая быстро лишает работника интереса к делу рук своих и даже к собственным движениям. Элемент принуждения, сколь бы незначительным он ни был, всегда присутствует даже в самом легком труде и может заметно ослабляться, если труд выполняется свободно (а тем более, если он выполняется по призванию или по любви) и если усилие человека сведено к минимуму вплоть до того, что может стать сравнимым с занятием спортом, если он при этом пронизан разумностью. Принуждение может возрастать в противоположных условиях и в еще большей мере, когда к этим нормальным факторам добавляется бесчеловечность условий, в которые поставлен работник.

Поскольку принужденность в труде неотделима от самого труда вообще, даже труда, протекающего в нормальных условиях, он не может всегда и всюду сопровождаться радостью или представлять для человека наивысшее блаженство.

4. Однако в не меньшей степени, чем этому бездушному гуманизму Форда — Сталина, необходимо противостоять пессимизму противоположного характера, имеющего стоическо-яansenистские истоки, который стремится рассматривать труд как неизбежное безрадостное рабство. Этот пессимизм основывается либо на порочной психологической и теологической концепции человеческой природы, либо на путанице между условиями нормального труда и противоестественным положением, создаваемым трудом его нынешним режимом.

Поскольку труд является хотя и тяжким, но естественным занятием человека, он должен, как и всякий другой его акт, сопровождаться ничем не заслуженной радостью. Эта радость возникает прежде всего из того, что труд совершается ради какого-то произведения, а создание произведения — это осуществление личности. Радость возникает также из того, что труд как благодаря своему конечному результату, так и в процессе своего свершения создает между всеми теми, кто посвящает себя ему, тесное сообщество, объединенное чувством соучастия, конкретная и бескорыстная солидарности, взаимодействия и товарищества. Радость может освещаться новым светом по мере того, как труд превращается в игру и поэзию, сопровождаясь песнопением и даже театральным действием.

Очевидно, что радость в труде — это не радость, рожденная его рентабельностью или принуждением; она всегда связана с наслаждением, получаемым от созданного предмета и от человеческой общности; радость приходит в труд как бы извне, она связана с подлинными целями человека, осуществлению которых способствует труд, несмотря на всю свою тяжесть. Радость наслаждения, великодушно распространяющаяся на то, чем она вызвана.

5. Существует достоинство труда. Оно не вытекает из его рентабельности и не связано с затраченным усилием. Оно не ведет к обожествлению ни производства, ни человеческого пота. Оно приходит к труду из его последствий — последствий человеческих (см. п. 6), а не экономических. Для христианина оно заключается в искуплении, которое ему обещает труд.

Предметы труда могут свидетельствовать об иерархии достоинств. Этого нет в труде как таковом. Труд не делится на благородный и подневольный. Нам одинаково чужды как предрассудок "чистых рук", благодаря которому наши школы заполнены бездумными учениками, так и предрассудок "грязных рук", который заставляет интеллигента подозрительно относиться к рабочему, а квалифицированного рабочего — к чернорабочему. Труд, обладающий наибольшим достоинством, это не самый что ни на есть полезный труд (как опять-таки считает ходячий предрассудок), а самый бескорыстный труд во всех своих проявлениях.

6. Если труд — это не сущностное призвание человека, то возникает вопрос, почему люди трудятся.

Заметим прежде всего, что обязанность трудиться в строгом смысле, который мы придаем данному слову, это не то же самое, что общая обязанность активно заполнять свое время, вытекающая из осуждения

праздности. Она не предполагает, что труд в собственном смысле слова должен заполнять все время целиком или значительную часть свободного времени, если его цели могут быть достигнуты иным образом (например, посредством механизации), тем более что такие победы, одержанные над трудом, сами являются плодами труда: люди особого призвания (монах, поэт, художник), прошедшие суровые испытания и строго контролируемые, также могут быть избавлены от труда, и это будет благом для всех. Надо только отметить, что в условиях современного мира с его режимом труда и духовным вырождением человек неизбежно стремится превратить досуг в праздное ничегонеделание. Только опыт досуга в широком понимании этого слова, который во все большей мере обещает машинная рационализация, и опыт соответствующего воспитания, которое должно быть организовано, со временем покажут, в какой мере такое искажение является внутренне присущим человеку, а в какой случайным.

С учетом сказанного можно утверждать, что труд в собственном смысле слова не имеет своими целями:

ни богатство, состоящее из продуктов труда (к сожалению, богатство является главным побудительным мотивом как для капиталиста, который подчиняет его производству всю имеющуюся у него технику, так и для рабочего, который слишком часто без энтузиазма проводит свою рабочую неделю, не имея никакой другой перспективы, кроме получения заработной платы, ждущей его в конце недели);

ни буржуазное состояние, основанное на богатстве, которое разделяет человеческое сообщество не только на два класса, но и на множество искусственно созданных классов, в основе которых лежат деньги; ныне именно буржуазное состояние вместе с непосредственной заботой о наживе главным образом и определяет страсть к труду на всех уровнях социальной иерархии;

ни сам продукт труда, который, будучи произведением, неадекватно рассматривается исключительно с точки зрения количественной, то есть в конечном счете в его ценности как богатства, или с позиции религии созидания как такового. Мы против всех ложных мистификаций обогащения (Гизо и буржуазная этика), производства (Форд) и техники (СССР). Зомбарт справедливо заметил, что все они вытекают из недостатка зрелости, чтобы не сказать из очевидного инфантилизма.

Труд имеет более скромное предназначение.

Он является прежде всего средством для каждого человека обеспечить минимум средств существования себе и тем, кто естественным образом находится на его попечении; в нормальных условиях он должен кроме того создавать ему условия для полноценной человеческой жизни. Эта функция труда производится в жизни как работником, так и благодаря режиму труда, когда ему предоставляется известная свобода от повседневных забот, вместо того чтобы превращать дело его жизни в самостоятельную жизнь самого дела.

Впрочем, для личности труд является первой духовной ценностью, замечательным орудием дисциплины; он вырывает индивида из него самого: дело, которое надо сделать, — это начальная школа самоотверженности, а может быть, и постоянно действующая предпосылка любви. Творческая самоотверженность, само собою разумеет-

ся, должна оставлять индивида только тогда, когда он утверждает себя как личность. Очевидно, что существует опасность растворения человека в осуществляемом деле, к чему тяготеет коммунистическая психология, как и опасность того, что при строе, когда труд становится для человека горькой долей, его удастся склонить на путь безропотной покорности, чреватой бесплодным моральным одиночеством.

Наконец, труд в условиях того социально-экономического состояния, при котором он занимает большую часть человеческого времени, является первой основой товарищества, ведущего к более глубоким сообществам. Дух товарищества обогащается чувством ответственности, вызываемым осознанием собственного места и назначения в сообществе, которое намного превосходит обычные добрососедство и солидарность, царящие в мастерской, которые всегда так или иначе связаны с борьбой интересов.

7. Мы определили нормальные условия человеческого труда. Они всегда в большей или меньшей степени нарушаются в каждую историческую эпоху.

Сегодня миллионам людей отказано в нормальных условиях труда, и они требуют уплатить им по счету. Элемент принуждения, который должен быть вторичным, до настоящего времени всегда неправомерно превалировал, особенно в труде рабочего. Анализ современных условий труда и революционных преобразований, необходимых для его реабилитации, при нормальном положении должен вестись с учетом распределения, дисциплины труда и вознаграждения за труд.

8. Поскольку все люди обладают абсолютным правом на прожиточный минимум, а этот минимум может поддерживаться только трудом всех, поскольку всякая жизнь, чтобы оставаться человеческой, требует минимума труда, то для каждого человека существует право на труд. Сегодня это право откровенно попирается строем, который заявляет, что он основан на труде, но на деле он не способен предоставить работу тем, кто этого требует (постоянно возрождающаяся безработица).

9. Поскольку люди все без исключения подчинены закону труда, все они должны в равной мере участвовать в выполнении требуемых им обязанностей и вместе с тем не нарушать равновесия, существующего между способностями каждого отдельного человека и общим благом. Между тем подневольные обязанности по традиции выпадают на долю большинства людей, в то время как руководящие и административные посты остаются в руках наследственного меньшинства, которое хотя и обновляется, но частично и от случая к случаю. Внутри каждой категории распределение профессиональных занятий зависит от фантазии и предрассудков, представлений о престижности, что усиливает беспорядок и заполняет мир труда духовно нищими праздными людьми, не имеющими собственного дела.

Стало быть, преобразование общественного строя, используя направленные внегосударственные формы организации, должно будет стремиться:

1) к распределению между всеми долями тяжелого труда; такого распределения трудно достичь в условиях господства физического труда,

когда тяжелый труд поглощает львиную долю человеческих усилий и требует специальной подготовки или физической тренировки; оно становится все более и более легко осуществимым по мере того, как механизация делает тяжелый труд менее продолжительным и разнообразным, а также более легким. Остается изучить организацию общественной службы на различных уровнях, при которой каждый человек будет осуществлять себя и как телесное, и как духовное существо;

2) к достаточно узкой профессиональной ориентации, к которой человек готовится с раннего детства и которая обеспечивает каждому условия для реализации его личного призвания. Эта ориентация должна учитывать не состояние "рынка труда", а состояние обстоятельств труда и, заботясь о хорошей их организации, обеспечивать свободную конкуренцию в выборе профессий. Все эти меры требуют конкретного рассмотрения, чтобы определить надежные инструменты, обеспечивающие эффективность предпринимаемых усилий, при этом надо следить за тем, чтобы место анархии не заняло коллективное принуждение, которое может быть столь же отвратительным. Данная формулировка весьма неопределенна, но она тем не менее выражает фундаментальное требование: технологам надлежит придать ей конкретное выражение.

10. Режим труда, связанный с ускорением роста механизации, существенным образом развил элементы принуждения в нем. Капиталистическая диктатура везде, где она существует, заставляет человека ощущать себя подневольным существом, работающим по команде и в режиме, который навязывается ему вопреки его желанию; это анонимное принуждение оказывается еще более угнетающим и бесчеловечным в крупных центрах, являющихся результатом индустриальной концентрации. Автоматизм движений и однообразие продуктов труда доводятся до предела в серийном производстве. Наконец, разделение труда мало-помалу отделяет работника, выполняющего ручные операции, от результатов его работы и осознания ее смысла, являющихся главными стимулами любого нормального труда. Труд, который должен быть личностным творчеством, предстает всего лишь в качестве несовершенного опосредующего звена в отношении между материей и машиной. Вот таким образом в лице экономического пролетариата мы имеем одновременно и обезличенный, утративший собственно человеческие свойства пролетариат; он являет собой самые нищенские слои этого строя, но он же — и приговор этому строю.

Ответственность за такое положение дел несет не механизация, а та направленность, которая ей была задана ее руководителями. В конечном итоге именно механизация освободит человека от всех видов автоматического труда, то есть от всего того, что лишено человечности. Посредством снижения цен она, впрочем, сделает доступным для всех тот минимум благосостояния, который необходим для духовной жизни и который определяется жизненными потребностями, а не стремлением к комфорту. Труд завтрашнего дня, все более автоматизированный и скучный, но все более короткий и распределенный между всеми, освободит пролетариат, если соответствующий социальный строй в самом деле

захочет пойти на это: машина создаст новый, более квалифицированный по сравнению с прежним тип ремесленного рабочего, а досуг обеспечит ему, если он на это согласен, более человеческую жизнь.

11. Если труд ценен только количеством продукции или обогащением, которое является его результатом, то вознаграждение за труд будет начисляться в соответствии с обычными правилами рентабельности и временными пактами, заключенными в ходе денежных баталий.

Именно таким образом капитализм рассматривает труд, превращая его в товар, подчиненный игре спроса и предложения с различными системами замкнутых оценок, которые соответствуют не столько значимости выполняемых функций, сколько уровню буржуазной престижности. Если капитализм стремится поднять заработную плату, то опять-таки только по соображениям прибыли: поднимая уровень производительности труда рабочих и их покупательной способности, он выигрывает в производительности больше, чем теряет в зарплате, и не боится умопомрачительно поднять зарплату, поскольку вслед за этим с помощью бесконтрольного кредита он сведет на нет все сбережения рабочих. В период кризиса он меняет свою политику и вместо высоких зарплат, осуществляет дефляцию, чтобы свести к минимуму потери в прибыли.

Марксизм проводит ту же самую игру, когда пытается установить заработную плату на основе количества труда, считая кражей то, что капиталистический патрон считает законным присвоением.

И фактически и юридически невозможно и неправомерно устанавливать отношение между зарплатой и выполненным трудом (оценка которого зависит от всей шкалы ценностей). Будем называть заработной платой в самом общем плане вознаграждение за труд. Мы не за и не против заработной платы. Мы ведем речь об определенном режиме наемного труда. В любом индустриальном обществе всегда будут существовать люди, которые командуют, и люди, которые подчиняются, даже если первые являются представителями вторых. В нем всегда будет существовать наемный труд, даже всеобщий наемный труд; что касается свободно действующего неподконтрольного в своих прибылях патрона, то он должен постепенно исчезнуть. Только тогда, когда не будет капиталистического наемного труда, мы сможем забыть само это слово, поскольку оно вызывает скверные воспоминания.

Следовательно, надо взять за правило то, что "зарплата" в сущности не может измеряться количеством труда, поскольку труд, обладая личностным содержанием, не поддается измерению; "зарплата" даже тогда, когда она является вознаграждением за автоматический труд, должна быть нацелена не на его производительность, а на человека.

"Зарплата" должна рассчитываться следующим образом:

1) чтобы обеспечить существование работника и лиц, законно находящихся на его иждивении; такова первейшая функция труда ("жизненная зарплата"); этот минимум ни в коем случае недопустимо переступить, он должен быть соотнесен с уровнем жизнеобеспечения ("реальная зарплата");

2) чтобы обеспечить работнику достаток и соответствующий уровень подготовки, которые позволят ему вести полноценную человеческую

жизнь (то, что называется неправомерно зауженным термином "культурная зарплата");

3) чтобы отвечать нуждам предприятий и общей экономики; речь, конечно, идет не о том, что режим привилегированного положения должен стоять над зарплатой, рассматриваемой как первая из напрасных трат, урезаемая в эпохи кризисов, а о том, чтобы с достаточным основанием осуждать известные формы политики в области зарплаты, направленные на ее повышение или понижение, которые вносят дисгармонию в справедливую экономику (увеличивая, например, техническую безработицу).

Учет валового продукта, когда его количество будет легко поддаваться оценке, должен включаться в дело лишь во вторую очередь, как бы в качестве катализатора повышения заинтересованности (система премий).

Наемный труд, который в современных условиях зависит не от справедливой социальной власти, а от денежной олигархии, в этой своей форме должен исчезнуть и быть заменен формами, которые еще предстоит определить, но которые связаны со строем совместного владения и соответствующего ему совместного управления.

Июнь 1933 г.

8. О собственности¹

Проблема собственности еще до того, как она становится проблемой распределения благ, является проблемой положения человека: это не столько проблема различных видов собственности, сколько проблема собственника.

Поставим прежде всего вопросы: что такое обладание, почему люди обладают?

1. Обладание является деградированным субстратом бытия. Имеют то, чем не могут быть, но что-то находится в человеческом обладании лишь в той мере, в какой люди пытаются быть вместе с этим нечто, то есть любить его. Буржуазное зло состоит в стремлении обладать, чтобы избежать бытия.

2. Человеческое обладание располагается в регистре между тем, что легкодостижимо, и тем, что принадлежит сфере абсолюта; оно лежит там, где перекрещиваются многие антиномии.

Личное обладание требует отклика личности, оно предлагает себя многочисленным объектам, индивидам, массам, анонимным по своей природе или ставшим таковыми в силу потери собственной энергии.

¹ Для более подробного знакомства с моими пояснениями и обоснованиями см. мою работу *De la propriété capitaliste à la propriété humaine / Esprit*, avril 1934. Данная заметка была написана до переиздания статьи в книге *Mounier E. Oeuvres*. V. I. Paris, 1961.

Личное обладание устремлено к бесконечности; всякое же отдельное обладание одновременно и актуализирует его, и обманывает его надежды.

Личное обладание является желанием иного и в то же время стремится к тому, чтобы самому не потеряться в нем целиком.

Современный мир не только не сумел преодолеть эти антиномии, но лишил их животворного духовного содержания: он лишил объект всего святого, присутствия, способности сопротивляться буржуазным вождениям.

3. Результатом этого явилась деградация человеческого обладания, этапы которого можно описать следующим образом:

На уровне, который можно было бы назвать героическим, *обладание-завоевание* находит свое завершение в приключении, затем в более общих удовольствиях победы и успеха, наконец, в господстве и исключительности, которые возвещают притупление чувства победы, ибо они стремятся утвердить бесспорные гарантии обладания объектом, который полностью подчиняют себе. Капитализм способствовал этому притуплению, используя преимущества механизации, умножающей объекты обладания и делающей их более доступными, особенно там, где речь идет о самопроизводстве денег, которые бесконечно умножают средства власти.

Когда завоевания становятся легкоосуществимыми, мы незаметно переходим к *обладанию-наслаждению*; будем понимать под этим пассивное наслаждение, которое отвергает выбор или преданность и в большей мере зависит от объекта, чем объект зависит от него, и, даже если оно производит впечатление активного наслаждения, оно все равно подчиняется закону монотонности.

Когда владелец полностью оказывается во власти обладания, он скатывается к *обладанию-комфорту*. Идеалом желаемого блага тогда становится механическое безличностное благо, автоматически доставляющее удовольствие, без риска и напряжения (типы: машина и рента). Обладание становится пассивной привычкой, сопровождаемой чувством безопасности и неприкосновенности: одержимый обладатель.

Любая реальность растворяется в обладании и в объекте обладания; совершенный собственник, согласно буржуазной морали, дорожит уже только престижем обладания, как таковым, и правами, которые оно ему предоставляет. Эту стадию мы называем стадией *собственности-престижа*; за ней следует стадия *собственности-притязания*.

Все эти стадии сегодня смешались в нуждах каждого человека.

4. Подлинное обладание — это не обладание ради престижа или удовлетворения претенциозности, а внутренний, то есть личностный, взаимообмен, осуществляемый между тем, кто обладает, и тем, чем обладают, их слияние, сохраняющее своеобразие каждого из них.

Обладание — это не право завоевания мира, а возможность господства над уже упорядоченным миром. Следовательно, оно требует того, чтобы я научился распознавать присутствие в вещи и в своей собственной личности; обладать можно только тем, с чем ты согласен.

Также можно сказать, что обладать можно только тем, что любишь. Но здесь надо идти до конца, ибо любовь способна обернуться эгоизмом; обладать можно только тем, чему отдаешься, а в некоторых случаях — и это не было бы парадоксом — тем, что отдаешь: освобождение от всего преходящего, щедрость, самоотверженность — вот в чем состоит путь к духовному совершенству; вот так-то, собственники, дорожащие своей безопасностью, любовью, ложью, идеями, добродетелями и пороками; такое отречение от собственности (которое христианство доводит до окончательного предела) образует самую душу подлинного обладания.

5. В свете того, что мы теперь знаем о духовных предпосылках обладания, нам необходимо рассмотреть, каким образом оно уточняется в правовом отношении и организуется, исходя из своего статуса.

Под правом собственности мы понимаем не только право каждого человека иметь собственную природу. Человек — это личность, находящаяся перед лицом природных благ и осуществляющая выбор. Этот выбор не имеет никакого отношения к духовным благам, которые являются неисчерпаемыми. Материальные же блага конечны, если иметь в виду их количество, а это ставит проблему *распределения*. Но даже если бы они бесконечно умножались, своеобразие предпочтений все равно жестко поставило бы проблему *назначения, конкретного использования*; обе проблемы содержат в себе безусловное *исключение* (потребительские блага) или частичное исключение (блага наслаждения).

Поставленная таким образом самой природой благ проблема "частной собственности" осложняется предрасположенностью одержимого страстями человека к зависти и исключительности.

Таким образом, с обеих точек зрения возникает необходимость определенной организации собственности.

6. Проблема основания собственности — это не проблема купчей крепости. Она неотделима от использования собственности, то есть от ее целевого назначения. В перспективе, о которой мы ведем речь, собственность не создается ни для "индивида", ни для "общества", она создается для личности и сообществ, реализующих личность. Собственность является функцией, одновременно личностной и общностной. Таково правило ее использования.

7. Обе эти функции взаимно переплетаются в чисто духовном обладании. В обладании материальными благами вышеуказанные условия: распределение, назначение, исключение — диктуют характер регламентации управления ими, которое может создавать трудности для осуществления общего правила использования.

А. Точка зрения человеческой технологии: управление

8. Материально-психологическое требование к организации видов управления (то есть управления разновидностями исключających благ и личностями по отношению к ним) дает каждой личности право в пре-

делах определенной доли богатства распоряжаться им, располагать им или использовать его по назначению (первое относится главным образом к производимым благам, второе — к богатствам, уже находящимся в обороте). Это право *stricto sensu** не проистекает ни из естественного права, ни из права позитивного; оно является универсальным следствием естественного права, близко стоящего к его позитивным разновидностям (то, что издавна именуется *jus gentium***). Это персоналистское право требует известного личностного присвоения: его ни в коем случае нельзя путать с анонимным, подавляющим ростовщическим строем, который защищает капиталист под именем частного права. "Известное" — это переменная от функции модальности, которой должно определить позитивное право.

Б. Точка зрения человеческого целевого предназначения: использование

9. Между тем позитивное право должно полностью удовлетворять требования естественного права. Если, например, некоторое вторичное естественное право диктует способ личностного присвоения с меняющимися разновидностями, то первичное естественное право требует, чтобы это присвоение регулировалось на основе пользования, то есть на основе целевого предназначения собственности; это пользование по естественному праву является совместным, а исключение другого, необходимое в административном управлении благами, незаконно в их использовании. Это первичное правило является не только внутренним правилом (всякая собственность только для себя является жадностью, душевным движением собственника должно быть *общение*, а не исключение), оно имеет свои последствия в наслаждении и управлении благами, которые должны открыть пути к коммуникации.

В. Влияние использования на управление

а) Блага наслаждения

10. Использование благ наслаждения капитализм подчинил безудержному развитию производства. Мы же, напротив, должны поставить вопрос: сколько человеку нужно материальных благ, чтобы обеспечить себе человеческую жизнь?

В первооснове своей *жизненно необходимый* минимум — это минимум, обеспечивающий физическую жизнь; *лично необходимый* минимум обеспечивает жизнь человека не как индивида, а как личности, пребывающей в сообществе со всеми теми, кого естественное право ставит рядом с ней. Всякий человек имеет абсолютное право на этот необходимый минимум. Первый минимум является настолько неприкосновенным, что кража, осуществляемая по отношению к нему, становится уже чем-то большим, чем простая кража. Второй минимум — это "минимум, необходимый для осуществления добродетели".

Все, что превышает этот минимум, можно обозначить как *необходимое в широком смысле слова*. Это необходимое не определяется на

основе весьма неопределенных оценок светской престижности. Поскольку строго необходимое отвечает требованиям удовлетворения элементарных потребностей, оно должно обеспечить развитие способностей, стимулировать личностное развитие. Таким образом, мы можем принять следующее положение: каждому по потребностям (если эти потребности не подогреваются искусственным образом и не растут бесконечно, как это бывает с потребностями индивида), соответствующим движению личности, развивающейся согласно собственному призванию.

Это значит, что проблема собственности неотделима от проблемы богатства. Мы жертвуем им ради идеала бедности (или, если хотите, ради идеала простоты), одинаково враждебного и к нищете, и богатству (нищете богача). Минимум и максимум обеспеченности в равной мере необходимы для духовной жизни. Богатство — это накопление. Только простота достигает того величия, которое ищет богатство; впрочем, простоте не свойственна скупость, она может быть связана со значительным увеличением расходов.

11. Индивидуальное богатство начинается с обладания излишеством. Мы говорим здесь *об абсолютном излишестве* (то, что находится за пределами необходимого в широком плане, которое в свою очередь может быть названо *относительным излишеством*). Поскольку это излишество уже не привязано к своему держателю личностными потребностями, оно входит в совокупность естественных благ.

Оно входит в нее уже потому, что существуют нуждающиеся люди. Отцы церкви согласны в этом с Пруденом, когда говорят о краже, если это излишество изымается из жизненно необходимого для другого, и по меньшей мере о большой жадности, если оно вычитается из лично необходимого. В этом плане обязательство является одновременно предписанием и справедливости и милосердия.

Но то, что идет от требований нуждающихся, остается недостаточным, оно достигает богатства только в непосредственных, крайних случаях. Если бы нищета однажды исчезла, то она оставила бы свободное поле действий. Поэтому обязательство передачи излишка диктуется только соображениями справедливого распределения и спасения личности, которую богатство душит.

Долг распределения излишка, уточненный таким образом, — это непосредственный долг справедливости и милосердия. Он нацелен на всю целостность абсолютного излишка и требует от нас освобождения от гнетущей заботы о завтрашнем дне, к которой нас приучила буржуазная осмотрительность. В особых случаях он может распространяться даже на относительно необходимое (необходимое в широком плане), по меньшей мере в качестве серьезной рекомендации. Нуждающийся — это не субъект внутри общественной справедливости, а тот, кто в гораздо большей мере является выразителем требований общего блага.

Это распределение излишка не может происходить через милостыню, благодеяние или милосердие (в современном значении этих слов), которые часто бывают унижительными, высокомерными или горделивыми и всегда случайными и частичными.

Оно требует, чтобы излишек во всей его целостности функционировал в соответствии с основополагающим принципом щедрости, а не самооценности денег: "деньги созданы для того, чтобы быть истраченными". Таким образом, подвергается осуждению (как и, впрочем, безудержная расточительность) любая форма накопления сокровищ: будь то необрабатываемые земли, наличные деньги, запасы и т. д.

б) Производительные блага, или орудия производства

12. Совместное пользование оказывает влияние на порядок управления и производства с учетом материальных условий последнего.

Личная ремесленная мастерская предлагает нам следующую схему: человек выделывает предмет после того, как создает свои орудия производства или покупает их на свои сбережения; он сам использует этот предмет или продает его своему соседу. Современное предприятие заменяет эту схему другой: разобщенные люди (рабочие, дирекция, мозговой трест, держатели фондовых средств), имеющие разные цели, передают продукты производства посредникам, которые распространяют их среди огромного числа неизвестных потребителей. Этот механизм, имеющий глубокие пороки, тем не менее представляет собой определенный шаг вперед, и было бы безумием стремиться вернуть его к ремесленному состоянию под тем предлогом, что таким образом осуществляется возврат к "конкретной" личной собственности. Отметим, что этот механизм сформировался из коллективных личностей и что естественное право на личное присвоение переносится на них в большей части производства, превращаясь в этом плане в право со-владения.

13. Однако капитализм реализовал нечто иное: он растворил личность патрона в безответственной анонимной власти денег и все предприятие подчинил гнету этой финансовой диктатуры; экспроприируя наемных рабочих, он лишил их заинтересованности в выполнении собственных задач и обрек их либо на ненависть, либо на отчаянное желание занять место патрона. Капитализм, претендуя на защиту ценностей личной собственности, на практике отрицает их и оставляет право на нее только за теми, кто принадлежит к числу привилегированных лиц, да и делает это чаще всего в карикатурном виде. Частично коллективная организация, как мы ее понимаем, основывающаяся не на некоей системе, а на коллективных личностях, обремененных ответственностью, только и делает возможным спасение самих этих ценностей, приспособлявая их к материальным условиям нынешнего времени.

14. Вот основные направления этой революции.

В управлении капиталом:

переход капитала в руки трудящихся и ответственных организаторов. Доходы распределяются по четырем статьям после того, как обеспечиваются общие службы предприятия: единообразная и не скованная рамками заработная плата; участие в доходах, пропорционально коэффициенту заработной платы и стажа; доля пожизненного использования,

накапливаемая для пенсионного обеспечения и вновь отходящая к предпринятию после смерти заинтересованных лиц;

организация кредита и контроль за ним;

упразднение в соответствии с законом всех форм ростовщичества, спекуляции и самовоспроизводства денег.

В управлении производством:

коллективный контроль (не общегосударственный, а децентрализованный, с участием государства) за предприятиями, имеющими важное общественное назначение;

организация всех других предприятий в федеративные сообщества по осуществлению производств;

кооперативное объединение продолжающих существовать ремесленных предприятий;

устранение во всей необходимой мере паразитов-посредников;

ориентация экономики не на прибыль и бесконечный рост комфорта, а на реальные потребности и расширение общего блага.

в) Право вмешательства со стороны государства и его пределы

15. Выше мы определили деонтологию* собственности, которая в принципе достаточна для обеспечения человеческого порядка. Факты показывают, что сам человек без принуждения не подчинится ей. Вот тогда и наступает право и долг государства на вмешательство от имени общего блага. Мы являемся антиэтатистами в той мере, в какой должно быть сведено к минимуму в пользу личностей и естественных коллективов пространство, занимаемое государством; мы, однако, считаем, что как раз в том, что и составляет его функцию, что касается юрисдикции общего блага, ныне наблюдается дефицит власти государства.

Государство является не собственником, поскольку оно не личность (индивидуальная или коллективная), а властью юрисдикции. Однако в связи с тем, что личности не способны осуществлять свои обязанности собственников, оно имеет по отношению к ним право на принуждение и в его гражданской части может использовать его от имени общего блага, а затем во имя отбираемой у него власти — посредством экономического принуждения.

Прежде всего оно должно предупреждать идущие от личностей нарушения, которые ныне широко утвердились, фиксируя институциональную организацию собственности, которая обеспечивает осуществление ее целей.

Затем оно должно своей властью обеспечить (поскольку это отвергается) распределение богатства в соответствии с минимумом (абсолютный излишек) по мере того, как такое богатство возникает. При этом должно сочетать (чего не делает ныне существующий государственный налог) обязательный процент отчисления и регулируемую свободу ассигнования. Проблема наследования в той мере, в какой она начинает все отдавать на волю случая, несправедливости и беспорядка, будет разрешена: 1) посредством регламентации деятельности руководителя предприятия; 2) посредством узаконенного уничтожения процесса образова-

ния сокровищ и регулируемой организации обращения; 3) посредством упразднения дохода без трудового вклада.

Наконец, по отношению к ныне существующему своду законов о собственности государство может рассматривать в качестве "приобретенного права" только то, что имеет своей основой личную заслугу, а не то, что вытекает из различных форм ростовщичества или самопроизводительности денег. Оно, кроме того, обладает правом на экспроприацию (уже осуществляемую им), когда на карту ставится общественный интерес или когда возникает угроза его законной власти. Для обеспечения справедливости оно должно при переходе от старого строя к новому компенсировать только подлинно человеческий капитал, полученный от реальных личных вкладов, если человек сможет представить соответствующие доказательства и внести свою лепту в лояльное сотрудничество.

Март 1934 г.

9. Открытое письмо о демократии¹

Париж, 20 февраля 1934 г.

Господин,

моя чрезмерная занятость стала причиной задержки с моим ответом на ваше "Открытое письмо". Чрезвычайные события, которые мы переживаем, придают трагическую окраску поднимаемым вами проблемам. К счастью, вы избрали для их постановки ту область, в которой политически активная публика чувствует себя особенно дискомфортно, разрываясь между собственными демократическими привязанностями, духовными устремлениями и революционными надеждами (которые в той или иной степени зависят только от вас). Вы призвали нас, молодых людей из "Эспри", прислушаться к голосу нашей собственной совести: позвольте и мне потребовать то же самое от публики, на которую вы ссылаетесь. Такое взаимное устремление, несомненно, позволит нам увидеть, не являются ли "распри", разжигание которых вы нам приписываете, вашими собственными распрями, усиливающимися как раз в тот момент, когда вы пытаетесь объединить способы действия, которые вы всегда считали разобщенными или переживали их в качестве таковых.

Необходимо сделать выбор. Вы сделали выбор между 1890 и 1914 годами. Вся драма, разыгрывающаяся между вами и нами, состоит в том, что мир перевернулся, что диспозиции оказались нарушенными и что с помощью словесной аргументации, которая помимо вашей воли является обманчивой, вы предлагаете нам *тот же самый* выбор, то есть для нас — выбор по отношению к прошлому, к академическим данностям, чтобы ответить на вопросы, которые ставит новый мир. Вы своей значительной частью принадлежите — и это объясняет многое вплоть до

¹ Это письмо является ответом на "Открытое письмо Эмманюэлю Мунье", опубликованное в "Об" ("L'Aube") 21 января 1934 г. Оно было воспроизведено в той же газете от 27 февраля, и за ним последовали уточнения.

того, откуда идет ваше бесспорное внимание к живой истории — к довоенным республиканцам: республиканцам 89 года по идеологии, 75 года — по щедрому оптимизму, 1905 года — по стилистическим огрехам. Вместе со всеми страхами тогдашнего времени: Мак-Магоном, Буланже и Моррасом — вы находитесь справа, что касается "пропасти" или социалистической "иллюзии" ("пропасти" для романтиков, "иллюзии" для классиков и "реалистов") — слева. Либерально-парламентская республика, такая, какой вы ее знали, и потому, что вы ее знали как молодую и находящуюся под угрозой, стала для вас чем-то вроде естественного святого таинства. Такова, если говорить по существу, атмосфера, в которой возникли все ваши формулировки.

Я знаю, что мы покажемся вам неблагодарными. Что вы хотите — признательности? Так это добродетель историков. А молодость, жизнь, творчество — они всегда неблагодарны. В конце концов они отыскивают лишь то, что сначала отрицали... Тот, кто в двадцать—тридцать лет озабочен гарантиями и выражением почтительности, начинает рыть себе могилу. Если вы и дали нам какие-то жизненные богатства, то вы сами признаете, что это *безвозмездный* дар, и нам на его основе предстоит разведывать новые неизведанные земли, что будет удивлять вас подобно тому, как сын удивляет отца. У нас, молодых, пустившихся в захватывающее приключение по растерзанному миру, хватает своих иллюзий и промахов. Заботу об этом мы передадим нашим детям...

Следовательно, мы обращаемся к вам, чтобы изложить суть нашего миропонимания, и говорим: вы, сами того не ведая, разбудили силы будущего, да, это так; а мы сегодня вынуждены непосредственно бороться с этими силами. Не требуйте от нас решения предшествующих проблем, уже получивших решение или уже устаревших. С Моррасом покончено, сегодня речь идет о Муссолини, Гитлере, Сталине. Светскость вышла из моды: ныне вопрос стоит о своего рода материалистическом и диалектическом атеизме. Либерализм потерял доверие: ныне речь идет об организации сообщества, чтобы спасти в нем свободу. "Социалистическая иллюзия", я хотел сказать — ремесленный социализм избирательных комитетов, девальвирована, от нее осталась одна революционная доктрина: коммунизм, перебежчики не в счет; наконец, структуры, освобожденные от груза прошлого, которые до сих пор назывались социалистическими; добрая их часть вызвана к жизни развитием техники или заботой о спасении человека, и они только и ждут своего нового духовного наполнения. Умерла также и оптимистическая республика здравомыслящих людей. На пороге, разделяющем детство от юности, мы пробудились к жизни в обстановке лжи и смерти. Но идея величия не оставила нас. Миллионы нищих заняли место миллионов убитых и обманутых. Народы выходят из тени многовекового молчания. Одни цивилизации рушатся, другие возникают. Появляются варвары. О времени, в которое мы родились, нельзя сказать, что человек в нем потихоньку скользит по наклонной плоскости традиционных путей и это обеспечивает ему устойчивость. Мы сами делаем себя в мире в соответствии с законами творчества. Поэтому сейчас не время оглядываться назад.

И тем не менее мы не отделены от того, что предшествует нам. "Великая демократическая традиция" — да. Но где она?

Не подумайте, что я, обращая внимание на разные частности, хочу скрыть необходимость выбора. Итак, начнем с грубого выбора. Назовем *тоталитарным строем* всякий строй, при котором денежная, классовая или партийная аристократия (будь она в меньшинстве или в большинстве), навязывая свою волю, берет на себя определение судеб аморфной массы, даже если последняя согласна на это и пышет энтузиазмом, тем самым показывая, что руководствуется иллюзией осмысленности. Примеры на различных уровнях: капиталистические и этатистские "демократии", фашизм, сталинистский коммунизм. Назовем *демократией*, используя все возможные эпитеты в превосходной степени (что требуется для того, чтобы не спутать ее с разного рода подделками под нее), строй, который основывается на ответственности и функциональной организованности всех личностей, образующих социальное сообщество. В таком случае мы стоим на стороне демократии без каких-либо оговорок. Добавим, что сбитая с пути в самом начале своими первыми идеологами, затем задушенная в колыбели миром денег, *эта демократия еще никогда не была осуществлена на деле и что она только зарождается в сознании людей.*

Добавим, в частности, что мы склоняемся к ней не по соображениям собственно или исключительно политического или исторического характера, а по мотивам духовно-человеческого порядка. Это значит, что мы не принимаем ее без ряда существенных уточнений. *Политические* принципы современной демократии: полновластие народа, равенство, индивидуальная свобода — не являются для нас абсолютными. Они подлежат оценке с позиций нашей концепции человека, личности и сообщества, в котором она осуществляется.

В духовном плане, на который мы опираемся, свобода выбора понимается нами как условие, предоставляемое личности для осуществления своей ответственности, выбора своей судьбы и принесения себя в жертву этой судьбе при постоянном контроле за средствами, какие она использует. Сама по себе свобода выбора не является целью, она лишь материальное условие, позволяющее человеку брать на себя обязательства по включению в действие. Подобно негативной теологии или критической позиции, она оправдывает себя только посредством утверждения, к которому приводит. Она достигает полного расцвета только при условии автономии личности, которая в то же время целиком принадлежит сообществу. Это то, что касается нашего противостояния либерализму. Понимаемая таким образом свобода должна быть ограничена в используемых средствах, если она становится на путь угнетения: это то, что касается нашего противостояния экономическому либерализму.

В том же плане равенство может означать только равнозначность личностей, которые несоизмеримы друг с другом, если иметь в виду их особенные судьбы. Неравным возможностям творчества должны быть предоставлены и неравные средства для реализации, но мы выступаем против всякого строя, который, признавая функциональные различия, тяготеет к установлению классовой иерархии и иерархии престижности.

Широко распространенная мистификация элиты и аристократической революции — это главная опасность, угрожающая ныне духовной революции¹.

Доктрина народного суверенитета, наконец, для нас пустое место, если она имеет в виду неорганизованное множество людей или основывается на наивной вере в непогрешимость народа. Практически она в популярной форме выражает следующую истину: необходимое социальное единство достигается не в абстракции, не вне отдельного человека или аристократических слоев, а путем функциональной организации множества людей. Персоналистский строй — это такой строй, который отводит *всем* личностям и каждой личности в отдельности только ей принадлежащее место, соответствующее ее собственным дарованиям, зависящее от экономики общества и его благосостояния, обеспечивая ей участие в жизни человеческой целостности; таким образом он постепенно стремится свести на нет то бесчеловечное и опасное состояние, в котором человек пребывал, являясь всего лишь пассивным объектом управления. Такого рода объектом человек может быть лишь тогда, когда он добровольно посвящает себя служению непогрешимому людскому множеству или столь же непогрешимому отдельному человеку: только индивиды, каждый на своем посту, делают институты добродетельными, однако последние должны уметь выстоять под напором индивидуальных несовершенств, так чтобы суверен (народ или индивид) не смог использовать их в собственных интересах. Если следовать словам Гурвича, то демократия — это господство не множества, а права². Как и всякий политический строй, она держится на относительном равновесии между властью и испытываемыми ею влияниями, а также на относительно неконтролируемой диктатуре, вот и все.

Что следует из этих положений в политическом плане? Либерализм без всякой дисциплины, эгалитаризм посредственности, сумятица, по поводу которой "Комеди Франсез" недавно так взбудоражила свою публику, что пришлось присылать жандармов?³ Совсем нет. И нам вовсе не хочется зарабатывать дешевую популярность, намеренно смешивая реальную демократию и либерально-парламентскую демократию.

Но эта реальная демократия, которую мы только что вкратце определили, *представляет собою будущее, подлежащее осуществлению, а не уже существующее завоевание, которое следует защищать*. Нынешняя "демократия", та самая, от которой вы не хотите отказываться, жизнь которой вы не замечаете, является, как было сказано, опороченной уже в своих первоисточках извращенной идеологией, а в своем осуществлении — господством денег.

Идеология, с которой мы сражаемся и которая все еще отравляет всех демократов, в том числе и христианских, — это идеология 89 года.

¹ Именно она отделяет нас от известной "Правой молодежи" ("Jeune droite"), несмотря на некоторое сходство в принципах и отдельных решениях, акцентирование которого пришлось по душе и примирительной, и вероломной критике.

² Lacroix J. La démocratie et la souveraineté du droit / Esprit, mars 1935.

³ На представлениях "Кориолана"*.

Нет, 89 год — это не Люцифер. Существует душа французской революции, которой мы все еще живем и живем во здравие, но в идеологической надстройке она оказывается тем же, чем является профсоюзное рабочее движение, например, для партий и теорий, присвоивших его себе. Не стоит осуждать и то и другое одним махом. Мы выступаем против индивида, лишённого субстанциальности и телесно-духовных привязанностей, оградившего себя крепостью, построенной из собственных предчувствий и притязаний, и выдающего себя за абсолюта; свободы, рассматриваемой как цель в себе безотносительно к тому, чему она может посвятить себя до такой степени, что даже выбор и приверженность будут выглядеть как недостойные ее величия деяния; не имеющего смысла равенства между безликими и взаимозаменяемыми индивидами, когда пролетарий объявляется идеалом гражданина; политического и экономического либерализма, который сам себя разъедает; чисто негативного противостояния социализму, привязанности к абстрактному и лживому парламентаризму, который повсюду изо дня в день покрывает себя позором. Подобная демократия отрекается как от целостной и своеобразной личности, так и от органического сообщества, которое должно связывать личности друг с другом; история последних полутора лет прекрасно свидетельствует об этом.

Мне хорошо известно, и ваше *письмо* подтверждает это, что вы в значительной мере согласны с такой критикой. Боюсь только, что вы поддерживаете ее из острого чувства неудовлетворенности, а не радикально, не по существу. Многих христиан-демократов мы как раз упрекаем в том, что они не дают решительного отпора всяческим идеологическим вывертам и не стремятся в должной мере опираться на великую дерзновенную традицию, которая вела бы их вперед, не позволяя колебаться и воздерживаться или идти на поводу у крайне непростой реакции.

Более того, демократическая лживость капиталистического строя разоблачена еще недостаточно. Капиталистическая свобода, если использовать его же формулировки и оружие, которым он ее снабдил, сначала отдала либеральную демократию в руки олигархии богачей (классово-государственной олигархии); затем, на последней стадии, — в руки этатизма*, находящегося под контролем крупных банков и крупной промышленности, которые не только захватили скрытые командные рычаги политического управления, но и подчинили себе прессу, общественное мнение, культуру, а иногда и самих представителей духовности, чтобы диктовать волю одного класса и моделировать все, вплоть до устремлений масс, по образу своих собственных устремлений. Капиталистическая демократия — это демократия, предоставляющая человеку свободы, которые капитализм отнимает у него. Равенство? Здесь провозглашается юридическое равенство и особенно то, что выгодно самому капитализму, — равные шансы всех в погоне за деньгами: это лицемерие при строе, где, несмотря на отдельные преуспевания (нередко обязанные своим существованием насилию и ростовщичеству),

на некоторые ревностно охраняемые достижения, образование и командные функции в целом являются кастовой монополией, где в любой области санкции по-разному карают богатых и слабых. Наконец, народный суверенитет здесь не что иное, как обман: политическое государство представляет не людей или партии, а массы утомленных, обезличенных "свободных" людей, голосующих все равно как и добровольно идущих в подчинение капиталистическим магнатам, которые через парламент и прессу поддерживают это безысходное унижение.

И здесь опять-таки я вспоминаю прочитанные в вашем, господин, письме резкие слова против коррупции, которая разъедает нас. Не будем умалять остроту проблемы: речь идет о смене немощной демократической структуры изжившей себя капиталистической структурой. Речь идет не об очищении, а о том, чтобы решительно переделать самые основы всех социальных структур и сверх того — сердца людей, но это нечто совсем иное. Во всяком случае низвергнуть стену, возведенную из денег, и разоблачить мистификации фашизма мы не сможем, если будем деликатны по отношению к старым добрым временам.

Радикальное изменение всегда называлось революцией. И если одно это слово вызывает страх, то боюсь, как бы тот же страх не вызвало и само революционное деяние. Действительно, ни одна революция не обходится без некоторого насилия. Но опыт совсем недавних дней¹ показал нам, что колебания правительства могут привести к еще большей крови, чем волевая решимость. Он также демонстрирует всем сомневающимся, что отныне проблема состоит не в том, чтобы выбирать между революцией и полумерами; сегодня речь идет исключительно о выборе между революцией, которая спасет человеческие ценности, и полумерами, которые их удушат.

Вот почему молодость, чувствующая себя свободной в своей вере и волеизъявлении, поворачивается лицом к вам, человеку, защищающему прошлое, и говорит вам:

Великой демократической традиции — да. Но отнюдь не мелким. А для великой — великие пути.

Февраль 1934 г.

III. МЕТОД И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Реформизм и революция

Поблагодарим Гаррика за то, что он столь четко поставил проблему: "Если революция не свершается, если она не происходит, неважно, по их ли вине или нет, то что им остается делать со своей жизнью?"² Немного позднее Франсуа Мориак, предпочитающий наказание, нежели увещание, предлагал ударить по рукам этим наивным и неуравновешенным молодым людям, чтобы помешать им напускать демонов на

¹ 6 февраля*.

² Revue des Jeunes, 15 fevrier 1933.

провинциальную буржуазию и пишущееся с большой буквы слово "Родина"¹.

Гаррик, Мориак... Нет надобности говорить, что нам хорошо известно, во что они верят и как они верят. Когда видишь, что они в своем отказе отвергнуть современный мир, несмотря на всю суровость их отношения к нему, которую они добровольно демонстрируют пред ним, примыкают к третьесортной партии тех, кто имеет выгоду от своей партийной принадлежности, то возникает проблема более серьезная, чем проблема искренности. Попробуем разобраться в этом.

Революция, хорошая ли, плохая ли, совершилась в России, в Германии, в Италии; она чуть было не разразилась в Бельгии, Швейцарии, Испании (вторая по счету); десятки миллионов безработных ежедневно питают надежды на нее; опора строя, американский колосс, заколебалась в своих основаниях. И если сегодня, когда революция надвигается со всех сторон, слышишь, как они говорят, словно о молодежной моде или о выражении, является ли она вежливой или нет, оценивая ее по меркам нашего обычного словоупотребления, то невольно задаешься вопросом, какая же катастрофа должна потрясти историю, чтобы ее могли заметить наши доморощенные деятели.

Все дело в том, что речь идет отнюдь не о словах, как это пытаются представить. Да и слова уже не просто слова, когда они вызывают столько эмоций. "Это слово — "революция", и оно у всех на устах"²: чувствуете, как нарастает раздражение, потому что спор не состоялся, потому что надвигается размежевание, потому что незаметно возникает чувство стыда. Слово ранит их, но они не знают, где эта рана. Они пытаются скрыть стеснение, прибегая к поспешным речам, что вовсе недостойно их.

Нам скажут, что это утратившие новизну общие слова, которые сегодня встречаются во всех журналах, у всех партий. А искали ли вы вообще новизну? Когда в самом начале мы употребили данное слово, то сделали это в противовес своим защитным реакциям и особенно своей успокоенности. Ни мода, ни внешние влияния не толкали нас на это. Светские пустомели, паразитирующие на рождении идей, еще не открыли его для себя, читая по утрам "Нувель ревю франсез", и мы помним все те предосторожности, к которым мы прибегли, чтобы не вызвать по отношению к нему у широкой публики более резкой реакции, чем недоброжелательность и предубежденность. Мы приняли слово "революция" со всей серьезностью. Мы взяли на себя обязательство полностью — всей жизнью, всей душой — включиться в нее и сделали это не ради слова (пусть оно отправляется на свалку, если в запасе есть другое слово, которое не было бы ни тарабарщиной, ни уверткой), а ради той человеческой надежды, которую оно содержит в себе. Да простят нас за то, что мы сами не можем взирать на него извне, спорить о нем, как это делают лингвисты или литераторы, основываясь на

¹ Écho de Paris, 25 mars 1933.

² François Mauriac / Écho de Paris, 25 mars 1933; Annales, 10 mars 1933.

переменчивости моды. Мода даже на самые дорогие для нас блага проходит, удаляется, потом возвращается снова: стоит ли забивать себе этим голову? Общее слово, говорите вы; тогда что же, такими же общими словами являются и любовь, и человечность, и дух, и порядок, господин Мориак, и милосердие, господин Гаррик?

Но вы продолжаете настаивать: "Дело более серьезно. Это слово нечисто". Что же, надо суметь понять друг друга.

Если речь идет о порочности воображения, то зло не столь серьезно. Мы боимся крови, баррикад: кровь, но существуют десятки способов проливать ее; строй, обрекающий миллионы на жизнь в нищете, ежедневно лишает крови миллионы людей; а когда он проливает ее, то ему не удается сразу же сделать это во всемирном масштабе, поскольку чувство интернационализма до сих пор обеспечивало единство народов, какие бы противоречия ни возникали между ними, но несколькими военным маневрами и парадами не понадобится много времени, чтобы дать людям, мирно прогуливающимся по улицам, со всеми их идеями, понять, что в век танков и пулеметов уже не может быть революций на улицах.

Если же речь идет о порочности метафизической, то по этому поводу мы уже давали пояснения¹ и определили свою позицию. Все слова нечисты. На битву не отправляются в начищенных ботинках и галстуках, завязанных тугими узлами.

Но я все время думаю об этом раздражении. И я весьма опасаясь, что за порочностью понятия "революция", определенные аспекты которого не лишены основания, чувствуется другая порочность. Революция — это слово, которое не отличается благозвучием и не дает успокоения: грязные руки, перекошенные лица, люди; ее сторонники — живой и тяжкий упрек всем нам. Эти люди пугают. Так что же, скажем об этом открыто и пусть в этом не усматривают никакой демагогии; мы сознательно выбираем это слово, поскольку для нас оно, несмотря ни на что, вопреки всем его порокам, обладает правотой; так уж случилось, что оно долго жило на той стороне, куда все время сыпались удары: удары судьбы, удары режима, удары полиции, на той стороне, где подавляется врожденное чувство справедливости и — скажем это специально для господина Мориака — где живая плоть людей каждодневно подвергается распятию.

Конечно же, речь идет о наших собственных делах. "Инженеры, не имеющие работы, выпускники высших школ, брошенные на произвол судьбы, художники, умирающие от голода" — вот чем объясняют их борьбу те, кто замечают язву на теле общества только тогда, когда она начинает разедать их собственную плоть. От христианского психолога можно было бы ожидать того, чтобы он по меньшей мере оставался христианином и психологом. Как христианин, он не должен выносить общее суждение о людях, если не знает их реального положения внутри общественного строя; пусть он вспомнит, что рождение христианства

¹ Appendices de Révolution personaliste et communautaire, I. (*Mounier E. Oeuvres*. V. 1. Paris, 1961).

пытались объяснять нищетой его первых сторонников. Как психологу, ему надо бы получше рассмотреть подлинные истоки и размах возмущения, которое сотрясает мир и, что еще важнее, воздействует на души с гораздо большей силой, чем необеспеченный бюджет.

Впрочем, какое это имеет значение! Непонятно, что более позорно: чувствовать несправедливость только тогда, когда она задевает вас за живое, как это происходит с простым народом, или же не обращать на нее внимание, как это делает буржуазия, поскольку ее аппетиты всегда удовлетворены. Между тем раздел между людьми проходит именно здесь, в зависимости от того, какую позицию каждый из нас занял по отношению к нищете современного мира. Гаррик сделал свой выбор: вот только его прозорливость значительно отстала от его милосердия, в чем мы и собираемся его упрекнуть. По поводу человека, который перед лицом кризиса определяет свою политическую позицию только для того, чтобы разоблачить "нищету буржуазии", "ту изматывающую все силы драму, которая вот уже на протяжении трех лет разыгрывается за стенами величественных отелей или в прелестных замках Медока* и местечка Сотерн"¹, позволительно задаться вопросом, в самом ли деле он когда-либо поднимался выше точки зрения своего класса и не являются ли приговоры, осуждающие современный мир, которые он выносит несмотря ни на что, всего лишь семейной ссорой, жалобой буржуазии, с которой плохо обошлись, обращенной к буржуазии, с которой обходятся хорошо. Истрати недавно жестко напомнил ему об этом: "Богатый молодой человек может разговаривать с бедняком лишь после того, как избавится от своего богатства, по меньшей мере от того богатства, которое ограничивает его взгляды".

Таково препятствие, стоящее на пути осознания нашей эпохи. Я имею в виду не только крупную буржуазию, но и саму устроенную и укрытую от невзгод жизнь, которая делает людей бездумно благожелательными, и несправедливость того мира, в котором живут многочисленные семьи со средним достатком. Официально признанные пороки социальной организации известны здесь каждому с детства под именем "престиж". Столкновение с полицией представляется здесь нависшим бесчестьем. Что же касается смятения человека, под воздействием этих пороков не понимающего драматичности своего положения, то здесь оно проявляется не иначе как в красочных формах; все было бы не так безысходно, если бы убийц можно было опознавать по их униформе.

Вот та опасность (скрывающаяся за буржуазной безмятежностью, даже если она и обрамляется добродетелями, как это еще нередко случается), которая угрожает человеку и которую мы неустанно разоблачаем. Не слишком ли много вокруг нее слащавости, которая притупляет восприятие трагической драмы, разыгрывающейся в мире; не слишком ли много намеренного неведения и откровенного эгоизма, этих сообщников, помогающих делать хорошую мину при плохой игре, в этих многочисленных семейных очагах, преступление которых нельзя отнести к разряду должностных. Я говорю о лучших, о тех, кто, остава-

¹ *François Mauriac* / *Annales*, 10 mars 1933.

ясь способным чувствовать отдельные беды и прегрешения, оказывается весьма строптивым, когда речь заходит об осознании социальных бед и социальных прегрешений. Но если их неожиданная доброта дает возможность на что-то надеяться, то чего можно ждать от мертвых душ, погрузившихся в воскресный послеполуденный сон, которые зачумляют землю своей посредственностью, и от того корыстного и безжалостного класса, официальное осуждение которого мы недавно прочитали даже на страницах "Круа"*: отделить буржуазию от капитализма приглашает нас г. Мориак, однако история позволяет нам проводить подобного рода отделение, не забывая о том, что является причиной, а что — следствием. Не существует в отдельности жертвы и палача: есть только палач, который гибнет от собственных же ударов. То, что г. Мориак с тайной нежностью произносит речь в защиту зла, от которого задыхается и он сам, и герои его книг, не было бы столь парадоксальным, если бы он сверх того не наделял мелкую буржуазию кротостью, свойственной нашим святым. Вот предостережения для читателей газеты, которая вовсе не зовет их вступать на путь мистики. В чем же заключалась необходимость того, чтобы они услышали такое предостережение именно от автора "Бога и дьявола"?**

"Подобный сигнал SOS посылают лишь тогда, когда весь мир кажется бесчестным и погрязшим в грехах. Такой пессимизм представляется мне чрезмерным и сугубо теоретическим"¹. Я не знаю ни одного независимого экономиста, который перед лицом нынешних катастроф без ужаса взирал бы на этот умеренный практичный оптимизм одного из вождей молодежи.

Но что противопоставляется их напору, грозящему преследовать нас изо дня в день?

Гениальность Франции, "этой скромной страны с умеренным климатом"? Метафизика косогоров, во имя которых совершается столько преступлений! Как если бы речь шла об умеренности, когда все теряет остроту, как если бы следованию формам не должно было предшествовать насильственное создание форм!

"Признание необходимости, предваряющее каждое действие"? Как если бы изначальная решимость, поляризующая любое человеческое действие, не состояла в том, чтобы пойти на штурм необходимости! Как если бы первым актом согласия человека со своей человечностью не был бы отказ от всего того, что существует, потому что бытие — это нечто бесконечно большее и бесконечно иное, нежели то, что есть. Да, верно, что надо знать, где столкнешься с препятствием, чтобы обойти его, но верно и то, что не надо его абсолютизировать. Да, факты — это наши господа и владыки, но еще более верно то, что призвание человека заключается в том, чтобы самому созидать факты. Не считаться с препятствиями, творить факты — это и есть вера. Без насилий и несправедливостей, какими чревато изначальное отрицание, как и без решимости людей (пусть самый великодушный человек знает это) мир будет спокойно усыплять собственные намерения, продолжая привычный путь.

¹ *Garric / Revue des Jeunes*, 15 février 1933.

Ссылаться на абсолют? Принимать легкие решения? Безупречная чистота, бескомпромиссное мышление? Да, если бы речь шла о том, чтобы быть более или менее непорочным, чтобы как можно меньше воздействовать на наш несовершенный мир. Как если бы мы могли, сложив руки, ждать прихода абсолютного. Разве мало мы повторяли, что готовы быть исполнителями собственных требований? И становимся таковыми, начиная с нынешнего дня. Именно потому, что мы не хотим растрачивать свою молодость понапрасну, мы отказываемся посвящать ее действию, о бесплодности которого нам заранее известно, действию, которое включается в чуждую нам систему; мы готовы посвятить свою молодость предварительному действию, результаты которого скажутся в будущем и которое потребует от нас не меньшей жесткости, самоотверженности, каждодневных усилий и лишений, чем те дела, плоды которых ощущаются сразу. Абсолютное — это то, что постоянно присутствует в действительности и в то же время существует далеко за его пределами. Что же делать для того, чтобы как можно полно овладеть реальностью?

Что это — "нигилизм" и романтизм "интеллектуалов, которые довольствуются одним чистым мышлением"? Разум обладает ценностью только благодаря предмету, с которым он имеет дело. Когда разум разрабатывает технические приемы и школьные системы, он занимается одним из своих ремесел; мы можем участвовать в этом, но такое дело не стоит жизни. Дух — это вовлечение, а вовлекаться во что-то можно лишь всей душой и на протяжении всей жизни. Наша революционная критика — это позиция, которую мы заняли перед лицом несправедливости, потом она станет усилием по созиданию справедливости. Было бы несерьезно спрашивать нас, соединяется ли наша революционная критика с живыми силами страны, — с рабочими и крестьянами? Разве дело Вольтера, Фихте, Маркса не дало своих результатов? И чтобы не быть просто учением, направленным на объединение коллективных напастей и просвещение их участников, необходимо напоминать христианину о плодотворности одного только факта присутствия духовной революции, осуществляемой до революции внешней, но полностью нацеленной на нее?

Последним из аргументов, который вместе с г. Мориаком выдвинут против нас, будет то, что в конечном итоге, ослабляя преграды, которых духовная революция не касается, мы расчищаем путь для коммунистической революции. Мы не надеемся встретиться с г. Мориаком на этих расчищенных марксизмом дорогах. Для ортодоксального марксизма мы и в самом деле являемся плесенью, выступившей на поверхности разлагающегося буржуазного организма; древесина постепенно разъедается плесенью, а затем и выбрасывается на помойку. Так что же, именно в этом и состоит тот порыв, который хотя и за нами признать, разве он есть разложение уже распавшихся душ, смерть среди смертей? Является ли наше учение марксистским? Если да, то пусть скажут нам в чем: затруднительность ответа на этот вопрос тем более возрастает, чем более игнорируются фундаментальные противоречия, разделяющие сами марксистские школы, чем более судят об этих сложных вопросах сугубо эмоционально, что связывает народную демократию со Стали-

ным. А если, признавая своеобразие нашей позиции, кто-то опасается, что мы пойдем ко дну (да, мы, бесспорно, идем на риск, но при капиталистическом строе такой риск не исключение), то, останавливая нас, не подрывает ли он доверие к духовным силам, к которым вместе с нами причисляет и себя?

Остается следующее: "А если революция не произойдет?" Не правда ли, нелепая гипотеза для любого человека, осведомленного о спектакле, который разыгрывается в современном мире? Но пусть будет так. Однако речь идет о том, чтобы анализировать не то, *что делается*, а то, *что должно делаться*. Должна ли произойти революция? Да, и ее свершение — наше глубочайшее духовное требование. Поэтому будем готовить ее, даже если наше больное общество сопротивляется, даже если завтра старый мир найдет волшебное средство, чтобы продлить свою агонию. Но и тогда ничто не будет потеряно в нашем деле, ибо для того, кто не добивается успеха, остается возможность свидетельствовать. Жизнь, которая стала великим свидетельством, не прошла даром. Мы знаем об уязвимости наших сил и о возможности поражения, но мы знаем также и о величии нашего свидетельствования. Вот почему мы без страха доводим свои цели до сведения нашей молодежи.

Март 1933 г.

2. В защиту силы

По случайному совпадению мне в руки с разницей в несколько дней попали "Свидетельство одного умершего человека"¹, повествующее о тревоге умершего без отпущения грехов, и "Похоронная песнь", которую тогда переиздал Монтерлан*. Я полагал, что упрямое общественное мнение быстро причислит эти работы к двум противоположным лагерям: либо пацифистскому, либо милитаристскому, и не ошибся. Впрочем, было совершенно очевидно, что в один из тех суетных дней, когда деятельность обретает свою определенность, их выбор придаст видимость истины этому противопоставлению, если бы для одного из них смерть не предварила такой выбор.

И тем не менее и тот и другой, бесспорно, похожи друг на друга как тональностью своих высказываний, так и своей духовной атмосферой: они одинаково ригористичны в своих суждениях и одинаково безотчетно эмоциональны, не проявляя никаких признаков нетерпения и едва обращая внимание на своих псевдосоюзников, поскольку чувствуют, что чужды им, и заботятся лишь о том, чтобы избавиться от путаницы: спокойствие силы, а также вера в добродетельность силы.

Несмотря на видимость, сила в современном мире — это великий отшельник. И мирные люди, и воинственные люди создали одинаково карнавальным ее образ, воюя за или против идола.

"Мы против всякого применения силы". Мне бы очень хотелось знать, что под этим подразумевается.

¹ Esprit, décembre 1933.

Существует физическая сила. Люди приручили силы природы. Не на них ли они осерчали? Женева находится среди гор. Я думаю, что самый чувствительный из пацифистов может подать петицию против грубого насилия со стороны водопадов или обжаловать тот факт, что остроконечные вершины гор имеют разную высоту. Эмоциональные реакции против локомотивов прекратились сами собой, как только люди увидели множество других спящих вокруг машин. Итак, мы не попали в цель.

Существует нравственная сила. Самообладание и твердость духа, говорил Аристотель, придают людям энергию, но особенно сильно их значение перед лицом опасности или смерти. Не к этому ли высокопарному стилю столько людей испытывают отвращение? Увы! "Учение о ненасилии, которое привлекает высокие души, собирает под свои знамена и малодушных. Отсутствие ненависти не обладает ценностью, ибо является всего лишь выражением страха перед ненавистью других... Нам хорошо известно, что прославляется под именем *человечности*, а если ее поделить пополам, то она тотчас же становится низостью, которую низость же и обожает"¹. "Те, кто уповают на метафизику, чтобы оправдать собственную трусость, пусть отправляются в школу ненасилия: победа над страхом является одним из четырех предварительных условий ненасильственного сопротивления у Ганди, сознательное подчинение закону страдания — это его внутренняя пружина, он сам заявлял множество раз: "Там, где нет другого выбора, кроме выбора между малодушием и насилием, я буду советовать выбирать насилие... Я воспитываю стойкое мужество, способное пойти на смерть, но не убивать. Но кто не обладает таким мужеством, тому я пожелал бы скорее воспитать в себе способность убивать и быть убитым, чем стыдливо избегать этой опасности... Я лучше тысячу раз прибегну к насилию, чем отдам на растерзание хоть одно племя..."²

Пацифизм, являющийся всего лишь защитной реакцией против воинственных добродетелей и оправданием апатии посредственных людей, не может стать нашей позицией. Ею не может стать и нежная душевная чувствительность, свойственная тем, для кого быть всеобщим любимцем и есть царство любви, и их не интересует, что происходит с истиной и справедливостью. Мы должны изгнать из нашего мира — начиная с поэзии и кончая обществом — такие слащавые удовольствия. Я пришел не с миром, а с мечом: так говорит дух. С того дня, как дух проник в наши сердца, он наш повелитель, и мы не успокоимся, пока не наступит его царство. С тех пор внутри нас и вокруг нас кипит борьба. Прежде всего справедливость даже ценой крови, нашей собственной крови. А что будет потом — посмотрим. Горе любезным угодникам: они лишили духовную жизнь прощения и снисходительности; они же отвергли и героизм с его стойкостью, который только и является законной ценой за нее.

¹ Chant funèbre (*Montherlant H.*).

² *Махатма Ганди*, цит. по Ромену Роллану.

Мы сослались на силу физическую и силу нравственную.

Но не будем тратить слов понапрасну. Не станем больше говорить о *физической силе*, а поразмышляем, как это делают физики, о *мощности*. Сила — это решимость, самообладание и инициатива, но ее направленность не определяется материей. Разве она не собственно человеческое свойство? Почему же она непопулярна даже среди людей прямодушных?

Прежде всего потому, что ее сопровождают сделки с совестью. В девяти случаях из десяти она достается корыстолюбцам. Девять завистливых шпаг на одну огненную. Непривычно наблюдать, как мужественный человек отказывается от своего могущества, как победитель меряет свою победу мерками справедливости. Со временем клеймо бесчестия становится все более заметным на лице силы, и сегодня его воспринимают как несправедливость.

Но затрагивается ли этим сама сила? Здесь мы не можем допустить путаницы, раз ставим перед собой задачу воссоздать во всей их чистоте ценности, опутанные ложью. Когда мы нападаем на армию, полицию, магистратуру, то выступаем не против армии, полиции, магистратуры, как таковых, в их собственных функциях и действиях, а против того, чем они стали, — искаженные общественным строем, сознательно или бессознательно служащие отличающейся своей низостью власти, алчности великих мира сего. Мы напоминаем им о чести.

Достаточно ли после этого повторять вслед за Паскалем, что следует "рядом со справедливостью поставить и силу, а для этого надо справедливость сделать сильной"? Наши националисты превратили эту мысль в предмет расхожего потребления. Они забывают (не пропуская, впрочем, последующих строк, где это сказано), что люди, которые не могут крепить справедливость из-за высокомерия своей силы, оправдывают саму силу, чтобы наделить себя с помощью всех преимуществ справедливости иллюзией мира.

Поставить рядом. Но именно это-то и отвергают сторонники учения о ненасилии.

Признаем ценность истины, которую они стремятся сохранить в мире, несмотря на все собственные заблуждения. Да, существует только одна *творческая сила* (мы не говорим *действующая*), это сила духовная, все другие силы лишь воплощают ее, получают свою плодотворность благодаря тому, что заимствуют ее у нее и остаются бесплодными из-за той возни, которую ведут вокруг нее, и пыли, которую при этом поднимают. Разум, достаточно пронизательный для того, чтобы хорошо знать направление всех влияний, наверняка может дать нам (по примеру тех географических карт, на которых мы уже не находим знакомых очертаний континентов) неожиданный образ, в котором почти все видимые действия людей оказались бы стертými. Дело в том, что люди в большей мере действуют на основе того, что они есть, чем на основе того, что они делают. Сила заключается не в жесте, а в присутствии, которое стоит за жестом, а иногда обходится и без него. Печально, что сегодня приходится напоминать эти общие истины.

В один прекрасный день человек приходит к воротам монастыря, рассказывает о старой китайской книге, дает понять, что хочет жить в этом монастыре, и устраивается под его сенью. С этого момента он не произносит ни одного слова. Но сила его святости такова, что толпы людей с почтением идут к нему. И вот его одолевает смертельная болезнь. Приверженцы, стоящие у изголовья, умоляют его сказать им хотя бы одно-единственное словечко, которое они могли бы унести в своем сердце как память о нем. Тогда аскет поднимается, говорит: "Огонь!" и снова падает: тотчас же монастырь и вся деревня вспыхивают, словно факел. Вот какова сила молчания. Недавно мы наблюдали в Индии, как духовная мощь одного человека разрушила предрассудки, которые не удавалось поколебать ни истории, ни пророкам*. Необходимо, чтобы мы помнили об этом, иначе нам не избежать поклонения числу, возбуждению, могучим средствам. А также всех наивных суждений относительно насилия, которые произрастают на почве разложения подлинной духовности.

Ненасилие — это религиозная позиция. Она противопоставляет злу святость, то есть приобщение человека к Богу. Я не вижу у данного слова никакого другого смысла, кроме этого последнего. Десять праведников могут спасти общество, но их должно быть ровно десять. Известно, что речь идет о десяти святых, а не о десяти добрых душах. Тот, кто достигает святости, стоящей достаточно высоко, чтобы уравновесить массивные силы зла в нашем мире (известно, какое это отречение, через какие страдания он должен пройти), достоин того, чтобы я признал за ним право на отказ от непосредственной борьбы против существующих сил зла. Но только за ним, ибо он один из всех приверженцев ненасилия выполнил свой человеческий долг без уверток, хотя и обособился от других. Любой другой, кто более или менее трезво смотрит на мир, должен, обязан взвалить его тяжесть на свои плечи. Он не живет по ту сторону силы, он живет внутри силы, ведя самую что ни на есть силовую борьбу. Его незначительных запасов духовности, может быть, достаточно для того, чтобы унять притязания живущего в нем индивида, но их не хватает, чтобы поколебать устой зла, укорененного в недрах современного мира. Он несет свою долю ответственности за это зло, поскольку был равнодушен к нему, а стало быть, поощрял его. Это как бы дань, которую он должен платить за свою вину, ставя на службу справедливости, за неимением ничего лучшего (и скажем также, за неимением чего-то более героического), силу против силы.

Это выявляет двойственность положения служителя духа по отношению к материальной силе. Он должен всем своим существом и прежде всего всей своей душой стремиться к миру, где вера стала бы достаточной, чтобы люди могли перевернуть горы и вылечить собственные сердца. Но поскольку он всегда остается внизу этого мира, он не может требовать для себя порядка, которого сам бы не осуществлял: из-за общей виновности он *должен* служить справедливости посредством силы в той мере, в какой он и ему подобные недостаточно служили ей с помощью духовных средств. Если возможно — сила справедливости, если нет — сила вкупе со справедливостью; вторая формулировка должна идти как асимптота первой, ибо чем бóльшим будет внутреннее

богатство и его собственное насилие над собой, тем менее необходимыми будут средства принуждения. Как раз в тот момент, когда убеждение теряет свои устои, оно должно прибегать к внешней силе, которая извне (в самом общем смысле) воздействует на тела и души. Это тот момент, когда орудия справедливости: армия, полиция, власть — в несовершенном мире начинают пренебрегать порученной им миссией.

Стало быть, в данном и во всех других случаях невозможно избежать настоятельно необходимой внутренней духовной революции.

Перед лицом малодушия современного мира вечная романтика силы вновь начинает обретать энергию. Возрадуемся, если таким образом возрождается жизнь. Но будем внимательны. Наряду с ложью, вызванной страхом, к которой прибегают ради умиротворения, существует и ложь силы, которой следуют ради силы. Энергия — это природное свойство, ничего более. Она не всегда свойственна душевной силе, а когда она оказывается связанной с нею, то утверждает ее ничуть не больше, чем мастерство артиста или прирожденная доброта святого. Энергия держится в той зоне, где душа укореняется в теле и проникает в его части; мы говорим: добрые руки, твердые мускулы воли. Эта физическая энергия души сама по себе не всегда является добродетелью. Прилив гнева, игнорирование трудностей, отчаяние или сноровка, соблазн почестей, удовольствия или наживы, боязнь общественного мнения (все герои из страха!) — вот сколько фальшивых монет с ликами душевной силы.

Душевная сила не проявляется вовне, ни даже с помощью темперамента: духовная сила — это внутренняя добродетель, и она всегда на стороне духа. Кто превращает силу в грубый символ материи? Все несурзаицы относительно силы создаются *именно для того, чтобы мыслить ее только в материальных и — особенно — наблюдаемых образах*. Но когда ее представляют исключительно по образу физической силы, то сохраняют только ее случайные характеристики: массированный удар, неудержимый натиск, внезапность, шум и грохот, короче, — наступательность, агрессивность. Это значит (ибо речь идет об отношениях существ между собой) неразрывно связывать силу с духовным насилием, принуждением и известной человеческой грубостью.

Не будем отрываться от земли. Все, о чем шла речь, неотделимо от силы. Надо согласиться с тем, что дух и плоть перемешаны между собой: нам известны бурные взрывы возмущения, которые сразу же выходят за рамки всяких оправданий и превращаются в прямые оскорбления, насилие, гнев. Величественный гнев. *Dies irae, dies illa**.

Но все же величественный гнев, потому что великодушный: сущность силы не в агрессивности, а в великодушии. Добродетели, говорили древние, так сказать, проникают друг в друга до такой степени, что ни одна из них уже не стоит обособленно ото всех других. Вот так же и сила не является силой, если она, накапливаясь, в то же время не проникается осторожностью, взвешенностью и справедливостью. А поскольку все добродетели подчинены милосердию, сила находит свою высшую меру в великодушии. Поддержание духа, инициатива, возрастающая энергия, — все это вытекает из внутреннего сверхизобилия. Подлинно сильный

человек не стремится к господству, к использованию своей силы, он одержим своего рода радостной страстью передать ее другим, создать вокруг себя сильное человечество. По поводу некоторых ветеранов войны (сколько их стоит на таком уровне?) Монтерлан говорит о ностальгии по великодушию: "Это было то самое желание, которое позволяло отправиться в поход. Не желание убивать, нет! желание страдать, любить, служить. Те, кто не видит за грубыми касками ваших лиц, глубоко ошибаются. Они не понимают того, что если вы о чем-то тосковали на войне, так это о любви; только так вы могли любить людей". В самом деле, сначала требуется установить, является ли сила убеждением или жертвой. Она и то и другое. Но именно тогда, когда жертва не приносит положительного результата, она становится гнусной, бесчеловечной. Она встает на службу поверхностному человеку, провоцируя нервозность, крики, слова, которые он специально для этого создает. Такой гвалт мне чужд.

Подлинная сила не так заметна. Она заключается скорее в упорстве, чем в нападении, длительность — ее мера. Когда остаешься твердым на протяжении тех долгих периодов, в ходе которых тебя не поддерживает никакой порыв, когда никакой ток крови или рвение души не подстегивают тебя, именно в такой момент, несомненно, сила оказывается наиболее обнаженной и выражает свою высшую меру.

Высшую? А может быть и нет. Сила — это опять-таки обуздание дерзания. Это противостояние иллюзии, внушаемой скверной слепой логикой, согласно которой завершенность системы всегда является чем-то наилучшим, наитруднейшим, наипочетнейшим, будто запальчивость — это наивысшая духовность. Инстинкт тоже бывает буйным, а сила увлекающего меня потока заставляет меня забыть о том, что он мною играет, а не я им. Да, насилие прежде всего, я говорю это почти наугад, поскольку мы продолжаем оставаться в пределах посредственности. Необходимо использовать все, вплоть до крайних мер, даже и в особенности безумие, если мы чувствуем, что отвратительный дух насилия охватывает нашу жизнь, если беспристрастность, уравновешенность, спокойствие становятся всего лишь масками, прикрывающими стыдливое согласие с самим собой. Но насилие достигает своего предела лишь в человеке, который, будучи внутренне мятежным, внимательно следит за безмятежностью.

Это значит, что сила имеет свою меру не в собственной интенсивности, а в ценности того, чему она служит. Она внедряется как в справедливость, так и в воздержание. Ее величие — это насильственная преданность жизни и смерти. Ее естественная среда — это те легенды, во имя которых идут на смерть. Ее душа — это в конечном итоге надежда. Поэтому подлинная сила питает сердце медом, а не язвительностью. Безмятежное безразличие — это путь, по которому следует жестокость. Сила же расцветает в нежности. *Suaviter et fortiter**. Эти два слова, которые в евангелиях постоянно связываются с божественными заповедями, являются таковыми не потому, что с их помощью стремятся потакать нашей чувственности: "Мудрость (запомните хорошенько — мудрость!) достигает всей полноты своей силы от края и до края

мира, и располагает всем с помощью кротости”¹. Я не знаю ничего более сильного, чем окутанный туманом пейзаж Иль-де-Франса**.

И я вспоминаю, насколько был угнетен подавляющим обманом света на прозрачных улицах Севильи.

Мир между людьми — это расцвет силы. Мир, подлинный мир, это не состояние слабости, когда человек выходит из игры. Мир не безразличен ни к хорошему, ни к самому плохому. Мир — это сила. “Творить мир, который обладал бы душевным величием войны. Возродить в мирных условиях добродетели войны”, — требует Монтерлан. Сделать это извне, в условиях мира, который для опустошенных сердец является всего лишь “отсутствием войны”, невозможно: Монтерлан хорошо это видел, тот самый Монтерлан, который восемь лет спустя будет отвергать такую надежду². Мир не провозглашают, его строят изнутри. Ну а если непосредственно обратиться к настоящему, которое более всего доступно нашему размышлению, то напомним, что нас не одурчит слово “мир”, если с его помощью пытаются заставить забыть несправедливость. Социальный мир, то есть отсрочка с выполнением фундаментальных требований, искоренение из сердец угнетенных возмущения, которое только и сохраняет в них человечность; международный мир, то есть уважительное отношение к завоеванным положениям и сохранность установленного беспорядка: вот по какому пути шествуют сегодня батальоны пацифистов.

Январь 1933 г.

3. Технология духовных средств

1) Погребение различных форм спиритуализма

То, каким образом мы ставим сегодня проблему деятельности и в каких категориях обсуждаем ее, является полной неожиданностью для наших современников, и этот факт, с нашей точки зрения, является капитальным.

Духовная революция, говорили мы, — это не революция писак или немощных людей. Мы стремимся к чистоте дела только ради наибольшей эффективности. Размышления, интеллектуальные споры, великодушные, технические новшества сами по себе ничего не значат, если люди не включают их в свои действия и не подвергают себя опасности.

Между тем одновременное стремление к чистоте и эффективности ставит перед деятельностью, основывающейся на примате духовного начала, самое что ни на есть трудноразрешимое противоречие: *любая деятельность обречена на неэффективность в той мере, в какой она будет чистой, а в той мере, в какой она будет эффективной, она будет порочной.*

¹ Sag., VIII, I*.

² В одной из заметок нового издания.

В целом мы имеем в своем распоряжении два вида средств.

Материальные средства: агрессивность, принуждение. Они облечены в плоть, они тяжеловесны и регулируются только психологией успеха. Они все время в ходу, потому что их эффективность кажется непосредственной, но содержат в себе изъян, поскольку бесконечно умножают зло, чувство враждебности, насилие, подлость, лицемерие, сеют иллюзии великодушия. Примеры: войны, борьба друг с другом большого числа людей (классы, партии, легионы).

Духовные средства: присутствие, устремление к святости с его молчаливой лучезарностью. Неприметные, находящие удовлетворение в свидетельствовании, если успех им не дается. Их преимущество: они, как рыхлая земля, впитывают зло, а иногда и преобразуют его в любовь.

Действительно ли неизбежен выбор между двумя позициями: "земные дела прежде всего" (руководители и политики) и "исключительно духовное" (Ганди)?

Мы ставим два вопроса:

1) Достойны ли осуждения материальные средства как таковые? Или же при нынешнем положении в мире их необходимо применять в первую очередь по сравнению с другими? Или же, наконец, их применение должно быть подчинено определенным нормам и правилам, но тогда каким именно?

2) Не будем говорить здесь о средствах, которые различные религии считают собственно духовными: молитва, умерщвление плоти, движение к святости: трансцендентная забота о воплощенном мире, которая стремится соединить его с его истоками, очевидно отступает назад. Эти средства в достаточной степени определены религиями, которые их предлагают, и предполагают веру в них¹. Но нельзя ли представить себе средства, значимые как для тех, кто признает действительную ценность "чисто духовных" средств, так и для тех, кто (и это вполне естественно) остается верным земным, воплощенным средствам, связанным с техникой, но чье существо, предназначение, а следовательно, и весь облик принадлежали бы миру иному, чем тот мир, где ведет свою игру хитроумная и дикая сила? И не должны ли эти собственно духовные средства привлечь внимание тех, кто ныне провозглашает себя сторонником духовной революции?

Если да, то, как представляется, в борьбе с миром денег, миром слабеющей тирании индивидуализма и набирающей силу тирании коллективизма необходимо срочно определить и распространить методы, годные не только для разоблачения, но и для деятельности, направленной на точно обозначенные цели и осуществляемой не путем насилия, а путем самопожертвования: речь идет об определении образа жизни, организации сопротивления несправедливым законам, отдельных или совместных акций неприятия мира денег, капиталистической системы и т. д.

Каждый должен отыскать в своей социальной и профессиональной среде те точки, на которые могло бы повлиять подобное действие,

¹ С ними можно ознакомиться в работах Ганди; см. также содержательную главу Жака Маритена об "очищении средств" в книге "Du régime temporel" (Desclée de Brouwer).

и определить формы его осуществления. Мы полагаем, что таким образом сможем разработать настоящую технологию духовной деятельности и определить средства, помогающие тем, кто испытывает отвращение к массовым насильственным методам, включиться в эту деятельность душой и телом. Мы подчеркиваем слово "технология", стало быть, речь идет не только о том, чтобы предлагать идеи, хотя всякое такое предложение, даже если оно недостаточно созрело, оказывается для столь нового дела само по себе ценным, но и о том, чтобы указать средства, необходимые для практического осуществления идей.

Здесь возможны всякого рода недоразумения, и об этом необходимо предупредить.

Прежде всего важно, чтобы это требование собственно духовных средств не понималось как сентиментальная реакция против грубой силы, а тем более против ее применения. Выше мы уже давали пояснения на этот счет. Под влиянием грубого опыта мы все более и более смешивали силу, являющуюся моральной добродетелью, с применением в человеческих отношениях и духовных спорах физической силы, как-то: принуждение, насилие, массированное наступление, жестокость, агрессия. Но душевная сила — это нечто совсем иное, ее суть — это своего рода физическая крепость, жизненный тонус, а сверх того и в более сущностном отношении — непреклонное великодушие, полнота духа и сердца, которые проявляют себя не в агрессии, а в настойчивости, мастерстве, постоянном присутствии в мире (только этим силам по плечу загнать джинна в бутылку), в трепетном соприкосновении с ним.

Обычные отношения между людьми и институтами регулируются с помощью грубого насилия (часто исподволь, что не значит менее жестоко), а не мужественной нежностью, о какой мы ведем речь. Но это еще не основание для того, чтобы противопоставлять насилию точно такое же насилие, бесчувственным сердцам — точно такие же бесчувственные сердца. Однако мы видим в этом довод в пользу того, чтобы чувствительные души утвердились в необходимости сопротивления и действия вместо того, чтобы мечтать о бесконечно добром мире, чтобы в самый разгул грозы грезить о прекрасной погоде. Слишком много идеалистов, пацифистов, прекрасных душ и благородных сердец превратили для себя духовность в убежище, защищающее их от приступов ревматизма, которыми сопровождается их существование. При первой же боли они переносятся в идеальный мир и в компании с тенями великих людей всех веков и всех религий, с этими моральными привидениями, обряжаются в многослойную броню святой нежности, предавая свою человеческую миссию.

Таким образом, всякое отрицание граничит с чем-то порочным: действие отрицания является героическим только тогда, когда оно ведет к вовлечению, даже если оно сопровождается отчаянием или душевным смятением; отрицать легко, когда отрицание является всего лишь отказом жить где-нибудь, то есть где-нибудь бороться. Учение о целомудрии¹ привлекает на свою сторону не меньше безвольных евнухов и по-

¹ *Eloge de la force / Esprit, février 1933. P. 307.*

средственных людей, чем людей подлинно целомудренных. Учение о ненасилии неизбежно собирает вместе всех малодушных, всех покорившихся судьбе, всех спасовавших перед жизненным злом. Мы против этого не можем поделаться ничем другого, кроме как отослать это малодушное, идеалистическое, болтливое стадо куда-нибудь подальше от духовного авангарда на необходимое лечение с помощью физического воспитания. Стоит также напомнить ему следующие слова современного апостола ненасилия¹: "Там, где выбор существует только между малодушием и насилием, я выбрал бы насилие... Если мы любим мир только потому, что боимся штыков, я предпочитаю, чтобы мы перерезали друг другу глотки. Я хотел бы также видеть, чтобы насилие проявилось вовне, чем сдерживалось только страхом".

Незаслуженное облегчение жизни всегда остается антидуховным. Ганди потратил три года на подготовку индийского народа, проведя его через самые жестокие испытания, прежде чем говорить с ним о ненасильственных методах. Но стоило только разразиться кровавому мятежу, как он посчитал свой народ недостаточно подготовленным, отведя еще девять лет на подготовительную работу. Это урок и для нас. Ненасилие — это не состояние спокойствия, которое достигается по сю сторону насилия, это состояние, которое всегда остается неустойчивым, оно всегда под угрозой; это — состояние самообладания и напряженности, которое завоевывается по ту сторону насилия. Только тот, кто способен на насилие, а сверх того и на обуздание насилия, способен и на ненасилие. Духовность состоит не в том, чтобы ловко уклоняться от инстинкта (или обнаружить, что лишился его), а в том, чтобы преодолеть его. Позвоительно говорить о победе только тогда, когда пройдешь испытание сопротивлением. Обмороки, голубые мечты и слезливые нежности чувствительных душ — это все еще от инстинкта, от комплексов, правда, они другого свойства, чем раздражительность и неистовство, но столь же элементарны, а в конечном счете и столь же непристойны. Быть духовным вовсе не значит следовать хорошим манерам.

Не меньшей ошибкой было бы истолковывать технологию духовных средств как способ уклонения от включения во временное действие, от непосредственных требований, от неотложного долга, который обязывает и раздражает, от грязной работы. Невинная и изящная уловка, обходная дорожка для того, чтобы укрыть в убежище Генеральный штаб под тем благовидным предлогом, что ему надо работать над чистой теорией войны. Поостережемся идеалистических иллюзий немощных, поостережемся разумности, которая уютно устраивается в присутственных местах. Действие, как и мысль, является воплощенным, и именно в этом-то и состоит загвоздка. О крайних позициях легко рассуждать, и их легко притереть: позиция мистика, который на первый взгляд выходит из игры, позиция авантюриста, использующего любые силы без различия. А что же между ними?

А между ними — готовность на всевозможные заблуждения и лицемерие. Здесь все в какой-то степени порочно, потому что инстинкты,

¹ Ганди.

привычки, самолюбие, насилие, амбициозность, алчность, безрассудство, лень никогда полностью не исчезнут, даже если мы пойдем по пути бескорыстия. Тайна деятельности состоит в том, чтобы в один прекрасный день осознать всю ее необходимость и при этом не утратить чувства радости. Между тем многие с радостью теряют в ней свой разум. Они не теряют духовного рвения, хотя как будто бы не так уж и напористы. Но они не в состоянии допустить, чтобы положение человека было напряженным и неустойчивым. "Дух" управляет чистотой, "плоть" — эффективностью; они то друзья, то враги. Чтобы разобраться в этом, требуется наука, питаемая деятельностью, постоянный анализ, постоянная боевая готовность. Поддаться одной команде, не теряя из виду другой, затем, вернувшись назад, включить ее в игру. Только таким образом — двигаясь вперед, можно получить шанс и, отступая назад, приблизиться к той единственной точке, где примиряются противоположности.

Но такая напряженность утомительна, такое ученичество не имеет конца: большинство людей предпочитает из двух зол выбрать наименьшее. К несчастью, происходит так, что истина, разделенная надвое, образует не две истины, а два заблуждения. А эти последние, как только они отделяются от своей животворной почвы, порождают множество всевозможных путаниц и заблуждений.

В лагере пуристов, конечно, найдутся возвышенные и требовательные люди. Но туда забредают и обладатели химер, которые осуждают деятельность (хотя и верят в нее) не потому, что она порочна, а потому, что в ней они не находят удовлетворения; слабые, неустойчивые, одержимые страхом, мифоманы и все те, кому не по силам возмужание. Обычно их называют идеалистами. Они не трудятся над преобразованием деятельности, для них она всегда преступна. Даже тогда, когда они считают, что действуют, они предаются высокопарному разглагольствованию; слово, отделенное от дела, превращается в красноречие, а сутью любого красноречия, толкующего о нравственности пусть незаметным образом, всегда является лицемерие.

На другом конце, в лагере реалистов, всем есть дело до всего. Здесь и цинизм и всепрощение или то и другое, вместе взятые, поскольку цинизм и всепрощение — это всего лишь две формы безразличия. Здесь уважают пуристов (я говорю о людях, которые сохраняют хотя и искаженную, но приоритетную заботу о духовности), их приветствуют, но: существуют необходимость действия и тактические соображения, и людей надо принимать такими, какие они есть, и нельзя позволить сожрать себя. Тогда "дела" начинают основываться на коварстве узаконенного жульничества, изысканная роскошь создается с помощью спекуляции, убеждения продаются и покупаются, истина пропагандируется оружием лжи, а ложь оборачивается истиной, и все это делается во имя богов. Сердца обрабатываются воспаляющимися средствами и удушающими газами, а, например, на знамени Нравственного Порядка пишутся слова: "Революция передает огню все, что способно гореть. Зависть, ненависть, страх полыхают ярче, чем любовь. Добротная революционная технология направляет самые низменные страсти к служению общественному благу"¹.

¹ *Thierry Maulnier, Jean Maxence, Robert Francis. Demain la France.*

Споры между пуристами и реалистами — это только одна из сторон возмутительного спора между идеализмом и материализмом. Что касается нас, то мы, как полагаем, стоим вне этой игры.

Идеалист — это человек, мысли которого находятся на кончике пера, и они — вершина его мечтаний, в то время как это всего лишь тень мысли и она не способна добраться до твердого пути, идя по которому он смог бы упрочить свою мысль и сразу привести ее в движение. Идеалист отделяет идеи от жизни, а слова от идей, подобно тому как капиталист отделяет деньги от экономической реальности, чтобы они зажили собственной чудовищной жизнью. Не совсем зряшным было бы высказывание об идеалисте как человеке, который оказывает людям кредит доверия. Как банкир несуществующего банка, он без залога открывает неограниченные счета на фиктивные богатства. У него такое же любезное и бесстрастно-официальное лицо, которое неизбежно встречаешь у изголовья жертв катастроф, поскольку катастрофы имеют своей причиной в гораздо большей степени любезность любезных людей, чем злобу людей злобствующих. В общем, идеалист действует только благодаря катастрофам, которые он сам же порождает, а его главное занятие, когда он не болтает о своих чувствах, состоит в том, чтобы вывинтить болты из креплений действительности, в которой он пребывает, чтобы избавиться от самой жизни. Никогда не будет лишним подчеркнуть, что два вида инфляции современного беспорядка: инфляция денег и инфляция идеологий — символически связаны между собой, поскольку обе они основаны на беспрецедентной *спекуляции*; первая паразитирует на материальной жизни, вторая — на жизни духовной. Зло кочует от одной к другой, создавая в них безграничное число удобств, благодаря которым личность избавляется от необходимости брать на себя ответственность перед деятельностью. Это зло будет побеждено только революцией, совершаемой на одном дыхании, но проходящей два этапа.

Теперь понятно, почему те, кто называет себя материалистами, негодуют против этого лишнего жизни мира, против этого обманчивого призрака приличных людей. Их многочисленное племя бродит среди людей обычных, и они сталкиваются с непредвидимыми событиями. И те и другие то вместе, то по отдельности подавляюще действуют на окружающих, дают на них, то причиняя боль, то заигрывая с ними, то вызывая смущение. Их инстинкт, их прошлое, их настроения, а иногда голод и взрывы сильного гнева дают на них изнутри, и они не отделяют собственные мысли от этого своего состояния и других тяжелых ощущений: где найти им отдохновение от всего этого? Впрочем, иногда им случается увидеть великолепие красок, услышать чудные звуки, сделать что-то собственными руками, и тогда они получают истинное удовлетворение. Очищение? Часто они готовы к нему: разве они не испытывают страданий, разве жизнь их не жестока, разве не обладают они тем глубоким дыханием, которое набирает силы, пускаясь в приключения ради спасения израненной справедливости? Но они, эти отшлифованные, отполированные, безразличные и холодные души и слышать не хотят о благородных чувствах, свойственных рыцарям. В дан-

ный момент они очищают себя от идеала и рассуждения, от печатного слова и нравственности. Завтра, быть может, ну конечно же завтра они вновь с удивлением откроют для себя бытие и Сына Божьего, священную Книгу и святость. Эти внушительные предметы, которых они коснутся своими руками, заговорят с ними неожиданно утонченным языком. Ну а пока они хотят быть варварами. Быть может, это и не очень твердый и логичный путь, но зачем же тогда болтуны и плуты закрыли подходы к путям твердым и логичным? Для многих материализм — это, несомненно, лишь наивная вера в лучезарный мир, который видится по ту сторону его разложения и упадка, пробуждение чувства целостности, возрождение молодости и простодушия, потребность в единении с вновь обретенной вселенной и новым людским сообществом; гневное презрение к лживой пустоте слов и всяческому красивостям, которые подменяют собой духовность; потребность в действии, прочности, плодотворности; идущий из глубин человечества требовательный инстинкт присутствия. Конец романтизма и его возрождение. Ненависть к слову и парадности, нацеленная на восстановление в правах песни деяний.

Философы и теологи могут тотчас же вновь приступить к своим делам, внося ясность, направляя, упорядочивая. Мы не станем объявлять их труд бесполезным: апология примитивного — последняя спасательная шляпка всех видов разложения. Но истратят ли они все свои усилия на то, чтобы поддержать уровень воды, уходящей в песок, или же на то, чтобы отыскать новые источники, стараясь не стать жертвой словоблудия, к чему толкает их собственное ремесло?

Что касается нас, то мы отвергаем выбор между первобытным материализмом и салонным спиритуализмом. Наивная концепция материализма развеяна наукой. Менее наивная, но столь же безгрешная концепция духа в идеализме отвергнута самим духом. Апологеты силы и расы провозглашают духовное обновление. Защитники справедливости называют себя материалистами. Из этой путаницы следует один вывод, а именно то, что либеральный дух, дух созерцательный, равнодушный, бесчеловечный и бескорыстно служащий угнетению, стал мишенью для всех возмущенных.

Одни избавляются от него, прикидываясь дурачками, и называют духом кипение крови, спортивный зуд, приверженность национализму, насилие, стоящее на службе у морального порядка, или же опьянение идеей коллективности и подчинения государству. Из одного рабства они попадают в другое, еще более жестокое, но столь же недолговременное. Заблуждение не может избавить от заблуждения.

Безотчетно веря в некие силы и упиваясь красноречием, *подчиняясь* внутренним и коллективным тираниям, современный человек наверняка не сумеет освободиться от "спиритуализма" и "материализма". Это возможно лишь при условии, если он в личном и коллективном плане *определяет свое место* в восстановленном универсуме и если с помощью свободного решения он, как обновленная личность, *включится* в ответственные деяния, руководствуясь зовущим к единству светом. Ни ангел, ни зверь: он телесен (в том прекрасном смысле, о котором любил говорить Пеги) и своим вниманием к миру, и стремлением дать подтверждение каждому из своих слов и обеспечить высокое

качество своему присутствию среди близких ему людей и обычных предметов; он духовен, поскольку жаждет изменений, приобщаясь к окружающему его миру, и так до бесконечности.

Наш поиск практического использования духовных средств — это поиск методологии нового поведения. Он направлен как против очищения посредством "ничто", к чему призывают идеалисты, так и против принесения себя в жертву инстинкту, чего требуют реалисты. Это две формы одной и той же дряблости, подобно тому как существуют два направления тяготения — мыльного пузыря, поднимающегося вверх, и камня, падающего вниз. Человек — это растение, укорененное в земле, из которой оно берет питательные соки, связанное с ней всеми ритмами собственной жизни; но его предназначение пронизывает его судьбу как животворная сила и, не отрывая его от земли, каждый день заставляет его подниматься выше и выше. Не наша вина в том, что такое положение дел является самым трудным, что требуется проделать длительный путь, дабы отыскать такие поступки, которые были бы одновременно и эффективными и честными, без насилия и без пустого красноречия, и что мы должны отказаться от попыток найти единственный и простой критерий, который можно было бы приложить к любому случаю в качестве точного и бесспорного правила. Мы заранее знаем, поскольку путь человека является неопределенным и мучительным, что сумеем открыть только неопределенные и мучительные методы. Но мы знаем также, что история никогда не строилась в соответствии с системами, и это дает нам утешение.

Из предшествующего анализа, как мы осмеливаемся надеяться, в достаточной мере явствует, что здесь речь идет не о создании секты унылых печальных людей, питающихся одними овощами.

Такая секта могла бы иметь большой успех. Когда у буржуа болит печень и его одолевает страх, он охотно превозносит существующий строй. Но вот социальный организм, который он создал по своему образу и подобию, застопорился: буржуа без труда и, несомненно, с готовностью дал бы согласие на временные ограничения, которые ликвидировали бы поломки и подготовили машину к скоростям. Нам редко случалось видеть столько нравственных людей с тех пор, как наступили скверные дни. Не будем путать моральный кризис с гигиеническим требованием целомудрия, связанным с переутомлением людей, которое нередко следует за дебошами. Мы уже знаем, что гигиена может способствовать укреплению убежденности и облагородить нашу внешность, но мы не будем столь наивными, чтобы поверить, будто она способна потрясти сердца, поскольку мы вняли ее рекомендациям. Крупный буржуа, встревоженный перебоями в работе машины, мелкий буржуа, страдающий от нехватки денег и воображения, демонстрирующий неблагоприятную реакцию перед лицом сильных мира сего и эксплуатирующий мистика маленького человека в угоду узкоростовщической экономике алчных лавочников, — вот кого мы видим стоящими во главе несущих очищение крестовых походов. Что нам за дело до этих кающихся, но не доходящих до раскаяния грешников, которые призывают

вернуться из авантюрного царства денег к их "нормальному" функционированию, как если бы беспорядок начался не с самой этой "нормальности". Нравственные люди чересчур легко позволяют дурачить себя.

И тем в большей степени (о бедная мораль!), тем прочнее царствует самая невероятная путаница в этой добродетельной сумятице, которую с недавних пор стали называть пробуждением общественной нравственности. К затравленным мэтрам, о которых мы только что говорили и которые готовы отпустить поводья, чтобы спасти свою власть, надо добавить и других странных правоверных. Трудно бороться против них, потому что они честны и искренни. Было бы несправедливо отождествлять их непоследовательный морализм с двуличием первых, как это делают революционные партии с их прямолинейной политикой, ибо у них совсем иное человеческое качество.

Вы найдете их среди промышленников старой закалки, изнуряющих себя на работе, ведущих такой же суровый образ жизни, какого они требуют от своих рабочих, но они, разрываясь между царством дисциплины и индивидуальной добротой (которой они иногда отличаются), навсегда забыли о справедливости; чтобы достичь ее, им потребовалось бы пересмотреть всю систему, в которой они живут и действуют, признать необходимость освобождения тех, кем они командуют, что недоступно их воображению и невозможно с точки зрения их предрасудков. Испытывая исключительно искреннее и глубокое отвращение к порокам современного капитализма (а они сами говорят об этом), они без малейшего подозрения принимают его, как только он начинает корректно вести свою некорректную игру. Они сами, не зная того, остаются феодалами, а общество, к которому они взывают, — это общество, основывающееся на честности и протекционизме хозяев, соблюдающих дистанцию по отношению к своим слугам, которую устанавливают отношения между кастами, столь же неоспоримые в их глазах, как и самые невинные продукты творения. Они не задают себе нравственных вопросов по поводу сущности современного капитализма.

Рядом с ними мы видим того же буржуа, но религиозного, воспитанного в традиции преклонения перед частными добродетелями, особенно добродетелями семейными, столь же влюбленного в справедливость, как и самый бескорыстный революционер (что бы об этом ни думал последний), готового на существенное углубление семейных чувств при условии, что он всегда останется хозяином и сюзереном. Здесь перед нами ремесленник, которого известная свобода в ремесле делает господином в своей области, не знающим нищеты и несправедливости; капиталистический порядок пока пощадил его, и он протестует только против очевидных беспорядков, что лишь оттеняет постоянно существующий беспорядок. А вот еще почтенные лица скромных людей, приученных к постоянному порядку, честности и аккуратности в экономике, которые со всеми своими привычками подвергаются испытанию мотовством и расточительностью; им не хватает воображения, чтобы заметить, что эти привычки создают для оплакиваемого ими зла наиболее прочное прибежище; более того, эти привычки представляются им узаконенными со стороны институтов, которые они без тени сомнения уважают и поддерживают.

В условиях такого скрытого двурушничества и слепой добропорядочности мы опять обнаруживаем новые лики на фальшивой спиритуалистической монете, о которых мы говорили выше.

Можно было бы подумать, что зло сводится к выспренным разглагольствованиям о нравственности, прикрывающим недобросовестность виновных добродетельным энтузиазмом, которому к тому же нетрудно следовать, ибо он совпадает с задачами текущего момента. Вот поэтому-то мы почти совсем не доверяем публичным выражениям возмущения, поскольку под ними не стоят личные подписи тех, кто их провозглашает.

Но идти надо еще дальше. Мы не можем ждать спасения от морализаторства, даже если оно искренне. Будем понимать под ним набор предписаний и запретов, который имеет своим оправданием и целевым предназначением только самого себя. Мораль морализаторства — это орудие того же самого жульничества, каким является дух в идеализме. Перед человеком стоит только одна задача — это милосердие. Точные предписания, которые христианин понимает под этим словом, у нехристианина могут вызвать такой же взгляд на нравственную деятельность. Он будет считать, что цель всякого предписания состоит не в установлении режима точно дозированной безмятежности, а в подготовке людей, отдающих себя без остатка другим, людям, в высшей степени свободных и лишенных расчетливости. Такие люди, христиане они или нет, считаются с установленными правилами, ибо хорошо знают свою слабость; они будут верить в то, что внутренняя свобода подобна свободе писателя или художника и достичь ее можно, только соблюдая и эти правила. Но они знают также, что если бы руководствовались ими в порыве высшего великодушия, то правила, отличающиеся строгостью и непреклонностью и требующие внимания к себе, сковали бы их. Грамматика моральных правил, как только она начинает применяться в качестве кодекса и перестает пересматриваться в качестве стиля жизни, вне деятельности, не порождает ничего, кроме академизма. Поскольку ее задача состоит в подготовке этапов движения от животной жизни к жизни духовной, содействуя сохранению дисциплины и оказывая помощь на этом тернистом пути, то в том случае, если вдохновение не нисходит к ней свыше, она в конечном итоге завладевает теми, кому должна была проложить путь, подобно болтунам, которые, стоя на паперти собора, гасят наши эмоции своими комментариями. Человек, склонный к систематизации, довольно скоро всецело подчиняется ей, а вслед за этим направляет ее на оправдание всякого рода нелепостей, свойственных коллективным предписаниям.

В таком случае то, что называют моралью, оказывается тем же, что наши социологи понимают под коллективной совестью, которая является совестью экономических каст и государственных лозунгов. Это — момент упадка, который используется в прямо противоположных интересах для того, чтобы под знаменем морального порядка проповедовать возврат к хорошим манерам. Они находят сторонников и создают собственную мистику, получающую широкое распространение, поскольку хорошие манеры в значительной части отождествляют с духом и они придают жизни приятный оттенок, обеспечивая уверенность в собствен-

ных силах и стабильность в любой коммерции. Порядок будет считаться утвердившимся как в индивидах, так и в обществах, когда такой минимум хороших манер станет регулятором большинства отношений. Именно поэтому-то честные люди протягивают руку негодяям, которые эксплуатируют их совесть при помощи своих бумажников, чудовищным образом соединяя вместе невинность и мошенничество во имя установления морального порядка. Впрочем, тот же самый союз мы находим и в противоположном революционном лагере, о чем вскоре пойдет речь.

Необходимо расстроить эти планы. То, что непреклонные души, воспитанные на идеях кантовского ригоризма, судорожно цепляющиеся за эти лишенные всякой привлекательности формы морализаторства, смогли сохранить некоторые признаки усредненной добродетели, мы согласны. Но что это за добродетели? Как отличить в этом наборе буржуазных добродетелей, соединенных с наивно-честной вежливостью и лозунгами о национальном единстве, что является жизнью и истиной, а что — выгодой, капризом, привычкой? Разве здесь заботятся о том, чтобы "спасти" саму жизнь? А что представляет собой то крайнее возмущение, которое объединяет вместе налогоплательщиков и разорившихся коммерсантов? Когда кровь сходит с мертвого лица, иногда кажется, что на нем проступает печать достоинства; но одна только непреклонная смерть накладывает эту маску на некогда подвижные черты лица. Таково и достоинство большинства наших нравственных людей, обладающих удобными для них добродетелями, гарантированными от всякого риска, и кичащихся собственной добросовестностью.

Духовные средства: прежде всего не дать им возможности найти себе новое убежище, поскольку именно этим средствам должно быть свойственно изгонять из убежищ всех тех, кто принимает энтузиазм борцов за общественное спасение или борьбу за революцию в качестве подлинной вовлеченности личности. Просвещать тех, кто в силу своей апатии или красноречия становится соучастником зла, разоблачать тех, кто пользуется и тем и другим, чтобы играть словами и использовать нравственность в корыстных целях, и прежде всего — разоблачать этих последних.

Они стоят у истока всякого зла: из-за их корыстолюбия, которое сеет беспорядок по всему миру, прикрываясь добродетелями труда; из-за насилия и ненависти, в чем они сегодня упрекают доведенных до отчаяния людей, которых их же строй в течение целого столетия отторгал от любви; из-за того, что они нацепили ухмыляющуюся маску лицемерия на каждую добродетель и на каждую ценность, подлинными защитниками которых они себя представляют. Разве не ясно, какой злой умысел лежит в основе морального порядка, о котором они сегодня трубят на всех перекрестках, а завтра будут поддерживать его своими пулеметами? Они стремятся не к утверждению справедливости, этого единственного средства искоренить ненависть, не к выявлению подлинной добродетели за скрывающими ее масками, а к удушению своих жертв под тем предлогом, что они-де руководствуются зловредными чувствами, заложенными в их сердцах угнетением, и укреплению вокруг угнетателей ореола респектабельности, удостоверяющей естественный характер их господства.

Необходимо, чтобы все раз и навсегда поняли, что мы не станем соучастниками такого положения дел и что попытки заставить нас

сделать это, предпринимаемые то тут, то там, то справа — с целью сделать нас его соучастниками, то слева — с целью показать, что мы уже к нему причастны, не окажут на нас никакого влияния. Наилучшим средством попасть в эту западню было бы принять данный Порядок, провозглашающий правила, не имеющие никакой конечной цели и быстро становящиеся обманчивой и бессодержательной риторикой, правила, которые интересы тут же выдают за предназначение, как это случается с любой необузданной силой. Единственное средство не допустить этого состоит в том, чтобы вызвать чувство недоверия у честных людей, поскольку по причине своего несовершенного и двусмысленного сознания они образуют резервное войско, стоящее на страже установленного беспорядка.

Честные люди: это вы и я, это все мы, верящие в то, что сумели сохранить свою безупречность, а на самом деле погрязли в равнодушии.

Ограниченную, но последовательно продвигающуюся вперед работу по распашке целинных земель — вот что мы попытаемся сделать в ближайшее время. Мы начнем со скромных утверждений и станем безостановочно расширять их по мере накопления опыта и совершенствования знаний: но прежде всего мы постараемся не отделяться одними обещаниями. Итак, подведем первые итоги.

Мы несколько не сомневаемся в том, что насилие всегда является пороком и что практический идеал ненасилия должен быть тем пределом, к которому нам необходимо непрерывно приближаться. Здесь следует сделать два уточнения.

Такое основополагающее ненасилие является политикой добродетельной силы, которая не имеет ничего общего со страхом и слабостью.

Впрочем, ныне мы все вместе до такой степени включены в систему силовых игр, что представляется очень трудным из-за этой коллективной вины способствовать успешному развитию какого-либо земного дела, не вызывая тем самым насильственных последствий, сколь бы ограниченными они ни были. Стремление избежать их *любой ценой* (если не считать исключительных случаев), вероятно, значило бы жертвовать духовным предназначением человека, ибо судьбы людей вплетены в материальные условия до такой степени, что любое стремление воздействовать на них не обходится без жестоких потрясений.

Принимая это во внимание, мы выражаем свою твердую решимость: во-первых, изучить и подвергнуть проверке на опыте все еще неисследованную область ненасильственных методов, никогда не теряя из виду их эффективность и стремясь наверстать упущенное время, чтобы понапрасну не тормозить осуществление нашего действия;

во-вторых, никогда безоговорочно не пользоваться насильственными средствами и соблюдать следующие условия:

1) прежде всего и по мере того, как они будут созревать, становясь эффективными, мы с упорством испытаем все ненасильственные средства, имеющиеся в нашем распоряжении, и согласимся на насилие лишь как на последнее, крайнее средство;

2) не все насильственные средства такого рода достойны осуждения; мы не считаем, что они порочны уже только потому, что требуют насилия;

3) даже тогда, когда эти средства узаконены или по меньшей мере допускаются обстоятельствами, они являются, строго говоря, не средствами достижения результата, а только следствиями, и о них надо было бы говорить не как о средствах вообще, а как о *побочных* средствах. Цель не оправдывает средства, что же касается духовной цели, то она не может приписывать онтологическую необходимость и морально оправдывать те средства, которые в сущности своей были бы противодуховными; если обратиться к истории человечества, которое по своей вине усугубило собственную зависимость от материи, то оно должно было лишь терпимо относиться к случайному появлению этих побочных средств, остающихся в определенном смысле порочными по своей природе и своим последствиям;

4) подходить со строгой меркой к этой особенности средств и учитывать их последствия, пока мы не обречем моральную уверенность в том, что зло, совершаемое или провоцируемое, таким образом не перевесит добро, которого требуется достичь;

5) мы ни в коем случае не будем стремиться использовать средства ради средств, памятуя о их порочности, как и не будем призывать других делать это; мы, напротив, будем непрерывно и по возможности полностью лишать такие средства их вредоносности.

2) Личностная революция

Обретение недобросовестного революционного сознания

В эпоху, напичканную разнообразными идеологиями, Маркс отлично понял, что, даже если они оказываются самыми язвительными по своей сути, их недостаточно для обретения революционного сознания. Маркс, а до него Паскаль утверждали: надо расшатать всю машину до основания. События показали, что одних материальных причин для этого недостаточно, особенно если духовность оказывается на задворках; совсем наоборот, страх впасть в еще более ужасную нищету в таком случае толкает угнетенных искать убежища у первого встречного торговца, щедро обещающего будущее процветание. Порочные же люди, паразитирующие на всеобщем возмущении, делают все возможное, чтобы отложить наступление революции на более позднее время.

Мы коснулись той крайней, узловой точки психологии нашего времени, в которой сами оказались по своей воле. Многие из тех, кто выдвигает принципы, схожие с нашими, и следует им на практике в различных сферах по преимуществу частного характера, отказываются признавать революционную ситуацию, в которой мы сегодня пребываем, и приписывают нетерпимости молодежи те выводы, к которым мы приходим. Другие, называющие себя революционерами, поддаются различным настроениям, не вносят в них ни духовного содержания, ни веры, они не включаются всем существом своим в то дело, которое только и обладает будущим. Между этими двумя группами существует

постоянное непонимание. Они произносят слова, которые их ни к чему не обязывают или же обязывают только частично; их лозунги никогда не находят отклика, ибо слова способны разделять людей и только одна обязанность действовать придает им силы. Ложь и распри завладели нами, наши братья не понимают нас даже тогда, когда мы произносим слова, которыми вместе пользовались в детстве, нас не понимают и наши противники, которые вовсе не покушаются на то, что мы защищаем, и борются с тем, чего мы не защищаем. Одураченные словами, витающими вокруг, чтобы связать нас или столкнуть между собой, мы никогда не знаем, где друг, а где враг. Мы поддаемся самообману, поскольку лишь в одном из десяти случаев мы оказываемся людьми слова и далеко не всегда осознаем этот свой грех.

Стало быть, если следовать нашей духовной линии, то с точки зрения революционной технологии первым беспорядком является не идеологический скандал, а то, что провозглашение правильных идей отнюдь не влечет за собою соответствующей деятельности. Идеи только тогда остаются непорочными, когда личности, для которых они стали внутренним огнем, дорожат ими, усваивают их, служат им. Первым беспорядком является то, что в каждом человеке, будь он революционер или контрреволюционер, существует пропасть между словом и делом, а иногда и между самими делами (ибо существуют также и пустые дела), пропасть, к которой приближается большинство из нас, не подозревая того.

Цель духовной технологии, предваряющей технологию революционную, состоит в том, чтобы привести людей к личностному осознанию не зла как такового, не всеобщего зла, стоящего перед ними и как бы отделенного от них, о котором так или иначе возвещает голос, признаваемый непорочным, а к осознанию *их собственного соучастия во зле* и в его последствиях для повседневной жизни, добродетельной лжи их собственных речей и дел. В этом состоит первая революция, без которой всякая другая будет лишь комедией: не "внутренняя революция"¹, а революция личностная, которая свяжет воедино и поведение и внутреннее размышление; не абстрактное школярское сознание, стремящееся укрыться за безвинной системой, а *обретение личного осознания своей причастности ко злу*, которое только и может цементировать подлинно революционное сообщество.

Мы называем личностной революцией то действие, которое в каждое мгновение возникает из революционного осознания собственной причастности злу, из восстания, направленного в первую очередь против самого себя, против собственного соучастия в установленном беспорядке или попустительства по отношению к нему, против расхождения слова и дела, что служит постоянному обращению личности, преобразуя ее слова, деятельность, принципы в целостное вовлечение.

Важно видеть, как люди, находящиеся в противоположных лагерях, уклоняются от этого первейшего своего долга. Мы здесь не говорим ни о революционерах, ни о контрреволюционерах, ставших таковыми со-

¹ Нам случалось употреблять это выражение. Оно выявило скрывающиеся в нем опасности. Оставим его.

знательно или по соображениям карьеры, — а им несть числа, — но только о тех братьях-врагах, которые, находясь в обоих лагерях, считают себя искренними и которых наша диалектика, смею надеяться, способна спасти от них самих, от их собственных противоречий.

Сопротивленцы

Самой неэффективной и самой бесчеловечной тактикой является стремление видеть в них, как это часто делают революционные партии, армию лицемеров. В мире существует совсем немного лицемеров. Такая-то партия провозглашает себя пацифистской и упражняется в ненависти. Другая партия, защищающая интересы капитализма, зовет духовные силы к крестовому походу ради очищения страны. Такой-то христианин служит одновременно Богу и заигрывает с дьяволом. Все остальные — это исключительно честные люди. Весьма вероятно, что торговец пушками не мечтает о горах трупов, и я легко могу представить себе таковых среди тех, кто будет искренне возмущаться военными кампаниями, сеющими трупы, хотя вся их деятельность ведет к появлению полей, усыпанных ими. Все "искренни", и не потому ли таким образом мыслимая искренность не является для нас алиби, и в еще меньшей мере ценностью? "Искренний человек" — это человек, привыкший никоим образом не осознавать противоречия, которыми он насквозь пронизан и которые он скрывает за своей вполне приятной внешностью. Поскольку он все-таки — пусть страстно, но недостаточно последовательно — устремлен к добру, он принимает свои робкие желания и намерения за реальные акты, свое красноречие — за величие, а свои оправдания — за порядочность. Дело заключается в том, что в этом джентльменском наборе добродетелей, нередко санкционированном системой (что придает ему признак универсальности), искренний человек ищет для себя убежища, укрываясь от жизни, не замечая отступничества, смятенности и противоречивости, живущих в нем самом, то есть в каждом из нас.

Осознание искренними людьми зла в собственном сознании — вот подлинная отправная точка на пути к революционности. Иногда надо вместе с ними предаваться гневу, ибо они не могут выйти из своей "искренности", то есть из состояния самоудовлетворенности и спокойствия, усталого безразличия, лени, чаще всего по причине нехватки внутренней силы. Только искра способна высечь искру. И если огонь еще не занялся, его необходимо настойчиво и неустанно раздувать, что хорошо знают все туристы. Разумное лечение от "искренности" — это чередование двух методов; раздражительность здесь неуместна, а самые тщательные разъяснения доходят лишь тогда, когда они начинаются с сильного взрыва гнева и приличной встряски; но и после этого необходимо подвергнуть психоанализу эту "искренность", которая по сути дела является неискренностью, самоуверенностью и сугубо поверхностной уравновешенностью, чудовищным образом уживающейся с соседствующими с ней монстрами, которым заказано выходить на свет божий.

Здесь мы только приступаем к психоанализу этих "сопротивленцев", которые искренне (таково наше предварительное предположение) считают, что должны принимать мир почти таким, как он есть. Они несут в себе тайну, о существовании которой сами не знают: интерес, пристрастие или заблуждение относительно исторической перспективы.

Эти честные люди будут последними из тех, кто признает существование такого скрытого интереса, кого, по меньшей мере, коснулась Божья милость: господин де Вандель может быть только сторонником мира, поддерживаемого штыками, господин Ситроен — поддерживать теорию естественного права, господин граф Парижский — бороться за абсолютизм, а господин Всенасвете — выступать за парламентаризм. Но оставим в стороне то, что очевидно само по себе. Как может мелкий коммерсант, который не является акулой в мире бизнеса и не совершает ни значительных нарушений, ни несправедливых деяний, но который может сегодня вести игру немного за счет своей власти над заработной платой, немного за счет привилегий своего кошелька, немного за счет расхождений между оптовыми и розничными ценами, как может он оказывать содействие строю, который берет в свои руки власть над заработной платой, запрещает всякую спекуляцию, ограничивает свободу цен? Но таких мелких коммерсантов целый легион, и когда они объединяются, то образуют мощные союзы, где их убеждают в том, что они будут вести священную войну за "свободу" и во имя "маленьких людей" "против крупного авантюристического капитализма", в том, что их частный интерес становится интересом общественным, когда их становится сотни тысяч и они выдвигают собственные требования: это и есть чистая совесть, которая утверждает, и вы привели бы их в негодование, если бы сказали им, что они — за неимением лучшего, но без какого-либо существенного различия — по мелочам защищают то, что крупный капитал практикует оптом.

Соучастниками строя являются также все те, кому он оставляет какую-либо возможность жить за счет игры денег без участия в экономической деятельности: банкиры, фонды, выдающие деньги под крупный или мелкий ростовщический процент, спекулянты всех мастей (и конечно же вы, господин, играющий на бирже и складывающий разницу в свой карман), игроки на бегах или участники национальных лотерей, рантье, бесполезные посредники, в общем три четверти всех коммерсантов. Соучаствуют в строе все те — писатели, эстеты, политики, — кому он доставляет блага досуга, средства передвижения и жизни, обусловленные функционированием самого этого строя, благодаря своему соучастию в незначительных идеологических предательствах; они столь удобно устроились, что при полнейшем простодушии и абсолютном спокойствии совести пришли к тому, что не замечают нищету и несправедливость, поддерживающие их зачарованность жизнью.

Случается, что этот скрытый интерес оказывается не только переходящим или зависящим от денежного кошелька, но и интересом классовым, интересом, связанным с престижностью. Вот тогда-то он и обретаёт "духовную" поступь. Эти люди путают чувство ответственности,

необходимости порядка, власти и иерархии в распределении социальных обязанностей с привычкой, приобретенной от рождения или благодаря воспитанию (биржевики не самые упрямые люди!), принадлежать к элите, к руководящему классу, который хочет служить, иногда... но это как бы честь, связанная с его привилегированным положением, а не служение, если под ним понимать элементарную справедливость. Они считают, что их сознание отнюдь не носит классового характера, потому что они "социальны", может быть, даже справедливы или даже благожелательны в своих частных отношениях: и мы, конечно, не отрицаем, что это действительно так, но попытаемся все довести до конца: они встанут в стойку, если под угрозой окажутся их особое положение, престиж, бесконтрольная свобода, которые они получают, благодаря своему социальному положению. Когда у них отбирают красивый мундир, они считают, что вместе с ним они утрачивают и честь.

К этим первым не столь малым по числу людям следует добавить еще и тех, кто примыкает к консерваторам в силу собственного темперамента. Добрые люди. Они взирают на мир с той снисходительностью, которая граничит с истиной, потому что ее мотивом всегда является доверие к человеку, но она тем не менее бесчеловечна, потому что исключает видение зла и препятствует сопротивлению злу; порой им свойственна и более глубокая, истинная, снисходительность, та, что может спускаться до преисподней и подниматься из пропасти. Мы ничего не имеем против настроения человека, однако ему не следует заниматься морализаторством.

У христиан, в сущности, столь же ложное понятие о милосердии и любви, но оно снабжено верительными грамотами о благородном происхождении, что особенно способствовало усилению заблуждений. Если милосердие Бога требует отыскания у самых закоренелых грешников оснований для прощения и ростков иногда ошеломляющей святости, если ясно было сказано: не суди — то как можете вы, задают вопрос, не отступая от милосердия, выносить столь радикальный приговор современному миру и его руководителям?

Это значит чересчур поспешно путать милосердие с оптимизмом и с покладистой снисходительностью к другому человеку лишь потому, что она в первую очередь является снисходительностью к себе самому. Осознавая то, что его учение — это учение о *конечном* единении и *конечной* гармонии, христианин обычно смотрит на мир с позиций *актуальной* гармонии, построенной по образцу умиротворенной жизни, которая способна видеть в религиозном духе только мягкосердечность, но это — подпорченная мягкосердечность и она подобна добродетели, которая обособляется от совокупного взаимодействия всех добродетелей. Между тем в грехе реальность внутреннего мира и мира социального является противоречивой. Не бывает христианского видения, которое не умело бы распознавать неиссякаемые богатства человека, живущего с Богом в сердце. Но не бывает также такого христианского видения, которое с той же силой не чувствовало бы ничтожности человека без Бога. Суровость, негодования, проклятия, которые ставились в упрек молодым "революционерам", являются всего лишь из-за велений времени

насильственным ученичеством этого второго человека. Суровость — это не цель в себе, даже христианин обязан преодолеть ее, но если он не прошел через нее, если он сам вопреки себе, а в ряде случаев доходя до отчаяния, не испил из чаши Гефсиманской*, он рискует на протяжении всей своей жизни, даже при наличии доброй воли, остаться чуждым суровой реальности страдающих людей, которые пребывают в неизбежном и готовом прийти на помощь царстве Креста.

Наконец, многие захваченные четырехвековым господством индивидуализма отвыкли мыслить свою жизнь и деятельность с позиций сообщества. Речь идет не о внешнем, искусственном, юридическом сообществе, в котором отношения взаимности абстрактны, а о сообществе, пронизывающем нашу душу и плоть, вне которого каждый из нас — всего лишь живой труп, о сообществе, дела которого — это наши дела, грехи которого — наши грехи, судьба которого — наша судьба. И в этом опять-таки христиане сдали свои позиции. Между тем благодаря теологии мистического Тела они имели в своем распоряжении самое высокое общностное послание, которое когда-либо становилось достоянием истории¹. Но они позволили себе поддаться своего рода индивидуалистическому морализаторству, которое заставило их практически забыть и мистику общности, и теологию общности, и мораль общности. Христиане часто живут интенсивной внутренней жизнью, остро осознавая все зло индивидуализма, так что некоторые из них быстро впадают в пессимизм янсенистского толка. Но чересчур часто они понимают внутреннюю жизнь примитивно, как исключаящую все внешнее и коллективное, тогда как всякое размышление, всякая молитва, всякое присвоение, свойственные индивиду-одиночке, отмечены скудостью. Такие христиане остаются странным образом бесчувственными к коллективному злу и его сущности, к институциональному беспорядку, в котором соучаствуют все, даже те, кто считает себя непорочным; они пытаются свести все это исключительно к индивидуальным слабостям людей и таким образом признать индивидуальное моральное усилие единственным лекарством для лечения коллективных расстройств. Когда мы говорим им, что нужно действовать с двух сторон — и индивидуально, и коллективно, — они воображают или делают вид, что воображают, будто мы стремимся отвратить их от той личностной революции, которая для нас неотделима от революции общественной. Между тем мы выступаем только против этого бессмысленного разделения, вследствие которого люди, нередко являющиеся носителями самой высокой духовности, отрицают или недооценивают в своей общественной жизни то, что составляет величие их внутренней и частной жизни.

Вот некоторые из невысказанных, но реальных причин, в силу которых столько ревностных борцов за духовные ценности пока еще не сумели осознать требований, вытекающих из их же убеждений. Станут

¹ Не в самих принципах, которые остаются безупречными, а в их повседневном истолковании, в их апологетике, а иногда и в способе изложения.

ли они говорить в свое оправдание, что мы критикуем многие институты, в этом плане индифферентные сами по себе, где ни чистой, ни нечистой совести делать нечего? С этим мы согласны, драма нашего времени не пишется по сценарию столкновения между добром и злом. Существуют не только беспорядок и люди, вступающие с ним в сделку. В тот самый момент, когда этот беспорядок достигает своего апогея, естественным образом возникает кризис современной цивилизации. Даже взятые независимо от их искажений, индивидуальная свобода, семья, собственность, государство в тех формах, в которых они ныне еще существуют у большинства западных народов, являются биологическими пережитками, не соответствующими новым условиям жизни. Наша революция не отвергает преемственности в истории и стоящих за ней вечно живых сущностей. Индивидуальная свобода, семья, собственность, если их правильно понимать, являются для нас вечными ценностями. Но и само вечное выступает как телесное, а всякая плоть с течением жизни костенеет. Исчезновение людей, партий, журналов, цивилизаций необходимо, чтобы вернуть жизни ее ресурсы, когда тело, которое было ее носителем, одряхлело и превратилось в неподвижный скелет. Способ, обеспечивающий непреходящий характер и чистоту самих духовных реалий, всегда оставался одним и тем же. Существует что-то, что остается, и что-то, что меняется, и, как говорит Ньюмен, требуется, чтобы вот это изменилось, а вот то осталось самим собою.

Между тем всякий раз, когда вечная ценность вынуждена воплощаться в новом теле, возникает сопротивление. У одних это просто рутина, лень, сопротивление тому, что их побеспокоили. У других — что весьма существенно — это недостаток воображения, неспособность представить себе новое расположение того, что извечно занимало определенное место. Кто-то (и именно поэтому такие люди меня интересуют) чувствует себя внутренне более уязвимым. Искренне поддерживая те или иные ценности, они полагают, будто те оказались под угрозой, когда нападкам подвергся лишь механизм их воплощения. Лучше окаменеть, чем все потерять: и они не замечают, что неподвижность как раз и убивает жизнь, что если бы вечное всегда было вынуждено сохранять облик, который был создан той или иной эпохой, то тогда-то оно и перестало быть вечным.

Чтобы провозгласить эти простые истины, совсем не надо обращаться к бог знает какой историографической или эволюционистской мистике. Впрочем, она все равно полностью противоречила бы нашему чувству. Нам нет необходимости верить в то, что все движется, потому что некоторые вещи вынуждены двигаться. Напротив, мы определяем их развитие как раз по отношению к точным ориентирам. Мы всегда все соотносим с положением человека, это-то и является нашей путеводной звездой.

Любовь к миру и людям требует внимания к уровням зрелости истории. Сегодня, когда история — и это надо признать — настоятельнейшим образом требует от нас инициатив и отваги, сколько людей понимает подлинные проблемы нашей эпохи, если даже большинство наших самых лучших приборов существует со времен Первой империи?

Признанные революционеры горят нетерпением, когда мы вместо того, чтобы спекулировать на расхожих образах богочеловечности, предлагаем изучать человечность, как таковую, которая свойственна всем людям, в том числе и контрреволюционерам. Подобные трезвость и мягкотелость опасны, говорят они, поскольку рискуют притупить революционную остроту, ослабить гнев, ненависть, жестокость, необходимые для поддержания классового боя. Так что же, следовательно, чтобы спасти человека, надо перестать быть человеком? — Да, говорят они нам: из-за необходимости, диктуемой революцией, "в течение пятидесяти лет проблема человечности не будет стоять на повестке дня".

Ставки сделаны. Начиная с этого момента, мы можем по-прежнему возмущаться, иметь тех же самых, что и прежде, врагов, так же предвидеть будущее социально-экономическое развитие и даже звать к тем же силам перед лицом грозящего бедствия, но наша повседневная задача теперь совершенно иная. Быть может, мы столкнемся со всем этим в нашей деятельности, но это будет уже новая песня и новая судьба.

Раньше мы вместе со всеми революционерами направляли наши атаки прежде всего против противников революции, то есть противников справедливости. Теперь настало время заняться самокритикой. Кое-кто называет это анархией и контрреволюцией¹.

Почти никто, кроме революционеров, не говорит о себе, что их совесть чиста. Буржуа, хотя бы потому, что он умен и чувствителен, не может обойтись без того, чтобы не увидеть, что его суждения постоянно расходятся с действительностью, что его идеал, если у него есть таковой, теряет свою привлекательность; он начинает лукавить, цепляться за старое, призывать на помощь всевозможные "несмотря ни на что", "надо принять любые меры" или становится циником. Революционеры же стоят на стороне реальности, они по-своему (по меньшей мере в рамках своей критики) владеют истиной эпохи, являются авторитетом для героических личностей, униженные люди ищут у них поддержки. Они с такой легкостью обретают правоту в полемике с порочным миром, что вполне естественным образом начинают считать себя праведниками и в борьбе с лицемерием создают новое лицемерие. Политикам остается только лишиться их той чувствительности, которая во все времена была свойственна народу, придать им стандартный облик интеллектуалов, благодаря чему противник системы (а отнюдь не справедливости или человека) автоматически становится лицемером, а ее сторонник столь же автоматически оказывается непогрешимым и непорочным. Лишенные человеческих свойств, они тогда могут предстать элементами "силовых" систем, где индивиды являются представителями строго детерминированного рабовладельческого универсума, со всеми его "переходными периодами" и логическими выкладками, где нет места понятию о человечности.

¹ Даже тогда, когда она проистекает из убеждений столь же бесспорно революционных, каковыми являются убеждения Марселя Мартине, Виктора Сержа и каковыми они вчера были у Жана Ришара Блока.

Отрицаем ли мы сам факт классовой борьбы? Отнюдь нет. В нашу эпоху она по большей части была развязана капитализмом, который нивелировал личность буржуа, обрекая его на алчную погоню за безликими деньгами, и личность пролетария, угнетаемого с помощью денег и нищеты и ставшего рабом собственного идеала, который он выдвигал в качестве компенсации за то, что испытал все тяготы жизни. Не признавать классовую борьбу значило бы становиться на сторону лжи, которая пытается замаскировать ее, и осуществлять свою самую что ни на есть искреннюю деятельность как пособничество злу. Мы считаем, что мир, если его рассматривать с точки зрения силы, слишком порочен и погряз в грехах и поэтому его очищение возможно только с помощью силы: в таком случае, конечно, надо, чтобы в столкновении сил на одной стороне были ненависть и озлобление, а на другой стороне — негодование, вызванное чувством справедливости; перед лицом зла в сотни раз лучше "нечистый гнев", чем безразличное смирение.

Можно, поборов эту необходимость, смириться с ней как с меньшим из всех зол или методично поддерживать ее, находя удовольствие в том, чтобы подчинить ей человека. Капитализм несет ответственность за то, что вызвал к жизни классовую борьбу и позволил ей развиваться, в то время как революционные партии всеми средствами разжигали ее в сердцах людей, признавая главной движущей силой истории. Отсюда следует морализирующее упрощенчество, в чем нам уже не однажды приходилось убеждаться: добро растворяется в пролетарском мессианизме, а зло вообще отбрасывается.

Принимается ли при этом во внимание то, что между методами и целями существуют тесная связь и взаимодействие? Сытым людям легко называть материализмом революцию, осуществляемую ради хлеба насущного. Таким образом они пытаются повернуть "духовные силы" против революции, во имя справедливости. Не поэтому ли мы обращаемся со своими требованиями не к этим людям, а к революционерам: если вы боретесь с симптомами зла, а не с самим злом, которое существует как вне вас, так и внутри вас, если у вас нет метафизической концепции человека; если вы, как и буржуа, считаете, что бесконечное накопление материальных благ служит самоосуществлению человека, и призываете других верить в это; если вы стремитесь экспроприировать буржуа и занять его место, то вы под именем революции готовы узаконить и освятить язвы буржуазного строя и полностью подчинить ему те слои населения, которые он затронул пока только извне, столкнувшись с устойчивым, глубинным сопротивлением; если в борцах революции вы в качестве внутренней движущей силы видите только ненависть и злобу, если возбуждаете в них не святое требование справедливости, а черную зависть, то вы незаметно превращаете вспышки справедливого гнева в пыльные бури, вызванные корыстными интересами: тогда уж не удивляйтесь, если какая-нибудь мистическая сила, скажем фашизм, благодаря посулам и подачкам, перетянет на свою сторону те войска, которые вы считаете своими.

Очищение революции является по меньшей мере столь же необходимым, сколь и само осуществление революции. Здесь по поводу революционеров мы вынуждены повторить ту же защитительную речь,

которую когда-то вместе с ними мы произносили в пользу сопротивленцев. Сами они уже разучились понимать ее, как только включились в игру, даже если и признают иногда, что в доме не все в порядке и что желательны перестановки и улучшения. Эти реформисты от революции пользуются тем же языком, что и реформисты от установленного беспорядка, и так же, как и те, остаются немощными. Требуется по меньшей мере революция в революции. Вследствие своей системы или науки и двусмысленности своих систем, вследствие своих поступков или уклонения от них и двуличия своего поведения многочисленные революционеры, несмотря на видимость, оказываются заодно с миром денег, комфорта, успокоенности, рационализированной анонимности. Они полагают, что порвали с ними, но это всего лишь семейная, местечковая ссора. Мы боремся против капитализма, а не за универсализацию капитализма, против буржуазного духа, а не за демократизацию буржуазного духа. Все вопросы о том, будем ли мы объединяться или не будем объединяться, будут ли у нас существовать средние классы или не будут, приходят потом и получают решение только после того, как уточняется этот исходный пункт.

Следовательно, настала очередь революционеров избавляться от своей совестливости. Всякий человек подобен самому себе, а "новый человек" подобен старому; в этом лагере мы находим те же приемы уклонения, те же скрытые и неосознанные мотивы, что и в лагере сопротивления.

Революционная позиция может быть также всего лишь сублимацией какого-то тайного интереса. Проследим за кончиной революционных партий, а в последние годы таковых случилось немало. Что привело их к этому? В основе лежит всеобщее распространение мелкобуржуазного духа, для которого профсоюзное движение завершается решением вопроса о приличной получке, а общество будущего — это когда можно каждый вечер набивать брюхо и ходить в кино. У руководителей — это инерция, свойственная касте функционеров, залогом которой становится постоянная отсрочка революции. Об этих вещах следует говорить со всей прямотой. Революционные классы хлебнули вдоволь нищеты, а что касается героизма, то его им не занимать, и мы не присоединяем свой голос к голосу тех, кто выступает против голода и против бунта. Материализм богача внушает опасение, материализм бедняка только удручает. Само собою разумеется, что мы делаем одно дело вместе с бедняком. Мы не стремимся излить ему свои нежности или давать советы, какие обычно дают люди "порядочные" и "добродетельно-целомудренные". Мы приходим к нему, чтобы сказать, что все мы, и ты вместе с нами, а мы даже с большей, чем ты, долей вины, защищая справедливость и порядок, сотни раз вступаем в сделку с несправедливостью и беспорядком. Противника или систему недостаточно видеть *перед собою*; революционная система, которая нам предлагается, грешит уже в основе своей, наш революционный класс живет так, как если бы он не был таковым, и мы будем достойны нашей революции лишь тогда,

когда в первую очередь начнем со встряски самих себя. Быть может, в этом направлении будет сделан громадный шаг уже в тот день, когда эти слова станут жизненной программой.

Есть много и таких людей, что в революции дают свободный выход своим страстям. Это небольшая кучка подстрекателей, которые нередко подлежат не столько политической, сколько психопатологической диагностике: неудачники, параноики, буйнопомешанные, изобретатели утопий, террористы, хулиганы и те, кто любит свару и находит себе место либо в рядах "Патриотической молодежи"*, либо в полиции и красной милиции. Энтузиасты без работы, которым, впрочем, наплевать на содержание их энтузиазма, лишь бы им наполнилось сердце. На высшем уровне — это крупные художники, которые в политике, как другие в музыке или в живописи, испытывают влечение только к творению *ex nihilo***.

Или же одинокие герои Мальро***: бросать гордый вызов смерти и бороться с ней один на один.

Эта армия политических авантюристов, одни из которых достигают определенных вершин, другие достойны оправдания. Мы требуем только, чтобы все они осознали с такой же ясностью, как это сделал Мальро, свою подлинную позицию и движущие ими мотивы. Речь не идет здесь ни об историческом детерминизме, ни о социальной справедливости: одни, выбитые из колеи, ищут свое место в сообществе; стало быть, сообществу надлежит организовать таким образом, чтобы они смогли найти в нем свое место, а не продолжать производить людей без царя в голове; другие полны энтузиазма и готовы искать приключений, которые им по плечу: опять-таки сообществу надлежит предоставить им такую возможность, чтобы дать применение их благородству, не вынуждая при этом каждого претендента вытаптывать грядки, где произрастает общее благо.

Быть может, больше всего революционеров, по меньшей мере в стране Декарта, существует среди тех, кто считает себя таковыми потому, что в их мозгу, достаточно скором на мысли, обычная систематичность (предположим даже — вполне законная), пользуясь логической цепочкой, вступила в союз со "здравым смыслом". Быть может, не меньший успех завоевала бы у них и какая-нибудь другая связка, но сработал эффект первоочередности. Это как раз и есть то, что марксизм называет обретением революционного сознания. Но не стоит обольщаться словами. Иногда (а может быть, и довольно часто) революционное сознание возникает из чувства тревоги, упоения победой, скорби по жертвам, благодаря внутреннему озарению. Нередко нам приходилось видеть, как революционное сознание, когда речь заходила о духовной революции, с легкостью выливалось в безудержный поток слов, так что откровения наших неопитов не выходили за рамки расхожего мнения. Революционное пустословие ничуть не лучше конформистского пустословия, но оно более опасно, так как сеет надежды и плодит обманутые и разбитые сердца, несостоявшиеся судьбы. У скольких людей слово "революция" вызывает лишь легкое возбуждение; заимствуя словарь веры, оно прельщает людей расплывчатыми, бессодержательными призывами, обрекает их на конформизм; слово это не доходит до глубин личности.

К "интеллигентам", которые не отдают себе отчет в том, что жизнь их лишена действительности, относятся с сарказмом. Этот упрек идет как раз от тех, кто на самом деле впадает в наихудшие "абстракции", предпочитая дух систематичности, считающийся практическим только потому, что основывается на чувственности; когда эти люди вступают в партии, они, по существу, верят лишь в технические приемы и конструкции, но не верят ни во что такое, что могло бы встряхнуть их, сломать их жизненные привычки; подлинные "интеллигенты" — это люди, которые разоблачают систематизированные мысли, безличные мнения, корыстные партийные связи и выступают за глубокое осмысление происходящего и за ответственную деятельность.

Мы вновь возвращаемся к уже сказанному: если мы хотим *спасения* революции (в религиозном смысле этого слова), то на место абстрактного революционного сознания, безличной мысли и столь же безличного учения надо поставить революционное сознание, исток которого — в признании собственной причастности ко злу. Критика не дает ничего, если она карикатурно изображает какие-то коллективные неудачи или заблуждения. Она должна дойти до души каждого из нас и перевернуть нашу жизнь. Тогда перед нами будут уже не массы людей, подчиненных системе, а отдельные личности, несущие справедливость.

Мифы, персонажи, инстинкты и личность

Следовательно, быть революционером — значит не иметь никакого алиби и быть человеком, а не казаться им.

Первое духовное требование состоит не в том, чтобы систематическим образом обрести "революционное сознание", а в том, чтобы учиться быть личностью. Это означает *постоянный труд по извлечению* от всех препятствий, обусловливаемых индивидуальностью или персональностью людей¹, которые парализуют, извращают, искажают дело персонализации; препятствия эти — идолы и штампы языка, поддельная искренность, маски и роли, чистая совесть, поверхностные суждения, иллюзорный энтузиазм, инстинкты, устойчивые привычки.

Глобальным врагом в этом первом сражении являются анонимные силы², как индивидуальные, так и коллективные.

Самые распространенные из них — *коллективные мифы*. Эти систематические и систематизированные (или то и другое вместе) всеобщности своим упрощенчеством и двусмысленностью препятствуют пронизательно-острому взгляду на человека и историю, тейлоризируют* сердца и увековечивают обман.

Обычно они объединяются в две группы.

Правые мифы: миф о "порядке"³, националистические, расистские мифы, мифы культуры, мифы о "руководящем классе" и "элите"; мифы

¹ См. выше, в каком смысле мы используем эти слова.

² Теперь мы знаем, что индивидуальное является всего лишь частью анонимного, но ни в коей мере не этапом на пути к личности.

³ Все эти слова необходимо поставить в кавычки: достаточно хорошо известно, какой образ они вызывают.

о "власти" и т. п., а для демагогического употребления — более выразительные мифы о человеке-с-ножом-в-зубах, о бандах апашей и мятежников, о грабителях, не говоря уже о неспособных-найти-себе-занятие-получше и о тех, кто-не-дурак-пожить-на-дармовщинку и других расхожих мифологемах, пригодных для домашнего пользования.

Левые мифы: миф о "парламентских свободах", о "светском сознании" и об "обскурантизме", о "республиканском сознании", миф о "добром молодечестве", миф о "безалаберности", миф об-учителе-и-священнослужителе. Мифы крайне левые: миф о фашизме (фашизм антисталинистский), миф о "насилии", миф о "новом человеке", миф о "будущем социальном устройстве", миф о священнослужителе-генерале-банкире и т. п.

Перечислять мифы можно до бесконечности. Их сила в том, что они всегда опираются на какой-то реальный факт, на самые что ни на есть поверхностные реалии и выступают в том общем виде, который они приобретают в расплывчатом общественном мнении. Они оказываются тем менее истинными, чем более кажутся убедительными.

По сю сторону мифов расположены наши *персонажи*, которые отражают их, а в наших персонажах — наши *инстинкты*: классовые, правые, левые.

Первое усилие, совершения которого мы требуем от наших друзей, это революция против мифов и, если говорить об их ближайшем окружении, это избавление от инстинктов как правых, так и левых. Ни правые ни левые — такая формулировка в политическом плане является самой опасной, если брать политику в том смысле, как ее понимают политики, — как тактику, которая разыгрывается партиями на старой, но любимой шахматной доске; и здесь правы марксисты, видящие в этом первый признак фашизма; в самом деле, даже вопреки намерениям тех, кто такую политику осуществляет, она связывает воедино все, что есть самого трусливого и заурядного, она объединяет нерешительных, неустойчивых людей в мелкобуржуазные картели, первейшая забота которых состоит в том, чтобы обеспечить свою безопасность под защитой порядка и денег. Но дело примет иной оборот, если мы будем говорить о несоизмеримости подлинно человеческих характеристик с этой искусственной, туманной и противоречивой классификацией, которая привела к противопоставлению: правые — левые. Революционные политики, принимающие любое слово так, как оно звучит в политическом плане, даже не подозревают о том, что по ту сторону этих покрывшихся плесенью категорий звучит призыв к преобразованию и решительным действиям.

Разоблачение, о котором мы лишь вскользь упомянули, может стать буквально бесконечным. Ошибкой было бы считать, что в него можно включиться, просто провозгласив себя нонконформистом. Нонконформизм — это еще не добродетель. Не бывает негативных ценностей. Ныне достаточно распространенной является манера провозглашать нонконформизм, манера, которая, если так можно сказать, представляет собою одну из специфических черт конформизма. В этом случае отбрасывается одна наиболее распространенная система отсылок в пользу другой системы, чтобы заявить о некоем диковинном социальном устройстве,

к которому нас влечет какой-нибудь частный интерес, апатия или причуда. В подобным образом избранном обществе люди ведут себя в точности как огромное стадо, повторяя одни и те же слова и устремляясь к состоянию безмятежности. Как только добродетели переходят границу, они тотчас же превращаются в свою противоположность. Добродетели, которых требуем мы, сами себе никогда не дадут передышки.

Личность заявляет о себе посредством своего *вовлечения*. Вовлеченность — это не партийный билет, являющийся прекрасным средством для того, чтобы раскрепостить свое сознание и избавиться от груза подлинности — идет ли речь о мышлении или о деятельности. Это даже не активная воинствующая страсть: существуют люди, которые любят размахивать руками и подогрывать бурлящие в них чувства: они не могут стоять на месте, они — все вовне, они постоянно демонстрируют; но я задаю такой вопрос: ради чего они готовы принести себя в жертву? — и все становится на свои места. Скажем больше: вовлеченность совсем не обязательно требует гибели. Ныне мы наблюдаем, как возрождается старая мистика борьбы и крови. Но верно и то, что терпеть удары — это, как правило, гораздо большее, чем терпеть бессмыслицу. Что же касается смерти, то человек только тогда человек, когда у него есть по меньшей мере одно дело или одно живое существо, ради которых он готов пойти на смерть. Однако смерть освящает лишь то, что сам смертный освящает в ней¹. Это может быть нечто величественное, жалкое или безразличное — уж что он выберет. Я склоняю голову перед теми отчаянными людьми, которые во имя справедливости идут под расстрел. Но стоит ли жертвовать собой, если речь идет всего лишь о спорте, даже о спорте политическом, стоит ли идти на величайший риск, надеясь заполучить шрам славы на лице? Не будем играть в "жертвы". Сегодня слишком многие люди готовы пойти на плаху ради чистой политики (я уже не говорю о социальном строе, который опирался бы на правосудие) — это не что иное, как идолопоклонничество. Нередко смерть оказывается самым легким выходом из неразрешимых ситуаций, а банальная драка — возбуждающим средством, которое устраняет необходимость постоянно брать на себя ответственность. Сколь бы смиренной она ни была, мы хотим только личной смерти, и она, как это ни парадоксально, не будет для нас бегством от жизни или уступкой в пользу более легких действий.

Скажем так: смерть может быть только последним вовлечением, венчающим наши дела. Вынуждая нас включиться в игру насилия, смерть, как и всякое насильственное средство, должна получить наше согласие лишь в том случае, когда любое другое средство полностью обнаруживает свою неэффективность.

Весь последующий анализ будет связан с попыткой выявить такие виды вовлечения, которые включают в себя псевдововлеченность.

¹ Три револьверных выстрела, и вот вам святые жертвы, ничтожный политик, диктатор-самодур, который обязан своим возвышением убийству и который, как говорится, воздвиг памятник убийце! Правда, пресса тут же сумела представить все как обычную смерть, сфабриковав исторические слова, по поводу которых она, эта управляемая пресса, должна была заранее договориться, чтобы здесь не было разнобоя*.

Долг добровольного вовлечения, если говорить о деле, которому посвящает себя личность, сопряжен с долгом *верности*.

Его цель — это, прежде всего *постоянное служение истине*. Каждый человек в своих повседневных делах может продолжить ту работу по разоблачению и размежеванию, которую мы здесь пытаемся осуществить. Для этого требуется больше смелости, чем обычно считают: освистать такой-то фильм в зале, погрузившемся в безразличие; придать значение обтекаемой фразе, которую все принимают просто так; без усталости бороться против молчания и равнодушия, этой питательной среды обмана. "Создать ополчение защитников истины", — пишет нам один друг, ополчение невидимое, отличающееся верностью. Надо довольствоваться тем, что мы вносим дисгармонию, — как бы малопривлекательно и опасно ни было это занятие, пишет нам другой наш друг.

Смирненное величие этого служения проступает в той самой статье, которую действию придает его последняя побудительная причина. Существуют два способа служения, ибо существуют две причины, толкающие к действию. Действие одних нацелено на достижение *успеха*, я имею в виду исторический успех, то есть временное воплощение, которое одновременно с освящением победы знаменует собой конец риска, начало благополучного, обеспеченного и умиротворенного существования, а сверх того еще и славу для тех, кто ее жаждет. Действие других нацелено на *свидетельствование*. Я не хочу сказать, что в определенном смысле они не желают успеха, иными словами, — победы над злом. Но они знают, что победа всегда спорна, что ее результаты будут оспариваться вновь и вновь, и, хотя эти люди постоянно и во все большей мере терпят поражение, *необходимо*, чтобы они были, пусть и с их иссякающей силой, чтобы обеспечить хоть каплю человеческого присутствия в том, что является вечным. Их обуревают тревога — добьются ли они успеха или исчезнут с лица земли, но, как бы то ни было, с ними всегда будет их дело, даже если они потерпят поражение. Более того, они знают, что при достижении успеха, о каком мечтают другие, триумфальной колесницей будет править уже не их дело, а что-то такое, что узурпирует его. Первые нетерпеливы, идут на поводу у своего поспешания, руководствуясь близорукой тактикой. Вторые с полным доверием относятся ко времени и к своей собственной вере. Первые боятся одиночества и неопределенности, ибо судят о результате с точки зрения количества. Вторые опасаются излишне быстрого распространения своего влияния, которое не может быть ни органичным, ни плодотворным, а следовательно, приводит их к мысли о качестве избранных ими средств. Первые стремятся к тому, что справедливо называют превосходными средствами, которые связывают воедино продуктивность и доступность: серийные выпуски, пышные службы, реклама, американизация. Вторым по душе скромные, но отнюдь не убогие средства, они видят в них как бы духовную гарантию и в то же время тонизирующее средство, ибо они требуют от каждого жертвенности, без чего не бывает подлинного самопожертвования. Первые всегда категоричны. Вторые — сдержанны. Первые отлично владеют своим делом. Вторые являются свидетелями того, что превосходит их. В конечном счете, первых прежде всего интересует дело, а уж потом бытие; вторые в первую голову

заботятся о бытии, ради которого можно было бы что-то делать независимо от того, участвуют или нет они сами в этом деянии.

Вот как звучит новая заповедь: *сосредоточь свое действие на свидетельствовании, а не на успехе.*

К долгу разоблачительства и долгу верности следует, наконец, добавить *необходимость чуткого отношения к миру и присутствия в мире.*

Долг по отношению к человеку: *относиться к каждому как к личности, а не как к единице множества* (христианин признает такой способ действия, уважая каждую личность — хранительницу образа Божьего). Этот способ действия не имеет ничего общего ни с терпимостью, ни со снисходительностью, ибо и то и другое выросло на почве безразличия. Мы будем строгими по отношению к другому, но это та же самая строгость, с которой мы относимся к себе. Не суди? Не суди о намерении и конечной ответственности. Но сказано также: "человек духа судит о каждой вещи" — ты будешь судить о последствиях, о самой сути деяний и их мотивах — сознательных и бессознательных. Ты должен безжалостно судить их, но не человека: приводя его в замешательство, думай о том, как помочь ему сделать первый шаг в направлении его возрождения, пусть твой гнев будет праведным — он необходим, чтобы разрушить стену неведения, которая дает убежище обману.

Присутствие в мире. Не надо создавать резерваций непорочных (где они, эти непорочные?). Мир рождается в муках. Мы должны быть причастны ко всем страданиям, какие испытывает мир. Мы больше не имеем права ничего не делать. Мы больше не имеем права произносить слова, не задумываясь о их воздействии; каждое из наших слов за исключением некоторых, пришедших к нам из детства, должно быть серьезным и самым что ни на есть требовательным, даже если эта требовательность исходит не от нас самих. Краснобайству, как никогда ранее, следует давать отпор.

Только тогда нам будет позволительно думать о средствах — о тех, которые не действуют автоматически.

3) К новым формам деятельности

Вырождение политики

— Но в конце концов, что практически вы *делаете*?

— А что сделали вы сами за десять, за двадцать лет? Конечно, раздавали карточки активистов, членов, сторонников, исчерпали ресурсы самой безудержной веры в ваших тщетных агитациях, распространяя добропорядочность и коллективное спокойствие на людей, которые без ваших усыпляющих усилий, безусловно, продолжали бы работать только над великими органическими задачами.

Поостережемся того, чтобы эти люди действия и эти практические свершения не повлияли на наше желание действовать. Это желание является главнейшим призванием нашего поколения. Наши деды, ох-

важные рационалистическим порывом, прежде всего стремились к тому, чтобы ясно видеть; наши ближайшие предшественники, яростные сторонники романтизма, стояли за подлинность чувств. Нам уже недостаточно ни ясного осознания, ни подлинных чувств. Мы видели, как бессильны оказались они со всей их эрудированностью, когда речь зашла о защите людей; мы на опыте узнали, что их подлинные чувства способны привести лишь к завуалированному безразличию. Мы больше не хотим удобных и легковесных решений. Мы хотим быть основательными, вовлеченными — мы хотим присутствия в мире. Мало сказать, что мы этого хотим: нас влечет к этому некая потребность, которая сильнее и значительнее воли.

Мы столь же требовательно относимся к действию, как наши предшественники относились к своим убеждениям или чувствам. Тем самым мы решающим образом вступаем в ту самую реальность, которую искали и они, не сумев преодолеть узости своих воззрений. Мы, молодые, ищущие, живем в мире злодеяний. События приобретают неожиданный поворот, растет нервозность, множатся иллюзии. Но и в духовных делах есть свои маклеры и перекупщики, готовые на корню скупить наше поколение со всем его призванием еще до того, как перед ним откроются пути свободного человеческого общения, которое обещает быть плодотворным. Мы, молодые, будем стараться выполнять свой долг, сегодня мы слышим трусами и неудачниками, ибо представители бесплодного великодушия убедили себя в том, что мужество тождественно велеречивым жестам, а эффективно только то, что дает непосредственные результаты. Стоит ли думать об этом, друзья мои! В предстоящем нам испытании мы закалим свою веру. Однако когда властвует конформизм, надо пройти также и через испытание бесчестием.

Вот почему мы начинаем с того, что выносим за скобки политическое действие в том виде, как оно записано в наших правах. Я говорю: вынести за скобки. Мы не отрицаем того, что определенное политическое действие может стать необходимым, чтобы выиграть время, нужное для естественного хода революции, и защитить ее пока еще хрупкие начинания. Но существует достаточно большое число людей, которые этим и удовлетворяются. Их даже слишком много. Следовательно, требуется, чтобы какое-то число наших сторонников решилось покинуть их ряды, если ранее им в голову пришла фантазия вступить в них, и поискать что-нибудь поновее. Мы отправляемся в неизведанные дали. Те, кто ждет от последующего описания линий действия систематического изложения, как они говорят, конкретных целей, будут разочарованы. Мы намечаем план движения. Мы сверяем путь по своим картам. Но прежде всего мы вслушиваемся в стук наших сердец, после чего потребуются долгий труд, чтобы прокладывать путь вперед, этап за этапом.

Но прежде всего свернем с проторенных дорог.

Политическое действие в том виде, как оно мыслится сегодня, порочно в самой своей основе. Его цели ограничены: захват и сохранение (или реформа) государственных институтов. Между тем оно в своих требованиях незаметно переросло в тоталитарное действие. Сама демократия

привела к господству социального человека над человеком частным, последствия которого фашизм довел до крайнего предела.

Тем не менее политическая жизнь, как таковая, играет в судьбе человека гораздо меньшую роль, чем обычно полагают. Я не нахожу другого объяснения тому значению, которое ей приписывается, кроме влияния старых оптимистических мифов, перенесенных с индивида на государственные институты. Прежде ждали чуда от нового человека, наделенного инстинктивной анархической свободой, теперь его ожидают от политико-социальной машины, этого огромного механизма, автоматического сеющего справедливость и порядок. Но такое *ожидание* все еще остается *ожиданием*. Марксистская эсхатология обожествила это ожидание. Чтобы не допустить возврата к подобным обманчивым иллюзиям, никогда не будет лишним подчеркнуть, что, со своей стороны, мы не верим в чудо институтов власти. Они всемогущи, если речь заходит об угнетении, и поэтому мы являемся революционерами против тех из них, кто пользуется этой силой. Они также способны многое сделать, чтобы создать благоприятный климат, отстаивать права человека, придать направление его деятельности, словом — завести машину, и поэтому мы работаем над тем, чтобы заменить те из них, которые наносят ущерб нравственности и стопорят ход машины. Но отнюдь не институты *создают* нового человека, это под силу только личному труду человека над самим собой, в котором никто никого заменить не может. Новые институты в состоянии облегчить ему задачу, но взять на себя ее им не по плечу, помощь, которую они ему окажут, может привести его как к потере способности двигаться вперед, так и к обновлению, если, конечно, какая-нибудь другая внутренняя духовная сила не увлечет его за собой. Политики действия спекулируют на нашем малодушии. Они заставляют нас ждать чуда пробуждения от институтов власти и закрывают нам глаза на то, что нам, для пробуждения в этом направлении, непосредственно уже сегодня необходимо предпринять определенные усилия. Они должны были бы представить нам институциональную революцию как необходимое условие для того, чтобы подавить противодействующие силы и придать импульс, необходимый для очистки общественной машины, а не как магический конец плохого мира и урегулирования по заранее установленной цене наших личных трудностей с помощью сокровищ общественных добродетелей. Они должны были бы побудить нас начать теперь же работу по самообразованию, для которого помощь со стороны институтов может быть хотя и необходимой, но эпизодической, оказываемой по случаю и в зависимости от обстоятельств.

С тех пор как политика низвела человека до уровня гражданина и снабдила последнего неэффективной политической жизнью, для большого числа людей все проблемы представляются в одностороннем виде, без каких бы то ни было изменений. Средство заменило собой цель. Сначала институт значительно заявил о том, что только через его посредство можно служить человеку. Затем вопрос о захвате власти всецело овладел вниманием, которое должно было бы быть направлено на сам институт. Затем, если опуститься еще ниже, началась парламентская игра, которая явилась прелюдией этого захвата власти. Стоит

только полностью отдаться политике, как тут же начинается постепенное сползание вниз по наклонной плоскости. Мы говорим, что необходимо быть политиком, но никогда при этом не становиться исключительно человеком политики: даже когда делаешь политику своей профессией, а тем более когда участвуешь в ней только в качестве контролирующей инстанции, следует помнить о подлинных ценностях и собственно человеческих отношениях и сохранять уважение к ним. В противном случае революционное устремление, которое является источником движения всех поступков человека, замыкается на средствах, сосредоточивается в зонах "высшего порядка": таким образом в нравах, а вслед за этим и в теориях утверждается льстивое идолопоклонничество государству. Люди трудятся уже не для того, чтобы свидетельствовать о человеке, даже если результат этого состоит только в том, чтобы постоянно держать их в подвешенном состоянии, хотя они всегда и представлены победоносно уже только в силу одного их присутствия; они, не желая служить человеку и уверовав в собственную исключительность, начинают стремиться к тому, чтобы подчинить себе других, или же просто ищут самозабвения, развлекаясь игрой во власть.

К такому искажению человеческих устремлений привела ложная концепция демократии. Она не только превращала в религию общественное начало и таким образом готовила принятие идеи суверенитета тоталитарного государства, но и поощряла религию, в которой каждый хотел быть одновременно и служителем, и руководителем, и правоверным. Между тем демократия не является и не может быть таким строем, при котором все и вся претендуют стать компетентными правителями. Она является строем, при котором все должны быть подготовлены к выполнению роли таких исполнителей, от которых требуется определение своего отношения к общественно значимой идеологии, борьба против неповоротливости властей и сотрудничество в деятельности социальных органов. Лишь небольшое число людей имеет призвание к управлению, начиная с коммунального уровня и вплоть до уровня общенационального, подобно тому как другие имеют призвание механиков или преподавателей. Третьи же пусть назначают своих представителей и контролируют их, а в остальном тратят львиную долю своего времени на то, чтобы быть людьми. Пусть гражданин возвратится в отведенные ему границы. Политическое начало вынуждает чересчур много говорить о себе с тех пор, как эти не занятые делом и, как правило, болтливые граждане открыли для себя подобную игру. Каким образом можно стремиться устранить диктатуру коммерческого кафе, когда те, кто желает достойно обслуживать своих клиентов, убеждают их в том, что они по любому вопросу должны выразить свое суверенное мнение, в то же время скрывая от них тот факт, что это мнение вбивается им в голову каждое утро прессой, формирующей мнение и деформирующей его, подобно тому как монета опускается в предназначенную ей прорезь. Отделенные от опыта, эти мнения не могут быть ничем иным, кроме шуршания слов; демократическая машина, застопоренная таким образом с помощью целенаправленного пустословия, уже только одним своим функционированием обесценивает богатства самого опыта и личностного усилия, которые она должна была бы надежно соединить

вместе. Мы очень хотим посвятить свои самые дорогие устремления созданию для наших детей государства, хотя бы чуть-чуть пригодного для жизни, и гарантий против власти; это нужно как раз для того, чтобы государство больше не занималось подобной возней, чтобы власть сделалась незаметной и чтобы все люди, за исключением специалистов, могли, наконец, посвятить большую и лучшую часть своего времени другим заботам, а не выполнению полицейских функций.

Такое изменение смысла политики и сам факт, что мы отводим ей слишком много места в нашей концепции деятельности, связаны с усилением политических структур и ужесточением методов их функционирования, что явилось следствием паразитарного к ним отношения со стороны различных партий. Если иметь в виду место в обществе, то их деятельность должна была бы ограничиваться в целом человеческими проблемами, частными интересами, а их политическая жизнь и теоретические построения должны были бы основываться на соперничестве различных мнений. Однако стремление поддерживать политическую жизнь на соответствующем уровне, чтобы она отвечала потребностям целостного человека, стояла на службе людей, а не власти, очень часто стоит на последнем месте. Физиологическая жажда власти постоянно преследует людей, доводя до жестокости и бесчестия даже тогда, когда они включают в свои программы борьбу против власть имущих. Освобожденные от церковного влияния, радикалы, консерваторы, коммунисты, все они в глубине испытывают скрытую, более или менее стыдливую, более или менее откровенную страсть к тоталитарному государству, в котором они могли бы навязать людям свое правление, даже если при этом провозглашается свобода мышления и деятельности. Это не сообщества свободных людей, а картели завоевателей и властителей. Стремясь полностью слиться с осуществляемой здесь и теперь историей, они становятся нетерпеливыми, бездейственными, обескураженными, если история движется слишком медленно. Именно поэтому они чаще всего создают не новый человеческий строй, а команды авантюристов, навязывающих спонтанным революциям свои личные интересы, которых они, как только одерживают победу, добиваются с помощью власти. Таков общий ход всех политических революций, осуществляемых исключительно партиями и под их властью: свертывание программы коммунистического строительства в условиях сталинской диктатуры, подчинение Гитлера банкам и рейхсверу — вот два самых поразительных примера из светской жизни. Однако — пусть не все согласятся с этим — не существует глубокого различия между этими двумя современными примерами и авантюрой, посредством которой антиклерикальные республиканцы, якобинцы, социальные консерваторы, а вслед за ними и просто аферисты завладели республикой, о которой мечтали Курбе и Пеги.

Цель определяет средства. Если власть и угнетение выступают в качестве цели, им найдется обязательное место и там, где речь идет о средствах. Разве могли бы они сегодня не определять деяний людей, если бы они не занимали их мысли и не направляли их действия? Группа всегда имеет ту структуру и исповедует те нравы, которыми и обладает строй, провозглашенный ею. А вирус тоталитаризма легко разглядеть не

только в тех образованиях, для которых он специфичен, но и во всех партиях, объявляющих себя либеральными или демократическими и не знающих ничего более настоящего, как утверждение тиранического строя, противниками которого они в той или иной мере себя объявляют.

Таким образом, любая партия ныне основывается на идее централизма; она является тоталитарным государством уменьшенных размеров¹. Она не ставит своей целью создание условий для осуществления личностей, которые сами к этому стремятся, или реализацию интегральных сообществ, объединяющих личностей. Она думает не о солидарности людей, а только о прочности связывающих их уз. Для нее необходимо и достаточно, чтобы масса именно в качестве массы была прочной и непоколебимой, что необходимо ей для парламентской борьбы или осуществления революции: каждый принимается здесь в расчет лишь постольку, поскольку обладает силовым потенциалом. Любая личность, раскрывающая в совокупности свою самостоятельность, рассматривается ею как фактор анархии, а команда руководителей — как возможный конкурент. Здесь стремятся не готовить свободных людей, а утверждать механизмы власти, нивелирующие всех и вся посредством мифа, лозунга, дисциплины. Личностей здесь отучают от самостоятельности и по возможности прививают им конформизм и групповое сознание. Здесь людей одновременно и отвлекают от истины, и уводят от самих себя. Когда единство начинает утрачиваться из-за того, что личности не могут найти своего пути в этой удушливой атмосфере, тогда прибегают к помощи процедур, изобретенных парламентской наукой, к ловкому расчету, лавированию, ни о чем не говорящим формулировкам, словесному мошенничеству.

Наряду с разного рода закостенелостью, свойственной конформизму, мы наблюдаем и всяческие ловкаческие приемы, выдаваемые за тактику.

Существует общепринятая и основательная концепция тактики. Когда-то ее называли осторожностью, — и во что же сегодня превратилась осторожность! Тактика в этом смысле представляет собой смирение, свойственное людям действия, их верность чувству изящного и чувству реальности, способность прислушаться к духу времени и понимать суть вещей, подчиняя их влиянию предустановленные системы. Системы, теоретические построения — это транспортные средства для перевозки живых идей, для их переноса в неопределенное и ненадежное будущее. Но по мере того как повозка продвигается вперед, надо раскрывать ее дверцы и выпускать на волю идеи, которых требует каждый встречающийся пейзаж, чтобы каждая из них смогла отыскать свой путь следования, пуститься в собственное приключение.

Но вместо того чтобы стремиться к чувственной связи, к взаимообмену между прочно укрепившейся духовной жизнью и живым опытом,

¹Мы имели не один случай, чтобы подчеркнуть наши расхождения с "Новым порядком"*. Выделим, однако, в ряду его достижений замечательное исследование: *Cl. Chevalley, Michel Gladis. La mort des partis / Bulletin de l'Ordre nouveau, octobre 1933*. Мы сделаем оговорку лишь относительно недостатка, довольно распространенного в такого рода исследованиях, который самые здравые наблюдения превращает в систематизированные и искусственные — а нередко и плутовские — построения, как если бы в их руки чудом попала абсолютно чистая доска.

партии судорожно цепляются за два противоположных и тем не менее взаимосвязанных образа действия: с одной стороны, это прямолинейная и тираническая ортодоксия, конформистский устав, чуждый всякой духовной жизни даже в том случае, когда она порождается живым вдохновением; с другой — "тактика", построенная на чистом эмпиризме, всегда нацеленная на успех, где, как правило, успех непосредствен и корыстен, а эмпиризм малодушен и склонен к компромиссам. Эта двойная игра позволяет им одновременно бороться как против любого проявления гениальности, от имени "учения партии" (которое надо знать наизусть), "единства партии" (трупное окаменение), так и против всякой верности беспрекословным принципам — от имени "необходимости действия".

Эта альтернатива непреклонности и попустительства санкционирует-ся мажоритарным принципом в том виде, как он сегодня применяется, исключая голос меньшинства, сводя на нет все устремления, удушая личность, словом, все то, где как раз и находит свое убежище живая душа каждый раз, когда группа отдает приоритет коллективному началу. С этого момента уже следует говорить не о мажоритарном принципе, а о принципе тоталитарном. Как не упомянуть о подобном расхождении между учением и действием, которое характерно для различных форм фашизма, этого сращивания государственной ортодоксии, поддерживаемой репрессивной централизацией, и политического прагматизма.

Наконец, с того момента, как политики делают выбор в пользу успеха, невзирая ни на какие средства, они делают выбор в пользу средств, которые наиболее легким способом ведут к успеху. Вот почему они взывают к сговорчивости людей, всячески восхваляя ее и превознося обман, ненависть, хитрость, насилие и все те пристрастия, которые легче выпустить на волю, чем добрые чувства. Ныне они взяли на вооружение все эти средства, превратив их в обычные приемы полемики и борьбы, и, благодаря тому что эти методы аналогичны один другому, стали похожи друг на друга, несмотря на то, что учения, которые они исповедуют, разводят их в разные стороны.

Пустословие, притеснение, конформизм, расхождение между словом и делом, ложь, ненависть, насилие — это и есть все то, посредством чего вы собираетесь *осуществлять дело*, то, что вы называете действием, и именно при помощи таких бесчеловечных деяний вы собираетесь построить человеческий мир? На этом пути вы не добьетесь ничего другого, кроме лихорадочного возбуждения, обмена ударами с помощью слов и кулаков, построения иллюзий и отказа от них, спекуляции на постоянстве доверия, которое всегда считает, что на этот раз все будет по-другому, а в конечном итоге испытывает очередное разочарование.

Если бы у нас не было других побуждающих мотивов, то для оправдания наших поисков хватило бы и такого: не давать никакого дополнительного повода для недоверия к миру.

Поэтому мы будем строго судить нашу деятельность. Мы лучше повременим, чем заново совершим прежние ошибки. Мы, конечно, запачкаем руки, коль скоро сама деятельность несовершенна: когда ваши

товарищи делают глупости, то не следует становиться в высокомерную позу, в позу добрых друзей, чтобы позволить им и дальше барахтаться в грязи. И тем не менее необходимо знать, какие именно действия мы изберем, когда будем иметь свободу выбора.

Защитное действие

Первое из них, наиболее очевидное и наименее плодотворное, но тем не менее необходимое, — это *защитное действие*. Мы живем в мире, где сила правит бал, а сами пребываем в загнанном состоянии. Наши усилия, наши первые сооружения завтра же рискуют быть захваченными враждебным миром, против которого мы воздвигаем их. Не обращать внимание на эти угрозы значило бы исходить из презумпции виновности, отсюда необходимость такого чисто оборонительного действия, как, например, антифашистское действие¹. То антифашистское движение, которое сформировалось во Франции, получило бы нашу полную поддержку, если бы оставалось чисто оборонительным. Но оно существует так, как будто бы знает только правый фашизм и ему неизвестен ни левый, ни крайне левый фашизм; оно заимствовало из игры партий партийное содержание, гибрид радикализма и коммунизма, а также противонасилие, являющееся тем же самым насилием, на борьбу с которым оно претендует и которое провоцирует, вместо того чтобы его устранять. Антифашистская деятельность должна быть строго негативной и нейтральной. Она должна противостоять любой духовной диктатуре, независимо от того, исходит ли ее угроза справа или слева, от существующего государства или от группировок, которые стремятся подавить ее. Мы сожалеем о том, что Комитет Ланжевена-Алена-Ривэ* не стал соблюдать эти элементарные условия. Мы с великой радостью вступили бы в него: нам неважно, с какими бы людьми там пришлось столкнуться, если бы, исходя из самих принципов этого оборонительного формирования, было оговорено, что каждый остается свободным при выборе собственной партии. Некоторые из наших товарищей посчитали, что, несмотря на эти отклонения, политика участия в данном движении, являющемся основной антифашистской организацией, необходима для защиты наших собственных позиций. Как бы то ни было, мы займем подобающее место повсюду, где возникнет угроза духовной диктатуры. Насколько неизбежной и даже необходимой мы считаем известную материальную диктатуру, чтобы разгромить утвердившиеся силы угнетения, настолько гнусным мы считаем любое посягательство коллективности на неотчуждаемые свойства личности. Необходимо войско, чтобы отражать эту угрозу.

Но, если такое защитное действие остается, как и должно быть, сугубо негативным, оно оказывается недостаточным.

¹Мы понимаем под фашизмом любое духовное диктаторство сообщества по отношению к личностям, независимо от того, утверждается ли оно открыто или навязывается с помощью политической или экономической диктатуры государства и частных интересов: фашистское движение — это любое движение, ставящее нас перед опасностью такой диктатуры.

На сегодняшний день антифашизм является часовым или, если использовать гражданский образ, консьержем свободного общества. Это само собой разумеется, если вещи рассматриваются в данном аспекте; мы вправе даже допустить, что консьерж может злоупотреблять своей единственно защитной функцией. То, что верно по отношению к дому, верно и по отношению к обществу.

Но, говоря о функции защиты, важно не просто иметь в виду будущее общество — необходимо создавать его душу и тело. Мы тоже стремимся что-то *делать*. Только делать — это не значит вести расчеты, произносить слова и совершать жесты. Это значит уже сегодня *начинать быть* тем, чем хочешь стать завтра, обретать вдохновение и воплощать его. Если бы слова не сбивали с толку, мы противопоставили бы пресловутому политическому "действию" *действие духовное и действие корпоративное*. В определенный момент оба они смогут превратиться в собственно политическое действие, оказывая давление на государство и власть или поддерживая их. Но чтобы они стали таковыми, их нужно подталкивать, подобно тому как какой-нибудь аппарат приводится в действие пусковым механизмом. Поскольку политики поставлены у кнопки, то самодовольно считают, что именно они дают свет, и нам надлежит помочь им расстаться с этой иллюзией.

Наряду с этими людьми, по призванию приводящими в действие политический механизм этой своего рода профессиональной армии политического действия, мы хотели бы придать решительность широким массам людей и не позволить им воспламеняться от тщетных потуг этой армии, чтобы они, сохраняя необходимую связь с политикой и контроль над ней, нацелились на более глубокое действие, являющееся необходимой поддержкой политического действия. Даже если положение дел, которого мы хотим, завтра установится, оно останется малоэффективным, если у нас не будет живых людей и организаций, чтобы вдохнуть в них жизнь. И если случится так, что какая-нибудь роковая революция опередит нас, то неужели сопротивление сильных личностей и спонтанных формирований окажется менее действенным, чем протесты простодушных людей?

Мы уже не говорим о непосредственно духовной деятельности. В существующем положении дел она состоит главным образом в личной революции, о которой речь должна идти прежде всего и которая единственно способна обеспечить нам эффективность деятельности, сохраняя всю нашу искренность. Революция эта нескончаема, а для тех из нас, кто является христианином, беспредельна.

Что касается собственно органической, или телесной, революции, то сегодня мы способны лишь невнятно что-то бормотать по поводу ее первых заповедей. Именно ее зрелости мы должны добиться в течение ближайших месяцев. Мы сумеем определить ее черты лишь на ощупь, методом проб и ошибок: она для нас необычна, наше воображение, привыкшее рассматривать всякое действие как игру сил, оказывается в затруднительном положении, когда речь заходит о ее формах. Но эти проблемы получают свое решение не с помощью воображения, а с помощью веры. Постараемся же уже сегодня расчистить для этого почву.

Прежде всего необходимо засвидетельствовать наш разрыв с установленным беспорядком. Первое дело — это осознание самого беспорядка. Но осознание, которое не приводит к определению позиции и последующему изменению жизни, а не только мысли, было бы новым спиритуалистическим предательством, продолжающим те предательства, какие имели место в прошлом.

Поэтому нам необходимо определить первую группу вовлечения в деятельность и выхода из нее, которую мы назовем *действием свидетельствования и разрыва*.

Действие свидетельствования и разрыва

Это действие в первую очередь включает в себя *разоблачение и общественное осуждение* всеми имеющимися у нас средствами беспорядка, с которым мы боремся. Сразу же возникает мысль о прессе, о печатном слове; мы неоднократно проверяли на опыте то воздействие, которое могут оказывать подобные обвинения, когда общественное мнение, напичканное ложью¹, верит, что в их основе лежит исключительно забота об истине. Проникая в каждый город, в каждую деревню, эта деятельность может осуществить огромную работу по очистке умов от засорения: некоторые из наших товарищей подумывают об организации "клубов прессы", функция которых состояла бы в настойчивом разоблачении публичной лжи. Для особо серьезных случаев можно придумать другие, еще более сильные средства придания гласности.

Такая деятельность является необходимой: именно из-за того, что притупляется ощущение зла или нищеты, большинство людей удовлетворяется обычным положением дел. Чтобы безопасно вести ее, необходимо видеть ее недостатки и возможные искажения.

Главным недостатком таких разоблачений является то, что обвиняется всегда не тот, кто этого заслуживает, а кто-то другой и на него взваливается вся ответственность. Даже если разоблачение целит в группу, в ту группу, к которой принадлежит обвиняемый, он оказывается в ряду с теми, кто выставляет себя добрыми овечками, борющимися против плохих овечек.

Таким образом, подобные разоблачения могут использовать формализм слов и жестов: будут поименно названы все демоны, будет приготовлен позорный столб и к нему поведут обвиняемого; но можно этим и ограничиться, не стремиться ни к какому осязательному самопреобразованию. Поэтому необходимо, чтобы указанная разоблачительная работа осуществлялась без снисходительного отношения к себе и всегда сопровождалась усилиями по самовоспитанию, которые придадут ей перспективу, оставаясь на своем втором месте, и поставят ее под контроль со стороны искренности и внутренней мудрости.

И вот еще что важно. Привычка видеть зло только перед собой и вне себя вырабатывает определенное фарисейство, которое может быть

¹Таковы наши расследования в "Эспри" по поводу колоний, полиции, агентства "Ава"*, денег в их отношении к различным формам человеческой деятельности и т. д.

столь же зловредным, как и само зло. Нам приходилось знать таких молодых людей, окостеневших в самодовольном и резком бунтарстве, без всякой слабости и нежности, к тому же не способных оставить без внимания то, что ранило их самолюбие, когда их пророчества оставались поставленными под вопрос. Несколько суровых испытаний очень хорошо показали их духовный багаж, предназначенный для привлечения клиентуры; они с ожесточением терпели свое унижение, любое соприкосновение с беспорядком, казалось бы, встречалось ими с такой болезненностью, что их охотно обвинили бы в бесчувственности, а мгновение спустя они демонстрировали полную неспособность к хотя бы скрытому великодушию. Никогда нелишне повторять и повторять проникновенно: непорочность, к которой мы стремимся, находится не в нас, а по ту сторону от нас, выше нас, и каждый из нас, не соблюдая ее, предает ее. Поэтому нельзя говорить (или даже как-то намекать), что мы являемся непорочными. Грешно все сообщество целиком, грешны мы вместе с другими, мы в других. Нетрудно при свете дня разглядеть все наши прямые или косвенные соучастия в беспорядке, идет ли речь об упущениях, замалчиваниях или проявлениях малодушия. Так зачем же тогда строить из себя мудрецов? Чистота средств не означает, что надо действовать на манер офицера Генерального штаба, отсиживающегося в чистых комнатах и со спокойной совестью, который не прорывает фронтов, не прокалывает животов штыком, а потому считает себя вне игры. Слишком многие из хорошо воспитанных и обеспеченных молодых людишек несомненно были бы счастливы найти для себя укрытие в подобном пуриме, лишь бы не запачкать рук. Нет, раз уж мы грешим вместе с другими, раз мы идем рука об руку со зловонной толпой, раз каждый из нас порочен и мы порочны все вместе, необходимо нести требование чистоты туда, где не получишь одобрения со стороны каких-нибудь благовоспитанных умов, а будешь осмеян, освистан, оболган, предан хуле. И пусть всякому разоблачению предшествует исповедь перед самим "нашим братом", лучше произнести исповедь перед самим собой, чтобы в обособлении "наш брат" больше не оставалось места для двусмысленности и уверток. Пусть почувствуют в нас не людей безапелляционных, гримасничающих и разглагольствующих под маской выставленной напоказ силы, а людей, слабых своей собственной слабостью, и людей, сильных только благодаря своему собственному участию в силе, которую мы проявляем и которой стремимся служить. Опасность, содержащаяся в разоблачении, состоит в том, чтобы показывать пальцем на зло и делать при этом вид, будто сам по себе ты добр. Разоблачение, напротив, надо осуществлять так, чтобы зло брать на себя, а пальцем указывать на добро, стоящее выше любого нашего свидетельства: в общем, мы хорошо знаем, что, пока мы все остаемся такими, какие есть, наши слова намного опережают нас самих.

Наконец, не следует скрывать от себя то, что дело разоблачения будет разрушать те устоявшиеся убеждения, которые зафиксированы для большого числа людей, что оно является чем-то среднестатистическим между безопасностью и добродетельностью. Мы сразу же разрушим тяжелыми ударами лома те убежища, которые они себе создали, а их самих приведем в состояние идейного разброда. Но мы справедливо

считаем, что это будет спасительный разброд, который освободит людей от лжи и легковесности, созданных посредственностью. Это, разумеется, возможно только при условии, что нам удастся заменить лживую или обескровливающую пищу пищей полноценной. Мы всегда утверждали, что такое разоблачение, которое кое-кто обвиняет в том, что оно остается чисто "негативным", может быть в высшей степени позитивным, особенно в духовном плане, поскольку оно вырывает людей из сковывающего их беспорядка. Но оно оказывается таковым только при условии, если нам удастся совершать акты воскрешения. Только редкие по своей душевной силе люди способны ждать избавления, продолжая оставаться в бездне отчаяния. Ибсен боролся с такой драмой: привести к осознанию обмана еще не значит открыть животворную истину; он хорошо видел, что обычным людям недостаточно игры на чердаке с привидениями, чтобы обрести способность ждать. Вот почему мы должны быть стойкими в своем недоверии к любой попытке действия, которое не принимало бы никаких других форм, кроме негативных. За редкими исключениями, которые касаются чуткого отношения к личностям и конкретным ситуациям, негативная работа не должна начинаться ради того, чтобы восставший и освободившийся человек оказался перед развалинами собственного дома: только постоянно крепнущая вера и вовлеченность в состоянии разрушить границы предвзятости, застывшие привычки и закоснелые убеждения.

Неучастие

Мы все время возвращаемся к следующей мысли: сначала и прежде всего разрыв, личное свидетельство, личная вовлеченность. В каких формах мы можем представить их себе? Я имею в виду — и это мы уже неоднократно подчеркивали — личностную революцию, которая доходит до самых глубин: внутреннее обращение, теоретическое осмысление; однако совершенно несомненно, что все то, что утрачивает свои первоисточки, неизбежно сбивается с пути.

Стремление к разрыву и отмежеванию от установленного беспорядка вынуждает нас прежде всего стать на путь *неучастия*. Мы вскоре увидим, что проблема не так проста, как это может показаться, если взирать на все с присущим нам великодушием.

Возможно такое крайнее решение, как полный выход из игры. В укрепившейся в качестве разоблачаемого нами беспорядка системе институтов и нравов невозможно осуществлять какую-либо функцию, даже на первый взгляд нейтральную, не участвуя на том или ином уровне в функционировании самой системы, а следовательно, не участвуя в ее грехах. Это очевидно, ибо такие грехи не связаны со своего рода паразитированием на строе, которое можно было бы устранить с помощью морального излечения: основанный на конституирующих его пороках, этот строй может жить только своими пороками. Текстильное производство на Севере держится сегодня только благодаря спекуляции: бедственное положение, в каком оно оказалось, является следствием кризиса, который и сам имеет своим истоком спекуляцию; опухоль

разрастается, питаюсь собственными микробами. Промышленники, попробуйте порвать *все* ваши связи с этим строем, с господствующим в нем трудом, движением денег, с банками, и вы увидите, как поведут себя ваши распределители кредитов, ваши конкуренты или ваши оптовые клиенты. Профессора, попробуйте разоблачать пороки существующего строя, хотя бы в частных беседах, и вы сразу узнаете о реакции на это ваших инспекторов. Оставим даже в стороне наши государственные функции — наше каждодневное поведение отмечено печатью наших классовых предрассудков или предрассудков, определяемых нашим благосостоянием, наше постоянное умолчание повседневно выражает наше согласие с существующим беспорядком.

Можно понять величие всеобщего героического решения вопроса, состоящего в том, чтобы порвать со всем и, сжигая за собою мосты, вернуться в состояние бедности, и весьма вероятно, что мир будет спасен лишь благодаря нескольким героическим свидетельствам подобного рода. Уже только того факта, что мы не идем до конца даже тогда, когда сделали первые шаги в этом направлении, которые представляются существенными по сравнению с посредственностью, было бы достаточно для того, чтобы заставить нас навсегда устыдиться самих себя и стать более скромными.

Поэтому такое призвание, как и любое другое героическое призвание, должно быть рассмотрено самым серьезным образом. Стоит только людям обрести энтузиазм, как они считают себя созревшими для такого призвания, но завтра приходит отчаяние из-за того, что они переоценили собственные силы, оказались неспособными на строительство, требующее большого терпения и взвешенного подхода. В особенности надо подчеркнуть то, что каждый имеет право принимать такое решение только за себя. Человек, взявший на себя ответственность за жизнь других людей, не может видеть в них простые средства для достижения собственного идеала. Нелишним будет заметить, что героизм, даже самый бескорыстный, проникнутый святостью, нередко оказывается слепым с точки зрения уважения к существам, которые его окружают и заботу о которых он на себя взял; только они сами могут совершенно свободно решать о своем участии или неучастии в героизме. Более того, не только такой "протест индивидуальной совести", не только желание остаться в стороне, "спасти свою душу" в том смысле, в каком, как сказал бы Пеги, спасают свое сокровище, должны быть источником, вдохновляющим подобный отказ от участия. В каких фантазиях, в каких тайных решениях индивид не способен ошибиться? Только присоединяясь к сообществу справедливости, более глубокому, чем узаконенное сообщество, он может избежать ошибок. Но он при этом не должен ни в коем случае забывать о своей другой привязанности, заставляющей нас действовать заодно с сообществом греха, где живуть слабость и поражение, от которого мы должны отличать себя, но отнюдь не отделяться от него. Наконец, в том строе, с которым мы боремся, нормальное всегда тесно и даже жизненно необходимо связано с патологией. И если однажды потребуются хирургическое вмешательство, чтобы отсечь раковую опухоль, то необходимо по меньшей мере, чтобы больной выдержал такую операцию: всегда можно задаться воп-

росом, а не лучше ли просто иметь представительство в управляющих центрах, по меньшей мере в некоторых из них, где зло может быть ограничено и где, не извлекая из этого выгоды, можно будет обеспечить максимум здоровья при минимуме беспорядка, ожидая и подготавливая нечто большее. Такая политика присутствия может требовать столько же героизма, что и глобальные разрывы.

Тем не менее те из нас, кто, как мы почувствуем, руководствуясь приведенными соображениями, вынудит нас ограничивать нашу деятельность, отмеченную разрывом с беспорядком, будут защищены от упреков в отступничестве лишь в той мере, в какой они будут стремиться поставить себя в самое трудное положение и порвать не только с бросающимся в глаза попранием справедливости, но и со всякой частной выгодой, которая не связана непосредственно с выживанием его близких и его пребыванием на том или ином посту. Именно для такого вовлеченного человека, пребывающего в сложном положении, мы должны определить возможные и желательные виды неучастия.

Если идти от наиболее пассивных форм неучастия к наиболее наступательным его формам, то в первую очередь мы столкнемся с обычным *воздержанием* от деятельности. Воздержание само по себе может не обладать никакой ценностью, поэтому следует не допускать превращения его в добродетель. Например, можно принимать или отвергать награду — настолько эта вещь сама по себе лишена значения. Но в эпоху, когда Почетный легион занимается спекуляцией на парламентском рынке и санкционирует все приращения денежного мешка, какой образцово-показательный взрыв вызвали бы всеми уважаемые люди, если бы они решили отвергнуть орденскую ленту или отослать назад ту, которую уже получили! В более важных областях нам нужно бы определить, все ли действия к лицу участникам нашей духовной революции. Нам представляется, что никакая уступка невозможна там, где речь идет о должности, созданной и охраняемой исключительно за счет спекуляции. Наконец, если должность считается приемлемой с некоторыми оговорками, нам надо будет определить все акты, не являющиеся существенными для ее функционирования, чтобы не сказать процветания, которые должны рассматриваться держателями должности как морально запрещенные, вследствие чего возникает своего рода революционная онтология. В противоположность обычной революционной деонтологии, она станет основой не озлобления, а справедливости, то есть будет конструктивной.

Помимо простого воздержания, неучастие может предстать в виде *пассивного непослушания*. Таковой является, например, забастовка. Она становится объектом юридического разбирательства, которое, несомненно, проливает свет на институт ненасильственного (повстанческого) права. Ниже¹ мы рассмотрим этот трудно поддающийся определению переход от незаконного к законному, одновременно с которым установленная власть переходит от законного к незаконному. Очевидно, что поле исследования здесь чрезвычайно обширно; забастовка против условий труда, забастовка против налогов, забастовка против привилегий,

¹ "Исповедь для нашего брата христианина". См. с. 228 и сл.

забастовка против несправедливых законов или государства как такового. Это право, по существу, еще не утвердилось, ибо ему недостает как метафизики, так и исполнительных органов. Мы постараемся рассмотреть этот вопрос.

Далее мы переходим к *саботажу* и *бойкоту*: обязательство не покупать определенные газеты и книги, систематические протесты против руководителей и иже с ними, как только какое-нибудь их двурушничество или цинизм становятся чересчур оскорбительными; освистывание непристойных зрелищ и т. п. Недавно мы наблюдали кампанию, с большим шумом начатую торговцами укрытий против авиации за организацию пассивной защиты, которая была решительно подавлена при своем возникновении и объявлена антинациональной, и она оставалась бы таковой, если бы два весьма компетентных и авторитетных генерала не оказали ей поддержку. Очень жаль, что аналогичная кампания не стала возможной, чтобы сначала изменить голосование в пользу национальной лотереи, а потом отговорить подписчиков от этой аморальной авантюры. Были бы в таком случае затронуты общественные финансы? Если бы в ходе этой же кампании нашим милейшим французам отсоветовали вообще платить их налоги, то, как говорят, это во много раз увеличило бы результат.

Чтобы составить себе какое-то представление о сложности и внутреннем содержании обязательств, к которым нас могут привести эти новые требования, рассмотрим в качестве особого примера поступки, которые могут вытекать из нашего противостояния принципам и механизмам мира денег.

Во-первых, этот мир устанавливает некоторое число основополагающих способов жизни.

Во-вторых, этот мир налагает математическую меру на всякую жизнь, противопоставляя великодушию скупость, стремясь превратить все формы человеческого обмена в совершенную систему эквивалентов. Приглашение за приглашение, подарок за подарок, и т. д. Отсюда первое правило: в своих отношениях с другими людьми руководствоваться не эгоистическими желаниями и капризами, а бьющим через край, немного сумасшедшим и беспорядочным великодушием. Тактично отучать другого от привычки "ты мне — я тебе".

В-третьих, этот мир выдает себя за эталон решения социальных проблем и основу классового согласия. Второе правило таково: дезертировать всякий раз, когда мне предоставится случай и когда все поступки моего класса, которые со своей стороны выражают волю к обособлению, не будут совпадать с человеческими поступками в широком смысле слова, которые, к сожалению, свойственны какой-то одной касте людей (точный язык, врожденная учтивость); например, я безусловно могу, если обычно езжу в вагонах высшего класса, решиться на поездку в 3-м классе всякий раз, когда этому не препятствуют непреодолимые соображения, связанные со скоростью передвижения или с состоянием здоровья. То же самое можно сказать о местах в театре, в гостинице и т. п.

Наконец, мир денег стремится нивелировать все виды энергии, уравняв в идеале поражающее взгляд богатство, комфортабельную посредственность, надежную безопасность, всеобщую обеспеченность. Третье

правило: сначала восстановить в моей духовной и материальной жизни чувство бедности и простоты, затем соответственно оценить неустойчивость и непредвиденность, или, если хотите, дух приключенчества при условии, что подлинно духовные искания всегда нацелены на что-то высокое и избегают легковесности.

Перейдем к механизмам. Все они сводятся в сущности к центральному механизму: процветание, которое дают деньги вне зависимости от затраченного труда и оказанных услуг. Укажем выборочно на несколько воздержаний, которые здесь необходимы:

воздержание от займов под постоянный фиксированный процент (за вычетом, если не считать добровольного проявления героизма, завоеванных положений, от которых нельзя отказаться без ущерба);

воздержание в более общем плане от всякого барыша, полученного без труда или оказанной услуги (от участия в денежных лотереях¹, особенно когда эти лотереи превращаются в обычный способ получения общественных или частных доходов; от постов, существующих исключительно за счет спекуляции или создаваемых исключительно из-за потребностей спекуляции; от всех инициативных постов в соревнованиях и связанных с ними тотализаторов, от должностей в откровенно искусственных, паразитарных, посреднических органах, живущих за счет сбора комиссионных; от должностей администраторов, не совершающих никакой реальной деятельности и не несущих ответственности).

Если по той или иной причине (включая и наши слабости) в наши руки попадают доходы от подобных мероприятий, то моральный долг каждого состоит в том, чтобы полностью вернуть их сообществу, не требуя за это никаких наград.

Наконец, даже вполне законное обладание благами приводит нас к определенному числу обязанностей, которые уже сами по себе были бы революционными, если бы каждый выполнял их. Мы уже видели², что за исключением лично необходимого (включая и осуществление личностного призвания) все излишки в приобретенных каждым из нас благах, которые обычно направляются на создание богатств, комфорта и обеспечение безопасности, по праву *целиком* принадлежат сообществу, поскольку "собственник" является лишь их распределителем, изменяющим свою роль, если не возвращает их ему. В ожидании того, когда более справедливый, но более пессимистичный по сравнению с либеральным строй направит в нужном направлении слабеющую добрую волю, я, осознав эту обязанность, должен буду опередить законодательство — не предавать проклятию всех богов, предписывающих мне любовь к ближнему, а вернуть коллективу либо в форме дара, либо, по меньшей мере, включив в оборот *все мои излишки*³. Этот долг *a fortiori** касается

¹ На лотерейные розыгрыши предметов можно смотреть менее строго. Это, может быть, стоит сказать относительно важных или непреклонных персонажей.

² "О собственности", см. с. 152 и сл.

³ Было бы недостойно настаивать на более специфической обязанности, выпадающей на долю этого излишества, когда узаконенное сообщество лишается уважения в пользу противостоящих ему ограниченных сообществ. Если угнетающе действующий беспорядок создает невыносимую ситуацию, эта обязанность начинает свое действие с реального и вполне ошутимого самопожертвования.

всех отслуживших свой век благ, на которые не простирается моя живая власть: обширные невозделанные или отведенные под пустой досуг земли, акции, с которых я получаю дивиденды, не осуществляя даже символического участия в делах, к которому теоретически меня призывает строй (изучение дела, часть которого принадлежит мне: работа в Генеральных ассамблеях и выступления на них).

Мы как-то уже говорили о людях, сопротивляющихся духовной революции. Когда им говорят о соучастии и скрытом пособничестве миру денег, их добропорядочная совесть порой возмущается, услышав подобные обвинения. Сумеют ли они благодаря этому наскоро проведенному анализу понять, что все мы — и революционеры и неревolucionеры — в той или иной мере связаны с осуждаемым нами строем? А кто, если не мы сами, начнет осуществлять разрыв с ним?

Эти разрывы, отмечали мы, являются конструктивными уже потому, что защищают нас от иллюзий, словесного энтузиазма и проявлений сентиментальности. Они вводят нас в круг новых деяний, которые наносят ущерб нашим телу и духу, если незаметно включаются в установленный беспорядок.

В конце, на вершине иерархической пирамиды, состоящей из упомянутых нами средств, одновременно духовных и воплощенных, мы ставим создание органов будущего общества.

Такому обществу необходимы зрелые и ответственные личности. По этому поводу мы уже достаточно много говорили. Человек, который формирует другого человека, если говорить о его призвании, вырывает его из состояния распыленности, выводит из убежища, в котором он скрывается от жизненных невзгод, чтобы открыть для него тот смысл, к которому он сам взывает, и подчинить ему его жизнь, делает для духовной революции больше, чем сотни публичных лекций. Вот почему мы в "Эспри" считаем, что наш долг — поддерживать и развивать контакты с любым человеком, идти до конца без всяких поблажек, руководствуясь любовью к истине, которую он ищет. Даже если он упорствует в том, что мы без всякой гордыни со своей стороны можем рассматривать как самое глубокое заблуждение, истина, к которой он испытывает страсть, и то, что он привносит в нее уже одним своим присутствием, не останутся без плодотворных результатов.

Град будущего требует от нас, кроме того, создания основ органических сообществ. В истории каждый раз, когда утвердившиеся сообщества распадались, в процессе самого распада вокруг нескольких устойчивых очагов формировались новые фрагментарные сообщества, затерянные, как островки в океане. Создавать, выявлять, поддерживать, соединять между собой подобные унаследованные от прошлого сообщества — это также одна из главных задач органической революции. Некоторые из них, к примеру профсоюзное движение, уже обрели определенную известность, достигнутую, правда, не без компромиссов с существующим беспорядком; однако несмотря на его искажения, профсоюзное движение тем не менее имеет в своем активе гораздо больше полезной работы, чем партии, основывающиеся на парламентской игре.

Другие подобные сообщества менее известны. Есть и такие, которые еще не существуют, которые только зарождаются: ныне наблюдается единое стремление к созданию своего рода "светского порядка", при котором средства, подобные тем, что мы определили в ходе этих кратких заметок, привели бы к признанию ценности чести и благодаря своему публичному характеру, который они приобрели бы, стали весьма притягательными¹. Новые движения являются первыми ответами на эту потребность. Они вышли из глубин того же движения, которое воодушевляло пишущего эти строки, поэтому мы ждем от них, что они определяют предназначение нашего поколения².

Ноябрь 1933 г.
Октябрь—ноябрь 1934 г.

4. Уроки одного бунта, или Революция против мифов³

6 февраля 1934 года* явилось как бы молнией, пронзившей мрак, окутавший нашу эпоху. Она внезапно все осветила — и широкие пейзажи, и темные углы, порождая фантастические блики, которые так быстро возникали и исчезали, что до сих пор остаются загадкой для людей доброй воли.

Они видят, сколько усилий прилагается к тому, чтобы включить этот день в великую историю. Они слышат велеречивые моральные восхваления в адрес этого дня.

Между тем, несмотря на все призывы, касающиеся чести и очищения, они чувствуют себя по-прежнему пребывающими в скверном мире, и они правы.

Мы говорили не о предреволюционном разложении, а о разложении, предшествующем 6 февраля. Те люди, которые год тому назад упрекали нас в том, что мы воем вместе с волками, сегодня прозрели: установленный беспорядок невозможно больше скрывать. Он вошел в разряд всеобщих очевидностей.

Мы говорим о новом разложении, разложении периода войны, которое началось в районе где-то 6 февраля. Лагерь вдруг раскрыл свои границы, собрав под свои знамена сыновей духа, взбунтовавшихся, но не отступников, которые отныне заняли оборонительные позиции, продолжая, правда, сохранять готовыми к атаке свои войска и бездумных своих союзников. С началом сражений на первый план выдвигается ложь, являющаяся богом, присущим современным битвам. *Наиболее серьезным событием этого беспокойного месяца явился не видимый беспорядок,*

¹ Ответы на вопрос "Эспри" по поводу духовных средств удивительным образом соответствуют идее (и даже самому выражению) "светский порядок".

² Я сошлюсь на "Общество друзей Духа" ("Communauté des Amis d'Esprit"), образованное в июле 1933 года (его устав опубликован в июльском номере журнала "Эспри") и впоследствии положившее начало различным замкнутым сообществам, а также на "Сообщество" ("Communauté") и "Крестовый поход" ("La Croisade"), представленные в "Эспри" в феврале 1935 года.

³ Для лучшего понимания этого раздела не лишним будет напомнить, что он был написан по горячим следам беспорядков 6 февраля 1934 года.

а быстрое распространение лжи и духовных угроз, оказывающих воздействие на самих революционеров.

Пути движения лжи, которые мы уже описали, хорошо известны. Циничная ложь наименее опасна, особенно если она наталкивается на непоколебимое безразличие тех, кто стал жертвой обмана. Гораздо опаснее ложь, которая далеко не всегда ощутимо проникает в глубь человека и внутрь партий и превращает общественную жизнь в нечто противоречащее частной жизни, общезначимые слова — в то, что абсолютно не соответствует общезначимым актам. Ее наиболее опасной формой является миф.

Миф предстает как внешняя сторона нашей искренней убежденности, он обладает видимостью величия. При более близком рассмотрении убежденность оборачивается предвзятостью, которая не контролирует ни свои истоки, ни свои состояния, ни свои утверждения, а горячность — непристойной сентиментальностью, нередко граничащей с корыстными интересами и предрассудками. Чтобы придать спорам значение и потрафить одуроченным, все прикрывается моральным красноречием, которое вводит в заблуждение простодушные сердца, а в сознание партии и каждого из ее членов внедряет самые привлекательные и вместе с тем самые корыстные устремления под флагом подлинных духовных ценностей. Так начинают предавать истину и самого человека. Эти чудовищные расплывчатые образования, где на первый взгляд наилучшее соседствует с наихудшим, благодаря тому, что они легко усваиваются в той неразберихе, в которой мы пребываем, создают иллюзию четкости, благодаря своей театральности — иллюзию дерзания, благодаря своим словесным ухищрениям — иллюзию духовности. Они ослепляют ум и волнуют кровь: грубая реальность событий, которая вовсе не требует упрощенчества, бремя ответственности каждого перед лицом перемен, которые потребовали бы больше самопожертвования, легко предаются забвению, когда встревоженные сердца любят зрелищем, и вы без каких бы то ни было дополнительных усилий обряжаетесь в красивые одежды и получаете обильную пищу для собственных переживаний. Партии — это чудесные механизмы, устраняющие необходимость думать, делать выбор, действовать, и в то же время неустанно твердящие о мышлении, решимости, деятельности. Мифы — это привлекательные убежища, где заслуженный авторитет подменяется авторитетом пожалованным, внутреннее усилие — умиротворяющим раболепством. Безволие душ, о котором говорят образы, создаваемые "Комеди Франсез".

У мифов есть своя элита и свой плебс. Существует мелкобуржуазный способ обосноваться в мифе, как в уютном кресле. Существует героический способ потрясать мифом как знаменем и, не замечая его легковесности, отдавать ему все лучшее, что есть в твоём сердце. Особенно опасно то, что ныне мифы заполнили то пространство, которое религиозная жизнь оставила свободным у своих приверженцев. Из-за них люди готовы поубивать друг друга, и в этом величие мифа. Но меня ужасают эти смерти. Для человека распротиться с жизнью означает достичь

своего завершения, и меня приводит в смятение то, что столько людей завершают свой жизненный путь ради политической лжи. Другими словами, это свидетельствует о том, до какой степени выросло обожествление государства.

Остается обозначить перспективы. Когда мы покушаемся на искусственно изобретенные почести, это не значит, что мы покушаемся на благородство. Говорят о демагогии: но как раз те люди, которые именно тогда, когда мы разоблачаем эту бесчестную ложь, прикидываются дурачками и по очереди обвиняют нас в том, что мы предпочитаем малодушие и слабоволие, или же в том, что мы принижаем добродетели обездоленных из-за лицемерного стремления к чистоте¹. Как если бы подлинное благородство не было бы тем самым благородством, которое постепенно проникает в сердца обездоленных и немощных: мы не элита, мы не пуристы, но мы, выдвигая требования во имя чистоты, которая выше нас, говорим от имени слабых, робких людей, которым несть числа и к которым мы сами принадлежим: мы отвергаем придуманные почести и невероятное двуличие ради последовательного и безусловного достижения таких решений, принимая которые нам уже никак не избежать ответственности. В противоположность парадной революции мы хотим совершить трудовую революцию бедняков.

Мы считаем ее первоочередной задачей. Революция уже сегодня должна быть революцией, направленной против мифов. Посмотрим, что же происходит на самом деле.

А на деле разражается скандал. Это не случайный скандал, вызванный побочными обстоятельствами, а периодическое возмущение строем, основанным на спекуляции: пузырь раздувается и лопается, но кто-то вновь надувает его и так без конца. Какая-то партия, представляющая собой парламентское большинство, в данном случае чувствует себя особенно задетой. То, что таковой оказалась именно эта партия, является совершенно случайным: правые силы не остаются в долгу, когда речь заходит о финансовых скандалах. Что бы ни говорили — это факт.

Тогда в дело пускается первый миф: честь партии. Об этом начинают говорить всерьез. Первой заботой руководства становится спасение этой чести (хотя нужно было подумать об этом раньше), а именно: замазать дело, прикрыть виновных, в порядке компенсации во что бы то ни стало найти виновных в соперничающей партии, и их конечно же находят, достаточно только ткнуть пальцем куда угодно. Избраны-то они были

¹ Тем не менее публичные лжецы должны быть названы поименно. Один из наших друзей в "Эспри" (январь 1934) разоблачил ту самую личную и коллективную мелкобуржуазную "честь", которая служит то для того, чтобы скрывать гниение, то для того, чтобы сбросить со счетов смиренные судьбы, то для того, чтобы с легкостью придать себе величие, не затронув ни одну из этих слабостей. Что касается самых высоких, а также и самых горделивых форм чести, то мы подчиняем их святости, которая соединяет в себе и величие и скромность. Именно это г. Массис в "Ревю Нувель" и г. Тьерри Молнье в 1934 году назвали апологетикой безволия и малодушия. Агенты политической рекламы ныне могут утверждать все что угодно. Для них достаточно одного апломба. Но когда для этой цели ссылаются на Пеги, то наступает наша очередь кричать: "Держи вора!"

как борцы с коррупцией, для защиты кое-каких незначительных добродетелей, а теперь "честь" требует шантажа, доблестного возмущения виновных, поспешного разоблачения, благодаря которому, быть может, спасется каждый, кто предаст друга, товарища, сотрапезника, доверенное лицо.

А на противоположной стороне подобная возня становится забавой. Предлагается миф, неожиданный, привлекательный только потому, что кажется новым. До сих пор левые силы были фантомом, политическим мошенничеством, чем-то неуловимым. Однако люди более бедные были здесь менее уязвимыми в своей политической деятельности. Появляется возможность выдвинуть формулу: *левые силы — это силы коррупции* и направить против них гнев тех, кто стоит на антипарламентских позициях, гнев, которого они так боялись в последнее время. Каждое утро через "Аксьон франсез", "Ами дю пёпл", "Лё жур", каждый вечер через "Либерте", "Пари суар", "Энтран" публику призывают поддерживать повседневную беспринципность грязного романа-фельетона, который уводит ее в сторону от фундаментальнейших проблем. Пресса ждет сигналов, считает наносимые удары, втайне желает побольше коварства, шума и радостей, связанных с распространением сенсационных новостей, манипуляций клеветой без всякой опасности для себя, низвержения идолов, возможности столкнуться с жандармом и половить рыбку в мутной воде. С помощью подобных продуктов гниения пресса собирает огромный урожай.

В результате игры в подстрекательство назревает гражданская война. Достаточно искры, и взашей выгоняют префекта полиции. А слева над всеми страхами витает миф — *миф о молодом вожде*. Кричат об энергичности, о смелости. Смелость? Либо господин Шиап должен быть изничтожен во имя большой политики, а соображений этого рода вполне хватает, но надо было год назад обладать такой смелостью, чтобы выполнить это предвыборное обещание. Либо он должен быть изничтожен из-за компрометирующих данных, установленных в деле Ставиского*, а смелость состояла бы в том, чтобы противостоять парламентским интересам вплоть до того момента, когда обвинения будут в достаточной мере установлены, чтобы определить меру наказания. Но нет. Жест делается в тот момент, когда, нанося удар человеку из правых, в то же время укрывают радикал-социалистов, нагревших руки на этом мошенничестве; чтобы увести в сторону народное негодование, все можно представить только как сиюминутное подрывное действие.

В ответ на столь неловко выполненный маневр начинают неистовствовать все лицемеры. Правительство дало слишком много оснований для обвинений против себя, включая и назначение полицейского в качестве правителя Олимпа, назначение, достойное улыбки. Но в этой реакции налицо не только фарисейство, это также и усложнение игр в обман.

Перенесемся в тот кровавый вторник. Левые провозгласили *миф о фашистских бандах*. И они были не так уж не правы. В сливающихся воедино колоннах, направляющихся к Палате, шли не отдельные индивиды, а "Патриотическая молодежь", "Аксьон франсез", "Огненные кресты"**, "Французская солидарность", ассоциации ветеранов войны,

шли с соблюдением дисциплины и очевидной согласованности, что и стремятся доказать недавно опубликованные документы. Поэтому пусть не пытаются этим полемическим упрощенчеством, идущим от левых, противопоставить *миф о парижанах*. Или *миф о ветеранах войны*. Разве 150 000 членов профсоюзов, которые молча прошли колоннами 12 февраля от Венсенского леса до площади Наций, не принадлежат к народу Парижа? И может быть, не следовало бы путать ассоциации ветеранов с теми ветеранами, которые в ходе войны разыграли все свои человеческие проблемы и именно поэтому вовсе не думают о том, чтобы извлечь из своего героизма строго определенные вечные интересы, связанные с выгодой или престижем.

Поскольку это сказано, миф о фашистских бандах также питает ложь и легковесность. У демонстрантов на площади Согласия наблюдалось подлинное негодование, их поступь и духовный порыв были иного свойства, нежели у тех охваченных страхом людей, которые, прячась за спинами военных, спешили сократить свой путь и спрятаться в подворотнях. Кому это было на руку, что их объединяло?

Они все кричат "Держи воров!", но для того чтобы обозначить их, по ту сторону баррикад они располагают неким Тардьё, который превратил коррупцию сначала в образ личной жизни и в способ управления, а чтобы вывести их на улицу вместе с несколькими порядочными людьми, за дело берутся один Муниципальный совет, известный как самое взяточническое собрание в Европе, руководители "Аксьон франсез", которые не постеснялись воспользоваться деньгами Коти, выкрутившись затем посредством отрицания этого факта вплоть до того, что сами запутались; крупные экономические интересы, а мелкие вопят против крупного капитала и его авантюры лишь для того, чтобы укрепить свой собственный хилый капитализм, построенный по меркам наличных у них средств и их мелких душонок. Молодежь, справедливый гнев, внезапная реакция здорового народа: паразиты, не стесняясь, коверкают эти ценности, ломают их неопределившуюся мятущуюся душу, которая, быть может, и не обходится без того, чтобы почувствовать содрогание от добродетели крика о добродетели. Долой воров! Среди мертвых, конечно, найдется какой-нибудь коммерсант или шелкопромышленник. Несомненно также, что в толпе найдется множество коммерсантов, лавочников, предпринимателей. Мы их не знаем. Мы только спрашиваем: скольких из них следовало пригвоздить к позорному столбу их собственными криками, сколько из них должны бы пасть под ударами собственного гнева?

Они все кричат: "Долой воров!" — республиканцы, роялисты, коммунисты, напуганные мелкие буржуа, молодые люди, проникнувшиеся героизмом, вперемешку с фанфаронами и грабителями. Какое столповорение возникло бы, если бы им пришлось провозгласить какой-нибудь позитивный лозунг! Тогда раздалось бы: "Да здравствует республика!", "Да здравствует король!", "Да здравствуют Советы!", "Да здравствует неприкосновенность моих доходов!", "Да здравствуют беспорядки, когда можно пограбить витрины!" Можно вообразить себе и другие подобные выкрики.

Так стоит ли дать убить себя при всем справедливом гневе ради экономических интересов, ради аристократической и националистичес-

кой революции или же вместе с республиканской гвардией ради парламентской гнилости?

Продолжим. Надежду мы сможем обрести только после разоблачения всех разновидностей лжи.

Сутки спустя на Париж нисходит улыбка. Не человек, а улыбка. Для толп людей, которые ей аплодируют, это не что иное, как улыбка, то есть здравый смысл, успокоение, оптимизм. Улыбка должна думать, улыбка должна преуспевать. Наконец-то этот ужасный кошмар прошел, кончились страхи, погасли опасные эмоции, исчезли проблемы, испарились усилия, которые необходимо было прилагать при полной неизвестности. Улыбка теперь будет думать за нас, действовать за нас, а нам уже делать будет нечего, нам ничем не придется жертвовать. В течение одних суток улыбка появляется на тысячах лиц. Она говорит, и ей верят.

Улыбка говорит: новое! И раздаются аплодисменты, славящие одно министерство, подсчеты которого, по убеждению одного хроникера, подводят итоги за двенадцать предшествующих веков, а расчеты держатся лишь двое суток. Улыбка говорит: собственность! И раздаются аплодисменты, славящие другое министерство, которое имеет в своем составе трех самых коррумпированных людей режима: Тардьё, Лавала и Фландена. Улыбка говорит: национальное единство! И все опять-таки в который раз принимают это не за перемирие, в основе которого лежат жалость или осмотрительность, а за метафизическую истину, это — то самое национальное единство, которое правые никогда не мыслили иначе как возглавляемое и руководимое его людьми, как "беспристрастное" царство технократов, которое в нынешних условиях на деле является не чем иным, как царством капитализма, сохраняющимся благодаря молчанию его противников.

Здесь мы опять-таки не собираемся давать политических оценок. Но наш долг — включиться в дело и дать людям ответ, которые перед лицом неотложности событий спрашивают: "Что же нам следует делать?"

Конечно же, объединяться, но на основе истины, а не заблуждения, противоречивости, лжи и лицемерия. Пусть это раздувает и усиливает борьбу мятежных группировок, согласны. Но никакая политическая целесообразность не может заставить умолкнуть великие мистические споры, от которых зависит искренность и прочность самого мира и его будущего. С этой точки зрения мы тем не менее будем вынуждены пойти на сотрудничество на ограниченное время и для решения ограниченной задачи (как, например, голосование и бюджет); поскольку же мы не продаем свою душу, мы не можем сотрудничать с ложью ради укрепления священного единства, ради молчаливой поддержки режима, ради содействия усилению фашизма.

Мы не можем также обманывать самих себя и других, входя в *политические* революционные лагеря. Из них только два идут в счет: коммунистический и фашистский. Как тот, так и другой предлагают нам тоталитарное государство, которое на сегодняшний день является самой большой опасностью. Если говорить о коммунизме, к которому нас

влечет борьба с нищетой и возможность использовать революционную энергию, то нам вместе с тем пришлось бы взять на себя и его материализм и атеизм, которые мы отвергаем еще более фундаментальным образом, чем его политические позиции. Что касается фашизма, к которому ничто нас не влечет, вступая с ним в один лагерь, нам пришлось бы принять более или менее переделанный лицемерный капитализм, политику войны и заурядную диктатуру обыкновенной корыстной аристократии.

В тот момент, когда массы людей, уставшие от того, что считали себя свободными, и от ответственности, которую взяли на себя, принимают эти мифы ради тех выгод, какие они им сулят, для нас становится неизбежным один вывод: если духовная революция не желает предать себя, ей сегодня нельзя включаться в политическую игру. В условиях, когда общее не отличающееся глубиной сознание чрезмерно возбуждено, невозможно достичь быстрого успеха, не принимая мифов или не создавая в свою очередь свои собственные мифы; это означает, что ложь и обман станут для тех, кто пойдет за нами, новым опиумом, а затем последует разочарование, тем более жестокое, чем больше они поверят нам.

Но в таком случае это бегство от жизни? Да нет, сегодня именно политическое действие является таким бегством.

— Но время торопит — революция стучится в дверь.

— Именно так. Революция стучится в дверь. Если революция стоит на пороге, то всем революционерам духа некогда накачивать свою силу, которая, по вашему мнению, оставалась бы верной делу духовной революции (нам известны недостатки всех свершившихся революций). Но здесь нельзя и торопиться, чтобы не пойти на предательство вместе со всеми теми, кто уже сегодня готов делать ее.

Итак, внесем ясность. *Если революция должна быть совершена немедленно, то это не та революция, к которой мы стремимся.* Так не будем вовсе думать о ней, будем трудиться, проникая в глубь этой чужой нам истории, чтобы способствовать вызреванию проблем и готовить постреволуционные свершения, которые предстанут перед нами после этой чуждой нам революции, вопреки ей, а может быть, и вместе с ней, но только тогда, когда мы станем достаточно сильными, чтобы подчинить ее себе вместо того, чтобы оказаться поглощенными ею. Для этого требуется презрение к сиюминутному успеху и к борьбе в одиночку. Если же революция откладывается на более поздний срок, тогда эта глубинная работа будет располагать временем, чтобы подготовить верные себе силы: начатое сегодня дело пойдет своим путем.

Есть ли необходимость говорить о том, что мы никого не стремимся увести в сторону от движений, более чистых, более молодых по сравнению с партиями? Каждый сам должен решать, приобщаться ему к тем или другим, и руководствоваться при этом он должен идеей о наименьшем зле. И если такие-то молодые объединения, сохраняя свое единство, способны смотреть вперед, тогда то, что у них сегодня являет собой наименьшее зло, завтра может привести к добру. Но в то же время пусть каждый подумает о том, чтобы, оставаясь бдительным, отстаивать свою человечность; поэтому-то мы и зовем его работать вместе с нами,

окунуться в наши дела, трудиться на пользу правому делу, которое мы осуществляем в наших группах во имя более отдаленной цели. Напомним его основное содержание.

1) *Революция против мифов.* Выявить царящую повсюду — и в коллективах и в отдельных индивидах — ложь. Отвергнуть легковерные, бесхребетные точки зрения, представляющие мир беспроблемным, комфортабельным. Отбросить технократические, политические, псевдоスピритуалистические мистификации, которые не лишены внешней привлекательности и требуют, чтобы их принимали безотчетно и бездумно. Взрастить собственную душу и нравы, опираясь на чувство ответственности и свободы. Укрепить свое сердце, чтобы оно смогло принять эти достаточно жесткие требования, не впадая в уныние, чтобы оно было способно противостоять лицемерию, чтобы его не оставила радость бытия.

2) *Неумолимая борьба против мира денег,* который, не будем забывать об этом, является первейшей причиной зла. Эта борьба включает в себя постоянное противостояние буржуазным институтам, теоретическую и техническую подготовку нового строя — ведь господство денег проникает в нашу жизнь, в наши мысли, в наши поступки, в нашу деятельность (поэтому надо вести с ними непрерывную борьбу, изгоняя их из всех пор нашей повседневной жизни, надо отказаться служить деньгам, что повлечет за собою самые героические действия).

3) *Длительная подготовка духовной революции.* Мы вновь возвращаемся к уже множество раз определенным нами видам деятельности. Работа по разоблачению мифов, способствующая избавлению от них наших сердец. Глубокие раздумья и пересмотр теоретических позиций, что даст основание для подлинного понимания открывающихся перспектив. Технические разработки с целью уточнения господствующих формулировок, избегающие окончательных решений; исследование нарождающегося жизненного опыта и внесение в него необходимых корректив, разработка практических рекомендаций, которые послужат осуществлению такого опыта. Вся эта работа может оказаться пустой, если за ней не будет стоять человек, в котором необходимо воспитывать стремление к добру и совершенству, без чего он перестает быть человеком.

4) *Деятельность, которую необходимо осуществлять сегодня же:* отказ от союза с политическими партиями, в противном случае — постоянная самокритика и стремление к революционному обновлению, необходимые тем, кто внутренне полагает, что способен вывести эти партии из рутинного состояния и спасти их реальные силы; бдительное отношение к новым движениям, которые, как представляется, в целом разделяют наши позиции, но при постоянной заботе о том, чтобы поддерживать в них целостность, терпеливость, стремление к совершенствованию и великим свершениям, без чего они, подчиняясь течению жизни, вскоре отвергнут те самые принципы, которые их и породили. Бдительное внимание к разного рода подделкам.

Уточним этот способ действия на одном весьма показательном примере. Все революционные партии ныне ощущают, что они раздваиваются между фактом своей национальной принадлежности и своими универсалистскими устремлениями. Сегодня не тот момент, когда мож-

но либо превозносить отличия (или свое невежество), либо отвергать универсальное. *Универсальное живет в людях, говорящих на разных языках, и каждый из них выявляет какую-то его специфическую сторону.* Вот в чем суть спора, если отвлечься от различных политических позиций. У француза существует свой особый культурный мир и способ его освоения. Даже те, кто отрицает это, сами находятся в таком же положении. Следовательно, должен существовать особый аспект духовной революции, из которого возникнут институты и способы действия, соответствующие французскому характеру: чувство индивидуальной свободы, ответственность, сопротивление социальным силам, тяготеющим к иррационалистической мистике. Он должен также отражать наши несовершенства. Поостережемся канонизации национального чванства, засилия непристойности, революционной театральности: поостережемся Бонапарта! Но берегитесь также и абстрактного интернационализма, который, следуя устаревшей логике, путает универсальное и безличностное. Надо вновь обрести французскую революционную традицию, отмеченную чистотой и универсализмом, не позволяя национализму сбивать ее с пути; эта линия представляется нам вполне определенной, и мы способны без особого труда следовать ей.

Быть может, мы уже выходим из периода брожения и вступаем в пору братства. Братство — это творчество, постоянное обновление и, как мы полагаем, самая высокая форма мужества.

Февраль 1934 г.

IV. РАЗРЫВ МЕЖДУ ХРИСТИАНСКИМ ПОРЯДКОМ И УСТАНОВЛЕННЫМ БЕСПОРЯДКОМ

1. Исповедь для нашего брата христианина¹

И взяла нарядные твои вещи из Моего золота и из Моего серебра, которые Я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними.

(Иезекииль 16:17)

Господи, ты вылепил их из земли, Так не удивляйся, что они оказались приземленными!

(Шарль Пегу)

Среди христиан живет одна тайна — тайна их предательства. Об этом говорят шепотом, про себя (если вообще говорят). То тут то там их уточняют с покорным смирением. Все ждут человека, у которого хватит

¹ Об этом свидетельствовало само название специального номера "Эспри" (март 1933): "Разрыв между христианским порядком и установленным беспорядком", — в подготовке которого приняли участие Жак Маритен, Андре Филип, Дени де Ружмон, Николай Бердяев, Александр Марк, Жак Плакван, Этьен Борн, Жорж Изар, Оливье Лакомб.

смелости говорить об этом вслух. А до этого стремятся ограничить свой взгляд только той зоной, которую поразила язва, чтобы затем смазать ее успокоительным бальзамом. Однако среди нас живет множество честных людей, множество святых.

Очевидно, что в мире дела обстоят плохо, но никто не сожалеет об утерянном граде Божиим. Разве не очевидно, что мы здесь ни при чем? Разве мы не обладаем истиной? Вот я, торговец сукном, я исправно плачу своим поставщикам, декларирую свои доходы и совсем не имею дела с полицией. Но тогда, не правда ли, это другие. Другие: франкмасонская опасность, социалистическая пропасть, школа без Бога, нудизм, стоячие лужи, профсоюзы, короткие стрижки, кубисты, большевики, кто там еще, о великий Боже!

Ты, христианин, говоришь "другие", а если все же это был ты? Может быть, и другие, но если именно ты позволил это другим? Умирают не только ради других. По большей части умирают ради себя самого. У каждого свое зло. Есть такие, у кого зло чужое, и оно отягощает их. Но я хотел бы думать, что в предстоящей расплате ты, христианин, захочешь исповедаться прежде всего за свое зло, раз ты идешь в мир с исповедью.

Подлинное раскаяние состоит в том, чтобы быть дальновидным, независимо от того, идет ли речь о падении или о возвышении. В тот день, когда мы, содрогнувшись, признаем, что огромная часть христианского мира и христианских жизней отдана на откуп язычеству, в тот день можно будет считать, что час исцеления близок.

Боятся позора: "Ах! Вы *их* не знаете. *Они* быстро повернут против нас первые же наши признания. Здесь не остановятся ни перед чем, будь то престиж, догматы или крест". Давайте-ка оставим *их* в покое. Неужели вы верите в то, что они станут ждать ваших признаний, чтобы подвергнуть разоблачению то, что вы говорите, и то, чего вы не говорите, а сверх того, раз вы оставляете им свободу действий, то и то, чего вы не делаете. Почитайте-ка их прессу, поговорите с ними: вам нечего сказать им. Будем откровенны: вы боитесь шокировать не неверующего, а благочестивца. Тогда вспомните, что существует два вида позора. Существует позор, который мы своим молчанием и своим лицемерием поддерживаем в миллионах сердец, впавших в детство по отношению к религиозной истине, которые, как дети, могут познавать христианский универсум не иначе как через затемненную пленку, которую им вручают люди, или же изнывая от ран, которые им наносят люди: это позор, который ведет в геенну огненную тех, благодаря кому он и существует. На противоположном конце — жгучий позор, тот, который воспламеняет истина в угасших сердцах. Это тот позор, который привел бы наши души к покаянию. Допустим, что он убьет несколько мертвых. Но знаете ли вы, скольким живым он даст свободу?

Вот и настали героические времена. Христианин знает, что вратам ада не устоять перед церковью, что и на земле нить, ведущая в Царство Божие, не будет оборвана. Но кто гарантирует от того, что эта нить однажды не окажется в руках десятка праведников, распятых на кресте? Речь идет не о статистике, учреждении или власти. Речь идет о том, живет ли в наших сердцах *misereor super turbam**, сострадание Христа

к людям, к каждому человеку, каков бы он ни был. Пока мы находимся в преддверии революционного периода, в течение которого общество будет перестраиваться снизу доверху, а сам человек будет пересматривать свое наследие, начиная с самой первой копейки, вопрос стоит очень просто: хотим ли и мы умереть вместе с тем, что умирает, или же мы хотим отделить свои вечные ценности от мира, который погружается в бездну, и вернуть им первоизданную чистоту, чтобы они смогли плодотворно воздействовать на мир, который грядет.

Но не будем торопиться. Сам Маркс обладал чувством времени и знал толк, говоря о вызревании истории. Все так перепуталось в нашей жизни, в наших привычках, даже в нашей душе, в каждом ее закоулке, между карикатурой и подлинным образом, между вечным принципом и его земным воплощением существует такая взаимосвязь и такая общность, что невозможно одним махом без скачков и ложных движений отличить хорошее от самого что ни на есть плохого. Но разве недостаточно того, что мы знаем свою цель? Речь идет не о том, чтобы знать все, а о том, чтобы отыскать вечное, которое одно только способно обеспечить биение пульса и постоянное обновление. У нас есть либерализм, более того, различные формы либерализма, но все они вызывают омерзение: это низкое попрошайничество у лакеев истории. Некоторые люди, имея в виду именно нас, употребили термин "неохристиане": христианство до такой степени оказалось в забвении, что каждый раз, когда оно утверждает свое самое скромное присутствие, это воспринимается как потрясение его основ. Нет, христианство не латает свою одежду заплатками из кусочков современности. В его тунике нет швов. "Неохристиане", нет, нам не подходит это декадентское название, нам чужд компромисс между сиюминутными вожделениями и расплывчатыми академическими прогнозами. Либо христианство ограничивает себя земным ходом дел, либо оно движет историей: если возникающие сегодня новые мифы подтверждают свою истинность тем, что высекают искру справедливости в сердцах людей, то мы доходим до истоков справедливости, как таковой, и должны суметь превзойти их в справедливости. Обновлению подлежим только мы сами. Нет, надо принимать решение и действовать незамедлительно, ибо время торопит нас: либо ограничиться противостоянием чуждым обществам, руководствуясь исключительно чувством неприязни, плохим настроением или заботясь о безопасности, либо взять наконец инициативу в свои руки во имя пришествия Царства Божьего.

I

Во всех атеистических музеях СССР висит плакат безбожников, который заставляет кое о чем задуматься. На нем папа держит на плече винтовку с крестом на конце, неся вахту у сейфа, из которого течет кровь. Папа на этом плакате стоит там, где менее хитроумные западные коммунисты помещают простого священника.

И в самом деле, так лучше, ибо папа является символом целостного бытия церкви. Верно ли, что современный мир довел церковь до того,

что она утратила самое свою сущность? Если да, то как могу я оставаться еще хотя бы на мгновение в этом опустевшем теле? Если нет, то мне следует обратить свой взор к свету, идущему от него, и задуматься о своих грехах. Недавно меня попросили ответить на вопрос: "Почему я христианин"? Я сказал, что (в сугубо декларативном смысле) *быть* можно только кавалером ордена Почетного легиона, что первичный и естественный для христианина вопрос звучит так: "В чем я не являюсь христианином?", а если заставить его таким образом поразмыслить о себе самом и о христианском мире, то этот вопрос приобрел бы тогда некоторый оттенок печали: "Почему я *еще* остаюсь христианином (и особенно католиком)?"

Для большей ясности здесь необходимо сделать несколько пояснений¹:

Христианин занимает среди людей особое положение. Как гражданин двух миров — естественного и сверхъестественного, земного и божественного — он живет в первом, разделяя потребности и заботы всех, а получает свое развитие не только как христианин, но и как человек, во втором. Первичным социальным порядком, очагом, в каждое мгновение согревающим всю его жизнь, является не видимое тело, составленное из людей и институтов, а *духовный социальный порядок*, образуемый телом и душой церкви. Всякая другая жизнь сосредоточивается в нем: его дружеские связи и узы любви, его обязанности и намерения приобретают в этом свое подлинное значение, они преобразуются. В своей жизни христианин вынашивает мысль о другой жизни, он пребывает среди людей, храня в своем сердце тайну. Он то оставляет эту тайну, то вновь обретает ее (и многие люди принадлежат к этой жизни, не называя себя христианами), но он является христианином в собственном смысле слова, только если так или иначе принадлежит этому порядку, живет жизнью церкви.

Между тем с точки зрения католической теологии церковь душой и телом представляет собой реальность, трансцендентную по отношению ко всякой природной реальности; реальность эта — собственно Тело Христа, постоянное присутствие Христа. Ее вершиной является сама Троица, в которой она участвует и которой подражает всей своей жизнью. Ее догмы, институты — словом, все, что мы видим воочию, — никогда не может адекватным образом выразить дух, который все одушевляет, ибо формы такого выражения, оставаясь в той или иной мере человеческими, никогда не достигают своего божественного объекта. Но все же они существенным образом выражают его, не подвергая искажению. Церковь является незабываемым сообществом в собственном смысле слова: она может быть так или иначе смешана с грехом, подобно тому как вино смешивается с водой, но она, как и вода, остается при

¹Мы лишь следуем по пути, открытому Ж. Маритеном в его труде "Религия и культура" ("Religion et Culture". Desclée de Brouwer; "Religion et Culture" / Esprit, janvier 1933), а также Ш. Журне в серьезной статье "Христианский общественный порядок" ("L'Ordre social chrétien" / Nova et Vetera, octobre—décembre 1931).

этом всегда чистой. Хотя ее представители и могут проявить малодушие, они не в силах изменить сущности того, что стоит над ними: священная жизнь все еще движет рукой греховного священника, она не лишается души церкви, ибо идет к человеку непосредственно от Бога и всегда находит свой путь в этой части непорочного тела. Что же касается правоверного, предающего церковь, то он сам отлучает себя от нее. Оставим в стороне легковесную статистику, о которой наш читатель, несомненно, только что подумал. Святость церкви всегда актуальна, другими словами, она всегда обладает сокровищами милосердия, несмотря на все свои грехи. Но оставим и это в стороне. Даже если предположить наихудшее, что все христиане, все священнослужители и сам папа ныне пребывают в состоянии смертного греха, то все равно на земле продолжала бы оставаться не только душа церкви, но и ее незапятнанное тело, ибо грязь не может коснуться Божественного Тела. Наша правоверность держится не на расчетах: когда говорят об упадке церкви, предательствах церкви, то следует подразумевать, что речь ни в коем случае не идет о церкви как таковой, о ее душе и теле.

Самое большее, о чем можно было бы говорить в этой связи, так это о некоторой *внешней оболочке церкви*, которую может затронуть зло, как своего рода онтологически чуждая церкви ржавчина, проникающая в эту таинственную зону, где вера связана с творениями рук человеческих. Католик может только, подобно Карлу Барту, считать, что утверждение церкви в мире восходит к греху. Если это утверждение истинно, если оно в сердцах и нравах людей ищет Царство Божие, а не господство материального, то только оно и является законным утверждением, ибо только оно не связано с принуждением и только оно несет в себе не знающую покоя жизнь. Утверждать обратное значило бы отрывать церковь от земли, отрицать грядущее воплощение Христа и отделять от него человека.

Тем не менее хотя церковь в своей внутренней жизни применяет только сверхъестественные средства ради сверхъестественной конечной цели (связь Христа с возможно наибольшим числом душ путем прямого научения, продолжающего путь невидимой сопричастности), то все же эти используемые средства являются частично естественными. Каждому христианину знаком постоянный конфликт, существующий в его жизни между уверенностью, что горячая вера способна сдвинуть горы, и трезвым взглядом на недостатки его собственной веры, заставляющие его вполне сознательно вновь и вновь обращаться к совершенно естественным средствам действия. Если он придает им излишне большое значение, разве это не свидетельство недостаточности в нем жизни? Если же он пренебрегает ими, то в самом ли деле это истинная вера или же это высокомерие?

Между тем мирские средства всегда тяжеловесны, а в результатах, достигнутых с их помощью, всегда есть что-то непристойное. Они могут довести до того, что апостольская деятельность христианина будет попрана, а сам он полностью станет гражданином мира земного. В таком случае христианин будет рассматривать христианство уже не как сверхъестественное сообщество, чуждое математическим подсчетам, где одиннадцатый час идет в счет так же, как и первый, где десять правед-

ников образуют целую армию, а как борющееся по какую-то сторону баррикад человеческое общество.

Империализм *in spiritualibus*^{1*}. Кто-то бывает католиком подобно тому, как бывают люди определенного класса или определенной социальной среды (мы знаем города, где то и другое совпадает). Начинается подсчет дебета и кредита, браков по расчету и браков по любви, интриг, статистических данных, сил влияния. Мир, существующий за пределами этого узкого круга, в расчет не принимается, его измеряют мысленно и издалека, подобно тому как ребенок думает о том, что находится за пределами его садика; на жизнь, которая там бьет ключом, не обращают внимания, потому что на ней нет соответствующего клейма. Мошенническое рвение профессиональных вербовщиков обращенных (другие вступают в браки), притворная апологетика, нужная для того, чтобы отрицать очевидность прошлых грехов. Клерикальная гордыня (а сколько светских людей надевают ее одеяния!). Мания защищенности или мания преследования, и все мелкие приемчики, нужные для того, чтобы перехитрить реальное или предполагаемое недоброжелательство противника. "Дела", которые виртуозно расстраивают планы неконфессиональной нищеты. Сговор с глупостью и посредственностью добродетельной прессы, добродетельного кино, добродетельных романов, здравого смысла. Вместо надежды — набор ловких приемов, с помощью которых душат зародыш под предлогом его защиты. Что же касается веры, то о ней лучше и не говорить. И все это не в пользу Царства Божьего. Тело церкви, Тело Христа распадается на отдельные республики, мелкие товарищества. Часовни — и те туда же: это — торговые точки вне освященной территории, греющиеся от ее лучей, подобно тем лавчонкам, хозяева которых распространяют свою проказу вдоль путей нашего паломничества.

Служение человечеству не позволяет церкви обойтись без временных средств. Сбор пожертвований во время богослужения возмутителен, но без пожертвований не было бы ни храма, ни богослужения; а вы, господин, смогли бы выжить в катакомбах? Но христианин без опасения может общаться с миром лишь в том случае, если его глаза и сердце устремлены к совершенству. Христос начал свое апостольское деяние с отказа от богатств и земной власти: вот та звезда, которая вынуждает христианина отдать предпочтение "бедным средствам", потому что они очищают. "Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские..."²

Пока существует христианский духовный порядок и распространяется вера, в том, что касается ее предмета, если даже не всех средств, мы все еще пребываем в рамках сверхъестественной жизни церкви. Предательство христиан, как мы уже говорили, подобно ржавчине, затрагивает ее только внешнюю сторону.

Но под сенью сверхъестественной жизни существует жизнь земная. Цели принадлежат к временному порядку, так же как и средства, нужные

¹ Выражение принадлежит Ж. Маритену ("Религия и культура").

² 2 Кор. 10:3—4.

для их достижения. Эта жизнь образует *естественный христианский порядок*, историческое осуществление *христианства* в определенной точке времени и в плоти мира. Это непрочное здание: временное не сводится к материальному, хотя оно и погружено в материю, отягощается ею, вплоть до мечтаний (это хорошо понял Маркс); оно не является также грехопадением, хотя и несет на себе его следы, ибо оно является человеческой плотью, а плоть человека была создана с подобающим ему достоинством и реабилитирована вместе с плотью как таковой, благодаря непреходящим добродетелям воплощения. Вот что касается пределов временного и его укорененности. Если говорить о его вершинах, то они остаются открытыми, автономными, но подчиненными сверхъестественной жизни и одухотворяемыми только ею: христианин — человек, а не человеколюбивое существо.

Но этот порядок — от мира сего. Он, собственно, и является *христианским миром*. Распростертый между двумя силами тяготения: требовательной — сверху и несущей обещания — снизу, он является полем сражения, областью зла и предательства. Именно здесь корень нашего малодушия.

II

Когда речь заходит о компромиссе христианства с миром, то большинство принимает во внимание только политический аспект. Такую позицию мы категорически отвергаем. Не потому, что вопрос вообще не стоит в этом плане; прежде всего, пусть его не ставят только так, чтобы он с очевидностью унижал души.

Известно фактическое положение дел. В ряде случаев во многих странах под собственным именем или, как во Франции, анонимно существует католическая партия, и программа этой партии, как правило, несмотря на некоторые внутренние противостояния, совпадает с намерениями реакционных сил. Такое надо согласовать с логикой, а это весьма неудобно. В XVI веке буржуазия родилась в противовес христианскому духу при содействии морали голландских или флорентийских торговцев и финансистов. Она укрепилась вместе с индивидом, а затем, опираясь на революционную идеологию, обеспечила себя грамотой о благородстве: Декларация прав. Кодекс чести совершеннейшего эгоиста, или Трактат о сплоченности буржуев. Она естественным образом обрела метафизику в лице вольтерианства: Бог — устроитель миров, бесчувственный технар, подобный одному из буржуа, который для собственного удобства выдвинул идею о беспрецедентной обеспеченности бесконечного прогресса, гарантированного от всякого риска, то есть идею о постоянном обогащении ведущих акционеров, принесен в жертву человечность, как это и должно быть на хорошо работающем предприятии. Единство буржуазии и церкви, обеспеченное при реставрации с помощью трона, на самом деле было только видимостью. Пойдем дальше: Луи Филипп заменяет Вольтера, зонтик одерживает верх над плюмажем; а чтобы быть благодарным наследником, буржуа сохраняет вольтерианство. Чем дальше, тем больше изменений: буржуа идет на мессу, у него есть

даже своя особая месса, которая совершается тогда, когда для простых смертных солнце уже высоко стоит в небе, а он зевает в ожидании обильного обеда. Обращение? Ну нет! Буржуа просто испугался: испугался сначала республики и ее демократической машины, а потом, уже сегодня, когда он создал для себя республиканский комфорт, он испугался коммунизма.

Все это хорошо известно. В каждой из наших провинций (исключения здесь так редки!) утверждается тождество между газетой католической и газетой консервативной, между католическим депутатом и депутатом консервативным. Буржуа хитер. Включив в свою программу все католические основания, но в стерилизованном, нейтрализованном, парафинированном виде, он начинает кричать о единении на "чисто религиозной почве", как только какой-нибудь оригинал делает вид, что действует и существует по-католически, но не по-буржуазному. Кто объяснит, что во Франции объединение "на чисто религиозной почве", то есть умалчивание о дополнительных операциях, до мозга костей всегда осуществлялось консерваторами? Мы далеки от того, чтобы защищать парламентскую демократическую республику. Но "существует же, — говорил Пеги, — какая-то причина того, что как только в стране святого Людовика и Жанны д'Арк, в городе святой Женевьевы начинают говорить о христианстве, все понимают, что речь идет о Мак-Магоне, а когда собираются что-нибудь сказать о христианском порядке, все понимают, что речь идет о 16 мая"*.

Не будем заблуждаться по этому поводу. В любом деле есть свои неподкупные, несгибаемые упрямцы, начиная с Марена и кончая Фердинандом Бюиссоном. Но буржуа, руководящий игрой, меняет лагерь лишь для того, чтобы обеспечить постоянство своим низменным целям: вчера вместе с народом против религии, сегодня вместе с религией против народа, потому что рабочий готов взорвать его завод. Ну чем не Голгофа?

Вот и приехали: "Когда они распяли Его, делили одежды Его, бросая жребий, да сбудется реченное в Писании: "разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий"**.

Католики посчитали, что, протестуя против "правых католиков", хорошо будет сделаться "левыми католиками". Мы слишком быстро продвигаемся вперед, и все эти истории вряд ли стоят внимания. Рецепт хорошо известен: разбавить традиционные предсказания равной долей современных передовых учений, набраться немного храбрости и много осторожности и тщательно размешать все. Но буржуа не выпустил ниточку из рук: в его игре появилась новая кукла. А поскольку добрый малый далеко не всегда является смелым человеком, эти передовые католики поспешно стремились сделать уступки, придавая своим учениям эластичность, как только заходили чересчур далеко и чувствовали, что при свете нового солнца их тень перемещалась по другую сторону от них. Пусть нас не обвиняют в недостатке признательности и великодушия. Мы знаем, что наш путь был подготовлен ценой заблуждений и, увы, страданий. Заблуждаясь, люди могут израсходовать все богатства любви, и нам известны те, кто исчерпал себя, прилагая много усилий для размежевания. Но искренность не умаляет заблуждения: эти люди про-

должали оставаться верными себе, они не выходили из игры. Для чего нужно разъединять трансцендентные ценности в одном месте, чтобы вновь соединять их в трех десятках метров от этого места (я говорю о депутатских креслах в Палате, и пусть не объясняют мне, что ряды метафизиков не измеряются метрами и что пешки здесь иного рода, нежели на шахматной доске!). Если бы "правое" и "левое" были действительно противоположны, то это обладало хотя бы видимостью логики или... безумия. Но мы полагаем, что в достаточной мере показали бесспорную путаницу или, лучше сказать, два представления, с которыми связаны эти два понятия, чтобы операция показалась необдуманной. Нет даже надобности обсуждать "левую идеологию". Это из другой оперы. Пока мы не очистили свою плоть от последних проявлений "правого рефлекса" или "рефлекса левого", пока мы не сумели оставить где-то далеко позади то спонтанное раздражение, которое у одних вызывает пенсне господина Блюма, а у других — усы господина Марена, мы еще не будем стоять на уровне проблемы. Мы считаем, что это неподходящий момент для обсуждения вечных вопросов.

III

Итак, перед нами более солидные реалии: государственные институты и человеческие сердца.

Каким образом представляет себе христианин вне рамок особенного воплощения схему всякого временного сообщества? В сущности — как общность личностей, сотворенных по образу и подобию Бога. Благо, ближайшее и отдаленное, естественное и сверхъестественное, каждой личности, — вот цель сообщества, а не всесильное государство или абстрактное сообщество. Личности, обладающие естественной склонностью к социальной жизни и имеющие одну и ту же конечную цель, связаны между собою в расходящемся кругах конкретном сообществе человеческим естественным материальным благом. Обеспечение естественного общего блага и является миссией сообщества. В этом плане оно обязано подчинять материальное человеческому, то есть подчинять управление вещами организации людей, руководство экономикой — политике, и там, где кончается политика, готовить каждого человека, содействуя его расцвету как личности, помогая ему совершить решительный выбор, которого от него требует дух.

Теперь вернемся к современному обществу. Не будем даже думать об атеистическом государстве (нам уже говорили¹, каким образом христианин мог бы реагировать на то, что называется светским государством). Что касается наших дочеловеческих истоков, то там многое принадлежит преисподней. Развитие людей зависит от капризов рождения и случая. Государство сосредоточено на своей собственной игре, занимаясь парламентской возней или предвыборными комбинациями, что не имеет никакого отношения к жизненным сообществам. Или скорее так:

¹ *Maritain J. Religion et Culture.*

правительства — это какой-то привычный обман. Нет больше сообщества, нет больше государства, нет больше правительств. Силы денежного мешка захватили всю систему. Огромный паразит присосался к государствам, сковал парламенты, средства информации, волю и незаметно подкрадывается к самому сердцу. Нет Германии, Данцигского коридора, Дуная, Маньчжурии. Все это оккупировано. Везде только одно — царство денег. Муссолини убил Маттеотти. Доллар на наших глазах устраивает расправу над тридцатью миллионами безработных¹. Пока "католические" газеты с настойчивостью, достойной Евангелия, не будут кричать об этом с утра до ночи, указывая имена и факты, им придется подождать нашего доверия.

Кое-кто из нас уже поднабрался опыта. Теперь мы более чем уверены в том, что сегодня нельзя быть стопроцентным христианином, не становясь на сторону восставших. Перед лицом современного мира мы должны один за другим проделать свой путь в Дамаск. Вопрос, который нас ждет в конце пути, известен: "Господи, что повелишь мне делать?"**

Прежде всего, не бежать от жизни.

Как метко заметил Ривьер, христианин с некоторым пессимизмом, по меньшей мере с некоторым безразличием взирает на судьбу нашего социального устройства. Психология этого чувства весьма сложна.

В него входит, во-первых, то, что можно назвать христианским релятивизмом. Христианин был свидетелем стольких империй, ушедших в небытие. Существует только одно общество, которое идет в счет: небесный Иерусалим. Сколько шума, сколько хлопот, чтобы снабдить республиканских генералов политикой Ришелье, а нищету крепостного крестьянина переделать в нищету безработного. Очевидно, что этот релятивизм питает чувство снисходительности к законам и человеческой судьбе и связан с чувством вечного. Кроме того, разве могут утопии и легенды одурачить его: история для него не является черно-белой, геометрически правильной, поднимающейся из тьмы, доводящей человека до освобождения и завершающейся утверждением незыблемого золотого века; она для него является вечной сменой света и мрака, и он знает, что мрак будет сопровождать его до самого конца.

Во-вторых, в него входит то, что я назову христианской сосредоточенностью. Христианин — это человек, который живет за кулисами мира, по ту сторону от самого себя. Он знает, что как добро, так и зло добираются до самого его сердца. Тогда какое значение имеют все эти разрушения команд, институтов, программ? Разве, как раньше, так и теперь, это не те же самые люди, не те же самые механизмы, не те же самые устремления и не то же самое наследие? Поскольку речь идет не о том, чтобы в той или иной мере интересоваться этим, а о том, чтобы посвятить ему всю свою жизнь, то это, в сущности, не представляется чересчур серьезным делом. И со своей стороны он опасается, что увянет

¹ Мы, разумеется, отсылаем к энциклике "Quadragesimo anno" тех многочисленных католиков, которые не читали ее и, вероятно, нашли эту картину излишне мрачной.

тот сад, где расцветают мечты и живет созерцание, он, который боится велеречивости, суеты и крайнего одиночества человека, пребывающего в толпе. Разве вместе с основами веры его не учили тому, что созерцание стоит выше действия?

В-третьих, надо учитывать также христианский персонализм. Начиная с Бога и кончая им самим и ему подобными, христианин с нежностью думает только о личностном мире, в котором каждое существо названо по имени, избрано. Усредненные меры, общие декреты толкают его к скептицизму, делают безразличным.

Наконец, некоторым следует напомнить также о христианской отрешенности. В конце концов, какое значение имеет для христиан то, что мир причиняет им зло? Существует нечто более ценное, чем счастье. И если верно, что человек достигает величия только на кресте, то как оскорбительно для него было бы желание отбросить саму идею креста?

Да, все эти чувства органически свойственны христианину. Человек, живущий сверхъестественной жизнью, не может отдать ни все свое сердце, ни значительную часть его тому, чтобы способствовать развитию социального благосостояния в том мире, который для всех людей был бы почти справедливым, достаточно справедливым, чтобы предоставить каждому рискованную возможность самому прожить собственную жизнь, и справедливым достаточно дикой справедливостью, чтобы люди в нем не погрязли в роскоши. Процветание, строй... — это совсем не его дело; в нем он растратил бы в тяжких трудах слишком драгоценные силы. Именно в этом смысле церковь требует уважения к любой установленной власти, за исключением тирании. В нормальных же условиях, если смотреть сверху, одно стоит другого.

Не следовало бы, однако, как это нередко делается, искаженно представлять данную христианскую мысль как призыв к смирению и социальной пассивности. История напоминает нам, что ни один институт, инициатива введения которого ранее не принадлежала бы христианскому милосердию, не был узаконен. И в центре Евангелия стоит мысль о взаимопомощи. Об этом же говорит и вторая заповедь, которая вносит свою долю в божественность первой.

Существует известная обычному христианину теология, говорящая о мистическом Теле и о союзе святых, которая вполне могла бы быть теологией нынешнего времени. Мы, конечно, не смешиваем коммунизм и сопричастность людей, в чем недавно обвинила нас "Аксьон франсез". Но Царство Божие существует не только *в нас*, оно находится и *среди нас*, мы об этом почти забыли со времен Возрождения и Реформации. Укрепление социальных связей и служб могло бы дать нам возможность открыть неизведанные сферы человека.

А это значит, что даже в нормальных условиях христианин не должен бежать от жизни. Между тем в периоды насилия, подобные тому, который мы сейчас переживаем, он испытывает сильное желание совершить такое бегство.

Нередко к этому его толкает собственный темперамент. Весьма развитая, но плохо приспособленная к внешнему миру внутренняя жизнь замкнула бы его в себе самом. Из-за такой малости, а именно из-за того, что мир сурово обошелся с ним, он стал искать удовлетворения во

внутренней жизни. Самой малости (все смешалось!) достаточно, чтобы страх перед жизнью показался ему жадой созерцания. Но это означало просто забвение того, что созерцание не имеет никакого отношения к душе и что не следует принимать сладкие слезы одиночества за путь во мрак. Подлинное созерцание преисполнено милосердия особенно у начинающих, у тех, кто еще не достиг и, несомненно, никогда не достигнет сфер, где созерцание уже само по себе является действием.

Горестные переживания — это самая высокая форма внутренней сосредоточенности. Эсхатологическое мышление, которое так сильно волновало первых христиан, не совсем исчезло из нашего сознания. "Царство Божие не от мира сего. Этот мир порочен. Ничего не поделаешь. Грехопадение, грехопадение. Прогресс, реформы: грубые устремления хорошо живущего человека. Остается только стенать, насмехаться, пророчествовать". А воплощение? А обещания? А надежда? А притча о талантах? И наконец, теология, ибо если есть в католической идее дружина, то ею является учение о том, что человек был глубоко задет, но не опорочен в основе своей первородным грехом. Он не утратил своего оружия в борьбе с грехом. И хотя окончательного успеха нам не достичь в этом мире, пока существует мир, человек никогда не успокоится и не будет торжествовать победу; и тем не менее случается, что святой добивается победы еще при жизни; так почему же общество не смогло найти подступы к ней?

Перед лицом современного мира, где катастрофические грехопадения совершаются постоянно, наша тревога имеет два основания. Во-первых, существует беспорядок сам по себе: многие христиане, хотя еще и колеблются в том, что касается выбора образа действия, который от них требуется, уже ясно осознали это. Однако существует нечто большее: мир ценностей рушится вместе с этим беспорядком в какой-то мере потому, что лавина все увлекает за собой, но в какой-то мере и потому, что сами ценности участвовали в создании беспорядка.

Именно эта сторона дела причиняет столько страданий пятидесятилетним людям. У них был свой собственный мир. С какого времени он существовал? Со времени Революции? Со времени Возрождения? Трудно сказать. Но в нем они так уютно чувствовали себя, окруженные понятиями, которые на протяжении длительного времени оттачивались их отцами: семья — это было то, что надо, свобода — тоже, предприятие — тоже; и государство, и право, и нация, и собственность, и городская жизнь, и все. Откуда сегодня такая неприязнь ко всем этим привязанностям? Разве они не прошли проверку на подлинность? А теперь они лишаются своей плоти.

Христианин, знающий силу привязанностей, понимает эти страдания. Однако, сталкиваясь с ними, может ли он иметь какую-либо иную идею, кроме идеи всеобщего спасения земли и неба? В этом мы уже никак не можем сомневаться, когда оказываемся на переломном пункте истории. Одна цивилизация идет к своему закату, восходит другая (позже, на расстоянии, мы трезво оценим все то, что вторая унаследовала от первой). Не существует механического детерминизма истории.

Тем не менее существует своего рода биология истории: одни люди рождаются, умирают, на их место приходят другие, благодаря способности человека к размножению, но также и в соответствии с тайными предначертаниями управления миром. Между тем цивилизация — это земная штука. Она воплощает духовные ценности, которые как раз и переживают свою молодость, но она воплощает их *hic et nunc** в соответствии с различными аналогиями. Но в своих попытках она не затрагивает вечное и оставляет после себя незатронутыми силы воскресения. Сколько раз и с каких сторон свобода раскрывала себя человеку? Это божественная ценность, ее не исчерпают никакие осуществления, но некоторые из них деформируются. Так что же, если свобода Возрождения и XVIII века умирает, то мне следует отказаться от того, чтобы подняться на необходимую высоту, принять оборону, скомпрометировать все во имя спасения всего? Мы переживаем эпоху, являющуюся распятием для тех, кто живет в ней, но это подлинно божественная эпоха, когда собственно писание и дух должны быть отделены друг от друга; каждую вечную ценность необходимо вновь воспринимать во всей ее чистоте, чтобы без спешки обеспечить ее вхождение в новую плоть, подобно тем драгоценным рисункам, которые переносятся с одного полотна на другое.

Ну, а сверх того существует проблема беспорядка. Она гораздо более существенна. Именно она является узловой точкой в судьбе нашего поколения. Мы обязаны нести ответственность за то, чему посвятим свои жизни.

Католическая теология¹ всегда считала послушание установленной власти, законному или фактическому правительству долгом христианина. По отношению к правительствам, фактически существующим и плодотворно работающим, она ограничивает наши обязанности тремя пунктами: подчинение справедливым законам; выполнение общественных повинностей; содействие правительству, если при этом соблюдаются приличия и нет необходимости идти на сделку с совестью. Эти обязанности не запрещают деятельность, направленную на свержение узурпаторской власти как при помощи законных средств, так и при помощи силы, если такой насильственный переворот обладает признаками законного волеизъявления. Уже в силу этого мы могли бы рассматривать царство денег как фактически существующее узурпаторское состояние, свержение которого даже незаконными средствами оправдывается, поскольку соответствует принципам власти, разделяемым общественным мнением.

Но существует нечто большее. Хотя ни один христианин не может бороться с установленной властью, исходя из личной амбициозности или жажды к приключениям, существует момент, когда это фактическое подчинение в соответствии с теологической традицией перестает быть для подданного долгом. Это происходит тогда, когда режим становится тираническим, то есть когда принципы власти руководствуются не идеей

¹ По поводу того, что следует далее, см.: *Saint Thomas. Sum. Th., II-a, II-ae, q. 42, a. 2; Commentaire à "La poilitique" d'Aristote, III, ch. V; Insurrection — Dictionnaire d'Apologétique de A. d'Ales.*

обеспечения общего блага, а идеей частного блага тирана. "De Regimine principum"¹* перечисляет злодеяния такого режима: разрушение, пролитие крови, отсутствие безопасности; свобода погружается во мрак; великодушные и радость покидают сердца, в стране множатся распри, а унижение становится в центр политических притязаний. В такой момент подстрекателем становится сам принцип власти, поскольку именно он уничтожил душу законной власти — "единство правосудия и общей пользы", именно он идет против сообщества; тогда революционный акт становится актом служения сообществу.

Весь наш опыт последних лет подтверждает только что сделанное нами описание. Мы знаем, почему в нашем капиталистическом обществе существуют кризисы, войны, коррупция, забастовки, ненависть. Вопрос о том, соответствует ли этот строй определению тирана, для нас уже не стоит. Скорее надо сказать, что тирания еще никогда на протяжении всей истории не обладала такой универсальной властью для калечения людей, обрекая их на нищету и войны, что еще ни один тиран с таким спокойствием не совершал стольких разрушений и несправедливостей. Но имеется нечто большее. Между личностью тирана и его подданными должны существовать хоть какие-то человеческие отношения, пусть даже ненависть. Но где же он, Левиафан** нынешнего века? Анонимные общества с безответственными администрациями, счета в банке, кредиты, слепая финансовая машина (в колеса которой попадет какой-нибудь хлопковый плантатор из-за падения цен), служители которой сами признают, что ныне они утратили функции контроля. Если душой правления являются чувства дружбы и верности, которые органически связывают управляемых и власть, то с чем ее сегодня можно связать? В восстании теологи различают бунт, или мятеж, против законной власти, который является грехом и всегда запрещается, и сопротивление. Пассивное сопротивление и активное законное сопротивление не ставят серьезных проблем: они являются нормальным проявлением политической активности гражданина. Остается насильственное и незаконное активное сопротивление, революция. Теологи робко допускают ее при определенных условиях, которые мало-помалу уточнялись, начиная со святого Фомы и Суареса — Лемкула до Катрейна и Кастелена. Последний перечисляет пять таких условий. Требуется, чтобы

- 1) тирания стала повседневной и значительной;
- 2) не оставалось никакого другого средства пресечь тиранию, например молитвы, увещевания, пассивное сопротивление, и предварительно все средства были испробованы;
- 3) тирания была явной, "по общему признанию мудрых честных людей";
- 4) существовал определенный шанс на успех;
- 5) имелись основания полагать, что падение тирана не приведет к возникновению более серьезных зол того же порядка, что и сама тирания. "De Regimine"² в самом деле опасается, что в случае неудачи восстания тиран усилит угнетение или же что его преемник заменит

¹1, 3.

²1, 6.

существующую тиранию еще более жестокой. Если бы речь шла только о том, чтобы подвергнуть риску собственную жизнь и собственные блага, даже жизнь и блага большого числа людей, это одно, но Фома Аквинский и его комментатор¹, напротив, полагают, что не существует таких бед, усмотрение которых должно остановить спасение сущностных благ человека.

Первые два условия сегодня мы можем считать выполненными: парламентаризм доказал свое бессилие даже в лице своих последних энергичных людей, глотку прессы заткнули деньгами; оба орудия демократии находятся в непригодном состоянии. Что касается третьего, то уже достаточно литературы, чтобы утверждать его наличие, начиная от энциклаики "Quadragesimo anno" и кончая последней речью господина Кайо. Остается четвертое, которое люди действия рассматривают в свое время, но которое, вне всякого сомнения, обеспечивается агонией капитализма; наконец, последнее, которое также не составляло бы особой проблемы, настолько трудно представить себе строй более бесчеловечный, чем нынешний строй, если бы революция не содержала ныне риска открыть пути прихода к власти коммунистам: последнее — это, несомненно, единственный вопрос совести, который христиане-революционеры должны задать себе.

Мейер в "Institutiones Juris Naturalis"* специально уточнил природу и разновидности этого права на восстание. Его предшественники считали, что законное восстание не может рассматриваться как грех против власти, поскольку тиран уже не обладает авторитетом. Народ по отношению к нему, говорит Мейер, тогда уже становится не подданным своего суверена, а нравственной личностью, пребывающей в состоянии законной обороны, поскольку речь идет о самой личности и ее сущностных благах. Если он не осознает такой опасности, то "любая группа граждан, даже если она не образует нравственную личность в полном объеме или органическое социальное объединение в силу личного права, присущего каждому индивиду, может в этом крайнем случае объединить силы всех, чтобы противопоставить всеобщему угнетению коллективное сопротивление"². В таком случае нет надобности в юрисдикции, чтобы принять решение в пользу законной обороны индивидов. А "оборона" не означает "пассивность". Оборонительной войне не противопоказана инициатива наступления; отец Катрейн уточняет, что, когда он говорит о сопротивлении, "речь идет об активном сопротивлении с применением силы, о сопротивлении с оружием в руках"³.

Наконец, после всего того, что мы сказали выше, можно поставить вопрос, а не становится ли бесполезной любая аргументация, оправдывающая право на восстание в условиях нынешнего строя в силу следующего факта: сегодня не существует ни правительства, ни тирана, существует слепая и бесчеловечная материальная сила, которая заняла место людей во главе государства. Долг завтрашнего дня связан не с восстанием, а с выполнением общественных работ.

Два последних возражения тем не менее все еще имеют значение для христианина.

¹ См., например: *P. de la Taille — Insurrection.*

² 1900, t. II, № 531, 532.

³ *Philosophia Moralis*, 1900, № 616.

Разве могут те, кому было сказано: "блаженны миротворцы", даже в самом серьезном случае считать необходимым прибегнуть к насилию? Это возражение не слишком серьезно и связано с общей психологией. Мы уже отмечали, что в эпоху технической революции, которая, впрочем, может происходить в форме ускоренной эволюции, нам надо раз и навсегда избавиться от ходячих представлений о мятеже, которые ныне образуют главное препятствие на пути прозорливых людей. Повсюду слишком много думают об *актах* насилия, что мешает увидеть гораздо чаще существующие *состояния* насилия, например такое состояние, такой *порядок*, при котором миллионы людей лишаются работы, умирают и теряют человеческий облик, и что точно так же, как тиран оказывается подлинным мятежником, подлинным насилием в одиозном смысле слова становится сохранение существующего строя.

Христианин может также задать себе вопрос, не обладает ли терпение как в политике, так и в личных делах бóльшим совершенством, чем сопротивление. Здесь налицо путаница по поводу христианского смирения, которая уже давно используется в предвыборной литературе. Для собственного совершенствования христианин может согласиться на испытание несправедливостью, которая обрушивается на него. Это его личное дело. Но он не одинок в мире. Переносить испытание не значит санкционировать его, и он вполне может сочетать стремление не обращать внимания на личное оскорбление с долгом борьбы против утверждения несправедливости в мире. Строй, подобный современному капитализму, это своего рода социальный грех, в котором все принимают участие в той или иной степени, у которого есть своя инерционная сила, гораздо более мощная, чем все индивидуальные грехи вместе взятые. Христианин призван бороться не против своего личного несчастья, а против зла, и хорошо известно, что в такой борьбе нуждаются все.

IV

Наша ли вина в том, что приходится говорить о власти, экономике, агитации? Наша подлинная забота не об этом. Наше сердце принадлежит не этому, оно живет рядом с людьми, природой, Богом. Призыв к новому служению, услышанный нами, исходит именно от них. Призвание одних подталкивает их в этом направлении, призвание других толкает их назад: ну и что же? Христианство — это не утонченная религия; вчера — мечта, сегодня — каторга. Таков человек.

Мы несем ответственность за любые последствия. И тем не менее самым значительным является то, что мы чувствуем, как революционный гнев проникает в сердца, в самую их глубину. Однако ничего не произойдет, та же серая сила будет отягощать новые органы, если мы не донесем огненное дыхание до этого глубокого убежища зла.

Не лишним будет напомнить христианину о его собственном положении в духовном универсуме. Непосредственно ему противостоит чувственный мир, тяжеловесный, но исполненный света, он поражает его

разрядами молний, возбуждающими поэтическую интуицию, и вместе с тем для своего постижения требует нелегкой работы ума, сохраняя в то же время в себе нечто непроницаемое и таинственное; только молитва и вера оказываются способными пройти через него.

В основе принципа его действия лежит закон любви, самопожертвование во имя любви, полное самозабвение в любви: *Ama et fac quod vis**. Вся его жизнь устремлена к любви к Богу. Единственное основание: воздать Богу по его милости, любовью за любовь. Единственный закон для него — это закон совершенства, предписания, а не совета. Святость не является сверхъестественным призыванием, это естественное, хотя и не обычное признание христианина¹. Под нею и на подъеме к ней располагаются ступеньки, перила и контрфорсы, и их все тяжелее и тяжелее преодолевать, но благодаря им взору вашему открываются парящие в небе соборы, покоящиеся на поддерживающих их сводах! Где бы ни находился христианин, вокруг него сразу же образуется атмосфера героизма. *Questa aventura***: христианин, жаждущий приключений, имеющих конкретную цель, но неисчерпаемых, подвергает свою жизнь постоянному риску; чтобы сняться с якоря, ему надо только следовать Евангелию.

Христианин не является моральным существом: он существо духовное, а это нечто совершенно иное. Он ни на йоту не пренебрегает моральными правилами, ибо знает, что всякое высокомерие для него губительно. Но правила обладают добродетельностью лишь благодаря живой личности, и даже буква Евангелия может убить за пределами этой жизни³.

Наконец, никакая дорога не ведет христианина к общему благу, если она не проходит через распятие на кресте. Радость у него не отнята, более того, она сопровождает его на всем его жизненном пути. Но безмятежное счастье не является радостью. Мгновенная радость со слезами на глазах или пылкая скрытая радость в течение длительного времени — вот естественное состояние христианина. Именно поэтому Пеги говорил, что сутью католицизма является нежность. Израненная нежность.

В противоположность всему этому существует буржуа.

Я предчувствую, как нарастает раздражение. Каждый из нас несет в себе половинку, четвертинку, осьмушку или двенадцатую часть буржуа, и этот буржуа раздражается, когда слышит свое имя, подобно тому

¹ См., в частности: *Encyclique "Studiorum Ducem"* de Pie XI (29 juin 1923); *Garrigou-Lagrange. Perfection chrétienne et contemplation.*

² *Saint Jean de la Croix. Cantique spirituel.*

³ *Saint Thomas. Sum. Th. I-a, II-ae, q. 106. a. I.* "Et ideo dicendum est quod principaliter nova lex est lex indita, secundo autem est lex scripta" (a. I). В следующей статье на вопрос о том, оправдывает ли он новый закон, святой Фома отвечает, что в новом законе содержатся два элемента: данная изнутри милость Духа Святого, которая оправдывает, и человеческие деяния, которые не оправдывают. "Undi Apostolus dicit II ad Cor., 3: "Littera occidit, spiritus autem vivificat". Et Augustinus exposit, in libro de Spiritus et Littera, quod per litteram intelligitur quaelibet scriptura extra homines existens; etiam moralium praeceptorum qualia continentur in Evangelio. Unde etiam littera Evangelii occideret, nisi adesset interior gratia fidei sanans"***.

как раздражается демон внутри одержимого верой. Внесем ясность. Мы не выходим за границы буржуа, достигнув определенной величины доходов. Буржуа существует на всех широтах и долготах. И хотя его мораль была порождена одним классом, сегодня она, подобно тяжелому газу, проникла в нижележащие сферы общества. Наверху расположились несколько крупных капиталистов, или пиратов индустрии, спасаясь от него и оставаясь буржуа в социальном плане. Внизу — насильники. Между ними — земля, полная белых пятен, подобная карте неосвоенного континента. Мы знаем также, какие несметные сокровища, сверкающие огнями, таятся нередко под застывшей оболочкой. Мы слишком любовнозираем на мир, чтобы не быть насильственными, но сам мир слишком переполнен любовью, чтобы быть "миром вообще".

"Буржуа" от этого не становится воображаемой моральной сущностью. Это — историческая сущность, такая же сущность, какой обладает стоик, эпикуреец, христианин. Мы не собираемся, вслед за Зомбартом, переделывать его систематику или вслед за Максом Жакобом, посвящать ему шуточную симфонию с вариациями. Буржуа — это не только нечто курьезное и забавное в том, что занимает нас в данном случае; он являет собою человеческий облик Антихриста: и это еще не самый гнусный облик.

Первая аксиома: буржуа — это человек, который утратил смысл бытия.

Чувственный мир уже не очаровывает его. Он прогуливается среди *вещей*, которые не вызывают к нему, существуют наряду с ним, и их можно классифицировать. Есть две категории вещей — полезные вещи и вещи, не имеющие значения; или же еще: дела и потерянное время. Потерянное время, любовь к вещам и заупокойная по миру. Потерянное время: оно как раз потому такое, что ему в нем нечего терять.

Так станет ли он мыслителем, да к тому же и строгим? Он испытывает уважение к мысли, а это далеко не то же самое. Прежде всего — это само собою разумеющееся уважение к мыслителю, который состоит у него на службе и придает значение интересам, обладающим старой солидной репутацией, которые в противном случае могли бы считаться эгоистическими. Он не отказывает в таком уважении также и независимому мыслителю, во-первых, потому, что его присутствие в мире, подобно присутствию сестер милосердия, придает ему уверенность, когда речь заходит о его собственном положении: они должны умирять богов. Что же касается возможности видеть в них нечто иное, чем функционеров определенного ранга, то такая мысль ему просто не приходит в голову. Для него существуют только практические вопросы. Мыслителям конечно же следует дать возможность писать "тезисы" и создавать утопии, чтобы чем-то занять их неопределившиеся призвания, к ним необходимо проявлять великодушие, чтобы не выглядеть неблагодарными. К счастью, под рукой всегда имеется та или иная "гипотеза" и существует здравый смысл, чтобы спасти мир.

Что касается тайны, то неверно, будто буржуа ее отвергает: просто где вообще-то он мог бы столкнуться с ней? Он делает мир своими

руками. Этот мир не причастен Богу, он самодостаточен. Как бы мог он поддерживать физическую обеспеченность, которую он вносит в мир, если бы в этом мире было нечто большее, чем то, что он сам утверждает в нем?

Вторая аксиома: буржуа — это человек, которого покинула любовь.

Он думает, что любит, потому что не может жить без симпатии. Но любить, то есть ничего не брать, любить, то есть жертвовать всем вплоть до самого себя, просто любить, то есть любить совершенным образом, — такой любви можно научиться только с помощью Бога. А поскольку буржуа не любит, он не обладает и верой. Он не верит в события, он не верит в людей, он не верит в инициативы, он не верит в безумие. Как "верующий", он верит ровно настолько, чтобы не задевать народ и его предрассудки, верит верой утонченной, праздной, разумной. Как неверующий, он бесстрастен и всегда остерегается касаться такого вопроса, как "религия для народа". Из этого видно, что вера — это удел народа и что атеизм, благочестивый или свободомыслящий, — это классовая философия.

Сам буржуа — это нравственное существо. Более того, он только таким и является. Вот только добродетели, отделенные от их невидимой жизни, служат ему для приспособления к окружающему миру. Любовь, совершенство, героизм, приключение — вся иерархия покачнулась, и теперь он устроил свой собственный мирок и расположил по полочкам заповеди закона, подобно тем маленьким алтарям, которые возводятся в каком-нибудь общедоступном месте на полях великих сражений.

Первая ценность — порядок. Не порядок следования, не перекресток, где сталкиваются судьбы. Нет: порядок — это спокойствие. Существует буржуа-янсенист, который составил себе о порядке устойчивый, нетленный образ, и буржуа — милое дитя, который готов улыбаться любому упорядочению, лишь бы все устроилось. Но разница между ними небольшая: и для того и для другого все идет хорошо, если не поднимается шум. Это не значит, будто они всегда чувствуют в себе уверенность. В душе буржуа — это человек, который всегда чего-то боится. Боится борьбы, боится того непредусмотренного дня, который наступит вопреки его ожиданиям, боится меняющегося облика людей, боится всего того, что не является его собственностью. Он приобретает все новые и новые страховки. Он не хочет, чтобы время, хрупкое, как живая плоть, стекло, он не хочет творить свою жизнь, следуя времени, испытывая поражения и чувство неуверенности; он хочет, чтобы его жизнь была совершенно замкнутой и гарантированной, как бы заданной заранее. Он, стремясь к безопасности своего существования, своих благ, своих детей, своей страны, возводит вокруг себя непроницаемую стену. Он привык к регулярности. Он отдает дань уважения всему тому, что обеспечивает внешнюю видимость порядка: полиции, армии, этикету, осторожности, корректности.

Он не Кант, а Коперник, если говорить о морали. Все добродетели, которые проложили свои орбиты вокруг милосердия, для него вращаются вокруг добродетели порядка. Их мерой является уже не любовь,

создающая миры, а кодекс, обеспечивающий социально-психологическое спокойствие.

Жизнь буржуа подчинена закону счастья. Счастье — это стремление к наслаждению, находящемуся, подобно звонку, вызывающему домашнюю прислугу, всегда под рукой, основательному, не случайному, обеспеченному. *Aurea mediocritas**. Вызолоченная посредственность. Счастье подчинено закону собственности, то есть чувству прочности, чувству комфорта. Если главная забота христианина — это *быть*, то у буржуа нет другой цели, кроме *иметь*. Послушайте только, как он говорит: моя жена, мой автомобиль, мои земли, — в этом отлично чувствуется, что в счет идет не жена, не авто, не земли, а именно сочное притяжательное местоимение "мое". Поэтому-то он и любит деньги: надо быть очень скупым, чтобы ничего не оставить судьбе. Для этого-то он и трудится над алтарем своего общества. "Религия, — пишет один из них, — превращая труд в священный долг, а безделье — в преступление, становится душой и пищей всякой полезной индустрии"¹. Именно поэтому он любит действие, которое поддерживает оптимизм и дает силу.

Буржуа не знает того креста, который по ежедневному опыту знает самый последний нищий, самый последний бунтовщик. Он обставляет себя красивыми вещами, в ряду которых и его жена, то есть вещами приятными, он ведет себя благонаравно и совестливо, он жизнерадостен. А вот безобразия, грех, смерть — ничего такого в его жизни *не представлено*; еще менее представлено одиночество; буржуа — это человек, окруженный со всех сторон. Не будем говорить об отречении: отречение — это не экспроприация? Оно не хорошо ни для греха, ни для милости, ни для несчастья, ни для радости, говорил Пеги. Человек доброго здоровья, человек счастья, человек блага, человек, который обрел уравновешенность, — это обойденное милостью существо.

В конечном счете настоящим буржуа является мелкий буржуа. Любимой крупной буржуа здесь только случайный прохожий, что чувствуется по его манерам. Когда мелкий буржуа окружает себя соответствующей атрибутикой, он только усиливает очевидность этого факта: она чересчур значительна для него, для его мирка, для его мелочных взглядов. Он чувствует себя в своей тарелке, только когда окружен посредственностью. Первый французский звуковой фильм** дает нам представление о его душе.

Вот тот человек, который возник вместе с эпохой комфорта. Мы уже должны были бы пожалеть о том, что подобная карикатура на человека родилась в истории и завладела христианским миром. Поскольку этот человек подрывает основы мира, мы кричим: "Берегись!" — и переходим к обороне. Поскольку он стремится выдать свои ценности за ценности христианские, то на этот раз он может *достать* нас повсюду, что, однако, не помешает нам свидетельствовать против его лицемерия. Важно то, что люди, имеющие в своих руках ключи к миру и иногда именующие себя христианами, предательски относятся к своей челове-

¹ Цит. Грётхюзеном в: "Origines de l'esprit bourgeois en France".

ческой миссии. Но мы не можем больше допускать того, чтобы они мерили вечные ценности своими ничтожными мерками, чтобы они превращали их в вывески для своих лавчонок с целью привлечения клиентуры, чтобы им удавалось, используя и искажая их облик, отвращать от них массы людей.

Только двум людям, достигшим пятидесятилетнего возраста, достало мужества разоблачить буржуа, рядящегося в религиозные одеяния: Пеги и Блуа. Один из них пришел извне и в своем восстании против буржуа продемонстрировал христианское горение. Вторым родился внутри и благодаря своей христианской принципиальности закалил свой гнев против буржуа. Сегодня мы уже не одиноки. Увлечший нас жизненный поток породил в нас жажду к чистоте и разоблачению. Личность, семья, родина, свобода — мы принимаем на себя все эти ценности. Но сначала их нужно вырвать из рук фальсификаторов.

Наступило время великого размежевания.

Март 1933 г.

2. Существует ли христианская политика?

В 1933 году выпуском специального номера "Эспри" под названием "Разрыв между христианским порядком и установленным беспорядком" мы надеялись положить начало ряду инициатив, направленных на то, чтобы вывести христианский мир из оцепенения и прервать цепь творимых им предательств. Манифест, опубликованный год спустя группой, состоящей из пятидесяти французских католиков¹, среди которых многие поставили свои подписи под этим выпуском "Эспри", явился в данном отношении, если смотреть вперед, весьма важным актом.

Мы не считаем, что в нем уже все сказано, да еще и так, как этого хотелось бы. Но он приобретает значение общего документа, отражающего перспективы, которые открываются перед нашей эпохой.

В нем выражается сожаление по поводу образования двух блоков: блока "порядка" и блока "революции" — и от имени христиан провозглашается двойное *нет*:

"тем, кто для того, "чтобы перекрыть путь фашизму", хотел бы завербовать их в ту армию, в которой труд и человеческая жизнь превращены в материалистический идеал и где учат, что религия — это опиум народа", и

"тем, кто для того, "чтобы преградить путь коммунизму", хотел бы завербовать их в ту армию, где добродетели порядка, власти, дисциплины оказались скомпрометированными классовыми предрассудками и интересами, чересчур узкой концепцией национального интереса и бесчеловечным пренебрежением к миру труда и где религия слишком часто рассматривается как средство временного управления".

¹ "Pour le bien commun" ("Во имя общего блага") — "Les responsabilités du chrétien et moment présent" (Desclée de Brouwer).

Хорошо известно, что христиане и особенно католики (во Франции в большинстве случаев речь идет именно о них) обычно не имеют привычки первыми вступать в новые формирования, но зато в ряде случаев, кажется, имеют непреодолимое влечение ко вторым формированиям.

Тем, кто ныне говорит только о силе во внутреннем и внешнем порядке, заявление напоминает, что они "путають насилие с добродетелью силы, которая потребует от них и которая не существует без справедливости и других добродетелей души".

Для тех, кто по забывчивости, причиной которой являются скорее недостатки воспитания, чем обдуманый эгоизм, упускает из виду главную цель революции, оно напоминает об упрямстве евреев перед лицом нового послания Мессии и подчеркивает, что столь же значительный вопрос стоял перед людьми при каждом приходе Бога в историю.

"Были ли мы достаточно внимательны к поучениям пап, касающимся социальных проблем, прочувствовали ли мы всю ту ответственность, к которой нас обязывают слова Пия XI: "Самым большим пороком XIX века явилось то, что церковь фактически утратила влияние на рабочий класс"? Нашли ли в себе христиане этого периода решимость встать на пути этого позора? Он прекратится лишь в том случае, если христиане перестанут солидаризироваться с людьми, которые в погоне за прибылью "не боятся угнетать трудящихся", а иногда, стремясь прикрыть ее именем свои подлые лихоимства, и "злоупотребляют самой религией", "оказываются причиной того, что церковь совершенно незаслуженно стала выглядеть греховной и получать обвинения в том, что она заняла сторону богатых"; и если христиане будут в первых рядах тех, кто будет бороться с кровавым материализмом цивилизации, разбухшей от несправедливости и ставящей огромную массу людей в бесчеловечные условия".

Кроме того, христиане призывают признать то, что рабочий мир, "вопреки патерналистской идеологии, достиг своего рода социальной зрелости", и, вместо того чтобы нападать на такую эмансипацию, "он в состоянии способствовать таинственному приближению человечества к своей полной зрелости".

Содействуют ли они замалчиванию жертв, которые 9* и 12 февраля и каждую последующую неделю понесли рабочие под пулями полиции или просто взбесившихся буржуа, продолжают ли они настаивать на безусловном разграничении "жертв порядка" и "возмутителей беспорядка"? Их призывают если и не к полному политическому повороту, то по меньшей мере к минимуму духовной стыдливости.

"Эти погибшие, все эти погибшие имеют право на нашу молитву, на одинаковую жалость, на одинаковую молитву. Все они, даже те, проявить интерес к которым не удосуживается хорошо продуманное общественное мнение, обладают бессмертной душой, которую любит и хочет спасти Бог. Помолились ли мы за всех них? Оплакали ли мы их как братьев и сограждан своих? Почтим ли мы во всех них самоотверженность и общую боль человеческую? — Размышляя над стихами Пеги:

Падшие во имя какого-то божества, которое не было подлинным Богом,

Принесенные на какой-то алтарь, который не был алтарем искупления,

Помянули ли мы подлинного Бога ради тех, кто его не познал?

Выделяя эти строки, мы хотели бы предостеречь от того, чтобы это заявление, выработанное на основе чистых требований духовности, выглядело как подчиненное какой-то эксцентричной перспективе, какому-нибудь временному предрассудку. Мы не считаем, что это так. В каждую историческую эпоху существует некоторое число временных позиций, которых *требует* подлинно христианское миропонимание. Необходимо только обозначить их. Приведенное заявление попыталось выполнить эту задачу, но не пожелало идти дальше этого. Полагая, что во имя третьего пути необходимо отвергнуть оба существующих блока, оно не порицает тех, кто считает своим долгом совести сделать выбор в пользу той или другой из борющихся партий”.

Тем не менее оно дает им достаточно ясные направления, чтобы поколебать эту совесть и эту уверенность.

В коротком предисловии составители заявления предусмотрели ту роль, которая ему, как и любому специфически христианскому утверждению, отводится в политической сфере. Поскольку никто не хочет вникать в излишне конкретно изложенные принципы, которые все без исключения пронизаны исторической случайностью, зависят от технических и тактических подходов, одни жалуются на то, что высказано слишком мало, другие, требуя теоретической точности и не желая отвлекаться от непреложных требований опыта или игнорировать первичные временные выводы, непосредственно вытекающие из этих принципов, нередко одухотворяются животворной верой, но, не сумев проникнуться ею в своих политических взглядах, жалуются на то, что сказано слишком много.

И те и другие своими протестами определяют два полюса проблемы, которую мы хотели бы обозначить здесь во всей ее значимости.

Существует проблема христианской политики, подобно тому как существует проблема христианской философии, причем обе эти проблемы взаимосвязаны.

Вопрос ставился так: что дают философу откровение и христианская жизнь: материал для размышления, внутреннюю помощь, необходимую его мышлению, или же изменение в самой природе его мышления, которое не может быть достойным неверующего философа? Другими словами, обладает ли христианский философ особым философским даром и особым способом свидетельствования, не выводящим его за рамки собственно философии, при этом здоровой философии? Аналогичным образом можно поставить вопрос: обладает ли христианский политический мыслитель или деятель методом и способами, которые диктовались бы ему самим христианством, не переставая при этом оставаться действительно политическими?

Иногда под различными предложениями христианскому мыслителю отказывают в такой привилегии.

Это происходит прежде всего благодаря клерикализму. Я не говорю о том властном клерикализме, который, оставаясь нерешительным в своих применениях, очень часто проявляется в пограничной зоне "косвенной власти", которую духовное начало по праву берет на себя по отношению ко всему временному. Речь скорее идет о клерикализме разума, присваивающего себе право суверенно судить о всякой проблеме от имени нескольких расплывчатых, весьма общих принципов с тем распространенным чувством непрерываемости, которое дает принадлежность к чему-то великому. Посредством деформации смысла "единственно необходимого" он убеждает себя в том, что в излишнем доверии к мирским средствам, восходящим к разуму, опыту и технике, или в излишней трате времени на прямую борьбу с миром, который страдает от зависимости и необеспеченности, присутствует что-то безбожное. Когда святой Павел писал, что "человек оправдывается верою", мог ли он предвидеть, как будет использовать его слова посредственное мало-душье, укрывшееся в тепличном комфорте?!

Итак, вот наш обычный христианин. Если говорить о милосердии, то он, между прочим, может быть здесь самым подкованным. Наше отношение к нему строится не на том, что он чересчур привычно обращается с идеями и действием. У него нет рационального доказательства существования Бога, он просто *знает*, его научили, что это существование *доказывается* неопровержимым образом. К зрелой вере его привела не драма обращения, которая должна была пройти через всю его жизнь (что такое религиозный дух, если не постоянно совершаемое обращение?), он уже с детства обосновался в абсолютном и гармоническом, он *знает*, что существует вечность, справедливость, истина. Он живет, он движется в пространстве абсолюта и гармонии, если не непосредственно в их реальности, то по меньшей мере там, где они утверждаются. Он не тревожится, как школьник, перед началом решения задачи. Операция всегда заканчивается правильным ответом, а поскольку его достоинство и заключается в том, чтобы правильно кончить, он не видит ничего плохого в том, чтобы чуточку менять действие и исказить доказательство; чувство богоугодного дела лишает его сознание ошибки как раз в тот момент, когда он ее совершает.

В то же время у него есть свои мнения, свои предпочтения, свой более или менее торжествующий здравый смысл. Другие, когда похваляются таким скудным багажом, делают это из упрямства или тщеславия. У него же это нечто гораздо более важное. Его суждения проникнуты миссией. Как только самые серьезные оплошности здравого смысла приобретают какое-то по меньшей мере словесное сходство с формулами его веры и его традиции, он тут же набрасывает на него одежды вечных идей и говорит о них с такой уверенностью, которая далеко не всегда свидетельствует о его прозорливости. Именно таким образом, например, католики нередко пользуются положениями из энциклик и даже словами Священного писания; они выстраивают из них нечто вроде низкого потолка над своей головой, до которого можно без труда дотянуться рукой, но он закрывает им и небо и землю, потому что они

не позволяют себе спуститься на землю, полную человеческих противоречий и противодействий, идущих от материи. Сколько читали мы таких статей, слышали таких лекций, в которых общее благо, справедливость и милосердие, институты и нравы, справедливый капитализм и справедливые требования так хорошо сочетались друг с другом, что, конечно, по мере того, как должно развиваться "восхищение чудесным синтезом, которым мы обладаем" (в сейфе?), мы чувствуем, как гармония самих формул делает их самодостаточными и ограниченными.

Не только честные и точные в своем мышлении неверующие возмущаются подобными чересчур поспешными канонизациями, идущими от лености, но и самые требовательные христиане, считающие своим первейшим долгом пройти вместе со всеми другими скромную школу опыта, естественно-научных факультетов и жизни, ибо им не было сказано, что они в одиночку будут потом своим добывать духовную пищу.

Значит ли это, что духовная деятельность со своими общими жизненными принципами, с одной стороны, и политическая, экономическая, социальная технология — с другой, являются двумя сферами, полностью не зависимыми друг от друга до такой степени, что вмешательство во вторую от имени первой якобы является иллюзией, несуразностью или даже непоследовательностью, поскольку духовный человек прекрасно может обходить стороной технические проблемы и выдвигать требования, не поддающиеся решению?

Известно, к сколь резким и жестоким спорам привела эта проблема: сначала со стороны позитивистских, светских философов, затем со стороны крайне правых эмпириков¹. Мы не сможем воспроизвести их здесь во всех деталях. Очень часто те, кто ратовал за разделение, грешили излишним обособлением, а те, кто ратовал за сближение, в свою очередь грешили излишней взаимосвязанностью. Здесь опять-таки требуется "разделить, чтобы объединить"; это сочленение христианского политического и духовного начал требует столь же кропотливой работы, которую в свое время мы провели, обсуждая понятие христианской философии.

Необходимость разграничения между этими двумя областями, вероятно, не была в достаточной степени осознана (или просто учтена) теми, кто стремился показать всеобщий характер христианского видения. Очевидно, что для христианина история государств, как и история индивидов, включена в историю Царства Божьего, что ни одно событие не избегает воздействия провидения и закона: в той мере, в какой христианин участвует в этой истории, его долгом является не участие в игре амбиций и авантюры, а стремление обнаружить знаки провидческой истории; в той мере, в какой он предлагает обществу цели, он не может абстрагироваться от своей конечной цели и назначения каждого из членов общества; между тем цели института неизбежно накладывают

¹ Последняя фраза стала предметом полемики между де Бройлем и Ж. Виалату, которая получила свое завершение в книге: *Vialatoux J. Morale et politique* (Desclée de Brouwer).

свой отпечаток на его формулировки, а универсальность действий не может не найти своего отражения в предлагаемых им средствах.

В этом мы целиком и полностью согласны. Что значила бы первичность духовного, если бы порядок конечных целей не был компетентен там, где речь идет о структурах и о средствах?

Но обычным недостатком христиан, по меньшей мере христиан с добрыми намерениями, о которых мы здесь говорим, является не то, что они грешат эмпиризмом. Как мы уже видели, они скорее стремятся чересчур поспешно вывести из принципов, взятых в слишком общем плане, свое видение мира и правила своей деятельности. Они слишком легко забывают о порабощении, угрожающем плоти. Это порабощение, как и животворное воздействие духа, является законом и для христиан, и для любого человека. Это то, что его постоянно беспокоит. Опыт является для христианина своего рода естественным откровением, а история, которая только во времени воплощает вечные реальности, — это своего рода восхождение, которое предлагается ему, чтобы он мог служить этим реальностям, оставаясь всегда живым и внимательным к людям.

Из чего же состоит плоть истории? Совокупность ее взаимосвязей, с одной стороны, и вперемешку с ними весь тот живой мир божественных намерений и свободных человеческих актов, который предстает перед каждым как запутанный клубок противодействий, проблем, тревог, двусмысленностей, противоречий. Представим себе на мгновение весь этот сонм непрерывно движущихся конкретных данностей, которые предлагаются вниманию политического деятеля. Никто не может обойтись без того, чтобы не обеспечить свое *присутствие* в этом конкретном опыте (а как иначе можно обеспечить присутствие, если не посредством прямого опыта), и христианин — менее чем кто бы то ни было, ибо как только он, подобно любому другому, согласится пройти их школу, быть может, получит дополнительные возможности для обретения прозорливости или осуществления деятельности. Для точности необходимо сказать, что он должен принимать детерминизм как детерминизм, трудности как трудности, противоречия как противоречия, избавляясь от всякого пустословия, чересчур быстро приходящей уверенности и излишне легко достигаемой гармонии.

Присутствовать в мире. Это одновременно проблема духовности и психологического самообладания. Если в своих социальных проповедях христианин так часто кажется неспособным справиться с живыми реальностями, то это происходит не потому, что его принципы малоэффективны, а чаще всего потому, что христианская энергия, которая должна была бы придать ему остроту (существует много значений этого слова), притупляется в нем, благодаря безотчетному благочестию, так что даже лучшим из них резкость и негодование кажутся случайными, а признание существования детерминизма, технической необходимости, временно неразрешимых противоречий — неверием. Именно поэтому из-за недостаточной твердости — впрочем, одно связано с другим — христианин слишком легко переходит от общих принципов к легковесным формулировкам, не признающим (о чем мы говорили выше) противоречий и данностей опыта, которые составляют предмет непосредственного спора.

Одновременное воскрешение человека и христианства, следовательно, не должно, как этого можно опасаться при виде наплыва принципов, духа духовной революции, приводить к росту словопрений и морализаторских призывов. Морализаторские речи несут ответственность за усреднение позиций и посредственность действия, ибо мораль морализаторства — это побочный и переродившийся продукт духовной жизни. Она существует в той же плоскости, что и идеалистическая мысль, в той усредненной (и политически умеренной) зоне, которую не посещает ничто великодушное, идет ли речь о духовном начале или о материи. Мы уже несколько раз приглашали христианских демократов поразмышлять над их заблуждениями, не ставя при этом под сомнение подлинность их намерений и их демократизм, как это можно было бы предположить. Я не стану несправедливо упрекать их в том, будто все их вдохновение сводится к такому морализаторству, к которому они, впрочем, как и многие другие, непосредственно причастны, ибо, с тех пор как началась борьба против янсенизма, оно является одним из постоянных недостатков, присущих христианскому миру. Но и они иногда не обходятся без того, чтобы не почувствовать свое согласие с критическими замечаниями в их адрес, говорящими об их неприспособленности к миру, в котором опытная данность социально-политического дела оказалась попранной столь серьезным образом. А может быть, они продолжают изрекать формулы, уже ставшие всего лишь малодейственными обращениями к доброй воле, поскольку не сумели телесно переделать себя, чтобы найти контакты с новыми данностями?

Телесно переделать себя, чтобы сохранить саму вечность, — именно в этом состоит постоянное служение христианским принципам. Говорить о неохристианстве или же, когда намерение оказывается менее добрым, о дипломатии — значит забывать о том, что вечный закон труда, осуществляемого по отношению к материи, — это непрерывное и внезапное возникновение нового. Сегодняшним призванием христианина является, по всей видимости, требование телесного присутствия в целостном мире, о котором мы говорили с такой настойчивостью, потому что оно как никогда ранее является неотложной необходимостью. В индивидуальном плане проблема взаимоотношений между телом и духом веками обогащалась усилиями теологии. В социально-политическом плане она представляется нам почти незатронутой. А не слишком ли часто сама теология соскальзывала на почву того самого индивидуализма, с которым она воевала, когда боролась против протестантизма? В ближайшие годы, возможно, мы станем свидетелями беспрецедентного возрождения общностной теологии мистического Тела, а в моральной теологии — исследования коллективного призвания христианина.

Вот мы и подошли к тому пределу, где заканчивается наша компетентность. В более непосредственном плане предшествующие размышления, как мне представляется, напоминают христианскому политическому деятелю (поскольку ему непрерывно говорят об этом) о той коренной осторожности, которая ему крайне необходима: ему придется убедиться в том, что соединение духовных принципов с опытом и технологией — это весьма непростое дело, и зачастую ему придется держаться той и другой линии на протяжении длительного пути, не дос-

тигая их соединения друг с другом; долг его, пребывающего в таком мучительном положении (как и во всяком другом христианском положении), состоит в том, чтобы держать в руках кончики обеих нитей, короче, не предполагать, что внутренняя жизнь избавляет от необходимости обладать практической компетентностью.

Охотно воображают, что христианин способен лишь выносить моральное суждение о вещах мира. Это заблуждение. Чисто техническое суждение, конечно, делается, с его точки зрения, как бы в преддверии более глубокого взгляда, поскольку в его глазах не существует такого механизма, который не служил бы божественному управлению или не ставился бы на службу человеческой свободе. Но в большинстве случаев он далек от обладания знанием об этом глубоком предустановлении. Тогда скромность и уважение религиозного смысла истории требует от него выполнения технической работы при твердом, но ненавязчивом направляющем действии общих принципов социальной морали. В области политики существуют проблемы, неразрешимые с точки зрения технической, биологической и социальной. Они уже сами по себе достаточны для того, чтобы осудить всякую систематизацию. Здесь могут существовать несколько возможных решений, руководствующихся одним определенным духовным требованием, им может быть придан иерархический порядок. Таким образом, *mutatis mutandis*^{*}, христианин в других областях может выносить логические суждения, не прибегая к помощи своей веры, или же делать выбор (за исключением некоторых направлений) между многими философиями, не становясь при этом ни в одной из них христианским философом¹.

С точки зрения практической мудрости вся проблема состоит в том, чтобы определить, какие именно философские или политические позиции являются, с одной стороны, неприемлемыми для христианина, а в остальном — что именно вынуждает его проводить различие между моральными суждениями и суждениями техническими.

Возьмем пример. Капитализм, рассматриваемый как экономическая система, основывающаяся на частном присвоении капитала и предприятий и свободном обмене, не гибнет под ударами морального осуждения. Частное присвоение само по себе не является ни более, ни менее аморальным, чем коллективное присвоение. Несомненно, именно это имеют в виду энциклики, когда говорят, что капитализм по своей внутренней сути не является злом. Становится очевидным, насколько опасно насильственно включать духовное туда, где ему нет места, выносить моральные суждения о той или иной форме собственности, придавать ей "священный" характер и объединять духовные силы, пользуясь сомнительными мифами.

¹ Что касается "скромности", о которой мы здесь говорим, то ее определение мы можем найти, например, в энциклике "Quadragesimo anno", что ни для кого не удивительно. В тот самый момент, когда она утверждает примат нравственного закона по отношению к экономике, она добавляет, что церковь (которая в соответствии с этим документом берет на себя его защиту) "не признает за собой права без оснований вмешиваться в ход временных дел" и что если она иногда и вынуждена вмешиваться во все, что касается нравственного закона, то "во всяком случае не в техническую сферу, по отношению к которой она не располагает соответствующими средствами и нужной компетенцией".

Если от теоретического определения капитализма мы перейдем к историческому факту его существования, то обнаружится, что в своем развитии он чреват рядом катастрофических явлений.

Одно из них: концентрация, сверхоснащенность, безработица, перепроизводство являются техническими недостатками капитализма. Следовательно, он подлежит критике по различным пунктам именно как система, как это, например, приветствовали Маркс и Прудон. Несомненно, что капитализм как данность, как система включает в себя и метафизические, и моральные элементы (так же как и коррумпированность человека, что не принимается в расчет либеральным оптимизмом), их необходимо выявлять. Но все отмеченные позиции принимают во внимание лишь общие пороки, *присущие* системе; коррумпированность может выступать в самых разнообразных формах, она свойственна любому беспорядку; а пренебрежение ближайшими причинами, доступными непосредственному наблюдению, означает уклонение от борьбы против беспорядка.

Но капитализм включает в себя и другой ряд катастрофических явлений: утрата человеческих ценностей в погоне за прибылью, разрыв между классами, угнетение, убийственная нищета, скудость внутренней жизни, увековечение социальной несправедливости. По этим последствиям капитализм непосредственно подпадает под нравственное осуждение. Это осуждение, в свою очередь, затрагивает и его механизмы, но проблема оказалась бы запутанной, если бы мы стремились осудить этот механизм, исходя непосредственно из моральных соображений.

Другой пример. Христианин, как таковой, не должен становиться на сторону ни правой, ни левой мифологий, определенных как нечто абсолютное. Но он может констатировать, что фактически требование социального порядка в большинстве случаев оборачивается сохранением глубоко несправедливого порядка, если иметь в виду человечность, что фактически дело справедливости оказалось в руках той или иной партии, политический авантюризм которой очевиден, теория и практика которой не отмечены глубокой революционностью, нацеленной против превратного порядка, с которым она как будто борется. Это — моральное осуждение. В том, что касается установления максимума справедливости и подлинного порядка, христианин опять-таки сталкивается с техническими проблемами, которые при сохранении всех моральных оснований связаны с соотношением наличных сил, с учетом мнений и с тысячами дополнительных обстоятельств, игнорировать которые он не может.

Вся опасность перехода от мистики к технике и от техники к действую состоит в том, что "мистика не смешивается с политикой". Вот почему надо сохранять бдительность и молиться.

Таким образом, христианин должен прежде всего думать и жить по-христиански: тогда он обретет чувство христианских перспектив и проникнется духом христианства. Затем, из уважения к общему закону труда, он должен идти в первых рядах при обсуждении технических проблем и определении собственной позиции. Таким способом ему удастся сохранить молодость и завладеть всеми сокровищами истины.

Если требуется более точным образом определить то, чем может быть политическая христианская мудрость, то мы должны проявить большой интерес к тому, как эту проблему непосредственно рассматривает христианская философия.

Мы прежде всего будем исследовать то, что может дать политической жизни сумма добродетелей, делающая христианина живым человеком. Необходимо повторять, что святость не дает компетентности в практических делах. Но она говорит об осмотрительности, представляющей собою мужественную и беспристрастную науку действия. А поскольку христианин не может применять любые средства, которые отравляли бы политическое действие и в большинстве случаев проистекали бы из материального насилия, обмана, хамства, авантюризма и взяточничества, он обязан определить для себя ту "технология духовных средств", которые придадут его действию эффективность, не лишая ее чистоты.

Наряду с этим косвенным вкладом моральных добродетелей мы должны определить, какой вклад внесло христианство в разработку концепции сообщества, отношений между его членами и перспектив его развития. Так, например, представляется бесспорным, что понятие универсального сообщества, понятие ближнего и понятие милосердия представляют собою специфически христианские образования, несоизмеримые с понятиями общества или гражданина в античном обществе. Если верно, что сообщество может быть только сообществом личностей, то не следует забывать, что именно многовековые теологические споры привели к современному понятию личности, которое также оставалось неизвестным греко-римской античности. Надо будет также, например, уточнить, понимается ли под понятием общего блага нечто отличное от расплывчатого выражения "всеобщий интерес". То же самое относится к целому ряду понятий, более или менее искаженных переменчивым употреблением слов, которые потребуются не только уточнить, но и наделять конструктивным содержанием.

Наконец, понятия и цели, которые могут быть общими у христиан и нехристиан, мы должны проверить на предмет того, насколько они соответствуют тем небесам, под которыми произрастают, и не вызывает ли свет, падающий с этих небес, глубокие изменения в них.

Первым делом христианина, работающего над этими общими понятиями, будет очищение их образа, который нередко заимствуется у посредственной традиции и чистота которого оказалась в ряде случаев искаженной многочисленными языческими влияниями и собственными предательствами христианина, что довело его до карикатурной неузнаваемости. Это — дело размежевания, следовало бы даже сказать — дело воскрешения.

Затем он должен учесть, что каждый раз, когда он отступает, вместо него начинает работать мир. Иногда плохо, иногда хорошо. Пусть он откажется от своей неблагодарной роли выдающейся личности, стоящей в стороне, и вместо того, чтобы противопоставлять нарождающемуся новому то, что сделали его предки, повернется лицом к тому, что не отмечено их печатью; пусть научится узнавать и любить в этом истину, которую отнюдь не интересуется, кому она конкретно принадлежит. Та-

ким путем он, может быть, и сумеет избежать необходимости отречения от собственных слов, скорее опасных, чем смешных. Отрицать в течение шестидесяти лет эволюцию видов, чтобы затем стать большим эволюционистом, чем сама школа (а сколько таких авантюр можно назвать), не служит ни делу христианства, ни делу истины. Существует множество социально-политических проблем, и сегодня самое время исключить подобные происшествия.

Наконец, именно в тот момент, когда христианин завершает работу по примирению со всякой истиной, представленной в мире, по бескорыстному сотрудничеству со всеми, кто ищет истину, даже если в его глазах это и не вся истина, ему остается увенчать совместные позиции добродетелью нового Евангелия. Он должен, например, желать общества справедливости, а когда он клеветает на справедливость, проповедуя расплывчатую веру в автоматизм милосердия, он профанирует одну из первейших христианских ценностей. Но он должен также сказать, что раз не бывает милосердия без прочного укоренения победно шествующей справедливости, то общество поддерживает себя в рамках справедливости, только если оно утверждает то самое отношение любви каждого к каждому, без которого все механизмы лишаются души. Он должен также помнить, что поскольку ни политика, ни свобода, ни минимальное благосостояние не являются конечной целью человека, то когда все это будет достигнуто, перед человеком раскроются новые возможности.

Остается определить, какими именно средствами следует осуществлять христианскую политику. Кое-кто, бросая взгляд на соседние страны, сожалеет о том, что у нас нет партии, которая официально воплощала бы ее. Увы! Опыт показал, что такие конфессиональные партии главным результатом своей деятельности имели привлечение внимания самодовольных сердец и переключение их энергии на ту самую "социологическую действенность" религии, которая является для нее постоянной внутренней опасностью.

Впрочем, стремление даже вне партий объединить в политическом плане *всех* христиан или даже *всех* католиков значило бы обрекать себя на бессилие по причине эклектизма. Между христианскими принципами и историческими суждениями, касающимися условий, средств и целей действия, нередко существует расхождение. Между тем только эти суждения способны приводить в движение, а поскольку христиане расходятся в их оценке, то они с неизбежностью включаются в различные действия, даже идущие в разных направлениях, даже если все они, будучи христианами, воздерживаются от некоторых целей и некоторых средств. Заблуждаются те (а их множество), кто соглашается с некоторыми принципами, руководствуясь общим мнением, при котором голос подает только их набожность или добрая воля; они отбрасывают их непосредственные следствия, которые тогда ненамеренно затмеваются классовыми или корыстными интересами. Объединение для общего политического действия людей с такими разнообразными позициями, даже если при этом реализуется принципиальное согласие (например, относительно какой-то энциклики), может осуществляться только в пла-

не расплывчатого морализаторства, о котором выше мы говорили, что оно остается чуждым как плоти мира, так и требованиям духа¹.

Согласованное действие христиан в мирской политике, таким образом, будет обладать эффективностью, как это представляется, лишь при условии их вовлечения в конкретные дела, связанного со всей совокупностью исторических суждений и определенных практических свершений. Таким образом удастся объединить лишь меньшинство христиан: главное в том, чтобы они решились быть подлинными христианами там, где они осуществляют свою деятельность, подобно тому как другие являются таковыми на основе иных точек зрения. Объединяясь с другими христианами в сопричастии к сверхъестественному, даже работая вместе с ними над определением той христианской политической мудрости, которая у них должна быть общей, они тем не менее останутся разъединенными в их политических действиях. Они выбирают эту политику *по христианским мотивам*, считая ее более отвечающей требованиям справедливости, но *на основе личных причин*, которые не затрагивают христианства. Внутренне же они отдают себя на суд Божий, чтобы он поставил их на свое место. Но они уже включились в историю, вместо того чтобы морализировать по поводу религии.

Такое объединение христиан, обращенных к будущему, вероятно, возможно, оно подготавливается с разных сторон, но сможет воплотиться только в немощном теле пророка-паломника, бредущего по варварскому миру и соглашающегося участвовать на митингах лишь для того, чтобы говорить о не известном никому Боге. Иудея распростерлась на всей поверхности земли. Ныне она вынашивает в себе благородных. Речь идет о том, чтобы еще раз убедить христиан, которые, быть может, вступают в новую фазу своего существования, о чем говорил святой Павел, в том, что они не являются ни греками, ни иудеями, ни скифами, ни варварами, что град Божий — это не какая-то земля или партия и что им ныне надлежит подать пример другим обществам: помнить о своей миссии, прежде чем думать о безопасности.

Май 1934 г.

V. О БУДУЩЕМ

Это послесловие адресуется разочарованному читателю. Чего он ждал, открывая эту книгу? А чего он ждет от любого из движений, на которые взирает с такой нетерпеливостью?

Чаще всего то, чтобы ему преподнесли готовое будущее или простую схему будущего, которая успокоила бы его возбужденное тревогой и путаницей воображение. Некогда от движения требовалось, чтобы оно было "динамичным", то есть чтобы оно производило много шума из ничего. Сегодня те же люди, требующие абсолютного на словах, требуют от него быть "конструктивным", то есть чтобы оно с самого начала

¹ Мы, разумеется, исключаем действие ради специфически религиозных нужд (например, католическое действие).

обрисовало утопические общества, предвидело каждую их черточку и заранее разрешало любой из "каверзных вопросов", подобно тому как современный профессор, специалист в области уравнений, предусматривает все движения какой-нибудь переменной величины. "Стройте", говорят нам, то есть давайте нам системы, чтобы убедить нас, успокоить нас, польстить нам, избавить нас от того трудного усилия по осуществлению возрождения, которого мы так боимся, и все это — с помощью простого ключика. Мы еще раз выходим здесь на след одной из тех жизненных позиций, которые более глубоки, чем партии, ибо стоят на прямо противоположной стороне. При партийных позициях движение осуществляется вне жизненных требований и реального вовлечения, жизнь идет в рамках "кто-то что-то сказал", в рамках формулировок, высказанных на площади, а когда осознается рутинность всего этого, то, чтобы спасти мир, одну утопию заменяют другой.

Таков подлинный грех спиритуализма, который Маркс разоблачил, выступая против университетского высокомерия младогегельянцев. Разум здесь отказывается дать свой ясный и одновременно человеческий ответ на вопрос о том, где скрываются воплощенные идеи, даже если он изучит причины и повседневные тяготы людей. Он хочет прежде всего, следуя промышленному способу, к которому приучили его общие привычки, обладать совершенным чертежом завтрашнего дня, машиной, поддающейся теоретической доводке и демонтажу, если следовать инженерным планам, короче, он предпочитает мир без времени, без свободы, без плоти, без милосердия. А поскольку разум не может переступить через собственные законы, то чаще всего эту видимость познания под его прикрытием разыгрывает воображение.

Глубокие духовные и телесные революции развиваются совсем не так. Они не осуществляются ни по коллективным, ни по идеологическим полномочиям. Они не противопоставляют наличному злу, в первую очередь, образ будущего, они ему противопоставляют прежде всего негодование, протест, волю, присутствие в настоящем.

Революционное существование исходит из этого присутствия, в противном случае оно угасает. Речь идет прежде всего о невыносимом чувстве конфликта между существующим порядком и иерархией ценностей, которые личность открывает или обнаруживает вновь, благодаря размышлению и следуя необходимости. С точки зрения людей, находящихся вовне, это так называемый "негативный" период, потому что они замечают кричащие расхождения, которые вызывает конфликт, но еще не позитивную силу, которая доведет его до состояния зрелости: ее заменяют критика, размежевание, разложение, возмущение.

Те, кто несет в себе ростки будущего, тоже не всегда выявляют все его черты, а в ряде случаев выступают людьми, не представляющими себе даже его главной значимости, но они чувствуют его неопровержимое наличие и слышат несколько простых новых слов, которые оно им нашептывает, оглушая своей простотой и новизной (потому кое-кто упрекает их в том, что они ничего не изобрели сами). Таким образом, воля получает направленность благодаря новому требованию. Если конфликт, то актуальный, если отрицания, то актуальные, и воля, которая делает поворот в новом направлении в этот момент, в гораздо

большей мере устремляется к новой цели. Фаза отрицания дополняется радикальной волевой ориентацией, осознанием руководящих принципов и жизненных задач, глубочайшее размышление сотрудничает в этом с сознательно проведенным анализом, разоблачением и решимостью.

Только тогда для доброго порядка наступает время включить в дело предвосхищающее воображение. На этом этапе оно отнюдь не бесполезно, оно связывает движение с той далекой звездой, до которой, как мы знаем, никогда не добраться, но известно все же, что спасение лежит на пути, который связывает нас с ней, или же его вообще нигде нет. Между этой предельной схематичностью и задачами нынешнего дня можно представить ряд промежуточных предвидений, поддающихся все большей и большей конкретизации; они представляют собою ступеньки между моим духом и идеалом, который он для себя избрал. Я должен буду рассматривать их как символические тем больше, чем больше они отдалены, и как опасные тем больше, чем больше они претендуют на то, чтобы предписывать мне определенное действие, а не только на то, чтобы придавать ему направленность, и как еще более опасные, если они отвращают меня от деятельности. Но, проявляя осторожность, я могу принять их как временные формы овладения неизвестным, как импульс для моего действия, как его ориентацию.

Становится очевидным, какую нечестную войну ведут те, кто обвиняет нас и нашу "духовную революцию" в бегстве в мир "мистических компенсаций" (они-то понимают под этим мистификаторские компенсации), вместо того чтобы лицом к лицу сойтись с беспорядком эпохи. Мы отвергаем всякую солидарность с тем "спиритуализмом", который громил Маркс и который чересчур поспешно в пылу сражения был им отождествлен с любой возможной формой спиритуализма, в частности с чисто христианской традицией. Буржуазный спиритуализм, как мы говорили выше, это отказ от связи с бытием, от духовного присутствия (которое является еще более глубоким, чем деятельность)¹. Маркс, сосредоточивая внимание на материальных условиях жизни духа и его актуальном порабощении, послужил истине в борьбе против бесчеловечного спиритуализма даже несмотря на то, что скомпрометировал ее, подвергнув систематизации. Еще раз поле сорных трав взрастило доброе зерно хотя бы тем, что шокировало рационализированную истину и академические притязания. Со своей стороны мы считаем тщетной "борьбу с марксизмом" в плане политической полемики вперемишку с коалиционными интересами, как с чем-то полностью завершенным в тех формах, в каких это выражают партии. Мы стремимся подняться до самых его истоков и идем дальше, чем он. И если мы подхватываем то призвание, которое марксизм отклонил после того, как частично понял и взял на себя, призвание, которое дало глубокие корни в человеке, то все же направляем в иную сторону ток живительного сока, который его еще питает. Мы не радуемся

¹ Эта работа уже была в печати, когда нам в руки попала превосходная работа Х. де Мана "Социалистическая идея" (*Man H. de. L'idée socialiste*). Мы с удовлетворением обратили внимание на то, что теоретик социализма высказывает положения, весьма близкие к нашим.

тому, что разгромили или одолели его, а только испытываем удовлетворение оттого, что нам удалось спасти все то позитивное, что нынешний наш противник дал человечеству. У нас есть свой способ "быть марксистами": он будет состоять в том, чтобы вновь найти универсальность воплощения и наделить его нашим присутствием.

Вот почему живое дело, которое мы предлагаем в этом произведении, должно получить свое развитие во времени, а чтобы быть живым с самого начала, оно не должно перескакивать через этапы. Сегодня мы лишь едва можем начать работу по предвидению того, чем станут наши институты через двадцать, через сто лет; от этого отказываются даже самые проницательные люди. Те же, кто претендует на точное знание в данной области, дурачат нас или же дурачат самих себя, уводя в сторону от самого главного.

А главное сегодня, задача нынешнего дня — это прежде всего вызывать повсюду, где этому еще препятствует инерция привычек и стремление к комфорту, необходимый нравственный конфликт между фактическим беспорядком и духовными ценностями, еще пребывающими в дремлющем состоянии у огромного числа людей. В то же время следует ускорить развал беспорядка посредством постоянной критики различных его сторон и способов сопротивления ему, которые он сам изобрел. Этому осознанию вкупе с осознанием собственной причастности злу мы должны подготовить, пока оно созревает, духовное основание, на котором борцы завтрашнего дня, когда настанет время сражений, смогут найти себе не убежище, автоматически обеспечивающее безопасность и выгоду, а фундамент для создания в новой атмосфере омоложенной всепобеждающей души. Наконец, в начале строительных работ мы должны определить направления и первые этапы деятельности. Пока ни мы и никто другой не знает, какие именно трудности встретятся на этих путях, но какое это имеет значение сегодня, какое это имеет значение вообще, если наше человеческое призвание всегда будет состоять в том, чтобы пойти по правильному пути и не сбиться с него, а вовсе не в том, чтобы на первом же этапе устроиться в комфортабельной гостинице или купить путеводитель, чтобы совершать путешествие, сидя в кресле.

Прежде чем пытаться решить проблемы, которые восходят к опыту живого изобретательства, мы должны обратить свое внимание на фундаментальные человеческие ситуации, которые обосновывают новый стиль жизни.

Дух, сколь бы мало внимания он ни уделял перспективам завтрашнего дня, не может не предчувствовать, насколько безнадежно устареют даже в наших глазах большинство политических споров, которые сегодня создают политико-идеологический климат. Мы все еще завалены безнадежно устаревшими проблемами, по меньшей мере поскольку они существуют в той форме, в какой настойчиво ставятся: все проблемы парламентской политики с их полярностью "правые—левые", проблемы, которые касаются формы *правления*, тогда как значение ныне имеют

только формы строя, "социальные, политические, экономические структуры, лежащие в его основании", "защита демократии" в тот момент, когда речь идет не о том, чтобы оправдать ее первые начинания, а о том, чтобы создавать ее заново в новом мире. Кроме того, существует известное число проблем, еще сохраняющих свою актуальность, но быстро устаревающих, таких, как критика капитализма или старая либеральная критика социализма.

Надо отвести некоторое время и тем и другим проблемам, поскольку они продолжают еще существовать. Но мы сумеем пойти дальше и сохранить подлинную актуальность лишь в том случае, если благодаря какому-нибудь пророческому порыву сумеем понять духовные перспективы завтрашнего дня, которые поддаются воображению с гораздо большей степенью безусловности, чем его технические структуры.

Нам представляется, что в конкретном историческом развитии нашего времени (не будем говорить о неподдающихся предвидению духовных спорах) будут превалировать три трудные для решения проблемы.

Когда экономические революции освободят производство и созданные им блага от капиталистической дани, механизм будет работать без принуждения, что диктуется бесконечно ускоряющимся производством. Как об этом все время говорит Жак Дюбуэн, мы перейдем из мира *дефицита* в мир *изобилия*, и — в соответствии с законом роста потребления — из мира наличных денег в мир, где денег не будет вовсе. Следовательно, мы идем к такому стилю жизни, при котором жизненно необходимый труд, сегодня занимающий весь день у большинства людей, станет всего лишь одним из занятий наряду с другими и будет все больше и больше уходить в тень по сравнению со свободно избранной деятельностью и досугом. Это будет мир, из которого мало-помалу исчезнут тревога за прожиточный минимум, тяжелый физический труд, забота о завтрашнем дне. В то же время комфорт и удобства существования посыплются, как из рога изобилия. Изобилие, безопасность, комфорт. Но что станет с самим человеком: либо он удовлетворится буржуазной посредственностью, либо, опираясь на материальное освобождение, устремится к новому духовному подъему?

Все будет зависеть от внутренних требований, с которыми столкнется это материальное изобилие. Быть может, после того, как веками человечество испытывало бедность духа в условиях материальной бедности, оно будет призвано к более тяжкому испытанию в осуществлении духовности в условиях материального изобилия. Во всяком случае, требуется предусмотреть и изобрести совершенно новый стиль жизни. Очевидно, что речь идет не только о том, чтобы жить в соответствии с обедненной политической формулой "чем-то занять досуг", но и о том, чтобы придать досугу новый смысл, а это нечто совсем другое. В соответствии с выбором, который мы совершим, производство создаст либо мир сытых мелких буржуа, либо же людей, ставших наконец свободными и способными на протяжении большей части дня вести мистические споры и предаваться собственно человеческим занятиям. Берегись революции, побеждающей нищету бедняка (и в этом ее духовность), если

она ставит на ее место ужасающую нищету богача. Со своей стороны, мы осуществляем одновременно и против нищеты и против богатства революцию бедности, формы которой мы не предвидим, но которая, не отворачиваясь от нового мира, использует царящее в нем изобилие для приумножения как его плодотворности, так и бескорыстия.

Централизация производства, взаимопереплетение интересов, сближение индивидов и коллективов благодаря увеличению скорости дает нам сверх того все более взаимосвязанный и организованный мир. По мере того как исчезают индивидуально-семейные ячейки экономики, имеющие краткосрочное значение, достаточно четко обособленные, которые составляли арматуру мира наших отцов, коллектив стремится увеличить свое место и свою власть. Удачливая эволюция, с одной стороны: социальное расточительство будет значительно сокращено, а общественное пробуждение, которое в течение четырех веков тормозилось господством разнузданного индивидуализма, найдет в этих коллективных организациях если не свою душу, то по меньшей мере своих жаждущих его сторонников. Но было бы ребячеством скрывать то, что такое расширение коллективной власти и коллективной организованности таит в себе наряду с бесценными обещаниями и страшную опасность. Первичной человеческой ценностью является личность, сообщество, — это только конечная гармония личностей; нам не удастся построить сообщество, противостоящее личностям или даже просто без участия в нем личностей; мы сможем достичь сообщества только благодаря личностям, которые являются его вершиной. Между тем коллективы, так же, как и личности, и еще более настойчиво, чем они, неизбежно будут тяготеть к злоупотреблению своей властью. Такова вторая апория завтрашнего дня: каким образом в условиях значительно коллективизированного строя сумеем мы сохранить суверенную автономию личности, если иметь в виду ее развитие в гармонии с господством права?

Первая зона безопасности должна создаваться вокруг воспитания ребенка. Тоталитарные коллективы будут стремиться подчинить его канонам своей официальной метафизики; не будучи столь наивными, чтобы развивать личности, эти неуничтожимые центры неконформизма, они станут поточно фабриковать маленьких коммунистов, маленьких фашистов и других граждан по определенной мерке. Уже сегодня наши дети готовятся главным образом к выполнению своих социальных ролей, а не к своему метафизическому бытию. В противовес либеральному воспитанию мы выдвигаем требование иерархии ценностей и выбора. Но такая иерархия и такой выбор могут быть доступны только личности, тогда как долг государства состоит в том, чтобы поставить ей на службу материальные ресурсы и (весьма деликатно) предоставить в ее распоряжение врачей, психологов, профессиональных наставников, духовных воспитателей, которые помогут ей выявить свои специфические особенности.

Далее, взрослого человека должна охранять зона экономической безопасности. Человек, который потенциально может жить и есть за счет своих собственных средств, может плевать на прусского короля. Оп-

ределенная форма частной собственности, которая, впрочем, может быть иной, чем собственность на какое-нибудь благо, например, собственностью на функцию или на такое право, как право на труд, установит некоторое буферное ограждение между возможным злоупотреблением властью со стороны коллектива и законной автономией личности. Именно поэтому мы предусматриваем также на всех уровнях экономической или политической организации такой строй, который мы, чтобы лучше обозначить его принцип, называем строем, *децентрализованным вплоть до личности*. Поскольку власть стремится следовать собственным путем, мы, в соответствии с прудоновской формулой, будем бдительно следить за тем, чтобы распределить ее между рядом сообществ, из которых одни будут рядоположенными (с арбитражным органом), а другие сочлененными (с определенной автономией на каждом уровне). Таким образом, когда более широкое сообщество попытается злоупотреблять своими властными полномочиями, промежуточные сообщества (или сообщества боковых ответвлений) напомнят ему о необходимой мере, а когда, напротив, индивидуализм отдельных людей или узких сообществ сделает попытку анархического обособления, те же промежуточные коллективы вернут их к исполнению социального долга. Мы, разумеется, предполагаем, что эти компенсационные механизмы, чуждые как либерально-индивидуалистическому, так и коллективистскому оптимизму, не будут зависеть от игры денег или каких-либо сил внутренней инерции. Мы предполагаем — это плохо сказано. Не строя себе иллюзий относительно превратностей человека и тяжеловесности наилучшим образом смонтированных механизмов, мы считаем, что здесь необходим постоянный и по возможности автоматический контроль, чтобы в любой момент можно было исправить отклонение, ведущее к беспорядку. Здесь мы можем указать лишь принцип, а специалисты в области наук о человеке должны будут, опираясь на опыт и извлекая из него уроки, определить целую систему предохранительных клапанов, противовесов, рулей, компенсаторных механизмов, сигналов, которые будут корректировать недостатки социально-политической машины, подобно тому как они уже делают это по отношению к промышленной машине.

Но этим все не кончается. Это первый шаг человека на пути своего избавления от инерций привычки и стремления поставить себе на службу механизмы, а может быть, в какой-то мере использовать их в борьбе с самим собой. И при всем при этом ему необходимо оставаться человеком. Личность нельзя спасти вопреки ее собственному желанию. Когда детство прошло, все средства воспитания взрослого человека: ремесло, пресса, зрелища и т. п. — должны постоянно работать и воссоздаваться для того, чтобы вырвать его из-под влияния коллективного конформизма и включить в деятельность, которую он исполнял бы с чувством ответственности. Общественная жизнь должна будет стать в достаточной степени ненавязчивой, чтобы обеспечить каждой личности возможность уединяться и предаваться размышлениям, ведущим его к свободе, на которую имеет право каждый человек и посягать на которую не имеет права никакая сила в мире. Частная жизнь, которую буржуазные нравы отравили, сделав ее замкнутой, которая одновремен-

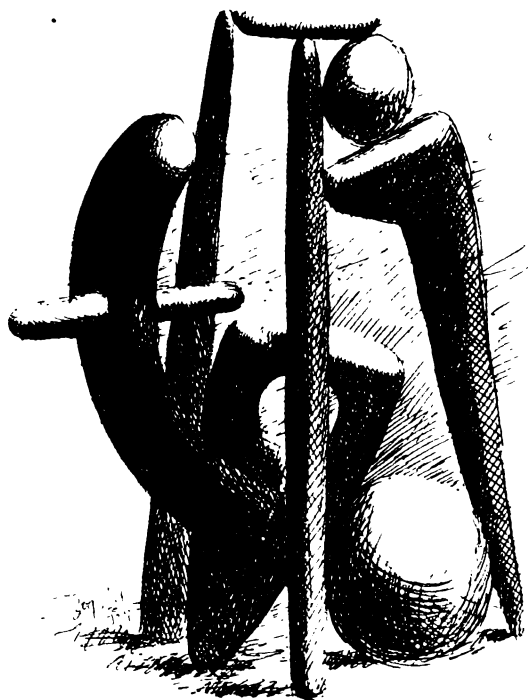
но станет открытой и еще более интимно-личной, должна будет сделаться обновленной ячейкой общности, где испытывается человечность людей и их самоценность. Наконец, каждый общественный пост функционально должен будет обладать ответственностью, пропорциональной уровню власти, которая ему предоставляется. Таким образом, возрожденные и организованные в сообщество личности займут место класса, а соединенные вместе власть и бедность станут наиболее притягательными ценностями.

Наш век увидит, наконец, как конкуренция между светской властью и властью духовной достигнет своего накала. В самом деле, очевидно, что сила светской власти в ближайшие годы чрезвычайно возрастет, так что голова ее держателей пойдет кругом. Политическая централизация почти повсюду ставит политическую машину в зависимость от нескольких удачно расположенных постов; фашизм доводит ее до крайности; политическая власть и власть экономическая тяготеют к тому, чтобы сосредоточиться в одних руках. Противостоять такой консолидации власти могут только личности, их совесть и их свобода; тоталитарное государство начинает утверждать свои права и на эту область. А поскольку доступ к духовной или культурной жизни будет получать бесконечно возрастающее число людей, становится очевидным, какую угрозу представляет собой такое расширение власти. Уже сегодня надо бдительно следить за любыми проявлениями национализма или этатизма, сколь бы незаметными они ни были, видеть в них симптомы серьезной болезни (а именно обожествление публичной власти), свойственной XX веку, бороться с которой мы еще не кончили.

Наша молодежь, таким образом, наметила свою жизненную линию. Завтра, быть может, катастрофа, вызванная крушением беспорядка, прервет ее. Все окунется во мрак, и не будут слышны голоса людей. Но самонадеян тот, кто почитает нашу молодость побежденной. Поприветствуем заранее тех, кто в один прекрасный день вновь начнет ревностно пожинать плоды ее деятельности.

Март 1935 г.

МАНИФЕСТ ПЕРСОНАЛИЗМА



Предисловие

Надо было бы извиниться за название "Манифест" и предупредить против опасности, какую содержит в себе слово "персонализм". Отнюдь не без колебания мы поместили эти первые исследования под заголовком, в котором одни могли бы узреть некую неуместную претензию, а другие — поддержку какого-нибудь нового конформизма. Но существует необходимость, которая перевешивает эти колебания: необходимость придать вес, осознанность, жизненную силу еще недостаточно оформившимся устремлениям, которые мы пытаемся здесь определить.

За месяц до появления отдельным томом эта работа стала предметом рассмотрения в специальном номере журнала "Эспри"¹. В самом журнале, где подводились итоги четырехлетней деятельности, она носила тот же характер, который мы хотели бы сохранить и в данной самостоятельной публикации: характер первых итогов намеченного фронта работ, а не окончательных решений, не детально составленного формуляра; характер, который фиксировал бы наряду с первыми результатами заблуждения и колебания, от чего мы конечно же еще не свободны.

Раз уж мы посвящаем этот "Манифест" молодежи, который, собственно, и родился благодаря ее заботам, ее историческому положению и — надо честно об этом сказать — благодаря ее повседневному сотрудничеству с нами в течение четырех лет, то делаем это для того, чтобы она, как подлинная молодежь, услышала в нем призыв к творческой изобретательности и отвратила бы от него всех тех, кто считал бы должным отыскать в нем нечто такое, что заменило бы собой мышление или деятельность.

Октябрь 1936 г.

¹ Некоторые поправки, не нашедшие своего отражения при окончательном редактировании текста в журнале, были внесены в данную работу.

ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы называем персоналистским всякое учение, всякую цивилизацию, утверждающие примат человеческой личности над материальной необходимостью и коллективными механизмами, которые служат опорой в ее развитии.

Объединяя посредством идеи персонализма общие устремления, которые пробивают себе дорогу по ту сторону фашизма, коммунизма и разлагающегося буржуазного мира, мы отдаем себе отчет в том, что слово "персонализм" может быть так или иначе использовано многими людьми для того, чтобы замаскировать пустоту своего мышления или его неустойчивость. Мы предвидим, что персоналистские формулировки могут двусмысленно использоваться конформизмом, подобно тому как это происходит со всякой словесной оболочкой, отделенной от постоянно и творчески развивающегося содержания. Поэтому мы незамедлительно уточняем:

для нас персонализм — это только обезличиваемый пароль, суммарное обозначение, подходящее для различных учений, которые, однако, в той исторической ситуации, в которой мы находимся, могут приходить к согласию относительно лишь элементарных физических и метафизических условий (возникновения) новой цивилизации. Таким образом, персонализм не заявляет об утверждении новой школы, открытии еще одной часовни, изобретении новой замкнутой системы. Он свидетельствует об общем волеизъявлении и, не касаясь имеющегося здесь разнообразия, ставит себя ему на службу, чтобы вести поиск средств, дающих возможность эффективно воздействовать на историю.

Следовательно, мы должны бы употреблять множественное число, говорить о различных формах персонализма. Наша ближайшая цель состоит в том, чтобы в противовес обобщенным и отчасти античеловечным концепциям цивилизации определить совокупность первичных принципов согласия, которые могут стать основанием цивилизации, посвящающей себя человеческой личности. Эти принципы согласия должны в достаточной мере опираться на истину, чтобы этот новый порядок не рухнул и не обернулся против самого себя, а также быть в достаточной мере понятными, чтобы сплотить вокруг себя всех тех, кто руководствуется этим духом, несмотря на принадлежность к различным философским течениям. Строгое уточнение конечных истин философских концепций вовсе не является целью совместной хартии, набросок которой мы здесь делаем: это задача, которая требует размышлений и добровольного согласия каждой из них. И в том случае, если такое уточнение, как это обычно бывает, приводит к различному видению высших целей цивилизации, то само наше вдохновение не допускает стремления свести эти жизненные позиции к одной общей идеологии, чуждой каждой из этих позиций и опасной для них всех. Достаточно того, чтобы между ними возможно было согласие относительно структуры общества, где будет обеспечена их свободная конкуренция.

Более того, фундаментальные истины, которые могли бы служить основанием для наших выводов и нашей деятельности, придуманы не

вчера. Новым может и должно быть только их историческое укоренение в новой реальности. Произнося это специфическое слово "персонализм", мы тем самым даем сигнал к объединению сил, ищущих пути к такому историческому результату. Последующие строки имеют целью уточнить все сказанное.

Ни доктринерства, ни морализаторства

Опасаясь превращения персонализма (а стало быть, и наших идей) в пустословие, мы призываем судить о нас по нашим конкретным действиям. Однако не любая акция является конкретным деянием. Действие является подлинным и эффективным лишь постольку, поскольку оно соизмеряется прежде всего с *истиной*, придающей ему смысл, и с *исторической ситуацией*, определяющей как его масштаб, так и условия осуществления. Как только со всех сторон под предлогом неотложности нас вынуждают действовать как угодно и в каком угодно направлении, первой необходимостью становится напоминание об этих двух фундаментальных требованиях действия. Они противопоставляют нас как идеологам, так и политикам.

Опираясь на точку зрения политиков, которые насмеяются над истиной и заблуждением и принимают за историческую действительность различные факты, очевидный всем непосредственный результат или событие, отягощенное страстями и не имеющее будущего, легко сформулировать концепцию цивилизации, которая начинается с обрисовки пережитков, представляя их в качестве духовных абсолютов. Ее следует скорее отнести к ряду идеологий и утопий. Именно в этой связи мы должны извлечь свой метод от порока, свойственного большинству спиритуалистических позиций.

Иногда они принимают форму более или менее жесткого рационализма. Тогда с помощью идей или, как это происходит в последнее время, технических теоретических построений они конструируют всеобъемлющую систему, которую и надеются навязать истории. Когда же живая история или человеческая реальность сопротивляются этому, они полагают, что остаются тем более верными истине, чем сильнее цепляются за собственную систему, тем более чистыми, чем больше придают своей утопии математически точное выражение. В этом нетрудно узнать тех доктринеров-консерваторов, которые спекулируют на идее революции.

Но не менее опасны и морализаторы. Оставаясь, как и доктринеры, чуждыми живой истине истории, они противопоставляют ей не разумную систему, а моральные требования, взятые в их самом широком смысле. Вместо того чтобы воздействовать на историю с позиций духа, которая посредством углубленного познания необходимости и с помощью технических средств приобретала бы черты отлаженного действующего механизма, они растрачивают огромную энергию на добропорядочное, но недейственное красноречие. Они могут удачно критиковать силы зла с позиций духа. Но как только они переходят в наступление, то оказываются способными принимать во внимание только моральные

силы, в особенности индивидуальные моральные силы. Они, на манер сюльпицийского искусства*, гармонично соединяют друг с другом различные предположения, совершенно не связанные с социальной реальностью. Они слащаво призывают индивидов культивировать добродетели, составляющие силу обществ, забывая при этом, что исторические силы, вырвавшиеся из-под власти духовности, создали коллективные структуры и породили материальную необходимость, которые нельзя сбрасывать со счетов, если, конечно, "духовное само не является телесным". Они несут в себе постоянную опасность, вынуждающую духовные силы, которые по нашему представлению как раз и должны вдохновлять историю, пройти мимо истории — над ней или рядом с ней.

Следовательно, для нас ссылка на духовные ценности, утверждение их верховенства уже не могут стать продолжением доктринерского или морализаторского заблуждения. Мы стремимся постичь цивилизацию во всем ее объеме. Цивилизация — это сплав технических реалий, структур и идей, приводимых в действие людьми, творческими и свободными. В ней все элементы внутренне связаны между собой: достаточно исключить или нарушить хотя бы один из них, чтобы такое действие пошатнуло все здание целиком.

Между тем технические реалии и структуры пронизаны детерминизмом, омертвевшими остатками прошлого, угасшими силами, которые, продолжая свое действие, вовлекают в него историю. Идеи загроможены идеологиями, абстракциями, лишенными движения и упрощенными с целью широкого употребления, моделирующими сознание людей и противодействующими духовному творчеству. В противоположность отвергнутым нами идеализму и морализаторству мы в своем суждении о цивилизации и технике действия, предлагаемой нами в противовес тому и другому, придаем значение этим базовым элементам и закономерностям, которые в них входят. Открытие реализма, от которого они отвернулись, само является уроком для тех, кто защищает духовность, уроком, который извлекают при анализе крайностей марксизма.

Пробудившись таким образом от догматической спячки, мы не только не будем компрометировать основательность своих конечных целей, но, напротив, поставим их на прочную почву. Тогда мы можем сказать, что не только развитие технических возможностей, не только господствующие идеологии, ни даже счастливые преуспевания объединившихся свободных людей еще сами по себе не составляют душу цивилизации, ее существо. Она являет собой прежде всего метафизический ответ на метафизический призыв, приключение, длящееся целую вечность, осуществление которого предложено каждому из нас в отдельности, путем выбора и осознания собственной ответственности.

Уточним терминологию. Назовем *цивилизацией в узком смысле* путь последовательного приспособления человека как биологического и социального существа к собственному телу и окружающей среде; *культурой* — рост его сознания, умений, завоевываемых напряжением духа, участием последнего в делах и размышлениях человека, свойственных той или иной эпохе или группе, к которой он принадлежит, и в то же время тяготеющих к универсальности; *духовностью* — открытие глубинной

жизни личности. Таким образом, мы определили три уровня последовательного становления целостной концепции гуманизма. Мы полагаем, и в этом мы близки марксизму, что воплощенная духовность, подверженная угрозе со стороны плоти, имеет своим первичным долгом освобождение себя и освобождение людей от порабащивающей их цивилизации, а не укрытие в страхе, сожалениях или увещаниях. Но в противоположность марксизму мы утверждаем, что существуют только метафизически ориентированные человеческие цивилизации и культуры. Только труд, цели которого выше затраченных усилий и выше производства, только наука, цели которой выше утилитарности, только искусство, цели которого выше наслаждения, в конечном итоге, только личная жизнь каждого человека, верного духовной реальности, устремленного в высшие сферы, способны поколебать груз мертвого прошлого и привести к новому порядку. Вот почему, приступая к действию, мы думаем прежде всего о том, чтобы найти меру человека и меру цивилизации.

Характер нашего действия

Наша деятельность в противоположность тому, что думают по этому поводу реформисты разного толка, должна иметь широко открытые границы.

С исторической точки зрения кризис, который побуждает нас действовать, не ограничивается ни рамками политическими, ни даже рамками сугубо экономическими. Мы присутствуем при крушении целой эпохи в жизни цивилизации, возникшей в конце средних веков, укрепленной и одновременно подрываемой индустриальным развитием, эпохи капиталистической, если говорить о ее структурах, либеральной по своей идеологии, буржуазной по своей морали. Мы присутствуем при зарождении новой цивилизации, реальные черты и нравы которой остаются еще неясными, смешанными с распадающимися формами бьющейся в конвульсиях уходящей цивилизации. Любое действие, которое не поднимается до уровня такого исторического понимания, любая доктрина, которая не учитывает эти факты, являются тщетным делом рабов. Пять веков истории подвергаются взвешиванию, пять веков истории начинают осмысливаться со всей очевидностью. В такой критической точке только от нашей предусмотрительности зависит, затеряются ли наши непосредственные действия в водовороте текущих событий или же их последствия отзовутся в далеком будущем. Нельзя отказывать страждущему в обычной медицинской помощи на том основании, что помощь эта, исцеляя, может причинить страдания, нельзя не учитывать тот факт, что в медленно развивающейся истории случаются сломы; следуя этой логике, надо решительно убеждать тех, кто ныне изо всех сил стремится укрыться от потрясений или проигнорировать их, в том, что эти потрясения неизбежны и что, если люди не возьмут власть над ними, они их раздавят.

Наше духовное устремление должно быть не менее мощным, чем исторические тенденции. Будем ли мы говорить о создании нового человека? В одном смысле — нет, в другом — да.

Нет — если под этим понимается то, что каждая эпоха производит человека, коренным образом отличного от человека предшествующих лет только потому, что он живет в других условиях и пребывает на другой ступени коллективной эволюции человечества. Мы полагаем, что внешние структуры благоприятствуют развитию человека или калечат его, но ни в коей мере не создают нового человека; новый человек рождается только тогда, когда индивид сам прилагает усилия, чтобы стать личностью. Мы полагаем также, что эти структуры не исчерпывают всего человека. Мы верим в некоторые непреходящие реальности, а также в вечное предназначение человеческой природы. Для того чтобы обозначить их границы, мы слишком скромны, и здесь ничего не поделаешь. За свою историю мы до такой степени привыкли к историческим болячкам, что далеко не всегда можем распознать их природу. Потребуется бесконечное число проб и ошибок, чтобы установить пределы человеческого и античеловеческого начал. В том месте, где мы надеялись встретить податливую породу, мы наткнулись на каменную глыбу; но и это сопротивление, которое кое-кто считает вечным законом универсума, тоже отступит неожиданным образом. Было бы самонадеянно или наивно полагать, что природа — все, или утверждать, что она ничто. Последний тезис, который мы отвергаем, питает определенный мессианизм, столь же расплывчатый, сколь и утопичный, говорящий о создании нового исторического человека.

Но мы, безусловно, воздерживаемся от того, чтобы отвергать данное утверждение на манер самонадеянных людей, которые путают служение вечному с сохранением собственных привилегий, или людей, лишенных воображения и отождествляющих человеческую природу со случайными обстоятельствами, порожденными беспорядком, присущим той или иной эпохе. Нельзя усомниться в том, что мы уже не можем в значительной мере обновить жизнь большинства людей, освобождая их от рабства, которое, отягчающе воздействуя на них, искажает их человеческое предназначение. Мы конечно же верим в духовный смысл человеческой судьбы, но еще более очевидно то, что человек может обогатить мир чудными плодами своего творчества, что он еще далеко не исчерпал ресурсы своей не полностью осуществленной и изученной природы и что история обладает далеко не одним-единственным обликом, какие бы реалии и пределы ни были ей предписаны.

Новая цивилизация, новый человек: говоря так, мы рискуем скорее ослабить наши устремления, чем превысить ожидания. Нам хорошо известно, что каждая эпоха создает нечто достойное человека только в том случае, если ей удалось услышать сверхчеловеческий зов истории. Нашей отдаленной целью остается то, что мы определили для себя в 1932 году: после четырех веков заблуждений, без суеты, коллективно — *возродить Возрождение.*

В соответствии с предложенным методом мы будем опираться прежде всего на критическое изучение цивилизаций, тех, что уже свершили свой цикл, или тех, что претендуют на то, чтобы заменить собой предшествующие цивилизации. В столь кратком рассмотрении мы вы-

нуждены прибегнуть к определенной систематизации и вычлениить в истории идей чистые формы, предельные позиции. Гениальность или ловкость их сторонников, сложность исторической реальности, в которой они осуществляются, сопротивление или содействие им со стороны живых личностей — все это придает им тысячи оттенков и видимость истины. Тем не менее остаются три-четыре наиболее масштабных направления, оспаривающих друг у друга право соответствовать ходу истории. Каждое из них по-своему трактует случайность и реальных людей, по-своему оценивает значение той или иной цивилизации, прокладывающей свой путь сквозь водовороты и потрясения, который ведет ее сначала к застою, а затем к гибели. Выявляя всякий раз этот путь, мы не будем отклоняться от собственного предмета исследования, а станем только схематично обрисовывать нашу концепцию, которая, как мы надеемся, в будущем обогатится ничем не заменимым опытом ее осуществления.

I. СОВРЕМЕННЫЙ МИР ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

1. Буржуазно-индивидуалистическая цивилизация

Буржуазно-индивидуалистическая цивилизация, совсем недавно господствовавшая в западном мире, все еще прочно укоренена в нем. Даже те общества, которые официально отказались от нее, остаются полностью пропитанными ею. Тесно связанная с основами христианства, разложению которого она способствовала, смешанная с пережитками военно-феодального времени, с первыми ростками социализма, она образует специфическую смесь тех и других, рассмотрение разновидностей которой здесь заняло бы слишком много места. Мы ограничимся анализом ее последнего исторического этапа и выявлением его доминант, стремясь отвлечься от всего того, что привносится в него отдельными удачливыми индивидами, случаем или людскими судьбами.

Для обозначения этой цивилизации мы избрали весьма значимое выражение: буржуазно-индивидуалистическая, — но мы не хотели включать в его содержание ничего такого, что не имело бы никакого основания. Известная манера карикатурно изображать любую буржуазию, шаблоны, выходящие из-под пера левой прессы, нередко более вульгарны, чем сами модели; мы, со своей стороны, вовсе не отрицаем того, что некоторым привилегированным слоям буржуазного общества все еще свойственны определенные добродетели. Мы не игнорируем также того факта, что животворный смысл свободы и человеческого достоинства может придавать жизненность некоторым защитительным речам в пользу индивидуализма и делать это более глубоким образом, чем заблуждения, которые они же пропагандируют. Однако, поскольку мы берем буржуазную цивилизацию в обобщенном виде, все несущественные виды сопротивления тонут в общем потоке, а именно они-то и составляют ее тираническую действительность.

В данном отношении буржуазная цивилизация является завершающим этапом той более обширной цивилизации, которая развивается со

времени Возрождения до наших дней. В ее истоке лежит бунт индивида против социального механизма, ставшего слишком тяжеловесным, и против закосневшего духа, также превратившегося в механизм. Этот бунт отнюдь не был целиком и полностью беспорядочно-анархическим. В нем содержались законные требования личности. Но эта концепция быстро превратилась в ограниченную концепцию индивида, что уже с самого начала грозило ей гибелью. То, что главное внимание уделяется отдельному человеку, само по себе еще не грозит социальному сообществу разрушением, как это иногда считают, но опыт показывает, что всякое разложение социальных сообществ базируется на ослаблении личностного идеала, предлагаемого каждому из их членов. Индивидуализм является в первую очередь упадком индивида и лишь во вторую очередь — его изоляцией; он изолировал людей как раз в той мере, в какой обесценил их.

Упадок индивида: от героя к буржуа

Индивидуалистические времена начались с героической фазы. Их первым идеалом человека был герой, то есть человек, в одиночку сражающийся против чудовищных сил и в этой своей борьбе испытывающий пределы человечности. Его представители были мужественные люди: конкистадор, тиран, реформатор, Дон Жуан. Его добродетели: дух приключенчества, отвага, независимость, гордость, а также ловкость, но лишь в той мере, в какой она умножает отвагу. Постепенно все это приобрело цивилизованные формы: защита инициативы, риска, соперничества — последние приверженцы либерализма еще пытаются похвалиться своим генеалогическим древом. Они могут делать это, только скрывая тот факт, что буржуазное общество обрекло эти ценности на вымирание. В самом деле, в течение какого-то времени капитаны индустрии — читай: некоторые финансовые авантюристы — продолжали в своих операциях широкомасштабные традиции, чего и мы не запрещаем. Поскольку они боролись с вещами и с людьми, то есть с сопротивляющейся живой материей, они закаляли в этом бесспорную добродетель, состоящую из смелости и (зачастую) аскетизма. Распространяя свое влияние на все континенты, индустриальный капитализм предоставил им временное право на авантюрное развитие. Но когда его деньги заработали, как машины, финансовый капитализм открыл мир легкой жизни, из которой всякая напряженность готова была вот-вот улетучиться. Вещи с их особым ритмом, сопротивляемостью, длительностью растворяются в нем под воздействием бесконечно умножаемой мощи, которую естественным силам придает не размеренный труд, а спекулятивная игра, игра прибыли, добытой без соответствующих (реальных) усилий, то есть по типу, на который стремится равняться капиталистическая прибыль как таковая. Тогда страсть к приключению постепенно уступает место страсти к комфорту, к обезличенному механически добываемому благу и чувству удовлетворенности, не знающему меры, не ощущающему опасности: тому самому чувству, которое распределяют машина и рента. Стоило цивилизации вступить на этот

нечеловеческий и сам себя проторяющий путь, как она перестала творить и побуждать людей к творчеству; даже ее творения производятся все больше для того, чтобы сковать людей и подчинить инерции. Два атлета с помощью рекламы заставляют двадцать тысяч индивидов сидеть в креслах и воображать себя спортсменами. А какой-нибудь Бранли или Маркони привязывает к креслам двадцать миллионов индивидов; целая армия акционеров, чиновников, рантье паразитирует на индустрии, которая между тем с каждым днем требует все меньше рабочих рук, все меньше квалифицированной рабочей силы.

Именно таким образом замена индустриальной прибыли спекулятивным барышом, ценностей творчества — ценностями комфорта малопомалу развенчала индивидуалистический идеал и открыла сначала для правящих классов, а затем и для народных масс дорогу к тому, что мы называем буржуазным духом, который представляется нам наиболее ощутимым антиподом всякой духовности.

Каковы его ценности? Он горделиво хранит вкус к силе, но силе легковесной, перед которой деньги устраняют любое препятствие, готовясь к фронтальному наступлению; к силе, которая гарантирована от всякого риска, которой обеспечена безопасность. Таковой была ничтожная победа, о которой мечтает и богач нынешних времен; спекуляция и автоматизм сделали ее доступной любому. Это уже не победа феодала, близко стоящего к своим богатствам и своим вассалам; и угнетение не одного человека, а многих людей. Деньги разделяют. Они разделяют людей, коммерциализуя всякий обмен, извращая слова и поступки тех, кто способен, довольствуясь сознанием собственной обеспеченности, жить в своих кварталах, ходить в свои школы, носить свои костюмы, ездить в своих вагонах, селиться в своих отелях, иметь свои связи и свое окружение, тех, кто способен довольствоваться лишь привычным для себя зрелищем. Вот мы уже очень далеко ушли от героя. Богач возвышенной эпохи тоже находится на пути к исчезновению. На алтаре этой мрачной церкви осталось только улыбающееся и отвратительно симпатичное божество: буржуа. Человек, утративший смысл бытия, живущий лишь среди вещей, лишенных внутренней тайны, предназначенных только для использования. Человек, потерявший любовь; христианин, лишенный чувства тревоги, бесстрастный атеист, он ниспровергает все добродетели, безумно и безостановочно устремляясь к ценностям социально-психологического свойства, обеспечивающим ему спокойствие: счастье, здоровье, благоразумие, стабильность, наслаждение жизнью и комфортом. В буржуазном мире комфорт является тем же, чем в эпоху Возрождения был героизм, а в христианском средневековье — святость: наивысшей ценностью, движущей силой деятельности.

Буржуа ставит себе на службу престиж и претенциозность. Престижность — это то, что в социальном плане наиболее свойственно буржуазному духу: когда комфорт уже не доставляет радости буржуа, он, по меньшей мере, с гордостью хранит репутацию владельца комфорта. Претенциозность же для него — самое обычное чувство. Он превращает право, эту упорядоченную справедливость, в крепостное укрепление, под прикрытием которого он может чинить несправедливость. По этой причине он является ярым сторонником юридического формализма.

Чем меньше он любит вещи, которые себе присваивает, тем более внимательно он относится к своим правам, которые являются для человека порядка высшей формой самосознания. Обладая чем-либо, буржуа чувствует себя прежде всего собственником, он одержим чувством собственности: *собственность* заняла место *обладания*¹.

Между буржуазным духом, кичащимся своей незыблемостью, и мелкобуржуазным духом, озабоченным тем, чтобы достичь положения буржуа, по существу, нет разницы; они отличаются друг от друга только своими аппетитами и используемыми средствами. Ценности мелкого буржуа — это ценности богача, только более убогие и потускневшие от чувства зависти. Одолеваемый даже в своей личной жизни заботой о продвижении вперед, подобно тому как буржуа наполнен заботой о престижности, он думает только об одном: пробиться. А чтобы пробиться, он знает лишь одно средство — экономю; это не та экономия, к которой прибегает бедняк, чтобы хоть как-нибудь защитить себя от мира, ополчившегося против него, а экономия алчная, осмотрительная, экономия ради безопасности, которая нарастает шаг за шагом, отнимая радость, великодушие, фантазию, доброту.

Бесплотный дух

Лишив таким образом человека старого героического индивидуализма, подобно тому как этот последний отлучил его от святости, буржуазный индивидуализм тем не менее претендует быть духовным наследником всего прошлого. Однако он хранит свой "дух" лишь ценой отрыва как от всей духовной реальности, так и от живой плоти человека, попирая его естественную тягу к деятельности. Защитники и противники духовного (начала), от молодых, крайне правых, революционеров и до марксистов, единодушно сплачиваются в своей (правда, не всегда равноценной) критике лишённого жизни спекулятивного идеализма, который лежит в основе буржуазных доктрин².

Его источником или, по меньшей мере, моментом его зарождения можно считать то время, когда картезианский дуализм решительно расколол монолитное здание христианства. Духовное (начало) в мире, ориентированном на воплощение, скорость и машину, выявляло свое присутствие во всем универсуме, в природе и в человеке. Чувственный мир сосредоточивался у папертей соборов, витал вокруг капителей, наносил свои узоры на ковры и витражи, смешиваясь с молитвой; в храме люди обменивались своими навыками, идеями и молитвами, словом, своим непосредственным опытом. Однако не стоит приукрашивать средневековье: это было время крепостничества, феодализма, войн, а там, где чеканили монету, — время первых шагов капитализма. Тем не

¹ Mounier E. De la propriété capitaliste à la propriété humaine / Oeuvres. V. 1. Paris, 1961. P. 417.

² Mounier E. Refaire la Renaissance / Esprit, octobre 1932; Révolution personnaliste et communautaire, 1935. P. 127; Notre Humanisme / Esprit, octobre 1935; Guterman et Lefebvre. La conscience mystifiée. 1935; Thierry Maulnier. Les mythes socialistes, 1936; Maritain. Humanisme intégral, 1936.

менее во взаимоотношениях духа и плоти принцип порядка господствовал над варварским беспорядком, подобно тому как колокольня господствует над селом, где дома неверующих и верующих составляют единое целое. Идея служила молитве, которая соединяла вместе орудия труда, корпорацию и хлеб насущный. Материя уже была живой плотью, она не мыслилась вне человека, она была с ним заодно.

С тех пор мы познали сначала в идее, а затем отлитой в сталь и цемент определение материи — инертной, податливой, обесчеловеченной. Ловкая индустрия сделала материю изощренной, что способствовало ее отделению от духовной жизни. По мере того как человек, заботясь о своих удобствах, все более и более эксплуатировал материю, он забывал о жизни духовной, а затем и просто пограл ее, в итоге мир вновь утратил свое единство. Эксплуатация шаг за шагом отбрасывала на задворки человечества класс людей, прочно связавших себя с трудом, но утративших величие труда, которое заключается в мастерстве, творчестве, в осуществлении человеческого промысла; в итоге было попроно достоинство человека, и это гораздо более жестоко, чем его ущемление в том, что касается средств существования, культуры, свободной жизни, тихой радости труда; многие люди оказались выброшенными из жизни и отчужденными от самих себя.

Духовность, лишенная своих основ, становится воздушным шариком, парящим над этим грубым миром, чтобы наблюдать за ним со стороны, а иногда и развлекать его. "Дух", наполненный пустотой, легковесен и эгоистичен; "разум", горделивый и безапелляционный, равнодушный к таинству реального существования; сложная, причудливая игра "интеллекта": вот так создается особая порода людей, глухих к страданию, нечувствительных к жестокой судьбе, слепых по отношению к несчастьям.

Эти прекрасные души боятся некоей злой силы, которая может нарушить порядок в их спокойных играх в идеологические кегли. Они находят реальную жизнь грубой, непристойной, потому что она постепенно и в буквальном смысле дает перебои. Они любят идеи как убежища, они готовы идти на штурм, если при этом нет никакого риска; мышление для них — это средство для упражнений в абсолютной, безопасной и безответственной власти, для оправдания или ниспровержения мира, на который они взирают, сидя за письменным столом. Духовное становится прерогативой небольшой привилегированной касты людей. Это означает не только лишение духа остроты, придания ему вычурности, картинности, энциклопедической манерности. Это — глобальное крушение культуры, поправление самой духовной жизни. Мы видим, как ее место занимают разного рода эрзацы: то это самоуверенное умствование и болтовня, то — расплывчатые мечтания, этот побочный продукт мышления, воображения и чувственности, который претендует на верховенство над опытом; кое-где это застоявшаяся в миллионах душ пресная водичка мнений, взращенных зашоренной прессой, огромное публичное болото, в которое выливаются зловонные сплетни, рождающиеся в салонах и кафе.

Кто удивился бы тому, что людей, живущих в изнурительном труде и борьбе, сражающихся с лишениями, презрением, изоляцией, когда они

оказываются перед лицом такого дорогостоящего разложения, тошнит от этой шумихи и что они, неумелые на слова, равняются на знамя материализма? Что они нередко воспринимают заученные формулировки, если не как требование жить в нормальном мире, то по меньшей мере как жажду собственной подлинности? Их столь прочно втиснули в эту жизнь, что ныне они способны соприкоснуться с воображаемой действительностью только с позиций труда, достоинство которого вновь следовало бы обрести. Материализм, который они исповедуют, нередко оказывается всего лишь выражением их неприязни к этому лощеному, лакированному, вечно юному лику, который им предлагают Слово, Печать и буржуазная мораль. Наивная вера в величие мира, молодость и простоту; потребность в возрождении целостной жизни, уже давно утратившей свою сущность; гневное презрение к лживым и пустым словам и прекраснотушию, в которых в конечном итоге протитутуются последние остатки духа; потребность в вовлеченности, основательности, плодотворности, свойственная человеческому призванию; неуничтожимый инстинкт присутствия. Материализм (к этому мы еще вернемся) страдает своего рода теоретическим примитивизмом, весьма опасным для культуры и человека. Но для полурабов, у которых отняли возможность любого другого духовного опыта, материализм является не только символом их порабощения; своей реакцией против двуличия "духа" он свидетельствует уже о начале восстания, о дующем свежем ветре в нашем замшелом мире.

Раскол сообщества

Отделив человека от его духовных привязанностей и лишив материальной пищи, либеральный индивидуализм тем самым расколол естественные сообщества.

Он начал с отрицания единства, существующего между структурой человека и его призванием, этого универсального принципа равенства и братства, который христианство утверждало вопреки разобщенности античного полиса. Первый этап: нет истины, а есть только абстрактная форма разума, люди связаны между собой не общим призванием, а только структурой. Второй этап: нет единства разума, есть только профессора, которые верят в причинность, негры, которые в нее не верят, и писатели, которым поручено ознакомить нас с их уникальными, не поддающимися передаче чувствами. Кое-кто еще цепляется за идею национальной истины и борется в рамках своего окружения с индивидуализмом, который они же неистово отстаивают на национальном уровне. Еще кое-кто укрывается в своем одиночестве и твердит об исключительном характере ощущений, об остроте идей и в них одних находит достаточную привлекательность, чтобы заполнить скукой укрытую от внешних влияний жизнь. По отношению к массе, которая трудится с утра до вечера, лучшим средством отделить ее от вечного и универсального (за исключением универсальности ее труда) было бы сделать недоступным ей возможность самовыражения, осуществления мысли и героического присутствия в духовной жизни.

Эволюция права закрепляет в качестве обычаев то, что философская эволюция подготавливает в качестве идей.

Она наделяет суверенным достоинством некоего абстрактного индивида, эдакого славного дикаря-одиночку, не имеющего ни прошлого, ни будущего, ни привязанностей, ни плоти, снабженного не имеющей ни ориентации, ни силы свободой, то есть обременительной игрушкой, пользуясь которой он, обладающий всяческими претензиями, не должен ущемлять соседа и которая все более и более блокирует его в состоянии изоляции. Общества в таком мире представляют собой всего лишь распухших индивидов, и они, подобно этим индивидам, замкнуты в себе, к тому же они укрепляют их эгоизм и самодостаточность. XIX век тщился спать воедино этих разрозненных членов с помощью наивной и лицемерной концепции договорного общества, согласно которой свободные индивиды занимаются индустрией, торговлей, имеют правительства и способны сами определять для себя те границы, которые их устраивали бы.

Маркс лучше, чем кто бы то ни было, показал (и это главная часть его творчества) иллюзорность такой псевдосвободы в мире, где господствуют товарная необходимость и деньги, где искусственная свобода либерализма привела к тому, что весь социальный организм постепенно оказался во власти оккультных сил. Анонимная власть денег захватила один за другим все посты в экономической жизни, а затем тайком проникла во все поры общественной жизни и, наконец, подчинила себе частную жизнь, культуру и даже религию. Сведя человека к абстрактной индивидуальности, не имеющей ни призвания, ни ответственности, не способной на сопротивление, *буржуазный индивидуализм содействовал утверждению царства денег*, то есть, как это прекрасно передают слова, — анонимного общества безличных сил; стало быть, он должен нести за все это ответственность.

То там то здесь "духовные силы" сопротивлялись этой тирании, благодаря которой экономические силы одерживали верх. Но надо признать, что в целом они проиграли сражение. Оправданием им может быть только то, что, непривычные к столь мощному давлению необходимости, порожденной миром денег, они длительное время умели обнаруживать зло, правда, только в морально-индивидуальном плане. В один прекрасный день они оказались поверженными. Сегодня, чтобы восстановить "духовные силы", следует прежде всего признать их поражение и несостоятельность.

Мы собираемся разоблачить здесь не только грубые, более или менее преднамеренные формы компромиссов со стороны тех, кто объявляет себя сторонником духовного (начала), используя при этом однажды¹ подобранные нами слова, получившие широкое употребление, — установленный беспорядок. Подобные компромиссы совершаются во все времена, и их видно невооруженным глазом. Мы гораздо в большей степени имели в виду опасное коррумпирование духовных ценностей, которые беспорядок нещадно эксплуатирует, чтобы воспользоваться их престижностью. Именно таким образом постепенно и исподволь сложи-

¹ Esprit, № 6, mars 1933; Rupture entre l'ordre chrétien et le désordre établi. P. 371 (см. наст. изд. С. 228. — *Ред.*).

лись буржуазный гуманизм, буржуазная мораль и, что парадоксально, буржуазное христианство. Духовные ценности, укоренившиеся в памяти многих и многих простых людей, ныне уже неотделимы от их лицемерного употребления и больше не могут вновь браться на вооружение без того, чтобы тот, кто это делает, не казался причастным к этому лицемерию. Поэтому наше конечное усилие в борьбе с буржуазным миром будет состоять в том, чтобы вырвать из его рук эти ценности, которые он односторонне истолковывает и неадекватно использует, чтобы повернуть против него самого то оружие, которое он узурпировал.

2. Фашистские цивилизации

Так и хочется объединить как принадлежащие к одному типу фашистскую, национал-социалистскую и коммунистическую концепции, несмотря на их заметные расхождения. С точки зрения требований человеческой личности, суждение которой в конечном итоге и является единственно законным, даже самые глубокие расхождения этих учений исчезают, поскольку их общей целью является подчинение личностей с их своеобразными судьбами временной централизованной власти, которая, уже присвоив себе все виды технико-технологической деятельности нации, претендует сверх того на установление своего духовного господства повсюду, вплоть до самых интимных сторон жизни людей. Эта новая перевернутая вниз головой теократия, которая приписывает земной власти духовное всевластие, по своему историческому масштабу выходит за рамки тех или иных определенных обстоятельств и оказывается связанной, с одной стороны, с антикоммунизмом, а с другой — с пролетарским движением. Именно так мы и будем оценивать ее, не обращаясь к конкретным фактам, и наши суждения мы будем выносить, опираясь на материальное воплощение или мистические откровения как той, так и другой системы. И все же коммунизм мы ставим отдельно, и это потому, что уважаем слишком очевидные его отличия, если иметь в виду его происхождение, хотя с точки зрения исторического процесса он родственен двум другим рассматриваемым концепциям.

Фашизм как факт

Мы нередко слышим, как фашистскими именуются все движения, которые отличны от коммунистических или капиталистических, а антифашистскими — все объединения, враждебные любым видам диктатуры за исключением крайне левой.

В самом прямом смысле слова фашизмом называется только тот режим, который в 1922 году установился в Италии. Но в обычной жизни важно использовать это слово для более широкого обозначения совершенно определенного послевоенного феномена, который кратко можно описать так. В какой-то изнуренной и истощенной стране, во всяком случае стране, одержимой неотвязным чувством отсталости, совершается сговор между пролетариатом, потерявшим надежду как в экономичес-

ком, так и идеологическом плане, и средними классами, испытывающими тревогу по причине возможной пролетаризации (которую они связывают с успехами коммунизма). Благодаря интуиции некоего руководителя выкристаллизовывается определенная идеология, апеллирующая к попорванным добродетелям: честность, национальное примирение, патриотизм, служение делу, преданность человеку; революционность, привлекающая к себе экстремистски настроенную молодежь и (чтобы умирить ее пыл) мелкобуржуазный мистицизм: престиж нации, "попьятное движение" (к земле, к ремесленничеству, к корпоративности, к историческому прошлому), культивирование образа спасителя, любовь к порядку, уважение к власти. Созданное таким образом движение является более или менее консервативным и выступает под национальными знаменами и волей-неволей объединяет рядом стоящие силы: застарелых националистов, армию, денежных магнатов (отождествлять его с последними было бы несправедливо, хотя они нередко и становятся его заложниками).

Фашизм возник в разных странах, имеющих весьма схожее историческое положение; его обоснование как целостной доктрины свершилось постфактум. Но ныне фашизм стремится систематизировать свое учение; он определяет общественные связи, тип человека и стиль жизни и, учитывая национальные особенности людей, предлагает в то же время довольно целостную концепцию. Именно это позволяет ныне ставить вопрос о фашизме в широком плане при условии, конечно, достаточно строгого применения этого слова.

Верховенство иррационального и силы

При первом же знакомстве с фашизмом видно, что он противопоставляет примату духовного начала верховенство силы. Когда я слышу слово "дух", говорил как-то Геринг, я хватаюсь за пистолет*. Фашизм любит выражать свой прагматизм в нарочито вызывающих терминах. Он славится тем, что единственной целью его является само движение. "Наша программа? — заявляет Муссолини. — Мы просто хотим править Италией".

А одному депутату, который наивно попросил Муссолини уточнить его концепцию государства, тот ответил: "Уважаемый Гронки попросил меня определить государство, я же довольствуюсь тем, что правлю им".

Привлекательная сторона этих каламбуров состоит в революционном отрицании буржуазного рационализма, республики профессоров, тех, кто, как однажды сказал один из них, признавали, что "деятельность носит творческий характер". И мы не можем не согласиться с подспудно изрекаемой в этих формулировках истиной, что человек создан для того, чтобы добровольно включаться в действие и оставаться верным ему, а не для того, чтобы анализировать мир, избавляя себя от какой бы то ни было ответственности.

Но фашистская идеология идет дальше. Сам поиск истины, осуществляемый с помощью мятущегося духа, который противопоставляет тезис и антитезис, соотносит его с бесплодным либерализмом, отравля-

ющим ум народов. Разум разъединяет: теоретическая и юридическая абстракции лишают человека и жизнь движения, он — это еврей и его подрывная диалектика, это механизм, убивающий душу и множачий нищету, это марксизм, разрушающий сообщество, это интернационализм, расчленяющий родину. Но и этого мало. Молодого фашиста учат отождествлять рационализм с интеллектом и духовностью до такой степени, что любая нормальная реакция против буржуазного рационализма оборачивается недоверием ко всякому применению ума, если речь идет о деятельности, и отвержением во имя "разума" какого бы то ни было руководства политикой со стороны всеобщих ценностей.

Верно то, что фашизм претендует на совершение духовной революции. Муссолини писал: "Фашизм не был бы понят во многих своих практических проявлениях, будь то партийная организация, система воспитания, дисциплина, если бы он не рассматривался как общая концепция жизни. Эта концепция является спиритуалистической"¹. Тот, кто без предвзятого мнения посещал страны, где правит фашизм, и вступал в контакты с их организациями, с их молодежью, не мог не поразиться действительно духовному подъему, которым охвачены эти люди, насильственно вырванные из состояния буржуазного разложения, обретшие рвение, веру и смысл жизни. Отрицать это или бороться с подлинными, хотя и искаженными ценностями, слезливо клянясь в преданности разлагающемуся миру или бумажным добродетелям, противопоставлять пристрастное непонимание или увещевания обывателей тем людям, которые вновь обрели чувство собственного достоинства, молодежи, которую избавили от безнадежности, гражданам, которые после долгих лет мелкобуржуазного прозябания вновь познали, что такое преданность, самопожертвование, мужская дружба, значило бы еще в большей степени впасть в заблуждение, чем когда мы осуждаем бьющее ключом бесцельное великодушие.

Если судить о духовном уровне народа только по воодушевленности, которая для каждого отдельного человека значит больше, чем его природные силы, и возвышает его над миром посредственности, если мерить его исключительно по меркам героизма, то, несомненно, фашизм может претендовать на то, что ему принадлежит заслуга духовного пробуждения людей, тем более подлинного, конечно, чем более мы удаляемся от насилий и интриг, царящих в центре, в глубинку, которая вновь обретает веру в себя. Большинство реакций против крайностей рационализма, либерализма, индивидуализма являются здоровыми в своих истоках. Фашизм вернул значимость множеству ценностей, справедливо указав их истоки, но то, как он их осуществляет, вызывает одно лишь сожаление. Лишим мистику вождя идолопоклонничества, которое ее искажает, и обнаружим, что она отражает потребность людей, жаждущих уважения и личной преданности; устраним из дисциплины дух принуждения и мы без труда столкнемся с самой сутью персонализма, подавленного различными формами угнетения.

Мы упрекаем фашизм не за пренебрежение духовным (началом) или за его отрицание, а за то, что он ограничил дух, требуя от него лишь

¹ *Denoël et Steel (éd.). Le fascisme.*

опьянения жизнью, и тем самым незаметно устранил высшие ценности, а на их место поставил самые что ни на есть опошленные "духовности" и двусмысленную "мистику"¹. Римский фашизм, в соответствии с имперской традицией, упивается излишне жестокой государственной дисциплиной, в то время как государство подвергается поэтизации. Национал-социализм, воспринимающий историческое наследие германского романтизма, выдает себя за метафизику, надстраивающуюся над земными силами и мрачными сторонами жизни. В то время как рационализм, освобождая человека от инстинктивного страха перед предьсторией, толкает его навстречу прогрессу, нацистский мистицизм, напротив, как писал Тиллих накануне революции, возвращает нас к первоистокам человека: человек, ослабленный и раздраженный современной цивилизацией, замыкается в себе, он ищет защиту и помощь у своей плоти, подобно тому как он инстинктивно ждет спасения, обращаясь к своему детству. Почва, кровь, нация являются для него новым *Lebensraum*, новым органическим жизненным пространством. И ему кажется тогда, что он уже не затерялся, что он не изолирован, что он среди таких же одиноких, как и он сам. Он может коснуться этого жизненного пространства своими руками, может измерить его собственным взглядом, присоединиться к нему своим трудом и почувствовать, как оно бьется в нем, соответствуя ритму, с каким бьется в нем его чисто германская кровь.

Такая грубая реакция темных сил не так уж и удивительна после долгого и мрачного периода разложения буржуазного идеализма. Ее неистовство можно понять, если оно носит временный характер. Но опасность состоит в том, что эти инстинктивные импульсы стремятся превратиться в систему. Тогда можно наблюдать, как вопреки намерениям их авторов рождается новый рационализм, более жесткий, чем старый: дело в том, что систему можно создавать из инстинктивных элементов несколько не хуже, чем из элементов рациональных, они не являются ни менее искусственными, ни менее жестокими, ни менее бесчеловечными, когда ловкие законоведы, такие, например, как г. Уго Спирито или г. Панунцио, стараются доказать, что в фашистском государстве человеческие противоречия "спонтанно" уничтожаются благодаря непогрешимому режиму, когда г. Розенберг неуклюже силится объяснить всю человеческую историю через конфликт между представителями нордической расы и негроидами; мы не можем заметить, в чем же их превосходство по сравнению с либеральным профессором или сторонником марксистской диалектики. И пусть не говорят, что это только не заслуживающие внимания упражнения философов, уполномоченных на создание задним числом метафизического обрамления режиму: несколько сот тысяч солдат и рабочих в Эфиопии, жертвы 30 июня 1935 года* в Германии хорошо знают, на какой наковальне выковывается спонтанное единство между индивидуальными волями и судьбами имперского государства.

Национальный престиж, жизненный порыв — все эти пьянящие вина, даже если те, кто их наливает, не имеют целью отвратить человека от самого себя, сохраняют свое воздействие; коллективный психоз усыпля-

¹ Des pseudo-valeurs spirituelles fascistes / Esprit, janvier 1934.

ет в каждом индивиде его большую совесть, огрубляет чувствительность и сводит на нет его высокие духовные порывы. Это более укрепленная, более скрытная, более страшная своим соvrащением тюрьма, чем идеологическая западня. И если, несмотря ни на что, это целенаправленное неистовство пробуждает какие-то глубинные силы человека, неутоимое желание общения, деятельности, верности, то тем более плачевно видеть, как они становятся факторами нового угнетения личности.

Примат национального коллектива

Одновременно с антиинтеллектуализмом фашизм проповедует антииндивидуализм. И мы могли бы только приветствовать его, если бы фашизм, отбрасывая индивидуализм, вместе с тем не попирает неотчуждаемые свойства человеческой личности, а стремясь восстановить социальное сообщество, не делал бы этого с помощью угнетения.

Заметим сразу, что как у итальянского фашизма, так и у нацизма идея человеческого сообщества и стремление к универсальности, несмотря на все уверения и посулы этих наскоро состряпанных идеологий, даже и не возникают.

Откроем "Хартию труда", являющуюся Декларацией прав итальянского фашизма. Мы находим в ней (статья 1) индивида, подчиненного нации, "наделенной существованием, обладающей целями и средствами высшей силы и продолжительности"; при этом нация отождествляется с фашистским государством, в котором "она осуществляется целостным образом". Что это — простая юридическая фикция? Муссолини предостерег бы нас от такого вывода: он провозглашает, что "государство — это истинная реальность индивида", что "все — в государстве и ничто человеческое не существует и не обладает *a fortiori* ценностью вне государства". Это сказано предельно четко. Многие мыслители занялись обоснованием этого абсолюта фашистского государства с позиций юриспруденции, социологии, психологии и мифологии. Когда они доказывают, что государство-нация — это единственное пространство, способное организовать для достижения родовых целей (Рокко), то кладут в основу своей доктрины не личность, а социальную биологию. Когда стремятся доказать, что государство является первостепенной духовной потребностью индивида (Панунцио), "подлинным выражением становления духа", "единством универсального и индивидуального", и что, следовательно, оно содержит в себе основание наших прав и наших обязанностей, причины развития нашей индивидуальности и определения ее границы (Джулиано), то не остается больше никакого сомнения относительно антиперсоналистской онтологии, которая составляет сущность системы. В высказываниях Муссолини и многих его комментаторов разоблачать надо не только строго юридический этатизм; следует понять, что их формулировки вдохновляет настоящий религиозный пантеизм, в прямом смысле этого слова. Государство мне внутренне ближе, чем я сам; настоящая свобода — это присоединение к нему и полное слияние с его волей, которая включает в себя мою волю и воодушевляет ее; цель индивида — это ото-

ждествление с государством, аналогично тому, как цель личности для христианина — это отождествление (в данном случае сверхъестественное и возвышающее) с личностью Бога. Такова, например, диалектика г. Уго Спирито. А если кто-то выдвигает требование в защиту личности, он отвечает с наивностью догматика, что конфликт между личностью и государством — это всего лишь словесная трескотня, возможная только при либеральном режиме, что сам факт рассмотрения данной проблемы — это следование поверхностной терминологии, общей для либерализма и социализма.

Ницшеанский индивидуализм, который проскальзывает в некоторых речах Муссолини, заигрывание зарождающегося фашизма с экономическим либерализмом не должны порождать никаких иллюзий. Антиперсонализм итальянского фашизма радикален. "Индивид живет в нации, ничтожно малой и временной частицей которой он является, и если говорить о цели нации, то он должен рассматривать себя только как ее *орган и орудие*"¹ (Джино Ариас). Личностью не только надо пренебречь, но она вообще есть враг нации, зло. Именно здесь мы сталкиваемся с самым глубоким пессимизмом относительно человека, который лежит в основе как фашизма, так и всех тоталитарных доктрин, начиная с учений Макиавелли и Гоббса: индивид неизбежно тяготеет к обособлению и эгоизму, то есть к состоянию войны, он становится опасным и сеет вокруг себя беспорядок. Только прозорливость разума, соединенная со слаженной механикой страстей (как сказали бы латиняне), или же только безусловное утверждение публичной силы (как сказали бы немцы) могут породить гражданский порядок, обуздывающий зло и противостоящий хаосу. А чтобы совладать со злом, индивиду требуется максимум управления, а отнюдь не его минимум, как думает либерализм, вдохновленный руссоистским оптимизмом. Гражданский порядок непререкаем, так как только он является духовным и человеческим. Он даже божествен: дело в том, что в фашистской литературе государство нередко определяется как некая церковь, даже более, чем церковь, ибо оно признает реальность личностей и промежуточных групп только внутри своей собственной реальности. Индивид якобы не может обладать правами, локализованными в рамках его собственной личности, поскольку он является некоторым *социумом* и обладает существованием только в его целостности (Чимьенти, Вольпичелли). Государство требует абсолютного подчинения себе частной жизни, экономики, духовной жизни, и через посредство своего активного органа — партии — своему вождю: таким образом, коллективная диктатура выливается в личную диктатуру, благодаря диктатуре действующего меньшинства, которому помогает полиция. И пусть оно еще не достигло этого всеобъемлющего растворения индивидов в государстве, движение "национальной воли к самоопределению" (Спирито) продолжается через индивидов даже вопреки их воле, а слова Муссолини: "Государство — это не только настоящее, но и в особенности — будущее" — как раз призваны напомнить, что государство, подобно человечеству Ренана, является создающим самого себя Богом.

¹ Discours du 10 mars 1929.

Национал-социализм питается не столько кесаревыми, сколько вагнеровскими концепциями национального сообщества. В нем первичной реальностью, мистической субстанцией является уже не государство, а "сообщество народа", *Volkstum*, *Volksgemeinschaft**, понятие органического государства, противостоящего статическому понятию (как и показывает его название) о государстве. Здесь это понятие не поглощается юридически понятым государством, национальное государство — это только аппарат в ряду других аппаратов, стоящих на службе немецкого народа. Римское государство может присоединить к себе империю, лежащую за пределами проживания римского народа, если это требуется для его усиления; оно тяготеет к расширению своих границ. Немецкое государство не может произвольно трактовать права крови и исторического сообщества, которые определяют немецкий народ, Рейх: оно — сторонник ирредентизма**, по меньшей мере, поскольку под давлением инстинктов остается верным своей мистике.

Земля, кровь, единство народа — вот три составляющие, посредством которых можно охарактеризовать такую уплотненную и опасную в своей неопределенности реальность, как *Volkstum*. Они лежат в основе общностной мистики, сливающейся с мистикой (исторических) истоков, свойственной натурализму, аналогии которому можно отыскать в учениях известных реакционных французских кругов.

"Природа — на стороне правых", — пишет Рамю. Мистификация крестьянина и идея возврата к земле, которую развивает национал-социалистская Германия, — это не только средства борьбы против марксистского учения о рабочем классе; они содействуют мистификации расы, поддержанию которой в чистоте, вдалеке от городов, крестьянин способствует, как никто другой: крестьянство выступает безупречным источником немецкой крови, хранителем ее добродетелей и фактором распространения; в противоположность рабочему, оно не является продуктом капитализма (В. Дарре); более того, оно рассматривается как своего рода священнослужитель, скрыто взаимосвязанный с землей-кормилицей.

Весьма близка к этой позиции трактовка женщины, по природе более, чем мужчина, предназначенной жить в соответствии с тайными ритмами жизни; отсюда вытекает то значение, которое ей отводит режим: он не считает нужным способствовать ее освобождению или развитию как личности, рассматривая ее исключительно в связи с ее функцией деторождения.

Что касается расы, то мы уже, кажется, сказали все. Значительность, с какой развертывается пропаганда расизма, в то время как мировая наука, если говорить о ней вне ее отношения к идеологии, не может дать содержательное понятие чистой расы, а многие немецкие ученые сами незаметно спасовали перед расизмом, свидетельствует о религиозном характере этой пропаганды, претендующей на научность. Чтобы найти решение нескольким безусловно трудным ситуациям, совсем не требуется, чтобы г. Розенберг выставлял себя в самом что ни на есть смешном виде. Однако немецкое сообщество, чтобы поверить в себя, нуждается в убедительнейших мифах.

Как уже было замечено, расизм — это не столько теоретический догматизм, сколько дополнительное средство усиления и утверждения немецкого народа в качестве исторического сообщества. Это последнее представляет собой подлинную имманентную божественность, соответствующую по своей значимости священному государству итальянского фашизма. Именно оно определяет своей глубинной жизнью социализм сообщества, заменяющий научный социализм, подобно тому как *religio* заменяет *ratio*; именно оно вдохновляет партию, в которой следует видеть не орудие, стоящее на службе у государства, а сердце и душу нации; именно оно вдохновляет эту странную феодальную экономику, целиком опирающуюся не на трудовое соглашение или ассоциацию трудящихся, а в определенном смысле на личное доверие, иными словами, на клятву, связывающую заводского "*фюрера*", представляющего национальное сообщество, и его "продолжение".

По отношению к человеческой личности национал-социализм не афиширует той неприязни, которая внутренне присуща римской теории права. В нем, внутри его системы, в самих контактах людей, легче обнаружить зародыши персонализма, чем в этатизме Муссолини. Его поддерживает своего рода биологический и одновременно национальный оптимизм. Некое "очарование святой пятницы" нисходит на славный немецкий народ. Мы далеки от Макиавелли и Левиафана, от холодного и развратного идола государства, подчиняющего себе хаотически живущих индивидов. Это все то же язычество, но язычество приукрашенное и доверчивое. Ток любви идет от народа к его фюреру, ее нежность в корне отлична от римского безумия. Если вы хотите удивить нациста, скажите ему, что он живет при диктатуре. Итальянский фашист, напротив, хвастает этим. Изменилось содержание, форма же осталась идентичной. *Volkstum* требует от своих членов верности и энтузиазма. А того, кто сопротивляется этому, выбрасывают из сообщества с такой грубостью, которая не идет ни в какое сравнение с силой, с какой режим расточает свои улыбки. Величие немецкой нации остается высшей ценностью для всех. Один-единственный человек, посланец Всесильного (такова безличностная манера именовать Бога), расшифровывает тайные пути избранной судьбою нации. Он движется, как лунатик, руководимый только светом своей негасимой звезды, который отражается во всех сопутствующих системах местечковых фюреров, подобно тому как передавалась от ближнего к ближнему феодальная преданность. Он является непогрешимым божественным судьей немецкого народа: без него ему не обрести спасения, кроме него никто не властен объявлять что-либо справедливым или несправедливым. Тоталитаризм этой мистики должен был завершиться созданием немецкой религии, стоящей на службе у государства.

Таким образом, и с одной и с другой стороны мы видим, как самостоятельность и инициатива личности либо отрицаются, либо подавляются коллективами, стоящими на службе у режима. Однако фашизм непосредственно не вытекает из индивидуалистической позиции. Он возник на основе исчерпавших себя демократий, пролетариат ко-

торых, со своей стороны, оказался в значительной степени деперсонализован. Фашизм — это лихорадка, это безумие людей. Масса индивидов, выбитых из колеи и потерявших себя, оказались до такой степени дезориентированными, что у них осталось только одно желание — избавиться от собственной воли, от ответственности, от совести и отдаться во власть Спасителя, который будет решать за них, хотеть за них, действовать ради них. Не все, конечно, являются пассивными орудиями этого безумия. Овладевая страной, безумие возбуждает энергию, подспудно вызывает инициативу, поднимает жизненный тонус, повышает уровень деятельности. Конечный выбор, единственно способный закалить человека в свободе, отдан на откуп коллективности. Личность оказалась экспроприированной: она была такой в условиях беспорядка, такой же осталась и теперь вследствие навязанного порядка. Смешался шаг, но не изменилось направление движения.

3. Новый человек марксизма

Антимарксизм является позицией не менее путаной, не менее лживой, чем антифашизм. В зависимости от непосредственной опасности персонализм может по-разному относиться к тому и другому из этих блоков, но он не должен раз и навсегда сосредоточиваться на тех существенных проявлениях, которые связывают оба блока с отвергаемыми им режимами.

Наш отказ выбирать между этими формированиями вне зависимости от конкретных ситуаций не является проявлением нерешительности или раздвоения мысли. Персонализм выступает единственной основой, на которой может начаться честное и эффективное сражение с марксизмом. Между тем антимарксистский блок, в том виде, как он складывался до сих пор, является организацией, защищающей капитализм. Нельзя победить заблуждение с помощью беспорядка, который его породил. Как мы знаем, кто вступает в этот блок, искренне следуя духовным мотивам, тем самым прячет свой страх, эгоизм, классовые инстинкты, не осознавая того, что, вопреки самому себе, связывает их с установленным беспорядком. Наконец, как и всякая коалиция, руководствующаясь скорее интересами или инстинктами, чем идеями, антимарксизм обычно путает ряд реальностей, которые не только не совпадают друг с другом, но нередко и расходятся; к ним относятся пролетарское движение и его систематизация в трудах Маркса; искажение этого направления мысли расхожим марксизмом; искажение вульгарного марксизма второй степени некомпетентным или недобросовестным толкованием, которое осуществляют его противники; искажение идей коммунизма вообще и русского коммунизма в частности; наконец, трактовка коммунизма новыми командами руководителей. Что касается тех или иных вариантов социализма, то в них смешивается множество различных традиций и устремлений, из которых одни являются строго марксистскими, другие мелкобуржуазными, наконец, третьи персоналистскими по многим положениям, так что они в еще большей мере не поддаются единому и безоговорочному осуждению. Честность и забота об эффективности

критики вынуждают нас отдельно подходить к этим проблемам. Надо добавить, что метод полемического опровержения, который недооценивает противника и скопом ошибочно отвергает истины, находящиеся у него на вооружении, — это метод, наиболее способный укрепить силу, которую заблуждение извлекает из этих плененных истин.

Еще важнее всех этих методологических соображений тот факт, который делает трагическим всякое сражение с марксизмом для людей, судьбы которых тесно связаны с судьбами самых страдающих и обездоленных, самых бедных и угнетенных людей. Везде, где марксизм имеет возможность заявить о себе, он получает отклик у нищих. Сколь бы поверхностно ни залегали его корни (и некоторые события в достаточной мере показали это), он в настоящее время для мира нищеты является символом освобождения; марксизм придает самым законным требованиям, огромнейшему человеческому богатству нынешнего времени такую форму, которую он считает выражением своих собственных устремлений. Впрочем, нельзя оспаривать и то, что марксистские партии, сколь основательными ни были бы претензии, которые уместно им предъявить, в огромной мере способствовали росту сознательности народных масс и развитию социальной организации. Любая стрела, выпущенная в них, ранит стоящих за ними справедливо возмущившихся людей, компрометирует наше дело в их глазах, и эти раны приходится долго залечивать. Вот почему наша самая решительная полемика приобретает особое значение. Поэтому от нас здесь требуют больше, чем от других. Только полный, безусловный, без всяких сожалений разрыв (как в нашей частной жизни, так и в наших учениях) с силами угнетения и денег может придать авторитет двойному противопоставлению, которое мы делаем: противопоставлению духовных ценностей установленному беспорядку, противопоставлению необходимой революции марксизму.

Марксистский гуманизм

Долгое время официальный марксизм при обосновании социализма откладывал на завтрашний день рассмотрение проблемы человека. Ранее его позиция в этом вопросе состояла даже в утверждении невозможности ее решения до тех пор, пока не созданы условия, которые должны вызвать рождение нового человека. "В течение ближайших пятидесяти лет, — писалось тогда, — проблемы человека не будут поставлены"¹. И если мы, со своей стороны, пытались выявить тогда метафизику советских достижений, нас могли упрекать в попытках превращения в систему чего-то временного и в движении в сторону неизвестного, чего мы и сами опасались.

Ситуация изменилась, как только марксизм отказался от позиции воздержания и, вернувшись к своим первоисточкам, начал уточнять свой взгляд на человека. Напомним главное в этом отношении.

¹ "Эспри" (juin 1932; avril, juin, août-septembre, octobre 1935; janvier 1936) первым из немарксистских изданий внес здесь свой вклад серией статей Марселя Море; что касается работ марксистов, то сошлемся на: *Guterman et Lefebvre. La conscience mystifiée.* Gallimard.

Вслед за Гегелем Маркс мыслит историю как продукт диалектики, как развивающееся взаимообогащение идеи и природы. Отметим, что основной вопрос марксизма ставится в категориях, в которых человеческая личность как первичная экзистенциальная реальность вообще не имеет места. Не столь уж важно то, что Маркс, в чем он сам горделиво поздравляет себя, перевернул гегелевскую диалектику, которую он, по его словам, поставил с головы на ноги, и что он вернул природе ее всемогущество и предсуществование по отношению к идее. На самом деле из природы, а именно из природы, преобразованной человеком в экономику, рождаются идеологии, которые, погружаясь вновь в природу (материя и промышленность), обогащаются сами и обогащают ее, вызывая новый этап человеческого прогресса. Вся драма проходит через поколения, для которых человек в качестве личности остается только свидетелем и орудием.

Новый марксистский гуманизм, родившийся приблизительно в 1935 году, выделяет три стороны этого учения, которыми до тех пор пренебрегали:

1) Он не является фатализмом, или абсолютным детерминизмом, апологией пассивности, если речь идет о деятельности. В самом деле, когда один "тезис" А (например, капитализм) производит "антитезис" Б (в данном случае — пролетариат), именно их взаимодействие, а не обусловленность второго первым порождает "синтез" В (коммунизм); а поскольку значительная доля иррационального проникает в отделы Б и В, то только исторический опыт, а не абстрактные выкладки способен дать им жизнь. Кроме того, взаимодействие природы и идеи, базиса (экономического) и надстройки (идеологической — философия, мораль, религии, право и т. д.) не является односторонним. К. Маркс и Ф. Энгельс неоднократно отмечали, что формы "идеологического отражения" (то, что мы называем духовным началом) хотя и не обладают собственной реальностью, а представляют собою только продукты экономических процессов, тем не менее в свою очередь воздействуют на материальные процессы. Недавно увидели свет тексты, в которых Маркс и Энгельс приносят свои извинения за то, что необходимость акцентирования деятельности помешала им шире осветить это обратное воздействие человека и его идей.

2) Диалектика не является философией, обосновывающей всеобщее потрясение, абсолютную прерывность истории, "революцию" в подлинном понимании этого слова. В слове "aufheben", обозначающем переход к синтезу, выявляется тройкий смысл уничтожения (революционный элемент), сохранения и поступательного развития. Новая коммунистическая политика стремится воспринять и спасти культурное наследие предшествующих веков и преобразовать его.

3) Диалектическая философия в противоположность буржуазному идеализму и, в частности, идеализму гегелевскому, превращающему действительность в "перевоплощение идеального", является философией деятельности и конкретного человека. Известны знаменитые формулировки: "Сова Минервы начинает свой полет только в сумерках", "Фило-

софы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его". Такова основа "социалистического реализма", стоящего в центре нового гуманизма. Он радикальным образом противостоит буржуазному рационализму. Этот последний превращает разум в убаюкивающего протекционистского идола, предназначенного для того, чтобы скрыть от буржуа те силы, которые осуществляют насилие посредством связанной системы форм, концентрирующих в себе ее жесткую реальность; или же стремится дать ему возможность оправдать свое положение и мистифицировать самого себя, свои подлинные мотивы и действия. Марксистский неореализм, не отрицая эти критические замечания, ныне, однако, стремится реабилитировать буржуазный рационализм в той мере, в какой он представляет собой стремление ко всеобщности и универсальности: чтобы основать Интернационал, полагает он, достаточно покинуть плоскость абстрактной жизни сознания и перейти к творчеству, то есть, по его терминологии, к производству.

Положение человека

Каково место человека-личности в таком развитии истории?

Согласно марксизму, его существование целиком коренится в экономическом базисе. Но сам человек пока не подозревает об этом, а его идеологически извращенное сознание мистифицирует истинное положение дел. Существует только два класса людей: эксплуататоры и эксплуатируемые, — и любой человек может быть исчерпывающе объяснен своей принадлежностью к тому или иному классу. Эксплуататор черпает свою силу из субстанции эксплуатируемого и называет силой духа омерзительное обожание идеологий, которые он придумывает, чтобы оправдать себя и угодить себе. Эксплуатируемый в свою очередь попадает в сети мистификаций, которые расставляет эксплуататор. Возьмем индивида-пролетария. Он трудится. Но капитализм постоянно лишает его плодов собственного труда, даже самой способности к трудовой деятельности. Посредством этой деятельности он дает жизнь не человеческой действительности, где все люди могли бы общаться друг с другом, а миру вещей и товаров, которые оцениваются только сквозь призму денег. Люди вступают в отношения между собой не иначе как только через этих обесчеловеченных посредников. При таком строе все индивиды оказываются как бы опустошенными, "отчужденными" от самих себя: буржуа попадает в такое положение по собственной воле, ибо он сам избавляет себя от труда и в своей идеологии отвергает всякую человечность; трудящийся — сначала вопреки своей воле, когда у него отнимают его труд, являющийся его субстанциальной сущностью, а затем по собственному согласию, когда, опустошенный таким образом, он пытается спастись с помощью мистификаторских идеологий (дух, внутренняя жизнь, Бог), вырывающих его из его конкретной судьбы и отвращающих от революционного осознания его угнетенного положения. Социалистический реализм не ставит проблему внутреннего преобразования буржуа систематическим образом, он просто обращает против него свое оружие: классовую борьбу. Что касается трудящихся,

то, приводя их к осознанию собственного положения и собственной судьбы посредством разрушения "идеалов", которые отделяют их от самих себя, он надеется придать им волю, необходимую для преобразования мира вопреки тем, кто стремится усыпить их или обратиться в бегство.

Непосредственной целью такого преобразования является низвержение капитализма и утверждение нового экономического строя. В результате трудящийся должен превратиться из объекта истории в ее субъекта. Здесь-то и начинается другая история. После этой технической операции преобразование нацеливается на создание нового человека. Какова структура этого нового субъекта, как можно вызвать его к жизни, каков тот идеал, который ему предназначается?

Новый человек

Когда коммунистов упрекают в том, что они не ставят проблему суверенного человека, человека-личности, они, особенно в последнее время, напоминают о том, что коллективная диктатура пролетариата — это только временная необходимость и что марксизм всегда ставил высшей целью революции "освобождение индивида", "царство свободы" и исчезновение государства. Эти темы, на самом деле гораздо более живые и органичные у раннего Маркса, чем у защитников "временной" диктатуры, которая длится вот уже без малого двадцать лет, свидетельствуют о том, что проблема личности предусматривалась им, тогда как последовательный фашизм вообще отказывается ставить ее. И тем не менее проблема личности остается весьма расплывчатой у самого Маркса и у его последователей. Они не опираются ни на какую основательную антропологию, они уже давно с полным равнодушием избавились от этой антропологии. Ныне мы начинаем получать по поводу содержания этих общих формулировок кое-какие уточняющие указания. Воспользуемся ими. Но, чтобы не менять глубинные перспективы марксизма в угоду его временным вариациям, вынесем их за пределы метафизических нэпов и поместим в центр учения, где марксизм, являясь целостной концепцией человека, предстает в качестве религии.

В основе марксизма, в самом деле, лежит кардинальное отрицание духовности как самостоятельной, первичной, творческой реальности. Это отрицание имеет две формы. Во-первых, марксизм отбрасывает вечные истины и ценности, существующие в пространстве и времени, трансцендентные по отношению к индивиду; другими словами, в сущности, уже своим исходным постулатом он отвергает не только христианство и веру в Бога, но и любую форму духовного реализма. В духовной реальности он видит только "идеологическое отражение", по меньшей мере вторичное состояние бытия. Далее, в своем видении мира и его организации он не оставляет никакого места той высшей форме духовного существования, которой является личность, и ее собственным ценностям: свободе и любви.

Конечно, он допускает воздействие духовного начала, идеологии и воли на диалектически осуществляемый прогресс истории. Но если

идеи и волеизъявления, которые они приводят в движение, и "оказывают обратное влияние на все общественное развитие, даже на экономическое", тем не менее они "находятся под господствующим влиянием экономического развития"¹. В той или иной степени, пишет также Энгельс, мышление может сыграть роль первой скрипки в экономически отсталой стране, но это мышление если и родилось в ином месте, то возникло оно по законам экономического детерминизма: например, буржуазная философия фактически управляет эволюцией Франции XVIII века, но родом она из Англии, где ее сформировала новая экономика. Следовательно, в конечном итоге мышление всегда является вторичной реальностью, имманентной экономическому процессу. Вопрос о другой форме духовности даже не ставится. Что касается "производства" мысли в ходе экономического процесса, то марксизм вносит в этот сюжет только своего рода жалкую, примитивную, путаную материалистическую мистику. Ее убогость проявляется здесь со всей очевидностью: марксизм колеблется между расплывчатыми терминами "рефлекса" и "внутренней связи" и, как бы там ни было, вновь впадает в рационализм, весьма близко стоящий к старому буржуазному рационализму, не замечая того, что отвергает для себя право поступать так, если остается верным чистому материализму. Недавнее решение французских неокommунистических интеллектуалов по поводу культурного наследия XVIII века подчеркнуло эту родственную близость и в то же время выявило философскую нерешительность, то есть философскую убогость марксизма, как только он выходит за рамки социальных наук.

Именно исходя из этого (некоторые допущения внешнего характера не меняют дело коренным образом), мы можем определить, что признает марксизм в качестве основной движущей силы истории. Это не духовная реальность. Это не буржуазный разум, несостоятельность которого он разоблачил. Это непогрешимый труд научного разума, проложенный промышленностью, цель которого заключается в том, чтобы сделать человека (в соответствии с картезианским идеалом лишенного ореола христианской трансценденции) хозяином и властелином природы. Вот он — имманентный бог и в то же время дух (физико-математический), он же и техника, и железо, и цемент. Именно с этого момента марксизм становится религией. Его бог, который постепенно сам себя создает, подобно итальянскому государству или немецкому народу, и в самом деле является объектом непререкаемой фантастической веры. Он добр: несовершенство экономических условий — это единственный источник зла, царящего среди людей и в самом человеке. Будем развивать науки, организовывать труд, отдадимся на милость коллективного спасения, и мало-помалу исчезнут нищета, болезни, ненависть, а может быть, и смерть. Несовершенство материальных условий жизни — это единственное препятствие для расцвета нового человека. Нет *homo duplex*^{**}, нет неизбежного зла. Господство техники в этом порядке заменяет миф о всеобщей воле, и добрый цивилизованный человек сменяет доброго дикаря.

Таким образом, марксистский гуманизм следует словам Бебеля: "Социализм — это наука, примененная ко всем областям человеческой

¹ Письмо Энгельса к Конраду Шмидту от 27 октября 1890 года*.

деятельности". Он мог бы написать слово "Наука" с заглавной буквы и добавить то, что все в то время подразумевали: *марксистский гуманизм в самом деле возникает как высшая философия определенной исторической эры, которая жила под влиянием физико-математических наук и соответствующего им специфического и чрезмерно узкого рационализма, бесчеловечной, централизованной формы промышленности, временно воплощающей их технические применения.* Нередко в сознании марксистов духовное, вечное и индивидуальное уподобляется биологическому, что является существенным предрассудком. Даже не выходя за пределы научно-технической проблематики, как раз в тот момент, когда биологические науки и науки о человеке начинают свой взлет, который, несомненно, продлится многие века и выведет нас далеко за пределы жесткого индустриализма прошлых веков, марксизм превращает в спасительную формулировку чрезвычайную напряженность умирающей цивилизации. Жаль только, что его имманентный бог — это существо 1880 года¹.

Истина и ложь коммунизма

"Самым опасным в коммунизме, — писал Бердяев в первом номере "Эспри"* — является соединение истины и заблуждений. Речь идет не об отрицании истины (в марксизме), а о ее отделении от заблуждения". Уточним: самым опасным в марксизме является сочетание коренных заблуждений с частично правильными и бесспорно плодотворными взглядами, плюс заблуждение относительно причин страдания, которые окружают нас со всех сторон. Заблуждение уничтожают не насилием или другим заблуждением, а истиной. Истина, способная расшатать данное заблуждение, как раз и является той долей истины, которая заключена в заблуждении. Только благодаря истине заблуждение живет, распространяется, завоевывает сердца. Она как бы обладает особой миссией. Только отделив эту истину от заблуждения, которое ее до сих пор держит в своих объятиях, и дав ей выход в историю, мы лишим заблуждение его притягательной силы.

Усеченный реализм

Разоблачение марксизмом буржуазного идеализма и его лицемерия явилось, или могло бы явиться, значительным вкладом в обретающий себя гуманизм. Марксизм давал главный ориентир, на основе которого христиане, в частности, чувствовали свое родство с ним. В этом марк-

¹ Кто-нибудь из марксистов возразит нам, что он вовсе не закрывает для себя ни историю, ни науку. Пусть будет так. Но настало время двигаться вперед. Впрочем, он может быть уверен, что мы оставляем ему поле для деятельности; но мы не сомневаемся в том, что в будущем он или его наследники не преминут изобрести какой-нибудь биологический рационализм, может быть, даже рационализм моральный, и это будет подарком для нас, так как позволит со временем освободить духовную реальность от всех идолов разума.

сизм пошел гораздо дальше, чем фашизм. Для него человек — это человек, живущий в нищете, и именно здесь проходит линия его судьбы. Марксизм понял историческое значение пролетарского движения и первым дал ему целостное обоснование, оправдание, нередко опираясь, впрочем, вопреки самому себе, скорее на твердые моральные постулаты, чем на общеизвестные научные выводы. Там же, где речь идет о формировании идеологий, об отчуждении современного человека, марксизм приближается к надежным выводам.

Но под предлогом разрешения противоположности между духом и материей марксизм переворачивает реальные отношения с ног на голову. Разумеется, нередко марксизм оказывается правым в пределах той плоскости рассмотрения, в которой он располагается, правым в той мере, в какой человек отстает от духовных реальностей и отказывается от собственной свободы: идеологии — это чаще всего продукт интересов, в то время как интересы не столь подвержены влиянию идеологий. Они, по меньшей мере, находятся в постоянном взаимодействии, одна из исторически существеннейших фаз которого замалчивалась идеалистической социологией и психологией. Конечно, и об этом говорилось выше, мы не безразличны ко всему здоровому, что есть в "материализме" и что маскируется используемыми им понятиями. Справедливые слова о "понимании материальной причинности"¹, которое мстит за себя, и о пристрастном толковании буржуазной идеологии. Но для нас речь идет о спасении духовной реальности человека, а не о какой-то там идеологии. Поэтому самые простительные, даже самые здоровые реакции в один прекрасный день должны быть избавлены от инстинкта и получить свет истины.

Уже один тот факт, что марксизм в своем полемическом задоре не сумел различить *материализм* и *реализм* и противопоставить бесплотному спиритуализму интегральный духовный реализм, главные линии которого задолго до его идеалистического искажения проложила классическая философия, показывает, до какой степени несовершенным является создаваемый им образ человека.

Между тем вопреки марксизму мы обосновываем реальность человека совершенно иным образом. Главнейшее призвание человека — это не господство над силами природы. Или, если кто-то предпочитает более широкую формулировку: *господство над силами природы — это не всеобщее и даже не главное средство для осуществления (или хотя бы для понимания) человеком своего призвания.*

Устраним некоторые недоразумения.

Мы знаем, что миллионы людей еще пребывают в цепях; труд для них — это каторга, к тому же им в массовом порядке отказывают в возможности трудиться; нехватка продуктов первой необходимости составляет их повседневную заботу; короче, им недостает минимума материальных условий, необходимых для развертывания духовной жизни. Такое положение пролетарских масс является достаточным основа-

¹ *Maritain J. Humanisme intégral. Ed. Mouton.*

нием, чтобы извинить, даже оправдать грубое пренебрежение со стороны этих масс культурой, или духовными ценностями, которые слишком долгое время казались им как бы искусственно созданным и недоступным для них достоянием эксплуататоров. Именно этого достаточно для того, чтобы оправдать значительные затраты на возрождение народа, особенно в новых странах, который с энтузиазмом трудится для того, чтобы обрести свободу и веру в себя. Повторим, что любая наша критика направлена не против технического развития, необходимого для радикальной борьбы с нищетой, а против систематической мистификации труда, научного разума и индустриализации. Мы опять-таки не присваиваем себе права осуждать людей, которых сбивает с пути страдание и ожесточает унижение, в то время как мы пользуемся привилегией не быть раздавленными поисками элементарных средств существования. Но мы не видим ничего лучшего, чем можно сделать для них, как поддерживать и способствовать созреванию того видения мира, благодаря которому они только и станут людьми, когда нищета будет преодолена; именно это мы и будем делать вместе с ними и благодаря той самой нашей привилегии, какой является свобода.

У нас нет никакой аристократической неприязни (идеалистического происхождения) по отношению к труду рабочего, мы не поддерживаем миф о неприкосновенности природы, истоки которого следует искать в искусственно насаждаемом примитивизме декадентского типа.

Нельзя отрицать также и того, наконец, что проблема страдания и зла целиком оказывается извращенной, когда вся жизнь людей вплоть до их частной и даже внутренней жизни испытывает на себе давление социально-экономического строя, который оставляет свободе лишь минимальную возможность проявить себя. То, что мы извлекли из природы и чего достигла человеческая изобретательность, остается пока весьма малой толикой по сравнению с тем, что из них еще можно извлечь. Не будет самонадеянным вообразить, сколько элементарных страданий было бы устранено, сколько духовных требований было бы осуществлено, сколько человеческих проблем разрешено благодаря новым научным открытиям или лучшему устройству жизни людей. Подвергать критике научный или социальный прогресс под тем предлогом, что он все равно не разрешит всех проблем человека, значило бы прикрывать скверными доводами недостаток воображения или преступную инерцию мышления. Считая, что зло и страдание навсегда останутся в человеке, мы чувствуем себя только увереннее, чтобы безоговорочно сотрудничать в деле возрождения государственных институтов и организаций: это и в самом деле будут механизмы, технологию которых можно четко разработать, они гораздо легче поддаются очищению и развитию, чем каждый человек в отдельности.

Следовательно, научно-промышленная деятельность человека не бесполезна для духовного развития. Она не поражена неизвестно каким первородным грехом. Но когда она присваивает себе жизнь человека и его метафизику, с этим мы согласиться не можем.

Достаточно только посмотреть вокруг, чтобы убедиться в том, что исчезновение элементарных забот и доступ к лучшим условиям жизни с неизбежностью влекут за собой не освобождение человека, а скорее

ведут его к обуржуазиванию и духовной деградации. Покорение природы и создание лучших условий жизни — это приспособление, однако они необходимы для самой жизни и даже для жизни духовной, но до известных пределов; в противном случае это смертоносный процесс. Вот почему в материальном прогрессе мы видим только основание и необходимое, но отнюдь не достаточное условие для более человеческой жизни, а вовсе не средство для ее завершения или элементарного пропитания людей. Революция ради изобилия, комфорта и обеспеченности, если ее мотивы не являются более глубокими, верным путем — через потрясения и взрывы — ведет к универсализации отвратительного мелкобуржуазного идеала, а не к подлинному духовному освобождению. Более справедливое общество, требуемое сегодня настоятельнейшим образом, завтра может оказаться всего лишь обеспеченностью, уменьшением риска в игре человеческих сил. Как и всякая легковесность, в моральном плане это таит в себе опасность расхлябанности. Именно в этом плане мы отвергаем гуманизм комфорта и материального изобилия, а отнюдь не ради аскетизма, который с точки зрения утверждения коллективной нормы остался бы чисто внешним требованием, не обладающим созидающей ценностью. Когда мы утверждаем, что человек всегда находит спасение в бедности, мы не стремимся лицемерно увековечить нищету, которая ведет к деградации. Мы только хотим подчеркнуть значение того, что каждый человек, одолев однажды нищету, становится легкомысленным в своих привязанностях, он умиротворяется: каждый сам должен познать себя и свои силы, найти меру человечности.

Это значит, что мы не противопоставляем революцию духовную революции материальной; мы утверждаем только, что не может быть плодотворной материальной революции, которая не имела бы духовных корней и духовной направленности. Есть марксисты, которые страстно жаждут духовного обновления человека. Мы в этом не сомневаемся. Но тем не менее мы не верим, будто обновления можно достичь путем чисто экономического потрясения, если в него не внести или хотя бы не стремиться внести иные ценности, нежели ценности комфорта и силы. А такое внесение означает радикальный переворот. Тогда глубинная революционная работа будет состоять не в том, чтобы разбудить в угнетенном человеке осознание его угнетенности, направляя его таким образом в сторону ненависти и непомерных притязаний, а следовательно, к новому отречению от себя; она будет прежде всего состоять в том, чтобы указать ему в качестве конечной цели этого восстания ответственность и стремление к самопреодолению, без которых все механизмы будут лишь хорошими орудиями в руках плохих работников; и уже сегодня необходимо воспитывать его в духе ответственного и свободного существа вместо того, чтобы распылять его человеческую энергию в славном коллективном сознании, пусть даже активном, и заставлять ждать чуда от "материальных условий". С точки зрения теоретической это "уже сегодня" является принципиальным тактическим расхождением, которое разделяет нас и лучших из числа марксистов.

Наконец, мы считаем, что достижение господства человека над природой не избавило бы его от раздумий о самом себе и от его старых

болезней. Ни к чему так быстро не привыкают, как к удобствам, и в результате вновь появляется одиночество. Тем, кого нищета ослепляет, позволительно принимать благополучие за счастье, а социальную революцию за Царство Божие. Другие же из-за наивности и нищеты духовной полагают, что проблемы зла и ненависти, нищеты и смерти станут тем менее настоятельными, чем более нормальные условия жизни им будут обеспечены.

Если в канун войны старый сциентистский рационализм пережил свое время, доказал свою близорукость и свою неспособность отделить себя от исчерпавшей себя упадочной цивилизации, открывая перед современным человеком безграничные технические возможности, послевоенный научно-промышленный взрыв в новой форме привел его к опьянению от всех этих завоеваний сказочных земель и достижений науки, имеющих сугубо внешний характер и не обеспечивающих ему подлинного бытия. Но опыт все равно возвращает к тому же: ни мощь, ни умствующий разум не удовлетворяют призвание человека; новое развлечение, недолговечная цивилизация — меняются только цепи, а время расплаты отодвигается.

Марксизм против личности

Следовательно, в конечном итоге оказывается, что главное упущение марксизма — это недооценка внутренней реальности человека, реальности личной жизни. В мире технического детерминизма, как и в мире ясных идей, личности нет места.

Представляется, что в какой-то момент Маркс совсем близко подошел к пониманию личностной диалектики, в частности, в своем анализе "отчуждения". Отчуждение рабочего в чуждом ему труде, буржуа — в том, чем он обладает, потребителя — в мире, обезчеловеченном коммерциализацией товаров, — вот сколько, как мы считаем, существует форм обезличивания, то есть растущей бездуховности, которая на место мира живой свободы ставит мир предметов.

Между тем именно здесь мы непосредственно соприкасаемся с тем, что противоположно нашему учению: оптимизм, который в противовес фашизму исповедует марксизм, имея в виду будущего человека. Речь идет об *оптимизме человека коллективного, прикрывающем радикальный пессимизм личности*. Концепция отчуждения предполагает, что индивид не способен сам себя изменить, избежать самомистификации; в тщетном усилии он ускользает, убегает от самого себя, отчуждается, оставаясь лицом к лицу лишь с частичной реальностью. Массы же, напротив, являются непоколебимыми, основательными и творческими: они удерживают индивида на земле и преобразуют его, как бы направляя его благодаря своим структурам.

Это означает, будто в личность можно внедрить какую угодно идеологию. Это означает, будто в массы можно внедрить какую угодно идеологию. Таким образом, массы рассматриваются как орудие дрессировки личности, а идеология — как орудие дрессировки масс. Но ни личность, ни массы не терпят дрессировки, и тщетно было бы этого

хотеть; ни личность, ни массы не создают идеологию: они только испытывают ее влияние, пребывая в толпе и передавая ее от человека к личности. Марксистская диктатура может быть только рационалистической, потому что она не знает другого сплочения, кроме того, которое возникает из дрессировки, и не признает ни радикального сотрудничества между личностями, ни ценности испытания. Находясь в зависимости от рационализма, скрепляя массы партийными лозунгами, марксизм в основе своей базируется на исходном пренебрежении к личности. В противоположность ему мы утверждаем, что *только личность несет ответственность за свое спасение и что только ей принадлежит миссия привнести дух туда, откуда он исчез*. Массу создают лишь условия существования, жизненно необходимые, но лишенные творчества. Если масса и обладает ценностью, то только потому, что ее составляют личности, и только благодаря их единению, предварительным условием которого является жизнеутверждение каждой из них. Марксистская революция, напротив, утверждается как революция масс не только в том очевидном смысле, что для низвержения сильной власти надо собрать равную ей силу, но и в том более значимом смысле, что только массы являются творцом революционных ценностей или даже шире — ценностей человеческих. Учитывая весь духовный опыт предшествующих веков, мы выступаем против такого духовного господства коллективного человека.

Надо добавить, что невозможно из плоскости существования перейти к тому недоступному центру личности, от которого всякое действие получает свою значимость, а человек — ответственность только посредством индивидуализации выводов всеядной науки. Как раз наоборот — лишь личность может поставить человеческую отметку на всех творениях своих рук и ума. Следовательно, марксизм исходит из ложного начала, когда отвечает нам, что его будущий строй — это индивидуализированный строй, где каждый человек получает по потребностям, определяемым с помощью науки. Нам не чуждо его стремление организовать гигиену умственного труда индивида после окончания периода революционного аскетизма. Однако выявляется, что его коммунизм — это всего лишь утонченный индивидуализм. Нам остается показать, что личность, во имя которой мы выдвигаем свои требования, — это нечто совсем иное, чем более осведомленный индивид.

II. ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНАЛИЗМ?

1. Принципы персоналистской цивилизации

Персоналистская цивилизация — это цивилизация, структуры и дух которой направлены на то, чтобы каждый из составляющих ее индивидов мог реализовать себя как личность. Она признает их реальность и целевые установки, отличающие их от простой суммы индивидуальных интересов и имеющие верховенство над интересами индивидов,

взятых в материальном плане. Тем не менее их конечная цель состоит в том, чтобы дать каждому человеку возможность жить в качестве личности, то есть возможность развивать максимум инициативы, ответственности, духовной жизни.

Что такое личность?

Стремление дать а priori определение личности в начале главы было бы нарушением нашего правила. Нам надо было бы включить в такое определение те философские и религиозные принципы, по поводу которых мы сказали, что их необходимо оградить от всякой путаницы и эклектизма. Но если требуется некоторое определение, достаточно строгое с точки зрения поставленных нами целей, то мы скажем:

Личность — это духовное существо, конституируемое, как таковое, способом существования и самостоятельностью в своем бытии; она поддерживает это существование посредством принятия некоторой иерархии свободно применяемых и внутренне переживаемых ценностей, посредством ответственного включения в деятельность и постоянно осуществляемого обращения; таким образом, она осуществляет свою деятельность в свободе и сверх того развивает посредством творческих актов свое призвание во всем его своеобразии.

Из-за намеренной краткости этого обозначения его нельзя принимать за подлинное определение. В действительности, поскольку личность является присутствием человека, его конечной характеристикой, она не поддается строгому определению. Кроме того, она не является объектом чисто духовного опыта, отделенного от всякой разумной деятельности и чувственного мира. Но она раскрывается через имеющий решающее значение опыт, предложенный каждому человеку, живущему в свободе; речь идет не о непосредственном опыте субстанции, а о последовательно развивающемся опыте жизни, личной жизни. Никакое понятие не может отобразить это. Для тех, кто еще не подошел к такому опыту, не соприкоснулся с ним, все наши требования будут непонятными, недоступными. В пределах, задаваемых нам избранными рамками рассмотрения, мы можем лишь описать личную жизнь, ее разновидности, ее пути и призвать человека пройти по ним. Учитывая некоторые возражения, адресованные персонализму, необходимо, конечно, признать, что есть люди, которые остаются "слепыми к личности", подобно тому как другие люди остаются слепыми к живописи или глухими к музыке, только с тем различием, что в первом случае это слепцы, в какой-то степени ответственные за собственную слепоту: личная жизнь — это не какой-то особый опыт, а в строгом смысле слова завоевание, совершить которое предложено всем, по меньшей мере, если преодолен известный уровень нищеты.

Скажем сразу же, что к этому требованию основополагающего опыта персонализм добавляет утверждение ценности, акт веры: утверждение абсолютной ценности личности. Мы не говорим, что личность человека — это Абсолют (хотя для верующего Абсолют — это Личность, а строгость термина заставляет сказать, что духовное может быть

только личностным). Мы также предостерегаем против смешения абсолютности человеческой личности с абсолютностью биологического или юридического индивида (в дальнейшем мы покажем бесконечное различие между тем и другим). Мы хотим сказать, что личность, как мы ее обозначаем, — это абсолютное начало по сравнению с любой другой, материальной или социальной, реальностью и любой другой человеческой личностью. Ее никогда нельзя рассматривать как часть некоего целого: семьи, класса, государства, нации, человечества. Никакая другая личность, а тем более никакой коллектив, никакой организм не могут на законных основаниях использовать ее как средство. Согласно христианскому учению, даже Бог уважает ее свободу, внутренне вдохновляя ее: теологическое таинство свободы и первородного греха покоится на этом достоинстве, доверенном свободному выбору личности. У кого-то такое утверждение ценности может быть результатом решения, менее иррационального и более обогащенного опытом по сравнению с другими ценностными постулатами. Для христианина оно выковывается на основе веры в то, что человек создан по образу Бога уже в своем естественном строении и что он призван совершенствовать этот образ через все более глубокое участие детей Бога в высшей свободе.

Если начинают с того, что любой диалог о личности ведут не в этой глубинной плоскости существования, а ограничиваются выдвижением требований в пользу публичных свобод и прав воображения, то такая позиция принимается без особого внутреннего сопротивления, ибо тогда рискуют защищать только привилегии индивида, которые во многих обстоятельствах должны уступать требованиям определенной организации общественного порядка.

Когда мы говорим о защите личности, то нас охотно подозревают в желании в стыдливой форме восстановить старый индивидуализм. Поэтому как раз и настало время провести более строгое различие между *личностью* и *индивидом*. Это различие, естественно, вынуждает нас давать описание личной жизни, следуя от внешней стороны к внутренней. И на этом пути мы обнаруживаем пять основополагающих моментов.

1) *Воплощение и вовлечение*

Личность и индивид

Как мы уже сказали, не бывает спонтанного опыта личности. Когда впервые я пытаюсь постичь себя, то сначала схватываю себя в качестве расплывчатого образа на поверхности своей жизни и передо мною предстает скорее некоторая множественность. Я получаю о себе неопределенные, меняющиеся образы, которые дают мне разрозненные акты посредством многократного их отображения, и я наблюдаю, как в них циркулируют различные персонажи, в которых я утопаю, рассеиваюсь или ускользаю от себя. Я с удовольствием хотел бы овладеть всеми ими в этом распылении, что представляется мне своего рода фантазией, легкой и возбуждающей. Это распыление, это растворение личности

в материи, этот движущийся во мне поток неупорядоченной и безликой множественности материи, объектов, сил, влияний — именно это мы будем называть *индивидом*.

Но было бы ошибочным представлять себе индивидуальность как такое упрощенное и пассивное подчинение поверхностному переживанию множества моих восприятий, эмоций и реакций. В индивидуальности содержится более скрытная потребность, являющаяся источником *собственности*, которая в случае с самообладанием является тем же, чем алчность является в подлинном обладании. Она дает индивиду как бы первичную позицию, которой он подчиняется, и эта позиция заставляет его ревновать, претендовать, завидовать, а затем оберегать любую собственность, в результате чего он создает для себя неприступную крепость из эгоизма, чтобы защищаться от неожиданностей любви.

Распыление, алчность — вот два признака индивидуальности. Личность же — это обладание и выбор, она — само великодушие. Следовательно, по своей внутренней направленности она идет в прямо противоположном направлении по сравнению с индивидом.

Вместе с тем не следовало бы раз и навсегда фиксировать это необходимое различие между личностью и индивидом, пользуясь таким пространственным образом. Если говорить языком, который просто удобен нам, то во мне несомненно не бывает такого разрозненного состояния, которое не было бы хотя бы в какой-то степени персонализированным, ни какой-либо зоны, где моя личность не была хотя бы в какой-то степени индивидуализирована, или, что то же самое, — материализована. В пределе индивидуальность — это смерть: распад элементов тела, тщетность духовного порыва. Личность, напрочь лишенная алчности и целиком сосредоточившаяся на своей сущности, опять-таки была бы мертва, хотя и в другом смысле, например в христианском смысле перехода в вечную жизнь. В этом противопоставлении индивида личности следует усматривать только двухполярность, диалектическую напряженность между двумя внутренними движениями: одно — к распылению, другое — к сосредоточению. Это значит, что личность субстанциально воплощена в человеке, смешана с его плотью, оставаясь трансцендентной по отношению к ней, соединенной с ней столь же внутренне нерасторжимым образом, как вино смешивается с водой. Отсюда вытекают многие важные следствия:

никакой спиритуализм безличного духа, никакой рационализм чистой идеи не имеют отношения к судьбам человека; все они — бесчеловечные игры бесчеловечных мыслителей; игнорируя личность, даже тогда, когда они возвеличивают человека, они рано или поздно приходят к ее подавлению; не бывает более жестокой тирании, чем та, которая осуществляется во имя идеологии;

тесное переплетение духовной личности и материальной индивидуальности приводит к тому, что судьба первой непосредственно зависит от тех условий, которые создаются второй. Мы первыми заявляем, что пробуждение личной жизни возможно вне рамок героизма, но только при достижении минимума благосостояния и обеспеченности. Самое скверное зло капиталистического и буржуазного строя состоит не в умерщвлении людей, а в подавлении у большинства из них — либо

с помощью нищеты, либо в результате следования мелкобуржуазному идеалу — возможности или даже намерения быть личностью. Когда миллионы людей оказываются таким образом отстраненными от призвания человека, первым долгом каждого из нас становится не спасение своей личности (в этом случае мы думаем скорее о какой-либо особой форме *своей* индивидуальности, если отстраняемся подобным образом), а ее вовлечение в деятельность (непосредственную или будущую), что и позволит изгнанникам вновь обрести минимум материальной свободы. Очевидно, что жизнь личности — это не обособление, не бегство, не отчуждение, а *присутствие и вовлечение*. Личность — это не внутренняя отставка, не строго очерченная область, к которой извне добавлялась бы моя деятельность. Это — активное присутствие человека во всей его целостности, вся его целеустремленная деятельность.

Тэн, Бурже полагали, что открыли конкретного человека, сопрягая сферу социально-биологической причинности со сферой моральных отношений или собственно человеческих актов и считая, что обе эти сферы, взятые по отдельности или вместе, обуславливаются особого рода механической причинностью. Чтобы в противоположность этому чудовищу с двумя головами восстановить единство воплощенного человека, социалистический реализм утверждает силу и законодательство материи. Персонализм вновь находит воплощение личности и смысл ее материальной укорененности, не отрицая, однако, ее трансцендентность по отношению к индивиду и материи. Только этот смысл спасает одновременно живую реальность человека и направляющую его истину.

2) Целостность и своеобразие

Личность и призвание

Хотя и хорошо напомнить об этих зависимостях личности, являющихся вместе с тем необходимой опорой ее развития — кто хочет быть ангелом, тот оказывается глупцом, — тем не менее не следует все же забывать о том, что личность устремляется в направлении, противоположном индивидуальности. Индивидуальность — это распыление, личность — это объединение. Воплощенный индивид — это иррациональный образ личности, через который к ней поступает грязная пища, всегда более или менее смешанная с небытием. Мы постигаем личность в ее собственной сущности, опираясь не на ее рациональность (не будем так говорить, ибо слово это расплывчато), а на интеллектуальную законодательную активность.

В самом деле, известно, с каким трудом даже биологическая индивидуальность, уже охарактеризованная гораздо лучше, чем индивидуальность физическая, поддается определению. Человеческий индивид, это высшее животное, появляется в результате случайного столкновения, неустойчивого соединения, *сомы*, и распыленной непрерывности *зародышевой плазмы*, в то время как и то и другое в разной степени зависят от среды, от которой они в свою очередь никогда не отделены точно определенным кругом явлений.

Перенесемся в сферу сознания, стоящего выше моей распыленной индивидуальности; когда я едва продвигаюсь вперед, мне удастся заметить то, что может казаться как бы напластованиями, заготовками для моей персональности: персонажи, роль которых я играю, рождающиеся из соединения моего темперамента и каприза, часто остающиеся в ней или неожиданно возвращающиеся в нее; персонажи, которыми я был и которые выживают по инерции или же благодаря трусости; персонажи, которыми я, как я думаю, был, потому что я им завидую и воспроизвожу их или же позволяю оставить во мне след благодаря моде; персонажи, которыми я хотел бы быть и которые мне дают уверенность, потому что я убежден, будто являюсь ими. То тот то другой из них берет во мне верх: и ни один мне не чужд, ибо каждый является огнем, зажженным от невидимого пламени, горящего во мне; но каждый оказывается для меня убежищем, в котором я прячусь от того более скрытого огня, который способен осветить все их крохотные истории, рассеять все их маленькие хитрости.

Оставим персонажей в стороне и пойдем глубже. Вот мои желания, мои хотения, мои надежды, мои призывы. Я ли уже это?! Одни из них как бы поднимаются из моей крови. Мои надежды, мои желания предстают передо мною достаточно скоро как небольшие ограниченные системы, противостоящие жизни, непринужденности и любви. Мои действия, в которых, как считаю, я наконец узнаю самого себя, настолько выразительны, насколько даже лучшие из них представляются мне чуждыми, как если бы в последний момент мои руки оказались замененными чьими-то чужими руками.

Еще одно усилие, и я разбиваю это сопротивление, чтобы проникнуть еще далее внутрь. Вырисовывается пока еще анархическая клеточная организация центров инициативы, которые, однако, маскируют более глубокие ориентации. Возрастающая *унификация* всех моих актов, а через них и моих персонажей, или состояний, — это уже собственно личностный акт. Это не абстрактная систематическая унификация, а нарастающее вычленение некоторого духовного принципа жизни, который не сводит на нет то, что интегрирует, а спасает, реализует, творчески преобразуя изнутри. Этот живой творческий принцип и есть то, что в каждой личности мы называем *ее призванием*. Его первоценность состоит не в том, что оно своеобразно, ибо, характеризуя человека уникальным образом, оно сближает его с тем, что обще всем людям. Но оставаясь объединяющим принципом, призвание в то же время и *сверх того* является *своеобразным*. Следовательно, цель личности ей каким-то образом присуща внутренне: личность — это непрерывное следование собственному призванию.

Отсюда вытекает, что цель воспитания должна состоять не в том, чтобы формировать ребенка по меркам какой-то функции или же придавать ему какой-либо устоявшийся облик, а в том, чтобы способствовать его созреванию и вооружать (а иногда и разоружать) его наилучшим образом, чтобы открыть то призвание, которое составляет самую его сущность и единый центр его человеческой ответственности.

Правовой, политический, социальный и экономический механизм в целом не имеет никакого иного назначения, кроме обеспечения фор-

мирующимся личностям, во-первых, зоны изоляции, защиты, деятельности и досуга, которая позволит им при полной духовной свободе познать свое призвание; во-вторых, помощи (без принуждения) в избавлении от конформизма и ошибочных ориентаций; наконец, в-третьих, через социально-экономический организм материальные средства, необходимые для того, чтобы призвание каждой из личностей смогло максимально плодотворно выразиться. Необходимо указать, что эта помощь нужна всем без исключения, что она должна быть сдержанной, ненавязчивой и давать простор риску и инициативе. *Личность сама находит свое призвание и сама строит свою судьбу. Никто другой — ни человек, ни коллектив — не может брать на себя этот груз ответственности.* Любой конформизм и духовное угнетение находят в этом себе приговор.

3) Превосхождение

Личность и снятие облачений

При первом приближении мы определили личность как унифицирующее призвание. Это выражение кажется нам обозначением некоей модели, целиком сложившейся, подобно вещи. Между тем мы непосредственно не имеем дела с завершенной реальностью этого призвания. Призвание моей личности и его осуществление всегда остаются незавершенными.

Моя личность — *это не мое самоосознание.* В зависимости от глубин, которые обнаруживает в этом осознании мое личное усилие, оно открывает капризы индивида, глубже — персонажи, роли, которые я играю, еще глубже — мои желания, действия, в той или иной мере опирающиеся на мое призвание. Хотя я и называю *персональностью* не непрерывно меняющиеся лики моей индивидуальности, а ту слитную конструкцию, которая в каждый момент обнаруживает свое присутствие как временный результат моего усилия персонализации, но это все еще не моя личность, а только более или менее неустойчивая пульсация моей личности, которую я постигаю. Персональность интегрирует отражения и проекции индивида, различных персонажей, с которыми я себя идентифицирую, и более тонкие, иногда едва осознанные приближения к личности — с помощью обостренного инстинкта. Но моя личность, как таковая, всегда остается по ту сторону своей актуальной объективации, *сверхсознательной и сверхвременной*, более широкой по сравнению с ее видимыми мне образами, более внутренней, чем построения, с помощью которых я подвергаю ее испытанию.

Таким образом, реализация личности — это отнюдь не концентрация в индивиде или персональности благоприобретенных богатств, напротив, это ее трансцендентность (или, если быть более скромным в выражениях, "трансцендирующее движение"), то есть постоянное усилие *превосхождения и избавления от обладания*, усилие отвержения, отказа от владений, тяга к одухотворению. Здесь мы коснулись процесса одухотворения, характерного для персоналистской онтологии; он *одновременно является и процессом избавления от обладания, и процессом*

персонализации. Мы не говорим об *интериоризации*, ибо это слово остается расплывчатым и не указывает, каким образом это снятие приобретенных обличей приводит к возникновению более мощной силы вовлечения и единения. Вслед за Бердяевым можно сказать, что жить как личность — значит непрерывно переходить из той зоны, где духовное оказывается *объективированным*, натурализованным (то есть от внешнего к внутреннему: от механического, биологического к социальному, психологическому, моральному), к экзистенциальной *реальности субъекта*.

Здесь опять-таки необходимо избавиться от магии слов: субъект в том смысле, в каком мы его здесь берем, — это способ духовного существования; рационализм слишком долго приучал нас использовать в обыденном языке слово "субъективность" как символ иррациональности. Субъект — это одновременно определенность, свет, призыв, возникающий внутри существа, сила трансцендирующего движения, присущая бытию. Он не только не совпадает с субъектом биологическим, социальным или психологическим, но и непрерывно прорывает их временные рамки, чтобы призвать их к объединению, по меньшей мере, к поиску самого себя с помощью остающихся открытыми значений. Движимая его импульсом жизнь личности есть в сущности *история*, и эта история необратима.

Именно эта истинная жизнь личности, пульсирующая во всех наших актах, является четким ритмом человеческого существования. Только она отвечает потребности в подлинности, в вовлечении, в полноте, которые марксистский материализм и фашистский натурализм стремятся представить в качестве объективной реализации человека. Истинную жизнь личности нельзя ничем заменить. Заблуждение математиков, писал Энгельс, состоит в том, что они считают, будто индивид один может осуществить то, что в силах сделать все человечество в его бесконечном развитии*. Мы отвечаем, что заблуждение фашизма и марксизма состоит в том, что они считают, будто нация, государство или человечество в своем коллективном развитии могут и должны взять на себя то, что может и должна взять на себя личность в своем личностном развитии.

Имеющийся у нас основополагающий опыт личностной реальности — это опыт *разбитой судьбы*, судьбы трагичной, как уже было сказано, опыт, протекающий в *экстремальной ситуации*. Тревога, подвижность — это не ценности сами по себе. Но в силу того, что они разоблачают наши благополучие, осмотрительность, хитрость, они открывают нам, что в наших руках нет никакого лекарства от мучений, что мы не найдем успокоения ни в увеличении изобилия, способствующего удовлетворению наших противоречивых желаний, ни даже в упорядочении, поскольку оно только заставит нас устремиться вперед. Жертвенность, риск, опасность, страдание, отсутствие чувства меры неизбежно входят в судьбу личной жизни. Через них слабость, а кто-то скажет — грех проникают в наш совокупный опыт.

Вместе с ними в самую сердцевину нашей человечности входит страдание. Ему нет места ни в мире чистого разума, ни в мире науки,

и тем не менее, связанное с жертвенностью, оно остается суверенным испытанием всякого опыта. Мы должны бороться против любой несправедливости, любого беспорядка, которые открывают дорогу страданию. Мы должны защищать себя от всякой бездумной торговли с ним, от всякого легковесного отказа от радости, которая соединяет духовное со страданием. Но мы знаем, что страдание остается неизбывным, ибо оно укоренено в самой сердцевине нашей личности независимо от наших психологических состояний и нашего сознания. Там оно протягивает руку навстречу смерти. Своих единомышленников мы узнаем по тому признаку, что они не поддаются искушению счастья.

И все же мы узнаем их в том — и здесь нет никакого противоречия, — что они любят радость, полноту и даже безмятежность, если таковая дана им, ибо это плодотворный лучезарный мир: мы не хотим посредственности. Мы жаждем обладания и наслаждения. Но мы великодушны ко всему, что является великодушным, не считая при этом, что было бы отступничеством бороться за своеобразие людей и любить красоту вещей и в то же время истину, любимую ради нее самое. Мы — люди, ищущие свет, который высветил бы живой порядок, ненавязчивое освобождающее бескорыстие в полноте мира, в полноте человеческих сердец. Мир личности, как самоуверенно пишет один молодой коммунист, — это не тот мир, которого достигает человек, когда он состарится, отбросив или обуздав свои желания. Но он представляет собой еще в меньшей мере тот безнадежный бег к небытию, который усматривают в нем те, кто только слышал, что говорят о персонализме в статьях о Кьеркегоре. Это мир, зовущий к сверхбытию, это мир надежды.

В противоположность миру без глубин, о котором говорится в различных формах рационализма, личность — это свидетельство таинства. Здесь надо поостеречься недоразумения. Таинство — это не нечто таинственное, не та бумажная декорация, за которой скрывается совершенно определенная тщеславная вульгарность, складывающаяся из интеллектуальной немощи и легковесной потребности в своеобразном чувственном ужасе перед тем, что сокрыто. Это не усложнение механических вещей. Это не нечто редкостное и конфиденциальное или же на время освященное невежество. Это само присутствие реальности, столь же обыденное, столь же универсальное, как и поэзия, которой оно отдается с гораздо большей охотой. Я познает его в себе с чистотой, гораздо большей, чем где бы то ни было, познает как шифр собственного своеобразия, не поддающийся расшифровке, ибо оно раскрывается как позитивный центр активности и рефлексии, а не только отказов и уверток. Мы узнаем своих единомышленников потому, что они обладают чувством таинства, то есть видят подоплеку вещей, людей и слов, и это сближает нас друг с другом; в конечном счете, мы узнаем их потому, что они связывают таинство со своей непорочностью, с тем, что имеется в них смиренного, потому что они не изображают из себя хитрецов.

Это усилие личностного трансцендирующего порыва составляет собственно человеческое качество. Оно различает людей между собой не только по своеобразию их несоизмеримых призваний, но прежде всего по тому внутреннему качеству, которое дается каждому из них и которое отбирает людей совсем не по их наследственности, талантам или поло-

жению, а по чему-то, коренящемуся в самой сердцевине их существа. Таким образом, воссозданная изнутри личность не терпит никакой материальной или коллективной мерки, всегда остающейся меркой безличностной. Именно в этом смысле можно было бы сказать о персоналистском гуманизме словами, донельзя искаженными в обыденном употреблении, что он является антиэгалитаристским, или аристократическим. Но только в этом смысле. Поскольку в наших глазах каждая личность обладает особой ценностью, а для нас, христиан, ценностью бесконечной, между личностями существует своего рода духовная тождественность, которая запрещает навсегда любой из них относиться к другой личности как к средству или же разделять людей на классы по наследственности, социальным значимости и положению. В этом смысле наш персонализм представляет собой фундаментальный антиаристократизм, что нисколько не исключает функциональные организации, но ставит их на соответствующее место и предупреждает тех, кто пользуется ими, от двух взаимосвязанных тенденций: злоупотреблений по отношению к себе и злоупотреблений по отношению к другим. Практически такая позиция приводит нас к необходимости опасаться появления во всякой организации, во всяком строе одеревенелости системы взаимосвязей и одновременно фатального расслоения на руководителей и руководимых, автоматического превращения функционеров в особую касту людей. Институты должны предупреждать эти связанные со структурой дефекты любого управления людьми, отделяя привилегию от ответственности и постоянно следя за гибкостью социальных органов.

Следовательно, персонализм отвергает и аристократизм, который разделяет людей только по внешним, лежащим на поверхности критериям, и демократизм, который хотел бы игнорировать принцип внутренней свободы и своеобразия людей. Это две формы материализации, объективации личной жизни. Аристократизм и демократизм прямо противоположны персонализму и открываемым им перспективам.

4) Свобода

Личность и автономия

Мир объективных отношений и детерминизма, мир позитивной науки — это одновременно самый безликий, самый бесчеловечный и самый отдаленный от существования мир. Личности в нем нет места, потому что в перспективе, которую этот мир получает от реальности, он никак не считается с тем новым измерением, которое приходит в него вместе с личностью: речь идет о свободе. Мы говорим здесь о духовной свободе. Ее следует тщательно отличать от свободы буржуазного либерализма.

Авторитарные режимы имеют обыкновение утверждать, что в борьбе с либерализмом они защищают подлинную свободу человека, собственным актом которой является не возможность приостанавливать свои действия или безостановочно отказываться от них, а акт *вовлечения*.

Они правы в том, что либерализм, лишенный всякой веры, отождествил ценность свободы, ее конечную цель со способом ее осуществления.

Духовность свободного акта представляется ему тогда состоящей не в том, чтобы определять или хотя бы намечать цель, а в том, чтобы стоять перед выбором, всегда оставляя его возможным, незавершенным, неосуществленным. Делать вывод, переходить к действию — это либерализм считает крайней вульгарностью.

Угнетенное положение личности, к которому привлек внимание марксизм, разделило людей там, где речь идет об осуществлении духовной свободы. Одни, в достаточной степени избавленные от материальной нужды, имеющие возможность позволить себе роскошь этой свободы, превращают ее в вид своего досуга, связанного с бесконечным наслаждением и полностью лишенного любви. Другие же, кому не дано знать иной свободы, кроме свободы политической, получают только ее видимость в условиях строя, постепенно отнимающего у них всякую дееспособность и лишаящего тех, кто ею пользуется, свободы материальной, которая делала бы для них возможной подлинную духовную свободу.

Фашизм и марксизм правы, когда разоблачают иллюзорность и несостоятельность такой свободы. Свобода личности состоит в том, чтобы самой обретать свое призвание и свободно находить средства для его реализации. Это не свобода уклонения от действия, а свобода вовлечения в действие. Она не только не исключает материальное принуждение, как таковое, но в самых существенных своих проявлениях требует дисциплины, являющейся неременным показателем ее зрелости. В рамках социально-экономического строя она требует также необходимых материальных принуждений всякий раз, когда в силу данных исторических условий материальная свобода, предоставленная личностям или группам личностей, оборачивается порабощением или ставит в униженное положение другую личность. Достаточно сказать, что требование духовной свободы никак не связано с защитой жульничества, со свободой скрытого угнетения, которые либеральная анархия внедрила в социально-политический строй современных демократий.

Но насколько необходимы эти уточнения, настолько же важно разоблачать примитивно-грубую дискредитацию, которой кое-кто ныне стремится подвергнуть свободу вместе с агонизирующим либерализмом. Свобода личности — это *вовлечение*. Однако вовлечение является собственно личностным только в том случае, если оно оказывается вновь и вновь возобновляемым *включением в действие*, добровольным согласием вести освободительную духовную жизнь, а не просто *связью*, устанавливаемой силой, или энтузиазмом, вызываемым общественным конформизмом. Недопущение анархии в закрытой авторитарной системе не означает организации свободы.

Следовательно, извне личность не может получить ни духовную свободу, ни сообщество. Все, что может, и все, что должен сделать для личности институциональный строй, — это уравнивать между собой определенные препятствия внешнего характера и способствовать движению личности по определенному направлению. Это означает:

- 1) уничтожить любую форму угнетения личности;
- 2) обеспечить личности независимость частной жизни, которая дала бы ей возможность и гарантию выбора деятельности в системе социальных принуждений;

3) организовывать все социальные механизмы на основе принципа личной ответственности, так чтобы его автоматическое действие было направлено на расширение выбора каждого индивида.

Вот таким образом можно достичь в принципе *негативного* освобождения человека. Что же касается подлинной духовной свободы, то ее надлежит завоевывать каждому самостоятельно. Нельзя, не впадая в утопию, путать сокращение материальной тирании с "царством свободы".

5) Причастность

Личность и сообщество

Мы говорили, что индивид, обладающий персональностью (объективированные и материализованные аспекты личности), имеет своей главной движущей силой чувство притяжения и обладания. Индивиды находят удовольствие в обеспеченности, не доверяют друг другу и отвергают друг друга. Индивиду, следовательно, чтобы достичь личности, недостаточно выйти из распыленного состояния. "Персональность", у которой будет изменена кровь и переделано лицо, человек, которого поставят на ноги и активность которого станет более напряженной, может получить лишь плодотворную пищу для взращивания собственной личности.

В действительности после выхода человека из стадии индивидуализма перед сложным делом его персонализации открываются два пути.

Один ведет к апофеозу "персональности", к ценностям, которые с возрастающей скоростью движутся от агрессивности к героической напряженности. Герой — это ее высшее достижение. Здесь можно было бы выделить множество разветвлений: стоическое, нищеанское, фашистское.

Другой ведет к подлинным глубинам личности, которая обретает себя, только если отдает себя другим, и путь этот ведет к тайнам бытия. В конце этого пути стоит святой, подобно тому как в конце первого пути стоит герой. Второй путь также требует героизма и духовной силы, но только преобразованных: скажем, это путь, который человек соизмеряет с собственной возможностью реального присутствия, со способностью брать и отдавать. Здесь мы касаемся центрального парадокса личности. Личность оказывается местом, в котором пересекаются, борются, взаимодействуют напряжение и пассивность, обладание и дарение. Пока нам достаточно того, что мы направили взгляд на эти глубины и обозначили их место. Различные духовные союзы, которые должны вести совместную битву за персоналистскую организацию града человеческого, приносят в эти конечные и вполне достижимые реальности, в способ, которым можно закрепить возведенное здание, только что описанное нами, различного рода устремления, которые уже выходят за пределы этого града.

Таким образом, мы находим сопричастие, внутренне присущее самой личности, неотделимое от ее существования.

2. Персоналистская цивилизация. Принципы общественной цивилизации

Сегодня, когда красноречие отвергает добродетели либерализма, чтобы петь дифирамбы коллективному началу, нелишним будет в свою очередь разоблачить все те иллюзии, которые подготавливаются с этой стороны после того, как испита чаша иллюзий свободы¹. Ни возможность манипулирования группами, ни их чрезмерное разрастание не убеждают нас в том, что дух сообщества делает реальные и основательные успехи. Увеличивающееся богатство может скрывать глубокое органическое разложение. Как отмечает Бергсон, беспорядочное размножение может быть признаком абсурда, а гигантизм — признаком слабости. Со времени окончания войны мы уже насмотрелись на таких величественных гигантов, которые казались крепко скроенными, но в один прекрасный день рухнули все до основания. После того как мы выявили основы личности, необходимо, таким образом, отыскать органические условия подлинного сообщества.

Степени сообщества

Обезличивание современного мира и обесценивание идеи общности представляются нам одним и тем же разложением.

Они приводят к одним и тем же побочным результатам в движении человечества: к безликому обществу, состоящему из людей, не имеющих лиц, к миру безличного начала², где над индивидами, лишенными характеров, витают расплывчатые идеи и мнения, к миру нейтральных позиций и объективного познания. Именно в этом мире царит мотивация, выражаемая безликими "говорят", "делают", которые превозносят массы, скопления людей, нередко подвергающиеся насильственным воздействиям и не обладающие индивидуальной ответственностью³. Когда же наконец наши политики оставят эти оскорбительные слова, из которых они стряпают мифы? Массы — это остаточные явления, а не начинания. Обезличенная в каждом из своих членов, а следовательно, обезличенная как целое, масса характеризуется своеобразной смесью анархии и тирании, тиранией анонимности, самой оскорбительной из всех, тем более что она прикрывает силы, которые поддаются точной идентификации и в свою очередь прикрываются ее обезличенностью. Мир пролетариев, затерявшийся в сумраке каменных городов-гигантов, жилищ-казарм, где господствуют политический конформизм и экономическое подавление, тяготеет именно к образованию массы. мелкобуржуазное уныние требует сплочения в массу. Парламентская либеральная демократия,

¹ Esprit, décembre 1934: Révolution personaliste; janvier 1935: Révolution communautaire.

² Maxime Chastaing. L'on / Esprit, août-septembre 1934.

³ Мы даем здесь техническое определение термину "масса". Мы не считаем, что любая реальность, к которой применимо это наименование, соответствует такому образу, хотя всегда к нему тяготеет.

забывая о том, что первоначально демократия была требованием личности, толкает к сплочению в массу. "Общества" в них могут множиться, "коммуникации — сближать" их членов, но никакое сообщество невозможно в мире, где уже больше нет *ближнего*, где остаются только *подобные* друг другу люди, которые даже не смотрят в сторону друг друга. Там каждый живет в одиночестве, не осознавая его как одиночество, не зная присутствия другого; более того, он называет "своими друзьями" каких-то двойников самого себя, которые могут его удовлетворить и в которых он может быть уверенным.

Первым актом приближения к личной жизни является осознание анонимности собственной жизни. Соответственно первым шагом моего приближения к общественной жизни является осознание моего безразличия по отношению к другим, поскольку оно вызвано другими. Все это лежит ниже того порога, где начинается взаимная жизнь личности и сообщества.

Массы бывают иногда охвачены сильнейшей потребностью самоутверждения и превращаются в то, что мы уже называли *обществами нашего особенного брата*. Например, "публика" или "фронт" борьбы. Здесь мы сталкиваемся с первой ступенью сообщества. Мир "безличного" не имел границ, "мир нашего особенного брата" наделяется определенными качествами, привычками, энтузиазмом. Мир безличного не обладал общей волей, "мир нашего особенного брата" имеет свои границы и энергично утверждает в них. Мир безличного — это мир инертного движения и безразличия; "мир нашего особенного брата" сплачивается сознательным (а часто и героическим) отречением в пользу общего дела. Однако это насильственно утверждаемое "мы" для каждого из его членов, определяющих себя этим "мы", не является личным делом, вовлечением его особенной воли. Слишком часто оно служит ему средством для того, чтобы избежать тревоги, когда бывает необходимо сделать выбор, принять решение, спрятавшись за столь удобный коллективный конформизм. Он приписывает себе победы этого "мы" и списывает на них собственные ошибки. Чтобы возбудить себя и тем самым привести в возбуждение индивида, эта элементарная форма сообщества, если не принять мер предосторожности, может обернуться против личности. Такое сообщество тяготеет к гипнотическому действию, подобно тому как анонимная масса тяготеет к спячке. Как мы уже видели в случае с фашизмом и проверили на примере политических фронтов, оно оказывается не чем иным, как предсмертной конвульсией распадающегося общества. В силу собственной склонности оно тяготеет к сплоченности и гигантизму, то есть к превращению в механизм, и вместе с тем к угнетению.

Более гибкой, более живой формой сообществ "мы — наш брат — особенные" по сравнению с обществами типа "блок" является общество, которое нам предлагает *товарищество*, или *дружина*. В нем осуществляется богатая частная жизнь, и хотя амплитуда его деятельности ограничена, она распространяется на всех и на каждого, затрагивая душу группы в самый момент ее возникновения. Это уже гораздо более гуманное, по сравнению с предыдущим, сообщество: трудовая бригада, спортивный клуб, команда, молодежное объединение. Однако, поскольку

ку оно возбуждено и буквально бурлит, такое сообщество может породить иллюзии относительно собственной прочности; подлинная жизнь и динамизм тяготеют к более глубокой реальности. Основанное на увлечении, такое сообщество остается поверхностным, и человек рискует потеряться в нем, не обретая подлинного присутствия и взаимного обмена с другими людьми.

Жизненные общества, несомненно, стоят ниже по духовности, но гораздо выше с точки зрения организованности по сравнению с теми, которые мы только что рассмотрели. Связь в них устанавливается в силу самого факта совместного проживания и стремления организовать так, чтобы лучше прожить жизнь. Следовательно, жизнь здесь развивается в широком биологическом направлении. Ценности, которые ею руководят, — это спокойствие, благополучие, счастье, другими словами, это нечто полезное, более или менее непосредственно связанное с приятным. Например, крохотное родное местечко, хозяйство, семья, в основе которых нет никакой другой связи, кроме привычек и ставшего автоматическим разделения домашних работ. Функции распределены, но они не персонализируют ответственных: строго говоря, люди остаются взаимозаменяемыми. И здесь еще каждый человек в некотором роде живет в состоянии гипноза; если он мыслит, то мыслит идеями, отражающими интересы объединения. Он мыслит ими в агрессивной форме, не стремясь выявить объективные ценности, которым эти идеи могли бы служить, или понять драму, присущую каждому другому члену ассоциации. Личность еще ничего не выигрывает от этой формы объединения. Всякое общество склоняется к обществу замкнутому, эгоцентрическому, если его изнутри не воодушевляет другое — духовное — сообщество, в которое оно вписывается. Жизнь неспособна на универсальность и самопожертвование, она способна только на самоутверждение и экспансию. Здесь выявляется иллюзия и опасность всякого пробуждения общности, основывающегося только на возвеличивании жизненных сил или на научной организации общего бытия.

Разумное общество, которое основывается на безличном разуме буржуазного рационализма или материалистической научности, полагает, что избегает этой опасности. Но такой разум отнюдь не отличается подлинной человечностью. Мы видели, как это общество мечется между двумя полюсами:

Общество умов, где ясность безличной мысли (в пределе — строго логический язык) якобы обеспечивает согласие между индивидами и мир между народами. Получается так, как будто некий искусственно организованный опыт в состоянии заменить личное устремление и стать на место живой реальности! Основываясь на некоторых примерах прошлого, мы можем представить себе, какого уровня свирепая тирания могла бы достичь в таком обществе под маской университетской беспристрастности или узаконенного фанатизма. Чем больше догматики верят в автоматическую непогрешимость своих лозунгов, тем меньше они расположены предоставлять людям свободу, время, которые нужны, чтобы добраться до истины, а поскольку они оказываются еще и аристо-

кратами, они устанавливают железное полицейское надзирательство за тем, чтобы узаконенные ими конформизм и лицемерие строго соблюдались.

Договорные юридические общества, поскольку они именно такими и остаются, не обращают внимания не только на личностей, на их своеобразие и обязательства, на эволюцию их воли, но даже и на содержание договора, который их связывает. Это значит, что вне живой организации правосудия, служителем которого только и должно быть право, они в самой своей юриспруденции несут зародыши угнетения.

Итак, совершенно определенным образом выявляется *невозможность основать сообщество, игнорируя личность, даже на базе так называемых человеческих ценностей, дегуманизированных уже потому, что они обезличены*. Поэтому мы сохраняем название "сообщество" только для подлинного, прочного сообщества, *сообщества персоналистского*, которое не только символически представляет собою *личность личностей*.

Если было бы необходимо обрисовать его далекое будущее, мы описали бы сообщество, где каждая личность реализует себя во всей полноте своего призвания и где сопричастность целостности является живым результатом ее особенного самоосуществления. Каждая личность в нем была бы незаменимой, и в то же время она гармонировала бы с ним как с целым. Первичной и основной связью в нем была бы любовь, а не какое бы то ни было внешнее принуждение, экономический или жизненный интерес. Каждая личность нашла бы в нем, в его общих ценностях, трансцендентных по отношению к месту и времени, специфичную для себя связь, которая объединяла бы все личности.

Было бы в высшей степени опасно предполагать, будто эта схема может быть осуществлена в истории. Но будем ли мы относиться к ней как к мифу или же верить, как это свойственно христианам, что она осуществится по ту сторону истории, в ней все равно будет содержаться нечто такое, что придаст истории основополагающую ориентацию: именно она должна служить ориентиром общностного идеала персоналистского строя.

Формирование **Мы** в самом деле не может обойтись без формирования **Я**. **Мы** сопутствует **Я** и следует за его превратностями: анонимность масс складывается путем разложения индивидов, сплочение обществ "мы — наш брат — особенные" соответствует той стадии, когда персональность нацелена на самоутверждение и замыкается в себе, лелея собственный героизм. Но когда я начинаю интересоваться реальным присутствием людей, признавать их присутствие передо мной, обучать личность тому, как открыться мне в качестве Ты, выступать передо мной уже не в неизвестном "третьем лице", не в облике чуждой мне живой вещи, а как другое Я, тогда я полагаю первый акт сообщества, без которого никакая институционализация не будет основательной.

Следовательно, только скудость нашего языка вынуждает нас определить это состояние двумя словами: общностная и персоналистская революции. Объективированное, экстерииоризованное, рассматриваемое в отрыве от сообщества *социальное* начало — это уже не человеческая

и не духовная ценность: самое большое — это необходимый и в какие-то моменты опасный для человеческой подлинности организм. *Публичное* начало — это извращение, если оно противостоит частному началу и если, вместо того чтобы опираться на него, оно его умаляет и ущемляет. Тогда оно становится систематическим беспорядком там, где идет поиск персональности, или частной жизни, который приводит человека к тому, что тот оказывается рабом своего эгоизма. *Человечество* — это только немислимая абстракция, а моя любовь к человечеству — это всего лишь глупость, если я не даю окружающим меня людям свидетельств того, что она является активным предварительным влечением к другим личностям, как таковым, дверью, открытой для любого "другого".

Само собою разумеется, что организация общего бытия на практике должна предшествовать этому внутреннему росту сообщества в той мере, в какой безразличие и эгоизм сдерживают его и в какой материальное сближение, последовательно усложняясь, побуждает людей ко все более органичному единению там, где, казалось бы, они проявляют все меньше и меньше охоты для этого. Нельзя ждать, пока все люди согласятся стать личностями, и только после этого строить сообщество. Нельзя ждать, пока духовная революция свершится в сердцах людей, и только после этого начинать институциональную революцию, которая, по меньшей мере, способна предотвратить кризис внешних структур и вызвать к жизни определенную институциональную дисциплину, которой подчинились бы уклоняющиеся от нее индивиды. Мы подняли эту проблему не для того, чтобы оторвать ее от действительности. Человеческие сообщества не организуются по чистой случайности или следуя идеальным ситуациям. Люди, которые их создают, могут полностью подчиниться своей индивидуальности; общества, которые для блага всех присваивают себе права на их индивидуальность, сами в большей или меньшей степени оказываются неорганическими, далеко отстоящими от совершенного сообщества, а следовательно, не могут использовать свои права на индивидов, даже в нормальный период своего существования, без угнетения личностей. Между теоретической неотчуждаемостью личности и правами индивида, с точки зрения непосредственных обществ, в каждом случае будет существовать расхождение: история сообщества будет включать в себя чрезмерные субординации, компромиссы, столкновения. Вместо гармонии — *напряженность*, всегда чреватая расколом. Но эта напряженность является источником жизни. Она предохраняет индивида от анархии, а общества — от конформизма. Тоталитарные режимы, надеющиеся снять эту напряженность, не знают о взрывоопасной энергии, которая накапливается в сердце человека и в один прекрасный день оборачивается против них.

Одиночество и сообщество

В этой борьбе личность никогда не сможет достичь искомым ею совершенной свободы и совершенной сопричастности. Следовательно, никакое человеческое общество не способно устранить драму одиночества, сколь бы значимым оно ни было. Одному писателю левой ориента-

ции, не так давно посчитавшему для себя желательной такую организацию общества, которая заставила бы человека забыть об одиночестве, голос с крайне правого крыла справедливо ответил, что центральная проблема гуманизма, может быть, и состоит в том, чтобы научить человека тому, как познать и вынести одиночество. Вопреки всему это также и проблема деятельности. Будем с недоверием относиться к тому политику, который не признает одиночества и не оставляет ему места в своей жизни, в своем познании людей и в своем видении будущего: он ничем не отличается от буржуа, озабоченного исключительно внешней деятельностью, ее материальным результатом; он не трудится для человека, даже если и считает себя революционером. Чувство одиночества возникает от осознания бездуховности, следовательно, безличностного характера моей внутренней жизни и моих отношений. Это не показатель несоциальности Я (здесь мы говорим не о негативном чувстве изоляции), а следствие неполноценности личности: быть может, Я никогда не испытывает его сильнее, чем тогда, когда оно бежит от самого себя и, умножая объективные отношения с людьми, не может удовлетворить свою жажду общения. Но нельзя бороться с одиночеством внешними средствами, путем расширения внешних отношений, раздувания публичной жизни; нельзя делать этого также, как полагали наши добрые социологи, посредством укрепления функциональной солидарности. Все эти чувства могут разрушать препятствия, порождать рефлексы, удовлетворять ожидания. Но даже если они способны отвлечь и развлечь нас, они не могут заглушить тот стон, что живет внутри нас. Чем более высоким оказывается качество нашей внутренней жизни, тем более сильно мы испытываем чувство одиночества. Вот почему наивысшим свойством человека и является, быть может, умение осознать смысл одиночества.

Многие люди представляют себе общество своей мечты, следуя модели буржуазного идеала, который они сами создают по меркам собственной личной жизни. Для этой последней было бы скромным, но все же достаточным счастьем оставаться "окруженной" заботой до самой смерти. Для социального организма — это пирамида, где все щели законопачены, где индивид обеспечен всесторонними социальными "контактами", "конкретными" непринужденными связями, которые скрывают от него драму его существования и избавляют от собственного усилия, нацеленного на развитие его воображения или расширение прямых действий. При этом забывают, что абстрагирование во всех своих многообразных формах — это тоже человеческое действие, то есть действие духовное. Познание вещей и людей через непосредственные контакты и с помощью чувственной близости — это самый низкий уровень познания и сопричастности; такое познание лежит в основе наиболее примитивного и наименее очеловеченного действия. При переходе от ремесленника, который способен усвоить две-три элементарные операции, к руководителю индустриально развитого предприятия, под которым мы понимаем руководителя, действительно держащего в своей голове и подчиняющего своему авторитету всю сложную жизнь своего предприятия, мы имеем реальный прогресс, а отнюдь не упадок. Когда

критикуют абстрактность современного мира, то хотят сказать, пусть без достаточного понимания соответствующего различия, что только одна специфическая и в высшей степени обезчеловеченная форма абстракции — абстракция математическая — завладела и самим миром, и его руководителями, поскольку она не признает ни людей, ни форм их деятельности, по существу нацеливаясь на такие из них, которые человек уже не может понять и которые его подавляют. Кого же страшит это пресыщенное собственными творениями человечество, те ошибочно используют категории, которые мы только что употребляли: возврат человека к предметам, которые он мог бы потрогать рукой, как если бы вопрос состоял не в том, чтобы возвысить их до уровня предметов, о которых он может реально мыслить, а круг которых — расширять; возврат к земле, к ремесленничеству, защита мелкой торговли, наивное местничество и множество других форм "учения о близости", основная иллюзия которых состоит в том, будто бы сообщество зависит исключительно от материального сближения человека и вещей или же людей между собой. Превращая преобразования в систему, мы увидим, что необходимо преодолеть множество препятствий, чтобы устранить одиночество и придать человеческому приключению достойное значение. Чтобы видеть в человеке героя, уместно напомнить о том, что между чувством одиночества и тягой к сообществу должна существовать определенная напряженность. Личность — это величина, масштаб которой трудно определить. Она создана совсем не для того, чтобы поощрять посредственные системы в их борьбе за собственное величие.

III. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ ПЕРСОНАЛИСТСКОГО СТРОЯ

За историческую инициативу

Вера в то, что духовное в некоей конечной форме, как обычно его мыслят, остается "частным делом" индивидуальной морали, свойственна всем учениям, которые мы отвергаем: буржуазному идеализму, отдающему социальное начало на откуп "непререкаемым законам"; фашистскому реализму, попирающему всякий духовный авторитет даже в частной жизни и признающему исключительно авторитет государства; марксистскому материализму, объявляющему духовное и личностное псевдореальностью, не обладающей приоритетом в делах человеческих.

Напротив, персонализм, который мы только что описали, ставит духовную ценность, личность, понимаемую как средоточие, или корень, всех других ценностей, в центр человеческой реальности как таковой. Личность — это не один из коэффициентов социальной арифметики в ряду других, как нередко считают. Она противится тому, чтобы ее низводили до роли простого корректива чуждой ей системы духа. В отвергаемых нами учениях о цивилизации мы всегда стараемся заметить любой, даже едва заметный след персоналистского вдохновения. Это внимание к очагам персонализма везде, где они только возникают под обломками современного мира, эта чуткость к его разнообразным ас-

пектам столь настоятельно диктуется самим духом персонализма, что нам и в голову не приходит отвергать их во имя какого-то нового догматизма, в котором мы просто утратили бы самих себя. Важно только, чтобы наше внимание не рассеивалось. Делать выбор в пользу ценностей, которые мы обозначили словом "персонализм", значит делать выбор в пользу вдохновения, которое должно накладывать свой отпечаток на фундаментальные структуры и даже на детали всех человеческих инициативных органов.

Отныне персонализм должен осознать свою решающую историческую миссию. Вчера он был только расплывчатым, а порой и эксцентричным импульсом в самых различных культурах, политических и социальных движениях. Как и любая ценность, ищущая свое место в истории, он в течение какого-то времени вдохновлял скорее нерешительность, чем упорство, воздержанность, чем инициативу. Ныне он собрал воедино достаточно волеий, вполне определенно заявив о своих основополагающих принципах и непосредственных обязательствах, чтобы открыто испытать собственный шанс перед лицом буржуазного мира, марксизма и фашизма. Служа источником вдохновения также и для обоснования целостной концепции цивилизации, будучи связанным с глубинной судьбой реального человека, он не нуждается в том, чтобы выпрашивать себе место ни внутри какой-бы то ни было фатальности, ни в политической тусовке; сегодня он должен непредвзято и бескорыстно, как это соответствует учению, стоящему на службе у человека, взять в свои руки историческую инициативу в тех странах, которые готовы к этому.

Мы знаем, что все формы реакционного позитивизма: технократическая, фашистская или марксистская, — не задумываясь, откажут ему в компетентности. С их точки зрения, историей управляют политический, технический или экономический детерминизм. Брать в качестве первичного по отношению к обществу, экономике или деятельности какой-либо "теоретический" или "чувственный" предрассудок, говорят они, значит присоединять три опасности к трем заблуждениям:

Во-первых, законы индивидуальной морали неправомерно переносятся в социальную сферу: как и при всяком неправомерном присвоении компетентности, это выливается в анархию. В одном случае коллективным болезням рекомендуются неэффективные индивидуальные методы лечения, в то время как в другом огромное количество полезной энергии отвлекается от борьбы с социальным злом.

Во-вторых, к естественным реальностям, подчиняющимся своим собственным закономерностям, применяются идеальные мерки, не имеющие над ними никакой власти, потому что они проистекают либо из пустой сентиментальной фразеологии, либо из чисто логической непреклонности и неприменимого на практике пуризма, либо берутся из сверхъестественного мира, который не имеет никакого отношения к бранным делам истории. Результат? Нулевой или даже отрицательный: немного ослабляют то, что обладает силой, немного подрывают то, что стоит крепко, немного обесценивают (во имя морального идеала)¹ то, что представляется благородным в земных действиях и институтах.

¹ Thierry Maulnier.

Наконец, в-третьих, если власть попадает в руки идеологов или же их последователей, то они не могут обойтись без того, чтобы не превратить ее в своего рода теократию или духовный клерикализм, являющиеся выражением в институтах первичности духовного начала, которыми руководствуются их доктрины.

Эти критические замечания и предостережения частично направлены против известного доктринерского и морализаторского идеализма, от которого мы отмежевались. Наш персонализм, когда он основывает свои поиски даже технического характера на первичности личности, движется в сторону совершенно другого универсума по сравнению с универсумом, о котором говорит разного рода спиритуализм.

Поскольку персонализм является от начала и до конца реализмом, с вниманием относящимся как к предыстории, так и к сверхистории, он приемлет и включает в свое видение существование естественных коллективов и исторической необходимости, решать проблемы которых индивидуальная моральная технология сама по себе не в состоянии, как мы об этом уже говорили в начале настоящего "Манифеста". Мы подчеркиваем, хотя такое акцентирование никогда не может быть чрезмерным, что коллективные проблемы требуют хотя бы минимума коллективных же решений, что морального совершенствования, коренным образом необходимого для упрочения институтов, недостаточно для достижения технической компетентности и исторической эффективности, наконец, что институты способны изменяться гораздо быстрее, чем люди, а потому должны как предотвращать деградацию индивидов, так и делать все возможное для осуществления их доброй воли. Но мы говорим, что детерминизм, как бы могуществен он ни был, должен быть подчинен высшим человеческим целям и что естественные коллективы не достигнут вершин, следуя собственной логике, — они должны быть подчинены зарождению и осуществлению личностей.

Мы разоблачали и никогда не переставали разоблачать злодеяния тех чересчур жестких, оторванных от всякой реальности идеологий, которые присваивают себе право говорить о духовном начале и, считая, что служат истине, противопоставляют истории моральные изречения, общезначимые рецепты или логические схемы. Этот горделивый ригоризм ничего общего не имеет с духовным реализмом. Даже те люди, которые считают истину метафизической, трансцендентной истории, предполагают, что она воплощена и обладает одной и той же душой, независимо от своих исторических ликов, меняющихся вместе с изменением пространства, времени, людей. Верховенство духовного над техническим, политическим и экономическим аспектами ни в чем не похоже на логическую жесткость или формальное морализаторство, претендующие на то, чтобы извне направлять историю и институты в заранее определенные рамки, которые необходимо принять или отвергнуть. В этом смысле персоналисты не являются также и "моральными" людьми. Это значит, что персоналистский "идеал" — это исторически конкретный идеал, который никогда не входит в сделку со злом или заблуждением; он непременно сочетается с многосложной исторической реальностью, в которой действуют живые личности, чтобы каждый раз в зависимости от времени и места вести ее к максимальной реализации.

Концепция государства, которую мы изложим в дальнейшем, содержит достаточно пояснений на этот счет; в ней речь идет о нашем чувстве гадливости по отношению ко всякому строю, который посредством коллективных заповедей навязывает личностям то, что должно происходить из свободного выбора каждого отдельного человека.

Таким образом, мы возвращаемся к нашей изначальной позиции: мы не доктринеры, мы не морализаторы. Идеология и моральное красноречие — это как раз и есть та неопределенная эфемерная инстанция, которую марксисты и буржуа готовы поместить на полпути между пустым небом и чуждой им землей. Персонализм хочет наполнить животворной мудростью подчиненные человеку механизмы, чтобы воздействовать на них не извне, а руководить ими и направлять их движение изнутри.

Общие направления

Теперь нам надлежит позаботиться о том, чтобы приблизить достижение конечных результатов этой мудрости. Современный мир придумал, испытал, испробовал множество систем, укрепляющих всеислие государства, анархию индивидов или же верховенство экономического начала. Он едва-едва ощутил и в общих чертах обрисовал цивилизацию, которая, сохраняя все позитивные завоевания прошлого, была бы ориентирована на становление и защиту человеческой личности. Сегодня необходимо сначала с концептуальной целостностью и строгостью определить институты персоналистского общества, а затем подвергнуть их испытанию. Здесь надо приложить немало труда и потратить много времени, а не ограничиваться указанием предварительных условий и общих требований и не привязывать к временным результатам то, что должно оставаться источником вдохновения начинающегося поиска.

Персонализм должен придать институтам двойную ориентацию:

1) Негативная обусловленность — никогда не превращать личность в жертву институтов или использовать последние в качестве орудия тирании; ни в частной, ни в общественной жизни никогда не покушаться на собственно личностную сферу конкретных людей; защищать эту священную область от возможного угнетения со стороны других индивидов или институтов; ограничивать необходимое принуждение требованиями естественной необходимости и необходимости, связанной с общественным порядком, наделенным гибким режимом контроля, проверки и развития.

2) Позитивная ориентация: давать всевозрастающему числу людей и каждому отдельному человеку соответствующие инструменты и обеспечивать эффективную свободу, что позволило бы им реализовать себя как личность; пересмотреть снизу доверху механизмы коллективной жизни, которые в течение последнего столетия развивались с ошеломляющей скоростью, не заботясь о личностях, а следовательно, в ущерб им; подчинить все механизмы сообщества добродетелям личности, максимально развивая на любом уровне и в любой точке инициативу, ответственность, децентрализацию.

Указания, которые мы здесь даем, родились во Франции и опираются на французскую реальность, они несут в себе — в своих принципах и в самом своем стиле — след своего происхождения, чего мы не скрываем. Ложной универсальности вневременных формул мы предпочитаем живую универсальность, которую легко ощутить, опираясь на свидетельства. И пусть другие национальные характеры отыщут то же вдохновение в формах, более свойственных именно им, на другом человеческом материале, в других государственных структурах. Первые симптомы, свидетельствующие о долговременном характере традиции, позволяють нам признать, что создание персоналистского сообщества является оригинальным вкладом в революцию XX века со стороны западных стран, в которых чувство свободы и осознания личности особенно живо: Франции, Англии, Бельгии, Швейцарии, Испании, в частности. Столь близкому каждому человеку принципу ничто не мешает в дальнейшем распространить свое плодотворное влияние, усиленное неожиданными находками, далеко за пределы этих стран.

В следующем очерке мы станем руководствоваться не требованиями тактического порядка; мы будем идти от институтов, ближе всего стоящих к личности, к институтам более широкой ориентации.

1. Воспитание личности

Принципы персоналистского воспитания¹

Для общества, которое хочет способствовать становлению личности, так же как и для общества, которое хочет подчинить себе личности, основное дело начинается с пробуждения личности: с детства. Поэтому институту воспитания, вместе с ним и институтам, регулирующим частную жизнь, персонализм придает первостепенное значение. В их основу он кладет принципы, столь же противостоящие обезличенному "нейтрализму", как и подчинению личности ребенка коллективам.

1. *Воспитание не имеет своей целью приучить ребенка подчиняться социальной среде или принимать на веру ту или иную государственную доктрину.* Ему нельзя также определять в качестве конечной цели приспособление к той *функции*, которую он будет выполнять в системе социальных отношений, или к роли, которая предусматривается для него какой-либо системой частных отношений.

Воспитание в своей сущности не нацелено ни на то, чтобы сформировать гражданина, ни на овладение определенной профессией, ни на создание какого-либо социального персонажа. Его главная функция состоит не в том, чтобы *лепить* сознательных граждан, славных патриотов, маленьких фашистов, коммунистов или светских людей. Его миссия состоит в том, чтобы *пробудить* в человеке личность, чтобы он был способен вступать в жизнь и действовать как личность.

¹ Мы сформулировали эти выводы почти так же, как это сделали в дружественном нам брусельском журнале "Эспри", и считаем своим долгом отметить, что он своими разработками оказал нам огромную помощь; данные выводы были включены в статью Ж. Лефранка и Лео Мулена, изучающих проблему бельгийской школы (Esprit, février 1936: Pour un statut pluraliste de l'école).

Следовательно, мы противники всякого тоталитарного режима в школе, который, вместо того чтобы готовить личность к осуществлению своей свободы и ответственной жизни, с самого начала игнорирует личностное начало, подчиняя ребенка скверной привычке мыслить в соответствии с приказом, действовать, руководствуясь лозунгом, и не иметь других устремлений, кроме как безмятежно и с достоинством жить в клетке, то есть в самодовольном мире.

И хотя определенный уровень овладения профессией является необходимым минимумом для достижения материальной свободы, без которой личная жизнь оказывается удушенной, подготовка к профессии, функционально-техническое обучение не могут стоять в центре или быть движущей силой воспитательного процесса.

2. Активность личности — это свобода, направленная к достижению определенной цели и обретению веры. *Следовательно, хотя воспитание личности не может быть тоталитарным, то есть идущим извне, материально-насильственным, оно тем не менее может быть только всеобъемлющим.* Оно нацелено на человека во всей его целостности, на целостность его понимания и целостность его мировоззрения. В такой перспективе немыслимо какое-либо нейтральное воспитание.

Чтобы устранить все недоразумения, здесь необходимы уточнения. Идея нейтралитета может означать, по меньшей мере, выражение трех различных и даже несовместимых друг с другом духовных позиций.

Для одних она содержит в себе требование полного исключения из учебного процесса всех предметов, которые неразрывно связаны с определенной концепцией жизни, а следовательно, и собственно воспитания в полном смысле этого слова, как мы его понимаем¹. Таковой, собственно, является концепция, которую мы как христиане здесь отвергаем по очевидным причинам, нехристиане делают это ради возвеличения человека и его эффективности, которое они возлагают на светскую школу. Такая концепция предполагает, будто можно без ущерба отделить обучение от воспитания: воспитание в этом случае, как и религия, оставалось бы частным делом семьи, а школа, получившая таким образом облегчение, обеспечивала бы обучение при полном безразличии к духовности. Но ведь такое отделение было бы на руку только семьям, обладающим материальными средствами и свободным временем для обеспечения ребенку полноценного воспитания.

Кроме того, как мы полагаем, хотя и не без оговорок, все это вообще допустимо, если иметь в виду лишь некоторые предметы обучения, а именно точные и технические науки. Что касается всего остального, то мы говорим твердое "нет". Между тем школа, начиная с первой ступени, выполняет функцию обучения жизни, а не просто функцию накопления знаний и умений. Ведь миру личностей присуще то, что в нем нельзя научиться жизни посредством обезличенного обучения, преподносимого

¹ Физическая и умственная гигиена — это еще не воспитание. Нужно ли подчеркивать, что мы не касаемся здесь того пристрастного догматического нейтралитета, который скорее следовало бы назвать, используя окончание, говорящее о системе, нейтрализмом и который, хотя его сторонники и являются либералами, характерен для тоталитарных доктрин.

в формах готовых истин. Такая концепция образования основывается на рационалистическом предположении о существовании истины, целиком поддающейся выявлению, которую можно внушить личности академическим способом, без последующего размышления над ней (в чем она должна быть заинтересована), чтобы стать целеструженным и обладающим ценностями субъектом. Решительно игнорируя конечную цель воспитания — вовлеченность личности в жизнь — и соответствующие ей средства, мыслимая таким образом школа рискует ограничиться практическими целями, диктуемыми социальным организмом: технической подготовкой производителя и формированием гражданина. Она ослабляет свою защиту против вмешательства этого организма, когда для спасения хотя бы видимости культуры она пресекает бездумное накопление "предметов" обучения.

Наконец, практика понимаемого таким образом нейтралитета грозит завестись в тупик, каким бы путем она ни шла: либо школа, стремясь быть нейтральной, позволит незаметно просачиваться в преподавание какому-нибудь модному учению: сегодня — буржуазной морали с ее классовыми ценностями или ценностями денег, ее национализмом, концепцией труда, порядка и т. п.; либо она вынуждена будет наблюдать, как ее "нейтралитет" поддерживают преподаватели, являющиеся людьми с убеждениями, не соглашающимися жить как калеки и открыто или скрытно, сознательно или неосознанно, прямо или косвенно реализующими католическую, марксистскую, релятивистскую и т. п. приверженность. И здесь неуместно возмущение: это — обычная реакция человека на абстрактность системы. Наконец, давая личности только чувство никчемной свободы, она готовит ее к безразличию или игре, но не к ответственному включению в действие и не к живой вере, которые являются собственным призванием личности.

В противоположность этому существуют два других понятия о нейтралитете, в которых идеи, обычно обозначаемые этим словом, оказываются для нас приемлемыми.

Метафизическое разделение носителей духа в современном обществе создает право как для семьи, настроенной агностически, так и для других семей получать от созданной для них школы не только образование, но и воспитание. Это воспитание будет совсем не нейтральным в том смысле, который определяется воздержанием от всякого утверждающего суждения о человеке и от всякого внушения ребенку. Персонализм как непосредственная основа свободы образования определяет исходный целостный взгляд на человека и на отношения между людьми, взгляд глобальный и вместе с тем строго определенный. В обществе, берущем его за основу, никакая школа не может оправдывать или прикрывать эксплуатацию человека человеком, господство социального конформизма или духа государственности, моральное и гражданское неравенство рас и классов, верховенство в общественной и частной жизни лжи над истиной, инстинкта над любовью и бескорыстием. Именно в этом смысле мы говорим, что сама светская школа не может и не должна быть нейтральной с воспитательной точки зрения. В будущем она должна защищать персоналистскую концепцию человека (а через нее — и ребенка) от государства, которое в сфере воспитания будет путать

светскость с индифферентностью или же контроль с подчинением. Она может быть нейтральной только в том смысле, что и подспудно не отдаст предпочтения никакой системе объективных ценностей, даже если это не касается формирования личности.

С тем, что только этот второй вид нейтралитета может быть регулирующим законом школы, которую мы назвали агностической семьей персоналистского общества, могут, как нам представляется, согласиться и верующие и неверующие. Христианин, а вместе с ним и любой человек, который верит во всеобщую истину там, где речь идет о человеке, считает, что его свобода не безразлична, что он, как свободная личность, имеет свое призвание и свою судьбу: как могли бы они согласиться с тем, что им было бы лучше проигнорировать этот призыв, нежели с самого детства руководствоваться им? Следовательно, при прочих равных условиях нельзя запретить верующим считать более приемлемой ту школу, которая, по их мнению, является более универсальной, как, впрочем, нельзя запретить неверующему считать школу завершенной системой. Среди самих католиков есть такие, которые согласны признать за так называемой нейтральной школой только существование "по гипотезе"¹ и по факту; другие же считают, что исторически устойчивое различие сознаний как раз и превращает гипотезу в своего рода перспективное право, но что уже одно уважительное отношение к движению личности создает подлинное право всякого агностика, даже в условиях режима католического большинства, на гражданское равенство. Во всяком случае любовь, которую торжественно обещают школе ее защитники по ту сторону нейтралитета, понимаемого как воспитательная индифферентность, должна привести их к персонализму, который мы определили выше недогматически, учитывая его воздействие (всеми имеющимися у него средствами) на воспитание. Христиане же со своей стороны могли бы только радоваться, если бы школа, которую они отнюдь не контролируют, развивала бы не сектантство, а то, что не является столь скверным состоянием перед лицом зова истины: неподвзятую зрелую жизнь.

Третье намерение нередко прикрывается мифами о нейтралитете. В этом случае такая позиция выражает стремление избавить образование от предвзятых настроений повсюду, где они имеют место, защитить истину от ее искажений, устранить нечестность, намеренную или наивную, по отношению к противнику и одиозное упрощение в нападках на школу, последовательно готовить ребенка к тому, что человеку, прежде чем судить, необходимо достичь понимания. В целом — это стремление избавить образование от сектантского разделения повсюду, где оно имеет место: в одном случае, чтобы сделать образование подлинно христианским, в другом — подлинно либеральным. Эта воля, это усилие представляют собой упорное стремление к кардинальному очищению школы ради ее будущего. Нам представляется, что оно не может сопоставляться персоналистом, к какой бы ориентации он ни принадлежал.

¹ "Гипотеза" противоположна тезису в том смысле, в каком оптимальное историческое решение противоположно решению идеальному.

3. Ребенка нужно воспитывать как личность посредством личного испытания, обучать его тому, чтобы он мог свободно включаться в избранное им действие. Но если воспитание — это обучение свободе, то как раз потому, что оно не находит свободу сформированной с самого начала. У ребенка всякое воспитание, как у взрослого — всякое влияние, осуществляется под покровительством авторитета, который постепенно становится внутренним достоинством субъекта. Что это за авторитет, существующий в воспитании?

Прежде всего это отнюдь не государство, ибо государство не имеет никакого отношения к личной жизни как таковой. Пока личность не возмужала, она остается привязанной к естественным обществам, в которые она попадает от рождения, то есть к семье, поэтому всякий духовный авторитет, признанный семьей, помогает воспитательному процессу, а в случае его отсутствия заменяет его. Таким образом, мы отвергаем монополию государства на воспитание и даже на школу, равно как и любую меру, имеющую тенденцию обеспечить такую монополию фактически, даже если она в этом качестве не провозглашается.

Не следует ложно истолковывать преимущество семьи. Преимущество семьи перед государством — это не право произвола и безусловной власти семьи над личностью ребенка. Оно подчинено, во-первых, благу ребенка, а во-вторых, благу всего сообщества. Оно не должно заставить нас забыть о достойной сожаления некомпетентности, безразличии или эгоизме многих семей (а может быть, даже и большинства семей) в деле воспитания. И здесь государство с помощью системы воспитания может и должно сыграть двойную роль — защитника личности и организатора общественного благосостояния. Впрочем, ему надлежит обеспечивать гражданское единство сообщества при многообразии его членов, если иметь в виду их духовное состояние, и гарантировать общественному благосостоянию техническую оснащенность, поставляемую каждым членом общества при выполнении им своей социальной задачи. В этих различных направлениях государству принадлежит роль общественного контроля, который касается оценок и выдачи дипломов, определения условий пригодности к получению образования, качества образования, политического нейтралитета школы и уважения личности. Этот контроль должен быть эффективным и одновременно огражденным от произвола, что достигается его гибкой системой. Чтобы не принять инквизиторский или царский характер, он должен осуществляться в сотрудничестве с преподавательским составом и семьями.

Границы различных полномочий, пролегающие между ними, по отношению к ребенку и его правам, остаются неопределенными, сомнительными, спорными. Только опыт может определить их точные очертания и обеспечить их взаимодействие.

За плюралистский статут школы

При разнообразии семей и их духовного состояния только плюралистская структура школы может спасти нас и от опасностей "нейтральной" школы, и от угрозы школы тоталитарной.

1. Государство не имеет права монопольно навязывать какое-либо учение и какую-либо форму воспитания. Право на эффективные средства, необходимые для воспитания ребенка, по своему выбору имеет каждая семья, которая частным образом обеспечивает его на месте, при минимальном количестве детей, нуждающихся в образовании, и минимальном соответствии основоположениям персоналистского сообщества. Нормальным будет то, что:

1) государство по своей инициативе организует и поддерживает на базе общего налога недогматическую школу для тех, кто не захотел бы связывать себя с каким-либо из этих духовных образований. Если следовать логике обязательного школьного обучения, то можно ожидать, что все большее число родителей из малообразованных классов будет доверять заботу о моральном и интеллектуальном воспитании своих детей таким нейтральным школам. Следовательно, было бы немаловажно, чтобы в таких учреждениях, где будут собраны учителя любой ориентации, эти последние не были бы простыми распространителями нагроможденных один на другой "предметов", а, выполняя свою функцию, все более и более полно осознавали бы себя в качестве личностей и отдавали бы себе отчет в необходимости формирования между собой сообщества воспитателей, чтобы именно ему подчиняться в процессе преподавания;

2) государство организует общественную службу контроля, определенную выше, и принимает необходимые меры, чтобы этот контроль был эффективным не только по отношению к государственной школе. Оно будет делать это в сотрудничестве с коммунальным самоуправлением, сообществами учителей, объединениями родителей и духовными объединениями, выступающими в качестве организаторов этих школ. Поскольку в сущность контроля входит его независимость от чего бы то ни было, то школьное законодательство будет в точности определять его границы и используемые им средства.

Все частные учреждения, даже те, которые живут за счет своих собственных средств, подлежат этому минимальному контролю. Государство, кроме того, могло бы присваивать титул "Образцовой школы" каждому духовному объединению при определенных выше условиях. Оно осуществляло бы по отношению к этой школе, свободной в своей метафизической ориентации, более ограниченный технический контроль, требовало бы равенства с государственной школой там, где речь идет об учительских дипломах и условиях поступления, и, не беря школу на свое содержание в собственном смысле слова, освобождало бы ее от расходов, от которых оно избавляет государственную школу¹.

Политическая деятельность преподавательского состава вне школы с ее собственными проблемами осуществляется свободно в рамках закона.

Духовные коллективы — семейные и профессиональные, — заинтересованные в школе, будут наделены эффективными средствами защиты против возможных злоупотреблений со стороны государства в осуществлении им своего контроля.

¹ Simon P.-H. L'École et la Nation. Ed. du Serf.

2. Деля схематический набросок плюралистской школы, мы не скрываем от себя главную трудность, которая вытекает из сложности самой проблемы. Нет ли риска в том, что, избавив ребенка от государственного догматизма, мы оставим его на произвол специфическим догматизмам, которые, как и государственный догматизм, не будут проявлять заботу о соблюдении требований личности и тем самым разбивать молодежь страны на множество подразделений, обособленность которых будет иметь свое продолжение и во взрослом состоянии? Одним словом, нет ли в этом риска вызвать к жизни множество тоталитарных школ, даже узаконить под предлогом свободы их власть над детьми?

Опасность и в самом деле была бы реальной, если бы при персоналистском строе не признавалась необходимость органов, в компетенцию которых входило бы эффективное обеспечение гарантий личности. Именно им посредством обязательных условий подготовки учителей, посредством конкурсов и инспекции надлежит обеспечить гарантии того, что любая доктрина преподавания имела бы право на существование только при ее соответствии методам, обеспечивающим уважение и воспитание личности. Все это входит в систему контроля. Если, кроме того, мы осуществим глубокое педагогическое преобразование школы, обеспечив в ней верховенство воспитания, и именно личностного воспитания, над эрудицией, профессиональной подготовкой или классовым воспитанием и т. п., то всякая школа будет тяготеть к тому, чтобы направить свое движение именно в этом духе.

Но это не все. Юридический плюрализм требует в качестве необходимого противовеса, чтобы *было сделано все для обеспечения связи между различными духовными ячейками сообщества*, с целью добиться не догматического единства, невозможного без духовного принуждения, а органического, братского единства сообщества. И это опять-таки относится к компетенции персоналистского государства: совместно с различными естественными коллективами оно может изучить вопрос о материальных средствах, необходимых для осуществления такой связи школе и для ее профессиональной деятельности.

Решение, которое непосредственно приходит на ум, — это единство воспитательного процесса везде, где это возможно: подготовка общих учебников, отредактированных при общем сотрудничестве и стремлении к непредвзятости представителями различных школ и принимаемых всеми; может быть, по меньшей мере, единство некоторых курсов и соответствующих форм отдыха, тогда как другие курсы, более тесно связанные с воспитанием (такие, как история, мораль, философия), оставались бы автономными для школьного персонала и (по меньшей мере, в интернатах) для различных учреждений. Это последнее решение, конечно, еще является предварительным. Но плюрализм школы было бы невозможно защищать, если бы он не сопровождался институциональной (а не только частной) работой, нацеленной на утверждение братской дружбы различных ячеек сообщества.

2. Частная жизнь

В защиту частной жизни

В языке нередко отождествляется личная жизнь и "жизнь внутренняя". Выражение это двусмысленно. Оно явно говорит о том, что личность нуждается в убежище, сосредоточении, что одухотворенность действия плохо согласуется с предпочтением, отдаваемым чувству, развлечению, возбуждению, видимым вещам. Но оно позволяет и подразумевать, что нормальная жизнь личности — это какое-то горделивое уединение или эгоистическое самолюбование. Между тем мы уже видели, что личность обретает себя, если только она с помощью обучения отдает себя сообществу.

Но мы знаем также, что личность не достигает этого сообщества сразу и совершеннейшим образом. Чтобы уберечься от иллюзий, хорошо было бы, чтобы личность училась жизни в сообществе со всей требуемой строгостью, вступая в непосредственные и ограниченные отношения, обеспечивающие взаимообмен между индивидами. Подготавливая ее к коллективной жизни, эти скромные попытки будут способствовать формированию непосредственного познания человека и самой личности без различных опосредований или суррогатов. Частная жизнь приходится как раз на эту зону испытания личности, находящуюся на грани внутренней жизни и жизни коллективной, зону неопределенную, но жизненно важную, в которой и та и другая жизнь имеют свои корни.

Не раз на протяжении своей истории марксизм клеймил частную жизнь как главную крепость буржуазной жизни, которую, как и господство денег, надо разгромить, чтобы построить социалистическое общество. Он представляет частную жизнь как жизнь ограниченную и посредственную, связанную с устаревшей экономикой профессионального или семейного ремесленничества. Он предполагает также, что в ней эмпиризм противостоит социальной рационализации индивида — всепроникновению государства; он видит в ней отравленное скопище "реакционных" влияний, первооснову сопротивления коллективистской революции.

Мы с открытым сердцем присоединились бы к большей части этих критических замечаний, если бы они довольствовались тем, что указывали на очаги загнивания и лицемерия, которые слишком часто выступают в благородных одеяниях частной жизни. То, что в зоне, развращенной буржуазным декаданством, дети, по выражению самого "Коммунистического манифеста", становятся "простыми объектами торговли" или же "простыми орудиями труда", что женщина также выполняет только функцию "орудия производства", что в известной мере буржуазный брак в действительности является "общностью жен", — это совершенно бесспорно. А под этой вполне пристойной гнилью еще более мерзким образом гниет мелкобуржуазное болото, мир без любви, неспособный как на счастье, так и на горе, с его гнусной алчностью и жалким безразличием. Но это всего лишь зараженная посредственностью человека и разложением режима частная жизнь: истощенная изнутри нетребовательностью буржуазной души, она извне пропитывается грязными

водами режима; она развращена деньгами, кастовым эгоизмом. Ныне невозможно честно защищать ее, не решившись сначала на очищение ее от этой чумы.

Но если бы частная жизнь была только зачумлением, многие испытывали бы счастье, подвергая ее критике. Необходимо проследить, как вырождались героизм и святость в этом очаровательном очаге нежности и интимности, в котором укрываются вместе со всеми своими страхами и наивностями все те, кто с идолопоклоннической любовью относится к тепличным условиям жизни, кто не знает ни голода, ни холода, ни беспокойства, кто живет без горестей: избранные, обеспеченные, "особые". Смертоносное обольщение буржуазной души привлекло их, приманив несколькими псевдоценностями: расчетливостью, умиротворенностью, уединением, интимностью, чистотой; "сентиментальные художники", "утонченные" поэты, салонные философы украсили их слащавыми прелестями; она выработала для себя даже камерную религию, добродушную и снисходительную, религию воскресных дней, теологию семьи. Именно в этих тепличных убежищах мы должны отыскать истоки буржуазной вседозволенности, если хотим излечить от заражения ее жертвы: именно там нежность убивает любовь, легкость жизни душист смысл жизни.

Но такое суровое отношение должно сопровождаться требованием подлинной частной жизни, а не безразличием к ее ценностям. Даже тогда, когда наша критика разоблачает зло, она остается значительно выше того педантичного рационализма, для которого частная жизнь вместе с внутренней жизнью является реакционным пережитком, или, как говорят его представители, — формой "мистического онанизма".

Из-за своей ограниченности, толкающей ее к обособленности и посредственности и удерживающей ее в прямом подчинении индивидуальному эгоизму, частная жизнь, конечно же, подвержена постоянной угрозе интоксикации, подобно тому как общественная жизнь подвержена постоянной угрозе расслоения и распада. Она приобретает ценность только тогда, когда внутренняя жизнь и жизненная среда достигают определенного качества. И тем не менее она представляет собою поле испытания нашей свободы, ту зону, в которой любое убеждение, любая идеология, любая претензия должны осознать собственную слабость и лживость; это поле — элементарные сообщества, где выковывается ответственность. И в этом смысле оно равно необходимо как для формирования человека, так и для укрепления сообщества. Оно не противостоит ни внутренней жизни, ни жизни публичной, а готовит и ту и другую к взаимному обмену добродетелями.

Женщина тоже личность¹

Политическая деформация, широко развившаяся в нашу эпоху, не только обесценила частную жизнь, но и извратила всю ее перспективу. Общественное мнение ставит перед собою, по-видимому, только проблемы мужчин, и в нем только мужчины имеют слово. Несколько сотен

¹ См. специальный выпуск "Эспри" — *Esprit*, juin 1936.

тысяч рабочих в каждой стране идут на штурм истории, потому что они осознали свое угнетенное положение. В сотни раз более многочисленные ряды духовных пролетариев — женщины — остаются вне истории, и никто этому не удивляется. Их моральное положение не является, однако, сколько-нибудь более завидным, несмотря на блистательный внешний вид. Невозможность стать личностью, пробудиться для собственной жизни, которая, по нашему мнению, определяет пролетариат гораздо более существенным образом, чем материальная нищета, является уделом почти всех женщин — богатых и бедных, буржуа, работниц, крестьянок. Подобно маленьким девочкам, они населили свой мир тайнами, страхами, запретами, существующими только для них. А затем на этот встревоженный мир, от которого им никогда не избавиться, набросили тонкое покрывало, которое приукрасило его, но тем не менее оставило все той же тюрьмой, в которой замурована их ложная женственность. Большинству из женщин никогда не выбраться из нее. С этого момента они живут воображаемой жизнью, совсем не так, как живет подросток, устремленный к победам, они живут жизнью не открытой, а замкнутой, жизнью вне игры. Они смирились, став покорными, и их покорность не похожа на ту, которая в результате развития личности может увенчать свободное существо самопожертвованием; эта покорность на доличностном уровне существования является основой для отказа от своего духовного призвания.

Пятнадцать лет, двадцать лет: в них вселяется чудо; на два—три—пять лет оно возвращает им утраченную силу, если, по меньшей мере, из-за недостаточной подготовленности к тому, чтобы управлять им, они не пугаются и не отказываются от него. Кое-кому из них, избранным, а может быть, более смелым, в какой-то светлый момент удается пойти навстречу избранной ими и желаемой судьбы. А масса других остается пребывать в аморфном состоянии, являющемся уделом женщины как таковой. Их обедненная жизнь едва выходит из этого состояния и похожа на нить, которая повисла и болтается без всякой пользы. Мужчина знает, что от него требуется в жизни: быть хорошим специалистом и хорошим гражданином. Даже те из мужчин, кто не думают или не хотят думать о своей личности, уже с юношеских лет имеют какие-то действенные средства влияния на наиболее существенные формы своего будущего. Многовековой опыт и закалка, полученные на занимаемых командных постах, сформировали мужской тип. Разве когда-нибудь говорят о мужской тайне? А вот женщины все еще пребывают в блуждающем состоянии. Они блуждают внутри себя в поисках некой особой природы. Какой? — они и сами не знают. Они бродят вокруг сообщества, двери которого для них закрыты. Женщины — существа, постоянно пребывающие в ожидании, в состоянии неопределенности. Вот женщины, жизнь которых крутится вокруг иголки, вышивания (18 лет), пеленок (30 лет) и воспоминаний (60 лет). Вот те из них, кто, не обладая возможностью стать личностью, создают себе иллюзии, обостряя мстительную женственность, и поклоняются красоте, как Богу. А вот — совершеннейшие машины, которые отдали душу вещам и подчинили себя титанической борьбе с пылью или созданию хорошей кухни. А вот армия неуравновешенных, голова которых идет

кругом, поскольку и чрево их и голова пусты. А вот вереница женщин всеми забытых, обездоленных, покинутых. И в этом клубке порушенных судеб, истекающих жизнью, растроченных сил, несомненно, таится богатейший заряд человечности, заряд любви, способный взорвать сообщество мужчин, жестокое, эгоистичное, алчное и лживое.

Это почти еще нетронутая сила. Лучше и сказать нельзя, когда это называют расточительством. Само чудо любви, коренящееся в женщине, превратили в товар, подобный другим товарам, вместо того чтобы развивать и завершать его в каждой из них; в силу, подобную другим силам в игре товаров и сил. Товар для отдыха или для скрашивания жизни воина. Товар для устройства семейных дел. Объект (как точно сказано!) удовольствия и обмена.

Что же требуется женщине, чтобы стать личностью? Хотеть этого и добиваться жизненного статуса, который сделал бы это возможным. Но может быть, женщины не хотят этого? Разве такое положение дел не является прямым признаком зла?

Но такая инертность заинтересованных лиц, впрочем, не представляет главной трудности. Мы еще очень мало знаем о природе женской личности: "женское постоянство", "работа, естественная для женского пола" — вот темы, идущие от мужского эгоизма и мужской сентиментальности. Каким образом можно в поколениях, которые тысячелетиями отстранялись от общественной жизни, от интеллектуального творчества, а нередко и просто от жизни, которые привыкли к своей ссылке, испытывают стойкое парализующее чувство своей неполноценности, которые робки и безлики и у которых от матери к дочери некоторые основные элементы человеческой духовности, оставаясь под спудом, могли атрофироваться, — как можно распознать то, что представляет собой природу, и то, что является благоприобретенным, следствием их исторического подавления и удушья? Мы знаем, что для женщины очень большое значение в плане ее физиологического и духовного равновесия имеет одна функция: роды, а в плане призвания: материнство. Это все. Все остальное в наших утверждениях — это смесь всяческого невежества и раздутого самомнения.

Станем ли мы в силу этого провозглашать тождественность женщины и мужчины? Это значило бы только усиливать то же незнание с другой стороны. Скажем просто: за исключением материнства, общую значимость которого мы, впрочем, тоже знаем плохо, мы не обладаем с полной научной уверенностью знаниями ни о том, существует ли женственность, которая была бы коренным способом существования личности, ни о том, что она собой вообще представляет. Было бы серьезной ошибкой принимать за сущностные атрибуты половые характеристики вторичного порядка, даже психологические характеристики, представляющие собой всего лишь стороны биологической индивидуальности женщины. Еще более серьезной ошибкой было бы считать, что ее духовное призвание можно развить, искусственно усиливая значение женской красоты. Личность женщины, конечно, не отделена от ее функций, но личность всегда складывается за пределами функциональных ролей, а иногда и в борьбе с ними. Если в человеческом мире и существует женский принцип, дополняющий принцип мужской или противостоящий ему, то все равно еще необходим длительный опыт, чтобы выде-

лить его из его исторических надстроек: этот опыт едва только начинается. Для обретения его требуются поколения: сейчас приходится идти на ощупь, подхватывать начинания других, без чего накопление опыта задержалось бы и чему способствовала бы также осторожность, требующая не приносить личность в жертву лабораторным опытам; наверное, не раз потребуется поспорить с тем, что называют "природой", чтобы увидеть, до какого предела простирается подлинная природа.

Тогда постепенно женское начало будет освобождено от всего наносного, и оно обнаружится там, где его присутствия мы и не ожидаем, уйдет с дорог, которые мы считали проложенными на века. Но найдя себя, оно себя и потеряет. Этим мы хотим сказать, что женское начало не будет больше утверждать себя как замкнутый мир, подобный нынешнему, искусственно созданному в своей большей части и ложно таинственному из-за своей замкнутости. Освобожденная от балласта легковесных тайн, женщина вступит в общение со всем человечеством, вместо того чтобы оставаться отклонением в его истории. Мужчину, удовлетворенного поверхностным рационализмом, она, может быть, научит тому, что "женская тайна" является гораздо более требовательной, чем это передает тот образ, который он соизволил нарисовать, и продвинет его к раскрытию своей собственной тайны.

А попутно она разрушит заколдованный круг бесцветного, искусственного мира, чуждого сообществу мужчин, в котором мужчина же и удерживает ее вопреки ее инстинктам. Она может разрушить мужское самодовольство, узкий рационализм мужчин, их сердечную сухость и грубость: она уже пыталась сделать это, но, кажется, не стала из-за этого счастливой. Но она может попробовать преодолеть его с помощью той великой силы, которой современный мужчина пренебрег и центром которой является любовь. Если бы женщина уже смогла сделать это, то сегодня именно она была бы повелительницей истории и судеб мужчин. Мы мечтаем об обществе, в котором женщина смогла бы использовать всю свою невостребованную до сих пор силу. Речь конечно же идет об участии в выборах и о некоторых претенциозных вещах, которые уже не представляют интереса для мужчин. Тогда женщина не только завоевала бы свое место в общественной жизни, но и смогла бы очистить свою частную жизнь, подняла бы миллионы потерянных существ до уровня личности со всеми ее достоинствами и, способствуя, быть может, подъему ослабевшего мужчины, вновь нашла бы в себе первородные ценности подлинного гуманизма.

От клеточной семьи к семье как сообществу

Если уж личность подозрительна для рационализма потому, что он видит в ней фундаментальное иррациональное начало, то семья, это самое иррациональное из иррациональных явлений, тем более не может удовлетворить его. Общество, связанное простой случайностью рождения, наполовину ремесленническое, которое образует неподдающуюся никакой систематизации смесь, состоящую из детей и взрослых людей, может только раздражать чистый разум. Напротив, цивилизация, более

чувствительная к ценностям личности, чем к геометрически выстроенным ценностям разума, видит в институте семьи решительное завоевание, оптимальную человеческую среду для формирования личности.

Таковой является семья, по меньшей мере, в своем осуществленном совершенстве. Но между этим жизненным сообществом и семьей, данной нам исторически, существует достаточно большое расстояние, которое оправдывает необходимость переходного процесса.

На самом деле здесь требуется два таких процесса.

Первый — это обычный исторический процесс. Семейный институт, развиваясь вокруг одной основной темы, прошел с течением времени через различные изменения приспособительного характера. Каждая эпоха старалась представить его преходящий способ существования, тот, которому она следовала, которому она якобы придает лишь только особый облик. Именно этим делом занимается огромное количество как сторонников, так и противников семьи. И тем и другим она представляется связанной с ремесленнической экономикой (бережливость, стряпня, домашнее хозяйство) или же с земельнособственническими ценностями (отчий дом), если не просто с ценностями феодальными (определенный отцовский авторитаризм в выборе профессии, при вступлении в брак и т. п.). Когда развитие нравов и институтов затрагивает эти чисто социологические пережитки, добрые умы возмущаются и считают, что институт таким образом сотрясается в своей основе. Тогда, чтобы спасти его, они пускаются в создание защитных идеологий, собственно говоря, рациональных, но обреченных, благодаря историческому развитию, и не способных утвердиться в действительности. На этот раз они, стало быть, компрометируют то, что хотели защитить к прямой выгоде истинных противников семьи.

Поборники вечности всегда славилась подпорченным воображением. Зачем же признавать вечность, если не ради того, что, вопреки предвидениям ограниченных умов, внешне сохраняется в жизни, а по существу, в материальном плане, с течением времени изменяется коренным образом? В своих прежних формах семейное ремесленничество становится устаревшим так же, как и ремесленничество профессиональное; и какие-то новшества, которые могут использовать для своей стряпни тридцать домохозяек огромного здания или группы домов, с трудом могут заставить нас поверить в то, будто благодаря им затрагивается духовное содержание института семьи в целом, поскольку общественные службы освободили эту безмерно разбазариваемую энергию для личностных дел. Рассказывая о семейном благе, романисты отнюдь не доказали нам, что оно тесно связано с семейными узами. Если не затрагиваются любовь и подлинный авторитет, женщина и ребенок только выигрывают от ослабления семейного авторитаризма. Ну и что тогда? Тогда надо обладать умом, чтобы не путать консерватизм и верность, а семья, вместо того чтобы компрометировать себя, академически строго воспроизводя себя из поколения в поколение, найдет новые формы для утверждения своих основополагающих структур.

Но недостаточно просто проанализировать это нормальное историческое положение. Защитники семьи как будто бы допускают в своих апологетических преувеличениях, что семья сама по себе, как бы автоматически, является средой, благоприятной для духовного развития ее членов. Зачем же делать вид, будто она в силу какой-то неожиданной

привилегии является также и чисто духовным обществом? Оставаясь в основе своей функциональным сообществом, семья, как и всякое естественное общество, может порождать конформизм, лицемерие и угнетение. Семья, "клеточный строй": эти слова когда-то вызывали шок. Делали вид, что считают, будто они относятся только к чудовищам. Так вот же, нет! Надо иметь мужество признать, что семья, нередко даже лучшая из лучших, духовно убивает столько же, а возможно и больше, личностей своей ограниченностью, скупостью, страхами, тираническим авторитаризмом, чем это происходит из-за распада семейных очагов. Надо без обиняков отметить, что ей требуются героизм и бдительность, чтобы не превратить свои привычки в груз, который иногда даже под видом нежности душил разнообразные призвания ее членов. Но семья редко обладает подобной смелостью и героизмом. Если превозносятся семейные добродетели и при этом не разоблачается с таким же пылом опасность семейных цитаделей, то этим им, быть может, обеспечивается общественное уважение, но зато они обрекаются на медленное разложение из-за своих внутренних недугов.

Такое усердие специфично для буржуазного декадентства. Между тем "его" семья совсем недалеко от того, чтобы превратиться в коммерческое сообщество, вся деятельность которого управляется деньгами и денежными интересами. Любовь в ней определяется уровнем классовой принадлежности и размером приданого, верность — кодексом уважения и престижности, рождение детей — требованиями комфорта. Брак осуществляется как перевод денег со счета на счет и расширение дела — как рекламное и финансовое обеспечение. А женщина — она служит товаром. Те же люди, которые таким путем рекламируют свою верность традициям, устанавливают заработную плату, вынуждающую женщину работать целый рабочий день, чтобы прокормить детей, которых они якобы обожают, или устанавливают такую заработную плату, которая толкает на проституцию большую часть женского городского пролетариата. Чисто моральное действие по защите семьи, исключаящее из своего поля зрения бремя ответственности, лежащей на бесчеловечной экономике и лицемерной морали, исповедуемой классами богачей, может удовлетворить только буржуа. Мы не признаем авторитет такой морали.

Подобно тому как семью нельзя сводить к коммерческой ассоциации, ее нельзя сводить и к биологической или функциональной ассоциации. Попытка видеть в браке только решение проблем приспособления, а не борьбу, в которую вовлекаются две личности (одна через другую, одна вопреки другой) ради никогда не завершаемого творчества, значила бы, что вскоре в ней не останется ничего, кроме техники сексуально-евгенического отбора. В такой перспективе для философствующего биолога существуют проблемы только по отношению к виду (или расе), но не по отношению к личностям: биологически гармонизировать супругов, заставить их множить и селекционировать свою продукцию, чтобы в количественном и качественном отношении обеспечить превосходство одной расы над другими, конкурирующими с ней расами или же, наоборот, ограничить рождаемость, чтобы обеспечить минимумом комфорта, но это уже проблемы скотовода. Закон, превалирующий здесь, — это закон более сильного, в сущности — это закон мужчины. Себе мужчина

оставляет благородные задачи, возлагая на женщину все подневольные работы под предлогом их отнесения к "естественному закону ее пола", "женского гения" (приготовление пищи, уборка, постель), которые как бы случайно оказываются дополняющими комфорт, служат удовлетворению потребностей мужчины. Для этого нередко оказывается, что лучше всего было бы, чтобы женщина не имела никакого другого призвания, как служить или удовлетворять капризы своего мужа, чтобы она не стремилась ни к какой иной духовной жизни, кроме той, которая ей передается через посредство другого лица. Чисто биологическая точка зрения всегда открывает дорогу угнетению.

Помимо своих внутренних функций семья, являясь ячейкой общества, имеет и внешние функции. Это новая власть функционализма над личностями, которых семья включает в себя. Любой тоталитаризм, эстатические или националистические режимы, таким образом, низводят семью на уровень служанки нации в политической сфере. И не только они. Иногда в тех же добромыслящих кругах, объявляющих себя сторонниками христианского персонализма, превозносят свою "семейную политику", свою "политику рождаемости". Что это значит? Производить детей — значит, прежде всего, производить личностей, которым предназначено взорвать установленный порядок, а не в первую очередь или исключительно создавать мелких анонимных налогоплательщиков, которые пополняют бюджет, фашистов или коммунистов. Политика рождаемости министров, военных, диктаторов, даже если она и может остановить мальтузианство*, коренным образом подрывает смысл сообщества, нацеленного в первую очередь на создание личностей, которые его образуют, а не на национальное общество, которое их использует. Никакой утилитарный результат никогда не оправдывает растрату духовного потенциала.

Что еще можно сказать о мелкой, алчной тоталитарной юриспруденции, которая служит законом во внешних делах буржуазной семьи? Оставаясь анархической и в то же время тиранической, семья представляет собой самый элементарный из тех социальных продуктов, агрессивных внутри, угнетательских вовне, которые, налагаясь друг на друга, формируют эгоизм. Сложившаяся в замкнутом обществе, семья строит себя по образу индивида, который ей предлагает буржуазный мир; чувства призвания и предназначения в ней одинаково задушены уравнительным устремлением и претенциозным духом; всякое таинство также изгнано из нее и заменено корыстным интересом, волей к власти или же, как это обычно бывает, соучастием в конформизме; разного рода предательства прикрыты в ней лицемерной непреклонностью. Все средства соединяются, чтобы сконцентрироваться в силе, придаваемой им объединением; дух семьи, честь семьи, — используют все громкие слова, чтобы замаскировать клубок гадюк, распутывать который никто не собирается. Провинциальные города, жители которых одеты в белые льняные одежды для умиления туристов и конечно же сохраняющие множество славных традиций, потерявшие всякую надежду, заткнитесь! Ваше сердце, погрязшее в ненависти, неприязни, ваши укрытия, где правят бал ревность, подозрительность, заговоры, глупость, досада, — разве эти древние сокровища цивилизации мы должны спасти? Некоторые блудные сыны плевали на фарисеев, призывающих к восстанию против того, что их в детстве слишком долго угнетали. Их советы далеко не всегда

оказывались убедительными, а требования — осмотрительными: но разве беспорядок способен породить что-либо другое, кроме беспорядка? Однако они сигнализируют о скрытом угнетении: в наших приукрашенных для иностранных туристов городах существует около сотни мрачных тюрем, в которых под сенью закона, потихоньку убивается огромное число личностей, а детство уничтожается еще до того, как ощутится биение новой жизни. Там нет диктатур видимых, а только диктатуры невидимые, диктатуры буржуазного духа, буржуазной скупости, буржуазного лицемерия. Спасти семью, да, но чтобы спасти ее, надо вскрыть эти зловонные язвы, существование которых продлевается, если они остаются невоскрытыми, и привнести жизнь туда, где поникшие травы уже обнаружили свое бессилие.

Ни одно из предшествующих критических замечаний не направлено на то, чтобы растворить семью в некоем идеальном анархическом обществе. Семья — это такая же воплощенная реальность, как и личность: она воплощена в биологической функции, в социальном мире, в сообществе. Следовательно, семья не является случайным скоплением индивидов и даже личностей. По своей плоти она является некоторой данностью, некоторым предложенным для совершения приключением, некоторой службой, некоторым ограничением, необходимыми самим этим личностям. Индивиды должны пожертвовать ради нее своими привилегиями, подобно тому как сама она должна пожертвовать собой ради блага большего числа людей. Только одна граница должна остаться нерушимой — граница, существующая между личностями и их призваниями. Семья не только не должна подчинять их себе, но, напротив, должна служить им; она становится незаконной, если сковывает их, сбивает с пути или уводит от того пути, который они сами должны открыть для себя. Даже власть, которая семье, как и всякому обществу, органически необходима, должна оставаться в ней в гораздо большей мере службой, чем отношением права. Функция биологическая и функция социальная привязывают ее к материи, живой или мертвой, в зависимости от характера души. А сама эта душа проявляет себя в свободном поиске, который ведется сначала двумя личностями, затем многими личностями, а по мере становления личности детей — сообществом, нацеленным на взаимную реализацию каждого. *Это сообщество личностей не возникает автоматически, а возникнув, не может быть незыблемым.* Оно представляет собой только шанс, который еще надо испытать, использовать; это вовлечение, которое еще предстоит осуществить. *Такое сообщество может состояться, если люди устремляются к нему всеми силами, если его лучи пронизывают их, и лишь при таком условии семья может быть названа духовным сообществом.*

Личность замужней женщины

Призванная к своей миссии личности, замужняя женщина в семье уже не может оставаться простым орудием или же пассивной тенью своего мужа. Мы не думаем, что ее "освобождение" имеет своим первым условием вовлечение всего женского пола в общественное производство (Энгельс) или что заботы о домашнем очаге связаны в той или иной

мере с потерей собственного достоинства. Даже смешно видеть в союзе, который скрепляет любовь, некую нетерпимую зависимость, когда женщина, в случае надобности, будет жить на заработную плату мужа.

Однако любовь не всегда присутствует в ней, и не любовь решает все семейные проблемы. И если так много браков в среде мелкой и крупной буржуазии заключается с достойной осуждения поспешностью, чтобы в конечном итоге закончиться разводом, то это в значительной мере определяется тем, что девушка, вместо того чтобы получить соответствующее ее характеру воспитание, обречена буржуазным воспитанием на ожидание от брака материального и духовного обеспечения. Подстегиваемый варварским институтом приданого неизбежный расчет вступает в дело и подрывает у женщины свободу выбора. Первым условием обеспечения независимости этого выбора по отношению к различным формам экономического давления при любой перспективе является овладение каждой девушкой знаниями, что может в будущем принести доход. Этим она завоеует не только материальную независимость. Если верно, что труд — это источник дисциплины, необходимой для формирования и равновесия личности, если верно, что безделие является, как говорится, общей основой всех пороков, то непонятно, почему женщина не должна подчиняться общему закону. Беда большинства женщин состоит в том, что в них, отлученных от деятельности, развивается подспудно слабое устремление к одинокой жизни, а затем страх перед ней — они либо страдают от одиночества, либо постепенно тупеют под гнетом материальных забот или предавшись светским увеселениям.

Заниматься профессиональным делом для замужней женщины гораздо сложнее, чем для девушки учиться. До того, как она становится матерью, профессиональное дело может для нее быть прекрасным противоядием против эгоизма и сентиментальности, граничащей с изоляцией. А поскольку, по общему правилу, появление ребенка не позволяет ей целиком отдаться этому занятию, хорошо было бы, если бы женщина продолжала сохранять связь с внешней средой посредством работы, требующей половину или четверть рабочего времени (что должны обеспечить законодательство и профессиональные организации), или работы на общественных началах. Бесчеловечность нынешнего строя, побуждающего несчастную женщину к каторжному труду и отрывающему ее от домашнего очага, согласно известной марксистской концепции, никак не оправдывает вредную реакцию "возврата к семейному очагу", мыслимому в материальном плане и систематически осуществляемому, что отделило бы женщину от мира еще более основательно; это значило бы, что женщина вместо того, чтобы приспособиться к жизни, была бы принесена в жертву мужу, а вместе с детьми — в жертву иллюзии возросшей материальной близости. Разве физическое присутствие женщины в домашнем очаге не было бы в значительной мере облегчено, если бы общество стремилось к более широкому распространению технических средств, облегчающих ведение домашнего хозяйства, к более равномерному распределению материальных обязанностей с согласия мужа, приданию меньшего значения изошренному буржуазному комфорту и широкому распространению лучшего понимания необходимости как для блага супружеской пары, так и детей, не путать интимность и перманентную замкнутость?

В любом случае замужняя женщина должна иметь в своем распоряжении доход от собственного труда при равенстве в правах и обязанностях с мужем: равная заработная плата за равный труд и свободное распоряжение заработной платой при равном вкладе в домашнее хозяйство оплачиваемой работы вне семьи; право на заработную плату за ведение домашнего хозяйства, взятую из заработка мужа в случае работы по хозяйству в доме. Желательно, конечно, чтобы семейное сообщество было столь хорошо обустроено, что оно обходилось бы без всякого юридического вмешательства. Но закон должен равняться на случаи максимального риска, а не на счастливые случаи. И его задача — внести порядок туда, где любовь сделала бы его ненужным.

Только при наличии таких минимальных гарантий, санкционированных законодательством, судьба женщины не будет зависеть от ее покупательной способности, а привязанность к домашнему очагу перестанет означать для нее отказ от всякой личной жизни, ограничение деятельности ведением домашнего хозяйства. Мужской авторитаризм, который еще продолжает служить законом нашей семейной жизни, от этого, быть может, и пострадает, но не пострадает подлинный авторитет семьи; а подлинная семья, это сообщество личностей, в большинстве случаев только тогда и начнет выделяться из более низких форм ассоциации.

Личность ребенка

Воспитание ребенка является обучением свободе посредством взаимодействия опекуна с его спонтанными способностями. Все то, что мы сказали о защите ребенка от государства, сохраняет свое значение и в отношении семьи в той мере, в которой эта последняя проявляет тенденцию превратиться из сообщества личностей в замкнутое общество. Так же как и женщина, ребенок не является орудием социального или коммерческого поддержания семьи или намерений, которые она имеет на его счет. У семьи только одна миссия — пестовать, поддерживать его призвание. Все ее усилия должны быть направлены на то, чтобы дать ребенку проявить свое призвание без всяких иллюзий и поощрять его развитие без какого бы то ни было злого умысла. Ныне господствующие наука и нравы, остающиеся наукой и нравами мужчин и взрослых, пренебрегают миром ребенка, его чудесной реальностью, его требованиями, его ранимостью, даже в несколько большей степени, чем миром женщины. Они пренебрежительно и неприязненно относятся к ребенку. Мы, конечно, воздержимся от наивной идеализации детства; оно близко стоит к грубым инстинктам и к "природе", которая отнюдь не вся обладает ангельским содержанием. Вместе с тем детство — это чудесный сад, в котором мы можем учить и оберегать человека еще до того, как он разучился свободе, бескорыстию, самопожертвованию. Каждое детство, которое мы защитим, которое мы укрепим, избавляя его от инфантилизма, и подтолкнем к зрелому возрасту, будет означать рождение еще одной личности, вырванной из объятий буржуазного духа и в любом обществе — из объятий смертоносного конформизма. Это источник, животворность которого мы сохраним. Ни семья, ни государ-

ство, проявляя живой интерес к ребенку, не должны ставить целью полностью подчинить себе его. Либерализм это хорошо подметил, но все здесь поставил вверх ногами: под предлогом невмешательства он отдал ребенка на откуп инстинктам и внешнему окружению. Персоналистское воспитание является "интервенционистским", но при неизменности цели развития личности как таковой. Лучший способ уберечь ребенка от замкнутых обществ, угрожающих ему, — это вызвать их конкурентную борьбу между собой в различных качествах и на различных уровнях: семья, школа, воспитательный процесс, государство, — чтобы обеспечить взаимное ограничение наносимого ими ущерба.

Семейная среда является наиболее естественной для развития ребенка. Вместе с тем важно ограничить контакт ребенка со взрослыми, организовав для него его собственную жизнь в кругу детей его возраста; оторвать его от эгоистической и сплоченной семьи, которая стала закрытым обществом, но ни в коей мере не отталкивая его от семьи-сообщества. Чтобы с раннего возраста обеспечить открытость частной жизни ребенка, важно сделать регулярной его общественную жизнь в свободных организациях, которые в этих целях будут избраны семьей (ясли, детские сады, скаутские организации и т. п.). Воспитание не должно упустить и такой критический момент, когда юноша пустится в плавание, разорвав чересчур прочные узы, связывающие его с семейной гаванью, чтобы научиться свободе, которая, когда он станет взрослым, обернется его добродетелью.

Расширяющаяся семья

Господство земельной собственности еще могло оправдать концепцию патриархальной семьи, объединяющей многочисленные ветви под юридической или нравственной властью главы семейства. Эволюция семьи, идущая по прямой линии от поколения к поколению, ослабляет семейные связи и является прогрессивным завоеванием, которое можно записать в актив личности. Пережитки патриархального строя в обществе, в котором он уже утратил свою душу, показывают, каким грузом коллективный конформизм давит на индивида со всем его драматизмом.

Живая семья при живом строе, при человеческих экономических условиях, естественно, оказывается многодетной. Рождаемость в какой-то стране можно поднять не за счет внешних средств и наград, а путем обеспечения соответствующей экономики и веры. Уточним также, что если рождаемость не может регулироваться эгоизмом супружеской пары, то она все же подчинена сохранению физической и нравственной личности родителей и каждого ребенка. Чисто количественная концепция материнства, не учитывающая тех сложных проблем, которые ставит это основополагающее требование, концепция рождаемости, в основу которой полагается мощь государства или сила расы (элементы, которыми не следует пренебрегать, хотя они и являются вторичными), были бы сугубо материалистическими концепциями, несмотря на всю двусмысленность пропаганды.

Семья — это естественное сообщество личностей; следовательно, она стоит выше государства, представляющего лишь власть юридического закона. Ее права, вторичные по отношению к правам ее членов, являют-

ся первичными по отношению к правам государства во всем, что касается ее существования как сообщества и блага ее членов как личностей. Вместе с тем она ограничивается государством, управляющим нацией, а в обозримом будущем — и юридическим представителем международного сообщества во всей той и только той мере, в какой она и ее члены по отношению к этим обществам являются всего лишь индивидами, составляющими часть целого. В силу функции, которую мы в дальнейшем определим, эти расширяющиеся верховные власти имеют право на наблюдение за ее действиями и вмешательство в них в пределах, которые были указаны выше, а также соответственно право на защиту личности от возможных злоупотреблений внутри семьи.

3. Культура личности

Буржуазная культура

Выявление доминирующего направления в развитии культуры определенной эпохи, к которому в период продолжающегося упадка можно свести все ее достижения, не является произвольным упрощением социологического подхода к культуре или же недооценкой всего того, что в ней, к большому счастью, выходит за рамки такого подхода.

Итак, культура последних ста пятидесяти лет несет на себе печать буржуазного общества и буржуазной культуры. Эта печать станет для нас все более очевидной по мере того, как мы будем обращаться к наиболее захиревшим или наиболее задеревеневшим формам культуры.

Эта болезнь особенно заметна, когда мы рассматриваем культуру в той зоне, где она расслаивается, материализуясь в качестве социального факта: общие мнения, господствующие идеи, системы, стили, мода, уровень преподавания. В этом плане обезоруженная, поработанная собственной тенью, она уже не отражает почти ничего, кроме рамок общества, ее допускающего. Она еще служит, она еще в деле, но она подобна (и на равных, по меркам хозяев) служанке, которая получает содержание за свою работу: то нынешние сильные мира сего используют ее, с тем чтобы оправдывать самих себя в собственных глазах; в этом случае они нанимают из числа интеллигентов нескольких лакеев, не имеющих иллюзий относительно того, какие задачи они выполняют, и подпитывают их выкладками своих мыслительных стереотипов; то они толкают ее на мечтания, побуждают убежать от действительности, предаваться фантазмагориям, которые призваны усыпить ее волю и заставить свернуть с пути, а не привести к вершинам существования, как это свойственно подлинной поэзии. Всеядные и безответственные служащие, безответственные дилетанты-затейники, коллекционеры плоских анекдотов (смотри наши крупные журналы), знаний (смотри работы наших академиков) — таков элитарный цех, распространяющий ныне культуру.

Таким образом буржуазный мир прямо или косвенно подчинил себе постоянно расширяющуюся зону культуры, которую он унаследовал и поддерживать которую он сам уже больше не способен. Его разлагающее воздействие оказывается обширным и глубоким, поскольку он

инстинктивно отодвигает культуру на задний план в иерархии своих ценностей. Исследуем это зло, как обычно, идя от внешних проявлений к внутреннему содержанию. Но, может быть, высокопоставленные служащие, творческие работники, по меньшей мере, сопротивляются этому?

Условия, созданные миром денег для интеллигента и художника, конечно же удерживают их от этого, за исключением отдельных случаев проявления героизма¹. Они не имеют своего специфического места в обществе, если, по меньшей мере, не служат ему, отвергая честный труд в пользу благопристойной мысли или в пользу кастового, снобистского, денежного искусства, служащего меньшинству, предназначенного для удовлетворения вкусов снобов и финансовых воротил. Строго говоря, буржуа терпит их, если они развлекают его пусть даже за его счет, если он не считает, что их дерзости становятся чересчур опасными. В противном случае он игнорирует их или выбрасывает прочь как отходы общества. Беда состоит в том, что художник, на котором лежит печать индивидуализма, смирился с такой обособленностью и позволил своему демону опьянить себя до такой степени, что стал считать себя всемогущим хозяином своего искусства, пророком, демиургом. Он взял на вооружение все: капризы, странности, извращения — и засел в этой башне из слоновой кости, в которой марксизм даже усматривает своего рода церковь. Он полагает, что перестал быть буржуа, хотя питает его тот же самый индивидуализм, благодаря которому буржуа растут как грибы. Вот почему буржуа, сохраняющий хотя бы немного воображения, продолжает оставаться в семействе Монпарнаса или ходить рядом в кафе у Свана. А почему бы ему не нравилось находиться там, где под флагом диктатуры формулы и однодневной моды царит искусство, последним ресурсом которого оказывается ловкость или сюрприз? И только очень немногие деятели искусства обладают достаточно просветленным сознанием, чтобы избежать этого, но их сознание недостаточно мужественно, чтобы помочь им выбраться из безнадежного состояния; они обращаются к истокам культуры только тогда, когда пребывают в состоянии опьянения, которое создается в гораздо большей мере за счет гипноза, чем за счет решительной и честной деятельности, в которой они осуществляют свое призвание.

Вместе с мыслителями и деятелями искусства буржуазный мир последовательно опошляет и публику, которая еще могла бы воспринимать продукты труда того и другого. Народу, этой самой многочисленной и изначально самой здоровой части публики, в условиях развитого капитализма он навязал такой образ жизни, когда забота о хлебе насущном вытравливает из нее любое бескорыстное устремление. Для других же он превратил любую ценность в средство погони за деньгами. Он приложил к жизни, к вещам, как таблички, свое количественное утилитарное видение, которое лишает их присущего им блеска. Угнетает ли он людей или способствует им в их развитии, остается тот же вопрос: какое место он им отводит, какой образ жизни, какие возможности оставляет им для размышлений об истине и красоте. Вот таким образом

¹ См. специальный выпуск "Эспри" (octobre 1934): L'art et la révolution spirituelle; L'Ordre nouveau, De la culture (Esprit, février 1935).

опошленная публика в свою очередь ускоряет движение, которое повергает художника в состояние раболепства или обрекает его на изолированность, поощряя наряду с его претензиями все притязания поделщиков.

Если же перейти от людей к произведениям искусства, то обнаружится, что буржуазные ценности уже укоренились в проблемах, идеях, сюжетах, в самом процессе творчества и потреблении его продуктов. Здесь нельзя ограничиться легковесными замечаниями. Тот факт, что писатель или художник черпает свои образы в буржуазном обществе, был бы скорее знаменательным, чем опасным: можно создать крупный роман (или картину) на основе посредственного сюжета, а первые литературные произведения новых режимов, совсем близко стоящие к натуре, нередко оказываются ниже по качеству, если сравнивать их с лучшими произведениями предшествующего периода, характеризующегося как период упадка. Но гораздо важнее то, что из-за страстей, которые сюжет несет в себе и включает в игру, он деформирует самую свободу творчества и самостоятельность поиска. Такое обеднение произведения с помощью сюжета имеет множество разнообразных проявлений: догматическое упрощение персонажей и идей в апологетических произведениях, подобных роману Бурже или критике Массиса; приторность вдохновения в излияниях чувств или "буржуазных добродетелей"; идеализация проблем у философов и публицистов, которые абстрагируются от "грубой реальности" и гораздо охотнее посещают университетский театр идей, чем соприкасаются с реальной жизненной драмой; или еще у новеллистов, специализирующихся на проблемах, порожденных бездумными формами досуга. Отвлекающее искусство, от которого требуется заставить нас позабыть о повседневной жизни даже тогда, когда мы ее непосредственно переживаем, бунт людей, потерявших нравственные ориентиры, которые не в состоянии обрести веру, а потому только и делают, что попустительствуют разложению, скрытно вовлекая в него опошленную буржуазную публику.

Вместе с тем "сюжет" портит создателя и потребителя культуры гораздо меньше своей ограниченностью, чем идущим с ним об руку опошлением ценностей. *Буржуазное общество наносит смертельный удар культуре главным образом не извне, используя те или иные мотивы, а изнутри, очищая ее от реальных проблем, которые только и могут быть ее мерой, и лишая порыва, без которого она обойтись не может.*

Эта реальность является собственно метафизической, трансцендентной по отношению ко всему физическому, в том числе и по отношению к социальной "физике", или, как говорил Кант, действительностью возвышенной: мы присутствуем при медленном, но массивном крушении метафизики в истории и психологии, осуществляемом для того, чтобы сбросить ее со счетов; высокого искусства в искусстве незрелом, созерцательности — в эмоциональной жизни (духа научности — в учености), чувства истины — в аналитических пристрастиях; правительства теряются при всевозможных пертурбациях, частная жизнь растворяется в ходе текущих событий. Подобные знания, оторванные от мудрости, становятся прерогативами, которыми наделяется так называемая "элита", использующая их для обоснования собственной самодостаточности и возведения вокруг себя неприступных границ. На последних этапах

этого упадка буржуазная культура ориентируется уже не на универсально-человеческое, не на обыкновенное благородство, которые объединяют людей, а на что-то редкое, смутно-изысканное, картинное и декоративное, которые ведут к обособлению и разделению. Ее привлекает не реальное, не прочное, а нечто психологическое, граничащее с патологическим, аномальным, не возвышение интеллекта, которое было одним из источников величия даже того рационализма, против которого мы выступаем, а чистая, сама собой увлеченная чувственность. В конце концов она теряет интерес к содержанию и сосредоточивается на формах и приемах. После того как она отвергла подлинное включение в действие и ограничилась одной постановкой вопросов, она перестала заниматься и этим последним. Сноровка, поделщина, поделщина для прикрытия поделщины ставятся на место творчества и просто честной духовной деятельности. Критика тоже судит только по критериям подобных фокусов и сплетен в литературных кругах. В этих условиях быть культурным человеком означает быть элегантным трусом.

Из-за своей внутренней пустоты буржуазная культура оказывается на стороне власти. Как писал Дени де Ружмон¹, "в истории нет примеров, когда бы литература, не обладающая собственной *внутренней необходимостью*, в конечном итоге *не использовалась бы...* Все то, что не состоит на службе у людей, тем самым состоит на службе у того, кто их угнетает".

Опасения по поводу направляемой культуры

Хотя конечный акт культуры состоит в переходе к действию и в служении, а не в отказе от суждения и действия, это не противоречит тому, что такое включение и такое суждение немислимы иначе как шаг, совершаемый личностью, создающий почву для целостного и последовательного познания и действия. Совсем не так мыслит известный антилиберализм. Мы намеренно имеем здесь в виду культурный этатизм, как фашистского, так и марксистского толка, который распределение культуры превращает в монополию государства или в функцию какого-либо коллектива.

Нам уже известны самые что ни на есть радикальные формы такого порабощения культуры: государственная ортодоксия, которая прямо или косвенно, как в нацистской Германии или в коммунистической России, подчиняет себе все виды культурной деятельности, обуздывает разного рода гражданскую нетерпимость.

Существуют и менее объемлющие, но вызывающие не меньшее беспокойство формы порабощения культуры². В современном мире мы наблюдаем достойный сожаления отход от культурного созидания и взаимобогащения культур. Культура оказывается порабощенной квазимонополией власть имущих и буржуазным духом, скомпрометированными нерасположением к ним публики даже тогда, когда ее самопроявление

¹ Préface à la littérature / Esprit, octobre 1934. P. 28.

² Alerte à la culture dirigée / Esprit, novembre 1936.

остаётся свободным. Из-за этого на ум приходит мысль о том, что только сильная организация, создаваемая вне рамок капиталистического порядка, могла бы способствовать освобождению культуры и пробуждению к ней интереса публики.

Эта идея пока остаётся только как черновой набросок. Она исходит из трех верных посылок. Первая: использование орудий культуры (зданий, лабораторий, крупных издательств или демонстрационных залов и т. д.) является обязанностью широких организаций, особенно государства, которые одни только и обладают достаточно мощными средствами для их создания. Вторая: когда публика уже не идет навстречу культуре, необходимо, чтобы культура шла к публике и стимулировала ее развитие. Третья: культура может быть только всеобъемлющей и объединяющей. Но когда в руки государства или любого централизованного организма вместе с материальным применением определенных мощных орудий культуры отдается систематическое руководство культурным развитием, эти основополагающие истины попадают в неизбежный тупик, превращаясь в антиистины.

Во-первых, культурное потребление основывается на культурном творчестве, а культурное творчество — это вызревающее в свободе дело своеобразных личностей или (незначительных производств) небольших сообществ личностей. Когда какой-нибудь весомый орган давит на эту обладающую творческим потенциалом спонтанность, навязывает творческому работнику, лишая его личностного порыва, заранее очерченные направления, пути и темпы движения которого он якобы только один и знает, то он работает в лучшем случае на производство серийных предметов, а отнюдь не на создание произведений искусства. В последнее время у марксистских писателей стало модным противопоставлять Прометею, похитившему огонь у богов и из-за этого потерявшему свободу, Геракла, победившего злые силы на земле и живущего под страхом. Мы стоим на стороне Прометея. Где бы он еще мог найти огонь, если не в том, что превосходит его обычные силы? Именно в чем-то более высоком, лежащем по ту сторону этих сил, деятель искусства, мыслитель, ученый смогут найти духовную реальность, которую и передадут в своих произведениях (живописных, музыкальных и т. п.). Единственно возможной связью между этой реальностью и человеком является личное созерцание. Всякое произведение, всякая культура, которые направляют свой порыв на цель, стоящую ниже этой реальности, остаются в культурном отношении незрелыми.

Именно здесь коренится опасность направляемой культуры, которая опирается либо на социальную полезность, либо на идеологическую систему, либо на искусство для масс. Социальная полезность необходима там, где речь идет об искусствах, не достигших своей зрелости, искусствах утилитарных (например, в архитектуре), либо о технических достижениях: за их пределами она повсюду наносит ущерб произведениям, которые снижают свой уровень сразу же, как только они начинают ориентироваться на экономическую полезность, а не на собственное совершенство. Идеологические системы обрекают ущербного творческого работника на согласие с окружающим его миром и низводят его до уровня производителя, действующего по заранее установленным образ-

цам: как раз в такой момент один из них начинает считать себя христианином, потому что расписывает храмы, церкви, другой — социалистическим художником, потому что рисует людей в рабочих блузах.

Забота о сообществе ставит более сложные проблемы: художник хочет служить человеку; его искусству, принадлежащему человечеству, которое отбросило свой эгоизм, избавилось от тщеславия и прониклось идеей милосердия, *может быть*, и посчастливится дойти до гораздо большего числа людей, но оно сделает это только благодаря своим собственным средствам, а отнюдь не потому, что будет следовать заранее предустановленным целям. Связь художника с произведением и произведения с публикой является слишком таинственной, многообразной, не поддающейся предвидению, чтобы стать преднамеренной, даже если она индивидуальна. Правы те, кто говорят, что художник почерпнет гораздо большее богатство из реального соприкосновения с народом, чем побывав в атмосфере изысканнейших художественных салонов. Но такое соприкосновение готовит человека к творчеству, а не диктует ему правила создания произведения; творчество не подчиняется никаким законам, кроме законов, присущих ему самому. Даже марксистские критики без обиняков признают, что народ, особенно городской пролетариат, ныне слишком обуржуазился и утратил интерес к культуре, что не позволяет новой культуре ориентироваться только на него одного. Надо идти дальше. *Коллективы не создают культуру*. Они всегда тормозят ее даже при наилучшем строе в силу их естественной склонности к упрощению, огрублению, легковесности. В остальном же они дают ей пищу, темы, жизненность, *они являются ее силой и ее почвой, отделать себя от которых художник не может, но и без художника коллективное творчество не поднялось бы выше уровня фольклора, более или менее утилитарной мудрости, мифологии*. Только творческий работник делает возможным возвышение, благодаря которому его богатства становятся универсальными. Мы уже говорили о том значении, которое мы придаем общностному возрождению. В дальнейшем мы будем защищать федералистскую концепцию политической организации. Это дает нам возможность еще более свободно отвергнуть сейчас соблазны "коллективного искусства", подчиняющего все виды искусства искусствам утилитарным или искусствам несовершенным, что, в частности, имеет место в архитектуре; к этому мы добавляем опасность культурного федерализма, способного принести великие культуры в жертву более или менее узким рамкам регионального фольклора.

Когда мы бьем тревогу по поводу направляемой культуры, мы думаем не только о риске, которому подвергается творчество. Не требуется исключительной проницательности, чтобы предвидеть появление армии приматов, которые будут навязывать нам стандарты "народного воспитания". Мы что, ратуем за аристократизм? Совсем наоборот. Мы знаем, что во всех социальных классах существует равномерное распределение элит и что люди из народа в большинстве случаев оказываются более богатыми, если говорить о реальном знании, чем профессора и критики, которые придут их учить: вот почему мы хотим оградить эти опоры или эти источники, несущие культуре свежесть, против действий недоучек. Этим простым людей заставят с самыми лучшими намерени-

ями устыдиться своей неоформившейся мудрости или своих наивных вкусов, привыют им уважение ко всему расхожему, общепризнанному, искусственному, привлекательному. Они поверят в то, что добились действительного познания, когда будут ослеплены логической связанностью первой попавшейся системы, что приобрели подлинный вкус, потому что научились общепризнанным выражениям и соответствующим комментариям. Но мы боремся не с намерениями. Конечная цель персонализма состоит в том, чтобы любому человеку без всякого исключения дать тот максимум истинной культуры, который он способен усвоить. Мы только боремся против средств, которые в силу их массового характера шли бы вразрез с предлагаемой целью.

О персоналистской культуре

В своей критике буржуазной культуры и направляемой культуры мы попутно упоминали об элементах культуры персоналистской. Сейчас самое время вкратце напомнить о них.

1) Первое, что требуется от интеллигентов, которые хотят способствовать созданию персоналистской культуры, — это смелость, необходимая для того, чтобы *покинуть роскошный корабль буржуазной культуры и пустить его ко дну*. Среди нас еще нет таких, кто не брал бы на вооружение эту культуру, кто в той или иной мере не разделял ее пристрастия, не принимал ее извращенные формы. Первая задача: осветить новым светом все темные углы. Невозможно переделать собственное воспитание, и мы, конечно, останемся существами гибридными. Это достаточная причина, чтобы не слишком кичиться нашей так называемой элитарностью, но это не причина для того, чтобы не предать огню то, что нас загрязняет, чтобы, сидя между двух стульев, не трудиться ради новых наследников, которые придут к нам завтра.

2) *Сегодня, как и всегда, основной источник культуры находится в народе*. Это знали Монтень и Рабле, Паскаль и Пеги, которые, однако, не стали последовательными коммунистами. Следовательно, долг интеллигентов-персоналистов состоит отнюдь не в том, чтобы "идти в народ", чтобы учить его более или менее скомпрометировавшему себя знанию, не в том, чтобы превозносить его недостатки, а в том, чтобы, опираясь на опыт человечества и подлинное знание, ставить себя на службу всем силам культуры, которые, пребывая внутри народа, слепо ищут выхода. Считать, что та часть народа, которая осталась не зараженной буржуазным декадентом, несет в себе ростки новой культуры, не значит санкционировать бескультурье, вульгарность и безразличие, свойственные зараженной его части. Это не значит также, как это было, по меньшей мере, длительное время в СССР, сводить всякую культуру к той, что связана с технической деятельностью и о которой говорят лозунги всесильной партии. Это значит выделять в наиболее здоровых зонах каждой человеческой группы рабочие, крестьянские, университетские и т. п. элиты и поддерживать их разнообразие. Марсель Мартине, Виктор Серж, Анри Пулай, Хендрик де Ман высказали по этому вопросу идеи, в которых легко нашел бы свое выражение социалистический

персонализм, только желательным было бы, чтобы у отдельных его представителей он был бы менее увриеристским.

3) Черпая свои силы в народе, новая культура не должна отбрасывать то основополагающее требование, которое передается ей в качестве культурного наследия: *культура может быть только личностной и метафизической*. Метафизической — это значит, что ее цели выше человека, выше чувства удовлетворенности, полезности, социальной функциональности. Личностной — это значит, что только внутреннее обогащение субъекта, а не возрастание его умений, деяния или говорения заслуживают имени культуры. Это условие требует, чтобы в будущем культурное пробуждение осуществлялось посредством нарастающего распространения самостоятельных очагов, а не централизованных административных мер; путем медленного формирования, а не путем поспешных решений.

Группы культурной инициативы должны работать на основе свободной конкуренции. Функция же государства должна состоять в том, чтобы вызвать соревнование между ними, побуждать и поощрять их деятельность: поэтому государство само должно ощущать как можно большую конкуренцию в этом деле со стороны местных и трудовых коллективов, отрицательно относящихся к любой попытке установить культурный этатизм.

4) Благодаря своему метафизическому характеру культура находит, наконец, принцип *универсальности*, а вынужденная всегда ориентироваться на личность, она тем самым избегает *тоталитаризма*.

4. Экономика на службе личности

Экономика прежде всего?

Непомерное значение, придаваемое в условиях всеобщей нестабильности экономической проблематике, является признаком социальной болезни. В конце XVIII века экономический организм внезапно разросся до такой степени, что, подобно раковой опухоли, поразил или задушил все остальное в человеческом организме. Из-за неспособности взглянуть со стороны или в силу нехватки философской культуры большинство критиков и деловых людей приняло это несчастье за нормальное состояние. Они провозгласили суверенитет экономического начала в истории и стали соотносить свои действия с его приоритетом на манер специалиста по раковым заболеваниям, который вдруг решил бы, что человек мыслит благодаря своим опухолям. Более широкое видение свойств личности и их иерархии вынуждает нас разрушить подобную картину, искажающую существо дела. Экономические проблемы не могут получить своего решения в отрыве от политики и духовного начала, которые возвышаются над ними и которым они внутренне подчинены, что имеет место при нормальном положении дел.

Историческое осложнение от этого не становится менее реальным и значительным. Оно сказалось на личности и обществе столь серьезным образом, что все формы беспорядка, включая и духовный, теперь имеют в себе экономическую составляющую, а в ряде случаев экономика играет решающую роль. *Чтобы приостановить это чудовищное разрастание*

экономического начала в человеческом мире, мы срочно должны поставить его на отведенное ему место, чтобы оно не оказывало своего пагубного воздействия на все те проблемы, которые оно продолжает извращать.

Взаимодействие экономического и духовного начал в человеческом мире задает нам меру и пределы, в которых "моральные" суждения оказываются значимыми для порядка материального, имеющего отхождение исключительно к технике и историческим закономерностям.

В самом деле, существуют экономические законы и исторические процессы. Они действуют тем более определенно, чем полнее мы отречаемся в их пользу от своей свободы. Поскольку однажды они оказались нам навязанными, иногда их можно расшатать, чаще — подправить, но с ними нельзя справиться посредством простого отрицания. В этом мы противостоим многим моралистам, замысел которых, выраженный в их формулировках, может показаться близким к нашему. Моралисты являются интеллектуалами, непривычными к жестокости некоторых реальностей, людьми, располагающими излишне большим досугом, чтобы почувствовать силу материального принуждения, — они сформировались в ту эпоху, когда индивидуализм и идеализм, вопреки их воле, ставили свою печать даже на тех концепциях духовного начала, которые по формальным признакам противоположны этим жестокостям и принуждению. Они упрямо продолжают мыслить и действовать так, как если бы проблемы человека, этого духовно-личностного существа, относились только к морали, да еще к тому же и морали индивидуальной. Они забывают, что инициативы индивидов тесно связаны с общественными установлениями, их слабодушие — с закономерностями, а эти новые объекты требуют и новой науки. *После того как общество достигло определенного уровня окостенения, уже нельзя больше по старинке воздействовать на сложившиеся в нем механизмы, то есть следуя технике, которая направлена только на людей и всегда представляет угрозу для свободы личностей; это можно делать только посредством технических приемов, которые ставят вещи на службу человеку.* Вещи отделились от личности и срослись с безличными внешними силами; между тем сторонник персонализма хорошо знает, что человек не определен своей средой и в то же время он ею обусловлен. Моральное рассуждение, которое "искажает проблему" до такой степени, что освобождает мораль от подчинения реальности, обычно заводит в тупик. Либо оно ограничивает внимание протестующих сил, выступающих за обновление, только очевидными и скандальными формами беспорядка, и тем самым притупляет ощущение структурного беспорядка, направляя его в другую сторону, тогда как только он порождает скандальные состояния: таковыми являются все центристские объединения, борющиеся "против развращенности". Либо, чувствуя всеобщий беспорядок, они занимаются приведением в равновесие концепций и гармонизацией противоположностей, уповая на некое царство нравственности, стремиться к которому якобы надлежит каждому человеку, опираясь на свои собственные силы. Поскольку это — царство, в котором главную роль играют разумные существа, а не сложившиеся исторические закономерности, его привлекательность остается неэффективной по отношению

к пристрастиям, которые перестали быть только идеологическими и уже вписались в живые силы и институты, с чем необходимо считаться и играть по правилам, требуемым соответствующей тактикой.

Учитывая, что беспорядок имеет свои корни и в том, что люди отступили от духовных позиций, и в том, что они консолидировали свои силы, — суждение и действие должны осуществляться одновременно в двух различных направлениях. Между тем эти направления столь радикально разделены самим этим беспорядком, что их точки соприкосновения далеко не всегда очевидны. Вследствие этого интегральная критика, целостное действие оказались в сложном положении, от которого нельзя отмахнуться. Мы должны постоянно напоминать техническим работникам, будь они консерваторами или революционерами, что ни одна человеческая проблема не поддается решению или даже определению, если рассматривать ее в чисто технических категориях; в этом отношении нам следует отстаивать, вопреки технократам любого направления, идею подчиненности экономического начала началу человеческого, а стало быть, и началу политическому. Но с позиций этой же центральной точки зрения мы должны также напоминать тем, кто считает возможным спасти дух, не переделывая плоти, и индивида, не вмешиваясь в действие коллективных механизмов, что ясность принципов как источник компетентности недостаточна в поисках технических решений и что она станет тщетной и даже опасной, если не будет привязана к изучению исторических реальностей и закономерностей, которые их определяют, если применяемая тактика не сумеет ими овладеть.

Следовательно, важно четко определить технические проблемы и относиться к ним, как таковым, освободив их от псевдоочевидностей близорукого морализаторства. Важно каждый раз уточнять, какая сторона экономического строя относится к моральному суждению, а какая — к техническому, даже если оба суждения пересекаются в одной и той же плоскости, как это нередко бывает. Технической стороны дела мы лишь коснемся на последующих страницах: здесь речь будет идти только о том, чтобы очертить рамки любого персоналистского экономического строя и вынести предварительные суждения об исследованиях, которые развернутся в этом направлении. Само собой разумеется, что мы будем очерчивать их в тесной связи с современной исторической реальностью.

А. Капитализм против личности

Антикапитализм

История, несомненно, отметит антикапитализм как самое значительное общее движение 1930-х годов. Важно прояснить этот миф и избавиться от всяческих подделок в этой сфере. Подобие решений или критики не должно порождать иллюзию: когда замыслы изначально противостоят друг другу, совпадение решений может быть только эфемерным или поверхностным.

К первой категории мы относим реакционные, в собственном смысле этого слова, формы антикапитализма: это реакция против современного капитализма на основе тех интересов, которые связаны с формами

докапиталистической экономики (ремесленническая оппозиция), или же предрассудков, сохраняющихся у классов, которые капитализм сверг с престола (феодалная мифологизация со стороны определенных традиционалистских кругов). Сюда же можно отнести идиллический антикапитализм господина Дюамеля, представляющего Французскую академию. Подобное сопротивление, нередко связанное с трогательными формами преданности и ставящее проблемы деликатного характера, не представляет никакого жизненно важного интереса; собственно говоря, им нет места в условиях существования современного мира.

Другие формы антикапитализма, гораздо более значимые и актуальные, сводятся к семейным ссорам. Они не представляют собой категорический отказ от этики и фундаментальных структур капитализма, это всего-навсего протест слабеющего капитализма или капитализма, которым пренебрегают, против ныне господствующей его формы. Таков антикапитализм "мелких" капиталистов (мелкие коммерсанты, мелкие промышленники, мелкие рантье) против крупных; антикапитализм капиталистов, действующих по правилам (капитализм накопления) против авантюристического капитализма (спекулятивный капитализм); антикапитализм промышленников против финансового капитализма. Сюда же можно отнести различные движения морального порядка, которые, играя на всеобщем смещении порядка и установленного беспорядка, тратят значительную духовную энергию на действие "во имя чистоты", то есть, по существу, на защиту правил игры, которые они сами ни в коем случае не ставят под сомнение. Эти разнообразные формы противостояния современному капитализму являют собой случаи заблуждения, отклонения, исключения внутри капитализма, они ни на мгновение не ставят под вопрос фундаментальные принципы, которые неизбежно возводят то, что они рассматривают как нормальную (или честную) игру капитализма, в состояние, на которое они взирают как на случайную авантюру (или извращение). В конечном итоге их целью остается спасение или восстановление капиталистического духа. Их коррективы, поскольку они имеют место, это всего лишь частичные раскаяния. А вот величие взгляда далеко не всегда принадлежит возмущенным.

Наконец, существуют формы оппозиции капитализму, которые по характеру предлагаемых ими экономических решений не оставляют ни малейшего сомнения относительно их коллективного стремления радикальным образом изменить социально-экономические структуры капитализма. Но если мы посмотрим на их концепцию жизни, на индивидуальные устремления, поддерживающие ее, то встретим либо, как в случае с широкой фракцией социал-демократов, буржуазную, даже мелкобуржуазную, этику, которая сводит революцию к смене персонала в мире комфорта, богатства и престижа, если просто не ослабляет саму пружину революции, как это и показало вырождение социализма; либо за гораздо более радикальной чисткой идей и механизмов мы обнаруживаем, как в случае военного коммунизма, увековечение всего наследия капиталистического беспорядка в этике, относительно которой мы уже выразили свое мнение: интенсивную централизацию, одностороннюю индустриализацию, сциентистский рационализм, которые добавляются к определенному числу новых беспорядков.

Наша оппозиция капитализму должна коренным образом отличаться от этих форм критики, усеченных или искаженных в самой своей основе.

Она исходит отнюдь не из сожаления о прошлом, а из желания создать будущее, сохранив все подлинные завоевания настоящего.

Она не ограничивается только разоблачением злоупотреблений и индивидуальных недостатков строя, в целом имеющего репутацию справедливого, или же превалирования одних интересов над другими; она стремится выйти за рамки и хорошего и плохого использования капитализма в индивидуальном плане и дойти до основополагающих структур, которые вследствие морально безразличной в своем теоретическом определении системы создали главного носителя угнетения человеческой личности в ходе столетней истории.

Наконец, за всеми этими структурами оппозиция стремится добраться до ценностей, на которых основывается капиталистический механизм, и отделяет себя от всех форм антикапитализма, которые окольным путем вновь возвращаются к нему или из-за нежелания признать ценности освобождения человека порождают новые формы угнетения.

В капитализме следует выделить три элемента: промышленную технику, правовой порядок, этику.

Капитализм и техника

Капитализм стал возможным благодаря техническому прогрессу, который только случайным образом связан с его юридическими механизмами и его этикой. Этот прогресс привел к замене непосредственной эксплуатации естественных богатств с помощью труда человека накоплением посреднических благ, машин и кредита, что при экономии непрерывно возрастающих сил сделало возможным развивать все большую и большую производительную эффективность. Утверждение этого технического капитала и вытекающего из него специализированного машинного производства явилось завоеванием современной техники.

Вот уже в течение нескольких лет инфантильные идеологии занимаются осуждением этой техники. Они имеют прискорбную привычку делать это во имя человека и его духовного призвания. Это идеологии людей ленивых и ищущих безопасности; мы в гораздо меньшей степени имеем здесь в виду идиллии Дюамеля, чем наивные, но не опасные предприятия по распространению идей ремесленничества. Своеобразные гуманисты, считающие, что человек находится под угрозой из-за того, что усложняются его орудия, и не считающие даже возможным оказать общее доверие *homo sapiens*, или, лучше сказать, — личности, в том, что касается его способности усвоить самые утонченные изобретения *homo faber** и подчинить их себе.

Над прогрессистскими идеологиями персонализм может только посмеяться: человек не очищается автоматически вследствие прогресса материальной цивилизации, он использует его (на благо себе или во вред) в соответствии со своей двойственной природой и социальными условиями, в которых он живет. Но персонализм не может снисходительно относиться также и к антипрогрессистским идеологиям. Техника — это собственная сфера бесконечного прогресса: совершенно непра-

вильно то, что понятие безграничного прогресса оказалось выведенным за пределы этой сферы.

Область техники является гораздо более обширной, а ее формы гораздо более разнообразными, чем эксплуатация материальных сил посредством физико-математических наук: она простирается повсюду вплоть до духовной жизни. Везде, где она развивается, ей принадлежит роль так организовать человеческое действие, чтобы сэкономить силы, сократить необходимый путь и увеличить эффективность. При условии, что она служит личности, техника уже самым своим воздействием постоянно избавляет нас от осложнений, случайностей, расточительства, выводит за пределы пространства и времени. В коллективном плане она оказывает человеку те же услуги, которые привычка оказывает ему в плане индивидуальном. Следовательно, если человек овладевает ею, она становится мощным средством для его возможного освобождения.

Таким образом, техническая цивилизация заслуживает упрека не потому, что она является бесчеловечной сама по себе, а потому, что она еще недостаточно гуманизирована, и потому, что служит бесчеловечному строю.

Но не ведет ли она к абстрагированию от личности, скажет кто-нибудь, и, следовательно, к ее отрицанию? Выше мы уже разоблачали то опасное идолопоклонничество, которое путает "конкретное" с чувственным: разве стремление летчика при управлении полетом обойтись без непосредственного видения местности, над которой он летит, является уменьшением его человечности? Многим ли оно отличается от стремления, посредством которого философ пытается отбросить смутные восприятия, которые ему поставляют его чувства? Новейшая техника заслуживает упрека не за свое абстрагирование, а за то, что она развила абстрагирование только в его физико-математической форме, а это прямо ведет к верховенству ценностей расчетного характера (а следовательно, и денег) и к верховенству куцега рационализма. Некоторые люди уже предчувствуют¹ безудержное и не поддающееся предвидению развитие техники, когда она проникнет в сферу биологических отношений. Уже сейчас ничто не мешает также тому, чтобы побудить ее к изучению особенно духовных, социальных и особенно личностных отношений, что еще более непосредственно гуманизировало бы ее. Оставляя каждый раз позади себя какую-нибудь новую форму рационализма как субстрат своих завоеваний, она, таким образом, имеет своим призванием предназначение, гораздо более широкое, чем изготовление знаменитых ванн помещений, в которых многие так называемые передовые движения все еще видят конечный пункт в развитии человечества. Следовательно, мы не только произвольно не ограничиваем технический прогресс, но и отводим ему бескрайнее поле действия в служении личности. Скорее нам надо упрекнуть марксизм за его узкий физико-математический рационализм, за который как будто бы цепляются его нынешние истолкователи. Мы же ни в чем не усматриваем опасности того, что техника

¹ См. первые работы Жака Лаффита, особенно "Réflexions sur la science des machines".

займет подобающее ей место. Свобода ничего не потеряет, если на ее стороне будет техника, а творчество — из-за техники творчества. Духовное же только потеряет оттого, что там, где речь идет о технических материях, его представители будут демонстрировать невежество, страстность или путаную мысль: по мере того как техника расширяет свои владения, действительные проблемы, выходящие за ее пределы, предстают в своем подлинном свете. Несмотря на свою некомпетентность в этих проблемах, она приходит к ним как осведомительница.

Пресловутые злодеяния технической цивилизации во вторую очередь зависят от социально-экономической цивилизации, которой новейшая техника вынуждена была служить с первых своих шагов. Ныне доказано, что "механический труд" вовсе не является столь уж однообразным и безликим, как утверждают, ибо машина устраняет его, как только он перестает нести в себе человеческую инициативу, что машина автоматически не порождает безработицу и не разрушает качество. Легковесный романтизм, прокламирующий высшее достоинство уникального предмета и неизбежное уродство и брак серийного предмета, вынужден был сдать позиции перед лицом фактов. Но в противовес этому остается верным то (и марксизм понял это гораздо правильнее), что капитализм постоянно обращал к своей выгоде наиболее значимые результаты технического прогресса. Серийность стала ему предлогом, чтобы производить быстро и менее дорогостоящим образом; рационализация — для увеличения размера прибыли; он посчитал возможным пренебречь технической безработицей, тем, что она в значительной мере будет действовать стесняющим образом, суживая потребность в рабочем времени; он посчитал возможным не обращать внимание на психологию рабочего, который видит, что на продукте его труда, а иногда и изобретательности паразитирует безответственный капитал, на сотрудничество с трудом, который тем более тесно должен быть соединен с общей интеллектуальностью производственного дела, чем более специализированным он становится в индивидуальном плане. Большинство критических замечаний, которые обычно адресуются технике, следует переадресовать порочной организации труда при капитализме. Эта система основывается на открытой или подспудной неприязни к исполнителю. Известны слова Тейлора: "От вас не требуется думать, для этого здесь есть другие люди". Техника оказалась поставленной на службу классовому механическому порядку, где личность рабочего рассматривается как простое орудие эффективности и производства. Техника тоже поработана, так не будем возлагать на нее ответственность за ее поработание.

Там, где следовало бы усилить критику техницизма, марксизм опять обошли. Техническая мысль и ее применение в течение последнего века достигли столь быстрых и впечатляющих успехов, что современный человек не замедлил спасовать перед ее победоносным шествием вплоть до того, что позволил себе отказаться от всех других способностей своей человеческой природы. Он привык сужать реальность до чувственного объекта, ценность — до полезности, ум — до способности изготавливать, действие — до тактики. С точки зрения человека, именно в этом заклю-

чается опасность известной гипертрофии техницизма. Это — порок капиталистического видения мира. Мы обнаруживаем его и у тех марксистов, которые с легким сердцем для уменьшения их значимости уподобляют друг другу биологическое и духовное¹, то есть все то, что в человеке ускользает от математического и промышленного начал. Но тот техницизм, которому они поклоняются как идолу, это всего лишь юношеская, в собственном смысле слова примитивная экспансия еще сравнительно нового способа мышления и действия за пределы их собственной сферы. Она не продлится дольше, чем того требует время, чтобы повергнуть нас в изумление. Ее излишества можно ограничить, не нападая на дух техницизма, а только свидетельствуя в пользу всего остального, что есть в человеке, перед лицом этих бездушных варваров, которых производит новейшая цивилизация.

Итак, личность должна искать свою экономическую опору не позади технической оснащенности, а впереди нее. Расширять и разнообразить технику до уровня, соответствующего целостному человеку, освободить ее от социально-экономической организации капитализма, наконец, следить за тем, чтобы она не поглотила или не деформировала личную жизнь, — таков единственный разумный путь, противостоящий рационалистическим и технократическим утопиям. У нас нет пока никакой идеи, еще в меньшей мере — образа завтрашнего дня; техника переживает пору своего детства. А вот в чем мы уверены, так это в том, что *личность — это не обнесенный оградой сад, где цивилизованный человек укрывался бы от цивилизации, это духовный принцип, который должен одухотворять любую цивилизацию, каждый раз заново изобретая ее.*

Что касается техницистов, обладающих духовным устремлением, то им надлежит начертать пути следования этой новой техники. Уже сегодня можно предвидеть два направления, по которым она должна пойти: расширение структур органических и структур духовных; ориентация механизации и организации в направлении, противоположном тому, которое все еще ведет к централизации, индустриальной гигантомании, к городам-спрутам.

Подрывная деятельность капитализма

В плане техники мы видели, что капитализм наносит ущерб только окольным путем. Сейчас необходимо показать его главную вину. В действительности мы обвиняем его не только за некоторые технические недостатки, не только за моральное разложение, но и прежде всего за всеобъемлющий подрыв экономического порядка.

Экономика, цели которой определяются человеческой личностью, отвела бы в своем основании место, которое принадлежит экономическим потребностям в совокупности всех потребностей личности, и постоянно регулировала бы свой механизм как с точки зрения его ориентации,

¹ "В человеке действие биологического начала — или, если говорить на языке религии, "вечного" — значительно менее могущественно, чем полагали до сих пор" (Friedmann. La crise du progrès, p. 226).

так и с точки зрения функционирования, отсылая к личности и ее требованиям. *Капиталистическая экономика имеет тенденцию строить свою организацию целиком вне личности, единственно на основе количественной и безличной цели — прибыли.*

Капиталистическая прибыль: прибыльность и плодovitость денег

Капиталистическая прибыль не основывается на нормальном вознаграждении за оказанную услугу или выполненный труд; если бы это было так, она была бы законной движущей силой экономики. По своей природе она тяготеет к тому, чтобы приблизиться к неожиданно большой прибыли без затраты труда. Такая прибыль не знает ни человеческой меры, ни человеческого ограничения; а когда она принимает правила, то делает это, опираясь на буржуазные ценности: комфорт, социальный престиж, представительность — и остается безразличной как к собственному благу экономики, так и к благу личностей, которых она вовлекает в игру.

Примат прибыли возник в тот день, когда капитализм превратил деньги, этот простой символ обмена, в богатство, способное приносить прибыль в ходе обмена, в товар, обладающий покупательной и продажной способностью, ростовщическим процентом. Эта чудовищная прибыльность денег, которая утверждает то, что старый язык называл *ростовщичеством*, или *незаслуженной прибылью*, является источником того, что мы назвали собственно *капиталистической прибылью*¹. Поскольку эта последняя достигается (в той мере, в какой она является капиталистической) при минимуме затраченного труда, оказания реальной услуги при преобразовании материи, она не может быть получена иначе как за счет собственной игры денег или за счет плодов труда другого. *Следовательно, капиталистическая прибыль живет за счет двойного паразитирования: одного, идущего против природы, — за счет денег, другого, идущего против человека, — за счет труда.* Она умножила этот паразитизм и сделала более утонченными его формы. Мы отметим только главные из них.

Собственная игра денег, отделенных от их экономической функции, возникла вместе с введением ростовщического процента на чеканные деньги: ростовщичество на чеканке с того дня, как государи начали снижать гарантию обеспечения драгоценными металлами; современные формы инфляции при эмиссии и обращении. Она разрослась во всех аспектах после введения ссуды под постоянный фиксированный процент, которая позволяет заимодавцу без малейшей затраты труда в течение нескольких лет удвоить капитал, отданный в заем. К этому надо добавить ренту, которая узаконивает легальность процентного дохода, отягощает социальный капитал огромным непроизводительным грузом и работает на узаконение регулярного расхищения общественного богатства с тех пор, как государства стали основывать свои финансовые

¹ См. специальный выпуск "Эспри" (octobre 1933): L'Argent, misère du pauvre, misère du riche.

системы на чередовании невозвращаемых займов и разрушительных конверсий. Наконец, современные финансы развили все формы банковского ростовщичества: инфляция кредитов, включение в дело несуществующих предприятий и биржевого ростовщичества: спекуляция на деньгах и на товарах, в большинстве случаев чуждая экономической реальности.

По отношению к социальному труду капитализм осуществляет множество форм ростовщичества:

изъятие капитала из сферы наемного труда посредством низкого уровня заработной платы; изъятие, многократно увеличивающееся в периоды процветания — процветания и рационализации, которые работают почти исключительно к выгоде капитала, — и сохраняемое в кризисные периоды посредством дефляции заработной платы; внутри капитала — изъятие прибыли и мощностей крупным капиталом из мелкого капитала, находящегося на хранении в акционерных обществах капиталистов: нам уже нет надобности разоблачать ни псевдодемократию акционерных обществ, ни всеислие, которого в них может достигать меньшинство акционеров посредством долевых акций, ни плюральный вотум, соучаствующее безразличие массы мелких акционеров, отдающих банкам монополию на свои права, которую банки используют в своих собственных финансовых интересах, ни разнообразные средства, которые имеют в своем распоряжении административные советы, чтобы снимать сливки прибыли посредством долеучастия, промышленных вложений, фальсификаций при подведении итогов;

добавим, наконец, ростовщичество на торговле везде, где множество посредников паразитирует на разнице в ценах для производителя и потребителя.

Капитал против труда и ответственности

Прибыль, избавленная таким образом от груза всякого подчинения и свободная от всякой меры, стала простой математической переменной величиной. Она больше не следует за ритмом человеческого труда, она накапливается и падает в фантастических масштабах вне всяких реальных экономических отношений. Она совершенно чужда экономическим функциям личности: труду и социальной ответственности.

Это отделение капитала от труда и ответственности, последовательно узакониваемое капитализмом, является вторым вопиющим пороком данного строя. Было бы наивным или лицемерным определять капитализм как гармонию труда и капитала. Даже если бы он ставил их на равную ногу, такое равенство между деньгами и трудом людей было бы достаточным, чтобы охарактеризовать материализм, который его отделяет. На самом деле в совокупности системы именно капитал имеет верховенство над трудом, если говорить о вознаграждении и силе.

Известен принцип капиталистического вознаграждения: раз капитал участвует в риске, следовательно, он участвует и в доходе. Труд гарантирован от риска посредством фиксированного вознаграждения — зара-

ботной платы. А что происходит в действительности? Мы только что напомнили об изъятиях под различными наименованиями, которые идут заимодавцам, акционерам и особенно членам административных советов финансовых акционерных компаний. Капитал удовлетворяется прямо или косвенно в первую очередь при любых обстоятельствах, причем это не ставится в зависимость от предварительной выплаты заработной платы. Более того, если договор о кредите основывается на участии в нормальном риске предприятия, то акционер все чаще и чаще получает право на фиксированный "устойчивый" процент: при любых обстоятельствах, поскольку первичные деньги включены в дело. Наконец, как можно еще говорить о риске с тех пор, как убыточные капиталистические предприятия, благодаря помощи государства, приучились к правилу, которое прекрасно сформулировано: индивидуализация прибыли, коллективизация потерь? Заработная плата, лишенная всего того, что капитал изъям из общественного дохода (что прекрасно показывают статистические данные), очень медленно начинает расти, когда дела идут хорошо, но всегда затрагивается в случае кризиса, как правило, в первую очередь.

Главное же, что заработная плата никак не обеспечивает ее получателю того постоянного дохода, который можно было бы назвать обеспеченным, ибо, в то время как обязательный процент является неприкосновенным, самому существованию получателя заработной платы всегда угрожает безработица.

В такой системе деньги являются ключом к командным постам и власти. Неограниченная власть индивидуального хозяина над отдельным рабочим в начальном периоде капитализма кажется человеческой по сравнению с непомерным потенциалом угнетения и монополией на инициативу, накопившимися в силу концентрации финансовой власти, осуществляемой гораздо быстрее, чем концентрация промышленной власти, в руках одной олигархии. Эта власть меньшинства держит в своих руках и центры, и перекрестки, подчиняет себе и правительства, и общественное мнение. Пролетариат является для нее только сырьем, покупаемым по наиболее выгодной цене, источником затрат, которые надо сократить до минимума. Становится правилом, что она отнимает у него не только законный продукт его труда, но и право на обладание его собственной деятельностью. Ей никогда не приходила в голову мысль о том, что может существовать личность рабочего, рабочее достоинство, рабочее право; за "массами", "рынком труда" самого рабочего и не видно. На заводе она отказывает рабочим в праве мыслить и сотрудничать друг с другом и только вынужденно соглашается признать их совместную волю в профсоюзе. Отстраняя от постов, на которых воспитывается авторитетная власть, и от условий жизни, которые позволили бы личности формироваться, капитализм сам обрекает пролетариат на то, чтобы он объединялся в ударную массу или массу пассивного сопротивления, консолидировался на основе классовой воли. *Утвердившись как тирания, капитализм своими собственными методами порождает собственного убийцу, который в один прекрасный день заявит о своих притязаниях на построение порядка.*

Капитал против потребителя

Апологеты капитализма игнорировали человеческие потребности трудящегося, но зато претендовали по меньшей мере на то, что ставят свою систему на службу потребителю. В частности, Форд попытался подчинить мифологию прибыли мифологии услуг. Его теория известна: производство, развитое в количественном и качественном отношении, под влиянием рационализации, приводящей к созданию наиболее экономичных условий, создает потребность; высокая заработная плата создает покупательную способность. И колесо крутится. Услуга потребителю? Какому потребителю? Реальному человеку, взятому в целостности его потребностей? Отнюдь нет, речь идет о клиенте, источнике продаж, а следовательно, об источнике прибыли. Несмотря на внешнюю видимость, капиталиста интересует не человеческое потребление, а коммерческая операция продажи. *Таким образом, сам потребитель оказывается тесно связанным с прибылью, с неиссякаемой покупательной способностью.* "Услуга" Форда — это услуга скотовода скоту, на котором он обогащается. Даже если бы фордовский цикл осуществлялся без изъянов, это было бы не производство, вращающееся вокруг человека, а человек, вращающийся вокруг производства, в то время как это последнее вращается вокруг прибыли. Действительность нанесла окончательный удар по вере в систему. Операции финансового капитала изо дня в день разрушают сбережения. Цикл "производство — потребление" блокируется своими собственными механизмами, покупательная способность плетется позади производства, прибыль, в свою очередь, сокращается, подтачивая резервы, или поддерживается только спекуляцией, обращение оказывается повсюду заблокированным валютными неурядицами и экономическими национальными интересами. Тогда капитализм заговаривает о перепроизводстве: тот факт, что он может произносить это слово, когда на глазах у тридцати миллионов безработных сжигаются товары, служит достаточным доказательством того, что он переносит на систему все то внимание, которое должно было бы быть отнесено к человеку.

Капитализм против свободы

Нам остается разоблачить ту мистификацию, которой прикрывается центральная мифологема капитализма: мифологема свободы в условиях конкуренции и мифологема отбора лучших работников, следуя критериям индивидуальной инициативы. Эта мистификация является тем более опасной, поскольку речь идет о мифах, облаченных в персоналистские формулировки, обладающие большой притягательной силой. Отнюдь не вторжение извне антилиберальных мер в условиях режима концентрации и частных монополий извратило изначальную конкуренцию, как утверждает в свою защиту экономический либерализм. *Такова склонность самой системы.* Капитал, следуя законам самой структуры, являющейся математической, а не органической, анонимной, а не качественно определенной, неизбежно устремляется к массовому накоплению, а следовательно, и к концентрации мощности. Рационализированный финан-

совый механизм, овладевая сначала органической экономикой, вынужден был ускорить процесс обезличивания. Таким образом, капитализм сыграл против свободы самих капиталистов; всякая свободная активность мало-помалу оказалась прерогативой несильных хозяев, нескольких центров. Они направили механизацию в сторону централизации, которую тем самым и закрепили технически. Если бы даже взмахом волшебной палочки сегодня можно было бы устранить промышленные союзы, тресты, субсидии, квоты и т. п., при сохранении основ системы, та же тенденция вскоре привела бы к тем же самым результатам.

Капитализм против личной собственности

Если мы назвали собственностью общий способ экономического поведения личностей, тогда мы можем вкратце заметить, что механизм капитализма лишает:

- 1) наемного работника законной прибыли, законной собственности и личного права на свой труд;
- 2) свободного предпринимателя его инициативы в пользу централизованных трестов;
- 3) технического директора права на обладание собственным предприятием из-за постоянной угрозы спекулятивных решений и финансовых союзов;
- 4) потребителя его покупательной способности, регулярно наживаясь на сбережениях посредством катастрофических спекуляций.

И все это совершается в пользу анонимных и безответственных денег.

Таковы официальная доктрина и служебное состояние "защитников частной собственности" и человеческих ценностей. Фактически же они сохраняют ее видимость только тем способом, которым они поддерживают и иллюзии народного суверенитета: для того, чтобы наилучшим образом замаскировать свою скрытую монополию на собственность, свободу, экономическую и политическую власть.

Б. Принципы экономики, служащей личности¹

Капиталистическая экономика — это полностью извращенная экономика, в которой личность подчинена потреблению, а оно само подчинено производству, производство же в свою очередь служит получе-

¹ По всем следующим вопросам см.: *Esprit*, janvier 1933 (*La prolétariat*); juillet 1933 (*Le travail et l'homme*); octobre 1933 (*L'Argent, misère du pauvre, misère du riche*); avril 1934 (*La propriété*); août-septembre 1934 (*Duplicities du corporatisme*); novembre 1934 (*L'or, fausse monnaie?*); août-septembre 1935 (*Projet G. Zerapha*); mars 1936 (*La personne ouvrière*); juillet 1936 (*Où va le syndicalisme?*). *Ordre nouveau*: N 7 (*La crise agraire*); N 10 (*La Corporation*); N 12 (*De la banque à l'escroquerie*); N 16 (*La propriété*); N 20 (*Service civil*); N 21 (*Comment sortir du capitalisme*); N 22—23 (*Planisme et plan*); N 25 (*Du prolétariat*); N 28 (*Du mouvement corporatif*); *Mounier E. De la propriété capitaliste à la propriété humaine*, p. 417. Эти разноплановые исследования не являются однородными, да и не претендуют на это. Указанные первые шаги, осуществляемые на ощупь, содержат в себе и ошибочные суждения, но тем не менее они представляют собой последовательное приближение к изложенным здесь принципам.

нию спекулятивной прибыли. В противоположность этому персоналистская экономика определяет доход в зависимости от услуг, оказанных в рамках производства, производство — в зависимости от потребления, а потребление — в зависимости от этики человеческих потребностей, включенной в целостную перспективу личности. Через ряд опосредующих звеньев личность является ключом механизма и должна заставить почувствовать свое верховенство во всей экономической организации.

Экономика затрагивает деятельность личности с двух сторон: как производителя и как потребителя. Некоторые персоналистские течения попытались свести ее только к одной из этих двух ролей. "Потребитель — это все, — говорит Шарль Жид, — а его продолжением является кооперация. Для нее и создано общество". Это — заблуждение, ибо человек создан в гораздо большей степени для творчества, чем для потребления. Но не меньшим заблуждением было бы резервировать право экономического сообщества за производителями, к чему склоняется профсоюзная традиция: тогда возникает потребность включиться в погоню за производством и стать на позиции индустриализма. Мы не можем также согласиться с фетишизацией обращения, стоящего между этими двумя полюсами: обращение — это инструмент, а не ценность в себе; по меньшей мере уместно напомнить экономике, пораженной накопительством, старую средневековую формулу: "деньги созданы для того, чтобы их тратить".

Таким образом, мы ведем поиск новой экономики, служащей целостной личности и в потреблении, и в производстве.

Потребление и личность

Либерализм говорит, что основой его позиции является удовлетворение потребностей. В действительности же он, как правило, отдает их оценку воле случая, сообразуется гораздо в меньшей степени с реальными потребностями, чем с их денежным выражением, которое их искажает, и вообще не задается вопросом о том объеме, который экономические потребности занимают в совокупности человеческих потребностей. Концепция персоналистской экономики занимает противоположную позицию.

1) Она исходит из *определенной этики потребностей*. Поскольку личность является воплощенной, большинство ее потребностей имеет экономическое выражение. Ее структура вынуждает нас выделить две части внутри них или, скорее, различать в них два противоположных направления, которые иногда пересекаются в одной и той же потребности.

Самыми элементарными потребностями являются *потребительские нужды*, или *потребности наслаждения*. Внутри них также имеются две зоны.

Зона *непосредственно жизненно необходимого*, то есть минимум, необходимый для поддержания физической жизни индивида, который практически не поддается сужению или расширению. Она обозначает тот порог, ниже которого никакой человек не должен опускаться. Она

является первичным правом личности: когда социально-экономический механизм развился таким образом, что разрушил ее, он должен обеспечить себе безопасность, которую индивидуальные средства уже не способны гарантировать. Ему тем более сподручно без принуждения выполнить эту обязанность, поскольку пресловутая фиксированность этих потребностей делает их поддающимися статистическому учету. Таким образом, *первым правом экономической личности является право на прожиточный минимум. Оно требует создания института общественной службы, предназначенной для его удовлетворения.* Поскольку эта служба легко поддается количественному расчету, а следовательно, и централизации, она будет наиболее строго действующим органом новой экономики, учитывающим к тому же неотложную настоятельность потребностей, ради удовлетворения которых она должна работать. Вместе с тем ей будут гарантированы свобода и возможная самостоятельность в особенности со стороны политической власти, которая в этом плане будет располагать безусловными средствами принуждения. *Она явится средством для ликвидации одной из двух сторон пролетарского положения, для устранения постоянного, передающегося из поколения в поколение состояния жизненной необеспеченности.*

Вторая зона потребительских благ — это зона, которую можно в широком смысле назвать *зоной излишка*, потому что удовлетворения этих потребностей, строго говоря, не требуется для сохранения физической жизни. Они не образуют "естественную" зону, поддающуюся определению раз и навсегда. Гораздо легче определить их направленность, чем объем. Они могут развиваться в двух направлениях.

Либо в зависимости от ненасытных меняющихся капризов индивидуальности: в этом случае они составляют основу тех мифологем изобилия, согласно которым экономика будет иметь облик "острова удовольствий" и "революции разврата". Нет смысла доказывать наивную глупость таких утопий. Но мы не собираемся также, в порядке реакции на них, впадать в регрессивные, в какой-то мере убогие утопии экономического мальтузианства. Экономике так же, как искусству и политике, моральные нормы можно навязать только извне. В плане индивидуальной этики мы считаем, что определенный порог бедности является идеальным экономическим статусом личности: под бедностью мы понимаем не вопиющий аскетизм или некую стыдливую скупость, а отсутствие груза предпочтений, чувство простоты, состояние незанятости и легкости, что не исключает ни щедрости, ни великодушия, ни даже значительного богатства, если оно гарантирует от алчности. Распространение такой этики принадлежит индивидуальному действию, и только ему одному. Изобретательность, начиная с изобретательности технической и кончая модой, имеет свои собственные пути. Было бы смехотворным предписывать ей границы от имени некой законченной концепции жизненного статуса. *Человеческая экономика — это экономика изобретательная, а следовательно, и прогрессирующая.* Поскольку она сумеет разрушить спекулятивный сектор и гарантировать жизненный сектор, она не сможет ограничивать свои собственные творческие силы посредством необузданной воли: именно каждой личности надлежит определять свой стиль жизни по мере того, как ей предлагаются все более

разнообразные соблазны, а быть может, и изобретать в условиях изобилия и через изобилие новые формы бескорыстия. Было бы странным, если бы духовное оказалось до такой степени бессильным, чтобы не сумело обеспечить свое преобладание иначе как посредством предварительного ограничения плодovitости материи. Только посредством собственной изобретательности, а не посредством ограничения духа приключенчества оно обезвредит влияние изобилия. Ну, а остальное сделает чувство удовлетворенности.

По сравнению с потребительскими нуждами *потребности творчества* являются, строго говоря, собственно личностными. Следовательно, они не должны знать, говоря экономическим языком, никаких других ограничений, кроме индивидуальных способностей и возможностей, гарантированных общественным богатством. При строе безразличного изобилия формула "Каждому по потребностям" должна включить в себя и их. Человечная экономика в любом случае должна удовлетворять не "условную необходимость" в соответствии с принятыми классовыми кодексами, а в первую очередь поддерживать именно это первичное условие существования человека, то есть условие его существования как творческой личности. Считалось, что необходимым для Христофора Колумба было открытие Америки: его творческая страсть к поиску неведомой Америки создавала для него своего рода личное право на средства, необходимые для ее удовлетворения. Поскольку, пока мы живем в режиме недостатка благ, это необходимость для экономики измерять доход выполненным трудом; персоналистская экономика должна вместе с тем учитывать в своих перспективах распределение творческой потребности, являющейся коренным элементом личности, и, в частности, призвания людей осуществить свои собственно человеческие потребности в экономическом плане.

2) Персоналистская экономика будет строить свое производство на основе *реальных потребностей* личностей. Таким образом, она будет связана уже не с их выражением в коммерческом спросе, искажаемом нехваткой денежных знаков или снижением покупательной способности, а основываться на статистически подсчитанных жизненных потребностях и личных потребностях, выраженных непосредственно потребителями.

3) Потребление — это личностная деятельность; *следовательно, оно должно оставаться свободным*, если не в своем объеме, что зависит от общего богатства общества, то по меньшей мере в своем предназначении. Поэтому в персоналистской экономике оно не является объектом планирования, произвольно навязываемого центральными органами. Напротив, оно свободно в выборе благ и категорий благ, даже во влиянии на цены (за исключением, быть может, цен на жизненно необходимые продукты) и выдвижении желаний. Координирующие органы экономики будут централизовать локальную статистику и преодолевать монополию на рекламу без нанесения ущерба коммерческой инициативе неспекулятивного характера: реклама, автоматически равная для всех продуктов, превратится в общественную службу и не будет использоваться для манипуляций с денежным выражением цен как последним средством установления экономического равновесия между предложени-

ем и спросом: взаимная поддержка предприятий, производящих одну и ту же продукцию, может нейтрализовать резкие изменения общественного спроса и их негативные последствия.

Эта свобода в потреблении, то есть в распределении дохода, является изначальной формой *права личной собственности*. Ныне оно провозглашается еще только теоретически, а огромное число людей никогда эффективно им не пользовалось. У него только два ограничения: одно — внутреннее, основывающееся на личном сознании; здесь уже действует естественный (а для некоторых людей и христианский) закон, определяющий пользование предположительным общественным богатством и требующий от каждого свободно заботиться об этом сообществе, борясь с врожденной алчностью на собственность; другое — внешнее, относящееся к компетенции коллективной организации, которая наилучшим образом регулирует потребление по критериям экономической конъюнктуры для блага всех.

Производство и личность

Вкратце о старой либеральной концепции производства можно сказать, что она является концепцией идеалистической, жертвующей реальностью в пользу идеального утверждения, не подкрепленного фактами; о чисто коллективистской концепции — что она является концепцией рационалистической, жертвующей реальностью в пользу логического механизма, развивающегося в замкнутую систему вне связи с человеком. Они сходятся в том, что обе пренебрегают необходимостью брать в качестве ключевых единственно приемлемые для человека критерии идеала и разумности, а именно — личность. Персоналистская концепция производства будет характеризоваться тем, что она предоставит неограниченные преимущества личностным факторам над факторами безличностными. Из этого вытекает необходимость множества изменений в иерархии, последствия которых скажутся на всем экономическом механизме.

1) Примат труда над капиталом

Этот примат основывается на двух постулатах:

1) *Капитал (будем понимать под этим денежный капитал) является не производительным благом с его автоматической результативностью, а только обменной материей и удобным, но бесплодным орудием производства. Персоналистская экономика уничтожает самоприбыльность денег во всех ее формах. Она ликвидирует постоянный фиксированный процент при даче в заем и ренте. Она уничтожает любую форму спекуляции и отводит биржам ценных бумаг и товаров только регулятивную роль. Она коллективно регламентирует кредит, распоряжение которым изымает из ведения банков и паразитических кредитных компаний.*

2) *Капитал-деньги, как таковой, не имеет никакого права на продукт труда, в создании которого он участвовал. Здесь необходимо провести*

разграничение между *вносимым капиталом* и *капиталом личным*, который посредством труда его обладателя участвует в жизни предприятия и подвергается риску. При вознаграждении этого последнего речь уже идет не о капитале, получающем дивиденд, а о праве совладения, участвующего в доходах, поскольку он подвергает себя риску: прибыль остается личной, как и вовлечение. Любой другой — это внешний, безответственный капитал, продукт предшествующего накопления, поступающий от работодателя, чуждого предприятию. Этот последний, если его нельзя устранить, не обладает никаким правом на управление или распоряжение прибылью предприятия; давать ему фиксированный процент, преобразуя его ценную бумагу-акцию в ценную бумагу-облигацию, противоречило бы нашему первому принципу. Ему остается только право на небольшое вознаграждение за использование капитала.

Речь, как видите, идет не об "уничтожении капитала", а о восстановлении главного ценностного отношения: капитал — это всего лишь экономический "материал". Этот материал не управляет и сам по себе не умножается. *Труд является единственным собственно личностным и плодотворным агентом экономической деятельности; ответственность может принадлежать только трудящимся.*

Примем ли мы из-за этого идеологию труда? Нет¹. Труд не является первичной ценностью человека, потому что он не составляет ни его деятельность, ни существо деятельности как таковой: жизнь разума и жизнь любви превосходят его по своему духовному достоинству. Хотя, в частности, можно и должно устранить из него элемент принуждения, благодаря развитию техники и освобождению трудящихся оно, как таковое, остается присущим ему, потому что труд всегда является более или менее вынужденным, утомительным и монотонным: следовательно, он не может нести светлую радость или быть высшим блаженством для человека. Вместе с тем он обладает своим достоинством и своей радостью. Последние не зависят ни от производительности, ни от пролитого пота, ни от богатства, которое он производит, а прежде всего от того, что труд сам по себе является естественным осуществлением активности, а не каким-то там оскорбительным рабством²; любой труд, даже и неблагодарный, помимо прочего является замечательным орудием дисциплины; он выводит индивида из его собственных пределов и развивает дух товарищества в осуществлении дела и сопричастность в оказании услуги, что подготавливает более глубокие сообщества; в той мере, в какой труд является творческим, он сопровождается радостью, которая может вылиться в создание песни, даже в театрализованное действие; наконец, он освещен светом жизнью, которым он дает собственное дело и отдых после его исполнения, вследствие чего он становится средством для обретения досуга.

Но для того чтобы труд развивал таким образом человеческие богатства, по злопамятству не претендуя на то, чтобы завладеть всей жизнью человека или общества, ему необходимо создать человеческие

¹ Esprit, juillet 1933: Le travail et l'homme.

² Для христианина не труд стал наказанием за первородный грех, а сопровождающее его принуждение.

условия, чтобы человек не подвергался, как это происходит сегодня, подавлению и унижению со стороны материальной силы денег и каст, созданных деньгами; чтобы капитал больше не видел в нем товар, подчиненный бирже спроса и предложения, не отстранял от командных постов и не лишал продуктов собственной деятельности.

"Лейборизм" утверждает верховенство труда (или производителя) над человеком в целом и над всеми видами его социальной активности. Персонализм утверждает верховенство труда над капиталом в его собственной сфере, то есть сфере экономической. Это верховенство сводится к трем законам:

1) *Труд является всеобщей обязанностью.* Кто может трудиться, но не трудится, тот не ест. Исключение из этого закона, кроме особых призваний, подлежащих определению, составляют только физически немощные люди любых категорий.

2) *Труд является не товаром, а личной активностью.*

3) *Право на труд — это неотчуждаемое право личности.* Самой элементарной собственностью является собственность на профессию. Общество обязано обеспечить это право каждому человеку при любых условиях.

4) *По всем позициям экономической жизни: прибыль, ответственность, власть — труд обладает неотчуждаемым приоритетом по отношению к капиталу.*

2) Примат личной ответственности над анонимным аппаратом

Второй постулат является всего лишь следствием личностного характера человеческого труда. Он выдвигается уже не против ростовщической прибыли, частного или общественного капитала, а против захвата властных и инициативных позиций всемогущим, безответственным, анонимным капиталом. Такому подрывному строю мы противопоставляем следующие принципы:

1. *Анонимность должна исчезнуть из всей экономической сферы.* Вложенный со стороны капитал тоже увидит, как его ценные бумаги на предъявителя будут преобразованы в именные ценные бумаги или бумаги с правом наследования. Список заимодавцев и бюджетов любого предприятия передается гласности. Анонимные компании, иносказательно называемые обществами капиталов, упраздняются.

2. *Капитал, вложенный в предприятие определенным лицом, по отношению к управлению предприятием обладает только контрольными возможностями без права решающего голоса, осуществляемыми его назначенными представителями.* Он не имеет права ни на какую часть власти или управления. Власть и управление принадлежат исключительно организованному ответственному труду. Это требование расшатывает устои капиталистического беспорядка: управление банками и административными советами, институт капиталистической заработной платы.

Нет смысла развивать далее первый пункт. При персоналистском строе анонимный кредит, распределенный между некомпетентными

и безответственными акционерами и спекулятивными банками, заменяется личностным кредитом трудящихся и кредитом корпоративным, которые по отношению к предприятию имеют только то право, которое предписано капиталу выше.

Осуждая институт капиталистической заработной платы, мы не объявляем аморальным общий принцип устойчивого гарантированного вознаграждения за любой предоставленный труд, но:

а) мы разоблачаем несостоятельность фактически существующего режима, который не соответствует теоретическому определению капиталистической заработной платы: оставаясь чаще всего ниже прожиточного минимума, на который могут претендовать в социальном доходе главные создатели этого дохода, она иногда оказывается даже ниже физического прожиточного минимума; она никак не гарантирована, не страхует от всякого риска, поскольку исчезает при безработице;

б) но в особенности мы разоблачаем строй, при котором плата за труд является уступкой труду со стороны капитала. Капитал не только не имеет какого-либо права на изъятие своей доли прибыли до осуществления оплаты труда, но он не имеет никакого права на то, чтобы определять и распределять вознаграждение за труд. Не случайно, что трудящиеся осознают это благодаря тому унижению, которое следует из этого подаяния со стороны произвольной и чисто материальной власти, и не испытывают никакого интереса к предприятию, руководимому руками, чуждыми тем рукам, которые приводят его в движение, где всякое дополнительное усилие будет увеличивать прибыль и силу незаконных хозяев труда.

Институт капиталистической заработной платы является первым и главным виновником классовой борьбы. Он узаконивает господство денег над трудом, которое вызывает озлобленность рабочих и лежит в основе классовой солидарности трудящихся. Персонализм не может быть "сторонником борьбы классов". Но *борьба классов является фактом, который мораль может осуждать, но не в состоянии устранить, критикуя только его причины.* Если класс представляет собой суррогат живого социального сообщества, состоящего из обезличенной и озлобленной массы индивидов, то именно капиталистический класс в строгом смысле слова первым утвердился на основах несущей угнетение солидарности и создал своего противника — революционный пролетариат. Агитаторы и политики могут поддерживать эту ситуацию или паразитировать на ней, но не они ее создали. *Следовательно, является иллюзией, к сожалению, распространенной среди многих людей доброй воли, считать, что "сотрудничество классов" возможно при таком противоестественном состоянии.* Возможно и желательно сотрудничество даже прямо противоположных интересов в экономическом сообществе, если оно основано на человеческих началах. Это значит: требуется сообщество. Но не бывает сообщество, состоящего из индивидуальных или коллективных личностей, с одной стороны, и такой анонимной силы, как несущий угнетение капитал, — с другой, даже если ею обладают люди, входящие в сообщество. Для сохранения предприятия необходимо, чтобы существовал общий для капиталистов и трудящихся интерес. Он может сблизить их в период кризиса, но только временным образом.

Требование отдать труду все властные и инициативные посты и в то же время провозглашение обязанности всех трудиться — это единственный способ заставить "сотрудничать" уже не классы, а живые упорядоченные интересы, личные и коллективные, людей и органические сообщества.

Здесь на ум приходит одно слово: слово это — "экономическая демократия". В его определении необходимо прийти к общему решению. Если речь идет о перенесении в экономику всех пороков парламентской демократии: безответственности, ложного равенства, некомпетентности мнений и красноречия, то мы тысячу раз скажем — "нет"! Если же речь идет о воссоздании экономики на основе органической демократии, которую мы определим ниже при рассмотрении политической демократии, то тогда мы принимаем этот термин. Что мы в него вкладываем?

Будем пока ссылаться на определение, которое в дальнейшем мы дадим демократии. Эта последняя является не царством неорганизованной многочисленной массы и отрицанием власти, а требованием постоянной персонализации человечества. В области производства понимаемое таким образом *демократическое требование стремится к тому, чтобы каждый трудящийся получил максимально широкие возможности для осуществления себя в качестве личности: ответственность, инициативу, обладание, творчество и свободу — в той роли, которая определяется его способностями в коллективной организации.* Таким образом, это требование является не только протестом против подчинения трудящихся капиталистическому аппарату. Оно является требованием эмансипации (в собственном смысле) трудящихся, их перехода из разряда орудий в разряд ассоциированных членов предприятия, одним словом — *признания их экономической зрелости.* В сущности своей этот исторический поворот является, как полагают некоторые радикальные критики, не последней разрушительной волной демократической возни, а *этапом прогрессивно развивающейся персонализации человечества, то есть одухотворения человека.*

Эмансипация взрослого человека требует, чтобы он достиг такой зрелости, при которой приобретает чувство своей зрелости, а затем и способность вести себя как самостоятельная личность. Чувство всегда немного опережает способность. Что и составляет конфликт юношеского возраста.

На сегодняшний день это чувство уже бесспорно и окончательно утвердилось в рабочем классе¹. На нем паразитируют злопамятство и заносчивость, которые представляют собой только психологические надстройки жесточенности. Но в основе своей это осознание наиболее угнетенными трудящимися достоинства человеческой личности в их функции трудящихся людей, которая является также и наиболее существенной в их жизни, представляет собой бесспорное духовное завоевание: оно является центральной духовной данностью экономической проблемы. Оно выносит окончательный приговор всякой форме патернализма, то есть всякой попытке господствующих классов принести рабочему

¹ Perroux F. La personne ouvrière et le droit du travail / Esprit, mars 1936.

классу извне и свыше улучшение его судьбы, даже если, как случается, такая попытка оказывается бескорыстной, сделанной из искренней заботы о служении духовным ценностям и действительно идущей на пользу рабочему¹. Ныне рабочий слишком живо осознает незаконность капиталистической власти, у него накопилось довольно много горечи и чувства унижения, чтобы он не ощущал свою унижительную зависимость от класса капиталистов, взятого в целом: отдельные исключения не играют никакой роли в этом историческом опыте и устоявшихся психологических состояниях. *Faga da se**. Таким образом, как и все угнетенные, рабочий приобрел в своем угнетенном состоянии несколько странное и трудноискоренимое желание самому быть орудием собственной эмансипации. Как и всякая претензия на самостоятельность, особенно когда она долго попиралась, эта претензия может обернуться горделивым высокомерием. Пусть тот, кто не толкал рабочего человека к этому, первым бросит в него камень. Можно работать над исправлением всякого рода случайных явлений и понять исключительность этого чувства — какой-то шанс преуспеть в этом имеется лишь в том случае, если дать выход историческому импульсу, который он несет в себе и который несет вместе с собой, являясь составной частью (наряду с другими, не всегда праведными) гуманизма завтрашнего дня.

Соответствуют ли способности рабочего человека его сознанию? Об этой проблеме забывают те политики, для которых сила значит больше, чем реальность. Напротив, к чести профсоюзного движения, именно оно поставило эту проблему и поработало над ее решением. Надо, конечно, отметить, что у большинства пролетариев как раз вследствие их социально-экономического статуса, который можно было бы назвать небытием, амбиции не соответствуют реальности. Этим объясняется успех многих диктаторских режимов, которые утвердились благодаря пассивности народных масс, остающихся социально, политически, а нередко и духовно обезличенными в рамках цивилизации, которая ничего не сделала, чтобы привести их к осуществлению как личностей. Даже у французского пролетариата, являющегося одним из самых зрелых, деятельность по воспитанию рабочих, начатая профсоюзами, остается пока в зачаточном состоянии. Следовательно, недостаточно развить у трудящихся чувство собственной несостоятельности и незрелости; вместо того чтобы увлекаться политической агитацией, необходимо, чтобы рабочий класс потрудился над выращиванием постоянно обновляемых зрелых рабочих элит.

Эта работа не завершена. Конечно, всегда останутся люди, которые из-за бедности своих дарований сумеют стать пусть не орудиями, а исполняющими органами экономического общества. Поэтому речь не может идти о том, чтобы поднять до уровня *соратников по производству* бесформенную массу трудящихся в целом. Любой трудящийся предприятия будет обладать собственностью на жизненно необходимую заработную плату и соответственно участвовать в его доходах, и этого достаточно, чтобы избавить его от пролетарского положения *stricto sensu*. Доступ к положению и функциям компаньона по управлению

¹ *Perroux F. Les paternalismes contre la personne / Esprit, mars 1936.*

должен сопровождаться повышением рабочего статуса, решение относительно которого принимается ответственными рабочими органами на основе серьезных гарантий его личной ценности, компетентности и верности предприятию (компетентность в руководстве, впрочем, это не то же самое, что и компетентность в производстве, последняя допускает более автоматическую форму продвижения)¹.

Что касается рабочих, остающихся вне сферы управления, но избавленных от нищеты и представляющих собой неизбежный элемент всякой организации, то в этом вопросе надо поддержать идею о том, что они конституируются в *базовую власть*², отличающуюся от управленческой власти и играющую следующую роль:

а) работать над поддержанием своего достоинства и по мере возможного — в пользу собственной эмансипации;

б) организовывать любой протест против окостенения экономической системы и образования новых каст: эта власть будет наделена эффективными средствами доведения своих требований до общественного мнения и средствами обжалования, чтобы осуществлять такую бдительность, на которую бедный человек, являющийся таковым в силу своих природных свойств, зависимого положения или гнетущего влияния системы (такие случаи тоже надо предусмотреть), чувствителен, как никто другой;

в) при случае сотрудничать со всей организацией в том, что касается предприятия, гигиены и социальной помощи.

Командные посты будут занимать люди, выходцы из этих двух слоев рабочего коллектива. В самом деле, персоналистская демократия противостоит авторитаризму, сосредоточивающему власть у индивида или у касты, внешнее, угнетающее и неконтролируемое господство которых поощряет пассивность управляемых. В персоналистской организации ответственность, творчество, сотрудничество будут представлены везде: в ней не будет места такому положению, когда одним людям платят за то, что они думают, другим — за то, что они исполняют, а счастливым — за то, что они ничего не делают. Но эта организация *не исключает подлинной власти*, то есть одновременно иерархического и жизненного порядка, в котором руководящее положение определяется личными заслугами и особенно призванием пробуждать личностное начало, и обеспечивает своим обладателям не рост почестей, богатства или привилегий, а увеличение ответственности.

В отличие от капиталистической собственности экономическое управление принадлежит не безответственной наследственной касте, а людям, лично заслужившим это, постоянно выделяемым из элиты трудящихся и выбираемым ею. Через механизмы, которые будут направляться опытом, оно должно:

¹ Мы не говорим здесь о возможных формах переходного периода, когда в условиях капитализма компетентность рабочего будет окончательно сформирована. Уже сегодня, например (Esprit, septembre 1936. P. 682), можно предусмотреть формирование на каждом предприятии рабочих комитетов сотрудничества, к которым отойдут голоса всех акционеров, не представленных на генеральных ассамблеях. Только история и опыт могут решить вопрос о формах переходного периода.

² Zerapha G. / Esprit, août-septembre 1935. P. 684, 694.

а) быть защищено от всякого проникновения власти, внешней по отношению к экономическому обществу и подобной той, которую мы имеем сегодня в Германии, Италии, СССР, где представитель государственной партии обладает властью над центральными или местными властями;

б) быть гарантировано от всякой внутренней демагогии: только трудящиеся, доказавшие свою компетентность, личную способность и верность предприятию, должны участвовать в выборах руководителя;

в) обладать иммунитетом против формирования управляющей касты посредством строгой системы санкционированной ответственности, постоянно осуществляемого очищения командных постов снизу доверху и установления конкретных реальных связей между трудящимися и руководителями, получившими их доверие.

Было бы безумием считать, что какой-либо орган может функционировать без столкновений и кризисов, даже без постоянной внутренней напряженности. Различие между руководителями и руководимыми, сколь бы тесным ни было сообщество, неизбежно создает напряженность между двумя способами видения и даже между двумя группами интересов. Эта напряженность плодотворна: только тогда, когда орган управления не подорван, можно говорить о воле к сотрудничеству. Поскольку эта воля всегда будет иметь место, *при любом строе должна существовать и профсоюзная организация как свободный и независимый представитель объединившихся трудящихся*¹.

Закрепленная таким образом органическая демократия оказалась бы под угрозой, если бы капиталистическое накопление могло возобновиться. Опыт или техника подскажут, достаточно ли уничтожения механизмов самоприбыльности денег, чтобы сделать невозможным опасное накопление капитала. Если да, то индивидуальным сбережениям должна быть предоставлена полная свобода, поскольку они перестают давать материал для опасных мошеннических операций с капиталом. Если нет, то будут приняты меры *для максимального ограничения концентрации богатств*.

3) Примат социальной службы над прибылью

К принципам, которые определяют статус личности в персоналистской экономике, мы добавляем два других принципа, которые обеспечивают ее общностный характер.

Иногда заговаривают о замене понятия "прибыль" понятием "служение" как руководящего принципа экономики. Высказанное в такой абсолютной форме, это положение было бы серьезным психологическим заблуждением идеалистического характера. Экономика делается не чистыми сознаниями, ее двигатель — обычные побудительные причины. И конечно же прирост прибыли как для индивидов, так и для производительных коллективов является мощной побудительной причиной,

¹ Esprit, juillet 1936: Où va le syndicalisme?

толкающей их обеспечивать рост производства и в количественном, и в качественном отношении. Советы это очень хорошо поняли, когда были вынуждены отказаться от уравнительной заработной платы. Следовательно, необходимо продолжать использовать притягательную силу прибыли (хотя бы еще в течение нескольких пятилеток), пока не будет достигнуто "царство изобилия", которое должно устранить необходимость во всяком денежном знаке.

Однако если прибыль и не может исчезнуть, то приоритет прибыли в экономическом механизме и в экономическом стимулировании должен быть уничтожен, а прибыли отведено подобающее ей вторичное место, она должна служить другим человеческим интересам, в частности укреплять чувство социального служения, которое освобожденная экономика может породить у любого трудящегося.

4) Примат организмов над механизмами

Как мы уже видели, централизация — обоюдоострое оружие. Благодаря достижениям современной техники она явилась средством удешевления крупного производства, теоретически способствующего достижению нормального уровня жизни для всех. Впрочем, капитализм частично нейтрализовал этот результат, а технократы, признавшие заблуждением гигантоманию, еще не сказали здесь своего последнего слова. Но все эти достоинства меркнут перед опасностью, внутренне присущей неорганизованной централизации, которая ведет к государственному угнетению.

Вот почему *собственное движение персоналистской экономики является децентрализующим*. Даже если бы было доказано, что некоторые общественные службы должны быть тем не менее огосударствлены, то это было бы всего лишь строго ограниченной уступкой, которую она могла бы сделать необходимости: то есть в противоположность коллективистской (в классическом смысле) экономике, огосударствление которой является присущим ей движением, а планы смешанной экономики на "переходный период" являются только временными задержками базового движения, *персоналистская экономика является экономикой, децентрализованной вплоть до личности*. Личность является ее принципом и ее исходной моделью. Надо сказать, что децентрализация, которая была бы только расчленением экономики на вторичные элементы, не может рассматриваться как подлинная децентрализация. Персоналистская децентрализация — это не столько механизм, сколько дух, который несет личность, являющиеся основой экономики. Она стремится *не навязать, а высвободить повсюду коллективные личности*, обладающие инициативой, относительной самостоятельностью и ответственностью. Не следует позволять идеям обманывать себя. Сказать, что экономика, как и все общество, приводится в движение снизу, что творчество должно исходить из ее основы, в персоналистской перспективе значит сказать, что вдохновение приходит к ней из самого очага духовной реальности: от личности.

Из этой общей ориентации вытекают два следствия:

1) Первичной экономической единицей является не производящий индивид, как при индивидуалистическом строе, не нация или национальная корпорация, как при огосударствленном строе, а *экономическая ячейка, или предприятие*. Экономика — это не огромное тело, органом которого является предприятие. Она есть или должна стремиться быть федерацией предприятий¹.

2) Экономический "план" не может быть насильным превращением экономики в систему, навязываемую из центра. Он должен опираться на учет местных оценок и предложений, изученных на местах, распространяемых после изучения и локальной апробации, и при осуществлении вновь разнообразиться в зависимости от живой реальности.

Необходимо предостеречь от возможности связывать эти указания с ремесленной концепцией экономического организма в более крупном масштабе или с грубо органистическими образованиями. Здесь достаточно вновь отослать к тому, что мы говорили выше о неограниченном поле действия, которое отводится технике, и именно технике организованной: здесь может быть использована любая централизация, которая освобождает, а не угнетает, служит, а не отягощает.

Плюралистская экономика Синтез либерализма и коллективизма

Сейчас мы ставим своей задачей наметить только общие направления, пригодные для всякой персоналистской экономики. Таким образом, мы не будем разрабатывать технический план, который в данном случае не уместен. Мы только покажем, как персоналистская экономика может разрешить продолжающийся конфликт между либерализмом и коллективизмом. Либерализм (теоретический) имеет источником своей духовной силы защиту личностных ценностей свободы и инициативы и справедливую критику огосударствления, но он отдает указанные личностные реальности во власть капиталистического угнетения, которое лишает этих сил большинство людей. Коллективизм прав, когда провозглашает необходимость широкой коллективизации экономики, чтобы спасти ее от диктатуры частных интересов, но отдает свободу, связанную по рукам и ногам, на милость государственной диктатуре, власти одной партии или кучки функционеров. *Персонализм сохраняет коллективность и спасает свободу*, делая ее опорой гибкую автономную экономику, вместо того чтобы взваливать ее на спину этатизму.

Экономика централистской ориентации является экономикой с унитаристской тенденцией. Она допускает множественность секторов, как мы уже отмечали, только как необходимость переходного периода.

¹ *Emile Hambresin. La propriété des instruments de production / Esprit, octobre 1936; Ordre nouveau, N 22—23: Planisme et Plan.*

Экономика персоналистской ориентации является *плюралистской экономикой*, допускающей между коллективностью и требованиями личности столько всяческих форм, сколько этого требуют различные условия производства. Такой плюрализм не должен мыслиться как эклектизм. В переходный период персоналистская экономика тоже может допускать параллельное существование или смешение новых структур и структур, отживших свое время. Но ее плюрализм основывается на разделении функций, а не на уступках.

В первых работах, вдохновленных подобной ориентацией¹, выделяются два сектора:

1) *плановый сектор*, предназначенный главным образом для производства жизненно необходимого минимума, относительно однообразного и неизменного, на который, как считает персоналистское общество, личность имеет абсолютное право. Его можно определить как общественную службу обеспечения жизненных условий. Только социальная неотложность превращает его в общественную службу, узаконивает в нем принуждение и развитую коллективизацию, что имеет свое оправдание, поскольку речь идет о создании самих основ всякой частной собственности. Персоналисты расходятся в понимании его природы. Одни², до конца не доверяя государству, отделяют планирование от национализации и передают исполнение плана в руки свободных корпоративных предприятий под руководством центрального экономического совета, независимого от государства. Другие³ полагают, что государству или обществам, в которые государство входит как составная часть, можно доверить минимальное число ключевых промышленных производств;

2) *свободный сектор*, где уже без угрозы жизненному минимуму кого бы то ни было осуществляется свободное творчество и свободное соревнование. Впрочем, и этот сектор не отдается во власть анархии, а организуется в соответствии с формулой той или иной корпорации или посткапиталистической корпорации. Его организованная свобода является главным элементом сопротивления трудового коллектива политике угнетения. Это не уступка, а идеал, поддерживаемый, как таковой, и защищаемый только от опасностей, которые он может сам создать: исчезновение капиталистических механизмов устраняет их, в то время как реформистский корпоративизм их просто игнорирует.

Плюралистское общество

До сих пор мы рассматривали экономическую проблему в основном с ее индустриальной стороны. Между тем *персоналистский плюрализм враждебно относится к приоритету индустриализма*, который несет угнетение со стороны одного класса и одного способа жизни всем

¹ См., в частности, указанные выше номера журналов "Эспри" ("Esprit"), "Ордр нуво" ("Ordre nouveau").

² "Ordre nouveau".

³ Например, Андре Филип.

другим классам и всем другим способам жизни. Промышленный пролетариат, подгоняемый нуждой, гораздо больше, чем другие классы, потрудился над осознанием социально-экономического беспорядка и более других созрел для необходимых преобразований: в этом смысле можно говорить о его исторической миссии, не подчиняя историю интересам какого-либо одного класса. Тем не менее для самих пролетариев необходимо, на основе анализа их собственного положения, учитывать проблемы других социальных групп и им тоже дать возможность быть орудиями собственного освобождения.

Крестьянин все более и более страдает от капиталистического ограбления: посредники, кредитные учреждения, крупные тресты сначала отобрали у него его сбережения, затем он вынужден был сократить свое потребление, а ныне стал должником. Он не меньше страдает и от противоречивого вмешательства государства, а протекционизм хотя и приносит ему временное облегчение, ведет к экономической анархии и войне. Наконец (особенно во Франции), крестьянин заражен стойким индивидуализмом, который вместе с анархией и дроблением земельной собственности подвергает сельскохозяйственное производство значительному разбазариванию. Такая анархия не может продолжаться: она толкает нас к восстанию, которое по своей силе, быть может, превзойдет рабочее восстание. Между тем во Франции массовая индустриализация сельского хозяйства была бы губительной. Крестьянство со своей стороны должно вносить свой вклад в плановый сектор, что будет происходить не без коллективной эксплуатации строго ограниченной части земли. За пределами этого сектора, чтобы занять место капиталистических трестов и посредников, крестьяне будут объединяться в кооперативные ассоциации на коммунальной основе, сохраняя личную привязанность к земле и мало-помалу устраняя реакционный индивидуализм, который наложил на нее свой отпечаток.

Так называемые *свободные профессии* традиционно защищают свои реальные ценности, но также и классовые монополии и престиж. Поскольку "свободный" характер будет признан и обеспечен любому труду, не останется никакой причины для сохранения буржуазных привилегий, обеспечиваемых давно устаревшими механизмами. Само собой разумеется, что последние элементы продажности в исполнении обязанностей должны исчезнуть¹. И здесь также плановому сектору предстоит очистить творческий труд от всякого автоматизма: врача — от операций, относящихся к компетенции медсестры², адвоката — от операций, относящихся к компетенции писаря, — и обеспечить "жизненно необходимый минимум" внимания, справедливости и т. д., которые ныне чудовищным образом зависят от различий в материальном положении. Но в то же время эта необходимая организация должна сохранять свободный выбор клиентов, вне социальной службы, отводимой плановому сектору, — свободу деятельности специалиста в тех профессиональных сферах, которые более, чем другие, связаны с творчеством.

¹ Bouiller. Faut-il fonctionnariser le notariat? / Esprit, août-septembre 1936.

² Dr. Vincent. La médecine dans le monde de l'argent / Esprit, mars—juillet 1934.

Даже *служащие*¹ должны быть персонализированы в своей функции. Невозможно разгосударствить управление в самом аппарате государства. Но здесь, по меньшей мере, можно "дематериализовать" человеческие отношения и саму деятельность людей. Единственное доступное при этом средство — восстановление ощущения риска и чувства ответственности. Устранение продвижения по службе в связи с выслугой лет уничтожит успокоенность и инертность, которые тяжелым грузом ложатся на жизнь народа. Ответственность служащего перед равными ему людьми, контроль с их стороны устранил боязнь не понравиться или желание понравиться своим начальникам, что является одной из главных причин паралича и трусости у подчиненных и обеспечивает угнетение со стороны центральной власти. Наконец, развитие местного самоуправления сделает ненужной безответственную администрацию.

Средства Переход

При переходе от старой экономики к новой для радикального персоналистского действия закрыты два пути: реформизм, который не затрагивает истоков беспорядка, и анархический бунт, который только продолжает его. А два пути ему открыты.

Один, федералистской ориентации, состоящий в том, чтобы, начиная уже сейчас, организовывать, пусть пока в зародышевых формах, институты персоналистского общества и постепенно расширять их, пока не будет взорван изнутри старый "порядок"².

Но капиталистический порядок несомненно будет сопротивляться до последнего вздоха. Тогда и надлежит государству, как стражу общего блага, не ставить себя на службу ущербной экономики, поскольку оно не является коллективной личностью, и следовательно, не имеет никакого права на блага, ранее узурпированные капитализмом, а вмешаться со своим правом юрисдикции ради общего блага, опекуном которого оно является, ради обиженных личностей и ради своего собственного авторитета, подорванного экономическими интересами. Его право на вмешательство должно осуществляться прежде всего для того, чтобы навязать новое экономическое законодательство, опираясь на живые силы народа, которые будут его питать. Что касается "приобретенных прав" индивида, то государство по отношению к тем из них, которые были приобретены только в силу угнетения, располагает правом на экспроприацию за вознаграждение, использовать которое для новой экономики оно должно по-человечески, но строго. В остальном же оно будет опираться на услуги, оказываемые компетентными предпринимателями,

¹ Le fonctionnaire et l'homme / Esprit, janvier 1936.

² Так, во Франции — общество Святого Людовика и его первые сельскохозяйственные организации; несколько в ином русле идут попытки "Нового порядка": первичные организации европейской "гражданской службы" и "прожиточного минимума"; ячейки "Друзей Духа (Esprit)".

которые согласятся лояльно служить экономическому порядку. Все другие сопротивления должны быть преодолены посредством принуждений, опирающихся на закон, стоящий на службе личности и защищающий ее от двойного угнетения — со стороны нищеты и со стороны богатства.

Крах псевдорешений

Не стоит долго задерживаться на бесполезном деле анализа экономических конструкций, ранее уже подвергшихся критическому осуждению там, где речь идет об их основополагающей ориентации. Чтобы их можно было установить, нам достаточно отметить три явления, которым мы можем сказать только категорическое "нет". Это:

1) Обычный *реформизм* в его двух видах — реформизм технократов, только замазывающий щели, и морализаторский реформизм, похожий на врача, который считал бы более разумным увещевать больного, чтобы он лечился, чем "насильно" применять лекарства. Реформизм, бессильный против тяжелых недугов современной экономики, только укрепляет их, маскируя их опасность.

2) *Псевдокорпоративизм*, представляющий собой всего лишь систематизированную форму реформизма¹. Не затрагивая взаимоотношений между трудом и капиталом, он предусматривает свободное образование собственнических корпораций, которые обеспечивали бы координацию профессиональных интересов посредством сотрудничества классов. Между тем *при нынешних структурах капитализма, даже после избавления от их наиболее кричащих злоупотреблений*, такой корпоративизм:

а) продолжает опираться на всемогущество капитала, занимающего властные посты, и узаконивает таким образом подчинение труда деньгам, которые являются точным определением капиталистического "материализма". Даже равенство в представительстве между трудом и капиталом в корпоративных Советах, если бы оно не было иллюзорным, оказывается скандальным явлением;

б) считает, что он осуществляет "сотрудничество классов", которое только ставит в один ряд деньги и труд, антагонизм между которыми неустраним, то есть он основывается на фундаменте, давно давшем трещину по всей своей толщине, — на псевдосообществе;

в) основываясь на основополагающем антагонизме, такое "сотрудничество" все время нуждается в диктаторском вмешательстве государства или централизованной корпоративной власти, неизбежно тяготеющей к силе централизованного государства. Одно дело, разумеется, проводить арбитраж по нормальным органическим конфликтам в рамках общества, внутри которого существуют прямо противоположные интересы, совсем другое — соединять огонь и воду. Подчинение государству окажется здесь неумолимо скорым, ибо в большинстве своем

¹Duplicités du corporatisme / Esprit, août-septembre 1934; La Corporation / Ordre nouveau, N 10.

корпоративизм стремится поглотить профсоюзное движение, этот базовый источник сопротивления и инициативы;

г) наконец, даже с точки зрения производства, при строе, где все силы нацелены на то, чтобы сохранить максимальную прибыль, корпоративизм, даже не раздираемый своими внутренними противоречиями, сможет быть только диктатурой, нацеленной на спасение агонизирующей прибыли, а посредством ограничения производства, конкуренции и технического прогресса — началом регрессивной автаркической экономики.

3) *Авторитарная экономика*. Под этим наименованием, в котором звучит противопоставление живого авторитета принуждающему авторитаризму, мы понимаем любую форму "дирижизма" или "этатизма", которая ставит целостность экономики (непосредственно или через ее жизненные центры) под власть централизованного управления, которое осуществляется исключительно по нисходящей линии.

Экономический этатизм является его самой опасной формой. Он основывается на перемещении узурпации: действительно, он распространяет экономическую власть денег на государство, которое уже не владеет не только деньгами, но и богатствами и не имеет над ними власти. Главное же, вместе с экономической свободой граждан он передает в руки централизованного по самой своей сути государства, всегда склонного злоупотреблять собственной властью, опаснейшее средство принуждения личностей, хозяином которых оно никогда не было. В таком случае в ущерб подлинной или мнимой народной революции на общество накладывается диктатура государства, полностью подрывающая его дух. Во всех органах экономики верховная власть принадлежит именно представителю централизованной власти, обычно (Италия, Германия, СССР) представителю государственной партии, и он пользуется ею только в интересах политики государства.

Эта централизация не создается, как можно было бы полагать, внешним воздействием на старое либеральное состояние. Она рождается из него самого еще до того, как взрываются его рамки. Поглощение наибольшей части прибыли капиталом тормозит внутреннее потребление, ускоряет реинвестиции; подобное нарушение равновесия толкает к захвату внешних исходных позиций; капиталистическая централизация, ускоренная и привязанная таким образом к определенному месту, автоматически порождает национализм и экономический империализм, которые напрямую ведут нас к тоталитарному состоянию и войне.

Подобно тому как Маркс, чтобы объяснить общество XIX века, опирался на Англию, бывшую тогда самой развитой в промышленном отношении страной, надо бы обратить взгляды к наиболее типичным странам нашей эпохи: Германии, Италии, СССР, чтобы познать общество XX века в его сущности таким, каким централизованный капитализм навязал его своим мнимым наследникам. В них мы находим гибридное общество — не капиталистическое и не коммунистическое, в котором свободные денежные силы вот-вот исчезнут; в этом обществе вследствие поглощения государством, этим управителем экономического национализма нового порядка, противоположность между угнетателями и уг-

нетенными, между трудом и капиталом превращается в противоположность между трудом и государством. Мы стали свидетелями того, что не пролетариат поднимается до человеческого положения, чего ждал Маркс от пролетарской революции, а что все общество начинает соскальзывать к новому пролетарскому положению, создаваемому скорее угнетением, чем экономической нищетой, под внимательным оком функционеров, технократов и военных. Средства производства, которые удерживали капиталисты, переходят в руки государства: положение трудящихся от этого не улучшилось. Маркс мог в XIX веке сказать, что государство является орудием угнетения в руках господствующего класса; ныне же господствующим классом как в СССР, так и в фашистских странах становятся функционеры. В тот момент, когда внутренний динамизм этого строя ведет его к разрушению, с помощью государства пытаются стабилизировать угнетение не столько экономическое, сколько капиталистическое. Эта функция государства как спасителя экономики конечно же не лежит на поверхности. Она прячется за мифами: расизмом, национализмом, индустриализмом. "Правые" и "левые" программы сходятся на основе всепильного материализма, являющегося подлинным Левиафаном нашей эпохи. *Если формула "ни левые, ни правые" обладает иной функцией, кроме сплочения пугливых людей в стадо людей колеблющихся, то она состоит в том, чтобы подготовить разумную силу против этой угрозы, которая приближается к нам с огромной скоростью со всех сторон.*

5. Политическое общество

Дискредитация политики

Все средневековье вслед за классической античностью повторяло, что человек — это политическое животное. Ни один из мыслителей XVII века не преминул добавить политику к своей теодицее или логике. Если сравнить это положение былых времен, когда политика не занимала лучшую часть жизни людей, с дискредитацией, которой сегодня подверглась политическая жизнь лучших людей, можно увидеть меру ее падения. Пребывая на задворках идеологий, питаюсь сентиментализмом и действуя с помощью разного рода махинаций, она стала самой что ни на есть теневой стороной беспорядка. "Публичная жизнь" так же, как и "частная жизнь", является одной из жизненных форм личности. И вот она, как и частная жизнь, оказалась в замкнутой сфере, столь чуждой внутреннему человеку, что те люди, которые сохраняют чувство личности и то, что мы называли чувством ближнего, постепенно приобрели непреодолимое отвращение к ней.

Чтобы вернуть политической жизни ее духовность и сделать это изнутри, нам, следовательно, необходимо восстановить политическую жизнь на основе органов, которые выражали бы целостную личность, не унижая ее. Только таким образом мы вернем политике ее подлинный смысл — приобщение человека к сообществу.

Вспомним, что личная жизнь рождается из напряженности между двумя полюсами: полюсом индивидуальности и полюсом духовной личности. Чистый индивидуализм ведет к созданию умиротворенных, удовлетворенных, безразличных людей; чистый рационализм — к их окостенению, к превращению в неподвижные, несущие с собой угнетение механизмы. Реалистическое учение о личности считает эти решения уродливыми, подобными многим другим, игнорирующим личностную жизнь. Оно исходит из предназначения личности: в силу напряженного равновесия между двумя полюсами реальности она в ходе своей реализации имеет все шансы прийти не к унитарному выражению своего политического призвания, а к двум выражениям, то не совместимым друг с другом, то соединяющимся, то пересекающимся одно с другим.

Конкретный индивид Общество: родина

Для индивида — не абстрактного индивида юридического рационализма, а живого индивида, этого средоточия плотских влечений и непосредственного наслаждения инстинктивной жизнью — естественным обществом является совокупность чувственных связей со средой, которая его непосредственно окружает и влияния которой находятся в пределах его прямой досягаемости. Личность выходит далеко за пределы этой чувственной жизни. Вместе с тем, полностью охватывая всего человека, она не испытывает по отношению к ней никакой неприязни. Этому элементарному обществу можно оставить название *родины*, которое лучше всего подчеркивает значение кровного родства и места появления на свет.

Вслед за Бергсоном нередко отмечали, что если исходить из чувственных привязанностей, то человек создан для очень маленьких обществ. Любовь к родине в строгом смысле, избавленная от познания и патетики, которые ее искажают, является непосредственной любовью, имеющей короткий радиус действия. Вот почему кое-кто имел возможность сузить смысл слова, в некотором роде искажая реальные чувства людей, сводя их к локальной родине¹: бретонской, прованской, фламандской, каталонской, водуазской или женеvской. Хорошо известно, что даже во Франции, обладающей самой сплоченной нацией в Европе, южные полки в критический момент войны чуть было не отстранились равнодушно от защиты "Севера". Но по этой причине родина имеет тенденцию превратиться в замкнутое общество, специфическим движением которого и станет замыкание в себе.

Ложные универсальности: национализм, этатизм

Между тем личность — это требование духовности и универсальности. И хотя она отвергает их в том виде, как их представляют расплывчатые идеалы и несущие в себе угнетение общественные системы, она не

¹ См., например, "Ордр нуво" ("Ordre nouveau").

может удовлетвориться чисто физическим и аффективным обществом, даже преобразая его под углом зрения целостной личной жизни. Через *общества*, обладающие все возрастающей духовностью, она устремляется к тому предельному сообществу личностей, которое было бы наиболее конкретным и в то же время наиболее универсальным.

Коллективы, как и отдельные личности, ведут поиск универсальности в двух ложных направлениях. Руководствуясь исключительно чувством, они либо говорят об увеличении пространства и силе их эмоциональной жизни, либо, отметая этот способ по причине его негибкости, они впадают в другую крайность и ищут единство в абстрактном недифференцированном представлении о духе. Так или иначе, но в итоге они понимают, что речь идет о новой форме нечеловеческого, и задумываются о том, чтобы изнурить воссоединить дух с жизнью.

Фашистские режимы, скорее расового и националистического, чем милитаристско-элитарного характера, искали выход в создании политического животного и некоего масштабного биологического организма, что мы отвергаем прежде всего. Они опирались на инстинктивные чувства, которые могут быть добродетелью отдельного индивида и соответствующего ему общества, поскольку они пребывают под властью и неусыпным оком личной жизни; их-то они распространяли на нацию в целом. *По их представлениям, одухотворение общества означает облагораживание в масштабе всей общественной жизни безмерно притупившихся чувств, которые связывают человека с его ближайшим окружением.* Такова, собственно говоря, индивидуалистическая концепция нации, хотя и выраженная в фашистских категориях. Она предлагается в качестве высшего духовного сообщества и в то же время в качестве наиболее конкретного начала. Однако в конечном счете ее выражением оказывается фашистское государство, и мы в итоге имеем еще одно извращение проблемы.

Речь идет об *этатизме*. Мы уже показали, каким образом фашистский этатизм вел к отставке личности при либеральном режиме, опирающемся на остаточные формы индивидуализма. Он упрекал либеральное государство в том, что оно выдает себя за непосредственного носителя духовности, а сам оказался простым возвеличением абстрактного и претенциозного индивида. Не имеет особого значения, на какую именно — якобинскую, расистскую или империалистическую — концепцию опирается этатизм, обосновывающий свою власть с помощью чувств, ибо в конечном итоге он *отождествляет нацию с государством*. Нет реальности, прав, предшествующих государству, которые оно должно было бы соблюдать; нет высшего права, которому оно должно было бы подчиняться. Оно совпадает с обществом: ничто не выходит за его рамки, будь то в сфере национального, локального или частного. Оно само себя наделяет prerogative прямого административного управления всей национальной действительностью, которую длительное централизаторское действие сосредоточило в его руках. Никто не компетент обвинить его в невыполнении какого-либо обязательства. У самой нации нет никакого суверенитета, никакое реальное представительство не может исходить из нее. Всякая авторитетная власть — это власть правительственная, исходящая из центральной власти, то есть кучки

авантюристов, завладевших государством. Было бы большой ошибкой, говорит фашистский теоретик г. Рокко, путать нацию и народ и растворять первую во втором. Правительство по праву естественного обладания принадлежит к своего рода преопределенному классу, постоянно преобразующемуся внутри нации: классу руководящих элит. Его воля, выраженная вождем, идя сверху вниз, воодушевляет государственную партию, являющуюся "динамическим элементом" государства, тем элементом, который предохраняет его, как на это указывает смысл слова*, от того, чтобы оно не оставалось "статичным". Имея своей непреложной обязанностью выражать волю и судьбу государства, она является посредником между государством и пассивной нацией, проводящим государственную доктрину, с одной стороны, "капиллярным" органом, фильтрующим весь народ, объединяя его в государство, — с другой. Поскольку благодать, вдохновляющая ее, — это божественность, имманентная нации, она удерживает монополию на общественное мнение; все другие мнения, включая и нейтральные, являются подрывными. Всеобщий интерес — это интерес государства. Если бы даже, как сказал однажды известный фашист, 12 миллионов "за" превратились бы в 24 миллиона "против", фашистское государство все равно оставалось бы; просто надо было бы признать, что народ охватило коллективное безумие.

Государство самодостаточно. Свою границу и свой закон оно находит только в себе самом. Оно ориентируется не на порядочность, а на полезность и эффективность. Поэтому все его атрибуты концентрируются в его силе. Слабость является его основным грехом. Это требует не "минимума", а "максимума" правительства. Его основополагающим институтом является не представительство или контроль, а полиция¹.

Эти черты свойственны не только крайне тоталитарным государствам. Раковая опухоль государства формируется внутри самих наших демократий. Начиная с того дня, когда они лишают индивида всех его жизненных корней, всех его непосредственных прерогатив, с того дня, когда они провозглашают, что "между государством и индивидом не существует никаких границ" (закон Ле Шапелье**), что нельзя позволять индивидам объединяться на основе их так называемых "совместных интересов" (там же), открывается путь для современных тоталитарных режимов. Централизация с помощью рационализации постепенно расширяет власть государства, которая противится всякому жизненному разнообразию: *"демократический" этатизм устремляется в сторону тоталитарного состояния, как река спешит к морю.*

Достаточно ясно, какие именно силы поддерживают его. Как мы уже отмечали, непосредственные власти и локальные общества имеют тенденцию замыкаться в себе, душить личностный порыв, подменяя его чувственностью, аффективностью, дробить общество. Определенное стремление к универсальному и величественному блокируется движением к жизненной "близости", в которой индивид может обрести комфортное укрытие, подавив свои мечты о приключениях. Это стремление утрачивается по мере того, как появляется вера в то, что государство

¹ *Ulmann A. Police, quatrième pouvoir. Collection "Esprit". Ed. Moutaigue.*

и его абстрактная система могут обновить и освободить излишне законопаченную общественную жизнь, хотя поначалу они кажутся безразличными к индивидам и самой замкнутой атмосфере. Но они способны на какое-то время дать индивидам почувствовать вольный ветер только для того, чтобы еще решительнее лишить их его.

С персоналистской точки зрения все различия между германским верховенством нации, латинским верховенством государства, либеральным этатизмом, "служащим" нации, политической диктатурой пролетариата, "служащей" пролетарской нации, стираются. Эти различные варианты этатизма развешивают различные идеологические вывески вокруг одной лукавой реальности, которая восходит к социальной патологии: *развитию раковой опухоли государства на теле всех современных наций, какова бы ни была их политическая форма*. Когда же сверх того это государство-нация смыкается с экономикой, поддерживая капитализм или выступая против него, говоря в пользу демократии или против нее, оно становится самой страшной опасностью, с которой персонализм должен будет открыто бороться на политической арене.

О государстве плюралистской ориентации

Ни одна усредненная концепция не может с достаточной силой бороться с той тяжелой формой угнетения, которая постепенно распространяется на все народы, сбитые с толку и ослабленные скудной пищей либеральной цивилизации. Только идея о живой мистике целостного человека способна стимулировать ныне ставшую безотлагательной героическую оборону вокруг последних частично уцелевших его зон. Следовательно, будем двигаться от основания.

Политическая действительность складывается из *личностей*, которые пытаются воплотить в жизнь свои общественные устремления, и *обществ*, то есть группировок людей, объединившихся в поиске определенной человеческой цели или простой чувственной или духовной близости.

Родина, описанная выше, является первичным, инстинктивным из всех обществ. Она стоит выше экономических, культурных и духовных обществ.

Нация — это объединение различных спонтанно образованных союзов личностей, живое единство, имеющее общие исторические и культурные традиции, хотя и выражаемые в разнообразных формах, но обладающие силой универсальности. Очевидно, что подобное единство создано из разнородных элементов, а не из кристаллически чистых реальностей: внизу нее находится множество обществ, которыми она должна не руководить, а поддерживать в бодром состоянии; сверху она является пусть еще и не сообществом в полном смысле слова, но, по меньшей мере, уже общностным объединением, гибкой и живой связью между духовной универсальностью, достичь которой и быть носителем которой может только личность как таковая, и обществами материального порядка, которые окружают и удерживают у себя индивида.

Выше родины и нации мы ставим приоритет *персоналистского духовного сообщества*, образованного личностями, которое реализуется более

или менее совершенным образом чаще всего в небольших масштабах, но остается отдаленным образцом для всего социального развития.

Государство не является духовным сообществом, коллективной личностью в собственном смысле слова¹. Оно не стоит выше ни родины, ни нации, ни уж тем более личности. *Оно является орудием, служащим обществам, а через них, и если необходимо — вопреки им, служащим личностям.* Это искусственно созданное, подчиненное, но необходимое орудие.

Если бы личности и общества плыли по течению, они погрязли бы в анархии из-за разлагающей силы индивидуализма и давления материальной необходимости. Оптимизм либерального индивидуализма и анархистский утопизм опираются только на упрощенное понимание личности. Необходимо последнее средство, чтобы осуществлять арбитраж конфликтов между личностями и индивидами: таким средством является юрисдикция государства. Более того, когда некоторое число этих обществ демонстрируют общую национальную волю, государство охраняет их безопасность.

Но государство играет не только эту негативную роль. Личности стремятся осуществить себя в различных обществах. Эти общества нередко действуют разрозненно, несогласованно, их средства ограничены. Государство, как слуга личностей, имеет своей функцией предоставление в распоряжение этим инициативам механизмов взаимосвязи, которые будут облегчать их усилия. И здесь следует остерегаться двух опасностей.

Первая состоит в том, что такая служба обходным путем вновь приведет к всемогуществу государства: этого можно будет избежать, если, не лишая государство подобной функции, отказать ему в духовной власти. *Власть государства даже в ее политической функции ограничена снизу не только авторитетной властью духовной личности, но и спонтанной и обычной властью всех естественных обществ, которые образуют нацию.* Как говорит по этому поводу Жорж Гурвич, суверенитет государства — это всего лишь островок, затерявшийся в огромном море частных суверенитетов. *Сверху государство подчинено духовной авторитетной власти в форме, обладающей всеобщей компетенцией как высший суверенитет персоналистского права.* Чтобы быть защищенным от злоупотреблений власти государства, эти два узаконенных суверенитета должны, в противовес государству, иметь свои собственные органы инициативы и защиты: первый получает свое воплощение в сложных и широко автономных органах локальных правительств, экономических группировок и духовных правительств; второй может быть доверен присмотру Верховного совета, создаваемого по образцу Верховного суда Соединенных Штатов или французского Государственного совета, но Верховного совета молодого и прогрессивного, избираемого жизнеспособными силами нации, который не будет, подобно первому, прикрытием для консервативных сил или, как второй, простым юридическим органом официального разрешения тяжб.

¹ Отличается от юридической фикции "нравственная личность". См. гл. II.

Таким образом, персонализм ограничивает и принуждает государство подобно тому, как ныне государство ограничивает и принуждает личность. Такой переворот является нормальным, ибо государство — это орудие, а не личность. Тем не менее, *если за государством и не следует признавать самой что ни на есть малой толики духовной власти, то было бы иной опасностью отрицать за ним исполнение службы духовного порядка.* Деятельность государства не является сугубо материальной; в своей связи с человеком она является собственно духовной, сколь бы ограниченным ни был радиус ее действия. Некоторые формулировки, превращающие государство в своего рода рабского исполнителя задач, "низменных дел", каково бы ни было их намерение, грешат путаницей из-за своей терминологии. Персоналистское государство — это не церковь или подобие церкви, оно также не является простым техническим аппаратом, с философской точки зрения нейтральным и индифферентным, каким, по меньшей мере в теории, является либеральное государство. *Персоналистское государство не нейтрально — ведь оно является персоналистским.*

Значит ли это, что оно наделяется правом навязывать посредством принуждения "персонализм", подобно тому как другие государства навязывают фашизм или коммунизм? Это было бы противоречием в определении. Классическая традиция предпочитала говорить, что власть государства является по своей природе не деспотичной, как власть человека над вещами, а имеет политическую природу: это гибкая власть, такая, которую приобретают личности, подчиняющиеся не инстинктивному движению, а свободному согласию. Поскольку государство в строгом смысле слова не является ни личностью, ни сообществом личностей, было бы абсурдным мыслить его так, как если бы оно могло нести в себе истину и излучать ее, что свойственно только личностям и духовным сообществам. Не оно выбирает за личностей призвания и пути, по которым они должны идти; оно не должно требовать действий, которые культивировали бы социальное лицемерие и духовное рабство. Духовным силам нечего терять от такой концепции государства: то, что они сегодня выпросили бы у него в свою поддержку, оно у них заберет завтра при любой смене ветра, чтобы справиться с ними, лицемерно прося извинения за вчерашние неприятности. Мы не либералы. Мы все верим в истину, человеческую или сверхчеловеческую, и считаем, что она не может оставаться "частным делом", что она должна присутствовать как в институтах, так и в индивидах. Она одна должна пронизывать их, оказывая непосредственное влияние: роль государства ограничивается тем, что оно, с одной стороны, гарантирует фундаментальный статус личности и не чинит препятствий для свободного соперничества духовных сообществ — с другой.

Из-за этого роль государства в гарантировании указанного фундаментального, то есть личностного, статуса не уменьшается. Подобная служба оправдывает применение принуждения в определенных обстоятельствах. Государство имеет право на принуждение по отношению к индивидам или социальным группам каждый раз только в случае:

1) когда индивид или группа будут угрожать материальной независимости или духовной свободе даже одной-единственной личности; та-

ким образом, государство имеет право бороться против тирании трестов, банков или вооруженных групп вплоть до полного устранения опасности;

2) когда индивид или группа под влиянием своей естественной склонности к анархии откажутся подчиняться социальной дисциплине, которая будет признана необходимой организованными гильдиями нации, для того чтобы обеспечить материальную независимость или духовную свободу личностей, образующих национальное сообщество: например, считая, что материальная независимость личностей нарушена определенным способом ведения экономики, государство имеет право учредить социальную службу, которой поручается обеспечить всем жизненно необходимый минимум и принудить каждого участвовать в его создании.

Если будет иметь место конфликт между государством и индивидом или заинтересованными гильдиями, Верховный гарантийный суд рассудит его. Главное, чтобы государство уходило в тень после каждой инициативы и перепоручало созданным гильдиям нации исполнение инициатив, которые оно предприняло для защиты общего дела.

Теперь можно подчеркнуть, в чем мы являемся антиэтатистами: *мы значительно сужаем пространство и властную силу государства, но в том, что принадлежит его компетенции, его юрисдикции, соответствующей возросшей власти в выполнении миссии, которую мы ему поручаем, оно, напротив, считаем мы, должно располагать всеми законными средствами, в том числе и принуждением.* Эта новая сила, придаваемая законному государству, избавляет от необходимости делать уступку опасной идее диктатур "в виде исключения" ("диктатуры переходного периода"), в особые периоды беспорядка. Не ограниченная условиями, диктатура никогда не является переходной, ибо власть, если она не ограничена, имеет естественную тенденцию к безграничному злоупотреблению своим фактическим положением. Персоналистское государство становится диктаторским там, где под угрозу ставится личность, и только там оно является диктаторским в соответствии с правом и под его контролем. Эта строгость с самого начала предотвращает формирование всеобщего беспорядка, чтобы в определенный момент не потребовалось хирургическое вмешательство. Она является принуждением только в ответ на принуждение, давлением против угнетения.

Во всех сферах свободной социальной и духовной деятельности государство двойным образом сотрудничает с сообществами. Оно побуждает, поощряет инициативы, предлагает свое сотрудничество, координирует, выступает арбитром в возникающих конфликтах. Кроме того, безжалостно пресекая всякое посягательство на статус личности, оно в то же время *наделяет собственным автономным юридическим статусом все духовные семьи, которые уважают этот фундаментальный статус*¹. Его право — это разнообразное жизненное право, прочно опирающееся на обычай, в противоположность рационалистскому праву этатических режимов.

¹ По поводу собственно христианской точки зрения на плюралистскую концепцию государства см.: *Maritain J. Humanisme intégral*. P. 176. Эта работа положила начало подобному рассмотрению "плюрализма".

Хотя государство не тождественно нации, его роль как хранителя нации от этого не уменьшается; хотя не оно создает ее гибкое единство, его роль защитника внутреннего мира нации от этого не уменьшается. Государство плюралистской ориентации имеет своей функцией — при обеспечении разнообразия и автономии духовных семей, сгруппированных под его воздействием, — заботу о мире и дружеском единстве этих разнообразных сообществ. Государство, воздерживаясь от превращения нации в замкнутое общество, само должно пролагать пути к универсализации, препятствуя образуемым его сообществами замкнуться в себе и раздробить сообщество в ущерб ему самому. Разновидности этого равновесия, пролегающего между плюрализмом статусов и единством сообщества, не всегда будет легко определить. Но здесь, кажется, существует одна удачная направляющая форма, которая уточняется в зависимости от обстоятельств: автономные статусы, совместный аппарат. Чувство личности во всяком случае создает наиболее благоприятный климат для такого поиска: речь идет о внутренней связи между контролируемым обществом и контрольным органом.

За персоналистскую демократию

Высказанные положения коренным образом предохраняют нас от любой формы фашизма. Но по той же самой причине они не сближают нас с защитниками либеральной парламентской демократии. Здесь необходимо внести ясность в спор между поколениями, который все более и более запутывается.

Во-первых, мы различаем *демократию* и *республиканский строй*. *Ныне важны не формальные характеристики режимов, а социально-политические структуры*. Монархия сохраняется в Англии при самой персоналистской из конституций, республика в Германии скрывает за собой авантюристическое государство. "Важно не то, что Россия стала республикой, а Италия осталась монархией, важно то, что Россия стала коммунистической, а Италия — фашистской"¹. Персоналистский строй также может прекрасно жить как при бельгийской монархии, так и при новой республике. Таким образом, для нас проблема формального строя ныне сводится к проблеме своевременности. Движение, принимающее ее за основную мотивацию, подлежит осуждению в двояком плане: если оно пришло в отчаяние и если оно отвращает внимание от беспорядка в структурах, которые не являются сущностно связанными с режимом. В прошлом веке, в частности во Франции, утвердилась романтическая концепция правления, согласно которой требуется прежде всего определить его подлинное значение.

Во-вторых, мы будем коренным образом отделять *персоналистскую демократию* от *либерально-парламентской демократии*.

Либеральная демократия основывается на постулате о народном суверенитете, который сам базируется на мифе о народной воле. Не для того ли, чтобы противопоставить мистическую силу, равную силе аб-

¹ Aldo Dami / Esprit, juin 1934. P. 377.

солютной власти королей, предоставленной им в соответствии с божественным правом, первые теоретики демократии создавали образ власти, доставшийся по божественному праву народам, власти абсолютной и непререкаемой, как и власть королей? Нет надобности вновь заниматься критикой этого мифа, хотя он и сегодня остается живучим. Что такое "народ"? А совокупность народа? Ведь народ может выразить себя только в непосредственных демократиях, ставших невозможными с образованием крупных наций. Но, может быть, часть народа и часть его воли активно вторгаются во власть? Но тогда что они представляют?

Может быть, народ — это граждане в силу закона, который претендует на выражение их решения? Вот первая, количественная, потеря права на суверенитет: подсчитано, что при исключении неголосовавших, электорального меньшинства, закон может быть принят голосованием во французском парламенте "большинством", представляющим один миллион французов из сорока. Оно было бы хотя и меньшинством, но по крайней мере здоровым, если бы подлинным образом передавало точно определенную волю. Однако хорошо известно, каким образом выражается и осуществляется сегодня народная воля. Она начинает формироваться в условиях некоего гипноза, а иногда и коллективного безумия, которые ей навязываются управляемой прессой. Кроме того, к ней обращаются по столь общим программным вопросам, хорошо отшлифованным и приукрашенным за годы употребления, что она все менее и менее влияет на сам избирательный акт. А в конечном итоге народная воля совсем теряется в тупиках, подготовленных ей электоральной индустрией. После этого она оказывается в закрытом помещении, один на один со всеми своими обычаями и приемами, то есть посаженной в тюрьму на определенное количество лет, и ее место занимает парламентская воля.

Предположим, что удастся убрать преграды, которые мешают выражению этой общественной воли (предположение зряшное, поскольку обезличенная в своих основаниях система немедленно воссоздала бы их своим собственным функционированием). Какая подлинная жизненная связь может существовать между выражением посредством единого, национального и всеобщего голосования "всеобщей воли", этой абстрактной среднеарифметической величиной, выражающей общие и местные интересы разнородных обществ, противостоящих друг другу верований, обоснованных учений и поспешных суждений о малоизвестных фактах, и самими этими интересами, обществами, верованиями, суждениями? Какую роль в таком случае отвести ответственному вовлечению? Вот бедный человек, который должен иметь свое мнение относительно всего: крестьянин — знать дипломатию, интеллигент — понимать крестьянина; вот временно исполняющий обязанности представитель, делающий ставку на искусственно образованный округ в другом конце страны и изучающий его в течение двух месяцев, как какой-либо предмет перед экзаменом. Кто же должен затем представлять и интересы региона, и доктрину партии, и всеобщий интерес нации?

Каким образом реальность могла бы пробить себе дорогу там, где он властвует? "Представители народа": вот этот интеллигент, пришедший к виноградарям, вот этот адвокат, заблудившийся в основной роще. Какую конкретную роль они смогут сыграть в данном случае?

Это недоразумение использует парламентаризм, живущий своей жизнью, обладающий своими группировками, которые лишены связи со страной, со взаимозаменяемыми ответственными людьми, отдаленными от провинции, со своими все и вся искажающими кулуарными мнениями. Это режим, о котором можно сказать, что он является не демократией, а аристократией богатых и амбициозных людей, попирающих электоральную волю и завладевших исполнительной властью благодаря комбинациям министерств и отсутствию единства в ее звеньях, властью, подверженной нестабильности, слабой, некомпетентной и склонной ко всяческому перетряскам. Мир денег, конечно, создал бы экономику фашизма, если бы не боялся своего скорого падения: у него больше нет другого свободного поля для маневра, кроме либерального беспорядка. Вся эта критика, используемая сегодня монархистскими движениями и фашистскими объединениями, является безусловным завоеванием персонализма, и только во имя личности она должна была бы вестись, чтобы не подвергнуться искажению, коль скоро ее питают самые разнообразные истоки. По меньшей мере, эти последние не должны скрывать от нас ее ценность. И если демократия упорствует в "защите республиканских свобод", не замечая, что сначала нужно создать подлинные республиканские свободы, а не такие, которые уже при рождении были несостоятельными из-за подрывных действий индивидуалистической абстракции и абстракции капиталистической, то пусть не удивляются, когда одним прекрасным утром они проснутся и увидят, что их свободы рассыпались в прах: они сами взрастили побег, обреченный на гибель.

Мажоритарная демократия

Впрочем, первородное искажение демократии надо искать где-то раньше, нежели в нынешних формах парламентской демократии. Из-за того, что она не опиралась на целостную идею личности, демократия с самого начала колебалась между двумя мифами: мифом автономии сознаний и волений, который, хотя и мыслился на либерально-индивидуалистический манер, тем не менее содержал в себе персоналистскую тенденцию, и мажоритарной мифологией, которая несла в себе если не зародыш тоталитарного фашизма, то своего рода относительный фашизм того же характера. Благодаря развитию этатизма второй постепенно одержал верх над первым. Демократия уже не рассматривает индивида как цель в себе. *Отождествляя демократию с мажоритарным правлением, ее путают с верховенством численности, то есть силы.* Вероятно, только в Англии, поскольку там нейтрализован этот возврат демократии к диктаторству, правление большинства мыслится как бескорыстное служение всей нации. В наших централизованных демократи-

ях большинство стремится (и вскоре добивается этого) к абсолютному господству над меньшинством. Большинство не признает никакого права над собой: эта исключительность применяется к наследственным правам, но она затрагивает также право меньшинств и отдельной личности. Это уже действительно заметили¹, так что канонизированное большинство оказывается суверенным только в государстве: им пренебрегают или над ним глумятся, когда оно находит свое выражение внутри отдельных обществ, например на предприятии, в церкви, следовательно, оно не составляет "народ государства, обладающий божественным правом", который имел бы абсолютную и безапелляционную власть над жизнью нации. Апатия демократических слоев нередко ограничивает чрезмерные притязания демократии, но между ней и деспотизмом, который она долгое время ненавидела, нет непреодолимого барьера, дверь остается открытой, позволяя первому же авантюристу пройти через нее. Когда Муссолини приветствует фашизм как "абсолютную форму демократии", когда Геринг заявляет: "Сначала был народ, и именно он наделил себя правом и стал государством", они выдают подлинную перспективу "массовой" демократии за перспективу фашизма.

Структура партий, которые считают себя естественным аппаратом этой демократии, только подчеркивает такую ориентацию. Они тоже являются строго централизованными, основываются на подавлении меньшинства большинством. Поскольку они предназначаются для того, чтобы быть инструментом свободного политического воспитания, они организуются на основе методов систематической массовой безответственности, где каждый ставит себе в заслугу успехи всех и сваливает вину за неуспехи на неизвестного ему собрата; вместо того чтобы обращаться к целостному человеку, они твердят об активности, понимаемой как повторение одних и тех же пустых формулировок, которые следует принимать на веру как иллюзорное суетливое движение, нередко не ставящее никакой конечной цели; лозунг заменяет в них истину, победа партии — социальное служение. Поскольку они предназначаются для тайного контроля над избранниками, они постепенно противопоставляют себя государству и обращают все свои силы на то, чтобы присвоить себе его функции, и бывают несказанно счастливы, если оно само без борьбы отдается им. В последующем они будут готовы изменить себя, чтобы войти в одну государственную партию, которая явится их естественным наследником, подобно тому как фашизм является наследником определенной мажоритарной "псевдодемократии". Именно таким образом партии, вместо того чтобы формировать людей, деформируют их, вместо того чтобы с помощью коллектива содействовать зрелости в какой-то мере беспомощных и анархически действующих индивидов, они совращают их мифологией очевидного и непосредственного успеха. Ныне они играют главную роль в искажении смысла деятельности.

¹ *Le Fure*. La Démocratie et la crise de l'Etat / Archives de philosophie de driot. 1934, N 3—4.

Для нас приемлемо только одно определение демократии: в политическом плане демократия является *требованием бесконечной персонализации человечества*. Демократы чаще всего правильно понимали существо демократии, но, истолковывая ее, запутались до такой степени, что стали защищать ее с помощью аргументов, ставших фатальными. Демократия — это несчастье народа: счастье в материальном и даже субъективном плане может обеспечить изнуренному и лишенному свободы народу и фашизм. Демократия — это не верховенство большинства, что представляет собой определенную форму угнетения. Демократия — это всего лишь поиск; ее предназначение состоит в том, чтобы обеспечить всем личностям, живущим в сообществе, право на свободное развитие и максимум ответственности.

Здесь вырисовывается и второе извращение в истолковании демократии. На том основании, что личности, как таковые, в духовном отношении равны, индивидуализм иногда делал вывод о своего рода математическом тождестве индивидов в материальном плане, что исключало какую бы то ни было авторитетную власть как в социально-политической организации, так и в духовной жизни каждого человека.

Было бы ошибкой связывать с демократической идеей подобный эгалитаризм, который имеет к ней лишь косвенное отношение. Персонализм различает *авторитет* и *власть*¹. Власть является не только авторитетной властью над индивидами, но и господством, которое самим своим осуществлением рискует угрожать личности и подчиненных, и начальника; по природе своей она тяготеет к злоупотреблению, по той же природе она тяготеет к перерождению во всевластие, к наделению себя всевозрастающими почестями, богатством, безответственностью, к превращению в застывшую касту. А вот авторитет, взятый в политическом смысле, — это призвание, которое личность получает от Бога (для христианина) или же от персоналистской миссии, которая выходит за рамки ее социальной функции (для нехристианина); ее долг — служить личностям, и он стоит выше властных прерогатив, которые позитивное право может предоставить ему для осуществления собственных функций; его задача, по существу, заключается в том, чтобы пробуждать другие личности. *Персонализм восстанавливает значение авторитета, организует власть, но и ограничивает ее в той мере, в какой не доверяет ей.*

Персонализм стремится (и располагает для этого необходимыми средствами) к постоянному выявлению во всех социальных слоях духовной элиты, способной обладать авторитетом, и в то же время она является системой гарантий против претензии властвующих элит (в зависимости от эпохи, строя и местонахождения элит, каковыми они становятся либо от рождения, либо в силу материального положения, функционирования и склада ума) на присвоение себе права господства над личностями в силу власти, которую они получают.

¹ Lacroix J. La souveraineté du droit / Esprit, mars 1935; Ordre nouveau, N 31, juin 1936.

Прудонистская концепция в этом отношении противопоставляет "демократии масс" "анархистскую" демократию. Сколь бы двусмысленной ни казалась эта формулировка, когда она уточняется в том смысле, что речь идет о "позитивной анархии", для многих демократов она выступает живым приближением к той самой "борьбе против властей", к тому самому "суверенитету права над властью" (Гурвич), на которые нацелена персоналистская демократия. Точнее говоря, мы утверждаем, что для этой последней не право порождается властью, а власть, этот элемент, чуждый праву, должна слиться с правом, чтобы иметь возможность изменяться в соответствии с правом. В таком случае демократия перестает означать духовное недоверие авторитету, то есть систематическое сопротивление нормально осуществляемой власти. Ее недоверие относится только к той фатальной черте власти, по поводу которой Ален мог сказать: власть делает человека безумным. Ее контроль нацелен только на то, чтобы предупредить последствия этого постоянно возникающего безумия, даже если оно — безумие "демократического большинства".

Сбалансированность властей

Следовательно, мы уже не можем согласиться ни с оптимизмом демократическим, ни со связанным с ним оптимизмом индивидуалистическим. Наша концепция демократии ни в коей мере не является субъективистской в обычном смысле слова. "Воля народа" не является ни божественной, ни фатально неизбежной, если судить по реальному интересу народа. Если мы согласимся с тем, что она такова, то надо приветствовать фашизм, когда большинство народа аплодирует диктатору, и отдать им на откуп тех людей, которые, по имевшей успех формулировке, "в этом не нуждаются". Нам нет больше необходимости придерживаться этой идеи, если мы считаем основанием демократии *реальность* личности. Учет личного мнения играет также основополагающую роль, но главное состоит в том, что это мнение должно быть волеизъявлением личности, а не страстями, направляемыми и эксплуатируемыми властью, с тем чтобы общая сумма этих волеизъявлений внутри больших наций и их заблуждения в выборе путей движения, связывающих их с государством, не способствовали установлению диктатуры государства.

Персоналистская демократия — это общественный строй, предназначенный для небольших наций. Крупные нации могут осуществить ее только *при условии разделения властей, когда одни власти сдерживают другие власти*.

Плюралистское общество будет складываться на вершине пирамиды автономных властей: экономической власти, судебной власти, власти воспитания и т. д. В этой пирамиде должна осуществляться власть федералистской ориентации. А то, что мы говорили о двойной ориентации личности на ближайшие власти и на универсальность, должно в данном случае предохранить нас от появления закостенелых систем.

Если чрезмерно расширять местную власть, то это поощрит раздробленность, от которой крупные нации почти не защищены, и вновь приведет зрелые социальные сообщества в инфантильное социальное состояние. Персонализм должен воздерживаться от поспешных выводов в пользу какой-либо донныне неизвестной концепции общества, которая была бы только внешним выражением его требований. Тем не менее сохраняет все свое значение идея о том, что местные и региональные власти, близко стоящие к своим объектам и доступные контролю, должны получить широкое развитие посредством рассредоточения государственной власти. В этом личность найдет новые возможности и новую защиту.

Некоторый этатизм, кажется, является необходимой фазой для сохранения наций. И если фашизм с такой легкостью утвердился в Италии и Германии, то только потому, что он укрепил их единство. Таким странам, как Франция, которые уже век назад прошли эту неизбежную фазу и устранили анархию спонтанных властей, больше нечего ждать от усиления централизации: как раз сейчас, когда они избавили локальные структуры от феодальных подструктур, они могут, не отбрасывая отдельные достижения на пути к универсальности, отдать часть власти конкретным элементам нации.

Новое государство

Новое государство, создание которого мы предусматриваем, будет, таким образом, разгружено перенесением организационных задач, непосредственно не принадлежащих государству (экономических, воспитательных, судебных и т. д.), на крупные национальные сообщества. Для всех них, для отношений между местными и региональными властями государство осуществляет только координирующую связь и высший арбитраж, являясь гарантом нации во внешнем отношении, а во внутреннем — гарантом личностей против давления властей и их злоупотреблений.

Каждое национальное сообщество управляется посредством системы децентрализованной персоналистской демократии. Государство, ликвидировавшее господство над личностью, не становится властителем мира вещей; оно не будет ни тоталитарным, ни сугубо технократическим. Поскольку его главная обязанность — гарантировать личности ее существование и помогать ей, политика в нем будет иметь верховенство над техникой. Следовательно, в нем должно остаться место для политического представительства мнений через всеобщее голосование: оно будет направлять значительные аспекты государственной политики.

Поскольку оно не будет привязано к местным интересам и крупным национальным интересам, это представительство вновь станет собственнотолько политическим. Вся проблема политической демократии тогда сведется к обеспечению ее верности целям, гарантируя независимость информации посредством реорганизации прессы, пресс-агентств¹, радио

¹ Présentation de l'Agence Havas / Esprit, avril et août-septembre 1933.

и, в частности, избирательной системы через интегральное пропорциональное представительство. В любой момент между двумя периодами выборов референдум, проводимый по народной инициативе (который коренным образом отличается от плебисцита, проводимого по государственной инициативе), должен иметь возможность положить конец тому положению, когда "парламентская воля" пытается присвоить себе свободы, ссылаясь на "избирательную волю".

Ограниченная в своих технических полномочиях властями, создаваемыми наряду с ней, парламентская власть должна быть ограничена и внутри самого государства со стороны исполнительной власти, которую ныне она стремится поглотить. Исполнительная власть должна остаться под контролем со стороны прямой демократии, но избавиться от интриг и колебаний парламента: можно рассмотреть, например¹, возможность избрания правительства парламентом (каждого поста поочередно, чтобы не допускать произвольных перераспределений и некомпетентности) на фиксированный срок. Не отвечая перед палатами, оно было бы ответственным перед страной, которая могла бы через референдум выносить суждения по важнейшим политическим решениям и в конечном итоге пресекала бы его конфликты с парламентом.

6. Международное и межрасовое сообщество

Национализм против нации

На уровне обществ очень большого радиуса действия мы находим те же проблемы, что и на уровне личности. Здесь мы можем только вкратце обозначить их.

Индивидуализм привел к тому, что как нации, так и отдельные индивиды ограничились выдвиганием претенциозных требований, связанных с частными интересами и притязаниями, не желая признавать никого другого и проявляя алчность и раздражительность, которые, собственно, и образуют националистический феномен. Еще вчера национализм, как правило, относили к правым концепциям. При этом забывали, что он, как таковой, сложился вместе с французской революцией и благодаря ей: московское якобинство весьма кстати напоминает нам об этом. Национализм новейшего времени не зависит от партий. Он порождается цивилизацией, являющейся одновременно анархической по своим принципам и централистской по своим экономическим структурам. Анархия сыграла здесь свою роль, углубляя границы между различными нациями сначала посредством культурного национализма, а затем национализма экономического. Централизация придала национальному ожесточению тот абстрактно-массовый характер, который совершенно четко отделяет его от непосредственного патриотизма личностей; это ожесточение особенно закалилось, когда прибрало к рукам

¹ Aldo Dami / Esprit, juin 1934. Не желая связывать эти направления по основополагающим позициям с какой-либо системой, мы приводим данные указания только в качестве примера.

государство посредством всеобщей воинской повинности и подчинило все источники энергии народа, а затем и все мысли уже при пресловутом "состоянии мира" военно-экономическому империализму, этому последнему этапу развития господства государства над нацией и капитала над государством.

Патриотизм поднимает личность до уровня нации, национализм направляет государство против личности, а в историческом плане — большие нации против маленьких. *Национализм использует патриотизм подобно тому, как капитализм использует естественное чувство личной собственности*, чтобы снабдить коллективные интересы и эгоистические устремления сентиментальной подпиткой и в то же время моральным оправданием.

Кто мог бы отрицать родину иначе, как только словесным образом? Она, как и частная жизнь, принадлежит личности, идущей по пути ко все более широкому сообществу, и поэтому заслуживает бережного отношения к себе, которое подходит для всего, что является личным и недолговечным. Но это непосредственное чувство не кричит о себе, не претендует на исключительность и в то же время не замыкается в себе. Оно защищено от всего этого, по меньшей мере, в том случае, когда в глубине личной жизни ей принадлежит подобающее ему место, когда оно оказывается сродни всем тем чувствам, которые характеризуют человека гораздо существеннее, чем чувство его национальной принадлежности. Совсем не оно, а государство-нация превращает родину в божественную и священную, требует для нее особого почитания, благоговения, жертвенности и распространяет это идолопоклонничество даже на христианский мир. Именно государства-нации ставят родину выше истины, справедливости и неотъемлемых прав личности: "национальный интерес", который они ей навязывают, — это всего лишь государственный интерес, государственный разум, государственная истина, а в конечном итоге под маской патриотизма он сводится к интересам, явно или тайно принадлежащим государству, к его основаниям, к его истине. Именно государство-нация заставляет меня любить *безотчетно*, любить *вопреки* всему, бороться за пределами границ с теми силами, которые оно поддерживает изнутри, возмущаться "вражеским" фашизмом, расхваливая "союзнический" фашизм, вступать по военным соображениям в союзы, которые оно поносит по нравственным соображениям. Вслед за направляемой культурой, вслед за направляемой экономикой мы получаем еще и направляемое чувство, массовые любовь и ненависть по отношению к народам, сфабрикованные с помощью все той же интенсивной рационализации, что и централизованное производство. Как-то спросили у директора крупного информационного агентства, верно ли, что он похвалялся в корне изменить общественное мнение страны за три месяца? Нет, ответил он, за три недели! Одни лишают людей их сбережений, другие торгуют общественным мнением, процедура — та же самая. Современный человек уже больше *не обладает* родиной, как он не обладает и принадлежащими ей богатствами; он полон энтузиазма, борется, умирает во лжи, ставшей движущей пружиной современных войн.

Пусть не считают, что мы хотим уравнивать противоположности. Мы видели, как победоносное шествие идеала первоначального либерализма привело к созданию идеалистического общества здравомыслящих людей, целью которого было создание буржуазного комфорта. А теперь мы видим также, как на основе обезличенного мира вырастает пацифизм, только здесь пользуются другими приемами. Вместо того чтобы рационализм государства ограничить рамками нации и сосредоточить его здесь, он выводит его за пределы нации. Он лишил индивида драматизма, плодотворной напряженности между чувственными привязанностями и духовными устремлениями, чтобы оставить только некоего субъекта — обладателя безличных прав. Нация, со своей стороны, тоже является чем-то вроде драматической личности, живым конфликтом между чувством родины, стремящимся стать самодостаточным, и индивидуализмом, питаемым определенной культурой. Однако юридикализм в этих базовых реальностях усматривает только иррациональные пережитки, а универсальность предстает как своего рода унифицированная система договорных контрактов между недифференцированными сторонами. С этой точки зрения интернационал — это космополитизм суверенных государств-индивидов, не способных ни на какую иную коллективную жизнь, кроме юридических отношений. Более того, речь идет о том, чтобы эти отношения стали раз и навсегда кодифицированными: незыблемость права гарантирует мир от подвижек истории, а автоматически действующие механизмы избавляют, наконец, человека от тревоги.

Не позволим этим самодовольным, пугливым и успокоившимся людям с их пацифизмом, являющимся крайним выражением буржуазного идеала комфортности и безопасности, присваивать себе мир и право. Мы считаем их общество поставщиком торговли и промышленности ради "безопасности", столь здорово устроенной и рационализованной, что в ней не остается больше ни малейшего места ни героизму, ни риску, ни величию. Совершенное общество мертвых душ и профессоров права, медикаментозно защищенное от любого драматизма, где, как говорят в кино, нет места беспокойству. А то, что за его улыбчивостью стоят люди, борющиеся друг с другом, и общество, пропитанное несправедливостью, для буржуазного пацифизма мало что значит. А если заботу об этом проявляет какой-то другой пацифизм, то это происходит в соответствии с иллюзией, будто можно, опять-таки высшим образом по отношению к отдельным личностям и коллективам личностей, обеспечить под эгидой научного мира научную же справедливость в отношениях между рационализированными индивидами.

Юридический космополитический пацифизм — это международная доктрина буржуазного идеализма, подобно тому как национализм — это доктрина агрессивного индивидуализма. И тот и другой — это два взаимодополняющих продукта либерального беспорядка, вырастающие в ходе разложения его различных фаз. Это два способа унижения и угнетения личности.

Для персонализма не существует "внешней" политики: ни национальной политики, которая вела бы свою собственную игру, используя к своей выгоде личности и сообщества, образующие нацию; ни международной политики, которая навязывается уже готовым государствам как обезличенная регламентация, намеренно игнорирующая их интересы. *Мир, как и любой порядок, может исходить только из духовной личности, которая одна привносит в общество элементы универсальности.*

Но это при условии, что мир не есть просто отсутствие очевидной и признанной войны, что "состояние мира" — это не просто промежуток между двумя войнами.

Мир и порядок основываются в первую очередь на внутреннем порядке личности. Состояние войны действует там, где за видимостью внешнего порядка злобность, инстинкт силы, агрессивность или зависть остаются главной пружиной индивидуальных действий и человеческого авантюризма. Оно оказывается еще более опасным, когда прикрывается таким мифом, который говорит о заурядном умиротворении инстинктов и драматизма человека. Подавление инстинкта вместо облагораживания его в сражениях, в которых человеку нечего терять, умиротворение беспокойства вместо вовлечения в действие на свой страх и риск неизбежно готовят молодежь к проявлению псевдогероизма, в котором они будут искать выход своему отвращению. Не гримасы войны, как полагают домоседы, делают ее особенно одиозной, не то, что в ней убивают и ведут к физическим страданиям, а прежде всего то, что, как говорил Пеги, пользуясь христианским языком, даже в условиях мира она убивает души, строит все человеческие отношения на двуличии и обмане. Сила, способная победить ее, это не "мир", мыслимый как вместилище всех посредственностей человека, это мир, скроенный по меркам героизма, удовлетворить который коварная, механическая, бесчеловечная война не может, как бы ей этого ни хотелось. Мир, который возрождает духовное величие и мужские добродетели, приписываемые войне. *Мир — это не состояние слабости:* он является состоянием, которое требует от индивидов максимума самоотверженности, усилий, отдачи и риска. Ожесточение индивидов — это первый из актов войны; дисциплина и умение двигаться в сторону понимания ближнего (милосердие, говорят христиане), в котором личность выходит за собственные пределы и идет навстречу другому, — это первый акт мира.

Мы уже достаточно сказали о том, что в любой области личностная реформа, эта необходимая опора духовной революции, не может заменить коллективного давления на коллективные механизмы и внешние закономерности. Следовательно, и "внешний" мир не может основываться на социально-экономическом строе, базирующемся на несправедливости. Точно так же, как и "сотрудничество классов", "сообщество наций" не может строиться с помощью испорченных механизмов. *Проблема мира — это по преимуществу не дипломатическая проблема, она в первую очередь является проблемой нравственной и проблемой социаль-*

но-экономической. В этом смысле мы и говорим, что мир — это целостное понятие.

Пацифистская концепция не укореняется в истории как раз потому, что она растрчивает себя на создание образов *состояния* мира, вместо того чтобы осуществлять *акты* мира, которые нужны реальному миру здесь и сейчас: прежде всего — это избавление личностей и сообществ от совместного гнета денег и государства.

В призывах к расплывчатой сентиментальности или утопическим мечтаниям, заменяющим борьбу с силами войны, мы узнаем тот самый способ, посредством которого морализаторский идеализм гасит порыв людей и заменяет действие бесплодными грезами и бездейственной "духовностью". Национализм прекрасно использует это, относя к идеологии любое требование о включении духовных ценностей в поведение коллективов, к сентиментальности — всякое напоминание о человеческих требованиях более фундаментального характера, чем хитрости инстинкта. Наш пацифизм начнет с того, что пойдет навстречу реальности.

Международное сообщество

Реальность международного сообщества вне рамок государства-нации, реальность, последовательно развивающаяся вне буржуазного юридика, — таковы два основания, которые персоналистский интернационализм противопоставляет националистическому индивидуализму и пацифистскому рационализму. Речь не идет о том, чтобы уравнивать "законный национализм" и "законный интернационализм". У нас более серьезные задачи. Близится рукопашная схватка, которая бросит друг против друга империалистические государства-нации; они уже со всех сторон взрывают в предоставленной самой себе Европе подгнившие остатки "псевдодемократии" и "псевдосообщества" наций. "Реформа" системы национальной обороны, так же как и "реформа" государства, не избавляет нас от давящих на нас исторических тягот. Борьба за мир должна поразить беспорядок в самом сердце. Она имеет своей целью:

1) *Крушение государства-нации* в любой его форме: фашистской, коммунистической или так называемой демократической. Изнутри мы ведем на него наступление в его политико-экономических предприятиях, извне — в его крепости суверенитета, которая пока остается незатронутой из-за парадоксального противоречия даже в определении системы национальной обороны. Если не подрывать их с обеих сторон, блоки наций непрерывно будут воссоздаваться на основе того же утратившего гибкость материала, который внутри наций создает политические блоки.

2) *Отделение мира и его институтов от беспорядка, царящего в современной цивилизации*: от капиталистического беспорядка, от военных пактов¹, от тайных альянсов. Пока этого не произойдет, коллективная

¹ Персоналистские объединения первыми потребовали ликвидации военных договоров и их отделения от пакта. См., в частности: *Aldo Dami. Mort des traités / Esprit, juillet 1935; Adresse des vivants à quelques survivants / Esprit, avril 1936.*

безопасность, взаимопомощь будут оставаться лишь красивыми словами в устах самодовольных консерваторов.

3) *Всеобщее контролируемое разоружение, сопровождаемое постепенной отменой воинской повинности.*

4) В обществе, в котором таким образом ложь вооруженного мира будет изгнана со всех своих постов, *позитивное утверждение правового сообщества наций, обладающего гибким организмом, способным к адаптации и изменениям.* При силовом строе, основывающемся на несправедливости, "право" теряет свою авторитетную власть, потому что оно оказывается лишь декларативным правом, порожденным силой и поддерживаемым ею. Только при справедливом порядке, наделенном необходимыми органами для постоянного приведения международного положения в соответствие с живой справедливостью и историческим развитием, незыблемость данного слова будет обладать авторитетной властью надо всеми, кто ему противится.

В этой новой перспективе субъектами сообщества в международном сообществе будут не суверенные государства, а живые сообщества народов, непосредственно представленные вне и наряду с государствами. Международное право, которое уже сейчас имеет тенденцией признание своими субъектами личностей, а не государства¹, становится формой защиты личности от произвола государств посредством определения *международного статуса личности*, обладающего плюралистическим характером.

Межрасовое сообщество

Духовное равенство личностей, их естественное право на самореализацию в сообществах в соответствии с их собственным выбором выходят за пределы не только наций, но и рас. Персонализм ведет наступление на империализм государства-нации, а также и на колониальный империализм.

Колонизация² в некоторых своих формах как будто бы всегда имеет оправдание. Распространение богатств на поверхности планеты неравномерно: если собственность — это полномочие, предусматривающее всеобщее благо, то международное сообщество может пригласить, даже принудить какой-то народ рационально эксплуатировать свои богатства. "Слаборазвитые" народы, кроме того, раздираются войнами, в них царят варварство и болезни. Духовно и материально они менее, чем другие, продвинулись по пути цивилизации. Братская миссия взаимопомощи и попечительства может быть возложена на более счастливые народы. Вся эта аргументация является привлекательной, восходит к подлинно общностному вдохновению и определяет служение, которое бесспорно могло бы быть служением личности.

К несчастью, под предлогом разумной эксплуатации планеты именно империализм стремится к дешевому труду, богатым источникам

¹ *Dupeyron H. Les transformations de l'idée de souveraineté / Esprit, novembre 1935.*

² *Esprit, mars 1933; décembre 1935.*

сырья и новым рынкам сбыта ради увеличения своей прибыли, попирая при этом права аборигенов. Избавляя их от некоторых реальных бед, он широко распространяет среди них алкоголь, наркотики, сифилис, увеличивает смертность населения, насаждая каторжный труд, собирая налоги и вводя военную службу. В конце концов, что значит "более высокая" или "более низкая" цивилизация? Во сколько раз цивилизация колонизируемого народа древнее и духовнее цивилизации колонизатора? Каковы возможности реальных связей и взаимовлияний между двумя разнородными цивилизациями? Вот сколько проблем, которые еще предстоит решать. Когда под различными предложениями пытались оправдать некоторые интервенции, то тем самым не могли оправдать акты лишения суверенитета, алчные грабежи, кровопролития и угнетения, которые несли с собой нации-колонизаторы. И если несмотря на все, колонизованным нациям удавалось иногда спасти два существенных блага: чувство своей личности и чувство национального единства, — то такое завоевание может лишь подчеркнуть сегодняшней долг стран-колонизаторов: очистить прошлое, развивая братское служение человека человеку; *лояльно готовить прекращение колонизации и умело продумать необходимые для этого этапы, чтобы решить данные задачи без потрясений.*

В будущем развитии следует иметь в виду два случая:

1) *Слаборазвитые колонии* (например, наша Восточная Африка). Уход нации-колонизатора сегодня привел бы к уменьшению гарантий для личностей и их достоинства в освободившихся странах. Для таких стран развитие может идти только медленно; первым делом самих колоний должно быть выдвижение местных элит, которые постепенно будут готовить жизнеспособную организацию в странах, где еще царит анархия.

2) *Зрелые колонии*. Одни из них настолько срослись с метрополиями, что элементарная, спонтанно учреждаемая федерация представляется нормальным путем к их освобождению (например, наша Северная Африка). Другие (например, Индокитай, Индия) имеют такую духовную и политическую зрелость и обладают такими возможностями, поддающимися учету, что необходимо активно готовить их к независимости. Могут быть использованы переходные формы (мандаты, доминионы), чтобы защитить освобожденные народы от внутренних феодалов и иностранных империалистов. Очевидно, что в этом развитии не должна быть потеряна ни одна жизнеспособная связь с метрополией; таких потерь будет тем меньше, чем более прозорливо и великодушно метрополия проявит себя в деле освобождения.

Колониальная проблема имеет и еще один аспект — на этот раз всемирного характера и скорее экономического, нежели политический. Крах колониального индивидуализма посредством перераспределения богатств планеты и, в частности, сырья должен положить конец экономическому национализму. Кроме того, всякий ущерб, нанесенный капитализму метрополии, будет иметь свои последствия в жизни колонии, так что все проблемы освобождения личности предстают взаимосвязанными.

IV. ПРИНЦИПЫ ПЕРСОНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Как действовать?

А теперь о том, как и что надо делать.

Недостаточно только понимать, надо еще и что-то *делать*. Наша цель, конечная цель, состоит не в развитии в нас и вокруг нас максимума сознательности, максимума искренности, а в том, чтобы брать на себя максимум *ответственности* и максимально преобразовывать *реальность* в свете истин, которые мы выдвигаем.

Нам отвечают: "Истина, ответственность, реальность — это так. Но время торопит, катастрофа может произойти уже в этом году, в этом месяце, на этой неделе. Требуется немедленные решения. Чего же вы ждете?"

Мы ждем, чтобы те, кто мог бы нам помочь, всерьез приняли свое желание *действовать*. Делать дело не значит суетиться. Это значит одновременно *делать себя* посредством своих актов и *формировать* реальность истории. И в том и в другом случае это означает *делать нечто трудное*.

Посмотрим теперь, что называют словом "делать".

Против иллюзии действия

Либерализм расчленил действие, разделив в личности дух и материю, интеллект и эффективность, идеал и реальность. Следствия: одни предпочитают комфорт в материальной жизни, другие — преимущественно ищут удовлетворения в жизни духовной; обе эти позиции стоят друг друга, тем более что вторые по общему правилу признаются в качестве элиты буржуазными фарисеями. Две другие категории безумцев считают, что действуют: это "реалисты", которые сводят действие к импровизированной тактике, и идеалисты, которые верят в автоматическую плодотворность чернилы из авторучки. Действие балансирует между бесполезной суетой и неэффективным размышлением. Для борьбы против необходимости, тень которой сопровождает историю, нам еще не из кого выбирать, если не иметь в виду тех, кто жестикулирует, и тех, кто предается морализированию.

Тем не менее вы видите их пылкими, подвижными, напряженными. Разве они не вступают в партии, в лиги, разве не ведут они революционного действия?

Давайте договоримся о слове "*вступать*".

Есть такие, кто "*вступаст*" по инстинктивной склонности. Первую роль у них играет темперамент: если он мягкий, то это — для национального примирения, если боевитый — то предпочитает крайности; обладатели драгоценного чувства изящности отдаются аристократической революции; неустойчивые держат нос по ветру. Затем идут семейные привычки и классовые рефлексy. Далее интерес. Инстинкт (или привычка, превратившаяся в инстинкт) проявляется в своего рода массовом виде выступления и возбуждения, в готовности к обороне. Только тот не

признает его, кто ему уступает. Он прикрывает его туманными идеями, великодушными чувствами, переписанной историей. Если он оказывается духовно открытым, то некоторые из этих "позиций" противоречат его предрассудкам. Но наступает момент решения, момент выбора позиции, и инстинкт снова берет руководство в свои руки: я думаю о тех интеллигентах, которые всегда считают невероятно сложными проблемы, при решении которых они не хотят взять на себя обязательства; но они, понунив голову, не спешат броситься и туда, куда их влечет инстинкт, их держит страх перед тем временем, когда все станет ясным. На них похожи и те, кто занимается ремеслом критиков и хладнокровных аналитиков; когда заговаривают рефлексy, мы видим, как ими овладевает психология приключенчества.

Вступление, которое оказывается только присоединением. Оно не представляет интереса для личности. Первым актом персоналистского действия после осознания индифферентности моей жизни является *осознание тех вступлений и отвержений, какие совершаются инстинктивно либо следуя определенному интересу.*

Другие вступают, будучи склонными к энтузиазму. Энтузиазм все может объяснить. Но уж очень часто он не объясняет ничего, а нарастая, душит всякую личную жизнь. Тогда он маскирует инстинкт, который старается придать себе величие: таков молодой буржуа, воодушевляющийся мистическим отношением к собственности или к родине; нередко в нем зреет великодушие, но вместо того, чтобы развивать его, он пыжится от его первых внешних проявлений. Энтузиазм обладает престижностью. Он придает самой ничтожной суете тон, размах, силу. Никакое другое состояние не предрасположено в большей мере к разочарованию, наивности и порабощению. Нередко оно оказывается эйфорической формой лени. И вот энтузиазм становится хозяином положения с того времени, как миф или "мифологема" начинают управлять любой политической мыслью и добавляют к упоению красноречием наслаждение, получаемое от смешения понятий.

Второй революционный акт: *революция против мифов.*

"Вступать" еще для многих означает зафиксировать систему идеологий или "решений". Логический порядок самой своей правильностью создает иллюзию истинности. Первый же встречный навязывает себя другому благодаря престижу своей личности по той простой причине, что его жертве недостает навыков критики. Он удовлетворяет инфантильную потребность во внешнем упорядочении, когда сходятся все детали (вместо того, чтобы предложить мне самому искать ответ), то есть ту потребность, которая, несомненно, скорее является потребностью воображения, чем разума, если только она не оказывается просто потребностью опереться на что-то, что содержится в подпадающей раскладу строгой убедительной системе, не оставляющей никакого места незнанию, риску, свободе. При такой склонности кое-кто испытывает мелкобуржуазную страсть к четким поверхностям с грязью внутри. А кое-кто присоединяет к этому свою болезненную неуверенность: это те, по выражению А. Жида, кто принимают потребность в уверенности за потребность в истине; те, кто заканчивают революцию, когда понятия оказываются упорядоченными. А поскольку идеи еще обещают какие-то

трудности или риск, то "откровенно современные" умы требуют планов их решения от представителей техники. Разве "текущим проблемам конкретные решения" не требуются? И они идут, считая, что они марксисты, республиканцы, фашисты и что они *делают* "конструктивную" работу. Пусть только указания осуществляются, пусть немного денег попадает в их карманы, пусть кризис отдалеяется и становится видным тот уровень, где прорастают корни всего этого.

Персонализм не приносит с собой "решений". Он предлагает метод мышления и жизни, а те, кто с его помощью достигает каких-то результатов, просят вовсе не о том, чтобы их научили, чтобы затем поздравить себя с таким счастьем, а чтобы на них равнялись и путь преодолевался со всеми необходимыми для этого трудностями, чтобы для каждого результат был бы подлинным итогом.

Третье революционное решение: *отдать ведущим позициям предпочтение перед готовыми "решениями"*.

Остаются еще те, кто усваивает лозунги, кто читает газеты и принимает утреннее событие за поворот истории. Если оказывается, что они интересуются (и то только между прочим) лишь своими задавленными собаками (и вряд ли вспомнят о них завтра), то они приводят вас в отчаяние своей неспособностью обрести когда-либо чувство реальности.

Четвертое революционное решение: *делать шаг назад, "быть" прежде, чем "делать", познавать прежде, чем действовать*.

Инстинкты, энтузиазм, идеология, суета — вот сколько развлечений для личности, вот сколько средств для возможности уклониться от деятельности. А когда личность уклоняется, тогда-то она и оказывается готовой к порабощению и способной создавать иллюзии. Все смутные движения смутной эпохи вслед за партиями и по их образцам спекулируют на этом "отчуждении" личности, стремясь завлечь ее туда, куда желают завлечь ее политики и те силы, которые стоят за политиками.

Целостное преобразование

Тот, кто не включается в действие всем своим существом, как это свойственно человеку, тот не включается в действие вообще.

Необходимая революция будет сделана не технократами: Технократ знает только функции: в то время как на карту поставлены судьбы людей, он налаживает системы, а проблемы ускользают от него.

Ее совершат также не те, кто окажется восприимчивым лишь к политическим аспектам беспорядка и будет иметь в виду исключительно политические средства: они позволяют вовлекать себя в излюбленные игры взрослых самцов, как если бы вся история была погружена в них.

Это тем более будут не те, кто соглашается подчиниться необходимости, как таковой, и кто, пасуя перед неизбежными альтернативами, позволяет при создании блока отделить от себя половину самого себя. Еще вначале мы вынуждены были сказать: "ни правые, ни левые".

Но в этом случае мы рисковали привлечь к себе внимание нерешительных или же тех, для кого быть "ни справа, ни слева" являлось способом быть справа. Мы отвергли их, мы придерживались такого двойного отказа не потому, что хотели быть ловкими, а потому, что хотели следовать жизни. Одна половина наших ценностей оставалась в заложниках у этих двух лагерей, а другая — в заложниках у беспорядка. Мы проложим третий путь, единственно способный связать воедино наши требования. Легковесность состоит в том, чтобы свернуть с него ради немедленных решений; вовлечение заключается в том, чтобы целиком посвятить себя движению по этому пути. Отказ от вступления в существующие блоки — это малодушие только для тех, кто не пытается найти новый путь в будущее, пусть даже это решение будет принято в отчаянии, в крайнем случае.

Наконец, это будут не те люди, которые вовлекаются только на словах или в зависимости от настроения. Мы страдаем не только от теоретических заблуждений и логических противоречий. Революция не ограничивается перетряской идеей, отработкой понятий, уравниванием решений. Мы живем в условиях неизбежного декаданса, подавленные фатальностью своей собственной индивидуальной жизни, от которой мы отказались, чтобы следовать тому, что навязывает нам декаданс. Мы будем обладать достаточно прочной опорой, чтобы преодолеть внешнюю фатальность, только при условии, что всем своим существом отдадимся прохождению открытых нами путей. "Духовная революция", которая ставит разум над действием, это уже не революция "интеллектуалов": любой человек, проникшийся данной мыслью, может сразу же начать ее осуществление в своей повседневной жизни и основывать на этом обновленное коллективное действие, свободно приняв решение о подчинении личной дисциплине.

Против путаницы

Быть для того, чтобы делать, познавать для того, чтобы действовать: персоналистская революция связывает духовность личности, мысль и действие внутренней связью, которую идеализм разорвал и которую марксизм отказывается восстановить. В силу того, что идеализм укрылся в сфере мысли и оставил суждение в подвешенном состоянии, он содействовал распространению веры в то, что мысль бесполезна для действия, что поиск истины — это развлечение, а не особая деятельность. С тех пор действие совершало свой путь вслепую, люди стали думать, прибегая к помощи всех своих темных сил, опираясь на свою наследственность и инстинкты, используя жесты и эмоции, — только не с помощью мышления. Больше нет общего языка, нет слова, которое не сбивало бы сознание с толку. *Нашим первым долгом перед действием явится крестовый поход против путаницы.*

Крестовый поход против *блоков*, которые соединяют воедино противоречивые заблуждения и устанавливают завесу перед реальностью и людьми.

Крестовый поход против *священных союзов*, которые, говоря о примирении интересов, скрывают глубинные беспорядки.

Крестовый поход против *конформизма*, этой опухоли, поражающей мышление и деятельность.

Персоналистское объединение должно быть объединением плюралистским, проникнутым духом уважения, ведущим образующих его людей к целостности и истине, включающим их в прямое действие, побуждающим к самокритике, к тому непрерывному самопреобразованию, которое только и является самой безупречной преданностью истине.

Против ненависти

Путаница в идеях, парализующая понимание, то способствует ожесточению действия, то ослабляет его. Путанные идеи — это идеи свирепые, заряженные злобой, сеющие разлад в умах. Мы видели, как партии, усиливая беспорядок, который не желает умирать, с ожесточением сосредоточиваются на все более и более провокационных страстях, на все более и более расплывчатых идеях и углубляют ров недоразумения, с каждым днем становящийся все более непреодолимым. Ненависть выставляет себя добродетельной, пуританской. Воображение приучают находить такие формы вовлечения, когда оно не движется такой судорожной поступью и не надевает на себя воинственную маску. Только истины массового характера и ожесточившиеся блоки привлекают внимание и уважение.

Несмотря на свой резкий характер, ненависть — это всего лишь другое название путаницы. Ныне она является ее самым мощным оружием. Насколько мы должны отвергнуть беспомощные "примирения" сентиментальных толп, настолько же сохранение личной вовлеченности требует того, чтобы мы вели сегодня беспощадную борьбу против ненависти: если, конечно, еще можно назвать ненавистью то озлобление низкого пошиба, которое сегодня ведет к политическому насилию, даже если речь идет о нашей частной жизни. Непреклонность, с которой мы собираемся разоблачать видимые механизмы и акты, не должна иметь себе равных, так же как и наша воля к пониманию личностей, каждой в отдельности, и воля к тому, чтобы никогда не принуждать человека или выставлять его в карикатурном виде.

2. Что делать?

Революционными мы называем именно это всеобъемлющее преобразование человека и его деятельности, саму волю, нацеленную на всеобъемлющую реконструкцию цивилизации. Революция, подобная той, которую мы предусматриваем, не может отвергать насилие ценой справедливости: насилие пришло сверху, и его неизбежность оказывается тем более угрожающей, чем дольше существует беспорядок. Но возбуждение и мятеж ее только ограничивают и сбивают с пути. Революция нацелена гораздо дальше, чем взятие власти или социальное потрясение: она является глубинной реконструкцией цивилизации в це-

лом. Ее политические или экономические последствия являются необходимыми инцидентами, но это только инциденты. Она обладает широким радиусом действия и огромной значимостью, что, однако, не мешает ей быть актуальной и вместе с тем воинственной.

Уже сейчас ее подготовка может идти по нескольким направлениям.

Личная вовлеченность

Революция начинает утверждаться в каждой личности через *беспокойство*. Вот этот человек уже не живет в безопасности, в упрощенном мире. Он перестает путать свою лень мысли со здравым смыслом. Он сомневается в себе, в своих рефlekсах. Его раздражение нередко идет от его неустроенности. Так начинается осознание.

Модифицируя ходячую формулировку, я скажу, что личностная революция начинается с *обретения злого революционного осознания*. Она в меньшей степени представляет собой осознание внешнего беспорядка, установленного научно, чем осознание субъектом *своей* собственной причастности к беспорядку, причастности, до сих пор неосознанной, включая и его спонтанные поступки, его повседневный образ действия.

Тогда приходит неприятие, и за нашими отрицаниями оказывается не сумма "решений", а центр, в котором сходятся отдельные лучи света, порождаемые развивающимся мышлением, частные волеизъявления, пробуждаемые новым устремлением, *постоянно совершаемое преобразование* всей личности с ее делами, словами, жестами и принципами, образуя богатое единство, называемое вовлечением. Такое действие ориентировано не на силу или индивидуальный успех, а на свидетельство.

Разрывы

Поскольку механизмы, действующие в современном мире, опорочены самим принципом, лежащим в основании нашей цивилизации, мы не обладаем никакой властью над ними, так как при масштабном существовании этой цивилизации они будут всегда получать от нее постоянный источник для своего извращения. Реформы или моральное оздоровление безоружны перед неумолимой фатальностью установленного беспорядка. Следовательно, было бы иллюзорным стремление оказывать давление на эти прогнившие механизмы с помощью других, столь же прогнивших механизмов, которые от них самым непосредственным образом зависят, как парламентские партии зависят от своего же способа действия. Именно в этом смысле разрыв с механизмом беспорядка является предварительным условием четкой эффективности нашего действия. Мы должны будем осуществлять его в зависимости от конкретных проявлений этого беспорядка.

Но наш разрыв должен быть радикальным, а не показным или поверхностным: не станем доверять внешним признакам, которые слишком быстро восстанавливают счастливое сознание, потревоженное в какой-то момент; он должен быть разрывом с механизмами, а не с личностями, которые не сводятся ни к поглощающим их механизмам, ни даже

к словам, которые они произносят; он ни в коем случае не должен влечь за собой какой-либо лицемерный ригоризм или строгую кодификацию: жизнь личности — это бескорыстие и свобода, глубоко укорененные в самом вовлечении.

Технология духовных средств

Революция, совершаемая ради личности, может пользоваться только средствами, согласующимися с личностью. В этом состоит фундаментальное методологическое требование, которое мы должны защищать вопреки всем тем, кто считает возможным достичь цели средствами, противоположными духу самой цели. Эти средства, как и любой метод, должны стать предметом определения и технического осуществления. Техника действия, свойственная персонализму, должна быть испытана в двух направлениях:

1) *Технология индивидуальных духовных средств.* Она представляет собой, собственно говоря, аскезу действия, основывающегося на первичных требованиях личности. Персоналистское действие включает:

— размышление и сосредоточенность, необходимые для того, чтобы освободить действие от суетности;

— избавление от ложных фантомов, что является аскезой индивида: от идолов и словесных ухищрений, от псевдоискренности, разыгрывания ролей, поверхностных суждений, ложного энтузиазма, инстинктивных решений, устойчивых привычек, подчинения приобретенным рефлексам.

2) Такая сосредоточенность и избавление от фантомов легко могли бы стать поиском стерильной "чистоты", что очень скоро привело бы к отказу от всякого вовлечения. В противовес такому стремлению следует напомнить о том, что нельзя обрести спасение в одиночку, когда существуют люди, до такой степени задавленные нищетой, что уже не могут выбраться из нее, так или иначе не "запачкав рук". Очищение средств — это координата действия, которая сочетается с максимумом милосердия (или самопожертвования) и непосредственной наукой о закономерностях; их включает в дело всякая конкретная борьба. Между тем эти закономерности чаще всего имеют коллективное происхождение и коллективную значимость. Следовательно, мы должны привести в действие не только индивидуальное очищение, не только технологию индивидуального действия, но и *персоналистскую технологию коллективных средств*. Пока она находится в самом зачаточном состоянии, но мы уже ясно видим принципы, которые будут ее направлять:

а) *Нельзя добиться господства над порочным обществом, используя одинаковые с ним средства.* Систематическому насилию мы не противопоставляем систематическое насилие, деньгам — деньги, обезличенным массам — подобные же безликие массы. Следовательно, персонализм не станет объединять свои силы, используя богатейшие средства, мощные капиталы, безликие партии, вербуемые в массах своих членов, как это делают все группировки в мире. Живые люди приносят персонализму не только "силу общей идеи", отделенной от вовлечения. Персонализм объединяет свои силы, распространяя свои идеи, свои откровения в среде убежденных и несгибаемых людей, обладающих собственным волеизъявлением. На место *блоков, союзов* мы ставим *ряды*

вовлеченных людей, на место массовой поверхностной пропаганды — индивидуальную работу.

б) Следовательно, центральная тактика любой персоналистской революции будет состоять не в объединении разнородных сил, чтобы общим фронтом вести наступление на сплоченную силу буржуазно-капиталистической цивилизации. *Она состоит в том, чтобы вносить во все, ныне окостеневшие, жизненно важные органы разлагающейся цивилизации зародыши и ферменты новой цивилизации.*

Этими зародышами станут органические сообщества, формирующиеся вокруг базового персоналистского института, вокруг какого-нибудь персоналистски ориентированного мероприятия или же просто вокруг персоналистских идей. Так, например, несколько людей объединяются, чтобы основать предприятие, свободное от капиталистических законов, чтобы создать общество личного кредита, чтобы осознать свои профессиональные требования, чтобы организовать дом культуры, чтобы поддержать своими личными взносами журнал, газету, которые, в свою очередь, будут поддерживать их свидетельства.

Такое органическое оплодотворение новой цивилизации посредством отдельных клеточек может, как в случае с монархией позднего средневековья, принести свои плоды только по прошествии длительного исторического периода. Поэтому было бы достойным сожаления, если бы эти клеточки из-за свойственного им ригоризма оказались отрезанными от живых сил, которые сумели так или иначе выжить в условиях установленного беспорядка. В кругах, наиболее поддающихся влиянию высказанных здесь положений, персонализм должен будет осуществлять действие по последовательному проникновению, внутреннему обновлению, которое подготовит вызревание будущих объединений. Именно это мы хотели подчеркнуть, когда говорили, что всякое персоналистское движение должно действовать, не только используя богатые на урожай *зародыши*, но и (во второй период) на манер *фермента*, который заставляет подниматься еще не замешенное тесто. Мы думаем, например, о той поддержке, которую персонализм может найти в профсоюзном движении, в движении кооперативном и т. п., последовательно развивая их. Было бы грубой ошибкой путать строгость личного вовлечения и прямолинейность замкнутой ортодоксии, возводить вокруг личностной деятельности стену конформизма и пуританизма; это было бы игнорированием ценностей свободы и того высшего бескорыстия, которые остаются неотделимыми от личного действия.

в) Мир личностей исключает насилие, применяемое в качестве средства внешнего принуждения. Но необходимость, кристаллизованная предшествующим беспорядком, ведет насильственную игру против личностей. Наше действие должно до конца использовать все средства, позволяющие справиться с ними естественным образом. *Если в конечном итоге окажется, что мы созрели для того, чтобы сменить агонизирующее общество беспорядка, и что только насилие (и это вполне вероятно) сможет принести окончательный успех, тогда не будет никакой значимой причины исключать его.*

г) Но к насилию следует прибегать лишь в крайнем случае; если к нему обращаться без особой надобности или для систематического взбадривания, то оно будет калечить людей и компрометировать конечный результат.

3. С кем?

До сих пор мы определяли однородное, строго ориентированное действие, которое, как и любое наступательное действие, потребует искренних и беззаветно преданных людей. Имеются ли в виду те люди, которые уже сейчас целиком находятся на его стороне, или те люди, к которым следует прежде всего обратиться с наибольшими шансами на понимание и отклик, — в обоих случаях возникает проблема применения силы. Это надо правильно понять. По определению, персоналистское действие стоит на службе всех личностей; оно не может поддерживать частные интересы либо классовый эгоизм, пусть это будет эгоизм и самого нуждающегося класса. Но любое действие, даже если оно вдохновляется универсальными ценностями, затрагивает интересы, коллективные судьбы, господствующие чувства. Оно *вынуждено вгрызаться в историческую ситуацию, которую само не выбирало*. Именно в этом смысле духовное действие становится историческим действием. Оно должно стремиться реализовать соответствующими тактическими средствами максимум своих намерений, касающихся современного мира.

Где сегодня еще остается живым чувством личности?

Если не читать ничего, кроме заштампованной прессы, избирательных афиш и полемических писаний, то следовало бы ответить: среди интеллигентов, в буржуазном и мелкобуржуазном мире. Собственность, частные интересы, инициатива, восстановление погрязших ответственности и авторитета — эти рекламируемые ценности мы и в самом деле находим именно в таких кругах и у их обычных глашатаев. Но если взглянуть повнимательнее, то вскоре замечаешь, что интеллигенты в большинстве своем развращены ложным либерализмом и потеряли голову от страха. Личность, о защите которой они помышляют, это их собственная драгоценная персона, оторванная от значительных человеческих дел, обреченная на самообожание и занятая своими милыми сердцу заботами. Буржуа и мелкий буржуа, когда произносится слово "личность", помышляют о свободе обогащения и о сохранении своего привилегированного положения в экономической жизни. Ориентироваться на такие недоразумения значило бы подвергать себя риску извращений наихудшего сорта. *Персонализм — это не спаситель, приходящий в последнее мгновение, предназначение которого — приглушить страхи и уберечь недвижимост.* Он требует от человека больше энергии и материальных жертв, чем устрашающие режимы фашизма и коммунизма. До тех пор пока персоналистская идея не завоеует на свою сторону достаточного числа бескорыстных приверженцев, пока она рискует объединять только последних скупцов из индивидуалистического мира, бдящих и пугливых скептиков всех мастей, она должна готовить кадры, продолжать свою работу, идти вглубь, пока ее не оценят по достоинству люди, которым она предназначена. *Преждевременно созданная "третья сила", которая только омолаживала бы истощенную буржуазию, навсегда компрометируя ценности, которые мы хотим спасти, должна рассматриваться как главная опасность, непосредственно подстерегающая наше действие.* "Национальное пробуждение", которое представляло бы собой лишь стыдливую форму последних националистических рефлек-

сов, "антимарксизм", который лишь прикрывал бы подспудный страх перед необходимыми операциями по восстановлению справедливости, блокировали бы подлинное пробуждение, которое мы подготавливаем.

Сказанное нами выше о социальной зрелости рабочего класса заставляет нас прийти к выводу о том, что действие, в которое он не будет вовлечен, не сможет обрести необходимые ему политическую зрелость, опыт братства, смелость видения, способность к самопожертвованию; без всего этого оно сегодня обречено на неуспех, на бесплодность.

Значит ли это, что персонализм должен ставить перед собой всеобъемлющую задачу завоевания рабочего класса? Нет, он не нацеливается ни на классовое действие, ни на действие массовое. Но, соединяясь в рабочем движении, в частности во французском рабочем движении, со старыми персоналистскими традициями, которые выступают под другими именами и в другом обличье, он будет иметь своей миссией *содействие успешному слиянию духовных ценностей, потерявших авторитет, поскольку они использовались миром денег, и подлинных духовных богатств, которые сохранились в народной душе в более подлинном виде, чем где бы то ни было.*

Таким образом, наступление против упадочной цивилизации будет вестись двумя колоннами.

Одна, небольшая по численности, — это колонна меньшинства, колонна интеллигентов и буржуа, которые в ходе глубокого духовного преобразования порвали со своими истоками, культурой и классовыми интересами и пришли к глобальному пересмотру ценностей, что в общих чертах представлено в этой работе; в эту колонну входят христиане, осознавшие героические требования своей веры перед лицом их заурядной жизни или недостатка чувства коллективизма; "спиритуалисты", ощутившие тщетность своего "духа", не имеющего никаких обязательств и прав; отдельные люди, которые до настоящего времени отказывались от бремени ответственности из-за щепетильности или ненависти по отношению к ненависти.

Другая колонна, уже сейчас имеющая крупные резервы, состоит из народа, того самого народа, который, закаленный трудом и рискующей жизнью, сохранил непосредственное чувство человечности и спас от политического извращения все лучшее, что есть в нем самом.

Сегодня вопрос о слиянии этих двух колонн должен быть поставлен со всей настоятельностью. Таким образом сформированный авангард будет подразделением наступательным, руководствующимся совместными требованиями всех участвующих в нем, направленным против тирании, которая надвигается со всех сторон. Оно должно быть слаженным, прошедшим испытание действием, начиная с личной дружбы и культурного творчества и кончая политическим свидетельствованием. Этот путь к спасению будет, вероятно, долгим, но для спасения личности нет никакого другого пути.

СТРАХ В XX ВЕКЕ



ОБВИНЕНИЕ МАШИНЫ

О психосоциальных истоках антитехнизма

Когда впервые бананы появились в Казенге, мы предложили их вождю. Он с ужасом отшатнулся: "Нет, нет, я никогда не видел подобных плодов. Это tonda". Это означает, что данный необычный плод будет признан, если я испытаю на себе его пагубное колдовское воздействие.

(Л. Леви-Брюль)

Я должен извиниться перед собранием социологов¹ за то, что настоящее сообщение обнаруживает свои недостатки, когда речь заходит о достигнутых результатах, и если иметь в виду используемую в нем методологию, то она не соответствует строгости социологической дисциплины. В связи с поднятыми здесь вопросами следовало бы представить информативный материал, относящийся к социальной сфере. Следовало бы предъявить анкеты, систематизирующие поведение по отношению к машине различных слоев населения и рас, людей разных возрастов и половой принадлежности, живущих в разные эпохи, и, что особенно важно для нашего предмета, их негативные реакции на машину. Я не располагаю таким материалом. Более того, я не знаю, существует ли вообще такой материал. Не имея даже начальных знаний о предмете социологии, я ограничусь тем, что представлю социологам суждение философа, изучающего современные нравы, широкие, но еще сугубо предварительные обобщения, не позволяющие делать окончательных выводов, расскажу о центрах сопротивления механизированному миру и очерчу сферы, где ваши анкеты могли бы оказаться ценными для мыслителя, являющегося в то же время человеком дейст-

¹ Речь идет о первой Неделе по социологии, организованной Центром социологических исследований в 1947 году в Париже и посвященной проблемам технократии.

вия. Я прошу извинить меня также за то, что поставлю перед вами больше вопросов, чем дам ответов. Но я верю, что докладчику, выступающему на конгрессе специалистов, к каковым он сам не принадлежит, председательствующий позволит осуществить неизбежную мечту неосведомленного человека — обратиться к тем, кто располагает знаниями, и поступить так исключительно для того, чтобы обновить наличные идеи, направления исследований и способы их изучения.

1

Строгому исследованию предстоит преодолеть приблизительные оценки, которые мы позволяем себе делать на первых порах, и разграничить поведение людей перед лицом мира техники вообще и их поведение перед лицом вполне определенного мира — мира современного, с приходом машины претерпевшего такие существеннейшие изменения, что его непредсказуемое развитие ставит под вопрос само существование человечества. Рёскин, выступая против машины, сводит технологическую деятельность к созданию механизмов, которые могли бы приводиться в движение водой, ветром, человеческой рукой. Он отвергает не технологическое общество, как таковое, а только современное механизированное общество. Мифологизация ремесленного труда по своей направленности антимашинная, а не радикально антитехническая. Напротив, мистически настроенное общество, или просто-напросто апатичное общество, живущее, например, сбором плодов и охотой, может испытывать отвращение к полезному труду, ценя созерцание или охоту выше созидания новых предметов и достижения непривычного доселе комфорта. Если мы не в состоянии провести различие между первой позицией и второй, то по крайней мере их отделение друг от друга должно достаточно убедительно высветить целый спектр позиций, направленных против технического развития.

Еще важнее провести различие между поведением отдельного индивида или группы индивидов в процессе использования машин и реакцией (поведение и мнения) групп людей на машинное производство, рассматриваемое извне как универсальная структура общества.

Первая из этих позиций отправляется от своего рода биосоциологии, находящейся еще в эмбриональном состоянии. Несколько месяцев назад мне довелось побывать в Африке и познакомиться с многочисленными наблюдениями этнографов и колонистов над поведением черного африканского населения в ходе использования механизмов. Достаточно часто в них отмечалась курьезная неспособность к вращательным движениям, к пониманию и использованию перпендикуляра и вместе с тем ошеломляющая сноровка при разрушении механизмов, работать с которыми доводилось, восхитительная виртуозность в употреблении всяческого рода бечевки и веревок. Эти наблюдения, относящиеся к различным обществам, необходимо согласовывать друг с другом с помощью тех или иных дисциплин, способных пролить на них свет. Но мы не увидели

здесь еще ничего, кроме психотехники. Если в дело вступит социология, то она пойдет окольным путем, опираясь на верования, воспитательные штампы, которые соответствуют психосоматическому поведению.

Помимо этого органичного поведения воспитание способно содействовать развитию критической позиции по отношению к машине независимо от какой бы то ни было идеологии. Нам известно, что существуют люди, которые не только никогда не видели машину, но вследствие соответствующего обучения и широко развитого приручения животных большинство из них никогда не имело дела с орудиями труда. Эти люди в силу их примитивной психологии склонны были оправдывать собственную бездарность путем обесценивания вещей. Молодой европейский буржуа, находящийся по причине своего воспитания вдали от производственной деятельности, на протяжении всей своей жизни обнаруживает по отношению к машине безразличие и непонимание; если же он сталкивается с машиной или ему приходится работать с помощью машины, в его реакция прочитывается отвращение (здесь было бы интересно провести анкетирование в интересующей нас среде СТО*). Если он в своих рассуждениях пойдет чуть дальше, то его отвращение превратится в безотчетный страх, который вскоре станет устойчивым и из первичной реакции разовьется в собственно антитехническое умонастроение. Мне приходится слышать — теперь уже в теологическом плане, — что мусульманин по отношению к машине испытывает не удивление и не страх, а нечто вроде освященного безразличия к предмету, который не заслуживает ни удивления, ни страха. Эти простейшие реакции выражают определенную позицию по отношению к типу объектов, но не выявляют еще отношение к машинному производству как социальному явлению.

Антимашинизм в качестве социологического мифа не ставится под сомнение не только в определенных насильственных акциях (более жестких, чем теоретический антимашинизм), в антимеханицистских взрывах, которые постоянно сотрясают рабочую среду. В данном случае речь не идет о безразличии или неспособности адаптироваться: эти взрывы случаются в среде элитных рабочих, разделяющих прогрессистские социальные идеи. Они являются элементарной защитной реакцией, не связанной с метафизическим видением сущности механического действия или конечной судьбы машинизированного общества. Машины, как представляется, вели людей к безработице. Отделяя патрона от трудящегося, они заменяли гуманную по своей сути патерналистскую структуру предприятия на безличную и бесчеловечную: регламентация производства, односторонний договор о найме, который рабочий обязан соблюдать и который ведет к многочисленным злоупотреблениям, в частности оправдывает штрафы, сжирающие порой значительную часть заработной платы. Машины с их чрезмерной регламентацией, механизацией и обезличиванием труда ведут к рационализации: с появлением машин рабочих, как никогда ранее, ощущает себя рабом, "живым винтиком мертвого механизма" (Маркс). Множа кризисы, вызванные неспособностью человека приспособиться к ним, машины усиливают нищету.

В большинстве случаев это вызывает у рабочего простейшую реакцию, похожую на ту, что мы обнаруживаем у ребенка, когда он уничтожает причиняющий ему боль предмет. Так и реакции рабочих были спонтанными, примитивными, лишенными какого бы то ни было обоснования. Они не в состоянии были так или иначе подвести их к антимашинной мифологии, которая получила распространение в последующее время. На деле антимашинная мифология формировалась как мифология буржуазная; рабочее движение, несмотря на несколько взрывов в начале промышленной революции, осталось в своей массе чуждым этой мифологии. И это понятно: машина была для рабочего привычна, она не вызывала у него чувства страха как некое неизвестное явление или как то, что посягало бы на его классовую принадлежность, и он благодаря теоретикам-социалистам вскоре понял абсурдность выступлений против нее — не против нее вообще, а против ее использования.

Антимашинизм, превращающийся в европейских странах начиная с XIX века в социальную мифологию, носил более конкретный характер, нежели эти непосредственные реакции, обусловленные психомоторными факторами, привычным образованием или требованиями социальной защиты. Антимашинизм не был более или менее непосредственным ответом на тот или иной объект, ту или иную ситуацию, в нем речь шла об умонастроении, систематическом видении современного мира, определенных гипотезах и предположениях относительно будущего. Его реакции на уже оформившееся явление, каким стал "универсум машин", носили эмоциональный характер, были сложными и зачастую разнородными, выступали в качестве то мифов, то рациональных обоснований, а его сторонники в противовес этому развивали скорее продуманную аргументацию. Если рабочие, уничтожившие машины, на деле не обладали антимашинной ментальностью, то наиболее ярые из антимашинистов со своей стороны никогда не были склонны к уничтожению машин. Батлер удовлетворялся тем, что наделял такими чертами своих персонажей, а пятьюдесятью годами позже Бернанос, постоянно упрекавший себя в несовременности, находил во всем этом повод для шумливого красноречия. Сами же они без зазрения совести пользовались железными дорогами и авиалайнерами, автомобилями и радиовещанием. Здесь перед нами типичная идеология, имеющая широкий резонанс, но отмеченная крайней бездейственностью, поскольку ее содержание и аргументация в реальной жизни оказываются весьма уязвимыми.

Как мы увидим, это вовсе не означает, что подобная идеология является абсолютно надуманной и лишь предупреждает о воображаемых опасностях. Как только мы начинаем анализировать ее, выделять господствующие в ней интуиции, то запутываемся в противоречиях, которые, если речь заходит о существенных для социологии явлениях, содержат в себе значительное число словесных преувеличений, предрасудков или неосведомленностей.

Таким образом, во всем спектре противостояний машинизму обнаруживается общий оптический обман, свойственный современникам

зарождающейся социологической науки, которые обращали все свои способности на формулирование ее азов, диктуемых окружающей действительностью. Идеология машинизма зарождалась в данном конкретном обществе, ее первые структуры были ориентированы силовыми линиями этого общества, и она служила целям, провозглашаемым этим обществом. Критика Карлейля, Рёскина, Ломброзо, Бернаноса и многих других претендовала на раскрытие сущности машины и распространялась на самые общие структуры капиталистического общества, которое подчиняло себе первые достижения машинного производства. Однако вскоре речь зашла об изобличении тупиковых ситуаций, как таковых, созданных исключительно злоупотреблениями: "Противоречия и антагонизмы, которые неотделимы от капиталистического применения машин, не являются (абсолютными)¹, поскольку они происходят не из самих машин, а от их капиталистического применения... Только со временем, только приобретая опыт, рабочий научается проводить различие между машиной и ее капиталистическим применением и бороться не против материальных средств производства, а против того, что они становятся средствами эксплуатации"². Если подобная путаница могла иметь место в рабочем движении, когда речь заходила главным образом о политическом воспитании, то она была общим местом у немарксистских критиков машинизма. Так, Бернанос говорит об "отвращении, питаемом человеком к машине, *то есть*³ к жизни, полностью руководствующейся понятиями дохода и эффективности и в конечном итоге — понятием прибыли"⁴. К этой путанице с необходимостью приходят все критики, которые упрекают машину в том, что она порождает нищету, ведет к снижению заработной платы, перепроизводству, росту коммерции и транспорта, к отуплению, безнравственности людей, к увеличению смертности в крупных промышленных центрах и т. п.

Такое сведение судьбы машинного производства к случайным моментам, свойственным эпохе его зарождения, диктуется не только направлениями мысли, оценивающими его извне, со стороны по отношению к господствующему экономическому режиму. Некоторые критики связывают его с вполне определенными опасностями, какие машинизация несет с собой на современном этапе исторического развития, отмеченном беспрецедентным увеличением скоростей, к которому человечество не в состоянии приспособиться, не в силах совладать с его ритмом. Отсюда необоснованно заключают, будто человечество не сможет встать вровень с ним, обуздать его в недалеком будущем. Рядом со мной внезапно появился подающий сигналы автомобиль. Я вздрагиваю, а затем совершаю какие-то нелепые, беспорядочные движения, грозящие мне опасными последствиями. Но инстинкт и разум одерживают верх, и я тотчас отступаю в целях собственной безопасности. Мы все сообща ис-

¹ В "Молиторе" переводят "не существует", что плохо вписывается в контекст.

² *Marx. Le Capital. Ch. XIII, 6 (Ed. Coste. P. 108, 89)*.*

³ Подчеркнуто нами.

⁴ *La France contre les robots. P. 140.*

пытываем замешательство перед машиной. Мы скорее видим, чем понимаем, что наши реакции становятся все более и более неадекватными и бестолковыми, доводя нас до катастрофы. Однако когда я благодаря прекрасной книге Фридмана* вижу, как по всему миру в странах с противоположными режимами идет терпеливая работа по гуманизации бесчеловечных сил варварской механизации, передо мною встает облик человечества с его вечным движением, а отнюдь не лирические вымыслы наших любителей катастроф.

Разумеется, всегда существует риск поражения, скажем даже, риск отступления от гуманизма, и тогда соответственно всякого рода пафос не будет ничем мотивирован, не получит подкрепления идея о том, что история человечества, до настоящего времени тяжкая и драматичная, с приходом машины сразу ступила на путь освобождения. История человечества, идущего дорогой сомнений и мучений, вопреки как иллюзорному, так и катастрофическому романтизму, предстанет во всем своем скромном величии и несокрушимости: может быть, именно это хотят сказать все те, кто, принадлежа либо христианству, либо социализму, связывают свою судьбу с трудом. Сегодня машина не соответствует человеческому ритму, но ничто не обрекает ее на это несоответствие. Сегодня машина ведет к чрезмерной концентрации — завтра она сможет содействовать образованию небольших мобильных объединений, где ее использование окажется предпочтительнее. Это вовсе не говорит о том, что, как замечает Мэмфорд, концентрация машин будет совершаться бесконечно, как это было в первой фазе машинного производства. Мы уже достигли определенного уровня: черно-белая печать или телефонная связь могут теперь совершенствоваться далее. Настанет такое время, когда определенное число базисных изобретений достигнет уровня, когда коллективное хозяйственное оснащение приблизится к верхнему пределу, развившаяся механизация сократит число необходимых машин, удовлетворение потребностей притупит желания, которые все еще будоражат наше лишенное удобств общество; когда исчезнет та сфера машинного производства, которая свидетельствует не о прогрессе, а о социальной неадаптированности (несчастные случаи на транспорте, разбухший административный аппарат). Было бы наивным ребячеством экстраполировать в будущее сегодняшнее положение дел. Речь вовсе не идет о том, чтобы с пеной у рта твердить о возможной человеческой мудрости: машинное производство и его последствия, несомненно, несут в себе семена собственного ограничения.

Другая критика механизации являет собой обычные ошибочные мнения, складывающиеся при толковании информации или ее распространении. Примеров здесь предостаточно. Много говорилось о технологической безработице: известно, что сегодня ее доля относительно невелика по сравнению с конъюнктурной безработицей — машина, отменяя некоторые специальности, тут же создает другие. О монотонности раздробленного труда написана впечатляющая литература; однако из более строгих анкет следует, что монотонность в большинстве случаев скорее зависит от условий труда, чем от самого труда, и зачас-

тую ее замечает исследователь, а не сам рабочий, считая, что она проистекает от темперамента, которому соответствует объективная монотонность и т. п. Таким образом, мало-помалу позитивное исследование, где эмоции предreshают содержание анкет, воздействовало на некоторые процессы¹.

Случается еще, что от машины ждут добродетелей, которыми она не обладает, и ее упрекают в том, что она не обеспечивает того, чего обеспечить не в состоянии. "Вы чрезвычайно гордитесь тем, — пишет Рёскин², — что вам удалось послать телеграмму в Бомбей и получить ответ. Однако каково само это послание и каков ответ на него? Разве Индия прекрасна только потому, что вам удалось пообщаться с ней таким образом? А вы лучше всех оттого, что получили ответ из Индии?" Несостоятельность подобной критики очевидна. Мы вырываем из целостного процесса один сугубо технический, а потому морально нейтральный и по сути своей двойственный элемент, в данном случае — скорость передачи информации, и нам совершенно ясно, что он не дает немедленного решения кардинальных человеческих проблем. И глупо было бы требовать от него того, что дать он не в состоянии; он вовсе не обязан выслушивать упреки в том, что не смог стать сеятелем добра только потому, что наивные люди хотели этого. Остается узнать, окажут ли совокупные последствия машинной цивилизации по выходе из своего первоначального кризиса фундаментальное влияние на нравственное совершенствование человечества и не являются ли они для большинства людей предварительным условием достижения собственно человеческой жизни.

Социолог, который займется изучением антимашинной ментальности, необходимо придет к различению, на первый взгляд, схожих между собой критических точек зрения. Мы продолжаем говорить о ментальности, когда уже произнесли слово "миф". Антимашинизм — это скорее эмоциональная, чувственная позиция, нежели доктрина. В нем представлен целый спектр характерных черт: полемический задор, отказ от конкретных исследований, слабость или несостоятельность аргументации, очевидное изобилие инстинктивных реакций. Он питается чаще анекдотами, нежели научными исследованиями, эмоциями, нежели строгими суждениями. Мы являемся свидетелями того обстоятельства, что зарождающаяся социология не может более обходиться без психологии, особенно без глубинной психологии и в какой-то мере без психоанализа, так же как психология не может существовать без эмпирических данных социологии. Антимашинизм как социологическая реальность предстает перед нами в качестве коллективного инстинктивного комплекса.

Нам хорошо известен характер инстинкта. Ему свойственна фундаментальная двойственность. Он является одновременно и мощным порывом, устремленностью, без которых наши высшие деяния как бы приходят в замешательство, и инерционным фактором, стереотипом,

¹ *Friedmann. Problèmes humains du machinisme industriel. II p. Ch. I.*

² *Fors clavigera. Lettre V.*

пытающимся вернуть психику на уже пройденные ею пути. Одни и те же его проявления уведомляют нас и о глубинной необходимости, и об опасностях для жизни, и мы с легкостью принимаем их благодаря атавистическим привычкам. Всякая новизна возбуждает инстинкт и одновременно укрепляет его неподатливость, воздействуя на то, что в человеке подверглось безвозвратной гуманизации и что устремляет его вперед, но одновременно и на то, что осталось в нем от нашего животного предка. Мы столкнемся с этой двойственностью коллективных реакций, имеющих инстинктивный характер, в любой таблице, отражающей основополагающие позиции антимашинизма.

II

Некоторые из этих эмоциональных реакций позволяют высветить их исторические истоки, несмотря на то, что их корни уходят в далекое прошлое.

1. Машина родилась там, где господствовал ручной труд. Однако гимны труду, воспеваемые буржуазией и сторонниками социализма и столь приятные нашему уху, скрывают от нас то далекое время, когда ручной труд был презираемым занятием, что сохранилось еще в наших ощущениях. Позиция классической античности хорошо известна: "Мастерство людей, работающих своими руками, вульгарно, они лишены достоинства и не в состоянии обрести черты самой элементарной порядочности". Цицерон: "Ничего достойного не может родиться в мастерской или выйти из торговой лавчонки"¹. Христианские идеи долгое время питались именно этим умонастроением. Святой Фома еще оправдывает рабство. Противопоставление рабского труда и свободных искусств находило поддержку, и слово "механический" относилось на счет первого; по причине внутренней противоречивости христианских понятий противопоставление это подкреплялось противопоставлением созерцательной жизни и жизни деятельной. Рыцари, а затем и дворяне черпали в этом умонастроении аргументы для самооправдания. Победно шествующая буржуазия, не переставая превозносить механический труд, распространяла среди простых людей миф о "чистых руках" и не включала во вторую ступень образования практических занятий. Банковский служащий, учитель, мелкий торговец заряжались здесь более сильным отвращением к машине, нежели рабочий. Этот социальный предрассудок, укоренившийся в поколениях людей и поддерживаемый многочисленными социологическими пережитками, еще и сегодня оказывает сильное воздействие на эмоциональную жизнь человека.

¹ М. А. Эймар тотчас же повторил тезис (*Journal de Psychologie*. 1938. № 1: *L'idée du travail dans la Grèce archaïque*) о том, что в Греции труд подвергался презрению, поскольку был связан с рабством.

2. Мы говорили о влиянии идей христианства сегодня. Мы живем в обществе, где христианскими понятиями пользуются люди, не признающие их религиозного происхождения, и где они, более того, пропитались чуждым им содержанием. Это расплывчатое и извращенное христианство парадоксальным образом часто ведет к презрению труда и материи, в то время как подлинное христианство родилось, чтобы воздать должное и тому и другой.

В Библии, начиная с Книги Бытия, мир созданных человеком вещей признается миром, достойным почета, и он неразрывно связывается с человеком. Человек с момента рождения определяется своим воздействием на природу (см. Быт. 1:28): "и наполняйте землю, и *обладайте ею*" (там же). Человек поселился в садах Эдема, "чтобы возделывать его", *ut operaretur terram* (там же, 2:15), чтобы дать имя всем вещам (наука является наиболее разработанным способом называния вещей). Мы появились на свет ранее того, как был совершен первородный грех: труд для человека — это вовсе не наказание, как об этом твердили на протяжении долгого времени. Даже когда в Библии подчеркивается тяжесть труда, осуществляемого после грехопадения, он все равно устаивается почитания как богоугодное дело, что противоречит презрению к ручному труду, имевшему место в античности: не презирай тяжкий труд, ниспосланный тебе свыше (см. Еккл. 7)*. Лекари, согласно уставу, должны лечить.

Христианство продолжило эту традицию. Греки упрекали Сократа, говоря, что ему не подобает искать свои примеры у ремесленников: но ведь Христос был плотником, и апостолы тоже трудились своими руками. Здесь следовало бы быть более точными при употреблении слов¹: в Священном писании сохраняется разделение между *operari* и *laborare* — трудом как творчеством и трудом как наказанием, или грехом. Когда святой Павел пишет: "Кто не хочет трудиться, пусть не ест"², он провозглашает закон творчества (*operari*, *εργαζεσθαι*), а не говорит о фатальности угнетающего человека труда (*laborare*, *χολειν*). Открыто противостоя спиритуалистическим философиям и религиям, спекулирующим на идеях поздней античности, христианство, если так можно сказать, возвращает своего Бога на Земле. Христос — первый, кто получил жизнь от творчества; связь с Создателем наблюдаемых вещей, которых религии духа считали недостойными имени Создателя, поскольку они не были созданы им самим, утверждалась с необычной силой. Они были неразрывно связаны с судьбой Вселенной, человек в своем грехопадении увлек их за собой, и ему надлежит восстанавливать их и свое достоинство в их первоначальном звучании (Рим. 8). Обещание этого — в воскресении Христа, благодаря которому "древнее прошло, теперь все новое" (2 Кор. 5:17), а человечеству надлежит не только подготовить новое небо, но и новую землю (см. Апок.). Теперь уже не труд, а праздность предадут позору отцы церкви: "С самого начала Бог назначил человеку устав деятельности не как страдания

¹ *Plaquet J. Aventures de la notion de travail / Esprit, juillet 1933.*

и наказания, а как самоосуществления и самообразования”¹. Тяжесть труда вознаграждается радостью победителя: средневековые прославили дело рук человеческих во многих песнопениях. Оно тесно связало рукотворство с молитвой на пороге храма и с созерцанием, которому предавались монахи.

Таким образом, склонять к презрению всех вещей и направленной на их созидание деятельности — значит исказить дух христианства. В самом деле, дух христианства был искажен на закате античного мышления рыцарским платонизмом, аристократическими представлениями о благородстве, а впоследствии — буржуазными предрассудками. Сегодня мы являемся свидетелями того, как эти явления сходят на нет по мере того, как их истоки уходят далеко в прошлое. Современное христианское мышление открывает в труде-наказании диалектику освобождения: может быть, именно развенчания труда, по меньшей мере труда изнуряющего, добилось человечество, следуя закону самого же труда. Можно ли понять значение кары Божией, которая носила бы характер мести, а не исцеления? Машина может стать орудием освобождения, о котором говорит Священное писание, если люди установят свое господство над природой и достигнут внутреннего единства.

Начиная с этого момента техника будет оцениваться, как это часто происходит уже и теперь, не с точки зрения ее механистичности и полезности, то есть с точки зрения “количественной”², а с точки зрения ее значения в общей судьбе человечества. И трудно не согласиться с тем, что преобразование христианского миропонимания свидетельствует не столько о его эволюции, сколько о возвращении к истокам.

3. В памяти людей сохранилось представление о тесной связи, существующей между машиной и войной. Эта связь имеет отношение и к страху, который оживляется с каждым шагом по пути прогресса в области производства машин.

С самого начала технический прогресс был ощутимее в сфере вооружения, нежели в каких-либо других областях. В XVI веке в гончарном производстве, плетении корзин, сельском хозяйстве прогресс существовал лишь в зачаточном состоянии, оставленном неолитической эпохой, в то время как военное производство совершенствовалось постоянно. В новейшее время войны и исследования в области военной техники заставляют индустрию прогрессировать в невиданных масштабах. Карты местности и световые сигналы прежде всего использовались на войне. Армейское мануфактурное производство Кольбера первым начало широко использовать сталь. Производство карабинов положило начало стандартизации во Франции (1785), и Адам Смит ссылается на военную промышленность как на типичный пример специализации и концентрации. То же можно сказать об изготовлении военного обмундирования, в котором в XVII веке была впервые предпринята попытка перейти к широкой промышленной стандартизации, обеспечивающей дешевизну

¹ *Saint Jean Chrysostome. Homélie au peuple d'Antioche**.

² См. название труда Р. Генона.

товара и его взаимозаменяемость. Именно этого требовал Наполеон от изготовителей стали, сопротивлявшихся нововведениям при производстве снарядов, что привело к изобретению Бессемера. Если бы не нововведения, вряд ли две мировые войны привели бы к появлению моторизованных частей, самолетостроению, радиокоммуникации, к достижениям в области космоса и атомной энергии. Наконец, колоссальные разрушения, причиненные войной, в послевоенное время стали мощным фактором активизации творческих сил, преобразования и модернизации производства.

Более того, армия сама захотела стать машиной и превратить человека в безликий винтик своего механизма¹. В конце средневековья рыцаря сменил мушкетер, этот первый представитель механизированной пехоты. В XVI веке принц Мориц Оранский на место наемного солдата ставит "дрила", с его отточенными механическими движениями. Артиллерия акцентирует абстрактный характер военного действия: пушка является первым механизмом, преодолевающим пространство и не нуждающимся в непосредственных контактах с человеком; вслед за этим артиллерия полностью подчиняет себе человека: теперь мы уже находимся в начале пути, который с изобретением авиации приведет нас к тому, что "четвертование, растерзание, стирание с лица земли, превращение в прах нескольких тысяч невинных жертв станет делом, которое один джентльмен сможет совершить, не запачкав своих манжет и не перетрудив свое воображение"². Чтобы армия была эффективной, чтобы она обрела автоматизм, оперативную исполнительность машины, надо не только совершенствовать атлетизм и реакции солдат, но и устранять все, что связано с критическим духом, чувственными привязанностями человека, его симпатиями (все, что может вызвать сопротивление), и в полной мере поощрять коллективную тупость, низменную ненависть, инстинктивную неменяемость. Механизация операций требует механизации не только материи, но и души. По мере того как армия превращается в национальную армию, это требование начинает распространяться и на гражданское население — состояние войны проникает в дни мира. Связь механизации с войной настолько тесна, что можно, вслед за Мэмфордом, задаться вопросом: армия ли стремится к механизации или машина имеет изначальную тягу к армии как к своей собственной модели? Нужен длительный мирный период, чтобы подобная ассоциация изгладилась из бессознательного народов.

4. Как бы ни была важна эстетическая реакция на машину, ей не достичь тех же глубин, что и она. Более того, она не в состоянии достичь той универсальности, какой достигали предшественники машины. Она касается только одного нового аспекта (и, несомненно, эфемерного) машины и одной современной идеи поведения художника. Античность не знала пропасти между искусством и техникой, и художник в своей

¹ По поводу данной проблемы см.: *Mumford. Technics and civilizations. Traduction aux Ed. du Seuil (Collections Esprit).*

² *Bernanos. La France contre les robots. P. 161.*

деятельности зачастую сближался с ней. Связующим звеном здесь был ремесленник. В средние века художник приравнивался к торговцам красками, которые в свою очередь были связаны с бакалейщиками и торговцами москательными товарами; зная это, не стоит удивляться тому, что в СССР драматические актеры и художники сцены входят в один профессиональный союз с машинистами и рабочими сцены. Разрыв произошел в XVII веке, когда приближенные к королю художники и скульпторы не захотели, чтобы их механически объединяли в один союз с "малырами, мраморщиками и шлифовальщиками"¹. Связанное в то время с народом через ремесленное сословие, народные песнопения, церковь, мистерии, балаганы, искусство следовало за двором и постепенно отделилось от людской юдоли. Развенчанное, оно стало бродить без руля и ветрил, пока не очутилось в душе романтика, который заставил его вещать о ее опустошенности и никчемности, о неспособности вырваться из уз раздвоенных чувств: отвращение к зарождающейся вульгарной меркантильности, неспособность бороться ни с ней, ни с машиной, ни с трудящимся людом, ни с авантюризмом современного мира. К несчастью, эпоха первичной индустриализации, эпоха каменного угля, была в то же время эпохой шлака и прокопченных городов; погоня за прибылью вела к появлению городских кварталов, где царил хаос, грязных пригородов, стихийных толкучек с их шумной назойливостью, всяческого рода подделок. Стремление угнаться за новыми формами толкало изобретателей к вычурному стилю: локомотивы с колоннами, самолеты, опутанные нитями, вагоны,¹ напоминающие повозки для лошадей, цемент, сработанный под мрамор, вздувшиеся стены, вычурные швейные машины.

На деле это уродство, порожденное страхом перед машиной, не столько задевало фанатиков антимашинизма, сколько наносило урон тому, что свидетельствовало об очищении современной чувственности, которое совершалось с помощью техники, обладающей безупречным внешним видом и строго определенной функциональностью. Страх поощрял примитивизм, претенциозность, обманчивые представления, искаженные формы, отсутствие целомудрия, сомнительные художественные ценности. Строгость, какую машина вменяет чувству, если и не убивает вечную тягу к изящному (возврат к барокко во всех областях, от книги до художественного полотна и моды, ярко свидетельствует об этом), то способствует возвращению к его наиболее примитивным формам. Чувственность, возбуждаемая светскими сплетнями о тайнах двора и откровенными арабесками, должна была всеми силами противиться этому. Лавочник реагировал на круглый столик на одной ножке в стиле времен Людовика XV, на краски под мрамор и городской дворик в стиле рококо так же, как реагировал на них эстет со своими обостренными чувствами. Такое препятствие оставалось достаточно прочным. Однако между двумя войнами оно стало давать трещину. Сегодня уголь отстает перед электричеством, а завтра электричество будет сдавать

¹ Requête au Conseil. Cit. par *Schuhl*. Philosophie et machinisme. Presses universitaires.

позиции перед атомом. Свет и краски вместе с блестящим металлом, стеклом и пластмассами появляются на заводах и улицах. После спячки закопченные города просыпаются во всей своей красе, как утреннее солнце, как сверкающие своей чистотой швейцарские деревушки.

Однако новая индустриальная эпоха (наступлению которой мешает наша бедность) делает нечто большее, чем просто устраняет угрюмое уродство машинизированных городов. Она с помощью машины и ее продукции облагораживает нашу изуродованную чувственность, подобно тому как эпоха высокой классики, от святого Хуана де ла Крус до Вольтера, от Эскориала до Дома Инвалидов*, от Малерба до Расина, придает наследию барокко черты Возрождения. Трудно переоценить значение этого возвращения к основам. Машина воссоздала функциональную красоту, красоту греческих храмов с их стрельчатыми сводами, в которых соединялись полезность, органичность и совершенство формы. Идя таким путем, машина предотвратила потерю искусством идеи реализма и художественности, вывела его из тупиков дурного рафинированного вкуса, чтобы направить на поиск внутреннего единства, только благодаря которому и рождается великое искусство. Машину обвиняют в стремлении к абстракции, она же, производя все новые и новые материалы, металлы и ткани, стекла и пластики, расширяет гамму чувственных отношений и возрождает вкус к подлинности; стимулируя познание, она развивает наблюдательность, которую художник утратил, начиная со средневековья, в цивилизации расхлябанности и пустословия; все это служит на руку искусству романа. Столкнувшись в человеческом мире с бесконечно малыми и бесконечно большими величинами, машина раскрыла неизвестные доселе истоки поэтического вдохновения. Она создала огромные конструкции: небоскребы, гигантские подъемные краны, стадионы, неизвестные со времен Древнего Египта, а также и микроскопически малые предметы. Где можно лучше познакомиться с миром Пизанелло, если не на выставке часов? Мы видим, как шаг за шагом настойчиво восстанавливается в своих правах прямая линия, вновь входят в моду арабески с их затейливыми орнаментами, безукоризненно ровные поверхности, объемы без искусственных подпорок. И здесь машина насаждает жесткие и заранее рассчитанные формы. Вслед за этим она принимается за кривые линии, хрупкие, как сама плоть, и приходит к интегральному исчислению. В хиреющий универсальный магазин, который не отличался ни порядком, ни мобильностью, где нельзя было определить, что подлинно, а что подделка, машина внесла свой строго установленный и невиданный доньше порядок: винты, спирали, сферические поверхности соединились с самыми простыми и милыми глазу формами. Машина внесла новые оттенки и ритмы в протяжное пение, в монотонный рассказ, в военную эстетику, которые тут же подхватили мюзик-холлы и их танцовщицы, заработавшие в механическом темпе. Машина упростила и вместе с тем укрепила нашу жизнь.

Однако машина — это всего лишь один из периодов в истории нашей чувственности. Она имеет свои пределы, свою возбуждающую чувство

выразительность и свой формализм; вместе с тем она содержит в своих узлах и соединениях силы, не всегда поддающиеся контролю. Однако общественность начинает понимать, что нельзя считать ее сугубо негативным явлением в нашем эстетическом развитии. И здесь мы ощущаем медленно созревающее сопротивление.

III

Среди отмеченных реакций, несущих на себе печать прошлого вообще и его вполне определенных моментов¹, чье историческое влияние начинает ослабевать, есть более старые и вполне современные, если судить о масштабах их проявлений. Антитехнизм приобретает в них почти религиозный характер. Здесь необходимо более внимательно рассмотреть вопрос о священном, к которому он апеллирует.

Основные идеи отсылают нас к следующим апологетическим суждениям: "Законы природы вечны; мы не можем пренебрегать без ужасных последствий тем, что сообщает она своим едва слышимым ровным голосом и что мы воспринимаем всем своим сердцем"². "Земля — это Мать для всех нас... Природа требует повиновения"³. Первейшей добродетелью человека, согласно Рёскину, "является познание нашей глубинной природы и подчинение высшим законам внешнего мира"⁴. У нашей деятельности, стало быть, существуют низины и вершины, ей свойствен неизменный "природный порядок". Человеческая деятельность не должна иметь других целей, кроме как познавать этот порядок и следовать ему. Предполагается, что каждое поколение находит его сообразным себе и познает его таким же способом, что и предшествующие поколения. Между человеком и этим порядком существует священная связь. Она, как и любая священная реальность, непостижима. Человек может создавать объекты только в состоянии экстаза, когда он растворяется во всюду разлитом божественном единстве, отступая от разума, который разъедает его, и от псевдообъективности мира, являющейся не чем иным, как жалкой условностью. Позитивное познание и приводящую его в действие техническую активность упрекают в десакрализации природы и отношения к ней человека, в лишении творчества ореола одухотворенности, можно даже сказать, в лишении творчества его "легких".

Это — типичная тема романтизма, и именно она приводит к Карлейлю и Рёскину. По многочисленным каналам она приходит от оккультной традиции, Руссо, пиетизма. Было бы ошибкой считать ее либо сугубо литературной темой, либо вычурным иносказанием. Миф о При-

¹ Мы вовсе не считаем психосоциологическими реакциями на механизацию целенаправленные акты, например, запрет в Англии Елизаветой употребления машин при обработке земли или запрет во Франции использования машин в ткацком деле; это были сугубо протекционистские меры в сфере экономики.

² *Carlyle. Cathédrales d'autrefois. III. Ch. I.*

³ *Ibid. Ch. VIII.*

⁴ *Fors clavigera. Lettre. III.*

роде-Матери глубоко укоренен в древнейшем коллективном символизме. Природа отождествляется с материей, с кровной матерью, с прошлым, с традицией, с детством. Человек всегда нуждался в том, чтобы чувствовать за собой прочные тылы, поддерживающие, подпирющие его даже в вере. Он говорил: да, природа, но это его природа, именно ее он желает, природа, дающая жизнь и согревающая, как чрево матери, природа, которая вся уплотнилась, чтобы стать ему опорой, а вовсе не для того, чтобы вести его вперед, в полное тревог будущее; природа-гарант, которая поставляла бы ему привычные его взору образы и одухотворялась бы силами, подобными тем, какими он сам обычно одухотворяется, которая внушала бы уверенность своим постоянством — бесконечным течением дней, сменой времен года и явлений, запечатленных с помощью теоретических понятий. Вам трудно будет доказать людям, боготворящим природу, что созданный ими ее образ — самый что ни на есть абстрактный, и, чтобы прийти к нему, необходимо предать забвению необычную, полную драматизма историю миров, перестать вопрошать о ее истоках и ее будущем, отвернуться от смерти и рождения, зависящих от игры атомов и лучей солнца, испытывать головокружение, сталкиваясь с бесконечно малыми и бесконечно большими величинами. Вам не дано вообразить себе все это, ваша "вечная природа" не знает ни повергающей в ужас природы греков, ни величественной и изменчивой истории современников, ни таинственной природы людей черной и желтой рас; вам известен лишь один образ природы-покровительницы, история которой ограничивается двумя или тремя поколениями людей одной-единственной расы, потрясенных собственными невзгодами. Инстинкт оказывается сильнее того, что мы видим своими глазами. Человечество привязано к своим истокам сильнее, чем это кажется. Оно не высвобождается добровольно из материнских объятий и сегодня все еще пребывает во власти инстинктов и религиозных представлений. Вопреки всем доводам, вклад инстинкта в создание такого ощущения природы значительно весомее по сравнению с тем, что впоследствии внесут в него религии. Последние, как и христианство, будут делать акцент на духовной связи человека с природой, лишая его связи непосредственной. Придя на смену анимизму, монотеизм создал религию духа и истины, а вместе с тем открыл путь техническому освоению мира, которым управляет разум, и этим разумом гении уже не владеют по своему усмотрению — Бог захотел оставить его в своем распоряжении. Эта магическая ментальность, полностью противоположная религиозному духу, возродится у большинства наших современников, независимо от того, разделяют они религиозное умонастроение или нет. И эту мифическую Природу, находящуюся в центре их представлений, они охотно признают за благо. Здесь можно обнаружить позицию Руссо, которую разделял и Шефтсбери: "Nature has no malice"*.

Одновременно с этой неопределенной возможностью природа в данной ментальности обладает еще и чертами отечества (в древнем символизме она зачастую отождествлялась с материнским телом, а также с морем). Долгое время физиократы** будут выступать против мануфактурного производства, утверждая, что земля является единственным

плодотворным источником богатств. Серьезные суждения на этот счет мы находим у Джини Ломброзо¹. Считается, что техника истощает природные богатства. В самом деле, исходные материалы теряют при обработке свою ценность: уголь более ценен, чем шлаки, водопад передает турбине лишь часть своей энергии, чистая бумага стоит дороже, чем бумага со следами типографских оттисков. Однако нелепо было бы отрицать, что индустрия обладает творческо-преобразовательными возможностями, как и нелепо было бы откровенно превозносить все бесформенное, необработанное, словом, все то, что не подверглось воздействию человека.

Индустрия встречает наиболее резкий отпор, когда она намеревается исказить невидимую глазом божественность. Лес до появления сельскохозяйственного труда был первым жилищем человека, и он остался в памяти людей (обратимся к фольклору), по существу, священным местом. Какие эмоции вызвают, когда рудники, где впервые были применены машины, начнут буквально пожирать красивейшие дубовые леса в Англии! Уже в XVI веке, в годы правления Елизаветы, были запрещены сталелитейная промышленность, поскольку она требовала большого количества древесины, и промышленное производство шерсти, поскольку стада занимали огромнейшие земельные пространства и поедали посевы хлеба. Некогда в ходу был миф о том, что пастушеские племена имели преимущество перед оседлыми народами. Но к ним пришла техника в виде машин, употребляемых при хлебопашестве, охоте, войнах, сократившая их ряды и уничтожившая преимущества. Может быть, не случаен тот факт, что французский рёскинизм зародился благодаря Дюамелю одновременно с заводами по переработке скота...

Защита окружающей среды является не чем иным, как средством выражения глубокой тревоги. Человек, вероятно, боится отделиться от своей Матери, судить о ней, подправлять ее, с тем чтобы связать с ней несравненно более высокое в качественном отношении общество, чем то, которое основано на непосредственных инстинктах. Он окружает опальным ореолом понятие об *искусственном*. Под тем предлогом, что человек в реальности, в окружении непредсказуемо ведущих себя творений рук своих, иногда впадает в раж, называя это крайностью или промышленным сверхпроизводством и нанося непоправимый урон ритму своего существования, стремятся дискредитировать то, что составляет очевидную сущность его природы — призывание к творчеству. Из этой позиции без каких-либо доказательств выводят, что искусственно созданные средства менее значимы, чем средства "естественные", что синтетические материалы уступают природным материалам и т. п. На деле речь идет не о фактическом положении вещей (здесь следовало бы меньше руководствоваться эмоциями), а о рефлексе, основывающемся на чувствах. Священный ужас появляется тогда, когда человеческий порядок начинает замещаться порядком вещным.

В таком случае бесчеловечным объявляется как раз то, что происходит от человека, но случается в самой человеческой среде, не

¹ La rançon du machinisme. P. 232.

подготовив предварительно его чувства, его глаза и уши. Вспомните, как машина в пору своего возникновения стремилась подражать живому. Вокансон изобретает первоначально механических гусей, и прочный успех механической игрушки обеспечивается тем, что она скорее бодрит, нежели вызывает беспокойство, и это происходит потому, что ее автор подчиняет механизм уже известным формам и специально подчеркивает его неловкость, когда он подражает им: та же самая толпа, которая только что смеялась, может удирать с воплями, если механизм станет вдруг действовать безупречно. Формы станков и произведенные ими предметы долгое время ностальгически следуют природным образцам: лампа довольно долго сохраняет форму пламени, имитирует пламя, пока люди не додумываются о скрытом источнике света. Самолет все еще упорно повторяет форму птиц. Однако самыми неудобными и неэффективными оказываются механизмы, которые менее всего отличаются от природных объектов; самыми привлекательными (и порой самыми красивыми), напротив, оказываются механизмы, в которых удалось добиться не зависящих от их функций форм, необычных решений системы уравнений. При своем появлении они вызывают ужас, какой случается во сне, приводя в состояние психоза. "Машина, состоящая из колес и выполняющая определенную работу, совершающая странные, непонятные движения, — писал один корреспондент в "Нюрнбергских хрониках" (1398), — является посланницей дьявола". Наши современники уже не ссылаются на дьявола, но и они испытывают чувство тревоги, подобное тому, какое возникает при столкновении с привидением.

Сходным с ним является чувство попрапия святых, святотатства, которое сопровождает некоторые научные исследования и их техническое воплощение. Ученый и инженер открывают одну из тайн природы, на что они не имеют права (вспомним о сокровищах, скрытых на дне морском, в пещерах или на небесах, о страданиях Адама, Прометея, Зигфрида). Они обращаются с ними как грубые обольстители, а не как верующие люди, они хотят владеть ими, а не приумножать их; оскверняя их, они оскверняют и самих себя. Мы со всех сторон окружены святынями.

Однако просто так говорить о священном — значит навешивать ярлыки на привычные вещи. Непочтительное отношение к проявлениям священного равносильно самой что ни на есть сомнительной их идеализации. Выше мы говорили о двойственности инстинктивных реакций. В данном случае инстинкт представляет собой реальную опасность. Машинизация одновременно свидетельствует о непосредственном и надживизненном соучастии мышления и материи. Но мы ведь живые существа — не вещи, но и не чистые духи. Жизни грозит полное изгнание из этого соучастия: мышление, отрезанное от жизни, легко становится неистовым и сжигает собственные крылья, попав в разреженную ангелическую атмосферу; погружаясь же без остатка в материю и увлекаясь ее геометрическими формами, мышление может утратить тот едва ощутимый смысл, который сообщает ей жизнь и с помощью которого оно должно освятить материю. Речь идет о смысле длительности, взросления, ор-

ганического существования, перехода на более высокую ступень и о непрочности всего этого предприятия. Жизнь заботится о единстве двух несоизмеримых друг с другом явлений. Это вовсе не значит, что она знает один только усредненный ритм. Когда Бернанос, оценивая ошеломляющее развитие техники, говорит нам: "Следует более думать о разрастании раковой опухоли, нежели о живых существах", он забывает о том, что клетки эмбриона развиваются столь же стремительно. Однако с течением времени жизнь, кажется, достигла размеренного ритма, и внезапное появление машины разбивает образы, которые ежедневно поставляют нам жизнь.

Мы просто забываем о том, что у жизни в распоряжении были тысячелетия для установления и укрепления своего порядка, человек же, изобретая машину, смог уложиться в два тысячелетия. Всякая нарождающаяся сила возникает в вихревом потоке и сразу же противопоставляет себя собственному окружению. Жизнь опрокинула порядок, учрежденный материей и энергией, что не помешало ей воспользоваться физико-химическими структурами и сохранить связь с великомасштабными астрономическими ритмами. Так что человеческий мир не порывает с необходимостью все свои жизненные связи, а изменяет формы и раздвигает границы жизни, чтобы создать структуры антропосферы с ее мышлением и машинами. Механическое противостоит жизненному, но противостояние это носит исключительно диалектический характер. Механическое в его зачаточном состоянии значительно беднее жизненного, однако планктон, плавающий на поверхности океана, не выдерживает никакого сравнения со светилами. Такое почкование всемирной истории можно оценить только по ее плодам. А два тысячелетия развития машин, несомненно, изменяют наши суждения. Техника воздействует на жизнь, только руководствуясь человеческим духом, чтобы обеспечить человеку переход от всецело рабского положения в условиях бесчеловечной природы, близкого к животному состоянию, к разумному господству в очеловеченной природе.

Было необходимо, чтобы наша созидательная деятельность сопркоснулась с чувственно осязаемыми вещами, и мы полностью убедились в том, что природа является не только местом рождения человека, что она дана человеку для деятельности, границы которой мы еще не в состоянии предвидеть, но смысл которой нам очевиден: природа предлагает себя человеку, чтобы он переделывал ее. Основоположник марксизма утверждал, что в его философии стихийно возникшие предпосылки впервые сознательно трактуются как созданные предшествующими поколениями людей, лишаются своей стихийности и подчиняются власти объединившихся индивидов¹. Впервые или не впервые, дело не в этом. *Считать "как если бы"* не значит предсказывать результат. Тот или иной опыт может предначертать пределы, которые новые опыты отодвинут еще далее; одна лишь цель в состоянии определить правила игры. Совершенно очевидно, что техническая эра — это время, когда природа, чтобы достичь подлинного состояния, целиком ставит себя под вопрос. Природа теперь полностью вовлечена человеком в его, челове-

¹ Idéologie allemande. Ed. Coste. / Oeuvres phil. T. VI. P. 231*.

ческую, авантюру. "Сегодня для нас, — пишет Мэмфорд, — природа не является более абсолютom, или, точнее, мы не рассматриваем более природу так, как если бы она существовала вне и независимо от человека, как если бы преобразования, которым человек подверг природу, сами не составляли бы часть природного порядка, ради которого он появился на свет... В конечном итоге внешняя природа не обладает независимой от человека властью: она является результатом коллективного опыта человечества и сферой его последующих экспериментов, которые будут осуществляться с помощью науки, техники и искусства"¹. Природа, возрождающаяся в человеческой истории, говорил Маркс, есть *действительная* природа человека². Веществу природы человек "сам противостоит как сила природы. Для того чтобы присвоить вещество природы в форме, пригодной для его собственной жизни, он приводит в движение принадлежащие его телу естественные силы: руки и ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу"³.

Машина со всей ее полезностью не является простым материальным продолжением нашего тела. Она принадлежит другому порядку: машина — дополнение к нашему языку, языку математиков, предназначенному для проникновения в тайны вещей, для обнаружения их скрытых возможностей и не нашедших еще употребления резервных сил. Язык этот можно упрекать в том, что он, формулируя ту или иную идею, делает ее застывшей, окаменевшей. Но разве способны мы проникать в те вещи, которые нам не удалось выразить с помощью слов? Тяжеловесная защитительная речь Джини Ломброзо направлена на поддержку того, что не высказано словами, в пользу неформализованного богатства, против богатства, выраженного с помощью формулировок; это — выступление за отставку человеческого феномена, за его гибель. Схоластика, действительно, умерщвляет язык, но он возрождается поэтами. Машина всякий раз несет с собой смерть, когда подчиняет человека своей примитивной механике, закону повторяемости и догматизму: на этом и только на этом сосредоточены мысли наших философов. Но машина может также стать поэзией, воздействующей на наши руки. Приблизительно то же самое говорил Маркс: назначение поэзии заключается в том, чтобы, обновляя нас, обновить весь мир. Мы не можем сказать наперед, одержит ли поэзия верх над схоластикой, но несомненно, что история машины будет осуществляться как история идей, индивидов и обществ, как чередование периодов поэтического подъема и схоластических спадов. Такова судьба всего, что связано с человеком. Нам не к кому взывать, как это делали дикари при малейшем продвижении вперед, тем более нам не пристало взывать к смерти, как делали они, когда Бог хмурил брови.

Забота о сохранении природы, как внешней, так и нашей собственной, в какой-то мере умаляет нашу тревогу за будущее, которое, как

¹ *Mumford*. *Technics and civilizations*. P. 329.

² *Économie politique et philosophie*. T. V. P. 36*.

³ *Le Capital*. Ed. Molitor. T. II. P. 34**.

отрок, просуществовав долгое время за счет оставленного ему наследства, теперь вынуждено брать свою судьбу в собственные руки. Человечество достигло именно такого возраста. До недавнего времени человек жил в окружении семьи, получая его как нечто само собой разумеющееся, защищаясь только от его уж слишком гнетущих притязаний. Сегодня человек осознает, что он призван стать творцом мира и собственной судьбы. Машина материализует эту свалившуюся на него миссию: человеком вновь овладевает тревога оттого, что он стоит на пороге взросления. Казалось бы, средневековому человеку *было дано* все: сверхприродный порядок, мирской порядок, социальные установления и индивидуальная судьба. Ему из всего этого ничего не надо было менять — ему предстояло меняться самому внутри уже существующих условий. Духовное преобразование индивида было грандиозным по своим масштабам, однако в значительной мере космическая традиция христианского воспитания накрепко связывала его с изменением мира. Для средневекового человека все это носило глобальный и эсхатологический характер, он не пришел еще к пониманию *исторического* и *практического* смысла взаимодействия мира с человеческой активностью. Может быть, человеку от природы свойственно проигрывать в мыслях ход своей судьбы, прежде чем осуществлять ее в реальной жизни.

То, что антитехницизм является реакцией против этого открытия, то, что оно вызывает у нас тревогу, очевидно следует из его положений, и здесь достаточно обратиться к хорошо известным психологическим схемам. Об отрицательном характере антитехницизма мы читаем на каждой странице трудов Рёскина: "Я умоляю вас отвлечь ваши мысли и сердца от желания познать все, что существует на земле и на небе. Мы в состоянии постичь лишь малую толику, когда речь заходит о Провидении или о законах бытия... Помните: по ту сторону от потребностей нашего убогого существования, за пределами крохотного царства, где нам предписано быть безмятежными и умиротворенными правителями, все то, что расширяет нашу деятельность, увеличивает опасность нашего безумия, все то, что приумножает наши знания, несет в себе источник страдания"¹. Отсюда следует осуждение науки, разрушающей веру в то, что человек является центром мира и пупом земли; строки эти рисуют наводящий ужас образ Вселенной, где все — лед и пламень, насилие и случайность, где нет следа ни жизни, ни человека. С момента зарождения индустриальной эры мы можем увидеть и другие столь же значительные по своей силе выступления протеста: архаический романтизм с его культом самовоспроизводящейся истории, кризис примитивизма (негритянские живопись и танцы, эстетические искания в сфере обыденной жизни), сюрреалистские пристрастия к сновидениям и состояниям безумия, скаутское движение к лишенной следов человека природе, мистификация кустарного производства, земли, фольклора в 1940 году, а сегодня — миф о возврате к первозданному состоянию, к 1900 году, его моде и художественному стилю и т. п.

¹ Eagle's nest. P. 94.

В то время как машина не знает никаких приключений, мы пытаемся привить ей страсть к ним, сделать ее провозвестницей счастья. Она не предназначена к этому, и наивно упрекать ее сегодня за наши несбывшиеся мечтания, как если бы ей была уготована именно такая роль или роль вершителя всего происходящего в мире. Но разочарование является одновременно и убежищем, и средством оглянуться назад. Современному человеку случается более откровенно признаваться в своей неподдельной тревоге: в то время как машина предлагает ему свои возможности, овладеть которыми он может лишь в борьбе, лишь подвергая себя риску, человек опасается, как бы она не отняла у него его владения — кажущуюся суверенность мира, состоящего из неподвижных вещей.

Едва родившись, машина обнаружила перед человеком свои бесспорные преимущества: "Машина жизнеспособна и всегда находится в боевой готовности, а человеку свойственно уставать; машина действует трезво и спокойно, а человек туп и бестолков; машина не нуждается в отдыхе, а человеку необходимо спать, иначе он выйдет из игры; машина всегда на своем посту, всегда готова к работе, ее живучесть и терпение никогда не иссякнут; ее мощь сильнее, чем мощь сотен совместно действующих людей; она стремительней птицы в полете"¹.

А что, если машине удастся освободиться от человека? "До сих пор машины взаимодействуют друг с другом при помощи человеческих чувств. Один локомотив встречает другой локомотив душевизирующим криком, и тот мгновенно удаляется; но первый локомотив подал сигнал второму, надеясь на слух машиниста; если бы не было машиниста, то призыв первого локомотива повис бы в воздухе. Было время, когда казалось невероятным, что машины смогут управляться с помощью звука, пусть даже в этом и будет замешана человеческая способность слышать; может быть, настанет такой день, когда отпадет необходимость в человеческом слухе, и машины будут общаться одна с другой собственными средствами, связанными с их устройством, или когда их язык усовершенствуется, перейдя от животного крика к сигналам столь же сложным, что и наша речь"². Таковы размышления, которые толкали жителей воображаемого Эриуона* на разрушение машин. Они вели к созданию мифа о роботе, ставшем одним из самых значительных мифов нашего времени. Может быть, осуществляются пророческие слова Батлера о том, что машинам, чтобы стать живыми существами, остается только научиться воспроизводить самих себя? Ведь существует множество способов самовоспроизводства; разве природа все их не переносила? Может случиться, что мы станем свидетелями того, как одни машины порождают другие машины, и вмешательство человека здесь окажется столь же ненужным, как и тогда, когда насекомое переносит пыльцу с одного цветка на другой? Разве здесь все не происходит спонтанно? И так ли уж свободен человек, находясь в удушающих

¹ Butler. Erewohn. Ch. XXIV.

² Ibid., III. 7.

тисках природных детерминизмов? Дайте машине время столь же длительное, какое предшествовало зарождению жизни, и ждите. В самом деле, как заключает библейский пророк, пребывая в страхе и дрожи, мы своими руками творим собственных последователей, которые будут господствовать на земле. Используя их умение и автоматизм, мы создаем машины более умные, чем мы сами. Придет день, когда человек превратится в паразита, живущего за счет машины, "в букашку, привычно покусывающую машину". Паразит едва различает, что есть его тело, — то, что он ощущает движущимся, или то, на чем он паразитирует. Машина все более и более отчуждает нас. В то время как мы паразитируем на мире, в который машина закрывает нам доступ, она паразитирует на нас, внутри нас: она до такой степени поработает, закабалит и абстрагирует нас, что если однажды мы уничтожим все существующие в мире машины, то обесиленный род человеческий погибнет в течение шести недель.

Но оставим в стороне мифы и обратимся к фактам. Любая деятельность машины является преобразованием рода человеческого, его перенесением из одной Вселенной в другую. До недавнего времени человек в целом жил под воздействием локального окружения. Машина шаг за шагом вырывает его из этого окружения. Возможность передвижения первой распахивает перед человеком далекие дали. Скорость позволяет ему передвигаться все быстрее и быстрее. Изготовление бумаги, отмечает Мэмфорд¹, кладет конец коммуникации, осуществляемой непосредственно, "глаза в глаза", в пользу опосредованного общения: договоры, займы, сделки, обмен новостями, информация и т. п. Планирование в экономике, хотите ли вы этого или нет, ведет к миграции рабочих. Мы становимся свидетелями успехов астрономических изысканий, и неудержимые в своих предсказаниях ученые уже говорят о возможности распространиться с Землей, если она под воздействием человека превратится в оледенелую или, напротив, в раскаленную каменную глыбу. Мы называем "человеческой ступенью" то состояние, которого человек достиг благодаря своей непосредственной деятельности. Сегодня же он все более и более осуществляет деятельность на расстоянии. Где теперь располагается эта ступень? Отличается ли она от того, над чем человек может господствовать, и кому известны ее пределы? Мы являемся свидетелями истинной физической универсализации человеческого присутствия. От этого у нас голова идет кругом.

А вот одно из потрясений в нашем бытии: до сих пор человечество жило в эпоху труда. Труд, даже если он вынужденный, является для большинства людей исключительно крепкой опорой, так что во время досуга они кажутся нам выбитыми из колеи, опустошенными. Вероятно, и мы уже это ощущаем, машина сможет положить конец эпохе труда: рано или поздно — какая здесь разница — нам придется платить долги. Каждый, пусть даже в безотчетной тревоге, спрашивает себя: "Что мы будем делать, когда нам нечего будет делать?"

¹ Mumford. *Technics and civilizations.*

Выше мы говорили о новом языке. Речь идет о возникновении научного языка и о его продолжении — механическом языке. Этот язык упорно утверждает себя не только там, где действуют физические законы. Внедрившись во все человеческие отношения, язык техники начинает теснить язык, подчиненный грамматике. В эпохи, которые считаются зарей человечества, безотчетно верили в магическую силу слова. Нет нужды обращаться к колдовству, чтобы убедиться в этом: многие родители руководствуются этим при воспитании детей, политики используют в парламентах, как если бы изреченное слово оказывало непосредственное воздействие. Развитие техники приучает нас думать, что самые громкие слова и самые сильные желания могут в равной мере остаться без отклика или потерпеть неудачу, если они не имеют достаточного технического обеспечения. Науки о человеке свидетельствуют в пользу необходимости технической оснащенности, даже если речь идет о духовной жизни. Что может быть ужаснее, если вдруг человек осознает, что произносимые им слова не имеют никакого значения и что он еще не освоил язык, который позволил бы ему по-новому выразить себя?

Новый язык в самом деле открывает перед нами новые возможности. Но сами эти возможности вызывают в нас чувство страха. Военная техника, включая атомную бомбу, заставила нас ощутить всю свою разрушительную силу; государственная машина испытала на нас всю свою подавляющую мощь. Даже если государство подчиняется течению жизни и не в силах уничтожить нас, оно является настолько могущественным, что неминуемо должно было бы перевернуть вверх дном все наши привычки, хотя бы речь шла об осмотрительных добродетелях, на которых основана данная общественная модель; гражданская жизнь обязывает нас по-новому увидеть поднимающееся изнутри нас мощное пламя и по-новому повести изнурительную борьбу с действующими внутри нас богами.

Наконец, машина является уникальнейшей причиной нестабильности. Тот, чье богатство сегодня связано с угольной промышленностью, завтра может лишиться его, а его место займет владелец нефти, водяных электростанций или урановых копий. Изобретение, получившее жизнь в какой-нибудь лаборатории Чикаго, может пагубно сказаться на судьбе миланских рабочих. Четыре года борьбы и трудовых усилий рабочих всего мира были бы сведены к нулю, если бы Гитлеру хватило времени на изобретение атомной бомбы. Нестабильность коллективов — это также и нестабильность индивидов. В условиях ремесленного труда индивид ощущал себя почти полностью ответственным за собственную жизнь, что зависело от того, трудится он или предается лени, разумен ли он или расточителен. Отдельный несчастный случай воспринимался либо как катастрофа, не имеющая отношения к ходу дел, либо как закономерное событие, связанное с предусмотренным сроком платежей. Теперь катастрофа приходит к индивиду от самих структур его труда, она грозит отовсюду, но никто не знает, откуда конкретно. Никогда еще чувства безысходности и бессилия не были так велики, как сегодня, когда Вселенная предлагает нам ключи ко всемогуществу. В коллективном чувстве машина и сопутствующие ей явления, которые

вызывают гнев (кризисы, войны, угнетение), заняли то место, какое в античном мире принадлежало неустойчивой атмосфере, — место фантастической, изматывающей человека силы, которая, будучи абсолютно безразличной, может либо оставить после себя руины, либо привести к процветанию, и ее постоянная угроза сводит на нет все те блага, которые она сама же создала для нас. Неистовая и безразличная по отношению к человеческому желанию природа, более могущественная, нежели диалектически противоречивое сознание, питала ионические философские системы и впервые подверглась гуманизации благодаря мифу: боги и богини сделали из этого чуждого абсолюта зеркало, которое постоянно отражало перед человеком его собственный внушающий доверие образ, а ученый Птолемей нарисовал картину вселенской мастерской, куда мы удаляемся от Земли, вместо того чтобы вторгаться в наводящее ужас неизведанное, куда уходим от хаоса, царящего в подлунном мире, и ищем покровительства у совершенства. Сопротивление фольклора христианскому монотеизму показывает, как часто человек нуждался в братском союзе со Вселенной, чтобы бороться с ее же головокружительными глубинами и ее безмолвием. Эта покровительствующая система распалась под совместными ударами монотеизма и современной науки. Начиная с XVI века Вселенная снова становится бездной. Именно в это время расширяющая свои границы изобретательность человека призывает его овладеть Вселенной не только мифически, но и реально, с помощью последовательных завоеваний разума. На открытой им почве, которая теперь беспредельно расстилается перед индивидом, он не найдет больше своих следов: человек сам должен оставить на ней след. Ужас, вызванный этим незнакомым явлением, растерянность перед лицом внезапно заявившей о себе во весь голос ответственности — всего этого достаточно, чтобы объяснить ненависть человека к машине, бросившей его навстречу неизвестности; это — реакция пришедшего в замешательство ребенка.

Вероятно, не стоит уж слишком злословить по поводу защитной реакции. Инстинкт является ангелом-хранителем для большинства из нас. Когда люди, побывавшие на высоких вершинах, проложили дорогу, по которой можно было совершать восхождение, то это вовсе не означало, что по ней надо было направить других людей, не способных вынести подобное испытание. Имеющая мало обоснований с научной точки зрения тяжба против Галилея была обычной защитой слабых людей, ожидающих, когда созреет мышление сильных мира сего. Сегодня мы можем лишь надеяться на то, что человечество, вступая в машинную эру и беря себе в союзники отвагу и трезвость первопроходцев, сумеет гуманизировать ее.

Более того, если антитехницистская реакция порой обнаруживает реальные и вполне серьезные опасности, то она выполняет полезную профилактическую работу. Взять хотя бы один из ее последних тезисов, вызвавший у нас гораздо более конкретные опасения, чем большинство предшествующих идей: не рискует ли новый мир вместо того, чтобы

с помощью машины гуманизировать природу, с помощью той же машины превратить человека в вещь?

Механика начинается с абстрагирования: она оставляет без внимания то, что не может быть измерено. Индустрия также начинает с абстрагирования: она обходит стороной то, что не может быть использовано. И обмен товарами начинается с абстрагирования: он не имеет дело с тем, что не может иметь стоимости. Благодаря незнанию мы упускаем из виду, а упуская из виду, мы отвергаем. Техник готов стать тем, для кого существуют только измеряемые отношения, полезные вещи, имеющие стоимость товаров. Согласно Марксу, подобное отчуждение связано с капитализмом; социализм должен придать технизированному миру человеческую ориентацию, что нейтрализует его отчуждающую силу. Но Маркс стоял еще у истоков неистовствующей техники, тогда еще весьма умеренной. Он не мог судить о том, свидетелями чего стали мы, — о своего рода ускорении, свойственном технической организации, о безумии механизмов, приведшем на путь сверхпроизводства благодаря их бьющей через край активности, а также благодаря потребностям и целям, ради удовлетворения которых оно возникает. На память приходит ответ Форда на вопрос о причине его неиссякаемой деятельности: "Я не могу остановиться". Существуют историки, изучающие библиографию подобного рода. Можно упиваться механизмами, как упиваются словами. Маркс, связав отчуждение исключительно с капитализмом, бесосновательно закрыл доступ к отчуждению подобного типа. Развитие одних и тех же явлений в самых различных режимах дает повод считать, что техника несет в себе *hybris** независимо от обстоятельств.

Чтобы надлежащим образом ограничить технику, следует учитывать ее абстрагирующую мощь. Для кустарного производства характерно то, что человек физически участвовал в нем и трудился своими руками. Все силы человека приходили в движение, его присутствие было необходимо всюду, и результат труда был у него перед глазами. Машина, расширяя поле деятельности, выводит человека за пределы деятельности, и он теряет из виду ее результаты. Машина увеличивает расстояние между замыслом и его осуществлением, между человеком и человеком настолько, что его уже нельзя охватить взором — оно ускользает от внимания исполнителя. Сельский житель наверняка знает своего клиента. А знает ли своего клиента директор "Ситроена"? Сельский житель знает своего соседа. А знает ли его главный администратор департамента социального обеспечения? Трудно лишить жизни человека или даже просто испытать чувство ненависти к нему, если он здесь, перед вами, но ничего не стоит уничтожить его росчерком пера или с помощью оружия, которое где-то там применит анонимный убийца. Пушечный бой воспринимается спокойнее, чем драка на ножах. Если журналисту представить поочередно три сотни юношей и девушек, чтобы он унизил их всеми ему доступными средствами, он конечно же откажется от этого; но тот же журналист не испытает угрызений совести, бодро сообщая в воскресной газете о том, что застенчивый молодой человек из наших военно-воздушных сил совершил массовое убийство пяти сотен людей,

нажимая кнопки на своем командном посту. А сгорающий от патриотических чувств профессионал-предприниматель, который внимательно изучает искусно вычерченные графики, сообщающие ему о нищете и негодности людей? Машина, предназначенная для спасения людей, сначала имела целью забвение людей.

Слово "забвение" можно воспринимать так, будто речь идет просто о негативной позиции. Однако психология убеждает¹ нас в том, что отвержение другого человека было началом кровопролитий. Другой — это всегда осложнения и потрясения. Нормальная реакция ребенка на предмет, который ему трудно принять, к которому трудно приспособиться, — разрушить его, и такая реакция может быть реальной или идеальной, воображаемой (внутреннее отрицание, выступающее в виде забвения, безразличия или неприятия). Большинство людей боятся смерти и ненависти. Подобно тому, как неуверенному в себе человеку легче выразить обуревающие его чувства с помощью письма, чем сообщить о них на словах, большинство людей, испытывающих отвращение к убийству, легко согласились бы с ним, если бы оно происходило не у них на глазах, на расстоянии от них. Расстояние — это огромный завод, это политический, административный или полицейский аппарат, это коридоры дипломатии, это сеть, сотканная из продуктов деятельности или самих деяний и наброшенная на мир, это игра на бирже, это, может быть, также и неспешное течение времени, скрывающее момент завершения деятельности. Здесь машине необходимо позволить совершенствоваться, как она того требует, соединяя механизмы, приводимые в движение стальными колесами, с механизмами, винтиками которых являются люди с их личными судьбами.

Машина, увеличивая расстояние между людьми, не только ведет к забвению человека. Как продукт абстрактного мышления, обладающего безликостью вещи, она сродни самым примитивным чувствам, мыслям, опыту. Быть для машины — значит отождествлять себя с усложненной и вместе с тем строго определенной формулой, которая исчерпывает все ее существование; как тут не поддаться соблазну свести человеческое существование к такого же рода схеме и отринуть все то, что сопротивляется такому сведению, — неустранимые индивидуальные качества, тончайшие духовные порывы, не поддающиеся рационализации и схематизации отношения и опыт, такие, как любовь, сострадание, великодушие, тревога, надежда, восхищение. Начиная с Кондильяка и Канта, схематизм конструктивной производственной деятельности завладел вниманием как философов, так и политиков, скрывая огромное разнообразие операций, выполняемых в теоретической и практической деятельности. Машина — это существо, чьи возможности (или производительность) прямо пропорциональны аккумулятивному в ней энергии, скорости, закономерностям: она отучает думать, что слабость может иметь обоснование, что с появлением живых существ хрупкость становится признаком высочайшего качества, что творческая деятельность обладает собственным — специфическим и неукротимым — рит-

¹ Greeff E. de. Les instincts de défense et de sympathie. PU, 1947.

мом, что медлительность может быть плодотворнее поспешности, а фантазия имеет преимущество перед пунктуальным исполнением. Машина абсолютно объективна; она вся вовне, у нее нет тайн, нет внутреннего мира; именно поэтому она подчинена закону скорости и от нее не может исходить ничего неожиданного. Теоретически она вся, целиком, включается в игру, самой своей природой она обречена на мгновенную жизнь, и если она продолжает существовать какое-то время, то только потому, что так захотел человек. Как говорит Бернанос, машина постоянно пребывает в состоянии "заговора против всего того, что имеет отношение к внутренней жизни"¹; ей от природы предписано разбивать тишину, изгонять прилежание, вести борьбу с созерцанием и ничегонеделанием; она лишает ценности все то, что не может получить выражения, и стремится создать собственную поэзию: именно здесь пролегал путь, ведущий к абстрактному искусству. Машина стандартизирует, рационализирована, она в той же мере стремится к единообразию, в какой человек — к разнообразию.

Кажется, все возможности машины говорят о ее бесчеловечности, и опыт, как представляется, подтверждает это. Видимо, следовало бы извиниться за то, что я говорю банальные вещи, если бы сегодня они не имели столь значительных последствий, идет ли речь о машине экономической или машине военной, которые ставят на карту нашу судьбу, о машине административной, которая в любой стране презирает народ и глумится над ним, о машине полицейской, которая лишает свободы, об автомобилях или радиовещании, держащих своих владельцев в рабстве, крупных заводах, которые ежедневно сначала заглатывают, а затем проглатывают массы своих невротизированных крепостных, чтобы потом отдать их на растерзание вечерней прессе, — всюду родившаяся машинная цивилизация жестоко расправляется с личной жизнью и стирает в порошок свободу.

Можно детально обсуждать вопрос об ответственности машины и ее окружения. Но остается бесспорным тот факт, что в лоне технического универсума появляются угрозы, направленные непосредственно против формирования личности. Машина не только не приносит человеку облегчение и счастье, а напротив, ввергает его в новую драму, призывая выйти из естественного для него дремотного состояния и преодолеть иллюзию о собственном всемогуществе.

Способен ли человек на такое?

Если бы обезличивающая мощь машины была абсолютно неустрашимой, то вряд ли можно было бы поверить в то, что человек ввяжется в борьбу. Но, может быть, стоило бы оттенить картину, которую мы позволили создавать по эскизам, связанным друг с другом почти неумолимой логикой? Машина не так уж абстрактна, как это считают. Совершенная абстракция исключает градацию, формы, ограничения. Ведь любой инженер знает, что существует расстояние, отделяющее проект от его воплощения. Коэффициент безопасности, кото-

¹ Bernanos. La France contre les robots.

рый принимается во внимание при составлении теоретических формул, достаточен для того, чтобы абстрактно мыслящий техник вполне реально выполнил свою работу. Переход от одного к другому он осуществляет по своему усмотрению. Говорят, будто французский инженер сначала производит расчеты, а затем подгоняет их к тем материалам, которые имеет в своем распоряжении, в то время как американский инженер сначала требует показать ему соответствующие материалы, чтобы просчитать то, что можно из них изготовить. Как бы то ни было, материал обладает индивидуальными свойствами, которые не может игнорировать техническая мысль. И еще. В каждом предмете, созданном человеком с помощью техники, в монументе, промышленном комплексе или административном аппарате понятие о каноне, или модели, является существенным. Говорят, что заводы имеют "оптимальную характеристику", и если ее игнорировать, не обращать на нее внимания, то производительность труда будет падать. Столь же важна эта проблема для администрации. Для механических операций существуют оптимальные ритмы. Десятичное исчисление скрывает эти истины, но они изо дня в день заявляют о себе. Один из первых теоретиков в области технических наук смог сказать, что машины в своем развитии проходят три стадии: подражание природе, отстранение от природы, возврат к природе с помощью изобретения сложных механизмов, позволяющих автоматически менять деятельность в зависимости от получаемых извне сигналов. Он выделил серию машин, сходных между собой по внешнему виду и действующим в них агрегатам, и увидел, что развитие отдельных машин повторяет, как это происходит в биологии, филогенетический порядок, свойственный определенной серии. Он отметил также, что здесь имеет место устаревание отдельных органов и их отмирание. Короче говоря, заключил он¹, "за формами, даже созданными нашими собственными руками, скрывается нечто такое, что можно было бы назвать пульсированием жизни и что недоступно непосредственному восприятию". Что бы там ни говорили, чем менее абстрактна машина, тем менее она ведет к обнищанию. Кодак положительно воздействует на глаз и чувства тысяч людей; радио, если им пользоваться с умом, может формировать вкус и воспитывать слух публики в более крупных масштабах, чем это происходит на концертах; скорость расширяет границы мышления и делает мир во всем его многообразии доступным всем. Справедливы суждения о том, что машина ведет к единообразию. Занимаясь вопросами эволюции техники и опираясь на добротное анкетирование, г. Леруа-Гюран делает вывод о том, что ничто не говорит о нивелировании созданного предмета: в нем содержится столько же новизны, сколько и единообразия². Итак, не будем требовать от орудий культуры, чтобы они сами автоматически превращались в явления культуры: латинский алфавит или крестьянская мудрость могут наравне с автомобилем или радиовещанием наносить вред, если окажутся в руках неумного человека.

¹ *Laffitte. La science des machines. Bloud et Gay. P. 48.*

² *Leroi-Gurhan. Milieu et techniques. P. 399.*

Машина ничуть не больше, чем мышление, оторвана от жизни. Даже там, где она стремится все автоматизировать, ей не принадлежит исключительно обезличивающая роль. Хорошо известно (возьмите, к примеру, перебирание четок, монотонное пение, упражнения йогов), что определенного рода автоматические движения могут освобождать дух, более того, могут вести к духовной свободе. Кустарный труд, изгнанный первой промышленной революцией, можно сравнивать с трудом квалифицированных рабочих¹, и позднее ему будут уделять много внимания, противопоставляя труду рабскому. Если правда, что "в мире техники слабоумный может достичь больших результатов, оставаясь при этом слабоумным" (Бернанос), то мы не знаем, в состоянии ли какие-либо курсы, дипломатия или политическая карьера помочь нам избежать такой опасности.

В самом деле, необходимо отказаться от подобных поверхностных суждений и оценивать культурную функцию техники со всей серьезностью. С помощью техники человек объективирует свою деятельность и самого себя точно так же, как делает это с помощью права, государства, учреждений, научного познания и языка. Эти посредники являются необходимыми помощниками живущего в мире духа. Там, где существуют посредники, отчуждение находится под контролем. Его деятельность одинаково надежно пресекают и христианин, посещающий церковь, и ученый, предающийся своим занятиям, и рабочий на заводе, и потребитель, окружающий себя предметами комфорта. Есть такие общества, где техника как бы стоит на месте, а есть такие, где на месте стоят право, теология, власть. Однако присматривать за отчуждением не значит отказываться от посредничества. В противном случае следовало бы отказаться от судьбы быть человеком, от языка, от движения и вернуться назад, к жизни моллюска, прилипшего к скале. Нет ничего более легкого, чем кричать от имени человеческой личности, отвергая все безличностное. Но человек формируется в среде, которая не является ни сугубо субъективной, ни сугубо объективной. Безличностное необходимо ему и для общения с внешним миром, и для упрочения собственных основ, подверженных разлагающему влиянию субъективизма. В то время, когда декадентский индивидуализм толкает западного человека к внутреннему распаду, мир техники способен внести в нашу культуру два важнейших компонента.

Прежде всего он требует от человека, чтобы тот вышел за собственные пределы, особенно это важно на первом этапе, когда человек либо безумеет от изворотливости, либо занимает оборону и погружается в подсчеты, либо предается ложным мечтаниям, которые оставила нам в наследство эпоха позднего романтизма и крайнего эгоизма. Фауст II, Сольенс, Евпалин* не представляют всего человечества, они обнаруживают себя менее жизнестойкими, чем Рене, Вертер, Адольф или Рюбампре**. С помощью машины мы принялись за исправление бабокко. Необходимо расширить наше видение: техническая деятельность, как и ручной труд, — это вызов Нарциссу. Уже за это нарождающийся гуманизм должен быть ей благодарен.

¹ *Friedmann. Problèmes humains du machinisme industriel.*

Мы говорим о внутреннем *hybris*, о его способности выходить из берегов. Это действительно так. Но это половодье несет в себе и сдерживающую силу. Благодаря технике регулируется взаимосвязь между желанием и его удовлетворением. Тем самым техника сдерживает разгул желаний. Амбиции под воздействием аффектов (злопамятство, коллективные мифы и т. п.) могут неистовствовать без ограничений, о чем прекрасно свидетельствует пример Гитлера. Засилие техники в свою очередь зависит от эффективности: технократ, хотя он к этому и не расположен, будет стремиться к социализму, если в нем одержит верх идея организованности; технократ, даже если он вовсе не разделяет идеалы гуманизма, задумается, прежде чем развязать войну, которая не принесет ему дохода. Таким образом, у машины имеются свои доводы против собственного безрассудства.

Разумеется, к этому есть что добавить. Однако, чтобы не стать жертвой машины, не надо ждать от нее того, чего она дать не может, не стоит опасаться того, чего она не в состоянии произвести; словом, какой бы ни была машина, ее надо воспринимать без фантазий. До тех пор, пока оснащенность человечества не достигнет стабильного состояния, то есть пока не будет создано коллективное тело человечества, без которого мы не сможем обрести коллективную душу, машина еще долгое время будет причиной наших детских болезней, кризисов роста, горячечного злословия. Так же, как каждая машина, прежде чем получит экономически разумную форму, будет страдать гигантоманией, так и увеличение числа машин неизвестно сколько времени будет подавлять нас, пока не вступит в силу экономический закон. Перед нашим поколением стоит самая жесткая задача: надеяться и жить желанием вопреки всему и вся. Но сначала оно должно демистифицировать проблемы, побороть ложный страх. Проблемы, вызванные машиной, шокируют нас, однако человечеству приходилось преодолевать и нечто более страшное. В конце концов машина всего лишь машина: она вызывает восхищение, но она же поражает своей банальностью. Если я сталкиваюсь с неистовым пророком, который бежит прочь от города и последними словами поносит машину, я кричу вслед ему: "Эй вы, вы хотите лишить мир самых ловких машин!" И когда он оборачивается, я показываю ему на свои руки и ноги и на неустанно бьющееся сердце. Эти орудия всегда будут искать совершенства. Стоит ли противопоставлять им другие орудия?

ОБ АПОКАЛИПСИЧЕСКОМ ВРЕМЕНИ

Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.

(Апокалипсис 8:8—9)

Как только бомба упала, пылающее огнем зарево поднялось над морем. И взметнулся столб густого дыма, приняв очертания высокой горы, вершина которой походила на огромный гриб. Цвет моря сразу изменился. От взрыва погибли тысячи морских обитателей, несколько огромных судов пошли ко дну, другие были повреждены.

(La Presse, juin 1946)

Вот вам и совпадение, идущее вразрез (не так ли?) с оптимизмом американских адмиралов. Если я, сопоставляя приведенные тексты и при этом отступая от благоразумия, к которому сам же буду призывать, когда речь пойдет о пророчествах, обрекаю себя на презрение со стороны этого корпуса, то только потому, что сегодня такие тексты в душе каждого из нас взывают друг к другу. Впервые за много лет людей неотступно преследует мысль о том, что конец света возможен, и эта угроза живет рядом с нами; мы, люди, сможем увидеть ее воплощенной. Во многом это — конец светского мира, горизонт которого, если так можно сказать, уже виднеется. Но от этого наши перспективы не радостнее. Подобное коллективное чувство не так часто рождалось в истории, чтобы сегодня люди не оценивали его как основополагающий факт нашей эпохи.

Я уже произнес слова: конец света. Но речь идет о конце не какого-то одного мира, одной цивилизации. Одно или несколько поколений людей могут предчувствовать, что они проживают последние дни той или иной

эпохи, той или иной империи, но здесь не стоит вопрос о коллективной судьбе человечества. Если эти свидетели охотно верят тому, что мир рухнет вместе с их привычным укладом, то это значит, что большинство людей этого поколения исторически живут как дети — едва памятуя о том, что было до них, и смутно представляя, что ждет их впереди, принимая свою деревню за целую Вселенную.

Однако если в действительности все человечество время от времени содрогается перед возможным концом света, то отдельные народы, как представляется, вовсе не замечают агонии империй и цивилизаций. Педантичная администрация письменно уведомляет меня о том, что она откладывает день моего бракосочетания, поскольку Римская империя прекращает свое существование в 395 году. Это — историческая дата, начиная с которой я должен давать своим детям имена исторических деятелей, а не святых. Римские граждане, жившие в 395 году, были бы крайне удивлены, если бы 31 декабря их уведомили о том, что империя Цезарей прекратит свое существование. Раздел Феодосия*, несомненно, воспринимался ими всего лишь как историческая смута, готовившаяся уже несколько лет. Империя рассыпалась, она не пала. Рим и Константинополь, каждый в отдельности, претендовал на верховенство. Когда Аларих в 410 году вторгся в Рим, там случилась общая паника. Все верили, что на этот раз прогнившее здание рухнет до основания. Однако вскоре благодаря достигнутому компромиссу завоеватели встали на службу империи. В то время как на территории империи варварские народы постепенно смешивались с латинянами, власть варваров объединялась с прежними правителями. Императоров все еще именовали Ромулом или Орестом, хотя власть фактически уже принадлежала вождям варваров. Начиная с 476 года западная цивилизация была империей только на словах. Однако иллюзии весьма живучи. Византийская империя еще целое тысячелетие будет продлевать и даже укреплять свое существование, сохраняя целой и невредимой структуру, унаследованную от Диоклетиана и Константина. Огромная Римская империя погибла, не оставив после себя трупов. Потерпевший поражение Карл Великий, а вслед за ним и германские императоры полагали, что вернули ей мощь после длительной спячки; они были лишены исторического понимания событий. В итоге слова "римский император" исчезли только в 1916 году со смертью Франца Иосифа**. Если мы почитаем свидетельства людей, переживших переходные периоды в истории от Бозция до святого Августина, этих первых великих христианских писателей, мы не ощутим того, что в их сознании запечатлелась эпоха катастроф. Разумеется, время, когда они жили, было полно горечи и тревог, но оно не воспринималось ими как апокалипсическое. Империя умерла так, как если бы мы просто заснули, не осознав собственной гибели.

Таким образом, представляется, что апокалипсическое сознание проявляет себя в истории не столь явно, если сравнивать его, например, с сознанием упадническим. Мы живем в эпоху третьего мощного взрыва страха. Два первые были по своей природе весьма схожи, и они значительно отличаются от эпохи великого страха XX века, что и предстоит теперь показать.

Что касается первого взрыва страха, то мы еще мало что знаем о нем и вряд ли когда-нибудь узнаем. Некоторые историки считали доказанным, что апостольское поколение христиан верило в скорый конец света. Их многочисленные последователи, толкуя слово Христа, предполагали, что "этому поколению не придется" жить в то время, когда наступят славные дни, предсказанные пророками. Главенствующей идеей первых проповедей было следующее: "Занимайте свой ум только вещами существенными — для этого настало время". Именно поэтому святой Павел, по крайней мере в начале своей посланнической деятельности, советовал девицам не выходить замуж, а потерявшим мужей упорствовать в своем вдовстве*. Это предположение относительно исторической психологии первого поколения христиан эксплуатировалось в той мере, в какой оно соответствовало определенным толкованиям сущности и истории христианства. Из нее делались столь неожиданные выводы, что некоторые исследователи задавались вопросом, уж не участвовал ли сам Христос в создании общей иллюзии, по крайней мере там, где речь шла о человеческом познании. Нам известно, каким образом могло сформироваться подобное умонастроение. Будущее, согласно иудеям, порождается ожиданием Мессии. Вот уж придет Некто и убедит всех, что он и есть Мессия. Именно таким путем будущее укореняется в сознании иудеохристианина, что, естественно, требует рассматривать историю по пришествию Мессии не только свершившейся, но и завершившейся. Что в этой ментальности было от желания, а что от убежденности, сегодня сказать невозможно. Но можно с определенностью утверждать, что если это было заблуждением, то оно вскоре рассеялось. Еще более уверенно можно сказать, что очагом эсхатологических чувств самого раннего христианства была твердая надежда, а не безоглядное ожидание Богом установленных сроков. Таким образом, история не намечает времени, когда первые ожидания должны осуществиться, она не дает утешения, но и не ведет к унынию.

Перенесемся через столетия и приблизимся к тысячному году. Тысяча — это библейский и апокалипсический символ для людей, воспитанных на Священном писании. Почему же тысячелетие от рождения Христа не означало конца его невидимого господства? Справедливости ради отметим, что X век завершается народными страданиями и мучениями. Время бедствий является питательной средой для идей катастрофизма. Венгерские и норманнские нашествия, голод, эпидемии, опустошительные войны, ужасающая смертность. Грабежи и насилия становятся всеобщим законом. Не время ли дьявола надвигается? Но вот проходит тысячный год, и наши тревоги перекочевывают в год 1033-й, когда исполняется годовщина смерти Христа. Ходят слухи о необычных и непривычно повторяющихся знаках, возникающих на небе и на земле. Появляются и исчезают неизвестные светила, солнце и луна приобретают кровавый цвет. Кто-то уверяет, что видел красного дракона, который должен был появиться после снятия седьмой печати (у этого красного дракона были синие лапы). На небе, окрашенном то в кровавый, то в золотой цвет, в особых местах проступают очертания креста. В Иеру-

салиме безбожники совершают надругательство над Гробом Господним, разрушают городские церкви, организуют массовую резню людей. Не является ли это знаком того, что земной Иерусалим, разрушенный живущими на земле, готовится уступить свое место Иерусалиму небесному? Такой была агонизирующая действительность пятидесятых годов, на основе которой тысячный год вступал в свои права. Сегодня все историки, за исключением Марка Блока, единодушно считают легендой относящиеся к тысячному году события, а уединившиеся в своих монастырях монахи предаются мистическим подсчетам и ведут благочестивые беседы. Недавно оглашенные в Сорбонне тезисы не оставили камня на камне от этого скептицизма. Папские грамоты и епископские послания эпохального характера были полны намеков на конец света и содержащих угрозы уведомлений, которые исчезли в XI веке. Вся литургическая литература того времени несла на себе печать этой веры. Проповедники распространяли ее по всем церквям. Она была настолько обширна и впечатляюща, что Марк Блок говорил о "волнах страха", встающих на вековом пути христианства.

Вот такими были два, если так можно сказать, первых Великих Страх. Конечно, слово "страх" здесь не совсем подходит. В тысячном году речь не шла ни об ужасе, ни о безумии. Вы, разумеется, помните недавнюю панику в Америке, а затем и во Франции, когда в воздухе витала идея о близящейся катастрофе. Это был апогей абсурда, люди по своей воле сводили счеты с жизнью. Такая реакция, на первый взгляд не поддающаяся разумному объяснению, показывает, что мы в большей степени живем будущим, нежели настоящим. Человек, насильно лишенный будущего, лишен самой жизни. Стало быть, христиане 50-го или 1000-го года, ожидавшие конца света, были поистине лишены будущего.

Слово "апокалипсис" пришло к нам, чтобы в нашем сознании стать синонимом катастрофы и ужаса. Однако смысл его сильно искажен. Я не стану утверждать, будто первые христиане не испытывали священного ужаса перед мыслью о божественной справедливости. Они не были ни лучше, ни хуже нас, но если речь заходит об их слабостях, то критерием здесь является высокая нравственность. Как бы то ни было, если они считали, что справедливость сурова, то были уверены и в том, что эта суровость справедлива в любом случае. Но даже если они приходили в состояние ужаса, что вовсе не характерно для христианина, то утешались верой в справедливость, проникнутую духом милосердия. Что же в таком случае означает Апокалипсис? Сказание о катастрофе? Вовсе нет, это — гимн, возвещающий о торжестве справедливости и Царства Божия. Если слово "справедливость" воскрешает в нашей памяти волнующее представление о гневе Божиим, то в не меньшей мере оно говорит о нежности и терпении и, вопреки современным трактовкам, взывает к несметному числу избранных. Доходя почти до парадокса, можно утверждать, что для христианина, этого подлинно современного человека, безотчетно верящего в конец мира, речь идет не о конце мира, как *таковом*, а о конце *данного* мира, то есть о конце нищеты, в какой мы пребываем.

Итак, посмотрите, какой была реакция людей в тысячном году. Вы понимаете, что все должно кончиться в самое ближайшее время, кон-

читься решительнейшим образом во имя будущего, и вами овладевают самые разные чувства, но одно не подвергается сомнению: вся бурлящая вокруг нас жизнь сразу иссякнет, сойдет на нет. Что же в таком случае делать, если все вокруг, и я сам, и мои дети, моя страна, мой класс лишаются будущего? Люди по-разному реагировали на это. Приближается Царство Божие? Так будем же достойны его! Еще лучше, если мы опередим его. В такой реакции было что-то от детского лукавства, когда ребенку загадывают загадку, а он уже знает ответ, но хочет вас удивить, доставив вам удовольствие и показав свою самостоятельность. Повсюду верные христиане объединялись в союзы ради мира. Уж теперь, считали они, между нами должен установиться Мир Божий: *Pax domini, In somno pacis, Pax vobiscum**. Именно тогда эти слова приобретают литургический характер. Тогда-то и воцаряется *Мир Божий*, наступает *Божие перемирие*, что, как показал Бонно-Деламар, было не поисками мира, а глубинным желанием утвердить в мире, на время отдавшемся во власть демонов, Божий порядок. И это еще более удивляет современных исследователей. Деятельность людей, убежденных в скором крушении земного града, не только не ослаблялась, но, напротив, как бы подгонялась ударами кнута. Анри Пирен отмечает "оптимизм" и "взлет энергии", какими было отмечено начало XI века, что не шло ни в какое сравнение с предшествующим периодом. Росла численность населения, укреплялась экономика, закладывались новые монастыри. Широкое строительство началось ранее тысячного года, однако оно не было вызвано, как считалось, признательностью Богу за то, что он не разрушил мир, как если бы для христианского сознания наступление Царства Божия было катастрофой, которую можно было предотвратить или отодвинуть. Нет же, совсем наоборот: христиане стремились передать Богу достойные его величия творения.

Очевидно, что подлинно христианская надежда никак не связана с отступничеством. Надежда на потустороннее пробуждает желание привести в порядок посюстороннее. Все иносказания Писания, идет ли речь о неразумных и мудрых девах, о приглашенных на брачный пир, но не надевших свадебных одежд**, сходятся в одном: потустороннее отныне здесь, среди вас, для вас, в противном случае его для вас попросту нет. Вспомните тот момент, когда перед апостолами, пришедшими посмотреть, как Христос восходит на небо, предстали два мужа в белых одеждах и сказали: "Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо" (Деян. 1:11). Для апокалипсически мыслящего христианина мысль о конце света вовсе не есть мысль о крахе, но об ожидании его продолжения и завершения.

Анализ приведенных выше перспектив позволит нам лучше понять некоторые современные проблемы. Мы часто слышим, как сегодня в христианской среде говорят о возврате к апокалипсическому или к эсхатологическому христианству. Во Франции, в частности, эта тенденция содействует укреплению как христианской, так и атеистической формы экзистенциализма***. Ее можно обнаружить и в корреспонденциях журнала "Дьё виван"****. Это можно понять, если поразмыслить о том, что происходит сегодня с христианскими учениями, обратившими

свои взоры на социальную жизнь. Одни сводят все проблемы к потреблению и всеобщему комфорту; другие считают, что если решить проблему техники, экономической и социальной справедливости, то все собственно человеческие проблемы либо исчезнут, либо притупят свою остроту, либо разрешатся сами собой. Последовательное христианство зовет нас на борьбу за социальную справедливость, но оно при этом не перестает твердить, что жизнь человека, считающего себя христианином, до самого конца будет протекать в противоречиях и борьбе, и ему никогда не достичь состояния прочной гармонии. Как бы часто и настойчиво ни звучали призывы к радости, миру, внутреннему равновесию, подлинно христианскому социальному порядку, в них всегда есть риск удержать христианина, пусть даже вопреки его желанию, в рядах самоупокоенного арьергарда. Для сохранения и поддержания христианского миропонимания необходимо, чтобы время от времени эти призывы находили своих глашатаев в среде стойких проповедников, особенно чувствительных к острым проблемам и таинствам истины, учитывающим возможность разночтения самих лозунгов и неизбывную драматичность существования каждого из нас; необходимо также, чтобы последнее соотносилось с понятиями Слова Божия, Греха, Смерти, Креста.

Во всяком случае так же, как не критический путь ведет от христианства благодати к слащавому христианству, а от него к искаженному христианству, так неощутимая сила может быстро привести христианство к окостенению, к досадному застою, столь же далекому от подлинного христианства, как и его канонические версии. Мы обнаруживаем здесь смешение проблем апокалипсиса и катастрофы. Если обратиться к последнему катаклизму 1938—1939 годов, то мы вспомним, как все больше и больше христиан чувствовало возвращение худших времен, как с мрачными лицами и каким-то сладострастием они нашептывали, что близится время, когда снова придется уходить в катакомбы, и тогда появятся совсем другие заботы, нежели мученичество и сохранение жизни в условиях подземелья. Вам известно, что молодой святой Лодовико Гонзага был человеком совсем иного рода: когда его товарищи в разгар игры в лапту спрашивали его, что будет делать он, если ему скажут о конце света, ожидая от него вполне благочестивого ответа, он с улыбкой говорил, что хотел бы продолжить игру.

Таким образом, даже несчастья того времени не смогли привить христианским слоям новый вид янсенизма. Один из комментаторов Апокалипсиса, П. Фере*, убедительно показывает, что это произведение, вопреки своей отнюдь не радующей людей репутации, повествует о христианской истории и о вполне оптимистических перспективах. Здесь не место говорить о жестких требованиях этого оптимизма. Он не имеет ничего общего с заурадной и легковесной философией жизни**. Кому-то по душе характеризовать позицию христианина как *активный пессимизм*. Это — философия, повествующая о мрачных временах. Я же думаю, что лучше было бы определить позицию христианства как *трагический оптимизм*. Он не имеет ничего общего с окостенелым профетизмом, равно как и с царящим порой в ризнице благодушием. Пусть не предаются мечтаниям, опираясь на те или иные доводы, строгость которых бывает привлекательной в эпоху всеобщего безраз-

личия. Вовсе не трудно размышлять об истории, исходя из ее истока или отправляясь от какого-нибудь вполне конкретного периода, как, например, наступление технической эры или установление демократии на Западе, Ренессанс или Французская революция. Можно изобразить историю в виде катастрофического сползания, завершающегося полным крушением. Желчные или ожесточившиеся проповедники-ретрограды зачастую обладают талантом подкреплять собственную раздраженность впечатляющими ссылками на исторические факты или логическую закономерность. Но как бы то ни было, они выражают лишь собственную позицию. Когда же они пытаются подкреплять ее ссылками на христианскую эсхатологию, то искажают ее смысл, присваивая себе право судить о ней. Фотография, это самое правдивое искусство, может изказать любое лицо с помощью освещения. Христианский катастрофизм возникает исключительно в результате систематических деформаций, в которых, несмотря на их разнообразие, как правило, смешиваются прямолинейное видение истории и ее понимание как цепи не совпадающих друг с другом личностных деяний.

Апокалипсис находится в совсем иной перспективе. Никогда и никоим образом он не предаст анафеме ни историю конкретного человека, ни ту или иную цивилизацию в целом. В нем скорее просматривается тенденция к объединению всех наций, несмотря на их противоречия, вырисовывается полный таинства проект, соединяющий все нации и устремляющий их вперед. Притча о пшенице и плевелах* остается наиболее выразительным символом христианского видения истории. Дьявольская жатва разворачивается во времени, и его хватает, чтобы рассыпать в прах гуманистические утопии, мечту о лучшем мире, который наступит, когда того захотят, — таков один из аспектов христианского "пессимизма". Но на этом дьявольском поле с постоянным и несокрушимым упорством, шаг за шагом прорастают побеги Царства Божия. Если в Апокалипсисе и есть указание на будущее, то оно дается нам в тысячелетней перспективе как подспудное и длительное усилие, действующее в самой истории, где новый Закон последовательно вписывается в коллективные институты человечества. Он ориентирует на идею о постоянном духовном развитии, которое идет путем извилистым, противоречивым, спорным, а не на мысль об ускоряющемся сползании Истории в пропасть. Оживление демонических сил к концу истории является свидетельством не завершения периода распада, а конвульсивного возврата к предшествующему состоянию, имеющему свой предел.

Думается, слишком прямолинейные аналогии все еще довлеют в расхожей интерпретации апокалипсического послания. Когда в Писании утверждается, что историческое пришествие Христа говорит о начале эсхатологического периода, то дух понимается прежде всего в самом прямом смысле — смысле утверждения. Он, если пародировать известную формулировку, забывает о том, что это начало конца может быть только концом начала. У Господа, говорит в своем Послании Петр, тысяча лет — как один день (2 Послание Петра 3:8). Вселенная, которая состоит из миллиардов звезд и длится миллиарды световых лет, которая расходует тысячи зародышей ради каждой новой жизни, как нам представляется, скорее готова потратить несколько миллионов лет для дос-

тижения равновесия в истории, нежели использовать несколько жалких веков ради опыта, который мы оставим после себя. Речь идет о первых христианах? — спросит кто-нибудь. Нет, вероятно, о нас с вами. Может быть, мы тоже с точки зрения целостной истории являем собой первобытных людей. В это легко поверить, если посмотреть вокруг себя и заглянуть внутрь себя. Я не считаю эту точку зрения более достоверной, чем другую, ей противоположную, коль скоро она судит о времени; ведь не существует общей меры для времени и вечности. Я хочу только показать, что рефлексия постигает смысл не в силу необходимости. Если же говорить о конце мира, о котором возвещают пророки, то вопрос о нем одинаково действительно встает в каждую историческую эпоху. Он может застать врасплох загипнотизированное своей гениальностью человечество, триумфально шествующее вперед, преодолевающее кризис за кризисом; он же может встать и перед человечеством, погрязшим в анархии и в силу этого пребывающим в плачевном состоянии. Если считают, что промыслом Божиим предполагалось смутить человека, определив его самодостаточным, то, как я полагаю, испытание его оказалось ценным как раз потому, что оно толкало человека максимально развивать свои способности, которыми Он его наделил. Позволить ему сразу же озлобиться означало бы сплутовать в игре и дать возможность легкой победы Божьему великодушию. Любые теологические рассуждения, любые интерпретации Библии не побуждают нас с большей силой, чем тот или иной исторический пример, отказаться от иллюзий наших предков, когда бы они ни жили — в 50-м или в 1000-м году. Второе пришествие Христа — это таинство; чтобы сохранить свое религиозное значение, оно должно быть полно противоречий и неясностей. Все это дает повод думать, что суетливые правоверные христиане будут верить в наступление возвещенного времени, даже если все будет рушиться вокруг, но если придет такой день, то он, как это бывает в детстве, застанет их врасплох.

II

Оставим теперь в стороне эту предсказанную пророками перспективу, которая не так уж занимает наших современников, и рассмотрим проблему тревоги в ее наиболее актуальной для нас форме.

Тревога не представляет собой более смешения восторженной надежды и священного страха, свойственного апокалипсическому видению. Наиболее очевидная ее сторона — это мука. Мучение, истязание, пытка — именно такие слова в ходу у современных писателей, когда они приступают к наипростейшему самоанализу. Часто ссылаются на саранчу из Апокалипсиса*, имя которой "губительница": она приходит, чтобы мучить людей, подобно скорпиону; люди тогда ищут смерти, но не находят ее.

Живущий в страхе современный человек не видит более опоры в христианской надежде. Он, как и отколовшийся от церкви христианин, если решится идти окольным путем забвения, может создать множество всяческих удобств в этом тревожном мире. Но постройки, возведенные

над пропастью, неустойчивы. В индивидуальной жизни это оборачивается глубоким унынием. Накопление тайных пороков завершается болезнью общества, и через несколько поколений в мире рождается новое зло.

Если у нас на глазах вызревают исторические и психологические причины для страха перед двухтысячным годом, то они в корне отличны от того, что было в ожидании года тысячного. Сегодняшние ожидания рождаются не из глубоко оптимистического предсказания, а из всеобщего кризиса веры и краха социальных структур.

Кризис веры вырастает ныне из крушения двух великих религий современного мира — христианства и рационализма. Я не касаюсь здесь ни значения, ни масштаба этого крушения. Я говорю о его социальном характере. Там, где крохотному числу людей отведен для жизни всего один век, большинство из них разделяет христианские ценности; там же, где миллионы людей неукоснительно верят в безграничное могущество разума, можно насчитать лишь десять процентов верующих, и я не уверен, что такое соотношение в пользу убежденных рационалистов является благом.

К тому же современные экономические структуры ежедневно изобличают собственный анахронизм, бессилие, абсурдность, о чем свидетельствуют социологические исследования. Дезориентированный в экономической деятельности, лишившийся опоры под ногами, человек XX века ощущает себя затерявшимся во Вселенной, которая в его глазах становится все более и более распавшейся и обесцененной. Отсюда берут начало описания философов, в которых они стремятся выразить новый тип страха, что более походит на крик отчаяния, чем на обоснование собственных позиций; одинокий и лишенный цели человек заброшен в абсурдный, бессмысленный и неразумный мир. Вокруг слишком много того, что вызывает у вас тошноту. Человек призван стать Богом, но это бесповоротно запрещено ему, и вот уже все его устремления также вызывают тошноту.

На первый взгляд, такая метафизическая опустошенность не должна бы вызывать страх перед концом света. В этой точке атеистический абсурдизм имеет нечто общее с христианской эсхатологией. Для христианина, и мы это уже видели, представление о конце мира, неизменно сопровождаемое как осуждением, так и восславлением, затрагивает и историю в целом, и каждую отдельную жизнь; это понятие лишается смысла, если соотносится лишь с тем или иным отдельным историческим эпизодом. С точки зрения абсурдизма мир в любой момент своего существования и для любого сознания решительнейшим образом завершен, законсервирован и лишен значения. Человечеству никогда не найти выход из этого состояния — ни в смерти, ни в преисполненной деятельности жизни. Абсурд абсурда и всё — абсурд. Какая же космическая катастрофа может привлечь наше внимание, когда рушится наше повседневное существование? Один из самых оскорбительных опытов в этом отношении — опыт исчезновения. Он заключается в том, что привыкание к страху или к отчаянию возникает и рассеивается столь же быстро, как и привыкание к счастью. Человечество, действительно утратившее смысл своего существования или уверовавшее в это, может либо возжелать собственного исчезновения, либо — что еще хуже — сделаться безразличным к собственному исчезновению.

Могут ли эти проблемы в их абсолютном звучании стать предметом философского анализа? Ведь отчаяние не является просто идеей; оно обладает разъедающей силой. И если отчаяние опустошает сердце, то в нем поселяется безысходная тревога, откликающаяся на любую опасность. Перед лицом тревоги жизнь есть не идея, но неустранимая сила, которая, если ей отказывают в будущем, протестует вплоть до того, что выходит из повиновения. В литературе эта тревога и этот протест возрождают высокой пробы стоицизм. В широком социальном пространстве, где тревога перерастает в страх, а питаемая инстинктом надежда — в неистовство, каждый человек, тесно спаянный со всеми другими людьми, становится носителем современного нигилизма в его крайнем выражении — великого страха и склонности к терроризму.

Нигилизм, терроризм — вот что уже тридцать лет является причиной реального беспокойства, проникая в поры изживающего себя романтизма; мы живем в постыдное время, когда разложение обществ, некогда боровшихся за освобождение человека, тайно соседствует с безумием.

Нигилизм, который обнаруживается в катастрофическом сознании, — это массовая реакция инфантильного типа. Известно, что слабые люди, дети, больные невротики часто впадают в уныние. Они больше всего заняты собственными мыслями, а не делами. Их помыслы грандиозны, они полны энтузиазма, но — недееспособны. Что-то сдвигается с места, и тотчас на них всей своей массой обрушивается высокая волна. "Случается, что то или иное мнение становится причиной катастрофы, если оно воспринимается как *единственно возможное*; тогда кажется, что существование уже не имеет смысла, что все будет *напрасным*". Ортега-и-Гассет вслед за Ницше ссылается на эту неуправляемую реакцию, вызванную бедствием, и сравнивает ее с реакцией путешественника, передвигающегося в автомобиле, о работе мотора которого он, в сущности, ничего не знает и который вдруг терпит аварию. Он простирает руки к небу и восклицает: "Началось! Придется прождать несколько часов. Прогулка испорчена, вот незадача!" Водитель машины открывает капот, подвинчивает какую-то там гайку и — все в порядке; для путешественника это — *чудо*, для водителя — самое что ни на есть обычное дело.

Итак, тревога наших современников перед лицом глобальной катастрофы, ожидающей мир, это нечто вроде инфантильной реакции некомпетентных и потерявших самообладание путешественников, попавших в аварию. Кажется, образ аварии здесь не совсем кстати. Это больше походит на остановку на обочине дороги, не грозящую аварией. Европейский человек скорее находится в ситуации, в какой очутился технически несведущий человек, путешествующий в машине, когда шофер внезапно умер, а машина мчится на полной скорости. Человек потерял управление, каким, ему казалось, он обладал; мир несется в бездну, а он бессилен противостать этому.

Подобное состояние уже не единожды описывалось, но к нему все возвращаются и возвращаются. С одной стороны, действительно, привычка примиряет нас с некоторыми удивительными вещами, воздействие которых может сойти на нет. Вот почему с тех пор, как астрономы имеют дело с миллиардами световых лет, вопрос о масштабах нас уже

не волнует. Современная наука показала, что смысл и значение космоса в его целостности не зависят непосредственно от его размеров. Но астрономия лишилась своей власти над умами людей, которые отныне находятся под впечатлением бесконечно малых величин. Атом, микроб, вирус, гены, электромагнитные волны — вот символы нового мира. Именно благодаря им, а не звездам, этим бесполезным незнакомкам, Кеплер сегодня достиг бы невиданных вершин. Более того, физическое пространство предстает в конечном итоге как связь и как порядок: самыми совершенными регуляторами выступают светила, а если говорить о деятельности человека, то скорость света, волн, машин дает нам практически безграничное чувство присутствия и практической сноровки. Боязнь бесконечных пространств готова рассеяться.

Их заменяют другие сногшибательные явления, более существенные, связанные, если можно так сказать, с судьбой человеческого интеллекта и свободы. Поскольку человек на деле близок к своей биологической среде, набор инстинктов обеспечивает ему *grosso modo** адаптацию к миру. Инстинкт ему как мать родная: он окружает заботой свободу и умеряет ее, работает на нее, оберегает ее от проблем. Но вот интеллектуальная свобода взматается ввысь, и человек вместе с ней делает рывок вперед. Чем больше расширяется свобода, тем больше она становится независимой от инстинкта; так человек уходит от материнской опеки и даже начинает восставать против нее. "Европейцы, — писал Валери 20 лет назад, — пустились в изумительную авантюру по изменению изначальных, "природных" условий своей жизни, которая длится вот уже несколько веков, и сделали это не в угоду своим потребностям и не с целью расширения ограниченных возможностей, а вдохновляясь идеей о создании абсолютно неприродных, искусственных форм существования и такого типа бытия, при котором все средства познания и деятельности непринужденно и систематически побуждали бы их направлять свои усилия на изменение собственного бытия"¹.

Эта тяга к искусственному чрезвычайно важна для понимания современного сознания и его временной разбалансированности. Она привлекает наше внимание, поскольку постоянно присутствует в человеческой деятельности, идет ли речь о жизненном пути индивида и его мышлении или о коллективных проектах. В начале этого долгого путешествия мы видим человека, обручившегося с целеполаганием, как если бы выиграла в нем дремлющая сила; а потом он возвращается к истоку этого порыва и последовательно, шаг за шагом, исследует его путь.

Так современный человек, будь он китаец или грек, египтянин или израильтянин, в своем историческом развитии с помощью религиозного устремления и интеллектуальной интуиции достигает вершины восхождения, которая со времен античности называется сверхчеловеческим. Теперь же надо, чтобы обычная деятельность и изобретательство, вся коллективная мощь поддержали этот блистательный прорыв. И у постепенного продвижения, и у молниеносного прорыва цель одна и та же: преодоление человека, отрыв от изначальной природы. Если бы человек был создан, чтобы естественным или сверхъестественным путем стать

¹ Lettre sur la société des esprits, Variété, I.

Богом, то вряд ли бы можно было согласиться с тем, что мудрость для него — это благоразумное и никогда не нарушаемое соответствие раз и навсегда определенной природе. Вдумайтесь в слова Ницше, которые могут дать пищу самым разным толкованиям: "Человек создан для того, чтобы преодолеть себя"*.

Понимаемый таким образом человек по существу своему — способный к *изобретательству* создатель новых форм.

"Природа находится по правую руку", — писал где-то Рамю. Когда образ природы представляется статичным, раз и навсегда начертанным бедным воображением тех, кто чувствует себя уютно, повторяя одни и те же действия, это консервативная идея. Было бы неестественным, если бы крестьянин покинул свое поле. Но римский землепашец вопреки своей природе заложил фундамент Европы и христианства. Человеку не свойственно летать, но он летает. Разве стал он от этого менее человек? Сторонники природного начала правы, когда напоминают, что возможности человека не безграничны и что человечеству необходимо время, чтобы приспособиться к им самим свершенным изменениям. Но систематическое охаивание изобретательства исходит из радикально ложного представления человека о самом себе. Можно было бы сказать, слегка искажая первоначальный смысл слов, что *природа человека — в его изобретательности*.

Исходя из этого, есть все основания утверждать, что европейский человек с приходом современности завершил свою внутриутробную жизнь, какую он вел в замкнутой Вселенной и в заботливо опекающей его с первых шагов церкви. Первые искусства (его первые искусственно созданные предметы) создавались по образу этого замкнутого и конечного окружения. Они были искусствами, образы которых были неподвижны, а если двигались, то непременно к центру. Таковы архитектура, скульптура, танец. Только ярко вспыхнувшее христианство, принеся с собой молитву, порыв готики, идею творчества и необратимости времени, открыло перед этой просрочившей свои кредиты жизнью бесконечность. Но оно сделало это лишь в отношении души, ее вершин. Благодаря христианству в один прекрасный день античный универсум наконец получил свое оправдание. Галилей, как если бы он играл в мяч, запустил Землю в космос, арифметические формулы запрыгали под воздействием бесконечно малых величин, контрапункт с помощью фуги и мелодии изменил музыкальный мотив, машина заставила замкнутую в себе экономику стать обширным производством, логика отказалась от своих строго однозначных правил и обратила мышление к еще не познанным отношениям, геометрия прорвала евклидово пространство и вместе с физикой перенеслась в гиперпространство. Неподвижность, равновесие, предел, совершенство круга — все эти привычные компоненты идеи о природе отступили перед движением, перспективой, развитием. Во всех своих делах — внешних и внутренних, технических и художественных — современный человек заменил мысль о закостенелой судьбе, которую, если захотеть, можно было почти что с точностью рассчитать, мыслью о судьбе открытой, устремленной вперед, к неизвестному и бесконечному.

Удивительно, что эта замена порой оказывалась неприемлемой для самого же христианского сознания. Тем не менее если идея греков

о кругообразной Вселенной в течение веков сдерживала силы воображения вплоть до того, что, как казалось, компрометировала веру, то несомненно, что современный образ Вселенной, открытой риску и приключению, принадлежит христианству. Современное сознание не перестает использовать это освобождение во всех отношениях. Когда Брейгель или Босх на своих полотнах пририсовывали к телу летучей мыши человеческую голову, когда Esseintes окружали себя цветами, похожими на живые существа, и живыми существами, похожими на цветы, когда современные художники, от Гюисманса до Уайльда, от Бодлера до сюрреалистов, упорствуют в своем стремлении разрушить форму, разложить свет, изуродовать прекрасное, вступить в союз с уродливым и комическим, довести все до крайнего предела, до возмущения, это не означает, что они — оскверняющие священную реальность декаденты, невротики или мистификаторы, какими их часто представляют; их притягивает потустороннее, они отчаянно бьются о запертую дверь известного нам мира в поисках небывалого. Я, вероятно, удивлю вас, если остановлюсь на двух специфических страстях, свойственных современному человеку, — страсти к абстракциям, проявляющейся в настойчивых поисках чистой математики, чистой музыки, чистой экономики, неподвластных воображению, и страсти к ужасному как протесту против напора уже известного. Разумеется, отсюда один шаг до нигилизма. Чтобы не погибнуть, продал свою душу Фауст I; чтобы суметь использовать свои исключительные способности, он заключил союз с дьяволом. Но Фауст II* обрел спасение, потому что понял: деятельность не станет злом, если ее употреблять на пользу человеку, ради его совершенствования, а не уничтожения.

Подобному путешествию вдаль, за пределы познанного, препятствует консерватизм инстинкта. Случающаяся с нами паника сродни той, какую испытывает команда каботажного судна, внезапно оказавшегося в открытом море. Наша деятельность подчинена гораздо более интенсивному ритму, чем тот, с каким мы приспосабливаемся к меняющейся действительности. Было бы банальным сравнивать современный мир с хитроумным подмастерьем. Но такое сравнение было бы справедливым, если бы речь шла не о нашей технической цивилизации в целом, как кое-кто считает, а о времени ее взлета. Известно, что физика подошла к проблемам, которые она может решать теоретически, но на практике эти проблемы требуют сложных и длительных операций, недоступных нашему разуму. Тогда мы изобретаем механизмы, способные автоматически вести расчеты для еще более сложных операций. В таком случае техника работает сама на себя. В экономике и политике, напротив, мы наблюдаем, как возникают такие задачи, которые ни правительство, ни администрация разрешить не в состоянии. Те, кто по привычке считают власть имущими, произносят ритуальные речи, называемые выступлениями, участвуют в традиционных церемониях, где присутствуют именитые персоны, но каждый из них прекрасно понимает, что он ничем уже более не управляет, что колеса его машины вертятся впустую, что все движется без руля и без ветрил, и никто не знает, что будет завтра, откуда это завтра ждать, зачем оно придет, в результате каких усилий оно настанет и каковы будут его последствия. Некоторые из нас

уже знакомы с этой братией, обезумевшей оттого, что занимает ответственные посты; мы все сталкиваемся с этими людьми, мы видим их через узкие щели, которые открывает им внешний мир с помощью того, что по привычке все еще называют администрированием.

Там, где мы уже не в состоянии справиться с помощью рук, мы не способны руководствоваться и разумом. Мир таков, каков человек. Это прекрасная формулировка, и я прежде часто ею пользовался. Но есть ли предел для совершенствования человека? Ведь он меняется с молниеносной быстротой. Мне говорят о простых действиях, о ближайших соседях. Но разве включить тумблер не такое же простое действие, как запрячь лошадь? Разве зимними вечерами, когда молодой крестьянин включает тумблер своего приемника, комик из Барселоны или певец из Гарлема не оказываются рядом с ним, как и живущие с ним по соседству владелец поместья или инженер с прядильной фабрики? Разве книги Сент-Экзюпери, повествовающие об авиации, менее гуманистичны, чем труды Анри Пура о хлебопашестве? Случившееся с нами помутнение разума является результатом того, что высота, на какую поднялся человек, распахнувшиеся перед ним перспективы, выработанные им основополагающие понятия меняются и подчиняются все убыстряющемуся ритму с помощью того объекта, форму и содержание которого они сами должны были бы определять. Так что мир постоянно опрокидывает наши нормы разумности и предстает перед нами как история нашего безумия. Вот почему ваши дети стали экзистенциалистами.

И вот мы стоим на пороге решительного поворота. Наука и техника, говорил Валери, постепенно совершали чудо. Достичь самых далеких звезд, искусственным путем создать жизнь и управлять ею, обезводить моря, стереть с лица земли горы, отодвинуть смерть — мы можем смело утверждать, что любая из этих задач по плечу человечеству, если у него в запасе будет несколько тысячелетий. Наука гарантирует нам миллиарды лет до неизбежного обледенения нашей планеты. Но вот на нашем пути новая неожиданность: мы достигли уникальной возможности, не сравнимой ни с какими другими, — уничтожить нашу планету и само человечество со всеми его возможностями. Чудное мгновение! До сих пор мы могли говорить, что человечество господствует над своим будущим, поскольку оно было *обречено* на будущее, в то время как каждый отдельный человек может, если захочет, вытянуть себе билет в потусторонний мир. Теперь же человечество само должно выбирать свою судьбу, и ему, что вполне очевидно, надлежит совершить героическое усилие, чтобы не избрать самый легкий путь — путь самоубийства. Можно сказать, что настало время взросления человечества.

Мы не так часто задаемся вопросом о смысле свободы. Всем известна история Адама и Евы. Даже если вы не верите в эту историю, поразмыслите о ее значении. Она повествует о том, что Бог задумал создать чудесное существо, само собой возносящееся из небытия. Но поскольку сам он — Свобода и Мудрость, то существо, которое он замыслил по своему образу и подобию, не должно было возникнуть лишь для того, чтобы удивлять детей; ему надлежало либо свободно выбирать себя, либо не быть чудесным существом. Опасное древо, которое было своеобразным тестом для испытания выбора, это, как

говорится в Писании, есть древо познания Добра и Зла. Оно, несомненно, называется так для того, чтобы показать, что одна и та же сила питает одновременно и Добро, и Зло и что некогда в одной из исторических цивилизаций была предпринята попытка соединить их в единое целое. Но это древо в конце концов указывает путь туда, что напоминает собой Рай. Стремление к знанию и господству не подлежит проклятию. Но оно, разумеется, достойно поддержки только до того момента, когда человек, обладающий все возрастающей свободой, остается достаточно рассудительным, чтобы не использовать ее в смертоносных целях. Человек, согласно священной легенде, не смог устоять: его нетерпение имело печальные последствия. Новые плоды древа познания, принесенные в дар Хиросиме и Бикини*, странным образом напомнили об этом. Благодаря этим плодам мы стали богами. Но разве не содрогнулись мы перед их разрушительной мощью? Священное чувство охватывает нас, когда мы предстаем перед ними. "Я пишу, чтобы внушить вам чувство страха, — читаем мы у Гарольда Юри, одного из отцов этого детища. — Я сам в страхе. И все ученые, каких я знаю, живут в страхе". Известно также, что, когда в штате Нью-Мексико** те же самые ученые томилась в ожидании результатов своего изобретения, даже самые неверующие из них ощущали, как внутри них зреет нечто, похожее на молитву. Это конечно же была молитва, какую шептал молодой воин накануне посвящения: в такую минуту человек вступал в совершеннолетие. Он в определенном смысле становился хозяином своих деяний. Может, достаточно говорить о нашем смятении? Наш сегодняшний страх — это священный страх перед промыслом Божиим, перед наивысшей способностью, данной нам через разрушение, перед невозможностью укротить нашу изобретательность, когда мудрость наша, запыхавшись в погоне, не может совладать с ней. Отныне нигилизм — это не просто крикливая мода в философии; он стал воинственным и пошел в наступление.

Оружие не становится менее опасным оттого, что попадает в неумелые руки. Существует творческий и преходящий нигилизм, тот, который возвещает о новом вдохновении и расчищает ему дорогу. Такой нигилизм разрушителен лишь на первый взгляд. Он ничего не обращает в прах. Он хочет только, чтобы вещи назывались своими именами и чтобы мы шли вперед.

Однако есть и другой нигилизм, который Ницше отличал от первого, не зная, к какому из них склонится Европа. Нигилизм этот идет не от осознания новой нарождающейся силы, а от безумия перед лицом беспорядка и собственного бессилия. Таков всеобщий закон, согласно которому не находящие выхода мощные инстинктивные порывы превращаются в свою противоположность. Потребность в созидании и познании, в творчестве и понимании, в прорыве из небытия к свету, если ее в избытке, в людях посредственных рождает желание разрушать, уничтожать, попирать все то, что встает на их пути. Это — дикарское, инфантильное действие: ребенок и дикарь всегда живут в предчувствии собственного поражения. Вам известна повесть Стейнбека "О мышах и людях". Один психиатр сталкивается с простым, бесхитростным случаем. Но рядом с ним оказываются писатели и мыслители, способные вызвать чувство беспокойства у самих психиатров. Существо вполне

заурядное, к тому же слабovolьное, любящее людей и животных, обожа-ет прикасаться к мягким вещам: шерсти животных, меху, волосам. Однако ласка безотчетно вызывает в нем такое иступленное волнение, что вскоре рука его с неукротимой силой судорожно вцепляется в ласка-емый им предмет. Несколько раз таким предметом оказывалась мышь, а однажды им стала девочка. А сколько раз таким предметом бывал народ? Завтра же им может стать весь мир, тот мир, который мы веками гладили изнеженной рукой, воздействуя на него с помощью нашей науки и производства, а теперь он, неукротимый и ожесточившийся, отказыва-ется от нашей ласки. А рука все сжимается и сжимается, она может убить, и однажды она убьет. Так совершит ли она убийство? Во всяком случае мы являемся свидетелями того, как коллективное человечество ожесточенно вцепилось в свое собственное творение. Оно *не боится* только одного — конца света. Оно испытывает какое-то ужасное ослеп-ление и крайнее отчаяние, толкающие его разрушить крышу над голо-вой, уничтожить свое творение и самого себя. Мы не осознаем того, что все эти каро и lager-führer* питают бешеную ярость по отношению к образу человека. Здесь-то и кроется опасность. Мы вновь слышим голос разума, как это было двадцать лет назад, призывающий руковод-ствоваться мудростью и побороть безумие, ведущее к коллективному самоубийству. Те же самые люди, которые сделали из весьма туманной SDN** высший орган, сеющий оптимизм сомнительного свойства, про-должают безотчетно и легкомысленно, следуя привычке, скрывать свои иллюзии или перекрашивать их, — и делают это сегодня, в эпоху атома, крематориев и концентрационных лагерей. Я думаю, что их и им подобных с их семьями следовало бы переселить куда-нибудь за бугор, создав им там все условия, чтобы ничто не возбуждало их, а затем, усмирив их, серьезно и деловито заняться всем тем, что ныне угрожает нам.

“Огромная волна варварства поднимается у наших дверей”, — писал Ницше в 1873 году***. В Европе варварство обычно ждали с Востока. И эта привычка не умерла. Однако Восток всегда напал на раздроб-ленную Европу. Сегодня огромная волна варварства поднялась в наших опустошенных сердцах, в наших заблудших умах, его печатью помечены все наши действия. И нам уже не придется завтра стенать от варварства, если сегодня мы примем собственную отставку. Я всюду вижу молодых европейцев, у которых всего одна мысль, одно желание — перебраться через океан и забыть свое европейское отечество, от которого они уже давно отреклись. И чаще всего это — лучшие из лучших, самые отваж-ные. Я вижу, как в распрях рушатся общества, и те, кто с наибольшим рвением способствует этому, более столетия стояли во главе этих об-ществ. Они похожи на родителей, указывающих детям на их пороки, за которые сами в первую очередь несут ответственность. У меня на глазах рождаются новые партии, присваивающие себе самые уничижительные названия — абстенционисты, люди без имени; на деле они выступают лишь как новые болячки на израненном теле. Это — партии тех, кто больше ни во что не верит, ничего не хочет, кто руководствуется своим

неудовлетворенным сознанием, в то время как их корабль терпит крушение. Я согласен, что зло многолико и действует оно удручающе, но мы знаем его в лицо, и его можно локализовать, ограничив сферу его проявления. Многочисленные ученые уже описали и обрисовали его всеми возможными способами; большинство из них, обладающие доброй волей, готовы на деле (*а не только в мыслях*) противостоять ему. Им не хватает *одной лишь* воли. Легче твердить об Апокалипсисе и заглядывать в оккультные писания, чем признать себя лично виновным в происходящем. Мы использовали все тайные силы, иезуитов, франк-масонов, *Коминтерн*, DGER, неудовлетворенность сезонных рабочих, "протоколы сионских мудрецов". Перед лицом европейского зла Апокалипсис может помочь нам достичь всеобщего спасения. Во время первой мировой войны говорили, что, когда дела шли плохо, Клемансо отдавал своей прессе команду: "Напомните о Ландрю!" — о Ландрю, этом нежном бородаче, убившем своих тридцать шесть жен. Больное европейское сознание с готовностью ссылается на Апокалипсис. Однако предназначение Апокалипсиса в другом. Заметьте, это говорит человек верующий. У меня есть равные основания как отрицать, так и утверждать, что мы пребываем в конвульсивном состоянии, которое, согласно Писанию, предшествует концу света. Но я абсолютно уверен, что если мы в самом деле окажемся в таком положении, то наш долг будет сродни долгу наших предков, переживших тысячный год, — осмыслить причины беспорядка и вопреки жесточайшим условиям во имя человека постараться построить новое общество, которое, в согласии с нашей верой, бросит вызов вечности.

Только благодаря "человеку-с-мечом-во-рту" наши дни станут плодотворными, а мысли — менее тревожными. Или, скорее, если мы вообразим себе этого человека, то вспомним о добродетели, добродетели апокалипсической, то есть спасительной. Вы найдете его, если захотите, на одном из витражей Буржа*, говорящем о порядке в мире. Меч широк и длинен, он может разжать зубы, а может искромсать лицо. Как раз во рту Христа, этого Судии всех народов, меч Апокалипсиса, надвое рассекающий Слово, разделяющий жизнь и смерть и напоминающий кинжал Платона, который осторожно, не роняя, проникает в извилины сознания, туда, где соединяются отдельные фрагменты истины.

Отметим, что скверные мечты могут иметь благое завершение: их достаточно подвергнуть истолкованию. Однако самые утешительные для нашего обычного воображения цели не являются самыми безопасными. Мир, о котором говорят люди доброй воли, может обернуться войной, вызванной злыми силами. Сегодня нам хорошо известно, что означает слово "война".

ПЕРСОНАЛИЗМ



КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

К ВОПРОСУ О ЛИЧНОСТНОМ УНИВЕРСУМЕ

Слово "персонализм" вошло в обиход недавно. В 1903 году Ренувье* обозначил им свою философию. Впоследствии, однако, оно вышло из употребления. В Америке это слово стало использоваться вслед за Уолтом Уитменом, который обратился к нему в "Демократических далях" (1867). В начале 30-х годов термин "персонализм" вернулся во Францию, правда, уже в ином контексте — для обозначения первых исследований журнала "Эспри"¹ и родственных ему групп ("Новый порядок"^{***} и др.), возникших в условиях политического и духовного кризиса, который разразился тогда в Европе. Лаланд в пятом издании своего "Философского словаря"^{***} (1947) узаконил слово "персонализм" в качестве понятия. "Ларусс"^{****}, вопреки реальному смыслу, сделал слово "персонализм" синонимом эгоцентризма. Мы видим, что персонализм шел путем извилистым и неопределенным: это было учение, которое постепенно обретало себя, определяя направление собственного движения.

Итак, то, что сегодня называют персонализмом, отнюдь не новое изобретение. Универсум личности — это универсум человека, и было бы странно, если бы до наступления XX века никто не занялся его исследованием, пусть даже используя другие понятия. Современный персонализм, как мы увидим далее, укоренен на почве давней традиции.

Персонализм не есть система. Персонализм — это философия, а не только позиция, философия, но не система.

Разумеется, персонализму не обойтись без систематизации. Мышление должно быть упорядочено: понятия, логика, схемы используются не только для того, чтобы фиксировать и передавать мысль, которая в противном случае распалась бы на отдельные смутные интуиции; они служат для глубинной переработки самих интуиций и одновременно

¹Журнал "Эспри" основан в 1932 г. См. подборку номеров, а также: *Mounier E. Manifeste au service du personnalisme.* Paris: Aubier, 1936; *Idem. Qu' est-ce que la personnalisme?* Paris: Editions du Seuil, 1947; *Idem. Personnalisme catholique / Esprit*, 1940, février—mars—avril; последняя работа опубликована отдельным изданием: *Mounier E. Liberté sous conditions.* Paris: Editions du Seuil, 1946.

являются инструментом анализа и изложения¹. Именно потому, что персонализм прибегает к систематизации своих идей, он является не только позицией, но и философией.

Центральное положение персонализма — это существование свободных и творческих личностей, и он предполагает наличие в их структурах принципа непредсказуемости, что ограждает от жесткой систематизации. Ничто не может быть столь противоположным этому принципу, как распространенное сегодня стремление к строго упорядоченному мышлению, к сугубо функциональному, автоматическому действию в соответствии с принятыми решениями и инструкциями, как отказ от исследований, полных сомнения и риска. Кроме того, новая рефлексия не должна слишком поспешно "укладывать в снопы"^{**} собственные проблемы.

Таким образом, говоря в целях удобства о персонализме как о единичном явлении, мы тем не менее утверждаем, что существуют различные виды персонализма, и отдаем должное каждому из них. Христианский и агностический персонализм, например, значительно отличаются друг от друга по своим внутренним структурам, и они бы ничего не выиграли, если бы искали какого-то единого для себя пути. У них есть много общего, если говорить об определенных сферах мышления, фундаментальных позициях или некоторых практических выводах, касающихся индивидуального или коллективного опыта, и этого достаточно, чтобы обозначить их одним общим термином.

Общее представление о личностном универсуме. От нас ждут, что мы начнем изложение персоналистской философии с определения личности. Однако определять можно только внешние по отношению к человеку предметы, те, что доступны наблюдению.

Если исходить из этого, то личность не есть объект. Личность — это то в каждом человеке, что не может рассматриваться как объект. Вот мой сосед. Он весьма специфически воспринимает собственное тело, и этот опыт мне недоступен. Но я могу наблюдать его тело извне, изучать его особенности, наследственные признаки и болезни, короче говоря, я рассматриваю его как некий материальный предмет — с точки зрения физиологической, медицинской и т. п. Мой сосед — служащий, у него и вид служащего, и психология служащего, и я могу изучать его в качестве такового, хотя все перечисленное не исчерпывает его полностью. Он еще и француз, буржуа, одержимый социалист, католик и т. д. К тому же мой сосед не просто некий Бернар Картье, но вполне определенный Бернар Картье. Я могу тысячей способов определить его в качестве единичного индивида, и это помогает мне понять и — что весьма важно — приноровиться к нему, узнать, как мне вести себя с ним. Но всякий раз я имею дело с отдельными аспектами его существования. Множество фотографий, как бы мы ни располагали их одну по отношению к другой, не дадут нам человека, который ходит по земле, о чем-то думает, имеет те или иные желания. Было бы ошибкой считать, будто персонализм требует изучать людей не серийно, а исключительно с учетом их мельчайших отличий. "Лучший из миров" Хаксли^{**} тот, где

¹ Lacroix J. Système et existence / Vie intellectuelle, juin 1946.

полчища медиков и психологов берутся описывать каждого индивида, опираясь на подробнейшие сведения о нем. Властно формируя человека, сводя людей к хорошо отлаженным, четко действующим механизмам, этот сверхиндивидуализированный мир тем не менее противостоит личностному универсуму, поскольку все в нем обустроено, ничто не создается вновь и не пускается в приключения, как это бывает там, где есть свобода и ответственность. Он превращает человеческий мир в огромный идеально организованный питомник.

Нельзя, следовательно, человека ставить в один ряд с камнями, деревьями, животными и трактовать его как дерево, способное перемещаться в пространстве, или как коварного хищника. Личность — это не объект, пусть даже самый совершенный, который, как и всякие другие, мы познавали бы извне. Личность — единственная реальность, которую мы познаем и одновременно создаем изнутри. Являясь повсюду, она нигде не дана заранее.

Однако не будем обречь личность на неизвестность. Богатый опыт личности, разлитый в мире, непрестанно выражается в творчестве ситуаций, правил и установлений. Внутренние ресурсы личности не predeterminedены заранее: то, что она выражает, не исчерпывает ее, то, что обуславливает, не поработает. Существенно отличаясь от доступного наблюдению объекта, она не является ни имманентным субстратом, ни субстанцией, определяющими наше поведение, ни абстрактным принципом, руководящим нашими конкретными поступками. Все это было бы так, если бы речь шла о способе существования объекта или об иллюзии объекта. Личность есть живая активность самотворчества, коммуникации и единения с другими личностями, которая реализуется и познается в действии, каким является *опыт персонализации*. И ничто не может навязать личности этот опыт или понуждать к нему. Заставить человечество пробудиться от глубокого сна, отказаться от жалкого прозябания может только тот, кто понял смысл личностного существования и зовет к его вершинам. Если индивид не внимлет этому зову и не вступает на путь личностной жизни, он теряет сам смысл жизни, как теряет чувствительность бездействующий орган. Тогда он ищет этот смысл в бесплодном умничанье или бегстве от действительности.

Главную мысль персонализма можно выразить двояко.

Можно начать с изучения мира объектов и доказывать, что личностный способ существования есть наивысшая форма существования, а вся эволюция природы ведет к возникновению творчества, знаменующего собой завершение Вселенной. Отсюда следует, что суть Вселенной — в процессе персонализации, а безличностные или в той или иной мере обезличенные реальности (материя, живые существа, идеи) — это результат того, что природа, ступив на путь персонализации, замедлила свое движение. Насекомое, уподобляющее себя сучку, дабы забиться в неподвижности, является прообразом человека, укрывающегося в конформизме, чтобы не отвечать за свои поступки, человека, погружающегося в общие рассуждения или сентиментальные излияния, только бы не сталкиваться ни с миром, ни с людьми. В той мере, в какой это описание остается объектив-

ным, оно дает лишь приблизительное представление о реальности, изначально не являющейся объективной.

Другой путь — когда кто-либо из нас сам станет открыто жить личной жизнью, пытаясь увлечь за собой тех, кто живет, подобно деревьям, животным или машинам. Бергсон в этой связи звал к "герою или святому". Но это не должно вводить в заблуждение: личность рождается в глубинах и самой униженной жизни.

Здесь обнаруживается главный парадокс личного существования: оно есть собственно человеческий способ бытия и вместе с тем должно быть нескончаемым завоеванием; сознание медленно высвобождается из мира минералов, растений и животных, которые продолжают жить в нас. История личности будет идти параллельно истории персонализации. Она будет разворачиваться не только как сознание, но — во всей своей полноте — и как усилие по гуманизации человечества.

*Краткая история понятия личности и условий ее существования*¹. Если говорить только о Европе, то здесь понятие личности, зародившееся в античности, пребывает в эмбриональном состоянии вплоть до начала христианской эры. Античный человек неотделим от ближайшего окружения и семьи, подчинен слепой и безымянной судьбе, стоящей выше самих богов. Рабство не шокирует даже самые возвышенные умы того времени. Философы ценят одно обезличенное мышление и его неизменный порядок, управляющий и природой и идеями. Своеобразие считалось тогда чем-то вроде изъяна в природе и сознании. Платон пытался свести индивидуальную душу к тому, что причастно и природе и социуму, — отсюда его "коммунизм". Для него, как и для Сократа, индивидуальное бессмертие — это лишь прекрасная и смелая гипотеза. Аристотель утверждал, что реально только индивидуальное, но его бог не в состоянии ни индивидуально желать чего-либо, ни познавать с помощью особенных сущностей, ни любить избирательной любовью. Согласно Плотину, всякая индивидуальность создана как бы по ошибке, и спасение виделось в возврате к утраченному Единому и Вневременному.

Тем не менее греки обладали острым чувством человеческого достоинства, что порой нарушало их бесстрастный порядок. Об этом свидетельствуют свойственное им чувство гостеприимства и культ умерших. Софокл, по крайней мере однажды (см. "Эдип в Колоне"), попытался заменить идею слепой судьбы идеей божественной справедливости, основанной на различии. Антигона* вызывает к вечности, свидетельствуя против произвола власти. В "Троянках"*** идея неизбежности войн противопоставляется представлению об ответственности людей. Сократ на место утилитарных речей софистов ставил всепроникающую иронию, приводящую собеседника в замешательство, подвергающую сомнению как его знание, так и его самого. Формула "Познай самого себя" явилась первым революционным призывом персоналистского содержания. Но в тех условиях этот призыв мог получить лишь слабый отклик. Наконец, не следует забывать ни мудреца "Никомаховой этики"****, ни стойков с их смутным предчувствием *caritas generis humani*****.

¹ Описание этой истории можно найти в статье: *Plaquet J. Individu et personne. Esquisse des notions / Esprit, janvier 1938*. Во Франции и США готовятся работы, посвященные истории персонализма.

Христианство с первых своих шагов решительно выдвигает на первый план понятие личности. Сегодня нам трудно представить, какой переворот это произошло в мыслях и чувствах греков.

1. В то время, когда множественность была для духа неприемлемым злом, христианство возводит ее в абсолют, утверждая творение *ex nihilo** и предназначение каждой отдельной личности. Высшее существо, опирающееся в своих деяниях на любовь, уже не тождественно мировому единству, порожаемому некой абстрактной идеей; единство мира создается его безграничной способностью бесконечно умножать эти отдельные акты божественной любви. Множественность не является свидетельством несовершенства; напротив, она рождена от избыточности и любви и несет их в себе. Но еще долгое время дерзкая мысль о множественности душ будет наталкиваться на пережитки античного мировосприятия, и даже Аверроэс испытывает потребность вообразить душу, общую всему роду человеческому.

2. Человеческий индивид не является лишь средоточием ряда реальностей общего характера (материя, идеи и т. п.), он представляет собой неделимое целое, единство которого важнее множественности, ибо имеет корни в абсолютном.

3. Над личностями господствует уже не абстрактная власть судьбы, царство идей или безличная идея, равнодушные к индивидуальным судьбам, но Бог, который сам, правда, в высшем смысле, является личностью и "отдал часть себя", чтобы взять на себя судьбу человека и изменить ее; вместе с тем он предлагает каждой личности внутренне приобщиться к божественному; Бог, который утверждает себя, не отторгая человека (современный атеизм в лице Бакунина и Фейербаха убежден в обратном), а, напротив, даруя ему свободу, подобную собственной, и воздавая великодушием за великодушие.

4. Глубинный смысл человеческого существования состоит не в том, чтобы слиться с абстрактной всеобщностью природы или царства идей, но в том, чтобы переменить "тайну своей души" (*metaioia*), чтобы принять в нее Царство Божие и воплотить его на земле. Тайна души, которая решается на такой личностный выбор, на подобное преобразование Вселенной, неприкосновенна; о ней никто не может судить, никто не знает ее, даже ангелы, только Бог.

5. К такому поступку человек призван в свободе. Он — существо сотворенное, но его конституирующим началом является свобода. Бог создал творение настолько совершенное, насколько это вообще возможно. Однако он предпочел призвать человека, чтобы тот, пользуясь свободой, сам взрастил свою человечность и чтобы жизнь его стала отражением жизни божественной. Подлинное и полное осуществление свободы предполагает также и право человека отказаться от своего предназначения, иными словами, не исключает его право на греховность. Поэтому грех не только не является пороком — его отсутствие вело бы к отчуждению человека.

6. Подобная абсолютизация личностного начала не отделяет человека ни от мира, ни от других людей. Вочеловечение Бога освящает единство земли и неба, плоти и духа, искупительную жертву человеческого деяния, осененного благодатью. Таким образом, единство человеческого рода оказывается полностью утвержденным и дважды оправданным: каждая личность создана по образу и подобию Божию, каждая личность призвана участвовать в создании мистического тела церкви, осененного милостью Христовой. Коллективная история человечества, о которой греки не имели ни малейшего представления, отныне приобретает свой, по сути космический, смысл. Сама концепция Троицы, дававшая пищу для споров на протяжении двух столетий, приводит к идее о Высшем Существо,

внутри которого осуществляется диалог личностей, что уже само по себе является отрицанием одиночества.

Такое видение было слишком новым и радикальным, чтобы сразу обнаружилось все его последствия. Представ в глазах христиан зародышем историчности, оно приведет их к мысли и о конце истории.

На протяжении всего средневековья социально-идеологические предрассудки греческой античности оказывают этому видению постоянное сопротивление. Потребовалось несколько веков, чтобы перейти от реабилитации раба в сфере мысли к его действительному освобождению; что касается идеи о равенстве душ, то мы до сих пор не пришли еще к реальному равенству социальных возможностей; там, где речь идет об огромных массах, духовное не в состоянии опережать телесное; не знающая техники феодальная эпоха не дает средневековому человеку возможности высвободиться из плена тяжелого физического труда и полуголодного существования и создать гражданское общество по ту сторону социальных и сословных перегородок. Хотя христианство с самого начала активно вступило в борьбу с разного рода дуализмом, мысль о нем до сих пор сохраняется в нашем восприятии. В период раннего средневековья эта тенденция поддерживала живучесть платоновских заблуждений, которым противостоял реализм Альберта Великого и Фомы Аквинского, вновь заговоривших о достоинстве материи и единстве человеческого начала. Между тем уже во II—VI веках понятие личности постепенно начинает заявлять о себе благодаря тринитарным и христологическим спорам; оно оказалось более созвучным греческой духовности, тогда как римский юридический ригоризм, придававший понятию личности большую формальность, в глубине своей продолжал ему сопротивляться. Каждое значительное учение добавляло этому понятию новые штрихи. Однако концептуально-логическое наследие греков, со своими градациями и всеобщностями, затрудняло его становление.

Обычно с *Декартом** связывают современный рационализм и идеализм, растворяющие конкретное существование в идее. При этом не учитывают всего содержательного богатства декартовского *Cogito*, способного принимать решение. В качестве акта субъекта и интуиции ума *Cogito* является утверждением бытия, останавливающего нескончаемое движение идеи и настоятельно полагающего себя в существовании. Эти пути уже были проложены волюнтаризмом от Оккама до Лютера. Философия отныне перестает быть уроком для заучивания, какой она была в поздней схоластике, и превращается в размышление о личности, к которому она призывает всех и каждого. Подобно Сократу, она направляет свою мысль к существованию¹.

В то же время нарождающаяся буржуазия расшатывала сковывающие ее феодальные структуры. Но застывшему в своей неподвижности обществу она противопоставила изолированного индивида, тем самым положив начало экономическому и духовному индивидуализму, тягостные последствия которого мы ощущаем еще и сегодня. Декарт своим *Cogito* также посеял семена метафизического идеализма и солипсизма, подрывавших классический персонализм от Лейбница до Канта и кантианцев, несмотря на множество глубоких идей, которые принесло с собой их развитие.

Гегель навсегда сохранит за собой славу великого и бесстрастного архитектора всемогущей и безличной идеи. Все вещи и все существа растворяются в ней. И не случайно в конечном итоге Гегель провозглашает полное подчинение индивида государству. Но не следует забывать и того, чем персонализм обязан

¹ *Chastaing M.* Descartes, introducteur à la vie personnelle / *Esprit*, juillet 1937.

Лейбницу и Канту, а диалектика личности — всему рефлексивному направлению идеалистической мысли. *Паскаль*, отец современной диалектики и экзистенциального сознания, стал бы величайшим из величайших мэтров, если бы влияние янсенизма не толкало его к проповеди высокомерного одиночества, что произошло впоследствии и с Кьеркегором. Стоит помнить и о *Мальбранше*, о его "Трактате о нравственности"; о *Руссо*, разделяющем непоследовательный рационализм просветителей, сбитом с толку индивидуализмом, но возродившем значение одиночества и заложившем основы воспитания личности. Отметим также актуальность *Гете*, который ищет в деятельности динамическое единство духа и материи. В XIX веке необходимо выделить трех мыслителей, признание к которым приходит, правда, лишь в следующем столетии — настолько трудно им было дышать в идейном климате своего времени.

Мэн де Биран является непосредственным предшественником французского персонализма. Он отвергает механицизм идеологов Просвещения, растворявших конкретное существование в псевдоэлементах мышления, и ищет Я в усилии, посредством которого мы воздействуем на мир. Этот опыт, представляющий собой единство внутреннего побуждения и мускульных усилий, выявляет во всяком сознании его связь с непреложной и объективной реальностью; нельзя, следовательно, противопоставлять сознание и пространство; любое сознание выходит в пространство, утверждает себя в нем. Идеи Мэн де Бирана замечательным образом высветили истоки личности и сферу ее проявления.

Кьеркегор, в свою очередь, выступая против системы, олицетворяемой Гегелем, и ее спиритуалистических истолкований, говорит о неотвратимости возникновения свободы. Глашатай парадоксального, драматического величия человека, боровшийся против опьяняющего буржуазного комфорта и прекраснодушия, он, к сожалению, не смог отказаться от горделивого одиночества и выйти к миру и людям. Тем не менее на закате эпохи, готовый согласиться на любое порабощение в обмен на своего рода вегетативное спокойствие, Кьеркегор довел до высшего значения смысл свободы, радикальным образом связав ее с абсолютном.

Маркс с иных, чем Кьеркегор, позиций упрекал Гегеля за то, что он сделал субъектом истории абстрактный дух, а не конкретного человека, свел к идее живую реальность человеческого существования. Согласно Марксу, такое отчуждение является следствием отчуждения, господствующего в капиталистическом мире, который превращает трудящегося человека-производителя в объект истории и тем самым как бы отторгает его от него самого, равно как и от природного мира. Наступление на обезличивающие силы, начатое в XIX веке, можно было бы, вероятно, назвать революцией в духе Сократа; оно пошло по двум направлениям: от Кьеркегора, призывающего человека, выбитого из колеи научными открытиями и насилием над окружающей средой, к осознанию своей субъективности и свободы; от Маркса, разоблачающего мистификации, порождаемые социальными структурами, выросшими из материальных условий существования, и напоминает человеку, что мало болеть за свою судьбу, — ее надо строить засучив рукава. Роковой разрыв! Обе линии в дальнейшем расходятся все больше и больше, и задача нашего века, думается, состоит не в том, чтобы соединять их там, где они не могут соединиться, а в том, чтобы стать выше расхождений, подняться к единству, которое было отвергнуто.

В свете великих событий XIX века необходимо было бы проследить постепенное вызревание социальных условий для подлинно человеческого существования. При всех оговорках относительно Великой французской революции очевидно, что она знаменует собой важнейший этап социального и политического освобождения, хотя и ограниченного ее индивидуалистическим контекстом. С этого момен-

та некоторого рода фатальность начинает набирать силу. С одной стороны, находя благоприятную почву в победно шествующем капитализме, со стремительной скоростью развивается индивидуализм. Либеральное государство закрепляет это развитие в своих кодексах и институтах, проповедуя вместе с тем моральный персонализм (в кантовском духе) и персонализм политический (буржуазного толка) и создавая таким образом конкретные условия для социального, экономического, а вслед за ним и политического порабощения народных масс. Романтизм содействует всестороннему развитию чувств индивида, однако заводит его в такие тупики, где ему не остается ничего иного, как выбрать безысходное одиночество или утрату желаний. Отступая перед лицом этой новой опасности и боясь проявить свои разрушительные силы, мелкобуржуазный мир стремится скрыть их за ширмой сомнительных удовольствий, установив господство осмотрительного индивидуализма. Но как раз в это время бурное развитие техники раздвигает узкие рамки жизни индивида, открывает перед ним широкие перспективы, вовлекая в коллективные отношения. Теряющий опору индивидуализм страшится одновременно и анархии, в которую погружается, и коллективизма, который ему угрожает. Он пытается прикрыть свои тылы идеей "защиты личности". Уже *Ренувье* считал в равной мере опасными как страсть к метафизике, так и поиск единства политическими средствами. Личность для него — это прежде всего отрицание, неприсоединение, возможность противостоять, испытывать сомнения, сопротивляться опьянению мышлением и соответственно отвергать все формы утверждающейся коллективности — теологические или социалистические. Это, разумеется, вполне здоровая реакция на опасность, но она рискует оказаться во власти анархизма. Именно последний обрел на бесплодность поиски *Прудона*. Страстный анархизм *Ницше* драматизировал ситуацию, усилив негативные тенденции, которые впоследствии войдут составной частью в некоторые экзистенциалистские концепции.

Между тем действительный выбор происходит отнюдь не между слепым имперсонализмом, этой разросшейся губительной раковой опухолью, и потерявшими надежду гордцами, которые до конца будут стоять на своем. Страх перед этими мистическими чудовищами стал рассеиваться, когда началась разработка более богатого понятия личности, ее отношений с миром и его творениями. Речь идет прежде всего о *Лотце*, о работах *Макса Шелера* и *М. Бубера*, появившихся во французском переводе и совпавших по времени с выходом книг *Бердяева**, который не захотел приносить в жертву ни свободу духа, ни технику, как в свое время *Бергсон*, не отрекшийся ни от свободы, ни от строгой науки. Вслед за *Лабертоньером Морис Блондель* говорит о диалектике духа и действия, разрушающей все спиритуалистические мистификации. В то время как в лирике *Пеги* начинают звучать все темы, которые мы проанализируем ниже, *Ж. Маритен* для решения актуальных проблем обращается к разоблачительному реализму, заимствуя его у святого *Фомы*; *Габриель Марсель*** и *К. Ясперс*, один христианин, другой — агностик, вносят существенный вклад в описание структур личностного универсума. К ним весьма близок и *П. Л. Ландсберг****, жизнь и творчество которого были насильственно прерваны.

Если иметь в виду собственно персоналистские исследования, которые начиная с 1932 года постоянно публикует журнал "Эспри", то на них оказывали влияние, с одной стороны, экзистенциалистские, с другой — марксистские разработки. Экзистенциалисты настоятельно требовали обсуждения персоналистских проблем: свобода, внутренний мир личности, коммуникация, смысл истории. Марксисты призывали современное мышление освободиться от идеалистических мистификаций, стать на твердую почву в осмыслении реальных проблем человека

и связать самую возвышенную философию с актуальными вопросами современности. Таким образом, можно говорить о трех близких персонализму направлениях: экзистенциалистском (к нему примыкают Бердяев, Ландсберг, Рикёр, Недонсель*), марксистском (нередко конкурирующим с первым) и более традиционном, связанном с французской рефлексивной традицией (Лашез-Рей, Набер, Ле Сени, Мадинье, Ж. Лакруа**).

За пределами Франции во многих странах формируются течения, провозглашающие себя персоналистскими. Есть и такие близкие к ним концепции, которые прямо не заявляют о своей приверженности идеям персонализма. В Англии называют себя персоналистскими несколько журналов, а также группа Дж. Б. Коатса. Они ищут вдохновения прежде всего у Дж. Макмарри, Дж. Мидлтона, Мюрри, Н. Бердяева и М. Бубера; не следует забывать и о Ньюмене. Религиозный субъективизм, политический либерализм и антитехницизм (в духе Рёскина и Г. Рида) нередко уводят их в сторону от французского персонализма, однако диалог с ними возможен. В Голландии рожденное в 1941 году в лагере заложников персоналистское движение развивалось исключительно в политическом плане и пыталось построить и "новый социализм" силами "Нидерландского народного движения", которое впоследствии пришло к власти и слилось с социалистической партией. В США также набирает силу довольно заметное персоналистское направление (от Ройса и Хоуисона до Боуна, Брайтмена и Флюэллинга). В Швейцарии, где еще жива память о Секретане, выходят "Швейцарские тетради "Эспри". Близкие персонализму группы создаются и в странах, освободившихся от фашизма***.

Поскольку личность является не объектом, который можно было бы отделить от мира и изучать извне, но центром, на который должна ориентироваться объективная Вселенная, нам необходимо сосредоточить свой анализ на создаваемом ею универсуме, выявить его структуры и различные аспекты, постоянно помня о том, что это всего лишь наше видение реальности. Каждый обладает истиной не иначе как во взаимосвязи со всеми другими.

I. СТРУКТУРА ЛИЧНОСТНОГО УНИВЕРСУМА

1. Воплощенное существование

Современные спиритуалистические концепции делят мир и человека на две независимые части — материальную и духовную. Одни считают независимость этих двух частей очевидным фактом (психофизический параллелизм), но, признавая существование закономерностей в материальной сфере, сохраняют за ними право на абсолютное законодательство и в царстве духа; в таком случае соединение двух указанных миров необъяснимо. Другие отрицают реальность материального мира до такой степени, что видят в нем лишь проявление духа, что граничит с парадоксом.

Персоналистский реализм начинается с того, что перечеркивает эту схему.

Личность погружена в природу. Человек — это тело, но и дух, он весь — тело, как и весь — дух. Самые элементарные свои потребности, такие, как потребность в пище и продолжении рода, он превратил в утонченные искусства (кулинарное искусство, искусство любви). Когда болит голова, трудно философствовать, а у святого Хуана де ла Круса во время иступленных занятий подступала рвота. Расположение моего духа и мысли мои формируются под влиянием климата, местоположения на земной поверхности, наследственности и, может быть, по ту сторону всего этого, под мощным воздействием космических лучей. На эти влияния накладываются затем психологические и коллективные закономерности. Человек весь от земли, в его жилах течет кровь. Исследования показали, что великие религии идут тем же путем, что и опустошительные эпидемии. Зачем же пренебрежительно относиться к этому? Великие проповедники, как и самые обыкновенные люди, ступали по грешной земле.

Такова лишь часть (правда, довольно значительная) истины, полученной с помощью материалистического анализа. И это общеизвестно. Нерушимый союз души и тела — вот ось христианского мышления. Оно и в современной версии не противопоставляет дух и тело, или материю. Для него дух — в том смысле, как его сегодня трактует спиритуализм, — одновременно и мышление (*nús*), и душа (*psychē*), и дыхание жизни, и дух в существовании сливаются с телом. Когда это целое противостоит сверхприродному призванию человека, христианство говорит о плоти, обозначая этим словом силу, сковывающую как душу, так и чувства. Устремляясь к Богу, тело и душа действуют сообща в царстве Духа (*Pneuma*) — в Царстве Божием, а не в эфирном царстве духа. Первородный грех исказил человеческую природу, а тем самым затронул и само "человеческое": начиная с Евангелия анафеме предавались скорее злой умысел и искажения духа, а не "плоть" как таковая. Христианин, с презрением относящийся к телу, к материи, посягает на главнейшую традицию своей веры. Согласно средневековой теологии, мы можем получить доступ к высшим духовным реальностям, и даже к Богу, лишь превзойдя материю и оказав на нее воздействие. Но случилось так, что презрение древних греков к материи, передаваемое из века в век, дошло до наших дней в виде ложного тезиса христианства.

Сегодня необходимо устранить этот опасный дуализм из нашей жизни и мышления. Человек — бытие природное; благодаря своему телу он является составной частью природы, и тело его неотрывно от него. Из этого необходимо извлечь соответствующие выводы.

Природа — речь идет о внешней, дочеловеческой природе, о психологическом бессознательном, о безличностной социальной связи — не является для человека злом: воплощение не есть грехопадение. Но поскольку природа — это средоточие безличностного и объективного, она несет в себе постоянную угрозу отчуждения. И нищета и изобилие одинаково угнетают нас, и мы постоянно у них в плену. Марксизм прав, считая, что уничтожение материальной нищеты положит конец отчуждению как необходимому этапу в развитии человечества. Но уничтожение материальной нищеты — еще не конец всякого отчуждения, тем более если речь идет о природе.

Личность превосходит природу. Человек — бытие природное. Но только ли природное? И не является ли он игрушкой в руках природы? Погруженный в природу и возникший из ее недр, не превосходит ли он ее?

Нам трудно описать понятие трансценденции. Наш разум сопротивляется тому, чтобы представить себе реальность, которая, подобно нашему конкретному существованию, целиком возникнув из другой реальности, тем не менее превосходила бы ее. Как говорил Леон Брюн-вик, нельзя находиться в одном и том же здании одновременно на двух этажах. Смешно представлять себе с помощью пространственного образа опыт, который не может быть представлен пространственно. Мир полон людей, совершающих одни и те же поступки в одних и тех же условиях, но каждый из них несет в себе и образует вокруг себя целую вселенную, и эти вселенные похожи друг на друга не более, чем различные созвездия.

Но приглядимся внимательнее к природе. Откажемся от материалистического мифа о природе как безличностной Личности, обладающей неограниченными возможностями; отбросим романтический миф о святой и неподвижной Матери-благодетельнице, хотя это грозит обвинением в святотатстве и подрыве основ. В обоих случаях человек как активная личность оказывается подчиненным вымышленному безличностному началу. Действительно, природа предстает нашему рациональному знанию не иначе как бесконечно сложное переплетение детерминизмов, о которых мы ничего не знаем, даже если по ту сторону систем, в каких мы действуем, удовлетворяя наши потребности, они и могут быть сведены к логическому единству. Что дает нам основание уподоблять себя таким символам, как, например, совокупность взаимосвязанных рефлексов, как это делает Павлов?

Если мы хотим понять человека как такового, его нужно рассматривать в целостном жизненном опыте и всеобъемлющей активности. Опыты Павлова осуществлялись в искусственных условиях, в лаборатории — их результаты механистичны, поскольку в них человек был поставлен в полностью механические условия. Человеку не свойственно находиться в таком положении. "...Человек — не только природное существо, он есть *человеческое* природное существо..."¹. Стало быть, человек обособляется от природы, порывает с ней благодаря двойкой способности: он единственный, кто познает окружающий мир, и единственный, кто его преобразует; при этом из всех живых существ он самый слабый и самый неприспособленный. Но он изначально предрасположен к любви и в этом значительно превосходит всех остальных. Христианин добавит к этому: человек — пришелец от Бога, умелый его соратник. Нельзя, конечно, забывать о слюнных рефlekсах, но все-таки не стоит и полностью отдавать себя во власть этих рефлексов.

Мы не напрасно говорим о действующих вокруг нас закономерностях. Но понятие закономерности, отнюдь не изгнанное из науки, как в этом пытаются нас уверить, применимо лишь к материальным явле-

¹ Marx. Économie politique et philosophie. Editions Coste, p. 78*.

ниям, расположенным на определенной ступени уходящей ввысь лестницы. При этом явления доатомного уровня свидетельствуют против этого понятия, а биологические феномены далеко выходят за его пределы. Для физиков на их узенькой ступеньке существует только "слабая каузальность", так что "одна и та же причина может вызвать то или иное возможное действие с определенной степенью вероятности" (Л. де Бройль). Человеческая же судьба не подчиняется подобным закономерностям. Хотя мы реально подвержены воздействию многочисленных жестких детерминизмов, каждый новый из них, открываемый учеными, вводит вместе с тем в нашу жизнь еще одну степень свободы. Пока люди не знали законов аэродинамики, они лишь мечтали о полетах; когда же их мечта переросла в настоятельную потребность, они полетели. В нотном стане всего семь нот, а между тем уже несколько веков с помощью этих семи нот создаются разнообразные музыкальные произведения. Тот, кто ссылается на фатальность природы, чтобы отрицать человеческие способности, поддерживает ложный миф или оправдывает собственное поражение.

Всемирная история свидетельствует о возникновении творческой личности в результате борьбы двух противоположных тенденций.

Одна из них — *постоянно действующая тенденция к деперсонализации*. Она проявляется не только как утрата личностных основ или как безразличие, ведущие личность к нивелировке (упадок энергии), самодовольственности или к движению по кругу. Она направлена против самой жизни, умеряет ее порыв, создает скопище бесконечно повторяющихся друг друга особей, лишает открытия новизны, отводит жизненный поток в безопасные зоны, откуда он продолжает по инерции движение, которое в итоге оборачивается против него. Она, наконец, лишает социальную и духовную жизнь напряженности, ведет к расхлябанности, рутине, пустой болтовне, общим словам.

Другая тенденция — *это движение к персонализации*, которое, строго говоря, начинается только с появлением человека, к чему, однако, он подготовлен всей историей Вселенной¹. Уже явления радиоактивности свидетельствуют о начале разрыва с монотонной фатальностью, господствующей в материи. Затем возникает жизнь, аккумулирующая себя во все более усложняющихся узлах организованной энергии, где какой бы то ни было детерминизм исключается; таким образом, открывается целый спектр возможностей, которые биологические образования предлагают индивиду на выбор и тем самым ведут к возникновению личностных центров. Лишенные качеств, частицы атома, даже несмотря на то что отделены друг от друга, не способны к опыту индивидуализации. Это общепризнанный факт с того времени, как квантовая теория наложила запрет на локализацию атома в определенной точке пространства. Эмбрион индивидуальности зарождается вместе с атомом, с его структурой, состоящей из частиц. Живому организму индивидуальность более обеспечена, однако, умножая ее, природа обходится с ней не по-хозяйски, щедро расточая в огромных количествах: из двух миллионов муши-

¹ Об этом см. работы П. Тейяра де Шардена.

ных яиц только две особи достигают взрослого состояния. Животное не знает рефлексивного сознания и взаимности сознаний. В конфликтной ситуации судьба индивида всегда подчинена судьбе рода. С появлением человеческой личности все это движение получает свое значение, но отнюдь не объяснение.

Возникновение личностного универсума не прерывает естественную историю; оно вовлекает ее в историю человека, не подчиняя полностью одну другой. Порой мы говорим о "первобытном человеке", как если бы он был погребен в глубине веков. Когда мы придем к ясному, опрокидывающему все прежние представления осознанию личностной реальности, наши истоки покажутся нам куда более близкими. Мы разыгрываем спектакль, где главные действующие лица — мир и нравственность, но им тайно режиссируют наши инстинкты, интересы, потребности; когда говорят о "жизни духа", то стараются спрятать за кулисами этих тайных режиссеров. Отчасти прав материализм, когда говорит об историчности и конкретности: человечество — это не ценностный абсолют, а определенный этап развития, и в большинстве случаев, исключая возможные отклонения, биологическая природа и экономика в значительной степени все еще управляют нашим поведением. Отдельные индивиды и целые движения с незапамятных времен, как человек стал человеком, разбивают эти оковы: в одиночку и сообща, то там, то здесь люди совершают отдельные броски к вершине человечества, прежде чем начнется массовое восхождение к ней. Говорить о личностном универсуме можно только применительно к будущему: сегодня существуют лишь отдельные индивидуальные или коллективные его образования. Поступательное расширение этого универсума и есть человеческая история.

Выводы. Из сказанного вытекают следующие важнейшие требования.

1. Нельзя ни порицать, ни восхвалять ни науку о "материи", ни науку о "духе", не соотнося их ценности с реальностью.

2. Персонализм не есть спиритуализм, он противоположен спиритуализму. Он рассматривает любую человеческую проблему в контексте конкретного существования, от глубинных материальных основ до наивысших духовных проявлений. Крестовые походы, несмотря на своеобразие каждого из них, явились важным следствием религиозных чувств и вместе с тем экономических движений эпохи нисходящего феодализма. Несомненно, изучая инстинкты (Фрейд) или экономические закономерности (Маркс), можно приблизиться к объяснению *всех* человеческих проявлений, вплоть до наивысших. Но, с другой стороны, ни одно из этих проявлений, даже простейшее, не может быть понято без учета ценностей, структур и противоречий личностного универсума, имманентного, как цель, любому человеческому духу, всякой деятельности человека в мире. Спиритуализм и морализм бесплодны, поскольку отрицают биологические и экономические закономерности. Но не менее бесплоден здесь и материализм. Как говорит сам Маркс, "абстрактный материализм" и "абстрактный спиритуализм" сходятся, и речь идет не о том, чтобы выбрать одно или другое, а об "истине", соединяющей их по ту

сторону расхождений¹. Шаг за шагом наука и рефлексия дают нам образ мира, который не может обойтись без человека, и образ человека, который не может обойтись без мира.

3. То, что мы только что сказали об объяснении, необходимо повторить и относительно деятельности. При возникновении любой практической задачи надо прежде всего обеспечить ее решение в плане биологическом и экономическом. Ваш ребенок необыкновенно вял, пассивен. Прежде чем бранить его, давайте посмотрим, все ли у него в порядке с эндокринными железами. Вы говорите: народ возмущается. Давайте изучим его платежеспособность, прежде чем упрекать его в материализме. И если вы хотите видеть народ более добродетельным, обеспечьте ему сначала материальную защищенность; если последняя не передается по наследству от отца к сыну, ваша социальная стабильность может быть нарушена — вот о чем вы забываете.

Соответственно в экономическом или биологическом плане решение человеческих проблем индивида, как бы они ни соответствовали элементарным потребностям, будут неполными и неосновательными, если не соотносятся с глубинными характеристиками человека. Духовное — это тоже целая инфраструктура. Психические расстройства, как и душевные переживания, связанные с экономическим разладом, могут со временем свести на нет успехи, достигнутые в экономике. Однако и самая что ни на есть рациональная экономическая структура, если она образуется вопреки фундаментальным требованиям личности, несет в себе собственную гибель.

Воплощенное существование. Персонализм, стало быть, противостоит идеализму как таковому, то есть 1) сведению материи (или тела) к проявлениям человеческого духа, поглощенного чисто идеальной деятельностью; 2) сведению личности как субъекта к геометрическим или познавательным отношениям, откуда его существование затем изгоняется или становится не чем иным, как точкой регистрации объективной данности.

В противоположность этому персонализм утверждает:

1) Сколь изобретательным и проницательным ни был бы человеческий разум в своей способности доходить до наитончайших артикуляций во Вселенной, материальное существует в ней автономно по отношению к сознанию, не сводится к нему, противостоит ему. Материальное не может стать внутренним содержанием сознания. Именно последнее Маркс и Энгельс называли материализмом. Но оно сообразуется с самым что ни на есть традиционным реализмом, не чужающимся обращения к позитивным моментам в критике идеализма. Что наиболее чуждо сознанию, так это чистое, слепое и непроницаемое существование. Мы можем говорить об объекте, а тем более о мире, только по отношению к воспринимающему их сознанию. Сводит материю к совокупности отношений — значит говорить ни о чем. Что это за отношения, которых мы не воспринимаем? Диалектическое отношение между материей и сознанием неустранимо, как неустранимо само их существование.

¹ Critique de la philosophie du droit de Hegel (Oeuvres, Coste, IV, 183); Économie politique et philosophie (Ibid., VI, 76)*.

2) Я выступает как личность уже в наипростейших своих проявлениях, и мое воплощенное существование, отнюдь не обезличивая меня, является сущностным фактором моего личностного равновесия. Мое тело не есть объект среди других, пусть даже наиболее близких мне объектов; в противном случае каким образом оно могло бы присоединиться к моему субъективному опыту? В действительности оба опыта нераздельны: *Я существует телесно и Я существует субъективно* — это один и тот же опыт¹. Я не могу мыслить, не обладая бытием, и не могу обладать бытием, не имея тела; с помощью тела я *предстаю* перед самим собой, перед миром, перед другими людьми; благодаря телу я не одинок в своем мышлении, которое в противном случае было бы мышлением о мышлении. Не позволяя мне быть полностью прозрачным перед самим собой, тело постоянно выталкивает меня вовне, бросает в мир, вовлекает в борьбу. Своей устремленностью к смыслу оно вводит меня в пространство, своим старением оно говорит о течении времени, своей смертью ставит меня один на один с вечностью. Тело отягощает нас, мы зависим от него, но в нем же — исток нашего сознания и духовности. Оно — вездесущий посредник в жизни духа. В этом смысле можно вслед за Марксом сказать, что "непредметное существо есть невозможное, нелепое существо"², добавив, однако, что, будь человек только предметным бытием, ему недоставало бы завершенности бытия, то есть личностной жизни.

Персонализация природы. Личность не может удовлетвориться тем, что подчинена природе, в которой родилась, тем, что лишь испытывает ее воздействие. Она обращается к природе, чтобы шаг за шагом преобразовывать ее и приспособлять к своим потребностям.

На первых порах личностное сознание утверждает себя, осваивая природную среду. Согласие с реальным — первое условие любого творчества. Кто отрицает это, тот мелет вздор и в своей деятельности сбивается с пути.

Но согласие — лишь первый шаг. Сверх меры приспособляться к вещам — значит попадать к ним в рабство. Человек комфорта — это домашнее животное; он — раб предметов, обеспечивающих комфорт. Человек, сведенный к своей производительной или социальной функции, всего лишь винтик в системе. Использование природы имеет целью не добавлять к системе детерминизмов еще и систему условных рефлексов, а открывать перед творческой свободой все возрастающей массы людей наивысшие возможности. Только жизнеутверждающая сила личности сметает препятствия и прокладывает новые пути. Для этого ей надо отвергнуть природу как данность и утвердить ее как личностное деяние, как опору персонализации. Тогда *принадлежность* к природе оборачивается *господством* над нею и мир входит в саму плоть человека и его судьбу.

Смысл личностного деяния в природе можно описать и так.

¹Это — основная тема работ Габриеля Марселя и Мэн де Бирана; см. также: *Madinier G. Conscience et mouvement.* Paris: Alcan, 1938.

²Marx. *Économie politique et philosophie.* Editions Coste, VI, 77*.

Личность не может без катастрофических последствий доверяться магии собственного движения вперед. Когда Форда спрашивали, почему он постоянно расширяет свое производство, он отвечал: "Потому что я не могу остановиться".

Личность не относится к вещам, как господин к своим рабам. Личность освобождает себя, освобождая все вокруг. Она призвана освободить как вещи, так и все человечество. Маркс говорил о капитализме, что он низводит вещи до уровня товара, превращает их в машины по производству прибыли, затеняет в них то, что делает их собственно вещами и что только поэт в состоянии постичь. Мы всякий раз содействуем этой деградации тем, что усматриваем в вещах препятствия, которые надо преодолеть, косную материю, которой надо овладеть и над которой необходимо господствовать. Безраздельная власть, которой мы подчиняем вещи, переносится и на человеческие отношения, что ведет к тирании, исходящей, однако, не от вещей, а от человека. Точка зрения марксизма, утверждающего, что миссия человека заключается в том, чтобы, гуманизируя природу, вернуть вещам их достоинство, совпадает с христианской позицией, согласно которой человек призван искупить себя в труде и тем самым искупить материю, которую он в своем падении увлек за собой в бездну. Учение Маркса о ценности практической деятельности (praxis) есть своего рода обмирщенная христианская концепция труда¹.

Отношение личности к природе не является сугубо внешним, оно — диалектическое отношение обмена и восхождения. Человек воздействует на природу, чтобы покорить ее, подобно тому как самолет борется с силой тяготения, чтобы преодолеть эту силу. С первых своих шагов на земле, "чтобы возделывать" ее² и дать имя каждой живой душе, человек повел себя так, что в результате не осталось чистой природы, природы, которую он не очеловечил бы. То, что мы называем природой, соткано из наших усилий. Едва научившись понимать мир и приспособившись к нему, мы сразу приступаем к раскрытию его тайн — тайн материи, жизни, психики. Это — решающий шаг. Как торжественно провозглашается в "Тезисах о Фейербахе", "философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его"^{*}. Вместе с трудом придет мудрость, но он же породит и безумие; *созидать* — вот в чем сущность человеческой деятельности, но при одном лишь условии: если она осуществляется в тотальной перспективе, откуда черпаются самые сокровенные цели божественного происхождения, возвышающие человечество. Производственная деятельность, направленная поначалу на скорейшее удовлетворение элементарных потребностей, а затем увлеченная корыстными интересами или опьяненная собственными успехами, должна в конце концов перерасти в освободительную деятельность, соответствующую *всем* требованиям личности. Производственная деятельность ценна только своей наивысшей целью — наступлением эры личностей. Цель эта не зависит ни от уровня технической оснащённости, ни от количества продуктов труда, ни от достигнутого благосостояния.

В этой перспективе мы постигаем глубинный смысл технического развития. Человек — единственное живое существо, способное произ-

¹ См. специальный выпуск "Эспри" — Esprit, juillet 1933: Le travail et l'homme.

² Кн. Бытия 2:15.

водить орудия труда и создавать на их основе целые системы машин, которые, в свою очередь, формируют коллективное тело человечества. В XX веке люди обезумели от обладания этим новым всемогущим телом. На деле машина имеет ужасающую отчуждающую силу: разрушая человеческие связи, она сильнее, чем что-либо другое, приводит к забвению, а порой и к уничтожению человека, вызвавшего ее к жизни. Существующая объективно и доступная познанию, она лишает тайны все интимное, заповедное, невыразимое; она дает в руки безумцев оружие, последствия применения которого трудно предвидеть, завораживает своим могуществом, чтобы скрыть жестокость. Сама по себе машина способна превратиться в мощную обезличивающую силу. Но происходит это только при условии, если она лишается всего того, что превращает ее в орудие освобождения человека от темных сил природы, в средство покорения природы. Чисто негативная позиция по отношению к техническому прогрессу обнаруживает свою несостоятельность, свою близость к идеалистической концепции "судьбы", которой нам не понять ни за что на свете. Техническая эра несет с собой наибольшие опасности для процесса персонализации, наподобие того как бурное физическое развитие подростка рискует нарушить сбалансированность его организма. Но никакие заклинания здесь не помогут. Технический прогресс — это вовсе не роковая ошибка европейской цивилизации, он может стать средством, с помощью которого человек однажды покорит Вселенную, распространит на нее свое влияние и — хочется верить — перестанет быть парадоксальным существом, затерянным в пространстве¹.

Что мешает делу персонализации природы? Трагический оптимизм. Намечая широкие перспективы, открывающиеся перед персонализирующей деятельностью, нельзя забывать, что будущее не наступит автоматически. В каждое мгновение сталкиваясь со все новыми трудностями, будущее зависит от личного выбора каждого из нас, и любое отступление компрометирует его. Материя оказывает нам сопротивление, она вовсе не пассивна, не инертна, она — агрессивна. Персонализм, согласно Морису Недонселю, не есть "философия, которой предаются на досуге". Всюду, где личность распространяет свое влияние, природа, тело, или материя, заявляют о своих правах, будь то формула ученого, очевидность разума, бескорыстие любви. Всюду, где верх берет свобода, она отягощается тысячью зависимостей. Сокровенное выносятся вовне, выставляется напоказ, становится "общим местом": в чувственном восприятии чувство застывает, разные виды живого предстают как попятный ход жизни, привычки — как утрата изобретательности, а благоразумие — как охлаждение любви². Окруженная личностным универсумом, природа сама постоянно угрожает ему блокадой. В отношениях личности и мира ничто не говорит в пользу гармонии, о которой мечтал Лейбниц. Незащищенность, озабоченность — таков наш удел. И в обо-

¹ Об этом см.: *Mounier E. La petite peur du XX-e siècle.* Paris: Editions du Seuil, 1948 (наст. изд. с. 411—458).

² Об объективации см., в частности: *Berdiaeff N. Esprit et liberté.* Paris: Je sers, 1933; *Idem. La destination de l'homme.* Paris: Je sers, 1935; *Idem. Cinq méditations sur l'existence.* Paris: Editions Mouton, 1936*.

зримом будущем ничто не дает нам надеяться на окончание этой борьбы¹, как нет никаких оснований сомневаться в том, что в этой борьбе — наша судьба. Теперь понятно, что совершенствование воплощенного универсума и совершенствование порядка в мире совсем не одно и то же, как того хотели бы философы (и политики), полагающие, что придет день, когда человек сможет подчинить себе всю Вселенную. Это — совершенствование борющейся свободы, совершенствование самого борца, который умеет извлекать уроки из поражения. Собственно человеческий удел — это отмеченный величием и борьбой трагический оптимизм, это обретение человеком меры того, что он есть, и путь его пролегает между скороспелым оптимизмом либеральной или революционной иллюзии и ожесточенным пессимизмом фашизма.

2. Коммуникация

Итак, мы обрисовали личность во всем ее внешнем великолепии. Теперь нам предстоит обратиться к ее фундаментальнейшему свойству. Вопреки широко распространенному мнению, речь пойдет не о своеобразии личности, ее самодостаточности и самоутверждении, не об изоляции, но о коммуникации.

Самозащита индивида. Персонализм против индивидуализма. Для того, кто смотрит спектакль, разыгрываемый людьми, и чутко реагирует на все их действия, только что сказанное не является очевидной истиной. В самом деле, в истории человечества время войн намного превосходит мирное время. Жизнь общества — это постоянно возобновляющаяся герилья*. Когда же вражда затихает, наступает всеобщая апатия и чувства боевого братства, дружбы, любви, кажется, тонут в пучине безразличия. Хайдеггер и Сартр ввели эту проблематику в философию. Коммуникация, согласно указанным мыслителям, заблокирована потребностью человека подчинять себе подобных, владеть ими. Каждый из нас по необходимости либо тиран, либо раб. Стоит лишь человеку посмотреть на меня, и почва уходит у меня из-под ног, присутствие "другого" сковывает мою свободу, его выбор встает препятствием на моем пути; любовь отравляет человеческие отношения, превращая их в ад.

Напрасно возмущаться по этому поводу, как напрасно отрицать и то, что здесь затронут наиважнейший аспект человеческих отношений. Мир других людей несет не одни только наслаждения. Он постоянно угнетает, выбивает из колеи и тем самым толкает на борьбу; причиняя страдания, он ни на минуту не оставляет тебя в покое. Все это оживляет в людях инстинкт самосохранения. Одни погружаются в забытие, стирая в памяти все, что связывало их с себе подобными. Другие активно вступают в контакты с людьми, превращая их в полезные и подручные

¹Этьен де Греф высказывается на этот счет более пессимистично: *Greeff E. de. Notre destinée et nos instincts. Paris: Plon; Idem. Les instincts de défense et de sympathie. Paris: Presses Universitaires de France.*

средства, и в результате филантроп находит тех, кому можно посочувствовать, политик получает своих избирателей и т. п. Эгоцентрист ищет забвения в альтруистических иллюзиях, а кто-то еще видит в окружающих лишь свое собственное отражение. И в том и другом случае срабатывает некий инстинкт отрицания¹.

Даже при самых благоприятных условиях индивид своим присутствием омрачает коммуникацию. Всюду, где он заявляет о себе, он несет с собой смуту, расстраивает доверительные отношения, и каждый испытал это на собственной шкуре. Добродетель, если ею кичится, перестает быть таковой; потворство соблазну разрушает любовь; смена одной веры на другую часто соседствует с неверием. Даже самое ненавязчивое вторжение одного индивида в мир другого порой отвращает уже сложившиеся отношения.

В ответ на эти глубинные противоречия культура затевает игру масок, которые настолько тесно срастаются с человеком, что уже невозможно разглядеть его истинное лицо. Маска становится двойником человека, она позволяет ему обманывать не только других, но и самого себя, укрываться во лжи, дабы избежать той истины, что рождается, когда взгляд человека направлен на "другого" или внутрь себя.

Индивидуализм — это система нравственных идей и установок, чувств, мыслей, которые управляют человеком, пребывающим в состоянии изоляции и самозащиты. Таковы были идеология и структуры, господствовавшие в западном буржуазном обществе в XVIII—XIX веках. Это — абстрактный человек, лишенный привязанностей и естественного окружения, сам себе бог; его свобода и действия его бесцельны, у него нет чувства меры, он недоверчив и расчетлив в отношениях с людьми. Общественные институты поддерживают этот дух эгоизма. Таков режим, установившийся в агонизирующей цивилизации, самой ущербной из всех, какие знала история. Индивидуализм — это антипод персонализма и его злейший враг.

Чтобы подчеркнуть различия между персонализмом и индивидуализмом, иногда противопоставляют личность индивиду. В таком случае рискуют лишиться личность ее конкретных связей. И все же необходимо учитывать проблемы, связанные со становлением индивида. Ведь личности надлежит неустанно освобождаться от укрывшегося в ней индивида. Ей не достичь успеха, если она полностью уйдет в себя. Напротив, она должна стать свободной, "незанятой" (Г. Марсель) и тем самым более доступной и самой себе и другим. Только "не занятая", "не заполненная" собой она окажется способной на благосклонное отношение к другому человеку.

Коммуникация как первичный опыт. Итак, первая забота индивидуализма в том, чтобы сосредоточить индивида на самом себе; первая же забота персонализма — рассредоточить его, чтобы открыть перед ним перспективы личностного существования.

Такие перспективы намечаются довольно рано. Первое движение человеческого существа в раннем детстве — это движение к "другому":

¹ Mounier E. Traité du caractère. Paris: Editions du Seuil, ch. IX; *Idem.* Introduction aux existentialismes. Paris: Editions Denoël, 1946, ch. V.

ребенок в возрасте от шести месяцев до года выходит из вегетативной фазы развития и начинает открывать себя в "другом", понимать себя, реагируя на поведение "другого". И только позже, к трем годам, его захлестывает первая волна эгоцентризма. Когда мы размышляем о конкретной личности, мы находимся под впечатлением ее внешнего облика. Она пребывает перед нами в качестве объекта. Однако человеческое тело еще способно и видеть, оно — и глаз, направленный в мир, и я сам, о чем часто забывают. Благодаря внутреннему опыту¹ личность предстает устремленной к миру и к другим людям, сливающейся с ними в едином порыве к универсальному. Другие личности никак не ограничивают ее, они — залог ее бытия и развития. Личность существует только в своем устремлении к "другому", познает себя только через "другого" и обретает себя только в "другом". Первичный опыт личности — это опыт "другой" личности. Ты, а в нем и Мы предшествуют Я или, по меньшей мере, всегда сопровождают Я. В природе, которой мы в известной мере подчинены, два разных объекта не могут занимать одновременно одно и то же место в пространстве. Личность благодаря движению, полагающему ее как бытие, выставляет себя вовне, *ex-pose*. Таким образом, она по сути своей коммуникабельна, она одна предопределена как бытие. Именно из этого и надо исходить. Как философия, нацеленная исключительно на мышление, никогда не найдет пути к бытию, так и философия, исследующая одно лишь человеческое Я, не найдет дороги к "другому". Когда коммуникация ослабляет свою напряженность или принимает извращенные формы, я теряю свое глубинное Я. Ведь известно, что все душевные расстройства связаны с потерей контактов с "другими", здесь *alter* ("другой") становится *alienus* ("чуждым"), и я оказываюсь чуждым самому себе, отчужденным от себя. Можно даже сказать, что я существую в той мере, в какой я существую для "другого", и в конечном итоге существовать — значит любить.

Такова изначальная истина персонализма. Вот почему цивилизацию, к которой он стремится, можно назвать *персоналистской* и *общностной*². Вопреки твердолобым индивидуализму и идеализму персонализм утверждает, что субъект не занимается самоедством и что мы владем лишь тем, что отдаем другим, или тем, чему посвящаем всю свою жизнь; и нам не достичь спасения в одиночку — ни в социальном плане, ни в плане духовном.

Итак, первейшее дело личности заключается в том, чтобы совместно с другими строить общество личностей, где обычаи и образ жизни, общественные структуры и установления соответствовали бы требовани-

¹ *Nédoncelle M.* La réciprocité des consciences. Paris: Aubier, 1942; *Buber M.* Je et tu. Paris: Aubier, 1923; *Madinier G.* Conscience et amour. Paris: Presses Universitaires de France. Немцы говорят: мое бытие — это "бытие с..." (Mit-sein) или "бытие к..." (Zu-sein). Ср. с латинским: ad-sum ("быть по отношению к другому" — "А вот и я!") ("Я к вашим услугам, в вашем распоряжении").

² Формулировки "персоналистская революция", "общностная революция" впервые появились на страницах журнала "Эспри" зимой 1932/33 г., а затем в работе: *Mounier E.* Révolution personaliste et communautaire. Paris: Aubier, 1935 — и впоследствии употреблялись неоднократно.

ям личностного существования. Такое общество и лежащую в его основе нравственность мы только еще предвидим, причем в самых общих чертах.

Общество личностей основывается на ряде оригинальных деяний, подобных которым еще не было во всей Вселенной.

1. *Выйти за собственные пределы.* Личность есть существование, способное отсоединиться от самого себя, отказаться от самого себя, раскритиковать себя, чтобы открыться "другому". Согласно персоналистской (особенно христианской) традиции, в личностной жизни главенствует аскеза, отказ от себя: освободить других и весь мир может лишь тот, кто сам освободился. Древние мыслители обличали самолюбие — то, что мы сегодня называем эгоцентризмом, нарциссизмом, индивидуализмом.

2. *Понимать.* Надо не ограничиваться собственной точкой зрения и уметь принять позицию "другого". Это не значит искать себя в "другом", тебе подобном, не значит это и постигать "другого" вообще (заметим, что наука психология настойчиво игнорирует "другого"). Это значит соединять наши отличные друг от друга позиции в ни с чем не сравнимом согласии.

Приспосабливаться ко всем, не теряя собственного Я, — это вовсе не то же, что все понимать, никого не любя; раствориться в "другом" — вовсе не значит "понять другого"¹.

3. *Взять на себя ответственность* за судьбу "другого", разделить с ним его огорчения и радости, его заботы — словом, "заболеть" им.

4. *Отдавать.* Живительная сила личностного порыва заключена не в материальных притязаниях (мелкобуржуазный индивидуализм), не в устремленности к смерти (экзистенциализм), а в бескорыстном великодушии, иными словами, в щедрой и безвозмездной самоотдаче. Экономика личности не строится на расчете и компенсации, это — экономика дарения. Великодушие, даже если оно не получает отклика, топчет лед недоверия и разрывает круг одиночества: оно расшатывает инстинкты, ставит под сомнение выгоду и расчет — словом, переворачивает все вверх дном. Оно сглаживает острые углы несогласия в казалась бы безвыходном положении, предлагая "другому" достойные его внимания ценности. Отсюда понятна очистительная сила прощения и доверия. Великодушие терпит поражение только перед лицом ненависти, которая кажется более загадочной, чем расчетливость, и является прямой противоположностью бескорыстия.

5. *Быть верным.* Жизнь — это нескончаемое приключение, которое длится от рождения до смерти. Преданность, любовь и дружба совершенны, если только они постоянны. Постоянство не имеет ничего общего ни с устойчивостью, ни с единообразием, свойственным материальным объектам или логическим обобщениям, оно — непрекращающееся излучение. Личностная верность имеет творческий характер².

Такова диалектика личностного общения, которая приумножает и укрепляет бытие каждого, вступающего в него.

Я воспринимаю "другого" в качестве объекта, когда веду себя так, словно его нет, или использую его как источник информации (Г. Мар-

¹ Lacroix J. Le sens du réalisme. Paris: Editions La Baconnière.

² Тема верности освещена в работах Г. Марселя: *Marcel G. Être et avoir.* Paris: Aubier, 1935; *Idem. Du refus à l'invocation.* Paris: Aubier, 1948.

сель), как подручное средство, или когда безапелляционно заносу его в каталог; тем самым я не признаю за ним надежды на будущее. Говорить о "другом" как о субъекте, как о конкретном бытии — значит признавать, что я не могу ни ограничить его определенными рамками, ни классифицировать, что он неисчерпаем и полон надежд; это значит предоставлять ему кредит. Отчаиваться по поводу кого-либо — значит приводить и его в отчаяние. Кредит великодушия, напротив, неистощим; великодушие — это живительный призыв (Ясперс). Неправильно ут-верждать, будто любовь нивелирует людей. Это справедливо лишь в отношении симпатии¹, средства душ; последнее означает, что мы стремимся отыскать в "другом" нечто созвучное нам самим. Подлинная любовь властно требует различения и признания "другого" "иным". Чувство симпатии принадлежит природе, любовь же — это новая форма бытия. Она находит путь к субъекту в качестве личности, в качестве свободы, невзирая на его достоинства и недостатки: любовь слепа, но ее слепота полна света.

Общность дарует свободу и тому, к кому вызывает, и тому, кто вызывает к ней. Акт любви — самый достоверный акт человеческого существа, его неопровержимое *Cogito*: я люблю — значит и существую, и жизнь стоит того, чтобы ее прожить (бремя жизни). Любовь дается мне не только тем, что я сам ее обретаю, но и через бытие, которое мне дарует "другой". Сартр склонен считать, что один лишь взгляд "другого" сковывает меня и делает неподвижным, а его присутствие, как захватчик, берет меня в плен и порабощает. Взгляд "другого" может быть разрушительным, если "другой" покушается на мои привычки, на мое спокойствие и умиротворенность. Тогда он враждебен мне, он — жестокий узурпатор. Стало быть, межличностное общение, чтобы быть позитивным, требует постоянной взаимности, обоюдного обогащения.

Препятствия, возникающие в процессе коммуникации. Быть — не значит любить беспрепятственно. Коммуникация постоянно наталкивается на целый ряд преград.

1. В "другом" есть что-то такое, что постоянно ускользает от наших усилий по налаживанию коммуникации. Даже в самых задушевных беседах нет полного согласия; против непонимания нет никаких гарантий, и лишь в редкие минуты совершается чудо подлинного общения, дающего нам силы на всю жизнь. Таково великое таинство любви, и чем она совершеннее, тем реже ей дано осуществиться.

2. Но и в нас самих есть нечто, отчаянно препятствующее взаимности; это — своего рода злая воля, описанная выше.

3. Наше существование не безмятежно, в нем возникают неустраняемые препятствия, затрудняющие общение.

4. Даже в основанных на взаимности объединениях, таких, как семья, родовая или религиозная община и т. п., коммуникация может

¹ Шелер проводит четкое различие между симпатией и любовью. См.: *Scheler M. Nature et formes de la sympathie.* Paris: Payot. См. также: *Madinier G. Conscience et amour; Le Senné R. Introduction à la psychologie.* Paris: Presses Universitaires de France, 1947, ch. IX: Sur les formes du nous.

столкнуться с эгоцентризмом, и тогда между людьми встанут новые преграды.

Таким образом, в мире, в котором мы живем, личность чаще незащищена, чем окружена заботой, пребывает в отчаянии, а не согрета взаимностью. Она жаждет общности с другими, но мир личностей закрыт для нее. Общность возникает реже, чем случается счастье, она более хрупка, чем сама красота. Если общность почти невозможна между двумя субъектами, то что говорить, когда субъектов множество. "Мир субъектов наводит на мысль о машине с приводными ремнями, колеса которой вращаются не в том направлении" (Недонсель); это — разбитый мир (Г. Марсель).

Нам могут возразить, что все зависит от общественного строя, увековечивающего классовую борьбу и угнетение человека человеком. Но кто знает, причина ли тут общественный строй или следствие. С ним надо бороться, и здесь, как нигде, нельзя взывать к одним лишь добрым чувствам. Структуры нашей социальной жизни по-прежнему искажают подлинный образ личности. Освободить личность от пережитков индивидуализма нам помогут другие структуры, но определить смысл этого освобождения и осуществить его должны мы сами. То, что одиночество многими современными писателями преподносится в качестве удела человеческого, возникло не на пустом месте: мы сами делаем себя одинокими.

Общность и коллективность. Если учесть все вышесказанное, то нельзя не удивиться тому, что персонализм часто представляют как антиколлективизм. В самом его названии прочитывают противостояние общностного и коллективного, вздыхая по утраченным малым сообществам — деревенской общине, ремесленной мастерской, семье; к большим же сообществам относятся явно недоброжелательно.

Эта позиция вызывает серьезные возражения. Здесь *близкое* ошибочно видится *в малом*. Если же поле деятельности человека расширяется, его охватывает паника, на него надвигается ощущение опасности, покинутости. Прежде (да и теперь тоже) он взывал к "подлинно человеческим" сообществам, "соразмерным человеку". Но по какой мерке скроен человек? Ограничивается ли его существование дачным участком или городским кварталом? А может быть, критерий здесь — Вселенная и история? Величие того, кто имеет дело с тысячекилометровыми пространствами, или того, кто мерит пространство тысячными долями миллиметра, как и того, кто призван читать книгу всемирной истории и творить ее, никак не зависит от размера его обуви. Разумеется, сложно иметь дело с огромными массами людей, и мы чувствуем себя уютнее в небольших сообществах. Критики социальной гигантомании выступают против безумия логики властей, исчисляющих людей массами, поскольку так удобнее видеть в них податливый материал или послушный инструмент, отрицать в человеке личность. И хотя эти же критики призывают нас изучать социальные отношения, опираясь на понятие масштаба или оптимальной величины человеческих объединений, они не в состоянии установить раз и навсегда единый образец для всех человеческих сообществ. Этот масштаб меняется в зависимости от лежащего в его

основании отношения к человеку: совершенно очевидно, что он не один и тот же в сообществе, основанном на дружбе, и в современном экономическом обществе.

Дух антиколлективизма таит в себе неосуществимую мечту об обществе, состоящем из одних только личностей. На деле коммуникация всегда чем-то подменяется. Так, мистический союз свободных личностей уступает место социальной кооперации и социальным структурам. Но и социальные структуры, очевидно, обедняют личностные отношения, поскольку воспроизводятся только как повторение. Вероятно, лишь идеальная ("ангельская") семья могла бы непрерывно поддерживать отношения любви и строить свою экономику как взаимный обмен дарами. Что касается реальной семьи, она полна психологических и правовых противоречий и создает собственную экономику, основанную на регламентациях и необходимости. Обезличенность, исходящая от структур, представляет собой реальную угрозу. Но она не только угроза. Для объединяющего порыва подобная обезличенность то же самое, что индивидуальное тело для процесса персонализации, — и необходимая опора, и столь же необходимое сопротивление. Игнорировать это — значит извращать человеческий удел. Вот почему анархистские мечтания, сколь привлекательными они ни были бы, граничат с катастрофизмом, с одной стороны, и наивным конформизмом — с другой.

Персонализм, таким образом, не отдает предпочтения ни социальному существованию, ни коллективным структурам. Но он всегда будет отличать одну коллективную иерархию от другой в зависимости от их потенциальной устремленности к общности, иными словами — в зависимости от способности к персонализации.

Низшей ступенью человеческого сообщества является та, которую Хайдеггер обозначил как *мир "man"* (фр. "on"), куда мы сползаем, если отказываемся быть трезвыми и ответственными субъектами. Это мир дремлющего сознания, обезличенных инстинктов, ни к чему не обязывающих отношений, повседневной болтовни, ложной стыдливости, социального и политического конформизма, моральной посредственности; это мир толпы, анонимных масс, безответственных исполнителей — мир опустошенный, лишенный жизненных сил, где всякая личность изначально себя отвергает, чтобы стать каким-нибудь "некто", которого всегда можно заменить. Мир "man" не образует ни "Мы", ни "целое". Являясь способом бытия, он не связан ни с какой формой социальности. Первейшим актом личностной жизни выступает осознание анонимного характера такой жизни и протест против деградации, какую она несет в себе.

Чуть выше располагаются другого рода жизненные общества. Они более индивидуализированы, чем предшествующий им мир, но, как и он, связаны исключительно с функционированием. И хотя функции выполняют здесь координирующую роль, они не объединяют людей существенным образом. Семья, в основе которой лишь кровные связи, с легкостью превращается в змеиный клубок; общность, основанная на элементарных потребностях или выгоде, является очагом раздора, поскольку, вопреки утверждениям либеральных моралистов, в подобных союзах интерес никогда не порывает связей с питающим его эгоцентризмом; более того, недостаточно персонализированные, эти сообщества могут объединяться в блоки, люди в них легко поддаются внушению, отличаются высокомерием и агрессивностью, внутренняя иерархия функций, если она безраз-

дельно правит обществом, преобразуется в жесткое отношение господства и подчинения; классы, касты и т. п. ведут между собой борьбу и стремятся сформировать "целое", которое разъедало бы отношения "Мы". Такие общества обычно закрыты для личности, если только они не подвергаются воздействию высших сил.

В XVIII веке считалось, что единственной антитезой иррационалистическому обществу является *разумное общество*, основанное на согласии безличностно мыслящих умов и руководствующееся формальными юридическими установлениями. Именно таким путем намеревались идти ко всеобщему миру, полагаясь на обязательное просвещение, развитие производства и господство права. Хотели доказать на опыте, что разум не разрушает чувства, что формальное право в состоянии справиться с мятежами и беспорядком, что любая организация и любая идеологическая система, если они пренебрегают неотъемлемыми правами личности, ведут к жестокостям и войнам. Короче говоря, всеобщее нельзя создать, забывая о личности. Извращенное толкование этих несбывшихся иллюзий и опустошенность, какую испытывает современный человек, способствовали тому, что сегодня массы людей пребывают в пучине иррационализма: "мистика" фашизма, абсурдизм, психоанализ, эзотеризм и т. п.

Этот распад, или коллективный невроз, разумеется, не преодолеть на пути возврата к рационалистическим иллюзиям. И тем более не преодолеть его, подрывая уважение к рациональному мышлению. Мышление существует только в субъекте, и только благодаря ему оно приходит в мир. Между тем если мышление не обладает коммуникативной способностью или если оно в той или иной мере безлично, оно вовсе не мышление, а бред. Наука и объективное размышление являются необходимыми опорами интересубъективности. И посредником здесь выступает право. Оно сдерживает биологический эгоизм, гарантирует каждому человеку его существование в джунглях инстинктов, обеспечивает минимальные порядок и безопасность и тем самым закладывает основы личностного универсума¹. Надо осознать неустранимую необходимость этого посредничества и в то же время его недостаточность в обеспечении подлинно личностного сообщества.

В современных условиях такого рода сообщества могут состоять из двух или небольшого числа личностей: супружеская пара, близкие друзья, товарищи по партии, боевые соратники, группа верующих и т. п. Но здесь прорыв к общности, совершаемый на едином дыхании, грозит даже лучшим из сообществ превратиться в закрытые сообщества. Они могут стать ячейками личностного универсума, если только каждый из участников будет открыт навстречу универсальному личностному сообществу.

О единстве мира личностей. Личностный мир теперь предстает перед нами во всей своей фундаментальности. Он образован двойным движением, на первый взгляд противоречивым, на деле же диалектическим, — движением к утверждению личностного абсолюта, не подверженного никакой редукции, и к созданию универсального и единого мира личностей.

¹ *Gurvitch G.* L'idée de droit social. Paris: Recueil Sirey; *Lacroix J.* Personne et amour. Paris: Editions du Livre Français; *Renouvier Ch.* Opuscules sur l'histoire de Kant. Paris: Aubier.

В этом мире личностей нет места тождественности: личность по определению не может быть повторена дважды.

Между тем *мир личностей* существует. Если бы личности были абсолютно различны, то ни одна из них — ни "Я", ни "Он" — не могла бы мыслить их вместе и употреблять по отношению к ним одно и то же понятие — "личность". Между ними должно быть что-то общее. Сегодня мы испытываем отвращение к мысли о неизменности человеческой природы, поскольку осознаем неисчерпаемость человека. Понятие человеческой природы заранее ограничивает возможности человека. На деле же его возможности столь непредсказуемы, что говорить о них нужно с большой осторожностью. Но, выступая против тирании формальных дефиниций, нельзя впадать и в другую крайность: отрицать за человеком, как это порой делает экзистенциализм, какую бы то ни было сущность или структуру. Если бы человек был *таким*, каким он *сам себя сделал*, то не было бы ни человека вообще, ни истории, ни человеческой общности (именно к такому выводу в итоге приходят некоторые экзистенциалисты).

Одна из ключевых идей персонализма — это мысль о *единстве человечества*, существующего в пространстве и времени, мысль, которую в античности высказывали некоторые школы, принадлежащие к иудеохристианской традиции. Для христианина нет ни гражданина, ни варвара, ни господина, ни раба, ни иудея, ни язычника, ни белого, ни черного, ни желтого, а есть люди, созданные по образу и подобию Божию, и все они призваны Христом ко спасению. Мысль о роде человеческом, имеющем свою историю и коллективную судьбу, которой ни один индивид не в состоянии избежать, — такова господствующая идея отцов церкви. Будучи секуляризованной, она в XVIII веке вдохновляла космополитизм, в наше время ею руководствуется марксизм. Она противостоит гипотезе об абсолютном разрыве между свободой отдельных личностей (Сартр) или отдельными цивилизациями (Мальро, Фробениус). Эта идея противостоит также всем формам расизма и кастовой замкнутости, направлена против общественной изоляции психически неполноценных индивидов, ненависти к представителям других народностей, притеснения инакомыслящих: любой человек, как бы он ни отличался от всех других, остается человеком, и мы обязаны предоставить ему возможность жить по-человечески.

Мысль о едином и неделимом человечестве тесно связана с современной идеей *равенства*. Формулировки, в которых она порой выражается, вводят нас в заблуждение. Суть равенства не в обособлении и разъединении, а в связности человечества. Эта идея формировалась в борьбе против остановившихся в своем развитии обществ, но как раз в глубине их искали принцип сообщества как такового. Понятие *справедливости*, как мы понимаем ее сегодня, вначале имело значение индивидуальной потребности, поскольку справедливость надо было отвоевывать у природы, постоянно воспроизводящей неравенство. Справедливость — это и порядок, и связь (Прудон) одновременно. Эта мысль значительно глубже того, что говорит по этому поводу традиционная критика. "Равенство, — пишет Мадинье, — это то, чем становится внешняя жизнь

индивидов, когда они намереваются образовать сообщество, основанное на морали”*. Это удачная формулировка, она указывает одновременно на богатство и на ограниченность заключенных в ней понятий. Речь идет о могуществе формального разума и права, недооценивающих, с одной стороны, силу инстинктов, а с другой — своеобразие любви, которую такие мыслители, как Ренувье и Прудон, стремились вывести за пределы разума и отдать в ведение природы. Это вело к укреплению идеи о плюрализме индивидов и к недоверию к разного рода мистификациям относительно чувственного и рассудочного в человеке. Сегодня нам предстоит все поставить на свои места и идти дальше. Нам говорят: справедливость нацелена на такие высоты, каких ей не достичь.

Что значит идти дальше? К конечной цели человечества? Да, если только мы освободим идею о конечной цели от всяких биологических ассоциаций, подобно тому как нам пришлось освободить идею равенства от ассоциаций математических. В мире живой природы конечная цель выражает жесткое подчинение частей целому и частей друг другу. Подобной структуре нет места в сообществе духовных субъектов, где каждый имеет цель в себе самом и одновременно во всех других. Она делала бы это сообщество тоталитарным, каким были первоначальные “коммунистические” (в старом смысле слова) общества и какие сегодня устанавливает откровенная технократия. Организация жизнеспособна только благодаря личностям и только в мире личностей. В противном случае, вместо того чтобы освобождать человека, она на новом витке воспроизводит природное состояние, где господствуют “массы”, “аппараты”, “правители”, а личность становится игрушкой в их руках. Тоталитаризм удачно подобрал себе имя: мир личностей не поддается всеобщей унификации.

После того как мы описали движение к личностному универсуму, нам надлежит специально остановиться на моментах дифференциации, свойственных этому процессу, и на его внутренних пружинах.

3. Интимное обращение

Если человеку изначально свойственно движение к “другому”, если личность есть “бытие к...”, то еще одной существенной чертой, отличающей ее от неодушевленных предметов, является наличие внутренней жизни, где личность, как представляется, беспрестанно пополняет свои богатства. Мы будем теперь говорить, как это принято, *о субъективности, о внутренней жизни, или интериорности*. И пусть эти понятия не вызывают пространственных ассоциаций и не дают оснований считать, будто мы консервируем жизнь личности в предшествующей фазе с целью показать, что она противостоит не движению к коммуникации, а соответствующим изначально импульсам.

Сосредоточенность. Вот на моем столе лежит камень. Он существует, но существует как пересечение сил: камень — это то, что делают его скрещивающиеся в нем силы, и ничего более. Животный мир начинает уходить от такого лишнего внутреннего содержания существования.

Он выкраивает себе во внешнем мире закономерностей собственное пространство. Человек может жить так, как живет вещь. Но поскольку он не вещь, то такую жизнь он считает сдачей позиций: это "развлечение" Паскаля, "эстетическая стадия" Кьеркегора, "неподлинная жизнь" Хайдеггера, "отчуждение" Маркса, "недобросовестность" Сартра. Человек "развлечения" живет как бы вне себя, растворяясь во внешней суете. Такой человек — раб своего аппетита, телесных потребностей, привычек, связей. Жизнь во всей ее сиюминутности, без воспоминаний, мечтаний и борений — она вся вовне, и ее можно назвать заурадной. Личная жизнь начинается тогда, когда человек оказывается способным уйти от внешнего окружения, чтобы *овладеть собой, взять себя в руки*, иными словами, сосредоточиться, собраться.

На первый взгляд это движение вспять. Но такое отступление всего лишь момент более сложного движения. Если мы будем топтаться на месте, начнется разложение. Здесь важно не движение вспять, а концентрация сил, их *обращение*. Личность отступает лишь для того, чтобы шагнуть вперед как можно дальше.

Только сходя из этого жизненного опыта можно оценить значение тишины и уединения. Сегодня самое время напомнить об этом. Наша цивилизация развлечения извращает смысл досуга, притупляя ощущение времени, вставая препятствием на пути создания общезначимых произведений искусства, опустошая внутреннюю жизнь, столь необходимую поэтам и верующим.

Слова-синонимы, означающие сосредоточенность (*repandre, gessaisir*), напоминают о том, что она результат активной деятельности и противоположна наивной вере во внутреннюю спонтанность и воображение. Наш первейший враг, говорит Г. Марсель, то, что кажется нам "вполне естественным", *само собой разумеющимся*, что мы делаем инстинктивно или по привычке. Личностями не становятся по наитию. Между тем, обдумывая что-то, мы тоже упрощаем, сложное сводим к простому. Речь идет не об усложненности или изысканности в психологическом смысле и не о патологической страсти к самокопанию.

Тайна (в себе). Какую же глубинную цель преследует сосредоточенность? Что-либо сформулировать? Разумеется, личностная сосредоточенность необходима для выработки понятий, построения схем, создания структур¹. Здесь не следует ссылаться на то, что не все может быть высказано. Но объяснение, по своему определению, оставляет в стороне единое и неделимое своеобразие. Личность — это не "ничто", которое мы находим *в результате* анализа или путем комбинаций различных ее черт. Если бы она представляла собой некую сумму черт, ее можно было бы подвергнуть инвентаризации. Однако личность есть средоточие того, что *не поддается каталогизации* (Г. Марсель). В противном случае она была бы подвластна детерминизмам. Личность — это очаг свободы. Она скорее *присутствие*, чем бытие (выставленное напоказ бытие), присутствие активное и неисчерпаемое. Современная психология сумела проникнуть в нижние слои психики, но она не уделила достаточного внимания тому, что можно было бы назвать вершинами личности,

¹ Mounier E. Traité du caractère, ch. I.

какими, например, являются творческие помыслы или мистические откровения. Научные понятия и художественные представления лишь в незначительной степени приоткрывают нам и то и другое.

Очевидно, что жизнь личности по природе своей *таинственна*. Люди, у которых все вовне, все напоказ, не обладают тайной, у них нет ничего внутри, ничего сокровенного. Они всегда открыты, как книга, к ним быстро теряешь интерес. Не обладая опытом глубинного дистанцирования, они не способны "уважать тайну" — ни свою, ни чужую. У них дурная привычка говорить без умолку, откровенничать, копаться в мелочах, принимать ту или иную позу, требовать к себе внимания. Личности же, обладающей неисчерпаемым внутренним миром, свойственны сдержанность и скромность. Она не в состоянии полностью раскрываться в непосредственном общении и обычно предпочитает косвенное общение — иронию, юмор, парадокс, символ, выдумку, вымысел.

В персоналистски ориентированных работах¹ часто можно встретить тему *целомудрия*. Целомудрие — это такое чувство, какое демонстрирует неисчерпаемая в своих внешних проявлениях личность, когда эти проявления принимают за ее подлинное существование. Физическое целомудрие свидетельствует не о непорочности тела, но о том, что Я значительно превосходит свою телесность. Целомудрие чувств означает, что, когда берет верх одно из них, это ограничивает и искажает Я. Физическое целомудрие и целомудрие чувств означают, что Я не является игрушкой ни природных сил, ни других людей. Меня не смущает ни моя нагота, ни то, что я на кого-то похож, но невыносимо, если меня воспринимают только в таких обличьях. Противоположностью целомудрия является вульгарность, когда я озабочен лишь тем, как выгляжу со стороны, в общественном мнении.

Необходимо всякий раз разоблачать ложное целомудрие и не допускать извращения смысла таинства.

Интимное. Личное. В свободном проявлении описанных выше состояний мы сталкиваемся с тем, что называют переполненностью сердца, интимными чувствами. Это — радость от того, что мы обрели внутренние силы и они укрепили нас. Но такое состояние часто омрачается тягой к замкнутой и скованной вегетативной жизни, похожей на изолированную, лишённую внешних контактов жизнь младенца во чреве матери или на жизнь ребенка под жесткой родительской опекой. Это ощущение "у себя", при условии соединения весьма разнообразных элементов, в глубине своей противоречиво. Может случиться и так, что мне придется отказаться от той борьбы, которая идет внутри меня, хотя я и сохраняю при этом ценности, дающие мне возможность сосредоточиться. Именно вокруг точки переплетения этих противоречивых сил и образуется зона *личного*. Она располагается между моей неявленной вовне жизнью и жизнью публичной, и именно в ней я, как социальное бытие, стремлюсь поддерживать мир и доверительность в моем общении с "другими". Но в этой зоне я также ищу тепла и покоя, биологической защищенности.

¹ Например, в трудах Кьеркегора, Ясперса, Соловьева.

Ценности внутренней жизни и частного, в том числе и семейного, существования нередко испытывают на себе давление отмеченных противоречий.

Вместе с тем не стоит представлять дело так, будто мы существа исключительно духовные. В нас смешано земное и небесное, и мы не в состоянии следовать заповедям личностного бытия, полностью игнорируя законы живой природы. Но надо быть постоянно начеку, чтобы вегетативное прозябание не подавило духовного порыва. Простодушие и безмятежность, свойственные личностному бытию, должны иметь свои границы. Ведь целомудрие может обернуться показной стыдливостью, сдержанность — скрытностью, остороженностью или позерством. Буржуазный образ жизни зачастую содействует подобным превращениям, ложно истолковывая сферу сокровенного, относя к ней деловую жизнь, жилищные условия, болезни, неурядицы в личной жизни людей. Тоталитарные режимы извлекают пользу из этой фальсификации для радикального наступления на частную жизнь. Представляется, что они не доверяют ее возможностям и в то же время недооценивают ее деструктивные силы. Вместе с тем надо демистифицировать частную жизнь, не дать ей превратиться в антипод жизни общественной. Сама структура жизни личности требует этого: рефлексия — не только всматривание внутрь себя, погружение в себя и свои образы, она также *интенция, проекция Я*. Как если бы дерево, например, существовало само по себе, а его образ был бы во мне, словно в ящике, в который через отверстие в крышке пытается проникнуть взгляд наблюдателя. Осознавать это дерево — значит быть с ним заодно, среди его ветвей и листьев. Как сказали бы индусы, а с ними и романтики, это значит быть этим деревом, испытывать вместе с ним сладостное весеннее пробуждение, расти вместе с ним, раскрываться вместе с его почками, оставаясь при этом самим собой, отличным от него. Внутреннее сознание — не лежбище, где личность обрастает мхом; оно как свет во Вселенной: его не видно, но лучи его проникают повсюду.

Головокружительные глубины. Ставшая привычкой скромность — это всего лишь один аспект жизни личности. Уйти от волнений еще не значит полностью обрести покой. Тот, кто, погружаясь в себя, не останавливается при первом же удобном случае, чтобы перевести дух, а решает идти до конца, скоро лишается всякого прибежища. Художники, мистики, философы часто бывали раздавлены, теряли то, что так многозначительно именуется "внутренним миром", оставались у разбитого корыта. Сегодня много, даже слишком много, говорят о тревоге; слово это, используемое кстати и некстати, стало неким социологическим символом для обозначения потерявшей управление эпохи, признаком развала. Наряду с этой глубоко болезненной тревогой присутствует и другая, сущностно связанная с личностным бытием, с ужасающей тайной его свободы, с его нескончаемой борьбой, с безоглядной тягой к открытиям, которым человек предается без остатка. При виде таких глубин начинает кружиться голова, хотя мы всеми силами стремимся скрыть это, прибегая к соглашательству и впадая в апатию, упиваясь комфортом,

разыгрывая поддельную самоуверенность и неприступность. Однако лукавства и обмана здесь не скрыть. Как только мы сталкиваемся с первыми серьезными испытаниями, все завершается духовным крушением, обесмысливанием существования.

От присвоения к отречению от собственности. Личностное бытие есть одновременно и самоутверждение и самоотрицание субъекта. Этот глубинный ритм присущ всем его действиям. Личность утверждает себя в непрекращающейся деятельности по усвоению внешней среды. Однако в той мере, в какой она создает себя, она создает и свое окружение. Чистая субъективность, как мы уже отмечали, немислима, если речь идет о человеке. Иметь в своем распоряжении определенное число объектов, с которыми можно долгое время быть накоротке, как это бывает в отношениях между людьми, — первейшая потребность личности. Утверждать себя — значит прежде всего отдавать себя этим объектам. Не стоит резко противопоставлять *обладание* и *бытие* как две экзистенциальные позиции, между которыми необходимо выбирать¹. Поразмыслим лучше о двух полюсах, между которыми протекает воплощенное существование. Невозможно существовать, ничем не обладая; даже если существование, располагая безграничной способностью к обладанию, не может ее осуществить, оно прибегает к тому, что заменяет вещи их символами. Лишаясь обладания, оно лишается и всяких *привязанностей*, растворяется в объекте. Обладать — значит входить в контакт, отвергать одиночество и пассивное существование; показная бедность на деле является уловкой. Моральный идеализм часто занят поисками лишенного основ существования — поисками противоестественными, завершающимися, как правило, поражением.

Таким образом, обладание, как и интимность, является конкретной потребностью личности. Отрекаться от нее, ссылаясь на возможные злоупотребления, было бы утопией. Первоначальный коммунизм, за исключением некоторых его сект, и не претендовал на это. Обладание соответствует призванию личности, выраженному в двойственном, но едином процессе: сосредоточении и развертывании вовне.

Подобно тому как нашему бытию свойственна плотность, и в обладании присутствуют отягощающие моменты. Все начинается с капризов, с упоения победой. Но победитель может превратиться в узурпатора, капиталы могут оказаться мертвыми, способными лстить лишь самолюбию своего владельца, в то время как сам он вынужден умирать в нищете². Следует добавить, что этот порок обладания живет в нем самом, как червь в плоде. Исторически преходящее отчуждение коренится не только в современных режимах, обреченных на исчезновение вместе с поддерживающими их структурами. Постоянно возобновля-

¹ *Marcel G. Être et avoir.* Paris: Aubier, 1935; *Idem.* Le journal métaphysique. Paris: Gallimard, 1949; *Idem.* Du refus à l'invocation. Paris: Aubier, 1948.

² Эта диалектика более подробно проанализирована в работах: *Mounier E.* De la propriété capitaliste à la propriété humaine. Paris: De Brouwer, 1936; *Idem.* Liberté sous conditions. Paris: Editions du Seuil, 1946. Об этом см. также: *Mounier E.* Traité du caractère, ch. X; *Marx C.* Économie politique et philosophie. Paris: Editions Molitor (notamment p. 30).

ющеся отчуждение трудовой деятельности является следствием самого обладания. Обладание, подобно царю Мидасу, лишает истинной ценности существа и предметы, к которым я прикасаюсь. Оно представляет меня в качестве жестокого завоевателя и требующего подчинения господина, посягающего на их свободу. Часто говорят о разворачивании личности вовне, как если бы ей для обретения ценностей достаточно было бы просто расширить поле своей деятельности. Порой восславляют покорение мира, как если бы оно, это покорение, несло с собой освобождение. Персоналистское, то есть диалектическое, понимание обладания менее возвышенно. Ему приходится учитывать всю сложность и противоречивость этого понятия. Развитие личности включает в себя как необходимое условие отречение от собственности, отречение от самого себя и от своих благ. Личность обретает себя, лишь теряя. Ее богатства — это то, что остается, когда она лишается всего, чем обладала, то, что остается от нее в момент смерти. Речь идет не о формальном аскетизме и не об ограничении по-мальтузиански — они имеют отношение к склонностям владельца и его способности реально распоряжаться своими благами, а не их количественным выражением. Технические проблемы собственности и распределения лишь осложняют обсуждаемые здесь проблемы, а вовсе не отменяют их.

Призвание. Сосредоточиваясь, чтобы обрести себя, затем рассредоточиваясь, чтобы собраться с силами, мы, как личности, то расширяя себя, то вновь сужая, до последних дней своих обречены на поиск единства, которое предчувствуем, к которому стремимся, но никогда не достигаем. Я — единственное бытие, у которого есть *имя собственное*. Эта целостность не есть идентичность, как нечто застывшее, которой отказано в рождении, старении, даже в самом движении. Это и не идентичность того целого, какое можно было бы выразить словами: бездны бессознательного, бездны сверхсознательного, излучение свободы. Единство, о каком мы говорим, постоянно ставится под вопрос; оно не есть ни то, что дано мне, например в виде наследственных черт или привычек, ни то, что я приобрел. Оно не очевидно, как не очевидно с первого взгляда ни единство живописной картины, ни единство симфонии, нации, истории. Надо отвлечься от частных и в себе самом открыть желание, направленное на то, чтобы обрести это живое единство, вслушаться в его шепот, испытать его в собственном едва ощутимом напряжении сил; однако мы никогда не будем уверены в том, что нашли его. Это более всего похоже на безмолвный призыв, смысл которого мы будем пытаться постигнуть на протяжении всей жизни. Вот почему здесь более всего подходит слово "призвание". Для христианина, верящего в зов личности, оно полно смысла. Чтобы определить персоналистскую позицию, достаточно сказать, что каждая личность имеет собственное назначение, что она занимает только ей принадлежащее место в универсуме личностей¹. В этом и проявляется величие личности, в своем достоинстве равной целой Вселенной. Но это требует от нее и смирения, поскольку в мире этом каждая личность своим достоинством сравнима

¹ Gosset J. Vocation et destination / Esprit, avril 1938.

с другой личностью, а личностей так много, что звезд на небе. Очевидно, что личностное призвание не имеет ничего общего с так называемым профессиональным призванием, которое часто зависит от темперамента индивида или от окружающей среды.

Нескончаемое движение личности к своему призванию ломает привычные представления о нем, связанные с такими понятиями, как "интерес", "приспособление", "успех" и т. п. В этом плане можно сказать, что личность — это сама *безвозмездность*, хотя каждое ее действие вовлечено во что-то и чему-то посвящено. В человеке личность — это то, что не может быть использовано. Вот почему, если речь идет о коллективной жизни, персонализм всегда будет отдавать предпочтение *воспитанию* и *убеждению*, а не давлению, коварству, лжи: человек охотно идет туда, куда хочет идти. Единства мира личностей можно достичь лишь благодаря разнообразию их призваний и подлинности взаимоотношений. Этот путь гораздо труднее и длиннее, чем путь грубого насилия, но было бы утопией предполагать, что он безопасен. Тем не менее он должен определять главное направление деятельности. Тоталитаризм же является выражением нетерпения власть имущих.

Диалектика отношения "внутреннее — объективированное". Итак, личностное существование — это одновременно и экстерииоризация и интериоризация, и оба эти движения важны для него: каждое из них может либо заблокировать личность, либо рассеять ее в прах.

Мы уже говорили о бедах, подстерегающих объективированную личность. В персоналистски ориентированных учениях постоянно звучит предостережение против спячки, которая на деле может обернуться смертью. Нас предупреждают об опасности уйти в себя, и эта опасность реальна. У большинства людей значительная часть жизни проходит под знаком объективации, так что вместе с Валери можно сказать: "Мы пленники того, что вне нас". Из этой тюрьмы нас освобождает лишь сосредоточенность.

Но и внутри живет опасность расточительства и окостенения, и она преследует нас в моменты сосредоточенности. Длительное сомнение изматывает, погруженность в себя расходует наши силы, чрезмерная требовательность к себе, даже если речь идет о духовных потребностях, оборачивается эгоцентризмом, и он разрастается, как раковая опухоль. Образ Я заменяется образом Я из плоти и крови, того Я, которое признает себя живым организмом, и человек начинает заботиться только о том, какой эффект он производит на других, или о том, как выглядит в собственных глазах. Отныне единственной его целью в жизни становится культивирование этого образа Я, стремление сохранить его в неприкосновенности. Такое может начаться в детстве у избалованного и изнеженного ребенка; как говорят психологи, здесь притязания берут верх над самоотдачей, и тогда с самого начала затруднены адаптация к реальности и контакт с другими людьми. Впоследствии это оборачивается неспособностью к самостоятельной деятельности, безразличием к общим усилиям; утрата собственных корней и бездействие становятся болезнью. У западного человека, начиная с XV века, именно такие склонности. Все ценности трансформируются в этом софистическом театре Нарцисса: святость и героизм подменяются чванливостью

и стремлением к успеху, духовность сводится к суетливому беспокойству, любовь — к эротике, ум — к поверхностному остроумию, диалектика — к словесным ухищрениям, рефлексия — к бесконечному самокопанию, истина — к ложным откровениям.

Настало время напомнить субъекту, что он обретает себя и свою силу лишь в отношениях с внешним миром: *ради укрепления внутреннего мира надо уметь выходить за его пределы*. Любовь, не скрепленная верностью и браком, зачахнет, предупреждал Кьеркегор, но, даже если брак расстроится, ее значение не исчезнет без следа. Можно, вслед за Клагесом, говорить о существовании инстинкта экстерниоризации. Личность — это внутренний мир, требующий реализации вовне. Слово *exister* ("существовать") благодаря приставке *ex-* ("из", "вне") говорит о том, что существовать — значит разворачивать себя вовне, выражать себя. Эта тенденция в наипростейшем ее виде побуждает нас выражать наши чувства посредством мимики и слов, запечатлевать нашу деятельность в доступных взору произведениях, вторгаться в окружающий мир и дела других людей. Все качества личности поддерживают друг друга и сочетаются друг с другом. Воздействие, оказываемое на нас природой, и наша деятельность как отклик на это воздействие являются не только факторами производства; они суть силы, порывающие с эгоцентризмом и благодаря этому становящиеся факторами культуры и духовности, несомненно более значительными, чем все наши возможности и богатства. Но не стоит с презрением относиться и к внешней жизни: без внешней жизни внутренняя жизнь чревата безумием, как и без внутренней жизни внешняя жизнь может обернуться бредом.

4. Противостояние

Если мистики безмерно интериоризуют личность, забывая о ее воплощенности и присутствии в мире, то политики часто рассуждают о жизненном пространстве личности так же, как кадровые военные о своем отечестве: о его границах, об обороноспособности, о наступательных средствах и т. п. Персоналистская лексика в таком случае используется не для пробуждения личности, а для оживления рефлекса самоизоляции и защиты. "Защита прав личности" — это оправдание духовного сепаратизма, которого ей всячески следует опасаться.

Личность выводит себя вовне, выражает себя: она смотрит вам в лицо и сама есть лицо. Греческое слово *prosonon* наиболее близко к нашему понятию личности; им обозначают того, кто безбоязненно устремляет свой взор вперед. Но личности противостоит враждебный мир, поэтому сопротивляться и "защищать себя" является ее уделом. Здесь возможны всякого рода недоразумения.

Своеобразие. Исключительность. Быть личностью — значит быть своеобразным; этот синоним уже устоялся в языке. Но сюда можно добавить, что личностное отмечено и оригинальностью. В наше время *исключительность* часто выдают за основную ценность личности. Полагают, что она оказывается под угрозой, когда поведение людей и их одежды становятся одинаковыми во всем мире. В самом деле, по

определению, личность неповторима, даже если лица и жесты людей в их стремлении к всеобщему становятся похожими друг на друга. Поиск же своеобразия отходит на второй план, становится, если так можно сказать, побочным явлением в жизни личности. Герой в пылу сражения, любовник в порыве страсти, художник, охваченный творчеством, святой, одержимый любовью к Богу, — все они, достигая вершин личностной жизни, никак не стремятся выделиться, стать оригинальными; их взгляд не скользит поверх вещей, они заодно с тем, чем поглощены, во власти чего находятся. Более того, достигнув вершин существования, они обретают своего рода "высшую простоту", свойственную и обыкновенному человеку. Эту простоту постичь невозможно, как невозможно запечатлеть ее и с помощью красок; вот почему так трудно писать поэмы о любви и живописать добродетель.

По той же самой причине не стоит думать, будто вершиной жизни личности является *исключительность*, достигаемая героическим усилием. Персонализм — это не кодекс для "великих людей", не аристократизм нового толка, который использует наиболее значимые психологические и духовные особенности людей, чтобы воспитать высокомерных вождей-одиночек. Известно, что такой была позиция Ницше. Сколько пустых и тщеславных, полных презрения заклинаний было произнесено с тех пор от его имени! Если личность формирует себя, устремляясь к вечным ценностям, она и в повседневной жизни слышит их зов, и эти ценности не отделяют ее от обыденной жизни — каждая личность слышит зов необычного. Кьеркегор, которому порой были свойственны крайние суждения, писал: "Истинно необычный человек — это, по сути, самый обычный человек".

Ценности разрыва. Личность как протест. Существовать — значит говорить "да", соглашаться с чем-то, присоединяться к чему-то. Но если я со всем соглашаюсь и никогда ничего не отвергаю — ни вовне, ни в самом себе, то я увязаю внутри себя. Быть личностью — значит уметь говорить и "нет", протестовать, отречься от себя. Ясперс подчеркивал значение того вопроса, какой ставит перед любым человеком предельное отрицание границ, на что посягают самоубийцы и мистики: отрицание границ жизни в одном случае и границ мира — в другом. Самое смиренное существование уже есть отделение, от-решение. Всякая привязанность стесняет мою свободу, все сделанное мною давит на меня своей тяжестью, все понятое расслабляет мое мышление. Как же тяжело присутствие в мире! Я теряю себя, отрекаясь от него, но и предаваясь ему, я также теряю себя. Кажется, я могу сохранить свободу своих поступков и саму свежесть моего бытия только при условии, если буду постоянно ставить под вопрос верования, мнения, очевидности, готовые формулы, привязанности, привычки, обязательства. Разрыв, как и последующее воссоединение, относится к существенным категориям, определяющим личность.

Тем не менее мы извращаем их, как и другие категории личности, если берем в отрыве друг от друга. Некоторые персоналистски ориентированные мыслители неосмотрительно заостряют на них внимание, тем самым искажая их. Данным категориям много места отводится в концепциях Хайдеггера, Сартра, Кьеркегора, в политическом анархиз-

ме. Почему эти философы, сторонники разрыва, так увлекаются ими? Потому что, и это очевидно, индивид все менее и менее ощущает себя хозяином своего окружения, которое стремительно формируется и организуется как бы без его участия. Машины, люди, правители, учреждения, да и сама Вселенная встают перед индивидом как материализовавшаяся опасность, в то время как он ищет у них покровительства. Отсюда рождается нечто вроде паранойи, коренящейся в дезадаптации индивида и его крушении, что получает свое отражение в философии и политике. Эти мыслители стремятся создать весьма ограниченную модель человека: таков романтический герой, отчаявшийся в своем одиночестве, или несчастный любовник¹, интеллеktуал-анархист или интеллеktуал-политик, бунтарь, отверженный или непризнанный поэт, пророк, вещающий о конце света, религиозный отступник, абстенционист, уклоняющийся от голосования. К сожалению, тем самым получают оправдание и всякие неудачники, бунтари, маньяки, фантазеры, которые находятся либо слева от либертарных движений всех оттенков, либо справа от движений "социальной защиты", во всяком случае — среди еретиков.

Такое искажение многопланово. В индивидуальном плане оно чаще всего свидетельствует о нарушении эмоциональных контактов с сообществом как результате воспитания — либо чрезвычайно придирчивого и жесткого, либо, напротив, либерального и снисходительного. В социальном плане оно указывает на такое общество или социальную группу, внутри которых человек задыхается. Еще более оно свидетельствует о внутреннем разладе существования. Чтобы разделить трансцендирующее бытие и повседневное существование, Кьеркегор без конца отвергает мир, деятельность, брак, церковь, интеллект и все здоровые силы Индивида направляет на парадоксальные, осуществляемые в полном уединении поиски Абсолюта. Для Хайдеггера существование — не согласие с внутренним миром, а бегство от небытия и смерти. По Сартру, человеческое существо окружено угрожающим ему вязким, бессмысленным бытием, и по-настоящему оно живет лишь тогда, когда прилагает усилия, чтобы выбраться из этого состояния. Все приведенные рассуждения великолепно описывают явление разрыва, свойственного личности. Но лишая содержания мир, в котором мы живем, они внушают мысль о страхе и не оставляют личности ничего иного, кроме тревоги и готовности нанести ответный удар. Они игнорируют столь же существенные для человеческого бытия состояния умиротворенности, согласия, жертвенности.

*Борьба Иакова**. Сила. Философии трудно пользоваться языком любви, сохраняя при этом благоразумие. Попытка связать любовь с насилием вызывает у прекраснодушных людей неодолимое отвращение. Вслушайтесь в слова Ганди, восклицаящего: "Я скорее прибегну к насилию, чем отдам на растерзание хоть одно племя". Любовь — это борьба, и жизнь тоже борьба, борьба со смертью; и духовная жизнь — борьба, борьба против инертности и спячки. Личность осознает себя не в самозабвении, а в борьбе сил. Сила — один из главных ее атрибутов². Речь идет не о грубой физической силе или агрессивности

¹ Rougemont D. de. L'amour et l'Occident. Paris: Albin Michel.

² Mounier E. Eloge de la force / Esprit, février 1933.

животного, а о сугубо человеческой силе — силе внутренней, духовной, но одновременно и направленной наружу, получающей выход вовне. Именно так, тотально, понимают силу христианские моралисты. Они видят в ней главный аргумент против страха перед уязвимостью тела и его окончательным крушением — смертью; и в этом смысле многим из нас не хватает элементарного морального мужества, потому что мы избегаем поступков. Христианские моралисты отождествляют силу с щедростью и великодушием бытия — тогда как многие из нас трусливы и лишены воображения. Внутренняя победа над смертью объединяет обе эти силы. Личность достигает своей зрелости только в тот момент, когда решает быть верной себе, что значительно ценнее самой жизни. Под общим названием философии любви и мира, толкующей о безмятежности и беззаботности души, скрывается чудовищное непонимание этой простой истины. Нет такого общества, порядка, права, которые не порождали бы и не выражали борьбу и сами не поддерживались бы силой. Право — это всегда безуспешная попытка рационализировать силу и придать ей значение любви. Но право — это и борьба. Говорить обратное — значит кривить душой: одни выступают "против классовой борьбы", как если бы социальный прогресс был возможен без борьбы, другие — "против насилия", как если бы они не совершали постоянно актов скрытого насилия, как если бы все мы своим противоборством не участвовали в преступлении против человечества. Царство утопии, где властвуют покой и гармония, "общество изобилия", "правовое общество", "царство свободы", "вечный мир" — все это не пустые мечтания, а отражение запросов и целей людей.

Истинной проблемой здесь является следующее: будучи вовлеченными в борьбу сил, необходимую для продолжения рода человеческого, мы в то же время призваны противиться этим силам, когда они пытаются установить свое господство. В этом универсальном царстве насилия, несомненно, есть место для абсолютного и бескомпромиссного сопротивления насилию. Речь, и это очевидно, идет не о смирении. Как правило, личностная жизнь — это ответ насилием на насилие; мечтать о том, что агрессивность будет искоренена при помощи воспитания, отождествлять мужество с бесплодной мечтательностью — значит заниматься идеализацией, под благовидным предлогом оскотничать борца.

Утверждение личности. Личность как поступок и как выбор. Быть — значит любить, говорили мы. Но быть — это также и утверждать себя. Объективным изучением Я можно манипулировать и так и этак: если хотим придать ему необходимость, сделаем так, чтобы духовная субстанция вытекала из субстанции материальной; если хотим предоставить его более основательным, поступим наоборот; но нам никогда не выйти за пределы акта того, кто говорит Я. То, что делает возможным опыт коммуникации, не есть ни проницательность, ни взаимность, как того хотели бы, но акт, посредством которого Я утверждает и выражает себя. Это на первый взгляд простое действие является результатом сложного культурного развития, и его сбалансированность неустойчива. Она формируется в детстве. У людей эгоцентрических это действие

сковано, у чванливых и с большим самомнением — неуправляемо и граничит с психическими расстройствами. Мое биологическое и сексуальное равновесие играет здесь такую же роль, как привычки и моральные требования, живущие в тайниках моего сознания. И как бы ни была духовно богата личность, она распадается, если распадается это действие.

Итак, действовать — значит осуществлять выбор, принимать решение, занимать позицию и вместе с тем отказываться от чего-то, отклонять что-то. Как говорит Недонсель, мир свободы всегда чреват осложнениями. Создавать что-то — значит всегда рисковать. Однако решение возникает не в результате действия слепых и самоуправных внутренних сил. Решительный, самооценный поступок принадлежит только целостной, устремленной в будущее личности: в нем она выражает себя и открывается новому опыту; имеющие реальную причину сомнения, которыми сопровождается принятие решения, затрудняют его, но не отменяют. Они являются свидетельством требовательности личности к себе, а не ее нерешительности и носят творческий характер. Любая организация, техника, теория, препятствующие осуществлению личности в ее фундаментальном призвании, то есть в ответственном выборе, какими благими намерениями они бы ни прикрывались, несут в себе больше зла, чем отчаяние.

Непримиримость. Отрицая, личность одновременно и утверждает что-то, и между "нет" и "да" существует известное равновесие. Но может наступить такой момент, когда отрицание становится непримиримым, — когда речь заходит о самом бытии личности.

Личности присуща неукротимая страсть, которая полыхает в ней, как божественный огонь. Она восстает и идет наперекор всякий раз, как почует угрозу порабощения, вступая в борьбу не столько за собственную жизнь, сколько за свое достоинство. Личность, по определению, это свободный нестигаемый человек. "Человек, — говорит Бернанос*, — может заставить себя быть дисциплинированным, но от этого он не станет личностью; человек, для которого высшее "наслаждение" заключается в том, чтобы по возможности делать то, что он хочет, и тогда, когда хочет, вынужден расплачиваться за обладание этим бесценным богатством одиночеством и нищетой. Он живет по принципу: либо все, либо ничего".

Такого рода люди редки. Большинство предпочитает рабскую, но спокойную жизнь жизни независимой и полной опасностей. Превратностям судьбы они предпочитают жизнь биологическую, вегетативную. И все же восставать против муштры, давать отпор унижению и угнетению — это неотъемлемая привилегия личности, ее последняя надежда, когда мир оборачивается против нее. Хорошо, когда власти закрепляют фундаментальные права личности и защищают их, гарантируя личностное существование: право на принадлежность к общественным организациям, выступающим против насилия, унижения, нравственного и физического разложения, против пропагандистских акций и внушений; свобода организаций и объединений, свобода слова и печати; неприкосновенность частной жизни и жилища, закрепленные в *habeas corpus***, презумпция невиновности и право на судебную защиту, охрана труда,

здоровья, гарантированное существование национальным меньшинствам, пожилым и одиноким людям, равенство полов. Однако люди всегда будут оспаривать границы, в рамках которых эти отдельные права сочетаются с общественным благом. Любые торжественно провозглашаемые декларации прав человека превращаются в свою противоположность, коль скоро общество, в котором им предстоит действовать, не располагает ни необходимыми для этого возможностями, ни достаточно развитыми структурами. Общество, где правительство, пресса, элита полны скептицизма, постоянно ловчат и проповедуют покорность, — это умирающее общество, которое морализирует, чтобы скрыть свое загнивание.

5. Свобода и необходимость

У свободы бессчетное число друзей, и на наибольшую приверженность к ней притязают либералы. Марксисты, с которыми либералы постоянно соперничают, обещают создать подлинное "царство свободы". Экзистенциалисты и христианские мыслители в своих раздумьях о будущем также отводят свободе центральное место, но их позиция отличается от двух предыдущих. Почему в этом вопросе столько путаницы? Как раз потому, что свободу рассматривают в отрыве от целостной структуры личности, а тем самым заведомо ее искажают.

Свобода не есть вещь. Кем были бы мы, не будь свободы? Игрушками в руках Вселенной. Отсюда все наши тревоги. Чтобы унять их, нам хотелось бы застать свободу "на месте преступления", поймать "с поличным", "потрогать" ее, как некую вещь, или по меньшей мере доказать ее наличие — словом, установить, что *свобода существует и существует в этом мире*. Но все напрасно. Свобода — это утверждение личности; свободой живут, а не любят. В объективном мире существуют только данные вещи и завершенные состояния. Вот почему, не находя в нем места для свободы, мы ищем ее в отрицании: отсутствие причины, недостаточность детерминации. Но как обойтись мне с этой нехваткой? Идя таким путем, никогда нельзя обнаружить ни в самой природе, ни у ее истоков ничего, кроме двух едва различимых форм свободы.

Одна — это свобода безучастия: свобода никем не быть, ничего не хотеть, ничего не делать. Это не просто индетерминизм, но полная неопределенность. Некоторые либералы и сторонники анархизма представляют себе свободу мышления или действия именно так. Но человеку неведомо подобное равновесие: заставляя его верить в то, что оно возможно, от него скрывают его реальные потребности или же прямо толкают его к смертельно опасному безразличию.

Другая — это та, которую мы, как милостыню, вымаливаем у физического индетерминизма. Этой новой перспективе, открытой современной физикой, придали слишком большое значение, решив использовать ее для "доказательства свободы". На деле это противоречит свободе. Свобода человека не есть некий "остаток" в общей сбалансированности Вселенной. Если бы свобода была лишь отклонением от закономернос-

тей природы, кто мог бы доказать, что она проистекает из недостатка наших знаний или даже из систематической деформации природы или человека? Какую ценность для меня может иметь этот изъян? Идея индетерминизма, защищаемая современными физиками, свидетельствует о несостоятельности позитивистских претензий, и ни о чем более. Свобода не завоевывается вопреки естественным закономерностям; она, считаясь с ними, побеждает их, но не отменяет.

Вот что можно сказать на этот счет.

1. Современная наука установила, что в рамках того детерминизма, на который она опиралась, Вселенная не поддается тотализации, и обнаружила она это как раз благодаря тем своим отраслям (математика и математическая логика), которые самым непосредственным образом должны были бы привести к наисовершенной систематизации; если наука не в состоянии сказать что-либо в пользу свободы, то она по меньшей мере не должна оспаривать ее существование.

2. Природа демонстрирует, как медленно и постепенно готовятся условия для возникновения свободы. Индетерминизм на уровне элементарных частиц еще не есть свобода, но он говорит в пользу нежесткой структуры мира, где свобода все-таки существует. И живая молекула еще не свобода, но накопленная в ней, готовая выйти наружу энергия не имеет иного смысла, кроме как создания возможностей для возникновения выбора. Завоевание животным миром автономии, свойственной крупным физиологическим образованиям и позволяющей особи самой регулировать собственный режим питания, температуру, движение и обмен веществ, тоже еще не свобода, но служит предпосылкой автономии тела, а в дальнейшем и духовной автономии.

Между тем свобода не появляется сама собой из этих приготовлений, наподобие того, как плод рождается из цветка. В тайном переплетении природных сил, пронизывающих и скрывающих эти приготовления, зарезервирована незаменимая инициатива личности — угледеть ей одной принадлежащие пути свободы, избрать их и ступить на них. Только сама личность, выбрав свободу, делает себя свободной. Нигде ей не найти уже существующую, дарованную свободу. Ничто в мире не дает ей уверенности в том, что она свободна, если она не ступит дерзновенно на путь свободы.

Свобода не есть чистое излучение. Из того факта, что свобода не является вещью, делают вывод, что в ней нет ничего объективного. Объективное бытие (сартровское бытие-в-себе) самотождественно и неподвижно и если обладает длительностью, то только в виде бесконечного повторения. Свободное существование, напротив, должно было бы быть непрерывно меняющимся качеством, первичным излучением (Ursprung, как говорят немцы), вечным сотворением себя самим собой, иными словами — абсолютной субъективностью. Она постигается только *изнутри, из корня*, возникая вместе с ним.

Если свобода есть абсолютное утверждение, то ничто не может ее ограничивать, она целостна и безгранична (Сартр) уже в силу одного только факта, что она есть. Она не выражает никакой предшествующей природы, не отвечает ни на какой призыв, ибо в противном случае она перестала бы быть свободой. Она делает себя и, делая себя, делает меня;

в ней и посредством нее я творю себя, мотивы своего поведения, ценности и вообще весь мир, творю без всякой опоры, не обращаясь ни к чьей помощи.

Такая абсолютная свобода есть миф.

Понятие природы весьма смутно, и его надо прояснить. Но оно говорит о том, что существование в той же мере, как и излучение, обладает плотностью, насыщенностью; оно — и творение и данность одновременно. "Я" не только то, что я делаю, а мир — не только то, что я хочу. Для самого себя я являюсь данностью, мир же предшествует мне. Поскольку таков мой удел, сама моя свобода отягощена тем, что исходит от меня, от моего особенного бытия, которое ее ограничивает, тем, что исходит от мира и его закономерностей, которые ее обуславливают, и ценностей, которые оказывают на нее влияние. Ее связи поистине универсальны. Стоит только забыть об этом, и она станет неуловимой, превратится в тень, в бессодержательную идею, в предел пустых мечтаний; она станет аморфной, а мы будем считать ее абсолютной. Свобода может толкать индивида к протестам и мятежам, опьяняющим его своей напряженностью, но оставляющим безучастным к собственным противоречиям (мир Мальро или Монтерлана).

Но это еще не самое главное. Свобода, излучающаяся сама собой и столь тесно связанная с непосредственным утверждением существования, что становится подобной необходимости (Сартр говорит здесь об обреченности), является слепой природой, голой силой. Кто отличит ее от произвола жизни и воли к власти? Каким образом свобода может принадлежать мне, если я не могу от нее отказаться? Как обрести ей человеческий облик, если человек становится человеком, только принимая решения? Кто обозначит для нее предел человечности, если нет других границ, отделяющих человеческое от бесчеловечного, кроме тех, что она сама устанавливает? Кто удержит ее от страстного желания испытать собственное исчезновение? Такая позиция рискует не только завести нас в тупик формальной свободы, но и толкнуть к безумию "неистовой жизни". Тому, кто чувствует себя обреченным на абсурдную и безграничную свободу, не остается ничего иного, как, подобно Калигуле, принудить к тому же и других, в том числе и с помощью насилия. Но свобода — это не оковы, личность не присуждена навеки быть свободной: свобода предложена ей как дар. Человек может принять ее или отвергнуть. Свободный человек — это тот, кто волен обещать и волен предать (Г. Марсель). Не будучи узником своей свободы, подобно Перкенам и Гаринам*, этим "наркоманам" свободы, он никогда не будет и ее рабом.

Наконец, что произойдет с сообществом личностей в том мире, где свобода каждого возникает сама по себе? "Я по-настоящему свободен лишь тогда, — писал Бакунин, — когда окружающие меня люди, будь то мужчины или женщины, в равной степени свободны. Я становлюсь свободным только посредством свободы других". Здесь необходимо уточнение: в требовании моей собственной свободы слишком много инстинктивного, чтобы она не вызывала подозрений, и можно с полным основанием сказать, что чувство моей свободы возникает вместе с чув-

ством свободы "другого"¹. Это взаимодействие свобод невозможно в том мире, где свобода одного может соединиться со свободой другого не иначе, как поработав ее или подчиняясь ей (Сартр); внутренне укорененная в необходимости, такая свобода несет в себе ту же необходимость. Она не освобождает того, с кем соприкасается; самое большее, на что она способна, — это вырвать человека из состояния спячки и вовлечь в свой непреодолимый круговорот. Свобода личности, напротив, творит вокруг себя свободу с поразительной легкостью, как, впрочем, с такой же легкостью, в противоположном случае, отчуждение порождает отчуждение.

Свобода и целостное существование личности. Вместе с тем свобода действительно является животворным источником бытия, и любое собственно человеческое деяние не является таковым, если, зачарованное своей спонтанностью, не преобразует самые закоренелые состояния. В этом, и только в этом, смысле человек всегда и полностью внутренне свободен, если он того хочет. Но это свобода узника, которая остается у него даже тогда, когда он всецело поработен и унижен. И только в этом смысле можно говорить, что конкретные проявления свободы не являются необходимыми для осуществления духовной свободы, которая в минуты своего величия выявляет собственную трансцендентность по отношению к фактическим условиям своего осуществления.

Одновременно свобода человека — это свобода *конкретной личности, данной личности*, уже сложившейся и пребывающей в мире перед лицом ценностей.

Это означает, что свобода вообще строго обусловлена и ограничена конкретными обстоятельствами. Быть свободным — значит в первую очередь исходить из этих обстоятельств и опираться на них. Не все возможно, не все возможно в любой момент. Когда эти ограничения не слишком тесны, они представляют собой силу. Свобода, как и тело, развивается, лишь преодолевая препятствия, осуществляя выбор, принося жертвы. Идея абсолютно свободного существования — это идея о существовании, не стесненном никакими обстоятельствами, в слишком же тяжелых условиях свободе не остается ничего иного, как быть "осознанной необходимостью" (Маркс). Свобода с этого начинается, ибо рождение сознания обещает освобождение и ведет к освобождению: только стопроцентный раб не ощущает своего рабского положения, он даже может быть счастливым, оставаясь под его властью. Здесь человеческое еще едва брезжит. Вот почему, прежде чем провозглашать свободу в конституциях или превозносить ее в речах, необходимо обеспечить всеобщие — биологические, экономические, социальные, политические — условия свободы, которые позволили бы обычным людям участвовать в осуществлении высшего призвания человечества; следует позаботиться о конкретных свободах прежде, чем о свободе как таковой. Бороться за свободу, не уточняя, о какой свободе идет речь, даже если власти или состояния нравов ограничивают ее, — значит с неизбежностью принимать сторону тех, кто препятствует движению вперед. Свободы вчерашнего дня всегда расшатываются завтрашними свободами. Свободам дворянства угрожали буржуазные свободы; буржуазной сво-

¹ Greff *Et. de.* Notre destinée et nos instincts.

боде сегодня противостоит "свобода для всех". Свобода для всех членов общества может подорвать свободу некоторых из них. Именно поэтому, как писал Маркс, самые прекраснодушные заявления о правах человека могут, в своей неопределенности, оказаться лишь прикрытием свободы эгоистического человека, отделенного от другого человека и от общества в целом.

Этими мистификациями объясняется, почему "дело свободы" оказалось столь неопределенным на протяжении последних ста лет. С 1820-го по 1830 год о свободе одновременно заговорили и христиане-традиционалисты, вроде Монталамбера, заботившиеся о сохранении духовных традиций общества и школьном образовании, выступавшие против тогдашнего централизованного государства, утратившего религиозные основы, против наполеоновской бюрократии; и поднимающаяся буржуазия, стремившаяся в условиях начинавшейся промышленной революции развязать себе руки; и широкие народные массы совместно с предшественниками социализма — в политическом плане. Буржуазия завоевывает свои права и свободы в годы правления Луи Филиппа, и большего она не требует. Народ позволяет убедить себя, что свобода хозяев — это и его собственная свобода. Свобода достается и Монталамберу. Однако формирование народного сознания, начавшееся в 1830 году и приведшее в 1848-м к взрыву на всей территории Европы, заставило Монталамбера и вольтерианскую буржуазию с легкостью отказаться от политической свободы ради сохранения социальных и экономических привилегий; глава индустриальной национальной империи становится своего рода предвестником "демократии" национал-социалистов. Его режим толкает свободу влево. Она остается там на протяжении всего победного шествия политического либерализма. Когда же и либералы достаточно упрочили свои привилегии, их свобода стала консервативной и антисоциалистической. В их рядах произошел раскол. Одни остаются либералами несмотря ни на что; другие с наступлением фашизма, не колеблясь, приносят в жертву политическую свободу ради мнимого сохранения мира. Также и на левом полюсе, благодаря Ленину и особенно Сталину, происходит раскол между демократами и либеральными социалистами, с одной стороны, и авторитарным социализмом — с другой; последний приносит политическую свободу в жертву тому, в чем видит необходимый путь к экономическому освобождению и к упразднению политического принуждения. С тех пор свобода с головокружительной быстротой перемещается слева (антифашистская свобода) направо (антикоммунистический либерализм).

Для нас свобода — это свобода конкретной и самоценной личности. Я не являюсь свободным, спонтанно осуществляя себя; я становлюсь свободным, если направляю эту спонтанность в сторону освобождения, то есть в сторону персонализации мира и самого себя. Между существованием и свободой появляется, стало быть, новая инстанция, та, которая отделяет еще не обретшую себя личность, только что возникающую благодаря жизненному порыву, от личности, созревающей в результате своих действий и набирающей силу в индивидуальном и коллективном опыте. Таким образом, я не могу произвольно обращаться с собственной свободой, хотя точка, в которой я соединяюсь с ней, находится в самом центре моего существа. Моя свобода не излучается спонтанно; она имеет свое назначение или, лучше сказать, призвание.

Этот зов свободы придает ей силы, превращая в порыв, и вот почему на первый взгляд может показаться, что зов свободы это и есть ее порыв. Без призвания порыв угасает, приспосабливается к окружающим условиям. Конечно, здесь не обойтись без приспособления, но, если уж слишком приспосабливаться, можно прирасти к месту и потерять способность к дальнейшему движению. Чтобы включиться в историю, надо признать, что она имеет смысл; но если полностью слиться с текущей историей, то как делать ту историю, которой надлежит быть? Нужно выяснить особенности человеческой природы, но, если слишком усердно повторять то, что уже известно о ней, перестанешь творить новые, еще не изведенные возможности. Таков путь любого конформизма. Поэтому свобода человека — это не только непритязательность, но и отвага. Мы уже критиковали дух отступничества, пасующий перед жизненно важными проблемами. В эпоху, которая все более и более сгибается под тяжестью того, что она считает фатальным, которая настолько измучена заботами и тревогами, что готова отказаться от своей свободы ради минимальной безопасности, не менее актуально разоблачение духа рабства, в каких бы формах оно ни проявлялось. Преклонение перед авторитетом, которое скорее свидетельствует об отступничестве, чем о поисках божественного оправдания, слепое следование партийным предписаниям, покорность и безразличие потерявших ориентацию масс говорят о том, что свободный человек сдает свои позиции. Необходимо восстановить смысл понятия "свободный человек". Свобода человека — труженица, но она и божество. Ей надо напоминать о сопротивлении материи, но также надо поддерживать ее необоримую страстность, а иногда и творческое безумие. Верно, что свобода, как таковая, не должна предавать забвению отдельные свободы. Но, если человек не мечтает о храме, ему никогда не построить и красивой мансарды. Если он теряет страсть к свободе, он становится неспособным к ее претворению в жизнь. Невозможно привнести свободу извне, облегчив жизнь людям или даровав им Конституцию: получив ее, они тут же впадут в забвение и снова очнутся рабами. *Отдельные свободы* — это всего лишь возможности, предоставляемые *духу свободы*.

Дух свободы неутомим в обнаружении и борьбе с моим отчуждением, со всеми теми обстоятельствами, в которых я, подобно объекту, подпадаю под власть безличных сил. Значительная часть этих обстоятельств была проанализирована марксизмом, но многое осталось вне сферы его внимания. Человеческий удел таков, что нет ни одной жизненной ситуации, которая не была бы чревата отчуждением: человеку свойственно стремиться к независимости, постоянно домогаться ее, но достичь ее он не в силах. Чтобы избавить нас от всякого повода для отчуждения, природа должна была бы стать полностью умпостигаемой, единение людей — постоянным, универсальным и совершенным, а наши идеалы — всеобщими. Даже исторически переходящие формы отчуждения, то есть те, которым отведено свое время, не дают передышки: как только мы справляемся с одними, на их месте возникают другие; всякая победа свободы оборачивается против нее и зовет к новым сражениям; битва за свободу не знает конца.

Свобода выбора и свобода согласия. Каждый этап этой битвы знаменует и скрепляет "крещение выбором", как говорил Кьеркегор. Выбор проявляется прежде всего как власть того, кто выбирает. Выбирая то или иное, я каждый раз опосредованно выбираю самого себя и строю свое Я через этот выбор. Но, приняв решение, заявив о себе и подвергнув себя риску во мраке и неопределенности, я тем самым чуть больше узнал о себе, хотя и не искал себя специально. Творческое решение, разрывая цепи необходимости и неопределенности, вмешиваясь в игру устрашающих сил, опрокидывает все расчеты. Решение принимается во тьме и неведении, но становится творческим источником нового порядка и новой умопостигаемости, а тот, кто его принял, — более зрелым. Благодаря творчеству мы движемся вперед, а человек развивается. Никакой технический прогресс не может заменить его, напротив, чем интенсивнее развитие техники, тем больше требуется свободы.

Лишь философская недалекновидность могла послужить причиной того, что центр тяжести переместился со свободы на акт выбора, тогда как таким центром является освобождение, следующее за удачным выбором. Чего бы стоила свобода, если бы она давала нам возможность выбирать между чумой и холерой! И если сегодня люди безразличны к свободе, то не потому ли, что не знают, что с ней делать? Несомненно, она прекрасна сама по себе, самой своей божественной статью и величием, и все же она прекрасна, когда спасительна. Сосредоточить внимание исключительно на свободе выбора — значит затормозить ход свободы, а затем сделать ее неспособной к самому выбору из-за недостаточной силы порыва; значит содействовать той культуре воздержания или беспринципности, которая стала духовной болезнью современного мышления. Направлять внимание только на завоевание независимости — значит поддерживать индивида в его метаниях, неприкаянности и замкнутости. Движение свободы ведет к ослаблению его напряженности, делает его более доступным и открытым. Она не только разрыв и завоевание, но — в конечном итоге — и согласие. Свободный человек тот, к кому взывает мир и кто отвечает на его зов; это — *ответственный человек*. Направленная к этой цели свобода не изолирует людей, а объединяет их, не ведет к анархии, но является в первичном смысле слова религией, верой. Она не бытие личности, но способ, посредством которого личность есть все то, что она есть, и есть полнее, чем если бы она следовала необходимости. Вот мы и подошли благодаря этим выводам к новому пониманию сущности личности.

6. Высшее достоинство

Существует ли реальность по ту сторону личности? Некоторые персоналисты, например Мак-Таггарт, Ренувье и Хоуисон, дают отрицательный ответ. Для Ясперса же личностная реальность свидетельствует о существовании внутренней трансценденции, которая принципиально невыразима и недоступна, если не прибегать к помощи некоторого шифра. В той перспективе, какой придерживаемся мы, создающее лич-

ность движение не замыкается в ней самой, а указывает на трансценденцию, живущую среди нас и в той или иной мере доступную обозначению.

Конкретные подходы к трансценденции. Как уже отмечалось, чтобы мыслить трансценденцию, необходимо избегать пространственных образов. Реальность, трансцендентная по отношению к другой реальности, не изолирована от нее и не парит над ней, она превосходит ее качеством бытия, которого та не может достичь, двигаясь размеренно, без диалектических скачков, не выражая себя. Поскольку духовные отношения — это отношения внутренней близости в различии, а не внешние отношения рядоположенности, отношение трансцендентности не исключает присутствия трансцендентной реальности внутри реальности трансцендируемой: Бог, говорил святой Августин, более близок мне, чем мой внутренний мир.

Уже производственная деятельность выявляет личностную трансценденцию. "Делать и, делая, формировать себя, быть лишь таким, каким сам себя сделал" — этой формулировкой Сартр хочет обозначить все собственно человеческое, и она звучит почти по-марксистски. Но это относится не только к производственной деятельности. В материи открываются такие чудеса, которые превосходят все мои возможности. Субъект-производитель, со своей стороны, недостаточен сам по себе; производство без цели (этот опыт знаком некоторым изгнанникам) оборачивается мукой. Наконец, попытка свести всякую деятельность, а особенно духовную, к изготовлению чего-то обнаруживает свою несостоятельность, если обратиться к таким фундаментальным понятиям, как "рецептивное познание", "удивление", "свидетельствование" (Г. Марсель), "иррациональное" (Мейерсон), "интенциональное" (Гуссерль).

Точно так же, утверждая себя, я чувствую, что мои самые глубокие действия, самые высокие свершения вызревают во мне как бы без моего ведома. Я устремлен к "другому". Даже моя свобода приходит ко мне как данность, но она не порабощает и не ограничивает меня, а устремляет навстречу свободе "другого" или избранной ценности.

Нельзя путать это превосхождение бытия с завихрениями жизненного порыва: жизненный порыв не ведет нас ни к чему другому, кроме него самого; это — страсть жить любой ценой, даже ценой попрания тех ценностей, которые придали ему смысл. Напротив, высший акт личности заключается в том, чтобы принять страдания и смерть, но не изменить своему человеческому призванию (от жертвенности — к героизму). Личность рождается в тот момент, когда, как пишет Г. Марсель, я обретаю сознание того, что "я есть нечто большее, чем моя собственная жизнь". Таков ее парадокс: человек обретает себя как личность, только теряя себя как биологическую особь. "Я, — говорил Ницше, — люблю тех, кто не умеет жить иначе, как чтобы погибнуть; я люблю их всем сердцем, ибо они идут к другому берегу".

Речь не идет также и о том, что по тем же самым соображениям можно было бы назвать социальным порывом, движением, ведущим нас к постоянному расширению социального пространства. Как показал Бергсон, этот порыв стремится повернуть вспять, к закрытым обществам, где Я погружается в эгоцентризм.

Трансцендентное устремление личности есть не некое возбуждение, но отрицание себя как замкнутого, самодостаточного, изолированного мира. Личность не есть бытие, она — движение бытия к бытию и обретает устойчивость благодаря бытию, к которому устремляется. Без этого движения она распадается на серию "моментальных субъектов" (Мюллер-Фрейенфельс).

Внутреннее богатство бытия сообщает личности длительность, создаваемую не повторением, а избыточностью. Личность "не поддается учету" (Г. Марсель). Я чувствую, как я непрестанно "переливаюсь через край". Целомудрие говорит мне: мое тело есть нечто большее, чем просто тело; застенчивость шепчет: я больше, нежели мои жесты и слова; ирония внушает: мысль больше мысли. В восприятии мысль теснит чувства; в мышлении вера берет верх над причинностью; так и действие отвергает направляющее его волеизъявление, а любовь — желания, которые ее возбуждают. Человек, говорил Мальбранш, есть движение, имеющее целью дальнейшее движение. Личностное бытие — это щедрость, поэтому оно основывает порядок, чуждый приспособленчеству и безмятежности. Приспосабливаться — значит оберегать себя от волнений и уподобляться тому, кто предаст будущее ради настоящего. Жизнь, особенно перед лицом опасности, требует от нас только приспособления, причем с наименьшей затратой сил; именно это принято называть счастьем. Личность же постоянно рискует и готова нести расходы, сколь бы велики они ни были.

Направленность трансценденции. Есть ли направленность у этого бьющего ключом личностного бытия? Постоянная устремленность не имеющего цели существа вперед, за собственные пределы, в мире, лишенном смысла, не является подлинной ориентацией и тем более трансценденцией. Самопреодоление личности — это не только проекция, но также и восхождение (Ясперс), *превосхождение*. Личностное бытие создано исключительно для того, чтобы превосходить себя. Подобно тому как велосипед или самолет устойчивы только в движении, по достижении определенной скорости, так и человек крепко держится на ногах, лишь если обладает необходимым запасом сил. Теряя высоту, он не то чтобы опускается ниже среднего человеческого уровня или, как иногда говорят, превращается в животное, — он падает гораздо ниже: ни одно живое существо не изобрело таких жестокостей и подлостей, в которых человек все еще находит удовольствие.

Какова же цель движения трансценденции? Ясперс отказывается называть ее. Многие современные мыслители ссылаются на "ценности", как на некие независимые абсолютные реальности, известные а priori (Шелер, Гартман). Персонализм не может бездумно отдавать личность в руки этих безличных реальностей, и большинство его сторонников стремятся так или иначе персонализировать их. Христианский персонализм идет здесь до конца: все ценности для него группируются вокруг единственного в своем роде призыва, исходящего от высшей Личности.

Вероятно, можно потребовать доказательств существования трансценденции, этой ценности ценностей. Принадлежащая миру свободы трансценденция не требует, однако, доказательств. Уверенность в ее существовании рождается в полноте личностной жизни и ослабевает,

когда последняя оскудевает. Субъект в этом случае может и не воспринимать ценностей, и его разочарование в жизни сменяется ненавистью к ней.

Персонализация ценностей. Даже вера в некое личностное божество нуждается в помощи безличностных опосредований — понятий добра, могущества, справедливости, моральных законов, духовных структур и т. п. Однако ценности никак не являются общей идеей, хотя некоторая уязвимость то и дело заставляет их опускаться до ее уровня. Общая идея — это определенная сумма детерминаций, и сила ее только в повторении: четвероногое — это животное, имеющее четыре конечности, и ничего более. Ценность же — это живительный и неисчерпаемый источник определений, это избыточность, всепроникающий призыв. Здесь можно усмотреть нечто вроде экспансионистской склонности и более тесное родство с личностным бытием, нежели с миром всеобщностей.

Кроме того, ценность неодолимо стремится воплотиться в конкретном субъекте — индивидуальном или коллективном.

Наиболее основательные ценности обладают историческим существованием. Они рождаются в сознании человечества в ходе его развития, как если бы каждый этап был призван открыть или изобрести какую-то новую область ценностей. Можно говорить о призвании эпох и наций; в этом смысле честь — ценность средневековая, свобода и социальная справедливость — ценности современные, сострадание — индуистская ценность, изящество — французская, соборность — русская и т. д. Каждая из них рождается, развивается, застывает в неподвижности, а затем сходит на нет, как если бы впала в продолжительную спячку. Время застоя порождает всякого рода недоразумения. Тот, кто защищает семью, свободу или выступает за социализм, может в меньшей степени понимать их суть, чем тот, кто, казалось бы, оспаривает их, а на деле яростно борется против их застывших или вырождающихся форм. Даже вечное, вопреки распространенному предрассудку, противоположно неподвижному и предстает в непрерывно обновляющихся ликах. Его можно отвергать под предлогом служения ему, если пытаться закрепить его в одной из застывших исторических форм, когда она начинает клониться к упадку.

Однако история все еще являет нам ценность во всеобщем. Подлинное место ценности — в живом человеческом сердце. Личности без ценностей не могли бы существовать во всей их полноте, но и ценности существуют для нас только посредством *fiat veritas tua**, которое сообщают им личности. Ценности не представляют собой некоего готового мира, автоматически реализующегося в истории, как того хотели бы лишённые деятельного начала мифы о "несокрушимой силе истины" или о "неотвратимом ходе истории". Они не прилагаются к истории как раз и навсегда установленные принципы. Они обнаруживают себя в глубинах свободы, в акте выбора, но в момент зарождения могут быть незаметны и проявляться в виде интереса и даже в качестве антиценности, но с течением времени обретают свое подлинное звучание.

Мы видим, насколько неверно было бы утверждать или отрицать "субъективность" ценностей. Они не субъективны, поскольку не зависят от эмпирических особенностей данного конкретного субъекта; но они

и субъективны, поскольку существуют только в соотношении с субъектами, только благодаря им получают второе рождение, не будучи привязанными ни к одному из них: ценности выступают посредниками между субъектами, вырывая каждого из одиночества и способствуя их универсальному развитию. Вот почему их нельзя путать с проекциями Я, которые быстро исчерпывают свои скромные ресурсы. Ценности, напротив, свидетельствуют о том, что личность не остается ограниченной и изолированной реальностью, привязанной к условиям своего существования, как лошадь к столбу, что она может, в зависимости от обстоятельств, включать в себя и всю Вселенную, бесконечно удлиняя нити, связывающие ее с ней. Стало быть, личность в конечном итоге — это *движение к трансперсональному*, о чем свидетельствуют одновременно и опыт причастности, и опыт ценности.

Это как раз и есть то, что теснейшим образом связывает два отмеченных вида опыта. Янсенистская формулировка "только я и мой Бог" одинаково ложна как для религиозной жизни, так и для любой другой ценностной жизни. Конечно, абсолютную связь с Абсолютом не обрести в гуле толпы; но если речь идет не об абсолютной связи, то она вырабатывается только в сотрудничестве, будь оно явным или скрытым, в индивидуальных раздумьях, которые, соединяясь, взаимно дополняют друг друга.

Движение личности к трансперсональному совершается в борьбе и оттого не имеет ничего общего с манерной экзальтацией, культивируемой разного рода идеалистическими и спиритуалистическими концепциями, которая конечно же вызывает отвращение. Опыт показывает, что нет таких ценностей, которые не рождались бы и не утверждались в борьбе, будь то ценности политического характера или социальной справедливости, сексуальные ценности или ценности человеческого единения, а для христиан — ценности Царства Божия. Надо бороться с насилием, но стремление избежать его любой ценой означало бы отказ от решения всех великих задач человечества¹, отказ от того, чтобы дать человеку душевное равновесие, идущее из самых его глубин. Но равновесие это никогда не может быть абсолютным, поскольку ценность не может быть ни схвачена, ни передана во всей ее полноте. Для ее выражения поэт, художник или философ вынуждены прибегать к неожиданным, а порой и озадачивающим средствам; но все равно смысл истории остается непроясненным: к самым глубоким истинам удается лишь приблизиться с помощью хитроумного мифа, парадокса, юмора или художественного вымысла. Порой даже вызов или проклятье бессильны здесь помочь. Бог хранит молчание, и все самое ценное в мире наполнено тишиной.

На этих путях, где редко ступает нога человека, где свет и тень неразличимы, в изобилии процветают недобросовестность и ложь. Но отсюда же расходятся лучи "высшего человеческого достоинства". Уважение к человеческой личности — прежде всего, а уж потом уважение к самой жизни; последнее рискует превратиться в инстинктивное стрем-

¹ Ricoeur P. L'homme non violent et sa présence à l'histoire / Esprit, février 1949.

ление к жизни, а отказ убивать — в страх быть убитым. Стремление жить любой ценой может однажды обернуться согласием жить, попирая сами основы жизни. Окончательно о человеческом существовании можно говорить лишь с того момента, когда нам удастся создать внутренний ценностный мир или круг привязанностей, от которых мы не откажемся даже под страхом смерти. Именно потому, что обесценивающие человека современные технологии, достигающиеся ни за что деньги, буржуазная покорность судьбе и политические страсти подрывают эти наши устои, они оказываются более смертоносными, чем огнестрельное оружие.

Теперь нам остается лишь перечислить основные ценности и отметить их связь с личной жизнью.

1. *Счастье*. Исключительное и, надо прямо сказать, ненормальное значение, приписываемое ныне биологическим (здоровье, жизнь) и экономическим (полезность, организованность) ценностям, связано с тем, что они находятся под угрозой, а их разбалансированность грозит разрушением всему человеческому организму. Однако, признавая животрепещущую актуальность этих проблем, не следует переоценивать их значение. Надо, чтобы человек, самый что ни на есть обыкновенный, вышел из состояния психологической и социальной нищеты и получил доступ к высшим ценностям. Необходимо также разоблачать фарисейство тех, кто, упрекая его в забвении ценностей, не дает ему возможности даже подступиться к ним. Вместе с тем удовлетворительное решение биологических и экономических проблем, что обычно называют счастьем, не может быть высшей ценностью. Самые благополучные с этой точки зрения общества свидетельствуют, к какому духовному застою они могут привести и какой взрыв отчаяния и безумной паники ожидает их, если это благополучие окажется под угрозой. Взятое само по себе, счастье, как представляется, не зажато в тисках между индивидуальным эгоизмом и коллективной сплоченностью: либо спокойствие любой ценой, либо счастье на уровне государства, либо то и другое одновременно. В любом случае отказ от свободы ради безопасности побуждает человека к отступничеству и, что еще хуже, ставит его на путь предательства.

2. *Наука*. Наряду со счастьем, наука была одним из основных идеалов двух последних веков. Можно подумать, что, рассматривая Вселенную и человека исключительно с точки зрения объективной детерминированности, она содействует отрицанию личностных реальностей. В действительности наука просто не в состоянии постичь их, но она становится реальной угрозой, если, выходя за собственные рамки, начинает их отвергать. Спротивление этому искушению, освобождение от мифов, предрассудков и бессознательных установок представляют собой, разумеется, предварительный, но тем не менее немаловажный шаг на пути личного восхождения. В конечном итоге если движение объективации является значительным моментом целостного движения существования, то рефлексии нет никаких оснований не считаться с научным знанием. Один из недостатков экзистенциализма заключается как раз в том, что в своих исследованиях он слишком часто ведет себя так, словно науки не существует.

3. *Истина. Очерк персоналистской теории познания.* Некоторые представители рационализма пытаются построить превратный образ мира — это касается как природного мира, так и мира идей, который был бы миром ни перед кем, чистым зрелищем без зрителя, истиной ни для кого, безотносительной к свободе, к которой она взывала бы и которая ей служила. Перед лицом этого безличного разума личность оказывается всего лишь ограниченной точкой зрения, предназначенной к исчезновению (Спиноза, Ланьо, Брюнсуик). Подобные философские позиции многочисленны, и они подкупают своей страстной тягой к универсализму и аскетизмом, который они противопоставляют коварствам жизненного эгоизма. Но универсализм, к которому они стремятся, не касается мира личностей. Эти позиции ведут к двум в равной степени губительным фатальностям. Либо, обосновывая силу идей, они радикальным образом устраняют наблюдателя как свободную личность, и тогда свод идей становится для личности внешней силой, а часто и средством управления умами, либо высказываются в пользу "объективного" наблюдателя, правда, неуловимого, но все понимающего и все принимающего. В этом причина внутренней слабости либерального мышления. Фальсифицирующее мышление может противопоставить подобному вырождению лишь тень бытия.

Можно ли на этом основании утверждать, что объективность не является ценностью? Такова конечная позиция Ницше, а вслед за ним и всех теорий (и практики), проповедующих иррациональное насилие. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы вернуть чувство уважения к разуму и основанным на нем отраслям знания. Однако дело вовсе не в том, чтобы развенчать разум во имя инстинктов; задача заключается в том, чтобы осознать глобальное положение обладающего познанием существа.

За пределами точно очерченной области научной детерминации ("наука" в ее конкретном проявлении уже требует большего) познающий дух не является бесстрастным зеркалом или некой фабрикой по производству понятий, которые, одно за другим, рождаются во внутреннем мире целостной личности. Познающий дух — это существование, неразрывно связанное с телом и с историей, призванное судьбой, спаянное с ней всей своей деятельностью познания. Познающий дух обновляется в каждом действии и сам питает его своим обновлением. Поскольку человек вовлечен в условия своего существования, то и вовлеченность познающего субъекта является не препятствием, но необходимым инструментом истинного познания. Истина не отпечатывается на личностях автоматически или явочным порядком. Она может быть воспринята, если только ненавязчиво предлагает себя, и воспринимает ее лишь тот, кто предан ей всем своим существом. Интеллект, стремящийся ограничить себя логическим формализмом, сам себя уничтожает. Поэтому в универсуме личностей истина всегда кому-то принадлежит: она требует не только определенной логической техники, но и *обращения*, этого предварительного условия озарения (миф о пещере у Платона, понятие метанойи в христианской философии, "прорыв", или "скачок", у экзистенциалистов).

И тем не менее истина не является субъективной. Предпочтение, отдаваемое силе переживания познающего субъекта перед объективной ценностью истины, — это скользкий путь, на который встала экзистенциалистская мысль. Она открывает дорогу для провозглашения примата субъективного темперамента, ревностного усердия или воли к власти. По этому пути пошли Ницше и его последователи. Однако, как мы уже видели, трансцендентность ценностей, потребность в коммуникации, существование личности во времени свидетельствуют в пользу объективной перспективы. Безличностное на этом уровне зачастую является приближением, подступом к сверхперсональному: последовательное персоналистское учение, борющееся с непомерно ухищренными трактовками субъективности, должно быть готово отдать должное безличностному. *Опосредование* — это то, что поработает нас, но одновременно и спасает.

Если двигаться в этой перспективе, здесь необходимо еще создать целую логику¹. Классическая логика — это логика безличного: суждение в ней представляет собой соединение общих положений ("Пьер — добрый, мудрый, активный" и т. д.). Оно водит неспособного к общению человека по кругу и либо разрушает, либо объективирует его как субъекта. Персоналистская логика не может быть логикой простой идентификации: самопреодоление сопровождается у субъекта чувством отрицания и разочарованности, ощущением дисгармонии и двусмысленности. Разумеется, внутренний лоцман помогает ему в сумерках разума сохранять верность избранному курсу. Последнее невозможно без разрыва, согласно одной лишь удачливой логике импликации или логике диалектического синтеза; но периоды отрицания, отставки Я не могут завершиться бесплодной иронией: за ними следуют периоды понимания, вовлеченности, доверия к бытию. Однако богатая добыча, в свою очередь, рискует размягчить дух, и тогда ему опять понадобится решительно действовать, стремиться вперед, сопротивляться. И так без конца.

Этой диалектике угрожают три опасности: превратиться в автоматически действующий, объективированный и объективирующий, механизм, уничтожающий свойственный личности творческий потенциал; остановиться в момент нерешительности и выбора; обернуться эклектикой. Было бы злым умыслом смешивать а priori диалектику с этими карикатурами на нее и предостеречь от подобных опасностей всегда уместно. Те, кто считает, что основательность непосредственного утверждения, субъективная страстность или приказ извне придают больше силы индивидам и принимаемым ими решениям, ошибается относительно самой структуры человеческого универсума.

4. *Моральные ценности. Очерк персоналистской этики.* Свобода и ценность: личностный универсум определяет моральный универсум и совпадает с ним. Это не значит, что здесь нет места аморальности: возможность ошибки, или греха, является следствием и условием свободы. Это — состояние предморальности, то есть подчинение безличностному автоматизму, инстинкту или привычке, попустительство эгоцент-

¹ Очерки такой логики можно найти в трудах: *Nédoncelle M.* La personne humaine et la nature. Paris: Presses Universitaires de France, 1943; *Mounier E.* Traité du caractère, а также в работах М. Блонделя.

ризму, безразличию и моральной слепоте. Между этими двумя позициями — мистифицированная мораль, которая, руководствуясь внешними правилами, стремится отыскать компромисс между ценностными требованиями и предморальными силами, чтобы ими, как маской, прикрыть безнравственность.

Моральное зло начинается с этой лжи. Объективное познание добра и зла ведет к глубокому извращению свободы, равно как элементарное поддержание моральной чистоты или здорового образа жизни недостаточны для того, чтобы преодолеть зло. Здесь необходимо обращение, но оно требует столь же деликатного с ним обхождения, что и свобода. Моральная одержимость привносит в добродетель дух собственности и чаще является преградой на путях развития нравственности, чем открывает их. Чем меньше с самого начала я буду озабочен проблемами нравственности, тем лучше. Ощущать свою личную нечистоплотность, порочность, конечно, весьма важно, но все это очень похоже на эгоцентрическую заботу о собственной неприкосновенности, поэтому и здесь легко потеряться в мечтах или заслониться щепетильностью. Лучше — встреча с "другим", а еще лучше — живое, острое переживание незаслуженной обиды, нанесенной "другому". Одно только страдание позволяет созреть моральному Cogito. Как правило, душа, столкнувшаяся с добром или злом и уязвленная собственным бессилием, не может оставаться внутри оберегающего ее магического круга.

С этого момента моральная борьба разворачивается в двух направлениях. Ей необходимо поддерживать неудовлетворенность и драматизм свободы. Отсутствие беспокойства — это конец нравственности, а стало быть, и личностной жизни: место свободы занимает законность, поддерживающая социальное давление и инфантильную робость, устраняющая нравственное творчество и социализирующая нравственные принципы, классифицируя людей на злых и добрых в соответствии с формальным соблюдением ими установленных правил. Верность праву вместе с тем не отрицает закона, необходимого для того, чтобы свобода нашла свое место в социуме и утвердилась в нем. Как посредник между практикой и творчеством, между абсолютно внутренним характером морального выбора и коммуникацией в сфере всеобщей моральной идеи ведомый свободой закон является инструментом нашего последовательного освобождения и включения в мир нравственных личностей. Напряженность отношений между этикой закона и этикой любви определяет тот факт, что широкое поле личностной моральности оказывается заключенным между обезличенным правилом и парадоксальными исключениями из него, между терпеливым преобразованием обычного и безумными вспышками отчаявшейся свободы¹.

5. *Искусство. Очерк персоналистской эстетики.* Тяготы повседневного труда не позволяют нам осознать, что поэзия, являясь важнейшим моментом личностной жизни, должна стать нашим хлебом насущным. Будучи трансцендентной, "возвышенной" в собственном смысле слова,

¹ Из современных произведений наибольшую помощь в размышлениях на этот счет могут оказать работы Бердяева и книга Ле Сенна "Долг" (*Le Senne R. Le devoir.* Paris: Presses Universitaires de France, 1950).

она не сводится ни к чувственному наслаждению, ни к опьянению жизнью. Являясь бестелесной, поэзия также не сводится ни к чистому созерцанию идеи, ни к творческой мощи духа. На всем протяжении человеческой истории она выступает чувственным выражением внутренней бессосновности существования; ей свойственно развенчивать привычные точки зрения, направлять божественный свет на обыденные предметы и привносить в возвышенные сферы волнующее присутствие обычного. Подобно волновой теории, она приближает нас к тому, что наши чувства и мысли не в состоянии постичь непосредственно, приоткрывает перед нами двери ада и намекает на существование сверхчеловеческого. С этой точки зрения представляются удручающей узостью многочисленные споры о реализме. Верно и то, что многие играми в абстракции прикрывают свою неспособность постичь пределы человеческого, в то время как другие, разочаровавшись во всякого рода хитросплетениях, утешаются внешней красотостью или тем, что сегодня в моде. Верно также и то, что всевозможные деформации, наблюдаемые в искусстве, являются признаком глубокого нигилизма эпохи. Но даже и в этом случае это менее опасно, а порой и более обнадеживающе, чем обывательское подчинение привычному утилитарному видению. Мы слышим: реализм — но что такое "реальность"? Объективный мир непосредственного восприятия? Сегодня уже не требуется доказательств, что он до самых своих глубин пронизан конструкциями духа и социальной жизни. Так называемое реальное, доступное и тривиальное, — это низкопробный компромисс, предназначенный скорее для того, чтобы мы спокойно воспринимали реальность, чем посягали на ее тайны. Искусство как раз и выступает против ее обманчивости, во имя тотальной реальности, обнаруживаемой в ее маргинальных проявлениях.

И здесь в полный рост встает драматическая проблема коммуникации. Рафинированному искусству, предназначенному для избранных, свойственны усложненность, загадочность или голый расчет. Искусство ищет реальное бытие и реальные формы. Но, будучи по природе своей "реалистическим", оно по той же самой природе и "абстрактно", если верно, что трансцендентность передается лишь с помощью косвенных знаков. И в этом переводе со сверхчеловеческого языка ему не избежать темных мест и не разорвать круг одиночества. Нашу привычную жизнь способны потрясти самые что ни на есть абстрактные выкладки физиков, а не рецепты мастеров-самоучек. Поостережемся, однако, того, чтобы завтра более всего удаленные от народа художники не стали бы определять пути великого народного искусства¹.

6. *Общность судеб. История.* Является ли ценностью для мира личностей человеческая история и, конкретнее, общая судьба человечества? Если личность — это только ей принадлежащая и изливающая себя вовне свобода, то у множества таких личностей нет *общей* истории, каждая из них — сама себе история. Однако есть *единая* история, ибо есть *единое* человечество.

Но если смысл этой истории дан заранее, то свободы не существует. Если же смысла нет вовсе, то каким образом можно обнаружить его,

¹ Mounier E. Le réel n'est à personne / Esprit, février 1947.

когда даже самый осведомленный из нас, опираясь на опыт более широкого сообщества, знает, к тому же поверхностно и искаженно, всего лишь ограниченную область этой истории? Самое худшее тогда — наложить на историю некую схему; в таком случае история становится объектом и уже не может быть ценностью; становясь фатальной, она не может быть избрана и, следовательно, любима. Разнообразные партии так трактуют "смысл истории", или "волю провидения", что за коллективной диалектикой свободы отдельного человека и не разглядеть. Для универсума личностей такая перспектива неприемлема. История может быть лишь со-творчеством свободных людей; что же касается ее структур и обусловленностей, свобода должна взять их в свои руки. Такое не делается мгновенно, и пространство между наличной историей и историей творимой оказывается местом действия исторического детерминизма. Творчество истории является поистине человеческим делом. Оно осуществляется в довольно неопределенных обстоятельствах, так что никто не может от имени истории предписывать ему возможное будущее. При этих условиях общая судьба человечества является для мира личностей действительно одной из самых высоких ценностей. Вместе с пробуждением континентов и после страданий, перенесенных в двух мировых войнах, человеческая история начинает испытывать подъем, какой никогда до этого не испытывала.

7. *Религиозные ценности. Персонализм и христианство.* Христианский персонализм может сказать о самом христианстве не более того, что может сказать о нем любой христианин. Что касается веры, то он подчеркивает лишь значение личностного своеобразия, доверие или высшую, таинственную близость личности к трансцендентной Личности, а также несостоятельность любых чисто объективных доказательств и регуляций в этой области¹. Вместе с тем христианство — это также и религия, свидетельствующая о трансценденции, которая воплощена в земном мире личностей, обладающем историей. Широкая область ее конкретной жизни подчинена, следовательно, условиям рода человеческого, конкретного места и времени, и творческое вдохновение выражается здесь посредством преходящих форм, а иногда и сомнительных компромиссов. Необходимо всегда отличать подлинное трансцендентное вдохновение от тех форм, какие оно приобретает в тех или иных исторических условиях. Рожденные временем, они исчезают вместе с ним (например, средневековое христианство или связь "трон — алтарь"). Христианин, ощущающий главенствующее для своей религии значение воплощения, не будет презрительно относиться к историческим реалиям ввиду их несовершенства. Но ему при этом надо быть бдительным по отношению к очевидным или неявным искажениям христианских ценностей; и вместо того чтобы отливать вечное в преходящие формы, он будет стремиться открывать ему путь на каждом новом историческом отрезке². Наконец, христианский персонализм, вопреки религиозному индиви-

¹ Персоналистский анализ веры представлен в работе: *Mouroux J. Je crois en toi. Structure personnelle de la foi.* Paris: Editions Revue des Jeunes, 1949.

² *Mounier E. Personnalisme et christianisme / Idem. Liberte sous conditions.* Paris: Editions du Seuil, 1946.

дуализму, будет подчеркивать общинный характер веры и христианской жизни, о котором так часто забывали в течение последних двух веков; отыскивая новые перспективы равновесия между субъективностью и объективностью, он будет противостоять как религиозному субъективизму, так и любым объективистско-редукционистским трактовкам свободной деятельности, составляющей ядро собственно религиозного подхода.

Поражение, грозящее ценности. Страдание. Зло. Небытие. Борьба против ценностей не менее ожесточенна, чем их защита.

Порыв к ценности сам по себе, до всякого критического ее осмысления, обнаруживает внутренние противоречия. Так, счастье бывает недолгим, познание не может полностью охватить умопостигаемый мир, к чему оно стремится, искусству не удается выразить и сделать доступным каждому таинство мира, морали — избавиться от формализма и очистить от скверны сердце человека, истории — устранить насилие, религии — поддерживать чистоту своего духа. Неудача подстерегает самые возвышенные творения человека. На их пути встает смерть. Ценности, конфликтуя друг с другом, не могут образовать гармоничной целостности. О жизни ценностей можно было бы сказать то же самое, что Поль Рикёр сказал по поводу философии Габриеля Марселя: она колеблется между *лирическим уровнем*, где ценность торжествует победу и обещает согласие, и *драматическим уровнем*, где ей постоянно грозит поражение¹. Ценностной жизни сопутствует радость, но в равной мере ей сопутствует и страдание, и оно не только не убывает с прогрессирующим движением жизни, но набирает силу и становится более ощутимым по мере того, как личность обогащает свое существование.

Разумеется, страдание часто преодолевается благодаря человечности, которую оно само развивает. Но кто станет отрицать абсолютный характер некоторых видов зла? Можно попытаться списать зло на счет безличностного, якобы его порождающего (Лейбниц, Мальбранш). Но подобный прием затемнил бы тот личностный опыт, который мы испытываем, соприкасаясь со злом: раны, наносимые им, столь же глубоки, что и раны любви, давление столь велико, что вызывает резкий отпор, непреодолимая тяга к нему сравнима с силой, с какой влекут нас к себе самые возвышенные ценности. Но если оно столь неизбежно, то где же свобода? В действительности зло рождается вместе с личностью; до нее может быть только хаос. Зло обретает очертания только внутри сознания или во взаимодействии сознаний (для христианина зло такая же личность, что и добро). Оно — неотъемлемый признак свободы: истинный выбор возможен лишь в том случае, если свобода, выбирая ценность, может предпочесть ей и неценность. И вместе с тем, как только появляется зло, оно искажает личностный универсум, разъедает и разрушает личность. Зло напоминает нам о том, что, если личность и стремится к полноте существования, сама она, как человеческая личность, не может быть такой полнотой. Возникая из небытия, наша свобода является излучением небытия в той же мере, что и излучением существования. Крайние обстоятельства (не будем забывать о конц-

¹ Ricoeur P. Gabriel Marcel et K. Jaspers. Paris: Edition du temps présent, 1948.

лагерях!) и пограничный опыт, например опыт мистиков, которые, устремляясь к Абсолюту и культивируя вкус к небытию, доходят до отчаяния, напоминают нам о нашем человеческом уделе.

Что же в конечном итоге берет верх: бытие или небытие, добро или зло? Безоглядная уверенность, сопутствующая расцвету личностного опыта, склоняет к оптимистическому выводу. Но ни опыт, ни разум не могут дать здесь окончательного решения. Отважиться на это (будь то христиане или нехристиане) могут только те, кто руководствуется верой, которая выходит за пределы всякого опыта¹.

7. Вовлечение

Одним из важнейших прозрений современной мысли является понимание существования как деятельности, а более совершенного существования — как более совершенной деятельности. Если кто-то отказывается вводить принцип деятельности в мышление и в самую что ни на есть возвышенную духовную жизнь, то делает это чаще всего потому, что неосознанно ограничивает смысл деятельности, сводя его к жизненному импульсу, полезности или производству. Но необходимо понимать деятельность в самом широком смысле. Если говорить о человеке, она будет означать совокупный духовный опыт, если говорить о бытии — его внутреннюю переполненность. Тогда можно сказать: то, что не действует, не существует. Мы обязаны Морису Блонделю масштабным обоснованием этих идей.

Следовательно, теория деятельности является не приложением к персонализму, но занимает в нем центральное место.

Дебаты по поводу деятельности. Деятельность предполагает свободу. Материалистические или детерминистские учения, призывая к деятельности, особенно к целенаправленной деятельности, не могут избежать явных или скрытых противоречий. Если все, что происходит в мире, заранее предопределено неизбежными закономерностями, то что же нам остается, как не дожидаться того, как они проявятся, и не соотносить с ними наших чувств, дабы избежать страдания, как это предлагали стоики или Спиноза? Марксизм осознал, какую опасность несет в себе его двусмысленный материализм, и вынужден был обратиться к проблеме практики. Фаталистическая концепция "смысла истории", или прогресса, на деле ведет к оправданию конформизма. Ныне все партии страдают от этой неопределенности в отношениях между "объективностью" и личной ответственностью, другими словами, между стратегией и конкретной борьбой. Многие в большей или меньшей степени придерживаются идеи фатальности, стремясь приспособить ее к потребностям дня, пока не наступит катастрофа, и утешаются тем, что их центристская позиция является позицией центральной; или же они, используя всевозможные идеологические ухищрения, делают вид,

¹ Ясперс, например. С позиций христианства этот аспект проблемы проанализирован в работах: *Mounier E. La petite peur du XX-e siècle.* Paris: Editions du Seuil, 1948; *Dubarle M. Optimisme ou pessimisme.* Paris: Editions Revue des Jeunes.

что познали эти фатальности, а когда действительность сопротивляется, навязывают их с помощью грубой силы. Перед лицом этих ухищрений нужно как можно скорее восстановить смысл личной ответственности, как и тех неограниченных возможностей, какими располагает поверившая в себя личность.

Необходимо также напомнить, что личность не пребывает в изоляции. Поиск истины и справедливости — это коллективный поиск. Последнее не означает, будто миллион отдельных сознаний обладает в совокупности большей сознательностью, чем единственное строгое к себе сознание. Ничем не организованное множество людей — это прежде всего легкомыслие, путаница, аморфность, пристрастие. Организованность же на первых порах ведет лишь к скованности массовых движений. Только с персонализацией множество людей обретают свой человеческий смысл, обеспечивают взаимодействие свободы и необходимости, избавляют психозы и мистификации, в которые заводит человека разрыв его отношений с другими людьми. Анализ "эффективности духовных средств"¹ не должен вестись в отрыве от условий деятельности и ограничиваться только внутренним самоочищением и нравственным поведением индивидов. Ценна лишь такая деятельность, в процессе которой каждое отдельное сознание, даже если оно не участвует активно в жизни, мужает, соприкасаясь со всеобщим сознанием и разделяя драмы своего времени.

Если нет никакого способа придать смысл человеческому существу, каким бы очевидным он ни представлялся, если Вселенная не может предложить мне никакого ценностного ориентира, отсюда, когда речь идет о деятельности, следует только один вывод: делай все что угодно, лишь бы твоя деятельность была внутренне напряженной и могла противостоять окостенению всего того, что обладает длительностью, но имеет тенденцию к застою.

Одни тогда могут избрать путь созидания ценностей для себя. Однако в своем выборе они руководствуются собственной прихотью и, выбирая ценности совершенно добровольно, тем не менее никогда не смогут хранить им верность.

Другие предпочитают отказаться от всякой деятельности, поскольку, по их убеждению, ничто в этом абсурдном мире не дает достаточных оснований для предпочтения одного действия другому. Здесь процветают безудержный дилетантизм, разрушительная ирония, маниакальное нежелание принять какую-либо точку зрения, абстенционизм, вызывающая дерзость, анархизм. Чаще всего это приводит лишь к тому, что в одну кучу сбиваются раскольники, гордецы и неудачники, хитроумные дельцы и скудоумы. Их можно узнать по органическому отвращению ко всякого рода деятельности и бессилию осуждать что-либо, и это свидетельствует о том, что источники, их питающие, иссякли, какие бы красивые слова при этом ни произносились.

Есть и такие, кто, увлекаясь деятельностью, свободной от каких-либо обязательств и направляемой одним лишь внутренним горением,

¹См. мою статью под тем же названием, публиковавшуюся в "Эспри" с ноября 1934 по февраль 1935 г., и статью А. Ривьера в октябрьском (1938 г.) номере.

впадает в своего рода безумие действия ради действия: тревожное, но поверхностное возбуждение, характерное для слабых натур; экзальтация ради экзальтации и упоение собственным могуществом, характерные для натур сильных. Здесь мы сталкиваемся и с личностями поистине незаурядными: от Эрнста фон Саломона до Мальро, от Лоуренса до Дриё и Юнгера. Но если нет границы, отделяющей человеческий поступок от бесчеловечного, кто же предостережет от бесчеловечного? И от того, чтобы защититься от бесчеловечного с помощью террора?¹

Четыре измерения деятельности. Что требуем мы от деятельности? Изменить внешнюю реальность, сформировать нас самих, сблизить нас друг с другом и обогатить мир наших ценностей. Точнее, мы настаиваем на том, чтобы любая деятельность в той или иной степени отвечала всем указанным требованиям, так как человек склонен списать из чаши каждого нашего действия. Вместе с тем существуют различные типы действия, отвечающие прежде всего какому-то одному, доминирующему требованию, тогда как другие дополняют его. И здесь нам хотелось бы быть предельно четкими.

1. В *делании* (poiein) деятельность имеет главной целью овладение внешней материей и ее организацию. Назовем эту деятельность *экономической*: воздействие человека на вещи, воздействие человека на человека в плане природных или производительных сил — всюду, в том числе и в области культуры и религии, где он обнаруживает, проясняет и упорядочивает те или иные закономерности. Это — сфера прикладной науки, область *промышленности* в широком смысле слова. Ее цель и собственная мера — в *эффективности*. Однако человек не удовлетворяется производственной и организационной деятельностью, если не обретает в ней собственного достоинства, а в том, с кем трудится, — братьев по общему делу, если не возвышается над простой утилитарностью; более того, как показывает психология, человек хорошо трудится только тогда, когда обеспечиваются эти условия. У экономиста, игнорирующего это, есть все задатки, чтобы превратиться в технократа, который рассматривает человеческие отношения, как если бы они объективно управляли вещами. В конечном счете экономиста может разрешить собственные проблемы только с помощью *политики*, которая смыкается с этикой. Если экономист не решается принять эту связь, то потому лишь, что не допускает, чтобы от имени политики к строго экономическим требованиям примешивались чувства, мнения, интересы или априорные идеологические требования; на деле же политика должна увязывать строгость этики с точностью техники. Именно на политическом уровне должно персонализироваться экономическое начало и институализироваться начало личностное. Вот почему аполитизм, обходящий эту жизненно важную область человеческой деятельности, апеллируя, с одной стороны, к чистой технике, с другой — к чистому созерцанию или исключительно к внутреннему развитию, в большинстве случаев оказывается духовным отступничеством.

¹ Astorg B. d'. Introduction au monde de la terreur. Paris: Editions du Seuil, 1945; Mounier E. Introduction aux existentialismes, ch. VI.

2. С точки зрения *действования* (prattein) деятельность ставит своей целью уже не создание внешнего продукта, но формирование агента действия, его навыков, добродетелей, личностного единства. Эта область *этического действия* имеет свою цель и меру в *подлинности* — момент, особенно подчеркиваемый экзистенциалистскими мыслителями: то, что индивид делает, здесь менее важно, чем то, как он это делает и каким становится в процессе деятельности. Вместе с тем этический выбор не может не влиять и на экономический порядок. Именно потому, что древних греков привлекала своего рода взвешенная созерцательная мудрость, не питавшая особого вкуса к силе и пренебрегавшая материей, они не создали технической цивилизации, хотя их изобретения свидетельствуют о том, что они к этому были вполне способны. Античный полис со всеми прилегающими к нему территориями не похож ни на средневековую деревню, ни на большой индустриальный город, даже если они были возведены на том же самом месте. И можно показать, что религии влияют на окружающую среду и архитектуру не менее, если не более, чем материальные условия.

Эти рассуждения проясняют проблему целей и средств, которая часто ставится не лучшим образом. Если бы человек мог действовать исключительно в сфере технических средств, то средство было бы столь тесно связано с целью, что между ними не возникало бы никаких расхождений. Здесь главенствует эффективность: всякое средство, приносящее успех, оправданно, и оправданно оно потому, что приносит успех. Если говорить о технической стороне проблемы, то и здесь все определяет эффективность, и об этом необходимо напомнить тем, кто испытывает ностальгию, тем горе-моралистам, которые под предлогом придать деятельности нравственный характер пускаются в туманные рассуждения. Однако личностные отношения не могут установиться в чисто техническом мире. С появлением человека вся действительность преобразуется. Человек действует уже одним своим присутствием. Благодаря ему материальные средства становятся человеческими, они живут в людях, изменяются ими и изменяют их, вовлекая это взаимодействие в целостный процесс. Если они принижают действующего индивида, они в той или иной мере компрометируют и результат действия. Вот почему этика любой революции и любого режима именно с точки зрения их результата не менее значима, чем соотношения сил.

Не будем предаваться сен-симонистским или технократическим мечтаниям заменить руководство человеческими отношениями управлением вещами. В таком мире, если бы он был возможен, человек быстро был бы низведен на уровень вещи. Техника и этика — это два полюса неделимого союза *присутствия* и *операционального действия* того существа, которое действует лишь в той мере, в какой оно есть, и которое есть лишь постольку, поскольку действует.

3. Theōrein — говорили греки о той стороне нашей деятельности, где исследуются и усваиваются ценности и их господство распространяется на все человечество. Если придерживаться классического перевода этого слова как *созерцательной деятельности*, то необходимо сразу же уточ-

нить, что созерцание для нас является делом не только ума, но целостного человека, не бегством от обычной деятельности к деятельности избранной и исключительной, а устремлением к царству ценностей, наполняющих и развивающих человеческую деятельность как таковую. Ее целью является *совершенство* и *универсальность*, хотя они и получают воплощение в конечном продукте и с помощью единичных актов.

Созерцательная деятельность является бескорыстной в том смысле, что не нацелена *непосредственно* на организацию внешних отношений между вещами и между людьми. Это не означает, будто она остается безразличной к этим отношениям, не воздействует на них и не испытывает обратного воздействия. Как всякая человеческая деятельность, она оформляется в зависимости от естественных условий: изыскания, проводившиеся в монастырях, были феодально окрашенными при бенедиктинцах, коллегиальными при доминиканцах, воинствующими при иезуитах, потому что того требовало время. Эта деятельность, в свою очередь, воздействует на всю область практики двояким образом.

Прежде всего косвенно, как бы невзначай, нечаянно. Именно наиболее умозрительные математические построения привели к самым плодотворным и в то же время неожиданным прикладным результатам (астрономические расчеты — в мореплавании, представления о структуре атома — в атомной энергетике и т. п.). Два века теологических споров о воплощении Христа и полноте этого воплощения способствовали созданию христианских цивилизаций, единственных цивилизаций, ориентированных на человеческую активность и производительную деятельность. Здесь мы можем говорить о *созерцательной* индукции. Этот опыт должен удерживать нас от априорного объявления бесполезной той деятельности, близкой пользы от которой мы пока не видим.

Созерцательность, сохраняя в себе в качестве главной задачи исследование и создание совершенной системы ценностей, может также ставить прямой своей целью кардинальное изменение практики. Тогда мы говорим, что деятельность принадлежит к *профетическому типу*. Профетическая деятельность обеспечивает связь между созерцанием и практикой (этическое плюс экономическое), подобно тому как политическая деятельность — между этикой и экономикой. Так, она будет и словом и делом утверждать абсолютное в его неукоснительной строгости, если смысл его поставлен под угрозу: таковы "Провинциальные письма" или "Я обвиняю"*; таковы послушания Авраама, отказ нести воинскую службу по религиозным соображениям, голодовки Ганди. Можно, следовательно, говорить о *профетических образованиях*: они имеют смысл в качестве свидетелей грядущего мира, но теряют его, если приобретают четкие организационные формы (фаланстеры, общины Буамондо и т. п.). Профетический жест может быть "безнадежным" в техническом плане, заранее обреченным на неудачу, если руководствуется единственным стремлением донести абсолютное и бескорыстное свидетельство. Однако считать его всегда безнадежным и видеть в нем пустое

самоутверждение значило бы путать вид и род. Превращение неуспеха и недейственности в добродетель, подмена суровой простоты, свойственной ответственности, каким-то необъяснимым стремлением к мученичеству чаще говорят не столько о духовности, сколько о недостатке жизненных сил. Пророческая деятельность может сопровождаться сознательным намерением оказать давление на обстоятельства, но в таком случае она должна опираться скорее на веру в трансцендентную действенность Абсолюта, чем на технические возможности. Однако бывает и так, что пророк, исчерпав все свои возможности, из свидетеля превращается в исполнителя: Жанна д'Арк начала как свидетель, вслушиваясь в являвшиеся ей голоса, а впоследствии стала армейским генералом. Вместе с тем если пророк и не испытывает неприязни к конкретной деятельности (отличаясь в этом от духовного эмигранта), то он особенно и не рассчитывает на нее, как это делает политик, а полагается на необоримую силу своей веры, убежденный в том, что если и не достигнет какой-либо непосредственной цели, то сможет по крайней мере поддержать мужество человека на том уровне, на котором только и осуществляются прорывы в истории.

4. После всего сказанного нет нужды возвращаться к вопросу о коллективном характере деятельности. Общность труда, общность судьбы или духовная общность совершенно необходимы для ее полной гуманизации. Фашизм и коммунизм оказались притягательными в немалой степени потому, что они пообещали их, в том или ином сочетании, всем, кто не смог найти этих ценностей в атмосфере собственной жизни или жизни своей страны. Отныне вопли потерявших надежду одиночек не способны пробудить изнемогшее от отчаяния действие.

Политический полюс и пророческий полюс. Теория вовлечения. Таково общее описание деятельности. Как уже отмечалось, недостаточно ограничиться общими словами, говоря о единстве теории и практики, необходимо составить полное, детальное описание деятельности, чтобы знать, что должно быть объединено и каким именно образом. Ни одно действие не является разумным и жизнеспособным, если пренебрегает заботой об эффективности и не придает никакого значения духовности, а еще хуже — отбрасывает и то и другое. Разумеется, неспособность каждого отдельного человека реализовать себя целостно ведет к специализации действий. Технократы, политики, моралисты, пророки, философы нередко с возмущением отзываются друг о друге. Нельзя объять необъятное, однако действие в обычном смысле слова, то есть действие, влияющее на общественную жизнь, не может обрести устойчивости иначе, как используя все пространство, простирающееся от *политического полюса* до *полюса пророческого*. Человек действия — это тот, кто несет в себе отмеченную полярность, постоянно перемещаясь от одного полюса к другому, кто последовательно борется за то, чтобы обеспечить автономию и регулировать силу воздействия каждого из них, отыскать связь между тем и другим. Чаще всего политик, живущий голым расчетом и компромиссами, и пророк, которому свойственны

созерцательность и неуступчивость в вере, не могут сосуществовать в одном и том же человеке. Для согласованной деятельности необходимо, чтобы люди этих двух типов соединили свои усилия. В противном случае пророчество окажется тщетным проклятием, а тактик увязнет в маневрировании. Рассмотрим эти две возможности.

Философия, для которой существуют только абсолютные ценности, чтобы обрести действительность, стремится с помощью безупречных средств достичь совершенных целей. Но это все равно что совсем отказаться от деятельности. Абсолютное — не от мира сего и несоизмеримо с ним. Наша деятельность — это всегда сомнительная борьба, к тому же ради несовершенных целей¹. Но отказаться от деятельности на этом основании значило бы отказаться от самого удела человеческого: мы стремимся к чистоте, но слишком часто с чистотой связываем развертывание общей идеи, абстрактного принципа, осуществление мечты, благие намерения, что выражается в неумном пристрастии к заглавным буквам при их написании. Личностный героизм прямо противоположен всему этому. Такая вызывающая недоверие забота о чистоте нередко является также выражением крайнего нарциссизма, эгоцентрической защиты собственной независимости от посягательств коллектива. А чаще всего этой роскошной мантией прикрывается бессилие, малодушие, а порой и просто наивность². Смысл абсолютного компрометируется здесь с помощью двусмысленных психологических установок. Мы не только никогда не имеем дела с идеальными ситуациями, но чаще всего не выбираем и исходных условий, вызывающих наше действие. Эти последние обрушиваются на нас неожиданно, и совсем не так, как мы себе представляли. Нам приходится отвечать на них без промедления, рискуя, принимая решения на ходу там, где мы — в силу нашей осмотрительности — намеревались лишь "примкнуть". О *вовлечении* всегда говорят так, как если бы оно зависело только от нас: но мы *уже вовлечены*, уже в пути, уже озабочены. Вот почему абстенционизм иллюзорен. Скептицизм — это тоже философская позиция. Ведь невмешательство в 1936—1939 годах породило гитлеризм и войну. Тот, кто "не занимается политикой", пассивно участвует в ней, поддерживая существующие власти.

Вместе с тем, если вовлечение и предполагает отступничество, нечистоплотность ("пачкать руки"), ограниченность, оно не может требовать отречения ни от самой личности, ни от ценностей, которым она служит. Ее творческая сила рождается из напряженного противостояния, возникающего между несовершенством целей и бескомпромиссной верностью принятым ценностям. Беспокойное и даже мучительное осознание

¹ См. на этот счет специальный выпуск "Эспри" (Esprit, octobre 1938: Notre action, и особенно статьи: *Landsberg P. L. Le sens de l'action / Esprit; Idem. Réflexions sur l'engagement personnel / Esprit, novembre 1937*). Тема "вовлечения", восходящая, впрочем, к Шелеру и Ясперсу, во Франции обсуждалась на страницах "Эспри" еще до 1939 года, то есть до того, как была подхвачена экзистенциализмом в 1945 году, подвергнувшись им впоследствии безмерной эксплуатации. См. также: *Mounier E. Introduction aux existentialismes, ch. IV.*

² *Mounier E. Qu'est-ce que le personnalisme? Paris: Editions du Seuil, 1947, ch. I* (рус. пер.: *Мунье Э. Что такое персонализм? М., 1994. — Ped.*).

небезупречности дела, которому мы служим, удерживает нас от фанатизма и позволяет хранить в боевой готовности наше критическое чувство. Принося в жертву реальности воображаемые идеалы, мы обретаем особое мужество, освобождаясь от наивности и иллюзий и сохраняя стойкую веру на путях, полных сомнений. Рискуя при осуществлении выбора, подвергая себя лишениям и опасностям, мы обретаем отвагу, без которой невозможны никакие великие свершения.

Испытав однажды на себе эту трагическую суть деятельности, уже невозможно спутать *вовлеченность* и *завербованность*. Мы узнаём, что добро и зло обычно не противостоят друг другу, как белое и черное, что правое дело порой невозможно отличить от неправого. Мы не боимся открыто говорить о своих слабостях, бороться с ними, мы знаем ответственность всякой деятельности, нам известна опасность коллективного ослепления, мы не забываем об угрозе приспособленчества и догматизма; мы отказываемся заменить дилетантизм абстенционизма дилетантизмом безоговорочного присоединения и считать актом мужества безнадежное сползание в конформизм; все это губительное ребячество, итог инфантильного непостоянства. Но нам известно также, что деятельность — это средство познания и что истина дается только тому, кто постиг ее и хоть чуточку перехитрил.

Понятая таким образом деятельность не так-то проста. Для фанатиков она слишком неопределенна, поскольку в ней не обожествляется относительное и она требует бдительного к себе отношения. Политиков не устраивает в ней неуступчивость, поскольку она непременно отсылает к Абсолюту. Мужество как раз и состоит в том, чтобы закрепиться на этой неудобной позиции и не сползать в топкое болото эклектики, идеализма и оппортунизма. Подлинная деятельность всегда диалектична. Часто ей приходится в темноте силой удерживать два конца одной цепи, соединить которые ей не удастся, или, если воспользоваться более наглядным образом, беспорядочно хвататься за рукоятки какого-нибудь станка, не зная принципов его работы. Только со временем она научится нажимать сначала на одну рукоятку, а затем на другую, и дело будет выглядеть так: тактический ход — профетическое свидетельство; вовлечение — выход из действия; опосредование — разрыв; и все это не хаотично, когда каждое новое действие отменяет предшествующее, а подобно тому, как рабочий шаг за шагом пытается завести застопорившийся мотор, пока он наконец не заработает.

Практикуемое ныне воспитание из рук вон плохо готовит к подобной деятельности. Университеты дают формальные знания, и как результат — идеологический догматизм или же как реакция на него — бесплодная ирония. Духовные наставники слишком часто сводят нравственное воспитание к выработке болезненной щепетильности и совестливости, вместо того чтобы культивировать смелость в принятии решения. Необходимо коренным образом изменить всю эту атмосферу, если мы не хотим больше видеть, как в самые ответственные моменты интеллигенция являет собой пример слепоты, а совестливые люди — трусости.

II. ПЕРСОНАЛИЗМ И РЕВОЛЮЦИЯ XX ВЕКА

Поскольку в персонализме мышление и деятельность взаимосвязаны, от него ждут, чтобы он не только определил методы и общие перспективы действия, но и четко наметил линию поведения. Персонализм, довольствующийся лишь умозрительными рассуждениями о сущности личностного универсума, не достоин своего имени.

Вместе с тем связь между целями и средствами не является прямой и очевидной в силу сложных отношений, определяемых трансцендентным характером ценностей. Все, что написано на предыдущих страницах, вряд ли вызовет возражение читателей, но их мнения, возможно, будут расходиться, когда речь пойдет о проблемах школьного образования во Франции, о профсоюзах, к которым они принадлежат, о предпочитаемых ими экономических структурах. И это неудивительно: Сорель был источником вдохновения и для Ленина и для Муссолини. Деятельность осмысливается путем анализа конкретных проблем и реальных решений в рамках определенной ценностной перспективы. Ценности могут быть общими, анализы же, как и намерения, — различны. Даже такое течение мысли, как марксизм, не может обеспечить непосредственной связи между своими понятиями и практическими предписаниями: если не ошибаюсь, и Сталин, и Троцкий, и Леон Блюм в равной мере считали себя марксистами.

Начиная с 30-х годов нашего столетия персоналистские темы вновь зазвучали в контексте определенной исторической ситуации и стали актуальными в духовной борьбе. Мы не хотели бы связывать персонализм с теми частными исследованиями, которые не могут претендовать ни на исчерпывающий характер, ни на окончательное решение проблемы. Но они по крайней мере являются показательными и дают ясное представление о самом движении, не лишенном, впрочем, внутреннего единства. Проследим же за ним.

Европейский нигилизм. Это направление мысли родилось в ходе кризиса 1929 года, похоронным звоном известившего о конце европейского благополучия и привлекшего внимание к происходящим революциям. Тревогам и бедам, которые тогда начались, одни давали чисто техническое объяснение, другие — чисто моральное. Некоторые молодые люди полагали, со своей стороны, что зло носит одновременно экономический и моральный характер, что оно коренится и во внешних структурах, и в сердцах людей; следовательно, средства, используемые в борьбе с ним, не должны ограничиваться только экономической революцией или революцией духовной. А поскольку человек всегда остается человеком, необходимо было найти прочные узы, связывающие одно с другим. Надо было начать с анализа этих кризисных явлений, чтобы расчистить и тот и другой путь.

Духовный кризис является кризисом типично европейского человека, родившегося вместе с буржуазным обществом. Последнее полагало, что создало разумное существо, в котором животное начало окончательно подчинено победоносному разуму, а страсти нейтрализованы стремлением к благополучию. За истекшие сто лет эта уверенная в своей непоколебимости цивилизация получила три грозных предостережения: Маркс за согласованностью экономических интересов открыл лежащую в ее основе беспощадную борьбу социальных сил; Фрейд за психологической стабильностью обнаружил кипящий котел инстинктов; наконец, Ницше возвестил о рождении европейского нигилизма, чтобы потом передать слово Достоевскому. Последовавшие затем две мировые войны, которые привели

к образованию милитаризованных государств и концентрационных лагерей, стали мощной оркестровкой этих тем. Сегодня европейский нигилизм распространился и набирает силу вслед за отступлением великих идей, вдохновлявших наших отцов: христианской веры, веры в науку, разум, долг. У этого потерявшего надежду мира есть свои философы, говорящие об абсурде и отчаянии, свои писатели, осыпающие насмешками все вокруг. У него есть и свои, хотя менее яростные, массы. "Крайняя безнадежность в том, — говорил Кьеркегор, — что остается надежда". Господство самодовольной посредственности, несомненно, и есть современная форма небытия, а возможно, как считал Бернанос, и современная форма демонического.

Мы уже не знаем, что есть человек, а поскольку сегодня на наших глазах он переживает удивительные метаморфозы, считается, что и человеческой природы больше не существует. Для одних это означает: человеку *все по силам*, и они вновь обретают надежду; для других — человеку *все дозволено*, и они устремляются вперед сломя голову; для третьих, наконец, — *все дозволено делать с человеком*, и вот уже Бухенвальд. Все, что могло бы помочь нам преодолеть этот разброд, уже исчерпано или близко к исчерпанию. Игра идей достигла своего предела в системе Гегеля; она действительно возвестила конец философии, той философии, которая явилась лишь замысловатым сооружением, скрывающим за собой наши тревоги. Религиозное отчуждение завершилось признанием бога философов и банкиров, и перед лицом этого идола нам ничего не остается, как провозгласить смерть Бога. И если в ближайшее время новые войны не остановят развитие техники, мы, пресытившись комфортом, возможно, вскоре провозгласим и смерть благополучия. На наших глазах иссякают источники, некогда питавшие XIV век, и приближается время, когда надо будет заново "возродить" Возрождение¹.

Кризис структур переплетается с духовным кризисом. В условиях, когда экономика вышла из-под контроля, наука продолжает бесстрастно идти своим путем, перераспределяя богатства и изменяя соотношение сил в обществе. Общество расслаивается, а господствующие классы, утрачивая компетентность, теряют и свою решимость. В этой сумятице государство стремится сохранить свои позиции. Наконец, война или подспудная подготовка к ней, как следствие всех этих конфликтов, вот уже в течение тридцати лет препятствуют улучшению условий существования людей и совершенствованию общественных отношений.

Отказ от нигилизма. Перед лицом этого всеобщего кризиса обозначились три позиции.

Одни охвачены страхом и предаются сопровождающему его консервативному настроению, питаемому устоявшимися идеалами и поддерживаемому сложившимися структурами. Коварство консервативного духа состоит в том, что он не критически оценивает прошлое и, апеллируя к ложно понятой традиции, осуждает всякое движение вперед от имени этой абстракции. Таким образом он пытается заработать авторитет, хотя в действительности он, отрываясь от жизни, компрометирует те ценности, за спасение которых ратует. В нем ищут социальную стабильность, в то время как он несет в себе безумие и разрушение.

Другие культивируют дух катастрофы. Они объявляют себя глашатаями Апокалипсиса, отвергая всякое прогрессивное усилие под тем предлогом, что эсхатология единственно достойна их великой души: они вопиют о бесчинствах времени, особенно когда задеваются их устоявшиеся мнения. Все это типичный невроз, характерный для времен, изобилующих мистификациями.

¹ Именно так называется передовица в первом номере "Эспри" (Esprit, octobre 1932).

С незапамятных дней остается один-единственный выход: чтобы преодолеть кризис, надо вступать в поединок с миром, творить, идти на прорыв. Представители животного мира, которые перед лицом опасности прятались в укромных местах или надевали на себя панцирь, дали начало лишь ракушкам и моллюскам, живущим отбросами. А те, что остались незащищенными и начали перемещаться, вступили на путь, ведущий к *homo sapiens*. Но это не единственный способ идти на прорыв.

Мы отбрасываем консервативный миф о благополучии не для того, чтобы проповедовать слепой авантюризм. Последний в начале XX века был свойствен отнюдь не худшей части молодых людей, оказавшихся в атмосфере посредственности, скуки и безысходности. Лоуренс, Мальро, Юнгер — вот их мэтры, а исток их — Ницше. "Человек, который одновременно и активен и пессимистичен, если только у него за душой нет никакой привязанности, это состоявшийся или будущий фашист", — говорит Манюэль в "Надежде"* . Он одинок, его преследует смерть, и ему не остается ничего другого, как упиваться жизнью, бросать вызов любым препятствиям, правилам, обычаям, искать в неистовстве замену живой вере и пытаться, пусть даже с помощью жестокости, оставить свой след на этой грешной земле, дабы доказать, что он существует; но даже иступление не в силах сделать это очевидным. Некоторые экзистенциалистские идеи, как и накопившееся разочарование, могут повести его в этом направлении, однако протест против преступлений военных лет в состоянии сыграть большую роль в этой смеси лиризма и реализма. Подобный коктейль опьяняет тех, кто сам к этому стремится; теперь мы знаем, что в конечном итоге он приводит к коллективному преступлению¹.

Может быть, как раз чтобы избежать этого, многие душой и телом отдаются во власть партийных призывов. Разумеется, в этих условиях скоро вновь заговорили о конформизме. В новом ощущении коллективной деятельности, в подчинении ее жестким требованиям, на фоне ностальгии по утраченным религиозным связям, есть что-то от духа непритязательности, самоотверженности, растворения в некой общности, и эти ценности более притягательны, чем интеллектуальный анархизм, с которым человек обычно расстается к тридцати годам, получив должность в нотариальной конторе, либо навечно связывает с ним судьбу, становясь завсегдатаем какого-нибудь кафе. Но что они без духа свободы и духа истины?

Из всего сказанного можно, как представляется, вывести несколько правил, касающихся персоналистской стратегии.

1. Для нового понимания перспектив, по крайней мере вначале, необходима независимость от партийных и групповых пристрастий. Речь не идет о принципиальном анархизме или аполитичности. Поэтому коллективное действие, оставляющее своим членам достаточную свободу, предпочтительнее изоляции.

2. Дух — это не какая-то безудержная или магическая сила; одно лишь провозглашение ценностей духовными рискует мистифицировать их, если оно не сопровождается скрупулезным описанием средств и условий деятельности.

3. Взаимодействие "духовного" и "материального" предполагает, что в любом вопросе должна охватываться вся проблематика снизу доверху, от самых "презренных" низин до наивысочайших вершин, и что в том и в другом случае она должна изучаться с большей тщательностью: расплывчатость — главный враг масштабного мышления.

¹ Идеи фашизма подвергались разоблачению в специальном номере "Эспри" (*Esprit*, septembre 1934: *Les pseudo-valeurs spirituelles fascistes*) и в работах, помещенных в декабрьском номере за 1947 г.; в менее политизированном ключе речь о них шла в статье: *Mounier E. Interrogation à Malraux / Esprit*, octobre 1948.

4. Чувство свободы и чувство реальности требуют, чтобы в своих поисках мы избегали всякой доктринальной априорности, были готовы ко всему, даже к тому, чтобы, оставаясь верными реальности и ее духу, изменить их направление.

5. Воцарение беспорядка в современном мире привело персоналистов к необходимости объявить себя революционерами. Используя это слово, мы должны сохранить всю его остроту, чтобы не допустить упрощенного истолкования. Чувство преемственности не позволяет нам принять миф о революции как о "чистом деле": революция всегда болезненный кризис и не несет с собой автоматического решения всех проблем. Понятие революционности всего-навсего означает, что нашему веку неизбежно и органически присущ беспорядок, и его нельзя преодолеть, не нарушая привычный ход событий, без глубокого пересмотра ценностей, без реорганизации структур и обновления элиты. И если это признать, то не может быть ничего худшего, как использовать данное слово в качестве синонима конформизма, как связывать его с чрезмерными обещаниями, подменяя им творческое мышление.

Экономическое общество. Марксизм прав, утверждая определенную первичность экономического начала. Известно, что экономическими проблемами пренебрегают те, кого перестал мучить вопрос о хлебе насущном. Никакие аргументы не смогут поколебать их мнение сильнее, чем знакомство с жизнью народа. На начальном этапе истории, где мы находимся, поведение и взгляды людей определяются главным образом экономическими потребностями, привычками, интересами и разного рода неурядицами. Отсюда, однако, не следует, что экономические ценности более значимы или более весомы в сравнении с другими: примат экономического начала свидетельствует о беспорядке в истории, и из этого состояния необходимо выйти.

Но для этого недостаточно увлечь одних только людей — надо потрудиться и над вещами: экономику нельзя изменить с помощью одной экономики.

Об объективной стороне дела персонализму здесь сказать особенно нечего, кроме того, что ее, как и все другое, надо тщательно изучать и описывать. В целом персонализм утверждает, что капитализм в Европе, в каких бы формах он ни существовал, остановился в своем развитии и находится на грани издыхания. Капитализм в Америке все еще развивается и, оказывая влияние на старый мир, способен продлить его существование. Но, продолжая жить за счет тех же структур, он рано или поздно столкнется со столь же серьезными противоречиями. Эту эволюцию, однако, надо изучать конкретно, не вкладывая в слово "капитализм" раз и навсегда изобретенный смысл, не зависящий от изменяющихся факторов.

Соотнесенная с персоналистской перспективой, эта критика во многих пунктах смыкается с марксистским анализом. С утверждением либеральной демократии человек начал обретать черты политического субъекта, в экономическом плане он, по существу, остается объектом. Анонимная власть денег в современном мире¹, ее приоритет в распределении благ и прибывшей ожесточают социальные классы в их отношении друг к другу и ведут к отчуждению человека. Человек должен вернуть себе право распоряжаться своей судьбой, вернуть принадлежащие ему ценности, подорванные тиранией производства и прибыли, свой облик, искаженный бесконечными спекуляциями. В противном случае экономический диктат, если почувствует угрозу своему существованию, обернется против свободы, которую сам же отстаивает до тех пор, пока она ему служит, и прибегнет к террору и развязыванию войн, которым нет никакого оправдания.

¹ Mounier E. L'Argent, misère du pauvre, misère du riche / Esprit, octobre 1933.

Капитализм нельзя заменить абсолютно новым строем. Экономика, как ничто иное, обеспечивает преемственность между ними. Грядущий социалистический мир вызревает в недрах капитализма. Под социализмом мы понимаем следующее: уничтожение условий, воспроизводящих пролетариат; замена экономической анархии, основанной на прибыли, экономикой, служащей всестороннему развитию личности; социализация секторов производства, исключаящую посредничество государства, поддерживающего экономическое отчуждение¹; развитие профсоюзов²; реабилитация труда³; повышение жизненного и культурного уровня рабочего в противовес политике патернализма⁴; примат труда над капиталом; уничтожение классов, основанных на разделении труда или привилегиях; приоритет личной ответственности над властью анонимных структур. Выбор в пользу социализма как главного направления социальных преобразований не влечет за собой одобрения всех мер, которые могут быть предложены от его имени. Одни страны еще не созрели для социализма, в других он сбивается с пути или перерождается под давлением полицейско-административного аппарата. Тем более настоятельна сегодня потребность в обновленном, демократическом социализме, идущем собственным путем. Именно этого ждут сейчас от Европы, и персонализм ищет здесь свои пути. Будущее оценит правильность его выбора.

В этом отношении проблема человека и проблема экономики тесно связаны: великим испытанием для XX века, несомненно, станет вопрос о том, как избежать диктатуры технократов, будь они левыми или правыми, которые, заботясь об экономическом развитии, одинаково забывают о человеке. Однако не так-то просто обеспечить взаимодействие отмеченных аспектов. Кое-кто попытался априорно перестроить экономику, руководствуясь собственными представлениями о человеке, уподобившись при этом конструкторам первого автомобиля, которые в поисках его формы прибегали к образу телеги. Другие ссылаются на человеческий организм и рисуют в своем воображении некую цеховую экономику⁵, где союз рабочих и предпринимателей, нации и государства обосновывается с помощью мифов об их тождественности, что явно противоречит все возрастающим расхождениям их интересов. Третьи мечтают о межличностных отношениях и представляют себе общество, где экономические отношения будут заменены "человеческими", характерными для небольших групп людей (прудонистский миф). Однако современная экономика, подобно физике, эволюционировала от абстрактного к конкретному. Благодаря аэродинамическим расчетам самолет получил красивые, обтекаемые формы, подобно тем, какими природа наделила птиц; несомненно, весьма далекие от корпоративистских или договорных схем структуры приведут нас завтра к простым, правда, пока еще неизвестным, формам человеческой экономики.

Остается вопрос о средствах: каким образом можно перейти от нынешнего экономического беспорядка к завтрашнему порядку? Средства, конечно, будут меняться в зависимости от обстоятельств. Достижение капитализмом всемирного масштаба, его возможное превращение во всемирный империализм делают маловероятной дальнейшую эволюцию без кризисов и борьбы. Парламентская демократия, доказавшая свою неспособность осуществить глубокие экономичес-

¹ О национализации см.: *Esprit*, avril 1945; janvier 1946; о собственности см.: *Esprit*, avril 1934: *De la propriété capitaliste à la propriété humaine*.

² См. специальные выпуски "Эспри" — *Esprit*, juillet 1936; mars 1937.

³ См. специальный выпуск "Эспри" — *Esprit*, juillet 1933: *Le travail et l'homme*.

⁴ См. специальный выпуск "Эспри" — *Esprit*, mars 1936: *La personne ouvrière*.

⁵ См. специальный выпуск "Эспри" — *Esprit*, septembre 1934: *Duplicités du corporatisme*.

кие реформы в национальном масштабе, почти не оставляет надежд на более широкое действие. Взрыв европейского Сопротивления показал бессилие "лейборизма без трудящихся", который опирается только на добрую волю просвещенных средних классов, склонных к компромиссам. В этих условиях социализм, как и следует из первоначальной формулировки, будет делом самих трудящихся, организованным рабоче-крестьянским движением, к которому примкнут и трезвомыслящие представители буржуазии. Победит ли социализм в отдельной стране или одновременно в нескольких странах, свершится ли это мгновенно или в течение какого-то времени, прямым путем или в обход, — это загадка будущего. Но его облик будет соответствовать самому движению; вот почему важно заботиться не только о победах, но и о сплоченности движения.

Семейные узы. Положение полов. Там, где речь идет о человеческом феномене, недопустима никакая линейная классификация. Семейное сообщество, которое становится таковым благодаря кровным связям, отличается вместе с тем и высокой духовностью. Современная литература пресытилась, кажется, в своих разоблачениях узости и исчерпанности семейных отношений. Но есть и такие, кто готов превратить эти отношения в идола и кричит о святотатстве всякий раз, когда их уличают в ограниченности. По правде говоря, семейные отношения не достойны ни излишних почестей, ни чрезмерного негодования.

В основе семейного сообщества лежат прежде всего плотские отношения — сложные и редко вполне разумные, в результате чего внутренние эмоциональные несоответствия порождают многочисленные драмы. Но даже если все здесь нормально, телесность нередко ограничивает горизонты духовности. И напротив, она способна сообщить порой самим этим отношениям насыщенность, одаряя светом истинной поэзии.

Семья является ячейкой общества; для ребенка же она и самое первое общество: в семье он постигает азы человеческих отношений, впитывает их всем своим существом — в этом ее неоценимое значение. Вместе с тем в этом и слабость семьи: личности здесь недостает необходимой свободы от опеки, ее духовному становлению часто препятствуют привычный уклад жизни и чрезмерно развитое чувство долга. В конце концов внутренние неурядицы выплескиваются в общественную жизнь, в основе которой — те же семейные отношения; политические и религиозные мятежи являются часто не чем иным, как запоздалой реакцией на семейные конфликты.

Таким образом, наследие семейного прошлого весьма значительно, и здесь недопустима чрезмерная идеализация. В то же время оно часто дает повод расценивать его исключительно негативно¹.

Однако семья имеет ценность не только с точки зрения биологической или социальной, и, если мы будем отстаивать лишь ее функциональную полезность, мы можем многое потерять. Смысл семьи состоит также и в том, что она является местом соединения общественного и личного, социальной жизни и жизни индивидуальной. Семья социализирует отдельного человека, превращая нравы и обычаи в его внутреннее достояние. Благодаря этой посреднической роли семья выступает ядром личного мира. Ну а если она дряхлеет, отягченная собственной телесностью, то лишает мужества тех, кого должна была бы вывести на широкий простор общественных отношений. Если же семья полностью социализируется, то превращается в семейную империю, и нет зрелища более вульгарного. Кто видит в семье лишь собственницу, яростно отстаивающую свои права,

¹Как раз против этого в своей небольшой работе "Сила и слабость семьи" возражает Жан Лакруа (*Lacroix J. Force et faiblesses de la famille.* Paris: Editions du Seuil, 1948), которая по своим идеям близка книге Л. Дуси, вышедшей несколько ранее.

не способен видеть в ней хрупкого чуда, рожденного любовью и к любви призывающего. Но если в ней путают духовность и телесную близость, семье недостает свежего воздуха, в ней можно задохнуться. Приверженность к частному началу для буржуазии является опиумом, помогает ей не видеть нищету мира; вот почему надо спасти эти ценности от профанации.

Семья, будучи сообществом, основанным на плотских отношениях, под воздействием внешних условий претерпевает структурные изменения, которые, не касаясь ее существа, могут тем не менее отражаться и на ее облике. Сплочение молодежи в независимые группы¹, возросшая возможность быстрых перемещений, размывание нравственных устоев — все это постепенно ослабляет семейные узы. Хорошо ли это или плохо?

Если и верно, что стремительное падение нравов и усиление индивидуализма заметно подрывают самое ценное в институте семьи, то нельзя все-таки смешивать их с обновлением и тягой к универсальности.

Уточнив перспективы развития семейных отношений, мы можем перейти к рассмотрению роли в них сексуальных проблем, по отношению к которым даже значительные философские концепции кажутся до странности безразличными. Они отнюдь не являются, как это полагают авторы некоторых учений о семье, проблемами сугубо внешними; они входят составной частью во внутреннее устройство семьи, которое получает тем самым социальное выражение. И мужчина и женщина могут состояться только в супружеской паре, а супружеская пара — в ребенке; такая ориентация вовсе не утилитарна и не навязана извне, а отмечена глубоким внутренним смыслом и всегда имеет продолжение. Если говорить об одном из полов или о союзе двух полов, то и здесь существуют свои проблемы как общего, так и частного характера. Не замечать их значило бы провоцировать связанные с ними душевные расстройства. Однако они могут получить окончательное прояснение, если только рассматривать частное бытие в связи с общечеловеческим.

Было бы наивным полагать, что в лицемерии, связанном с отношениями полов, повинна буржуазная респектабельность. И все же именно эта респектабельность породила их самые одиозные формы, вызванные страхом и корыстными интересами. Если бы здесь было меньше таинственности и больше дальновидности, это послужило бы и на пользу морали.

Все это отчетливо проявляется там, где речь идет о положении женщины. Предпринимаются все новые попытки определить, что же в ее кажущейся загадочности принадлежит вечности, а что является исторически преходящим. И конечно же никакие ссылки на самодостаточность мужского начала или на мстительность женского характера не в состоянии прояснить суть дела. Однако верно и то, что общество, в котором мы живем, создано мужчинами и для мужчин, что потенциал женского существа далеко еще не раскрыт. Каким образом обеспечить женское развитие, соответствующее ее природе, не ограничивая ее, как гармонично сообразовать ее с миром, какие новые ценности и новые перспективы предложить ей — все эти проблемы и их предполагаемые решения дают основания утверждать: женщина — тоже личность².

Национальное и интернациональное сообщество. Нация обладает большей универсализующей возможностью, чем семья; она воспитывает и развивает разумное начало в человеке, обогащает человека как общественное существо, от-

¹См. специальный выпуск "Эспри" — Esprit, octobre 1945: Mouvements et institutions de jeunesse.

²См. специальный выпуск "Эспри" — Esprit, juin 1936: La femme aussi est une personne.

крывая перед ним мир во всем его многообразии, предоставляя простор для выбора. Коренящаяся в национальном единении опасность заключается в том, что нация представляет собой самую сплоченную человеческую общность и поэтому не всегда в состоянии противостоять пустым призывам и опеке со стороны государства. Национализм выступает сегодня со всей очевидностью явлением разрушительным и ретроградным. Вместе с тем национальное чувство служит хорошим противовесом против эгоистических настроений на уровне как отдельного индивида, так и семьи, против государственной монополии и космополитизма в экономической сфере. Именно отсюда проистекает равновесие человеческого начала: национальное чувство не только вызывает к гражданственности — оно является составным элементом нашей духовной жизни. Быть может, когда-нибудь нация и отомрет, но сегодня она еще не выполнила своей посреднической роли.

Однако нация, замкнувшись в себе, может нести угрозу войн, если не включена в мировую цивилизацию. Начиная с 1918 года заблуждением лучших умов было то, что они, следуя либеральной идеологии, верили, будто порядок в мире может основываться на одних только благих пожеланиях, правовых соглашениях и парламентских институтах, в то время как другие силы — экономические, социальные и те, что вызваны страстями человеческими, — ведут к конфликтам и взрывам. Эта иллюзия поддерживается и после второй мировой войны (в частности, ООН) и даже принимает более циничную форму: одно зло влечет за собой другое. Между тем в действительности мир все более и более интернационализуется. Сегодня уже нет независимых наций в старом понимании. Разделение на зоны влияния — первый шаг к мировому единству, которое рано или поздно должно сложиться. При этом необходимо выполнение трех условий: нации отказываются от неограниченного суверенитета, разумеется, в пользу объединения народов на основе демократии, а не какого-то суперимпериализма; образуется союз народов и их полномочными представителями, а не между правительствами; мощь империализма, особенно экономическая, опирающаяся то на национализм, то на космополитизм, будет окончательно сломлена объединенными усилиями народов. А до тех пор любая международная организация будет подрываться изнутри враждующими силами. Федерализм как главенствующая утопия полностью соответствует идеям персонализма¹: но главенствующая утопия, будь она пацифистского² или федералистского³ толка, никогда не должна превращаться в застывшую догму и не учитывать конкретных обстоятельств, даже если они ей противоречат.

Особого внимания в наше время заслуживают и проблемы межэтнических отношений. Очевидно, что равенство личностей исключает всякую форму расизма и ксенофобию как один из его вариантов, что никак не означает отрицания конкретных проблем, вытекающих из этнических различий. Колониализм движется к своему концу. Справедливость предполагает, что метрополии будут последовательно и неустанно вести к независимости народы, ответственность за кото-

¹ Это — одна из центральных идей персонализма (*L'Europe contre les hégémonies / Esprit, novembre 1938*), и ее сегодня поддерживают в европейских парламентах, правда, не всегда учитывая, если можно так сказать, перспективы, описанные в работах Александра Марка, Анри Бругмана, Дени де Ружмона.

² См. специальный выпуск "Эспри" — *Esprit, février 1949: Révision des pacifismes*.

³ См. специальный выпуск "Эспри" — *Esprit, novembre 1948: Les deux visages du fédéralisme européen*.

рые они взяли на себя и чью политическую стабильность нарушили. Элементарная прозорливость подсказывает им, что не следует побуждать к насилию народы, с которыми они сообща могли бы отстаивать собственные традиции в новых национальных образованиях¹.

Государство. Демократия. Очерк персоналистской теории власти. Политика не является конечной целью, поглощающей все другие. Тем не менее если политика далеко не все, то она присутствует во всем.

Ее первой задачей должно стать определение роли государства. Государство, повторяем мы, это не объединение по национальному признаку, ни даже необходимое условие для нормального существования нации². Одни лишь фашисты идентифицируют себя с государством. Государство — это концентрированная объективация права, которая спонтанно рождается из жизни организованных групп (Ж. Гурвич). Право же является институциональным гарантом личности. Государство служит личности, а не личность государству. Для персонализма важнейшим является вопрос о законности власти человека над человеком, что, на первый взгляд, кажется, противоречит идее о межличностных отношениях. Именно так считают анархисты³. Для них достаточно свободного самоутверждения индивида, чтобы в коллективе спонтанно воцарился порядок. Власть же, какова бы ни была ее структура, напротив, несет с собой разложение и угнетение. Тезисы либералов мало чем отличаются от этого. Сторонники абсолютной власти считают, что человек — неизлечимый эгоист и не в состоянии добровольно подчиниться закону, что ему его надо навязать принудительным образом.

Итак, на одной стороне оптимистическое видение личности и пессимистическая трактовка власти, на другой — пессимизм в отношении личности и оптимизм в отношении власти. Что касается отношения личности и коллектива, то обе стороны идеализируют это отношение, выделяя один аспект и игнорируя другой. Анархизм и либерализм забывают, что личность всецело принадлежит природе и что, принуждая вещи, нельзя не принуждать и людей. Однако, если принуждение делает власть неизбежной, оно тем не менее не является ее основанием. Основанием власти может быть только конечная судьба личности, а потому власть должна уважать личность и содействовать ее движению вперед. Из этого вытекает множество следствий.

Прежде всего, личность должна быть защищена от злоупотреблений власти, поскольку всякая неконтролируемая власть чревата ими. Такого рода защита требует закрепления общественного статуса личности⁴ и конституционного ограничения власти государства, иными словами, создания равновесия между цент-

¹ О еврейском вопросе см.: *Esprit*, mai 1933; septembre 1945; octobre 1947. О колониализме: справки об Индокитае (*Esprit*, décembre 1933); о Марокко (*Esprit*, décembre 1937; avril 1947); об Алжире (*Esprit*, juillet 1947; octobre 1948); о Вьетнаме (*Esprit*, février 1947); о Мадагаскаре (*Esprit*, février 1948). См. также: *Le colonialisme, son avenir, sa liquidation*. — *Esprit*, décembre 1935; *Dernières chances de l'Union française*. — *Esprit*, juillet 1949. По проблемам ксенофобии и иностранцев см.: *L'émigration, problème révolutionnaire* / *Esprit*, juillet 1939.

² *Mounier E. Anarchie et personnalisme* / *Esprit*, avril 1937; по проблемам государства наряду с работами Ж. Гурвича см.: *Lacroix J. Personne et amour*; *Rougemont D. de. Politique de la personne*. Paris: Editions Je sers, 1934.

³ А вместе с ними и Маркс, когда говорит о будущем отмирании государства.

⁴ Предложенный "Эспри" проект декларации, который был обсужден на его страницах в 1944—1945 годах, оказал определенное влияние на разработку французской Конституции 1946 года.

ральной властью и местными властями, организации защиты граждан от посягательств государства, *habeas corpus*, ограничения власти полиции, независимости судебной власти.

Если личности не избежать подчинения, то она должна все-таки сохранить свой суверенитет как субъект. И это максимально ослабит неминуемое отчуждение. Это проблема *демократии*. Слово "демократия" заключает в себе много смыслов. Оно обозначает и форму правления, и режим, обеспечивающий массам людей независимое существование. В действительности оно говорит о поиске такой формы правления, которая сочетается с волеизъявлением масс, что обеспечивает субъекту реальное участие в управлении. Но если верх берет что-то одно, мы имеем в одном случае "перманентную демократию", в другом — перманентное господство тоталитарного государства, что в равной мере является отклонением от нормы в сторону тирании.

Народный суверенитет не может основываться на авторитете численного превосходства (право большинства); "воля большинства" таит в себе такой же произвол, как и "добрая воля" отдельной личности. Народный суверенитет не может, как это отмечал Руссо, делать уступку анархическому суверенитету индивидуальных свобод. Суверенитет господствует в обществе личностей, которое в юридическом плане разумно организовано; этот суверенитет носит правовой характер: право, будучи посредником между свободой и организацией, стремится использовать свободу в целях коллектива и последовательно вести тех, кто обладает властью, к личной ответственности. Инициатива народа проявляется здесь двояким образом.

Косвенным образом — через максимально подлинное, целостное и эффективное представительство воли граждан¹: при этом предполагается особая забота об их политическом образовании. Длительное время эта функция обеспечивалась партиями, но когда они, погрязнув в конформизме и впад в идеологический склероз, превращаются в некий механизм по обезличиванию своих приверженцев и избирателей, отдающих за них голоса, они сами лишают себя этих полномочий. Принадлежащие либеральному этапу в развитии демократии, которому свойственны метания между идеологией и тактикой различных социальных классов, партии, от имени которых они так или иначе выступают, по-видимому, изживают себя. Устав партии может служить лекарством от этих бед, но этого явно недостаточно. В новых социальных условиях демократия должна заботиться не о создании одной господствующей партии, лишь усиливающей собственные пороки и ведущей к формированию полицейского государства, а о новых структурах воспитания и политической деятельности, соответствующих новому общественному порядку². Истинное представительство предполагает также, что власть не извращает его, что в стране функционирует узаконенная свободная политическая жизнь, что большинство правит в интересах всего общества и на благо его, а не для того, чтобы уничтожить меньшинство.

Когда представительство извращает свою миссию, суверенитет народа осуществляется посредством прямого давления на власть: манифестации, митинги, забастовки, бойкот и, как крайняя мера, национальное восстание. Государство, рожденное силой и забывающее о своем происхождении, считает эти формы давления незаконными, однако, когда оно потворствует несправедливости и уг-

¹ См. специальный выпуск "Эспри" — *Esprit*, mars 1939: Le problème de la représentation.

² См. специальный выпуск "Эспри" — *Esprit*, mai 1939: Le régime des partis. Bilan-avenir; см. также: *Goguel F.* Le problème du statut des partis / *Esprit*, janvier 1946.

нетению, оно объявляет их глубоко законными. Нельзя забывать, что в течение последних полутора столетий (вспомним о рождении рабочего законодательства) давлением на власть было добыто больше прав, чем всеми инициативами юристов и доброй волей власти имущих. Быть может, на этом пути будут найдены новые подходы к выработке и международного права. Этот путь труден, чреват заблуждениями, но это неотъемлемое право гражданина¹.

Наряду с этими постоянно возникающими проблемами власти и государства, необходимо отметить тесную связь между содержащимися в них политическими и социологическими проблемами. Марксистская критика формальной демократии уже сказала здесь свое решающее слово. Права, которые дает гражданам либеральное государство, в значительной мере отчуждаются от них в социально-экономическом плане. Парламентское государство почти что изжило себя. Его механизм работает вхолостую, парламентские речи лишь сеют ветер в ожидании грядущей бури. Политическая демократия должна быть полностью реорганизована на основе действительной экономической демократии, соответствующей современной организации производства².

Только на этой органической основе может быть восстановлен законный авторитет государства. Говорить о таком восстановлении, не упоминая о том, ради чего оно осуществляется и кем лично, значило бы требовать для поддержания существующей несправедливости более сильной исполнительной власти. Должно ли исчезнуть государство? И не случится ли так, что вещи возьмут власть над людьми, а не человек над вещами? В этом можно сомневаться, учитывая все усиливающиеся взаимосвязи между людьми и между вещами, как и саму невозможность пустить все на волю волн. А может ли государство отказаться от собственного единства? Одно время казалось, что персоналистская позиция по этому вопросу совпадает с требованием "плюралистского государства"³ и разделения властей, которые конкурировали бы друг с другом, чтобы пресечь возможные злоупотребления. Однако эта формулировка рискует остаться внутренне противоречивой; поэтому следовало бы скорее говорить о государстве, стоящем на службе плюралистского общества.

Воспитание личности. Формирование личностного начала в человеке, как и самого человека, отвечающего индивидуальным и коллективным требованиям личностного универсума, начинается с рождения.

О существующем воспитании⁴ можно сказать, что оно в самом широком смысле является "сворачиванием невинных": оно не знает, что такое личность ребенка, и навязывает ему кодекс поведения взрослого человека, социальное неравенство, созданное взрослыми, подавляет формирование характера и осознание своего призвания авторитетом формального знания. Развитие новых тенденций в воспитании, явившихся реакцией на такое положение дел, пошло кружным путем под влиянием либерального оптимизма и его идеала — этакого процветающего филантропа, полностью адаптировавшегося к действительности. Воспитание надо реформировать (так и хочется сказать: придать ему мужественности) путем восстановления целостности индивидуального и социального человека.

От кого зависит воспитание ребенка? Данный вопрос тесно связан с другим вопросом: какова цель воспитания? Эта цель состоит не в том, чтобы *сделать*

¹ О забастовках, например, см. специальные выпуски "Эспри" — *Esprit*, juillet 1938: *Grève et arbitrage*; mars 1948: *La grève est-elle anachronique?*

² *Esprit*, mars 1946: *Y a-t-il deux démocraties?*

³ *Esprit*, mars 1935; août-septembre 1935.

⁴ См. статьи Жака Лефранка и Роже Гала в "Эспри", а также: *Charbonneau B. La fabrication des bons élèves / Esprit*, novembre 1937.

личность, а в том, чтобы пробудить ее. По определению, личность — это призвание, и ее нельзя создать путем дрессировки. Следовательно, воспитание не может преследовать цель слепить ребенка по меркам конформизма, господствующего в семье, государстве, социальном окружении, либо ограничиться приспособлением его к той функции, которую ему предстоит выполнять, став взрослым. Трансцендентность личности означает, что она принадлежит только самой себе: ребенок — это субъект, он не является ни *res societatis*, ни *res familiae*, ни *res Ecclesiae**. Вместе с тем он не есть и изолированный субъект. Включенный в жизнь коллектива, ребенок формируется в нем и благодаря ему, и, хотя коллектив не всемогущ по отношению к ребенку, он все же представляет собой естественную среду формирования: семья и нация открыты человечеству в целом. Христианин добавит: и церкви.

Воспитание не ограничивается школой; школа — это один из инструментов воспитания, и было бы заблуждением и преувеличением превращать ее в главное его средство; на школу возложено не абстрактное "образование", которое, как таковое, не поддается определению вне воспитания, а именно школьное воспитание, являющееся одним из звеньев целостного воспитания. Последнее, будучи наиболее тесно связанным с потребностями нации (формирование гражданина и производителя), является таким воспитанием, которое нация организует и контролирует с помощью собственных средств: в современных условиях школа является не государственным органом, а общенациональным институтом; обеспечивая естественное право на образование, она в то же время должна отвечать конкретным потребностям отдельных наций. В таких условиях может происходить либо централизация этого института, либо децентрализация, но никогда не огосударствление. При этом внешкольное воспитание должно пользоваться возможно большей свободой¹. Наконец, школа как общенациональный орган со всеми своими ступенями не должна быть привилегией какой-либо одной части нации, цель ее — дать всем и каждому минимум знаний, которые служили бы свободному человеку и представляли всем слоям общества равные возможности, содействовали становлению субъектов, которым надлежит в каждом поколении обновлять элиту нации².

Культура. Культура — это не какая-то часть жизни личности, а ее глобальная функция. Для человека, который сам себя сознает и развивает, всё есть культура, начиная с обустройства завода и формирования собственного тела — до умения поддерживать беседу или хозяйствовать на земле. Это значит, что нет какой-то одной культуры ("культурный человек"), по отношению к которой всякая другая деятельность была бы некультурной, а есть столько культур, сколько видов деятельности. Об этом особенно необходимо напомнить нашей книжной цивилизации³.

Поскольку жизнь личности является свободой и превосхождением, а не накопительством и движением по кругу, то и культура ни в коей мере не может быть нагромождением знаний; цель ее — глубинное преобразование субъекта,

¹ По проблемам школы и воспитания см.: *Mounier E. Manifeste au service du personnalisme; Idem. Pour un statut pluraliste de l'école // Esprit, février 1936; Marrou H. Protoschéma d'un plan de réforme universitaire / Esprit, décembre 1944; Philip A. Projet d'un statut du service public de l'enseignement / Esprit, mars 1945; Propositions de paix scolaire / Esprit, mars/avril, octobre 1949; Labertonnière L. Théorie de l'éducation. Paris: Vrin.*

² По вопросам подготовки элиты см. работы Жана Гадофра и других авторов, опубликованные в "Эспри" в 1945 г. и переизданные в кн.: *Le style du XX-e siècle. Paris: Editions du Seuil.*

³ *Rougemont D. de. Penser avec les mains. Paris: Albin Michel.*

и чем более она апеллирует к его внутреннему миру, тем большие возможности открывает перед ним. Как уже отмечалось, культура — это то, что остается тогда, когда мы уже не опираемся на знание: это — сам человек.

Отсюда следует, что, подобно всему тому, что исходит от личности, культура пробуждается, а не производит саму себя или навязывается извне, и она не может существовать в условиях чистой свободы, без давления со стороны тысячи влечений и побуждений, которые она обращает себе в пользу.

Однако, будучи самой изобретательностью, культура, когда она что-либо вбирает, может заморозить, омертвить себя под воздействием декретов и прямолинейных решений. Разумеется, в известных пределах культурой можно и должно руководить. Но лучше было бы сказать: культуре можно и должно "помогать". Культура не поддается дрессировке. А если речь идет о творчестве, культура нуждается в одиночестве, но это такое одиночество, в котором присутствует весь мир¹.

Конечно, творчество в известной мере нуждается в поддержке коллектива; жизнеспособные коллективы придают ему силу, заурядные — удушают. Однако сам творческий акт идет от личности, даже если она затерялась в толпе: все так называемые народные песни имеют конкретного автора. И если бы все люди вдруг стали художниками, не было бы больше художника как такового. В коллективистских концепциях культуры верно то, что, выступая против касты избранных, стремящейся подчинить культуру условностям, они объявляют народ истинным источником ее обновления.

Наконец, культура непременно является трансцендированием и нескончаемым самопреодолением. Как только культура останавливается, она перестает быть культурой: отсюда ее академизм, педантизм, "общее место". Когда культура теряет в качестве своего ориентира универсальность, она иссушает себя; если же культура путает универсальное с застывшей всеобщностью, она затвердевает, превращаясь в жесткую схему.

Большинство отмеченных выше тенденций выдается за культуру, что вызывает ее рассогласованность. Противопоставление "чистые руки — грязные руки" и предрассудки, связанные с идеей о примате "духа", дают повод путать культуру с книжным знанием и интеллектуальными занятиями. Глубокое разделение на классы, идущее рядом с этим предрассудком, блокирует культуру или по крайней мере делает ее привилегией меньшинства, и тогда она фальсифицируется и извращается. Здесь один социальный класс все более и более ставит культуру на службу своим интересам, используя ее для своего самооправдания и мистификаций; то же самое делает и правительство; и в том и в другом случае культура подавляется. Необходимое соответствие между обществом и духовностью исчезает, уступая место условностям или крикливой моде. У творцов нет больше публики, а там, где она есть, нет места творцам. В широком смысле все зло коренится в социально-экономическом строе. Он создает культурную касту и толкает искусство (придворное, салонное, церковное) к эзотеризму, снобизму или изысканностям — дабы угодить ей; к академизму — чтобы придать ей уверенности; к фривольности — с целью пощекотать нервы; к пикантностям, усложненности и брутальности — чтобы избавить от скуки. А когда техника, умножая средства, увеличивает и возможность менять формы в искусстве, деньги к величайшей выгоде узкого круга людей коммерциализуют его и опошляют, калеча творца, его произведение и публику. Художник, преподаватель или ученый по своему положению пребыва-

¹ См. специальный выпуск "Эспри" — *Esprit*, novembre 1936; *Alerte à la culture dirigée*, а также: *Trois vues sur l'affaire Lyssenko/Esprit*, décembre 1948.

ют где-то между нищим изгоем и рабом-исполнителем¹. Вот сколько зла несут с собой социальные структуры, и оно исчезнет только вместе с их исчезновением. Но мы не должны забывать и о том, что с неменьшей силой ослабляют культуру обесценивание современного сознания, его отказ от широких перспектив, открывааемых религией, разумом и т. п., а также ориентация на утилитарно-механическую результативность.

Положение христианства. Внутри конкретной религиозности мы проводим различие между вечным началом и его разнообразными преходящими формами, то есть тем, как вечное участвует в делах людей. Религиозность проявляется вовсе не в том, чтобы ко всему относиться апологетически, а в том, чтобы уметь отделить подлинное от неподлинного, устойчивое от преходящего. И в этом она обнаруживает общие черты с персонализмом².

Обесценивание современного христианства связано со многими историческими пережитками: теократическое мышление, издавна стремящееся обуздать человеческое сознание с помощью государства; сентиментальный консерватизм, связывающий судьбу религиозной веры с исчерпавшими себя режимами; жесткая логика денежного мешка, которая руководит тем, чему должна была бы служить. Порой в противовес этим привязанностям и тоске по старому разыгрываются вполне современные фривольные спектакли. Тот, кто хотел бы, чтобы христианские ценности сохранили свою действенность, должен всеми силами способствовать тому, чтобы христианство порвало свои связи с существующим беспорядком.

Но все это сугубо внешняя активность. Более существенной является коренная проблема, которую ставит перед христианством наше время. В этом мире не все принадлежит христианству. Вне его рождаются сегодня новые реальности и очевидные ценности, получают жизнь новые моральные требования, свершаются героические подвиги и даже святые деяния. Со своей стороны, христианство, судя по всему, не преуспело в деле установления тесных связей с современным миром (развитие сознания и разума, науки и техники, рост самосознания трудящихся масс) в отличие от того, как оно преуспело в этом в средневековье. Можно ли в таком случае говорить, что близится конец христианства? Не свидетельствуют ли об этом его расхождения с современным миром? Более углубленное изучение отмеченных фактов приводит нас к мысли о том, что переживаемый христианством кризис означает не конец христианства как такового, а крах определенной формы христианства, мира, подточенного червями, который оборвал якорную цепь и сбился с курса, оставив позади себя борцов за новое христианство. Похоже, что после многовекового подчинения иудейской мечте о воцарении на земле Царства Божия христианство постепенно возвращается к своей изначальной позиции: отказу от идеи господства на земле и его освящения в пользу собственного дела церкви — соединения христиан во Христе, их объединения со всеми другими людьми для осуществления общего дела. Не теократия, не либерализм, но еще более строгое следование идее единства трансценденции и воплощения. Тем не менее как о нынешних, так и о вчерашних тенденциях в христианстве нельзя сказать, что они окончательно определились в вопросе об

¹ См. специальные выпуски "Эспри" — *Esprit*, octobre 1934: *L'art et la révolution spirituelle*; octobre 1935: *Pour un nouvel humanisme*.

² См. специальные выпуски "Эспри" — *Esprit*, mars 1933: *Rupture entre l'ordre chrétien et le désordre établi*; octobre 1934: *Argent et religion*; octobre 1935: *Pour une nouvelle chrétienté*; août-septembre 1946: *Monde chrétien, monde moderne*; а также: *Simon P.-H. Les catholiques, la politique et l'argent*. Paris: Editions Montaigne, 1935. Журнал "Jeunesse de l'Eglise" ("Молодежь Церкви") постоянно изучает эти проблемы.

отношении между христианским миром и миром в целом. Но пусть в каждой из них поддерживается животворный дух.

Кризис христианства — это не только исторический кризис определенной его формы, но и более глубокий кризис религиозных ценностей в мире людей белого цвета кожи. Философия Просвещения считала эти ценности искусственными и была убеждена в их скором исчезновении. Ориентированная научным энтузиазмом, она могла в течение некоторого времени поддерживать подобную иллюзию. Однако XX век со всей очевидностью показал, что там, где исчезли ценности христианства, их место заняли другие религиозные ценности: обожествление тела, коллектива, рода, вождя, партии и т. п. Все эти ценности, проанализированные с точки зрения религиозной феноменологии, обнаруживают за своей новизной деградированные и весьма ретроградные формы религиозности, если сравнивать их с христианством, поскольку как раз личностный мир с его требованиями оказался так или иначе исключенным из них. В этом одна из центральных проблем нашего времени.

Все, что изложено на этих страницах, можно, конечно, оспорить или подвергнуть пересмотру. Высказанные здесь положения свободны от какой-либо идеологической предвзятости и требуют постоянного соотношения с реальным положением человека в современном мире. И если такое сопоставление будет продолжено, сторонникам персонализма останется только приветствовать это. Придет время, когда слово "персонализм" забудется, поскольку не нужно будет привлекать внимание к тому, что станет привычным для человека.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПЕРСОНАЛИСТСКАЯ И ОБЩНОСТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Mounier E. Révolution personaliste et communautaire. Paris, 1935.

На русском языке публикуется впервые. Перевод В. М. Володина

С. 17* Речь идет о последствиях первой мировой войны.

С. 18* Сюрреализм как идейно-художественное движение оказал значительное влияние на формирование "личностной философии". В 1945 г. Мунье пишет заметки по поводу выхода в свет первого тома "Истории сюрреализма" М. Надо и книги Ж. Монеро "Современная поэзия и священное", где оценивает сюрреализм как одно из самых серьезных течений, раскрывающее глубинные потребности современности, а сюрреалистов называет апостолами кардинального преобразования жизни. Главное, с чего начинается сближение персонализма с сюрреализмом, это признание сверхреальной действительности подлинной основой человеческого существования и художественного творчества.

С. 19* *Брюгге* — город в Бельгии, знаменит памятниками культуры и искусства XIII—XVI вв.; "Мистическое бракосочетание святой Екатерины" ("Обручение святой Екатерины") — картина, приписываемая художнику нидерландской школы А. Изенбрандту (пер. пол. XVI в.).

С. 20* *Пеги Шарль* (1873—1914) — французский поэт, философ, публицист, оказал серьезное воздействие на формирование идей Э. Мунье, особенно своей концепцией деятельности, согласно которой назначение человека, пребывающего между небом и землей, временем и вечностью, реальным и сверхреальным, состоит в том, чтобы доступными ему средствами выполнять божественную задачу. Как отметил А. Беген, литературный критик персоналистской ориентации, близкий друг Мунье, после его смерти принявший руководство журналом "Эспри" (1950), "Пеги заставил Мунье стать тем, кем он стал" (цит по: *Domenach J. M. Emmanuel Mounier. Paris, 1972. P. 36*). Одна из первых работ Мунье — книга "Мысль

Шарля Пеги” (La pensée de Charles Péguy, 1931), написанная им в соавторстве с сыном мыслителя М. Пеги и Ж. Изаром, ”генератором идей персонализма”, как о нем отзывался основоположник ”личностной философии”. Пеги, сосредоточивавший внимание на проблемах творчества, воплощения, духовного мира человека, революционного преобразования общества, стремился к обновлению традиционного христианства путем соединения его с идеями А. Бергсона. Усваивая учение Бергсона о длительности и жизненном порыве, тезис о духовном истоке мира, мысли о непосредственной интуиции и истине, памяти и времени, он поддерживал романтическую направленность его философии.

С. 22* Персонаж романа Г. Флобера ”Госпожа Бовари” (1857).

С. 24* Говоря о функциях государства в будущем обществе, К. А. Сен-Симон отмечал, что, подобно тому как политика станет ”позитивной наукой о производстве”, государство перестанет быть орудием управления людьми и превратится в орудие организации производства, в средство управления вещами.

С. 25* *Маркс К., Энгельс Ф.* Святое семейство, или Критика критической критики / Соч. Т. 2. С. 58.

С. 27* *Янсенизм* — неортодоксальное течение в католицизме, названное по имени нидерландского теолога Корнелиуса Янсения (1585—1638), в котором проповедовалась строгость религиозно-этических принципов, отрицалась свобода воли и поддерживалась идея предопределения.

С. 30* От *метанойя* (греч.) — раскаяние, изменение понимания своего Я, выработка собственного взгляда на мир.

С. 37* *Позитивизм* — философское направление, признающее единственным источником знания конкретные науки и отрицающее ценность философского исследования.

С. 56* Речь идет о Декларации прав человека и гражданина, программном документе Великой французской революции, принята в 1789 г.

С. 58* *Кодекс Наполеона* — принятое в литературе название Французского гражданского кодекса, в работе над которым активное участие принимал Наполеон I.

С. 62* *”Новый порядок”* (*”Ordre nouveau”*) — общественно-политическое движение во Франции 30-х гг., руководимое Р. Ароном и А. Даньё; как и персонализм, выступало от имени личности, за духовное обновление капитализма.

С. 63* Во французском языке ”оп” — безличное местоимение (ср. с немецким ”man”): обезличенный мир толпы.

С. 66* Персонаж, созданный французским писателем и карикатуристом А. Монье (1799—1877), олицетворяющий ограниченного и самодовольного буржуа (*Mémoires de Joseph Prudhomme*, 1857).

С. 67* Писатели и философы, описывающие и критикующие обычаи и нравы своей эпохи, ссылаясь на природу и назначение человека, дающие моральные рецепты и поучения; к французским моралистам причисляются Ф. Ларошфуко (1613—1680), Ж. де Лабрюйер (1645—1696) и др.

С. 69* Агентство путешествий, основанное Томасом Куком (1808—1892).

С. 72* И ты тоже, сын (*лат.*).

С. 76* Хуже всего — портить лучшее (лучше ничего не менять) (*лат.*).

С. 81* Речь идет о доктрине "общественного договора", объясняющей возникновение государственной власти соглашением между людьми, вынужденными перейти от необеспеченной защитой естественного состояния к состоянию гражданскому. В своем развитии это учение получает различное толкование: от консервативно-охранительного (Т. Гоббс) до революционно-демократического (Ж. Ж. Руссо); в различных вариантах идею "общественного договора" развивали Дж. Локк, И. Кант, И. Г. Фихте и др.

С. 82* Имеется в виду труд Ш. Пеги "Марсель. Первый диалог о гармоническом граде" (*Marcel. Premier dialogue de la cité harmonieuse*, 1898).

С. 84* *Маритен Жак* (1882—1973) — французский философ, глава неотомизма; Мунье и Маритен были близко знакомы, вместе работали над проектом журнала "Эспри"; Мунье часто советовался с Маритеном, когда писал свою первую книгу о Ш. Пеги. Однако в дальнейшем (начиная с 1933 г.) их пути разошлись. Маритен, сам мечтавший об обновлении католицизма, не принял слишком радикальную его версию, предложенную Мунье в рамках персонализма.

С. 86* *Дело Дрейфуса* — дело (1894) по обвинению в шпионаже в пользу Германии офицера французского Генштаба, еврея по национальности, А. Дрейфуса, получившее широкий общественный резонанс. В 1899 г. Дрейфус был помилован, а в 1906 г. полностью реабилитирован.

С. 101* Уже дурно пахнет (*лат.*).

С. 119* Название редакционной статьи в специальном номере "Эспри" за 1933 г.

С. 122* Слова из Нагорной проповеди Христа: "Посмотрите на полевые лилии, как они растут? Ни трудятся, ни прядут" (Мф. 6:28).

С. 123* *Оливковый сад* — Гефсиманский сад (от древнеевр. "гет шеман" — сад оливковой давилни) на Масличной горе под Иерусалимом, где в ночь перед арестом молился Христос, готовясь испить смертную чашу.

** *Молинизм* — учение испанского теолога, иезуита Луиса Молины (1536—1600), в котором вместо строгого, неукоснительного предопределения признавалась так называемая "достаточная благодать", допускающая наличие у человека, наделенного свободой воли, способности совершать добрые дела.

С. 124* *Крёзо* — крупный центр тяжелой промышленности во Франции. В XIX в. владельцами заводов в Крёзо стали финансовые магнаты Шнейдеры.

С. 125* *Танагра* — поселение в Беотии (Древняя Греция), ставшее известным благодаря женским терракотовым статуэткам (приблизительно в V—III вв. до н. э.), найденным при раскопках.

С. 128* "Ассоциация революционных писателей и художников" была создана в Париже в марте 1932 г. по инициативе французского писателя и общественного деятеля П. Вайяна-Кутюрье (1892—1937) с целью объединения интеллектуальных сил, выступающих против войны и фашизма.

С. 137* *Диоцезы* — епархиальные округа у католиков и протестантов. Впервые диоцез как территориальная единица церковного управления появился при императоре Константине Великом (IV в.).

С. 155* в строгом смысле (*лат.*).

** международное право (*лат.*).

С. 158* *Деонтология* (от греч. *deon* (*deontos*) — должное) — раздел этики, в котором речь идет о проблемах долга и должного.

С. 162* Трагедия У. Шекспира "Кориолан" была поставлена в драматическом театре "Комеди Франсез" (официальное название "Театр Франсе") в конце 1933 г. и вызвала бурную реакцию публики. В центре трагедии столкновение героя (полководца Кориолана) и толпы, плебса, обвиняющего его в высокомерии и изгоняющего из Рима. В напряженной идейно-политической обстановке во Франции того времени, отмеченной противостоянием демократических и правых, националистических сил, образ Кориолана не мог не вызвать неоднозначного отношения к себе. Для литературы середины XX в. характерна трактовка этого образа как своего рода фашиствующего диктатора (в духе Муссолини).

С. 163* *Этатизм* — понятие политической науки, означающее активное участие государства в экономической жизни общества.

С. 164* 6 февраля 1934 г. несколько десятков тысяч вооруженных фашистов вышли на улицы Парижа, пытались прорваться к зданию парламента, разогнать Палату депутатов, захватить ряд государственных учреждений. Завязались уличные бои. Произошел правительственный кризис. Вместо правительства левого блока, возглавлявшегося К. Шотаном, к власти пришло правительство Г. Думерга с участием правых. Однако попытка фашистского путча провалилась. 12 февраля произошла всеобщая антифашистская забастовка, в которой приняли участие несколько миллионов человек.

С. 167* *Медок, Сотери* — районы виноградарства в департаменте Жиронда (Франция).

С. 168* "*Croix*" ("Крест") — ежедневная парижская газета католической ориентации, основана в 1883 г.

** "Бог и дьявол" — роман французского писателя Ф. Мориака, опубликован в 1931 г.

С. 170* *Монтерлан Анри де* (1896—1972) — французский писатель, драматург, публицист; в качестве этических идеалов утверждал мужество, бескомпромиссность, гордость, независимость духа.

С. 173* Речь идет о руководителе национально-освободительного движения в Индии Мохандасе Карамчанде Ганди (1869—1948).

С. 174* "День гнева, этот день..." (*лат.*) — слова из католического песнопения, исполняемого в храме во время обряда отпевания.

С. 175* мягко и сильно (жестко) (ср. латинское выражение "*suaviter in modo, fortiter in re*" — мягко по способу, жестко по существу) или спаси и укрепи.

С. 176* Из Книги Премудрости Соломона. В русском синодальном переводе: "Она быстро распространяется с одного конца до другого и все устроит на пользу" (Прем. 8:1).

** *Иль-де-Франс* — историческая область во Франции в центральной части Парижского бассейна.

С. 193* См. примечание к с. 123.

С. 198* "*Патриотическая молодежь*" ("*Jeunesse patriote*") — профашистская лига, созданная в Париже в 1925 г. для борьбы с коммунизмом.

** из ничего (*лат.*).

*** Творчество французского писателя А. Мальро и эволюцию его взглядов Мунье анализирует в книге "Надежда отчаявшихся" (М., 1995).

С. 199* *Тейлоризация* — разработанная американским инженером Ф. У. Тейлором система рационализации труда, превращающая трудовой процесс в ряд простых операций, что позволяет его упорядочить и придать ему коллективный характер.

С. 201* По всей вероятности, речь идет об убийстве короля Югославии Александра I Карагеоргиевича. Став королем в 1921 г., он в 1929 г. совершил государственный переворот: изменил конституцию, запретил политические партии, установил единоличное правление. Был убит в Марселе в ноябре 1934 г. вместе с французским министром иностранных дел Л. Барту хорватскими террористами. "...Воздвиг памятник убийце" — имеется в виду сербский националист Гаврило Принцип, убивший в июне 1914 г. австрийского престолонаследника Франца Фердинанда, что послужило поводом для развязывания первой мировой войны, стал героем Югославии.

С. 208* См. примечание к с. 62.

С. 210* "Комитет бдительности антифашистской интеллигенции" Ланжевена — Алена — Ривз был образован в 1934 г. левыми интеллектуалами Франции, сочувствующими коммунистам; в него входили также видные писатели: А. Мальро, А. Жид, А. Шамсон и др.

С. 212* Агентство, организованное Ш.-Л. Ава в 1832 г. и первоначально занимавшееся переводческой деятельностью; в 1944 г. было преобразовано в Агентство Франс-Пресс.

С. 218* тем более (*лат.*).

С. 220* См. примечание к с. 164.

С. 223* *Дело Ставиского* — организованная в начале 30-х гг. афера биржевых спекулянтов во главе с А. Стависким, в которой оказался замешан ряд французских министров, депутатов, журналистов, была раскрыта в 1933 г. Ставиский при его аресте в январе 1934 г. по официальной версии застрелился. Обстоятельства этого банковского мошенничества послужили поводом для профашистских группировок под предлогом "борьбы с коррупцией" начать наступление против республиканских учреждений, что вылилось в события 6 февраля 1934 г.

** "Аксьон франсез" ("Action française" — "Французское действие") — монархическая организация националистического толка, официально существовала в 1899—1944, выпускала газету под тем же названием, запрещенную в 1944 г.; участвовала в путче 6 февраля. "Огненные кресты" ("Croix-de-Feu") — праворадикальная группировка (1927—1936), опиравшаяся первоначально на бывших участников первой мировой войны, награжденных орденом Военный крест; участвовала в путче 6 февраля.

С. 229* сострадание (жалость) ко многим (*лат.*) (ср. Мф. 9:36; 14:14).

С. 233* в сфере духа (в духовном) (*лат.*).

С. 235* *Святая Женевьева* — христианка, помешавшая в 451 г. войску Аттилы разрушить поселение Лютецию (Паризин) на берегу Сены, на месте будущего Парижа, считается покровительницей города. Маршал П. Мак-Магон в мае 1871 г. во главе армии версальцев вошел в Париж и подавил восстание коммунаров. 16 мая 1877 г., будучи президентом республики, он распустил Палату депутатов и, опираясь на силы так называемого "морального порядка", объединявшего реакционные политические и религиозные круги, принял участие в подготовке монархического переворота, после провала которого вышел в отставку.

** См. Евангелие от Матфея 27:35 и Евангелие от Иоанна 19:23—24.

С. 237* "*Квадрагезимо анно*" ("Квадрагезимо анно" — "В год сороковой") — энциклика папы Пия XI, опубликованная 15 мая 1931 г. в ознаменование сороковой годовщины энциклики папы Льва XIII "Рерум новарум" ("Rerum novarum" — "О новых вещах", 1891), в которой была сформулирована программа католической церкви в области социальной политики.

** Имеется в виду христианское предание о том, что апостол Павел (бывший в ту пору язычником Савлом, яростным гонителем христиан) на пути в Дамаск услышал голос Христа, который на его вопрос: "Господи, что повелишь мне делать?" — дал ему наставление, после чего произошло его обращение в христианство (Деяния апостолов 9:1—19).

С. 240* здесь и теперь (*лат.*).

С. 241* Тракат Фомы Аквинского (1225/1226—1274) "О правлении государей" (*лат.*).

** *Левиафан* — в Библии (Ветхий Завет) морское чудовище, олицетворение зла. Английский философ Т. Гоббс (1588—1679) использовал этот образ для характеристики могущественного государства (см. его соч. "Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского", 1651).

С. 242* "Установления (принципы) естественного права" (*лат.*).

С. 244* Люби и делай, что хочешь (*лат.*).

** Вот это приключение (*исп.*).

*** "И потому сказано, что в первую очередь новый закон есть закон установленный, во вторую же очередь закон записанный" (*лат.*).

"Отсюда апостол говорит во 2-м Послании к Коринфянам, 3: "Буква убивает, а дух животворит". И Августин в книге "О Духе и Букве" разъясняет, что

благодаря букве какое угодно писание существует вне человека; и поныне различные моральные предписания содержатся в Евангелии. Где же буква Евангелия умерщвляет, ничто не спасает, кроме внутренней благодати веры” (*лат.*).

С. 247* золотая середина (*лат.*).

** Имеется в виду фильм “Три маски” (1929) режиссера А. Югена (1886—1960).

С. 249* По всей вероятности, речь идет о событиях 6 февраля 1934 г.

С. 255* с необходимыми изменениями (*лат.*).

МАНИФЕСТ ПЕРСОНАЛИЗМА

Mounier E. Manifeste au service du personnalisme. Paris, 1936.

На русском языке публикуется впервые. Перевод В. М. Володина

С. 271* *Сюльпицийское искусство* — так называют произведения искусства на религиозные темы, стиль которых отличается условностью и скудостью выразительных средств.

С. 282* Это приобретшее известность выражение, в котором вместо слова “дух” фигурирует слово “культура”, принадлежит немецкому драматургу Хансу Йосту (с 1935 г. он возглавлял Имперскую палату литературы и Имперскую театральную палату) и приведено в его пьесе “Шлагетер”, посвященной памяти немецкого националиста А. Л. Шлагетера и поставленной 20 апреля 1933 г. (в день рождения Гитлера).

С. 284* В октябре 1935 г. фашистская Италия напала на Эфиопию и в мае 1936 г. оккупировала ее. Приводимая дата — по всей вероятности, так называемая “Ночь длинных ножей”, развязанная Гитлером 30 июня 1934 г. кровавая резня, жертвами которой стали несколько десятков недовольных его политикой членов штурмовых отрядов (СА).

С. 286* народный дух, народная общность (*нем.*).

** *Ирредентизм* (от итал. *irredenta terra* — неосвобожденная земля) — националистическое движение по присоединению земель, хотя бы частично заселенных представителями коренной нации. Имело место в Италии в кон. XIX — нач. XX в., речь шла о землях, не вошедших в состав страны при ее воссоединении.

С. 294* *Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 37. С. 419—420.*

** человек двойственный (двусоставный) (*лат.*).

С. 295* В первом номере журнала “Эспри” Н. А. Бердяев опубликовал статью “Правда и лож коммунизма”, которую Мунье сразу отметил как одну из наиболее содержательных. В этой статье, по справедливому утверждению швейцарского исследователя персонализма П. де Сенарклана, “со всей очевидностью отразилось отношение создателей журнала к марксистской идеологии” (*Senarclens P. de. Le mouvement Esprit 1932-1941. Essai critique. Lausanne, 1974. P. 93*). Сам Бердяев о своем отношении к коммунизму, выраженном в этой статье, писал так: “Я понял коммунизм как напоминание о неисполненном христианском долге.

Именно христиане должны были осуществить правду коммунизма, и тогда не восторжествовала бы ложь коммунизма” (*Бердяев Н. А. Самопознание. Опыт философской автобиографии. М., 1991. С. 231*).

С. 307* См.: *Энгельс Ф. Анти-Дюринг / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 36—37*.

С. 336* Речь идет о концепции английского экономиста священника Т. Р. Мальтуса (1766—1834) (см. его соч. “Опыт о законе народонаселения”. Спб., 1868. Т. 1—2), считавшего, что рост потребительских притязаний значительных слоев населения ведет к увеличению его численности, а последнее к стагнации общества из-за ограниченных возможностей производства средств существования (вследствие так называемого закона убывающей производительности последующих затрат). Отсюда предлагаемые им меры, касающиеся сокращения помощи бедным слоям населения и вообще сокращения числа потребителей (прежде всего за счет уменьшения рождаемости).

С. 352* человек — творец, созидатель (*лат.*).

С. 369* Обойдется без помощи (постоит за себя) (*лат.*).

С. 382* Французское слово “état” (“État”), итальянское “stato” обозначают не только государство, но и состояние (положение), восходя к латинскому “status”.

** *Закон Ле Шапелье* — принятый Учредительным собранием в 1791 г. (в период Французской революции) декрет (его автором был депутат адвокат И. Р. Ле Шапелье), в котором “во имя общественного блага” запрещались стачки работников на предприятиях, как “преступление против свободы и Декларации прав человека”, и их объединение в профессиональные союзы.

СТРАХ В XX ВЕКЕ

Mounier E. La petite peur du XX-e siècle. Paris, 1948.

Перевод И. С. Вдовиной

Обвинение машины

На русском языке публикуется впервые

С. 414* Служба обязательных работ, орган трудовой повинности, созданный во Франции в 1942 г. для отправки французских рабочих в Германию.

С. 416* Цитата из “Капитала” Маркса дается так, как она переведена самим Мунье. Ср.: “Противоречий и антагонизмов, которые неотделимы от капиталистического применения машин, не существует, потому что они происходят не от самих машин, а от их капиталистического применения!.. Требуются известное время и опыт для того, чтобы рабочий научился отличать машину от ее капиталистического применения и вместе с тем переносить свои атаки с материальных средств производства на общественную форму их эксплуатации” (*Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 451, 439*).

С. 417* См. далее ссылку на книгу Ж. Ф. Фридмана "Problèmes humains du machinisme industriel" ("Человеческие проблемы промышленной механизации"), 1947.

С. 420* Ср.: "...Наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог; потому что это его доля" (Екл. 5:17).

** "...Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3:10).

С. 421* Из проповеди (беседы) Иоанна Златоуста перед антиохийцами.

С. 424* *Эскориал* — построенная в XVI в. резиденция испанских королей, расположенная близ Мадрида. *Дом Инвалидов* — архитектурный комплекс в Париже, созданный при Людовике XIV в 1671—1676 гг. для лечения и проживания инвалидов войны; в настоящее время в здании размещаются также Военный музей и различные учреждения военного ведомства.

С. 426* Природа не содержит зла (*англ.*).

** *Физиократы* (от греч. *physis* — природа и *kratos* — власть, господство) — французские экономисты XVIII в. (Ф. Кенэ, А. Р. Тюрго и др.), считавшие основным источником богатства землю и ее возделывание (т. е. сельскохозяйственный труд), выступали за свободу торговли против вмешательства в нее государства.

С. 429* См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Немецкая идеология. Соч. Т. 3. С. 70—71.

С. 430* Это высказывание Маркса — из его "Экономическо-философских рукописей 1844 года" (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 42. С. 124), которые в первом издании Собрания сочинений Маркса и Энгельса на языке оригинала (Berlin, 1932) были изданы с подзаголовком "Zur Kritik der Nationalökonomie, mit einem Schlusskapitel über die Hegelsche Philosophie" ("К критике политической экономии, с заключительной главой о гегелевской философии").

** *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 23. С. 188.

С. 492* *Эриуон* (Erewhon) — утопическая страна из одноименного романа С. Батлера. Название образовано от английского слова "nowhere" (нигде), путем перестановки букв.

С. 436* высокомерие, дерзновение (*греч.*).

С. 440* Примеры героических и созидательных фигур — Фауст (из второй части трагедии И. В. Гёте), Сольнес (из драмы Г. Ибсена "Строитель Сольнес"), Евпалин (VI в. до н. э.), древнегреческий строитель, создатель водопровода на острове Самос (его остатки найдены в 1882 г.).

** Персонажи произведений Ф. Р. Шатобриана ("Рене"), И. В. Гёте ("Страдания молодого Вертера"), Б. Констан ("Адольф"), О. де Бальзака ("Утраченные иллюзии"), олицетворяющие лирических, рефлексирующих героев.

Об апокалипсическом времени

С. 443* Имеется в виду окончательный раздел Римской империи на западную и восточную части, произведенный римским императором Феодосием. После его смерти (395) власть над той и другой частью империи была поделена между его

сыновьями — Гонорием (Западная Римская империя) и Аркадием (Восточная Римская империя).

** Здесь явно подразумевается не Франц Иосиф, а австрийский император Франц I, который под именем Франца II был последним императором "Священной Римской империи германской нации" (1792—1806). Указанная империя, существовавшая в течение длительного времени только номинально, окончательно была ликвидирована в ходе наполеоновских войн, и титул, условно говоря, "римского императора" перестал существовать после августа 1806 г.

С. 444* Ср., напр., следующее высказывание апостола Павла: "Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир: потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются" (Рим. 8:6—7) и его рассуждения о браке и безбрачии (1 Кор. 7:1—40).

С. 446* Мир Господень. Покоиться в мире. Мир с вами (*лат.*).

** См. притчу о десяти девах (Мф. 25:1—13) и притчу о брачном пире (Мф. 22:1—14).

*** Мунье разделяет мнение большинства историков философии о том, что в экзистенциализме существуют два противоположных направления — христианский экзистенциализм, главой которого является Габриель Марсель, и атеистический экзистенциализм, ведущим теоретиком которого выступает Ж. П. Сартр (см.: *Мунье Э. Надежда отчаявшихся. М., 1995; Mounier E. Introduction aux existentialismes. Paris, 1946.*

**** "Dieu vivant" — "Живой Бог" (*фр.*).

С. 447* Речь идет о книге доминиканца П. Фере (P. Fèret) "Apocalypse de St. Jean. Vision chrétienne de l'histoire" ("Откровение св. Иоанна. Христианское видение истории").

** Мунье, разумеется, не имеет в виду философию жизни Бергсона, Ницше, Шелера, послужившую одним из истоков французского персонализма.

С. 448* Мф. 13:24—30, 36—43.

С. 449* Откр. 9:3—10.

С. 452* в общих чертах (*итал.*).

С. 453* См.: *Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1990. С. 255.*

С. 454* Имеется в виду главный герой трагедии И. В. Гёте "Фауст" в первой и во второй ее частях.

С. 456* *Хиросима* — город в Японии, на который в 1945 г. США сбросили атомную бомбу. *Бикини* — атолл в Тихом океане, где в 1946 г. США провели испытания ядерного оружия.

** *Нью-Мексико* — штат на юго-западе США, где в июле 1945 г. на полигоне Аламогордо был произведен первый атомный взрыв.

С. 457* В концентрационных лагерях фашистской Германии так назывались надзиратель из числа заключенных и главный надзиратель (начальник лагеря).

** "*Объединение наций*" — организация, созданная в 1919 г. с целью развития сотрудничества между государствами и укрепления мира и международной безопасности. В 1945 г. была учреждена ООН.

*** О том, какой смысл вкладывал Ф. Ницше в понятие "современное варварство", см. в написанном им в 1873 г. сочинении "О пользе и вреде истории для жизни" / *Ницше Ф.* Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. I. С. 182.

С. 458* *Бурж* — город в центре Франции, славится своими памятниками культуры и искусства и особенно готическими соборами XII—XIII вв., украшенными скульптурами и витражами.

ПЕРСОНАЛИЗМ

Mounier E. Personnalisme. Paris, 1949.

Перевод И. С. Вдовиной

С. 460* *Ренувье Шарль* (1815—1903) — лидер французского неокантианства; в 1903 г. опубликовал книгу "Персонализм" ("Personnalisme"), где личность признавалась основополагающей категорией философии. Однако Мунье решительно отмежевался от концепции Ренувье, упрекая ее автора в крайнем идеализме.

** См. примечание на с. 62.

*** "Технический и критический словарь по философии" ("Vocabulaire technique et critique de la philosophie") под ред. А. Лаланда. Первое издание вышло в 1926 г.

**** Французское издательство, основанное в Париже в 1852 г. педагогом и лексикографом П. Ларуссом, специализируется на издании энциклопедий, энциклопедических словарей и т. п.

С. 461* Ср.: Иов 5:26.

** Речь идет о сатирической антиутопии английского писателя О. Хаксли "Прекрасный новый мир" (1932).

С. 463* *Антигона* — героиня греческой мифологии, вошедшая в историю в качестве символа верности долгу; по ее убеждению, приказ смертного человека не может отменить неписаных, но прочных божественных законов. Главный персонаж трагедии древнегреческого драматурга Софокла (ок. 496—406 до н. э.) "Антигона".

** "Троянки" — трагедия древнегреческого драматурга Еврипида (ок. 480—406 до н. э.).

*** "*Никомахова этика*" — основной этический трактат древнегреческого философа и ученого-энциклопедиста Аристотеля, написанный с позиций эвдемонизма (от *греч.* эвдемония — счастье).

**** Любовь к роду человеческому (*лат.*).

С. 464* из ничего (*лат.*).

С. 465* В концепции французского персонализма картезианство получает толкование, близкое к экзистенциальному: согласно Мунье, декартовское *Cogito* (мыслящая субстанция) есть неопровержимое экзистенциальное *Cogito*.

С. 467* *Н. А. Бердяев* (1874—1948) сыграл заметную роль в формировании персонализма. Мунье, имея в виду Бердяева, писал в 1948 г.: "...тесное соединение мистики и политики, обостренное чувство духовной свободы, прямо связанное с мятежным ощущением социального отчуждения, "объективацией человека", деньгами и экономическим отчуждением, — все это мы находили у него". Сам Бердяев так характеризовал деятельность журнала "Эспри" и его основателя: "Журнал "Esprit" и кружки вокруг него представляли направление, наиболее близкое моим идеям... "Esprit" не должен был быть исключительно католическим журналом, журнал объединял левых католиков, протестантов и даже людей спиритуального направления, не принадлежащих к определенной конфессии. Главный создатель и редактор "Esprit" Мунье, человек очень активный, был католик в социальном отношении очень левый. Ядро движения "Esprit" было все-таки католическое. Но журнал мало занимался вопросами чисто религиозными и философскими, он был по преимуществу посвящен вопросам социальным и политическим, отчасти вопросам искусства. В первом номере была напечатана моя статья "Правда и ложь коммунизма", которая в значительной степени определила отношение к коммунизму... Это было течение среди молодежи, которому я наиболее сочувствовал. Молодежь "Esprit" имела симпатию к персоналистической философии, которой я был самым радикальным представителем, защищая социальную проекцию персонализма, близкого к социализму не марксистского, а прудоновского типа. Эту точку зрения называли коммюноторным персонализмом. Но кроме журнала, были организованы группы "Esprit". "...Была философская группа, была группа, занимавшаяся марксизмом, была группа, посвященная выработке программы с разных сторон. В первые годы я довольно активно участвовал в этих группах... Движение "Esprit" заслуживало всяческого сочувствия. Но оно ограничивалось интеллигенцией, и его социальное излучение было слабое..." (*Бердяев Н. А.* Самопознание. М., 1991. С. 278—279).

** *Марсель Габриель* (1889—1973) — французский философ, драматург и критик, основоположник католического экзистенциализма; по признанию Мунье, Марсель в определенной мере предвосхитил персоналистское мышление.

*** *Ландсберг Пауль Людвиг* (1901—1944) — философ-персоналист, погиб в концлагере Ораниебург; автор работ "Проблемы персонализма" (*Problèmes du personnalisme*, 1952), "Введение в философскую антропологию" (*Einführung in philosophische Antropologie*, 1934) и др.

С. 468* *Рикёр Поль* (р. 1913) — французский философ, ведущий представитель феноменологической герменевтики, в значительной степени разделяющий идеи персонализма; член директората журнала "Эспри". Свое отношение к французскому персонализму высказал в ряде работ: "Персоналистская философия" (*Esprit*, décembre 1950); "Персонализм" в книге "История и истина" (*Histoire et vérité*. Paris, 1964); "Мунье — философ" в юбилейном издании, посвященном пятидесятилетию французского персонализма (*Le personnalisme d'Emmanuel Mounier: hier et demain*. Paris, 1985) и др.

Недонсель Морис (1905—1976) — французский философ-персоналист, автор работ: "Взаимность сознаний" (*La réciprocité des consciences*, 1942), "Сознание и Логос. Перспективы и метод персоналистской философии" (*Conscience et Logos. Horizon et methode d'une philosophie personnaliste*, 1961), "Введение в эстетику" (*Introduction à l'esthétique*, 1953).

** *Мадинье Габриель* (1895—1958) — французский философ-персоналист, автор работ "Сознание и любовь" (М., 1995), "Моральное сознание" (*Conscience morale*, 1961) и др. *Лакруа Жан* (1900—1986) — один из ведущих философов-персоналистов, организатор и руководитель дижонской группы "Эспри", автор работ: "Марксизм, экзистенциализм, персонализм" (*Marxisme, existentialisme, personnalisme*, 1955), "Персонализм как антиидеология" (*Le personnalisme comme antiidéologie*, 1972), "Персонализм: истоки, основания, актуальность" (*Le personnalisme: Sources. Fondements. Actualité*, 1981).

*** После второй мировой войны идеи персонализма распространились в странах Восточной Европы — Польше, Венгрии, Румынии.

С. 470* *Маркс К.* Экономическо-философские рукописи 1844 года / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 164.

С. 473* См. там же. С. 162.

С. 474* См. там же. С. 163.

С. 475* *Маркс К.* Тезисы о Фейербахе / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 4. (Т. 42. С. 263.)

С. 476* См. упомянутые работы Н. А. Бердяева, вышедшие вначале на русском языке: *Философия свободного духа* (М., 1994. С. 13—226), *Судьба человека в современном мире* (Там же. С. 317—362), *Я и мир объектов* (Там же. С. 229—316). Сюда следует присоединить и книгу "О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии", которую Бердяев считал "самой радикальной", "самой духовно революционной" из своих книг (См.: *Бердяев Н. А.* Царство Духа и царство Кесаря. М., 1995. С. 3—162). "Персоналистическая революция, — писал он, — которой по-настоящему еще не было в мире, означает свержение власти объективации, разрушение природной необходимости, освобождение субъектов-личностей, прорыв к иному миру, к духовному миру" (*Бердяев Н. А.* Самопознание. М., 1991. С. 298—299).

С. 477* *Герилья* (исп. *guerrilla*) — в буквальном значении партизанская война в Испании (напр., в 1808—1814 гг. в период французской оккупации) и в странах Латинской Америки.

С. 486* См.: *Мадинье Г.* Сознание и любовь. М., 1995. С. 63.

С. 495* Библиейская аллюзия: "И остался Иаков один. И боролся Некто с ним, до появления зари..." (Быт. 32:24—28).

С. 497* *Бернанос Жорж* (1888—1948) — французский писатель, поэт, драматург, публицист; его творчество Мунье анализирует в книге "Надежда отчаявшихся" (М., 1995).

**** Или "Habeas corpus act" (лат.) — так назывался закон о неприкосновенности личности, принятый английским парламентом в 1679 г.**

С. 500* Персонажи романов французского писателя А. Мальро.

С. 507* да будет истина твоя (лат.).

С. 520* Имеются в виду памфлет Б. Паскаля "Письма к провинциалу" (1657), направленный против иезуитов, и памфлет французского писателя Э. Золя "Я обвиняю" (1898) в защиту несправедливо обвиненного в шпионаже А. Дрейфуса.

С. 526* Персонаж романа А. Мальро "Надежда" (1937).

С. 535* он не является объектом ни в обществе, ни в семье, ни в церкви (лат.).

И. С. Вдовина, Р. К. Медведева

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Августин Аврелий (Августин Блаженный) — 244, 443, 505
Аверроэс (Ибн Рушд) — 464
Авраам (библ.) — 520
Аларих I — 443
Ален (Э. Шартье) — 392
Альберт Великий (Альберт фон Больштедт) — 465
Ариас Дж. — 286
Аристотель — 32, 171, 463
Арлан М. — 18
- Бакунин М. А. — 464, 500
Барт К. — 232
Батлер С. — 415, 432
Бебель А. — 294
Бергсон А. — 44, 65, 79, 93, 312, 380, 463, 467, 505
Бердяев Н. А. — 228, 295, 307, 467, 468, 476, 512
Бернанос Ж. — 415, 416, 422, 429, 438, 440, 497, 525
Беро А. — 107
Бессемер Г. — 422
Блок Ж. Р. — 195
Блок М. — 445
Блондель М. — 467, 511, 516
Блуа Л. — 248
Блюм Л. — 236, 524
Бодлер Ш. — 454
Бонно-Деламар — 446
Бордо А. — 119
- Борн Э. — 228
Бост П. — 18
Босх И. — 454
Боун Б. П. — 468
Бозций — 443
Брайтмен Э. Ш. — 468
Бранли Э. — 276
Брейгель П. — 454
Бройль Л. де — 471
Бругман А. — 531
Брюнвик Л. — 49, 107, 470, 510
Бубер М. — 467, 468, 479
Буланже Ж. — 160
Бурже П. — 22, 304, 343
Бюссон Ф. — 235
- Валери П. — 452, 455, 492
Виалату Ж. — 252
Вокансон Ж. де — 428
Вольпичелли А. — 286
Вольтер (Ф. М. Аруэ) — 169, 234, 424
- Гадофр Ж. — 535
Гал Р. — 534
Галей Л. Э. — 126
Галилей Г. — 435, 453
Ганди М. К. — 171, 177, 179, 495, 520
Гарригу-Лагранж Р. — 244
Гаррик Р. — 164—168
Гартман Н. — 506
Гегель Г. В. Ф. — 291, 465, 466, 525
Генон Р. — 421

- Геринг Г. — 282, 390
 Гёте И. В. — 466
 Гизо Ф. — 18, 148
 Гитлер (Шикльгрубер) А. — 102, 125, 160, 207, 434, 441
 Гоббс Т. — 286
 Гонкур — 119
 Грётхюзен Б. — 247
 Греф Э. де — 437, 477, 501
 Гронки Дж. — 282
 Гурвич Ж. (Г. Д.) — 162, 384, 392, 484, 532
 Гуссерль Э. — 505
 Гюисманс Ж. М. Ш. — 454
- Дандьё А. — 103
 Дарре Р. В. — 287
 Декарт Р. — 36, 45, 198, 465
 Джулиано Б. — 285
 Диоклетиан — 443
 Достоевский Ф. М. — 524
 Дрейфус А. — 86
 Дрейфус Л. Л. — 114
 Дриё Р. П. — 518
 Думерг Г. — 78
 Дуси Л. — 529
 Дюамель Ж. — 351, 352, 427
 Дюбуэн Ж. — 263
 Дюркгейм Э. — 43, 77, 79
- Елизавета I — 425, 427
- Жайе В. — 126
 Жакоб М. — 245
 Жанна д'Арк — 83, 235, 521
 Женевьева (св.) — 235
 Жеральди П. — 122
 Жид А. — 103, 104, 402
 Жид Ш. — 145, 361
 Жобер М. — 126
 Журне Ш. — 231
- Зомбарт В. — 148, 245
- Ибсен Г. — 214
 Изар Ж. — 228
 Иисус Христос — 17, 63, 82, 229, 231—233, 420, 444, 446, 448, 449, 458, 464, 485, 520, 537
 Иоанн Златоуст — 421
 Истрати П. — 167
- Кайо Ж. — 242
 Калигула — 500
 Кант И. — 51, 246, 343, 437, 465, 466
 Карл Великий — 443
 Карлейль Т. — 120, 416, 425
 Кастелен — 241
 Катрейн В. — 241, 242
 Кеплер И. — 452
 Клагес Л. — 493
 Клемансо Ж. — 458
 Коатс Дж. Б. — 468
 Колумб Х. — 363
 Кольбер Ж. Б. — 421
 Кондильяк (Кондийак) Э. Б. де — 437
 Константин I — 443
 Конт О. — 43
 Коперник Н. — 246
 Корню О. — 27
 Коти Р. — 224
 Кук Т. — 69
 Курбе Г. — 207
 Куртелин Ж. (Ж. Муано) — 122
 Кьеркегор С. — 308, 466, 487, 488, 493—495, 504, 525
- Лабаск Ж. — 126
 Лабертоньер Л. — 467, 535
 Лаваль П. — 225
 Лакомб О. — 228
 Лакруа Ж. — 162, 391, 461, 468, 480, 484, 529, 532
 Лаланд А. — 460
 Ландрю А. Д. — 458
 Ландсберг П. Л. — 467, 468, 522
 Ланьо Ж. — 510

- Ларошфуко Ф. — 67
 Ларусс П. — 460
 Лаффит Ж. — 353, 439
 Лашез-Рей П. — 468
 Леви-Брюль Л. — 412
 Лейбниц Г. В. — 55, 465, 466, 476, 515
 Лемкул А. — 241
 Ленин (Ульянов) В. И. — 502, 524
 Леруа-Гюран А. — 439
 Ле Сенн Р. — 468, 481, 512
 Ле Шапелье И. Р. — 382
 Лефранк Ж. — 322, 534
 Лодовико Гонзага — 447
 Ломброзо Дж. — 416, 427, 430
 Лотце Р. Г. — 467
 Лоуренс Т. Э. — 518, 526
 Луи Филипп — 234, 502
 Людовик IX (Людовик Святой) —
 43, 83, 235, 376
 Людовик XV — 423
 Лютер М. — 465

 Мадинье Г. — 468, 474, 479, 481, 485
 Макиавелли Н. — 286, 288
 Мак-Магон Э. П. М. — 160, 235
 Макмарри Дж. — 468
 Мак-Таггарт Дж. Э. — 504
 Малерб Ф. де — 424
 Мальбранш Н. — 466, 506, 515
 Мальро А. — 198, 485, 500, 518, 526
 Ман Х. де — 261, 347
 Марен Л. — 235, 236
 Маритен Ж. — 84, 93, 177, 228, 231,
 233, 236, 277, 296, 386, 467
 Марк А. — 228, 531
 Маркони Г. — 276
 Маркс К. — 27, 32, 36, 43, 80, 98, 103,
 106, 140, 169, 188, 230, 234, 256, 260,
 261, 280, 289, 291, 293, 299, 378, 379,
 414, 416, 430, 436, 466, 470,
 472—475, 487, 490, 501, 502, 524, 532
 Марру А. — 535
 Марсель Г. — 71, 467, 474, 478, 480,
 482, 487, 490, 500, 505, 506, 515

 Мартине М. — 105, 195, 347
 Массис А. — 222, 343
 Маттеотти Дж. — 237
 Мейер П. — 242
 Мейерсон Э. — 505
 Мидлтон Дж. — 468
 Мольнье Т. — 180, 222, 227, 319
 Монталамбер Ш. де — 502
 Монтень М. Э. де — 347
 Монтерлан А. де — 170, 171, 175,
 176, 500
 Моран П. — 107
 Море М. — 290
 Мориак Ф. — 164—169, 177
 Мориц Оранский — 422
 Моррас Ш. — 160
 Мулен Л. — 322
 Мунье Э. — 137, 152, 159, 166, 277,
 360, 460, 476, 478, 479, 487, 490, 495,
 511, 513, 514, 516, 518, 522, 526, 527,
 532, 535
 Муссолини Б. — 83, 98, 100, 160, 237,
 282, 283, 285, 286, 288, 390, 524
 Мэмфорд Л. — 417, 422, 430, 433
 Мэн де Бيران М. Ф. П. — 466, 474
 Мюллер-Фрейенфельс Р. — 506
 Мюрри (Мерри) Дж. М. — 468

 Набер Ж. — 468
 Наполеон I Бонапарт — 58, 228, 422
 Недонсель М. — 468, 476, 479, 482,
 497, 511
 Ницше Ф. — 451, 453, 456, 457, 467,
 494, 505, 510, 511, 524, 526
 Ньюмен Дж. Г. — 194, 468

 Оккам У. — 465
 Ортега-и-Гассет Х. — 451

 Павел (библ.) — 251, 259, 420, 444
 Павлов И. П. — 470
 Панунцио С. — 284, 285
 Паскаль Б. — 87, 105, 123, 172, 188,
 347, 466, 487

- Пеги Ш. — 20, 27, 82, 83, 86, 93, 103,
 120, 121, 182, 207, 215, 222, 228, 235,
 244, 247—249, 347, 397, 467
 Петр (библ.) — 448
 Пизанелло (А. ди Пуччо ди Черрето)
 — 424
 Пий XI — 244, 249
 Пикассо (Руис-и-Пикассо) П. — 22, 45
 Пирен А. — 446
 Плакван Ж. — 228, 420, 463
 Платон — 78, 458, 463, 510
 Плотин — 463
 Прудон П. Ж. — 43, 105, 156, 256,
 467, 485, 486
 Птолемей Клавдий — 435
 Пуанкаре Р. — 124
 Пулай А. — 347
 Пура А. — 455

 Рабле Ф. — 347
 Рамю Ш. — 287, 453
 Расин Ж. — 424
 Ренан Э. — 286
 Ренувье Ш. — 460, 467, 484, 486, 504
 Рёскин Дж. — 413, 416, 418, 425,
 431, 468
 Ривьер А. — 517
 Ривьер Ж. — 51, 237
 Рид Г. — 468
 Рикёр П. — 468, 508, 515
 Ришелье А. Ж. дю Плесси — 237
 Розенберг А. — 284, 287
 Ройс Дж. — 468
 Рок де ла (Ла Рок) Ф. — 77
 Рокко А. — 285, 382
 Роллан Р. — 171
 Ромен Ж. — 107
 Ружмон Д. де — 126, 228, 344, 495,
 531, 532, 536
 Руссо Ж. Ж. — 42, 425, 426, 466, 533

 Саломон Э. фон — 518
 Сартр Ж. П. — 477, 481, 485, 487,
 494, 495, 499—501, 505
 Секретан Ш. — 468
 Сен-Симон К. А. — 24, 43
 Сент-Экзюпери А. де — 455
 Серж В. (В. Л. Кибальчич) — 105,
 195, 347
 Смит А. — 421
 Сократ — 420, 463, 465, 466
 Соловьев В. С. — 488
 Сорель Ж. — 524
 Софокл — 463
 Спиноза Б. — 510, 516
 Спирито У. — 284, 286
 Ставиский А. — 223
 Сталин (Джугашвили) И. В. — 147,
 160, 169, 502, 524
 Стейнбек Дж. Э. — 456
 Суарес Ф. — 241

 Тардые А. — 103, 224, 225
 Тейяр де Шарден П. — 471
 Тейлор Ф. У. — 354
 Тиллих П. — 284
 Троцкий (Бронштейн) Л. Д. — 105,
 524
 Тушар П. Э. — 126
 Тэн И. — 304

 Уайльд О. — 454
 Уитмен У. — 460

 Фейербах Л. — 464, 475
 Феодосий I — 443
 Фере П. — 447
 Фернандес Р. — 103, 104, 106—109
 Филип А. — 228, 374, 535
 Филипп II Август — 83
 Фихте И. Г. — 169
 Фланден П. Э. — 225
 Флобер Г. — 122
 Флюэллинг Р. Т. — 468
 Фома Аквинский — 240—242, 244,
 419, 465, 467
 Фор Ф. — 124
 Форд Г. — 147, 148, 359, 436, 475

- Франц Иосиф I — 443
Фрейд З. — 472, 524
Фридман Ж. Ф. — 355, 417, 418, 440
Фробениус Л. — 485
Фурье Ш. — 43
- Хайдеггер М. — 477, 483, 487, 494, 495
Хаксли О. — 113, 461
Хоуисон Дж. Х. — 468, 504
Хуан де ла Крус — 244, 424, 469
- Цицерон — 419
- Чимьенти П. — 286
- Шардонн (Ж. Бутло) — 122
Шелер М. — 74, 77, 79, 80, 467, 481, 506, 522
Шефтсбери А. Э. К. — 426
Шиап Ж. — 223
Шмидт К. — 294
- Эймар М. А. — 419
Энгельс Ф. — 291, 294, 307, 337, 473
- Юмо Э. — 126
Юнгер Э. — 518, 526
Юник П. — 103
Юри Г. К. — 456
- Ясперс К. — 467, 481, 488, 494, 504, 506, 516, 522

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вдовина И. С. Личность в современном мире</i>	3
ПЕРСОНАЛИСТСКАЯ И ОБЩНОСТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ . . .	13
Предисловие. В защиту детства одного века	14
I. Отправные линии	20
1. Возродить Возрождение	—
2. Персоналистская революция	56
3. Общностная революция	64
4. Принципы объединения	89
II. Основные позиции	98
1. Духовные псевдоценности фашизма	—
2. Испытание в коммунизме	103
3. Деньги и частная жизнь	109
4. Дневник Эрнеста Нуарфализа, буржуа из Арденн	118
5. К вопросу о реабилитации художника и искусства	126
6. Антикапитализм	140
7. Заметки о труде	146
8. О собственности	152
9. Открытое письмо о демократии	159
III. Метод и принципы деятельности	164
1. Реформизм и революция	—
2. В защиту силы	170
3. Технология духовных средств	176
4. Уроки одного бунта, или Революция против мифов	220
IV. Разрыв между христианским порядком и установленным беспорядком	228
1. Исповедь для нашего брата христианина	—
2. Существует ли христианская политика?	248
V. О будущем	259
МАНИФЕСТ ПЕРСОНАЛИЗМА	267
Предисловие	268
Особенности нашей деятельности	269

I. Современный мир против личности	274
1. Буржуазно-индивидуалистическая цивилизация	—
2. Фашистские цивилизации	281
3. Новый человек марксизма	289
II. Что такое персонализм?	300
1. Принципы персоналистской цивилизации	—
2. Персоналистская цивилизация. Принципы общественной цивилизации	312
III. Основопологающие структуры персоналистского строя	318
1. Воспитание личности	322
2. Частная жизнь	329
3. Культура личности	341
4. Экономика на службе личности	348
5. Политическое общество	379
6. Международное и межрасовое сообщество	394
IV. Принципы персоналистской деятельности	401
1. Как действовать?	—
2. Что делать?	405
3. С кем?	409
СТРАХ В XX ВЕКЕ	411
Обвинение машины	412
Об апокалипсическом времени	442
ПЕРСОНАЛИЗМ	459
Краткое введение. К вопросу о личном универсуме	460
I. Структура личного универсума	468
1. Воплощенное существование	—
2. Коммуникация	477
3. Интимное обращение	486
4. Противостояние	493
5. Свобода и необходимость	498
6. Высшее достоинство	504
7. Вовлечение	516
II. Персонализм и революция XX века	524
Примечания	539
Указатель имен	553

Эмманюэль Мунье
МАНИФЕСТ ПЕРСОНАЛИЗМА

На переплете помещена репродукция с картины
Педера Северина Крёйера
"Летний вечер на южном взморье" (1893 г.).

В оформлении книги использована графика
Пабло Пикассо.

Заведующий редакцией *М. М. Беллев*
Ведущий редактор *Р. К. Медведева*
Редактор *Ж. П. Крючкова*
Художественный редактор *О. Н. Зайцева*
Технический редактор *Т. А. Новикова*
Корректоры *Н. В. Антонова, Т. И. Радина*

ЛР № 010273 от 10.12.97.

Сдано в набор 18.11.98. Подписано в печать 11.05.99. Формат 60 × 90 ¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная.
Усл. печ. л. 35. Уч.-изд. л. 42,50. Тираж 4000 экз. Заказ № 3846.

Электронный оригинал-макет подготовлен в издательстве.

Российский государственный
информационно-издательский Центр "Республика"
Государственного комитета Российской Федерации по печати.

Издательство "Республика".
125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Полиграфическая фирма "Красный пролетарий".
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.